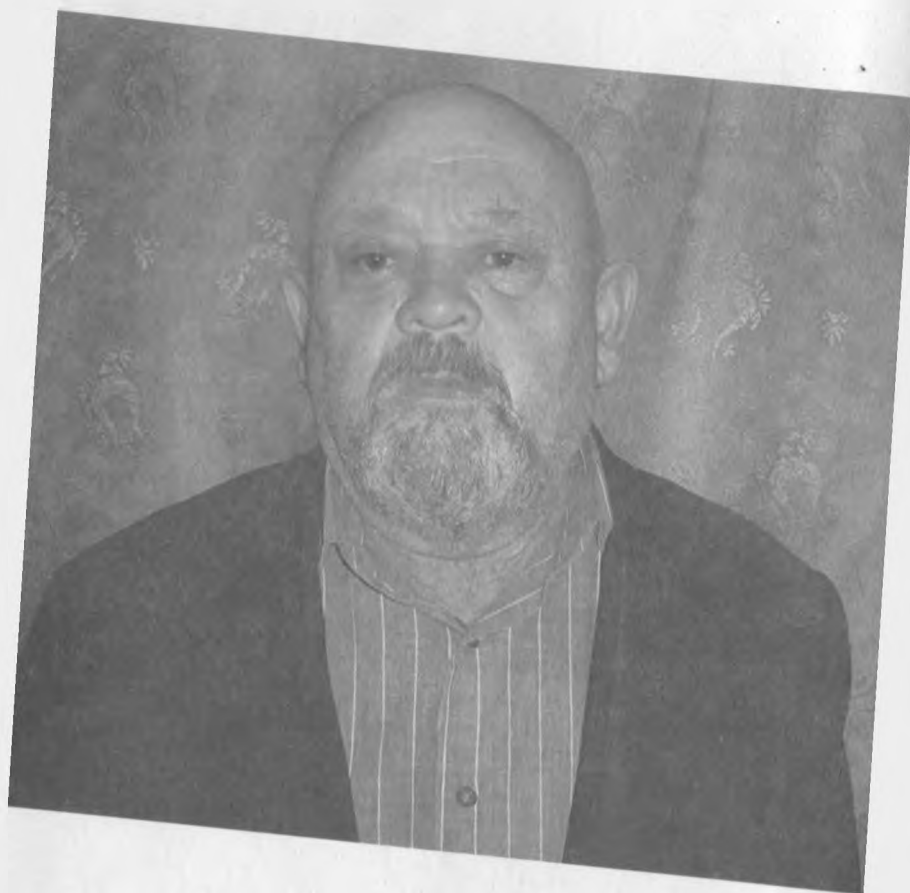


ИСА КАПАЕВ

СИНИЕ
НЕТА



ИСА КАПАЕВ

СИНИЕ СЧЕТА

Избранное



Москва
«Голос - Пресс»
2008

ББК 84 (2Рос)
К 20

Издание Литературного фонда России

Редакционный совет:

И. И. Переверзин — председатель
П. Ф. Алешкин, Т. В. Алешкина, В. Г. Бояринов, В. И. Гусев,
М. А. Замшев, И. Ю. Голубничий, Л. К. Котюков,
Ф. Ф. Кузнецов, С. Ю. Куняев, С. В. Михалков, В. Е. Молчанов

Капаев И.

К 20 Синие снега. *Избранное*. — М.: Голос-Пресс, 2008. — 704 с.
ISBN 978-5-7117-0508-6

В «Избранное» известного ногайского писателя Исы Капаева включены лучшие повести и рассказы, ставшие достоянием национальной классики. В переводах они известны и многонациональной читательской аудитории в России и за ее пределами. В литературной критике и специальных литературоведческих исследованиях отмечалось, что прозу И. Капаева формировала потребность в открытии, миру неординарности своего национального космоса через характер литературного героя, его ментальность, через специфику современных национально-этнических реалий, спроецированных на историческое прошлое.

Проза Исы Капаева-романиста («Вокзал», «Книга отражений», «Уплывающие тени», «Бессмертная смерть») — это исчерпывающий ответ на вызовы современной истории.

ISBN 978-5-7117-0508-6

© Капаев И. 2008

© Оформление. Издательство
«Голос-Пресс». 2008



СКАЗАНИЕ О СЫНТАСЛЫ

Повесть

ВСТУПЛЕНИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Было это так... А может, это было и не совсем так... А может, это было совсем не так... А может, этого и вовсе никогда не было. А если это и было, то было давно, так давно, что трудно сказать, было это или не было... А раз мы знаем, что если это и было, то было давно, а если этого не было, то не было все равно давно, и не можем наверняка знать, что этого не было, стало быть это было и было давно.

Значит так, давным-давно жил-был один богатый мурза, а у мурзы была молодая красивая жена. Речь, однако, пойдет не о богатстве мурзы и не о красоте его молодой жены. Жил у них бедный-бедный батрак. Речь, однако, пойдет и не о бедности батрака. Речь пойдет вот о чем... У бедного батрака была одна особенность — с утра до вечера батрак пел песни. Работает ли он в поле, работает ли он во дворе, всюду песни поет. Однажды утром выгоняет батрак овец из загона во двор княжеского дворца, как обычно, машет плетью и, как обычно, орет зычным своим голосом:

О-ла-ла-лай, ола-ла-лай,
О-ла-ла-лай, ола-ла-лай.

В это самое время мурза и его красивая жена сидели у окна.

— Чудеса! — воскликнула жена мурзы. — Что это наш батрак с утра до вечера, как соловей, заливается?!

— А что же ему еще остается делать, — усмехнулся мурза.

— Ты же, мой мурза, вот не поешь, а с чего бы ему петь? — Жена, хочешь, чтобы он не только бросил песни петь, но и рта не раскрыл? — хитро спросил мурза.

— Хочу, — ответила жена и спросила: — А как ты это сделаешь?

— Сейчас все увидишь, — самодовольно сказал мурза и хлопнул в ладоши.

Прибежал старший муртазак¹, низко поклонился своему господину и спросил:

— Что прикажет мой мурза?

— Сделай так, чтобы во дворе не осталось ни одной души, кроме нашего певуна-батрака. — Мурза, улыбаясь, встал, подошел к сундуку, открыл крышку, вынул из сундука слиток золота и, протянув его старшему муртазаку, приказал: — Когда на дворе никого не останется, подкинь этот тайтуяк² перед входом в хлев. И не спускайте глаз с батрака, не упустите ни одного его шага. Понял, слуга?

— Понял, мой мурза. — И старший муртазак вылетел исполнять приказание.

Муртазаки исполнили волю мурзы. Двор был очищен от других слуг, золотой тайтуяк подкинут, а сами муртазаки, спрятавшись, следили за батраком. А тот все пел;

Олалай, оо-о-ла-ла-лай,

Олалай, оо-о-ла-ла-лай.

Выгнав скот, батрак, не прекращая своего пения, направился чистить хлев. Он даже не обратил внимания, что двор, как никогда, был пуст. Но как только он подошел к хлеву, песня его оборвалась, он еще раз протяжно протянул свое: «О-ла-ла-ла-а-а-лай...», на мгновение замер, оглянулся по сторонам и, убедившись, что во дворе

¹ Муртазак — человек из личной охраны мурзы.

² Тайтуяк — золотой слиток в форме жеребиного копыта.

никого нет, осторожно нагнулся, схватил золотой тайтук и спрятал его за пазуху. Еще раз опасливо оглядевшись по сторонам, он бросил на землю вилы и, осторожно ступая, вышел, со двора. Выйдя на улицу, он побежал, что есть мочи. Добежав до угла, батрак остановился, потом, что-то сообразив, повернул за угол и поспешил на окраину аула. Выйдя на окраину, он снова остановился и уже в который раз беспокожно посмотрел по сторонам, убедившись, что никого нет, он вытащил из-за пазухи золотой слиток и долго ненасытно смотрел на него. Потом, отойдя от аула подальше, сел на камень и задумался. Долго он так просидел и, наконец решившись, спрятал золото под камень. Только он отошел, как увидел выезжавшую из аула арбу, и, испугавшись, вернулся обратно. Взял тайтук, спрятал его за пазуху и поспешил обратно в аул. Еще в нескольких местах собирался батрак спрятать свою находку, но все места показались ему ненадежными. Наконец, вернувшись во двор, он поднял брошенные им вилы и зашел в хлев. Решив, что лучшего места ему не отыскать, спрятал золото в щель, облепив коровьим навозом.

«0-ла-ла-лай!» — облегченно запел батрак, но тут же оборвал свою песню. — Что я делаю, безмозглый?!»

Он и не знал, что муртазаки следили за каждым его шагом, за каждым его движением. А батрак не находил себе места. Он поминутно забегал в хлев, проверял свой клад. И не было теперь на его лице того прежнего задорного выражения, и не слышно было его пения. За один день он стал озабоченным и молчаливым.

— Видишь, — сказал мурза, улыбаясь жене.

— Ну, это он сегодня так, а завтра снова запоем, — не сдавалась молодая жена.

И завтра, и послезавтра, и еще много-много дней батрак не пел. Он каждое утро, опасливо озираясь по сторонам, заходил в хлев и подолгу там наслаждался своим богатством, а когда он находился вне хлева, то постоянно думал о своем тайтуяке и молчал. Муртазаки по-прежнему ни на минуту не спускали с него глаз.

— Видишь, — обратился однажды муртазак к своей молодой, красивой жене, — наш батрак совсем перестал петь.

— Да, — покорно ответила жена, — вижу.

— А хочешь, чтобы он вновь запел, а? — хитро улыбаясь, спросил мурза.

— Этого даже ты не сможешь сделать, — сказала жена.

Мурза опять хитро улыбнулся и хлопнул в ладоши. Прибежал старший муртазак.

— Возьми из хлева батрака мой тайтуяк и принеси его сюда, но сделай это так, чтобы батрак ничего не заметил, — распорядился мурза.

Старший муртазак в один миг исполнил приказ.

А наутро, как обычно с опаской озираясь по сторонам и осторожно ступая по земле, вошел в хлев батрак. Он долго пробыл там и вышел оттуда понурым. Но вскоре лицо его приняло прежний веселый вид, появился прежний задор, он со всей силы хлопнул плетью по воздуху и... «0-ла-лай, о-ла-а-а-лай. Олалай, олалай, олалай!» — запел батрак.

— Видишь, жена, — сказал, улыбаясь, мурза. — Я тоже мог бы с утра до вечера петь, если бы... Если бы не заботы и беспокойство, постоянное беспокойство за свои богатства...

АУЛЬСКИЙ ХАБАР¹

Живу я на чердаке. Я сам перебрался сюда ради тишины и покоя. Здесь у меня все мое хозяйство: книги, маленький столик, раскладушка... А главное — у меня здесь тихо. Я читаю и наслаждаюсь...

Телевизор я не люблю и не потому, что у меня его нет. Там, внизу, у обоих моих братьев есть телевизоры, правда, все смотрят один — телевизор старшего брата. Вообще, в нашем ауле уж так повелось, обычай такой сложился: смотреть передачи целым коллективом. Приходят старики соседи, каждый со своей табуреткой и большим запасом сигарет — любимым «Памиром». У стариков как бы индивидуальные ложи, старики чинно восседают на своих табуретках, степенно судачат о происходящем на

¹ Хабар — история, случай, устный рассказ.

экране и нещадно дымят. Дети — и наши, то есть дети моих старших братьев, и соседские — располагаются на полу и как бы образуют партер — независимый от тронно восседающих стариков. А вот старухи не приходят. Они почему-то не доверяют, как они говорят, «коробке с шайтаном». Я же спускаюсь туда, вниз, лишь в тех случаях, когда «коробка» эта начинает барахлить: или вдруг побегут кадры, или исчезнет совсем изображение, или еще что-нибудь. Стоит в моей комнате появиться чернобородому старику Сулеймену, я уже знаю: надо спускаться вниз, настраивать телевизор. Да бог с ними, трудно, что ли...

А у меня здесь хорошо и уютно... Возле открытого чердачного окна безмолвным роем кружатся ночные бабочки, а черное звездное небо порой так низко наваливается, что кажется, будто оно уже проглотило весь мир и теперь хочет проглотить мою комнатку...

Библиотеку мою я собирал, можно сказать, по крупице. Где купишь книгу, где поменяешь на что-либо. Тут у меня есть и совсем новенькие, еще отдающие типографской краской, книги местных авторов. Эти я приобрел из жалости к нашему книготоргу и еще, возможно, из желания расположить к себе на всякий случай книгопродавцов. Но тут есть и другие — старые, с оборванными уголками страниц. Где только я их не обнаруживал! Одну, например, нашел, нет не нашел, а прямо-таки изъяс у старушки Абидат. Захожу как-то к ней во двор, а она возле печки толчет в каменной ступе красный перец. А на чем стоит эта ступа? На книге. Я смотрю на Абидат, Абидат смотрит на меня. Стучать перестала. Я выгасил из-под уступы книгу, сдул с нее красную пыль и ахнул. Если бы бедная Абидат ведала о тех чертях, ползучих гадах и страшном Вие, что притаились в этой книге, клянусь Луной, с ума бы сошла...

Книги я люблю. И все, что ни читаю, пытаюсь сравнивать со своей собственной жизнью. Однако, как это ни странно, никакого сходства не обнаруживаю. В книге — так, а у меня совсем по-другому, совсем не так, как в книге. Там, если про женитьбу или любовь, так обязательно трагедия... Выдают, допустим, тринадцатилетнюю Аси-

ят замуж. Ее отец говорит: «Если брошенная папаха не сбивает девочку с ног, — значит, девочке пора идти замуж». И вот какой-нибудь богатый старик по имени Аслан-гирей пригоняет голов двадцать разного скота, приводит лошадь, отсыпает золотые монеты и... губит жизнь маленькой Асият. Между прочим, наши старухи прямо плачут, когда им читают эту книгу.

Может, потому что я молод, в моей жизни никогда не было никаких трагедий. А может, и не потому. Ведь Ромео, кажется, был еще моложе меня. А может, просто в нашей счастливой жизни нет места для трагедий? Все может быть. И вообще, что это такое — трагедия? Трагедия, как я понимаю, — это когда темные силы сталкиваются со светлыми или, наоборот, светлые с темными и одни из них, отстаивая свою идею, неминуемо гибнут. Иногда же гибнут и те и другие. И так бывает. Но откуда, скажите, в нашем ауле возьмутся эти темные силы? Баев у нас давным-давно нет. Князей тоже. С муллами, слава Аллаху, наша литература и наши атеисты тоже давно рассчитались. Правда, в историко-революционных романах писатели все еще воюют с ними, а заодно и со всякими знахарями, которых в жизни одолели врачи и прочие представители медицинской науки.

В нашем ауле остался исключительно светлый, счастливый народ. Нет, я не то чтобы желал нарушить общую гармонию, только ведь литература так богата трагедиями... А возьмите хотя бы мою предстоящую женитьбу. Невесте моей, слава Аллаху, не тринадцать. К тому же мне никому и ничего не нужно за нее давать: ни лошадей, ни разных там рогатых... И не потому вовсе, что у меня ничего этого нет. Просто теперь не принято платить за невесту. Теперь все по-другому.

Мои дженге¹, а их у меня две, просто прожужжали все уши: «от тебе невеста! Лучшей невесты во всем Сынтаслы не найти! Ты посмотри, какая она красивая, какая она пригожая, какая она скромная... И все при ней... Незвай только!» Это они про Меску.

¹Дженге — невестка, жена брата.

Правильно, в таких случаях зевать не нужно. И я не стал зевать. Как только в клубе какой новый фильм, я тут как тут — жду Меску. Она приходит со своими подругами, и мы все вместе отправляемся в клуб. Нет, насчет там красоты или пригожести судить не берусь, вполне возможно, что она и красива, и пригожа. А уж что касается скромности — это точно. Тут мои дженге абсолютно правы. Впрочем, и во мне самом этой скромности хоть отбавляй. Поэтому, наверное, наши встречи проходили в обоюдном молчании. Вообще-то, если откровенно, то я толком и не знаю, как правильно понимать скромность. Если ее следует понимать как неразговорчивость, то, по моему, это даже страшно: все время кажется, будто молчащий человек что-то скрывает от тебя. Молчит, потому как боится проговориться. Однако у нас все было иначе: не то чтобы что-то скрывать, но даже то, что можно и не скрывать, мы не высказывали друг другу...

— Салам!

— Салам!

— Ну, как дела?

— Ничего. А у тебя?

— Тоже ничего.

Так добирались до клуба, молча смотрели фильм. Я все откладывал разговор на потом, когда пойдем из кино. Но и потом разговора не получалось. Тут виновата, надо сказать, была одна женщина — Каирхан-почтальонша. Может, конечно, я и сам в чем-то был виноват, только кто же по доброй воле сам на себя вину станет взваливать? Во всяком случае, я этого никогда не делаю. Итак, как я уже сказал, виновата во всем была Каирхан-почтальонша.

Мы выходим из клуба, а почтальонша уже на своем посту. И сразу же к Меску. Обнимает ее за плечи, молотит какой-то вздор — нежности там всякие — и таким образом провожает ее до самого дома. А я, скромный молодой человек, уважающий старших, плетусь покорно за ними и проклиная на чем свет стоит (не вслух, конечно), почтальоншу. Но тут было не все так просто. У Каирхан имелся родственник-студент, вот она для него и старалась. Поэтому каждый раз и провожала Меску до дому.

В общем, чтобы никто к ней не вязался, пока ее родственничек осваивал науки в московском институте.

— Я ей выцарапаю глаза, — становясь в воинственную позу, кричала жена старшего брата, когда я заводил речь о кознях почтальонши. — Я ей... Учти, девушки любят настойчивых, — вдруг начинала она меня поучать, будто все на свете забыли, в том числе и я, что это она сама затащила моего старшего брата в загс. — Главное, не будь лопоухим! Главное, будь мужчиной!..

— Тенгиз! Тенгиз! Меску по воду пошла! — сообщала мне младшая дженге, увидев идущую на реку Меску.

Ну, с младшей-то я разговаривал по-другому. Старшей, будь она права или не права, из уважения к ее возрасту я не прекословил, а младшую, что, посчитай, без году неделя в нашем доме, я укорачивал быстро.

— Не учи. И нечего за меня волноваться. Лучше за своим мужем смотри и волнуйся за себя... А то он...

— Растяпа! Слабовольный! — срывалась она на писклявый крик.

— Сама растяпа! Лентяйка! Ничего по дому не хочешь делать. Картошку полоть — я. Хлев убирать — я. Может, мне еще обед готовить или вот сейчас схватить коромысло и бежать вслед за твоей Меску? — распалялся я все больше.

— Ну, ладно. Хватит, — обижалась младшая дженге и уже от дверей бросала: — Мне просто жалко тебя.

Меня всегда злило, что вот эта неповоротливая толстушка с противным писклявым голосом еще поучает, и я, чтобы последнее слово осталось все-таки за мной, кричал ей вдогонку;

— Себя, себя жалеи! Мой брат тебе каждый день изменяет, а ты других поучаешь.

Этого она стерпеть уже не могла. Ее будто отбрасывало от двери, размахивая руками, крича мне всякие угрозы, она двигалась ко мне, а я, поняв, что разозлил ее по-настоящему, убегал...

Потом мне нередко доставалось от брата. «Язык придерживай», — сердился брат, а однажды вlepил мне даже затрещину.

О похождениях моего брата знал весь аул, а аул Сынтаслы — это около семисот дворов. Так вот, весь аул

знал, а моя бедная дженге ничего не знала или делала вид, что не знала. Только почему-то виноватым в ее глазах в конце концов становился я, а не ее муж, то есть мой брат. Но оставим их дела в стороне, а то, чего доброго, разговор перекинется еще на старшего брата и на его жену... У русских хорошо говорят: «Не выноси сор из избы». И у нас хорошо говорят: «Не толкуй плохо о своем доме, а то и о тебе сложится дурное мнение».

А вообще-то, раз я рассказал что-то о младшей дженге, то должен кое-что рассказать и о старшей. Это хуже нет, когда кто-то начнет рассказывать и не доскажет.

— Тенгиз! Тенги-и-из! — как-то слышу сквозь сон я тоненький голосок младшей дженге (она всегда приносит; мне обед на работу). — Ты опять спишь?

А что же мне делать, как не спать? За день две-три машины приходят на склад за шерстью, я грузу их и потом слоняюсь по складу. На улице жара несносная, а здесь приятная прохлада — вот и можно выспаться; Но это вовсе не означает, будто я напрасно зарплату получаю. Две три машины — это как-никак несколько тонн груза.

— Кино! Настоящее ки-и-но! — начала младшая дженге. — Ты же знаешь, он спит на летней кухне, а она с детьми — в доме. Каждую ночь тащит его чуть ли не за уши спать в дом, а он все упирается...

— Не сплетничай! — притворно строго обрываю я ее.

— Ну, ладно, только между нами, — заранее чему-то улыбаясь, предупредила она меня. — Ну, разве он мужчина?! Работает агрономом, а барана за деньги покупает. Счетовод списывает барана с отары, а он покупает. Смех один. Но это ладно, это их дело... А знаешь, что мне жена его приятеля Камала рассказала? Считай, весь аул знает, а мы не знаем, — развела удивленно руками толстушка.

— Говори! — кратко перебил я ее.

— В общем, так, — собралась она с духом. — Бухгалтерша Рабият... ну, это самое... В общем, пригласила его с друзьями к себе домой. Поставила на стол выпивку. Небось, по такому случаю и барана зарезала. Небось и музыка была... А то как? Короче, организовала большой гай-гуй². А потом все разошлись, а они остались вдвоем. Он,

¹Он — это муж старшей дженге. Из уважения к родственникам мужа младшей дженге не следует называть его по имени.

²Гай-гуй — пиршество.

конечно, ничего не подозревал, а она берет и запирает дверь на ключ. Он тут как закричит: «Домой хочу! Домой хочу!» Ты представляешь? — смеялась толстушка, закатив глаза. — На летнюю кухню спешил...

Я тоже стал смеяться.

— Моего бы тут, — с непонятной мечтательностью произнесла толстушка. — Ему только, подавай. Мой — настоящий мужчина. Вот с кого бери пример, Тенгиз... Такую неприступную крепость, как я, и то взял. В твоём возрасте он, кроме меня, еще с тремя девушками дружил... Знала же, дура, что потом натерплюсь, и все равно пошла за него. А таких все девушки любят...

Вообще, у нас такую откровенность называют куриной откровенностью. Но что поделаешь, если моя младшая дженге была такая — все свои тайны выкладывала, рассказывала о себе все, что нужно и не нужно. Я даже ее иногда жалею за то, что мой брат ей изменяет. Может, потому и говорю ей о том, чтобы у нее глаза раскрылись. Только, по-моему, она на все смотрит как-то по-другому, а как, понять я не в состоянии... Я еще в самом себе не могу как следует разобраться, а чужая душа, как говорится, — потемки.

Лишь одно я знаю наверняка — это то, что обе мои дженге друг друга недолюбливали. Они по очереди жаловались друг на друга самой старшей в нашей семье — нашей сестре, которая живет не с нами, а через улицу и у которой самый большой дом во всем ауле — в два этажа с балконом. У нас тоже был большой дом, в восемь комнат. Но не двухэтажный. И все мы жили в этом доме. У сестры был муж — объездчик, и у него были настоящие лошади. Зато у нас был ореховый сад, такого сада не было ни у кого во всем ауле, а все остальное наше хозяйство не отличалось от хозяйств наших соседей...

— Целый день без дела по двору ходит, веник в руки не возьмет. Надо было ставни покрасить — не покрасила. В погреб не лезет, видите ли, — мышей боится. Советем никчемная баба... — жаловалась старшая дженге на младшую нашей сестре.

Толстушка тоже приходила жаловаться:

— Дети агронома, а все время грязные ходят, сопли-

вые. Куда она только смотрит? Мужу костюм приличный не может купить. Стыдно смотреть. И сама вся оборванная ходит...

Сестра обо всем этом рассказывала нам — братьям, и мы все вместе смеялись над дженге. Но вот однажды мои дженге сплотились в единый фронт и нашли вдруг общий язык. Один язык — это просто, язык, а два языка — это уже сила... И сплотило их, как это ни странно, мое брачное дело.

Мы тогда чуть не лишились подписных изданий и всякого рода корреспонденции. Не всегда у почтальонши Каирхан хватало духу подойти к деревянным решетчатым нашим воротам, выкрашенным в зеленый цвет, на которых висел почтовый ящик. Стоило ей завидеть где-нибудь поблизости моих дорогих дженге, так жаждавших породниться с Меску, как почтальонша мгновенно исчезала, словно проваливалась сквозь землю. Меня, между прочим, бесит, когда говорят: «Угнетенные женщины Востока». Если бы вы, к примеру, знали мою старшую дженге, то я не уверен, что вы когда-либо повторили бы фразу про угнетенных женщин Востока.

Наша старшая дженге упиралась руками в свои худые бока, гордо вскидывая вверх голову и начинала:

— Ну, иди, милая, иди... Ну, подойти же, мой дорогая. — Она щедра была на эпитеты. — Небось устала таскать свою сумку... Иди, посидим... Языки почешем, а заодно вспомним молодость... Что же это тебе по ночам не спится? Может, жениха себе промышляешь? Ах, боже, у тебя такой добрый муж был... Почему, интересно, он тебя бросил? Догадываюсь, догадываюсь... Наверное, у тебя и тогда была эта ночная болезнь?! Милая, слушай меня... Сейчас советский закон! А законы мы все тут знаем! Кто тебя просит вмешиваться в дела молодых?! — Гнев охватывал ее, десятки морщин напрягались на лбу, синие маленькие глазки впивались в конопатый нос почтальонши. — Пусть, как это его, родственничек твой, куриная голова, сам приезжает и сам ухаживает, сколько ему влезет. А то женщина — за девушкой! Если у нас в ауле такой обычай появился, то я стану ревновать! И тебе, дорогая, чего доброго все волосы повыдергаю! И станешь лысой, как

Аким — завклубом... Ах, чтоб тебе ноги переломать! — размахивала она руками уже вслед убежавшей почтальонше.

Младшая дженге, у которой не было такого дара импровизации, обходилась с почтальоншей несколько деликатней, а потому та не столь ее опасалась. И все же Каирхан предпочитала оставаться не примеченной и толстушкой, когда та в одиночестве околачивалась во дворе. Почтальонша, тихо ступая, подкрадывалась к решетчатым воротам, быстро бросала в ящик письмо или газету и еще быстрее исчезала. И все-таки младшая дженге не желала полностью отдавать инициативу старшей, тем более что речь шла о запятнанной чести родственника, пусть никудышного родственника (то есть меня). И она не упускала возможности поговорить со злоказненной почтальоншей.

— Каирхан, — говорила она, — ты не сердись, сама знаешь, какая сварливая она. Однако мой тебе совет: не гордись тем, что собаки на улице бедной Меску привыкли к тебе. Днем — другое дело, а вот ночью — могут обознаться...

— О-о-о! — притворно выла почтальонши, — Проклинаю этот дом, проклинаю тот черный день, когда я стала почтальоншей! Да в чем моя вина, если ваш парень два слова связать не может? А мой родственник — будущий инженер! И как он, мой бедный Амит, живя на чужбине, подберет себе хорошую девушку-ногайку, если ему не поможет добрая родственница?..

И хотя толстушка это вам не старшая дженге, Каирхан в конце концов все-таки хваталась за голову и уносились подальше от решетчатых деревянных ворот, выкрашенных в зеленый цвет.

Потом старшая и младшая дженге хвалились самой старшей нашей сестре, но та почему-то пока не вмешивалась в мое брачное дело, она хладнокровно получала информацию и помалкивала.

Однако никакие доводы моих дженге не действовали на почтальоншу, а я не действовал на Меску. По-прежнему водил ее в кино, а из кино она отправлялась домой под конвоем Каирхан.

Вот так и получается: сначала не хотел говорить о младшей дженге, чтобы потом не затрагивать старшую,

а теперь придется рассказывать обо всей нашей семье. А что поделаешь?..

Самая старшая сестра с пятнадцатью детьми жила, как я уже говорил, в Сынтаслы. У мужа ее была подвода, в которую впрягались две, как я уже тоже говорил, настоящие лошади: серая и рыжая. Серая лошадь постоянно падала — страдала какой-то неизвестной болезнью. Если серая лошадь падала, то она моментально увлекала за собой рыжую лошадь, и обе лошади катались по земле, а зять тем временем спал в повозке, он постоянно спал в повозке, зажав в зубах дымящийся мундштук.

Единственный недостаток у лошадей был тот, что одна из них часто падала, а так они были ученые: они без вожжей доставляли спящего зятя домой, Единственный недостаток зятя был тот, что он засыпал с дымящимся мундштуком, подвергаясь опасности сгореть, что часто обсуждалось в нашей семье, когда, речь заходила о зятях или о пожарах. Другой зять — муж моей двоюродной сестры — работал шофером на бензовозе, который постоянно находился в ремонте. Это тоже часто обсуждалось в нашей семье.

У самой старшей сестры было пятнадцать детей. Но ей, кажется, этого было мало, и потому у нее с самого раннего утра образовывался настоящей детский сад, не хуже государственного. Дети старшей моей дженге, наскоро позавтракав, мчались во двор самой старшей нашей сестры. Туда же ковыляли и двое детей моей двоюродной сестры, не научившиеся еще даже толком ходить. У самой старшей сестры было стадо из ста уток, дети могли гонять их целый день, поднимая при этом невообразимый шум, или, напротив, тихо-мирно шли вместе с ними на речку купаться, а иногда под впечатлением телевизионных передач с утра до вечера играли в хоккей, гоняя деревянными лопатками мячик или просто чурку..

Если у самой старшей моей сестры был детсад, то у двух других моих старших сестер детсадов не было. Одна из них жила в райцентре, а другая — в городе. Они жили далеко, и отношения между ними и нами были далекими, они приезжали лишь на семейный совет, когда какое-

нибудь важное дело требовало обсуждения. Старейшиной в совете была самая старшая наша сестра, прозванная чернобородым стариком соседом Сулейменом — «сельсоветом», тем самым Сулейменом, что взбирался ко мне каждый раз на чердак, когда телевизор начинал барахлить. А ту сестру, что жила в райцентре, он прозвал — «райкомом», а ту, что жила в городе, — «обкомом». И вот теперь по моему делу, а точнее, по делу предстоящей моей женитьбы был созван чрезвычайный совет в составе трех моих старших сестер, двух дженге и впервые приглашенной на совет двоюродной сестры.

В совете говорили по старшинству, правда, на сей раз самая старшая наша сестра молчала. Она гадала на кукурузных зернах. Сидя на кровати, она кидала зерна и долго смотрела на них, затем сгребала их и вновь кидала... Зерен было сорок штук. Из них два обгорелых. И все зависело от того, как упадут эти два черных зерна. Мне не было видно, как там падали эти зерна, потому как самая старшая наша сестра сидела отвернувшись к стене и не произносила ни одного слова, а я сидел на низенькой табуретке и слушал, что говорили остальные. Первые часы обменивались новостями. Потом, немного помолчав, сестры и дженге переглянулись, кивнули в мою сторону, и сестра, что живет в райцентре, первой произнесла свою речь.

— Иду по улице и душа радуется: вот сейчас увижу мой родной дом, — сладко запела она и попыталась изобразить жестами и гримасами, как ей стало хорошо от одной этой мысли. — Иду и вдруг навстречу... Кто бы вы думали? Нет, нет, видать, сама судьба послала мне эту встречу, — сестра замолчала, и по ее красноречивому молчанию было видно, что она думает сейчас, об этой самой судьбе. — Я иду, а навстречу мне — Марлыхан! Мать нашей Меску. Я ее — о здоровье, о житье-бытье, а она только кивает головой, дескать, хорошо, все хорошо. А раз так, раз все хорошо, то в самый раз, думаю, и удочку закинуть... — прищурив левый глаз, сестра свысока посмотрела на меня. — И тут я начала, что наши тукумы ¹ издавна

¹Тукум — фамилия, род.

состоят в большой дружбе и что наша бедная мать, умирая, сказала, что вы — лучшие люди в ауле. Видно, бедная мать тогда еще мечтала породниться с вашим тукумом. И тут уж я ей напрямик, что дочка ее, то есть Меску, — совсем уж невеста... — сестра вновь свысока посмотрела на меня, правда, на сей раз сощурив правый глаз. — Марлыхан, конечно, поняла мой намек. Она очень скромная, эта Марлыхан. Только пожала плечами да вздохнула. А я ей опять свое, что мы, дескать, давно ищем нашему кенжапаю² подходящую невесту, и хорошо, чтобы наша молодежь подружилась. Но скромная Марлыхан только и сказала, опять пожав плечами: «Кто кумыс не пьет, кто девушку не сватает?» Очень скромная наша Марлыхан.

Сказав все это, сестра, что живет в райцентре и которую чернобородый Сулеймен прозвал «райкомом», обеими руками разгладила густые морщины на лбу и радостно взглянула на меня. Остальные тоже радостно взглянули на меня.

— А мне сегодня судьба послала встречу с самой Меску, — сообщила другая моя старшая сестра, та, что живет в городе и которую чернобородый Сулеймен прозвал «обкомом». — Ах какая она красивая! Ах какая она скромная... Идет, опустив глаза, и ни на кого не смотрит.

— Она со мной работает, — сказала двоюродная сестра, которую сегодня впервые пригласила на совет, и тоже радостно посмотрела на меня.

— А мы тебе комнату освободили, — объявила старшая дженге, но радостно взглянула не на меня, а на старших моих сестер.

А младшая дженге не проронила ни слова и только почему-то все время злорадно смотрела на меня.

На этом, пожелав мне удачи и одобрив мое поведение, они разрешили мне удалиться, а сами заседали до поздней ночи. А я потом всю ночь ходил по улице, поглядывал на, луну, а луна, подмигивая, поглядывала на меня: «Давай, мол, парень, действуй!» Но я уже устал действовать. Из-за этой проклятой почтальонши Меску была неприступна.

¹ Кенжапай — младший в семье.

И вот наконец-то на летние каникулы прикатил Амит — тот самый родственничек Каирхан-почтальонши, ради которого она и строила мне козни. Мы знали друг друга, а потому при встрече поздоровались, поболтали о пустяках, но о Меску — ни он, ни я ни слова. Я улыбался ему, а он улыбался мне. И по-хорошему разошлись. Мы все-таки мужчины, и нам незачем устраивать словесные склоки. Мужчины проявляют себя в поступках...

...Где-то по соседству с домом Меску играли свадьбу. Да, кстати, вы сами хорошо знаете, какие у нас свадьбы. Нет, я и сам от них не в восторге. Вот раньше были свадьбы — это да! Не я один так говорю, я просто присоединяюсь к мнению наших мудрых стариков. Слава Аллаху, от прежних многодневных свадеб остались хоть «созывные» танцы. Раз свадьба, — значит, будут танцы; раз танцы, — значит, будет молодежь, раз молодежь, — стало быть, должны присутствовать девушки — девушки тоже молодежь. А раз девушки, — значит, придет и Меску, а коль скоро придет Меску, то мы с Амитом явимся непременно.

С работы я вернулся рано. Старшая дженге по случаю предстоящего праздника еще утром съездила в райцентр купила мне новую нейлоновую сорочку.

— Чем ты хуже родственничка этой почтальонши?! Надевай обнову, пусть она в наш дом счастье принесет! Держись, Тенгиз! Будь джигитом, Тенгиз! — напутствовала она меня.

Младшая дженге тоже постаралась: погладила мне брюки вылила на меня целый флакон одеколona и напоследок еще посоветовала:

— Выпей грамм двести водки! Смелее будешь. Девушки любят смелых...

И я выпил. И я пошел... А по дороге уже жалел, что не прихватил с собой бурку — вот бы украсть Меску. Еще не дойдя до дому, где игралась свадьба, я уже услышал звуки музыки и вторившие им хлопки: «Карс! Карс! Карс...» Я шел, а ноги мои уже плясали. Я твердо решил, что все танцы буду танцевать только с Меску и вообще не дам ей сегодня проходу назло проклятой почтальонше...

¹ Танцы, которые устраивают за несколько дней до свадьбы.

Двор ярко освещался электричеством. Парни, прижавшись друг к другу, и девушки, отдельно, тоже прижавшись друг к другу, создали круг. Но я сразу же увидел Меску.

Глаза у нее радостно блестели, будто обрадовалась моему приходу. Тут подошел ко мне Амит, и мы крепко пожали друг другу руки. Когда обменивались рукопожатием, я задался целью пожать его руку как можно сильнее, чтобы показать, что я ни в чем не намереваюсь ему уступать. Он, видимо, с той же целью крепко жал мою руку. В общем, рукопожатие получилось крепкое.

— Девушек что-то маловато, — наигранно-капризно пожаловался Амит и тут же указал на одну, стоящую недалеко от Меску. — Вон, смотри, какая красивая!

Я понял его маневр и, подражая ему, кивнул на девушку, стоящую по другую сторону от Меску:

— А вон тоже красивая, в голубом платке...

Хмель проходил, и неизвестно куда улетучивались пыл к танцам и прежняя решимость моих намерений. Гармонь играла без конца, а мы с Амитаем стояли и хлопали. «Карс! Карс!» — звучало в ушах. Мы хлопали и никого не приглашали на танец. Душу поедала какая-то тоска, решительность окончательно покидала меня, а события, надо сказать, принимали все более драматический характер...

Вот уже третий танец подряд Назир, живший под горой у реки, хотя какое сейчас имеет значение, где он жил, приглашает нашу Меску на танец. А мы, вытаращив глаза, только смотрим, как этот широкоплечий парень кружится вокруг нее...

Первый танец, на который Назир пригласил Меску, не вызвал в нас никакого беспокойства. Что ж тут такого, если парень пригласил девушку на танец? «Хорошо, что она танцует не с Амитаем», — успокаивал я себя, когда Назир снова пригласил Меску. Вероятно, Амита тоже устраивало, что Меску танцует не со мной, во всяком случае, он продолжал увлеченно хлопать. Но вот, когда Назир, в третий раз подряд увлек Меску в круг танцующих, предчувствие чего-то недоброго овладело нами, мы как-то разом перестали хлопать и руки наши повисли, как плети.

А Назир, будто воркующий голубь, кружился вокруг Меску, она уклонялась, уходила от него, он ее снова нагонял, она снова уходила. Ну, это так принято, так танцуются этот танец. Но при чем тут «принято», если Меску все время восхищенно смотрела своими голубыми глазами на Назира и глаза ее блестели радостью.

Я увидел, как у Амита опустились плечи. Мне стало жаль его, жаль стало и почтальоншу Каирхан, которая из-за этой Меску поссорилась с моими дженге. Жаль стало и дженге, которые из-за этой Меску поссорились с почтальоншей. Я негодовал, я неистовствовал, я стоял, крепко сжав кулаки, не зная, куда мне деть свои сильные руки... Я готов был на все.

Но что поделаешь, если Назир так похож на моего брата, мужа младшей дженге! А таких девушки любят...

Нет, мы с Амитом не плакали. Да какие могут быть слезы у мужчин! А вот почтальонша и мои заботливые дженге должны были плакать — сейчас рухнули все их надежды. Ведь Меску такая пригожая, красивая, скромная... И нам с Амитом было тоже обидно, но мы не плакали...

Наконец, Амит не выдержал:

— Пойду приглашу ее на тогорек¹, — решительно сказал он.

И пошел. И пригласил... ту самую девушку, о которой говорил перед этим, что она красивая.

Я решил не отставать и пригласил девушку в голубом платке, о которой в свою очередь сказал Амиту, что она красивая. Вообще, девушка, носящая платок, то есть придерживающаяся обычая, пользуется в нашем ауле хорошей репутацией.

Когда я крепко ухватил под руку Насипхан — так звали девушку в голубом платке — и повел ее в круг, она вдруг заговорила:

— Фу? А надушился... — и как засмеется. — Хии-хи-хихх х хи... Женихи! Утер вам нос Назир!

И потом этот смех долго стоял в моих ушах.

Я тогда не мог удержать ее руку, потому что смех ее совсем сбил меня с панталыку. Я стоял один среди танцую-

¹ Тогорек — парный танец.

щих, а она хохотала уже за спинами своих подружек, которые тоже начали противно подхихикивать ей... «О, несчастная! Да разрази тебя Аллах на мелкие части, и чтобы твой смех тебе самой по ночам не давал спать», — произнес я про себя это совсем не мужское проклятье.

В ту ночь я долго не мог уснуть, а утром, разбитый, пошел на работу. Подхожу к своему складу и вдруг слышу что кто-то меня догоняет. Оборачиваюсь — Насипхан! Ох какое меня зло взяло... Но она мне и рта не дала раскрыть:

— Тенгиз! Не обижайся, Тенгиз, за вчерашнее... Извини меня, пожалуйста!

Смотрю, а у нее губы дрожат — вот-вот расплачется! Ну и чудеса! Я махнул рукой и пошел дальше...

На другой день увидел ее на совхозном току. Она как-то очень хорошо посмотрела на меня, потом кивнула и улыбнулась. Я не стал ей улыбаться, но из вежливости кивнул.

На третий день она сказала, что в клубе кино интересное.

На четвертый день она сказала, что я хороший парень.

На пятый день я сказал, что она неплохая девушка.

На шестой день мы поехали в райцентр, гулять в парк, потому что у нас в ауле парка нет.

На седьмой день мы уже гуляли по берегу нашей реки.

А потом все закружилось, завертелось... Хохотушка Насипхан, которая, когда ей надо, умела и заплакать, ловко обкрутила меня, а может, это я ее так быстро обкрутил... Впрочем, какое это теперь имеет значение: кто кого обкрутил...

— Как мы будем жить? — спрашивала она уже в третий раз.

— Не знаю... — уже в который раз отвечал я.

— Чего мы тянем? Пойдем распишемся! Не надоело тебе мой характер изучать?..

Дело тут не в изучении характера, хотя интересно знать и про характер... Просто я иногда вспоминал чьи-то слова: «Это плохо, когда девушка сама напрашивается замуж». Вот я и думал, гадал, как мне в таком случае поступать. Что же касается моих дженге, с которыми мож-

но было бы, кажется, посоветоваться, то после случая с Меску они дружно придерживались общественного мнения, которое у нас всегда формировала самая старшая наша сестра. О Насипхан она сказала так: «Хорошая, работающая девушка, к тому же из хорошей семьи».

Пока я обо всем этом раздумывал, Меску вышла замуж за Назира. Помнится, в день их свадьбы Каирхан-почтальонша помирилась с моими дженге. Старшая дженге не упиралась теперь руками в свои худые бока и не вскидывала гордо вверх голову.

— Каирхан, — мягко, будто у нее совсем пропал голос начала старшая моя дженге, — ты у нас газеты носишь и потому должна все знать. Скажи, что там пишут нового о Сынтаслы? — она намекала на свадьбу Меску.

— Кому нужен твой Сынтаслы? — улыбаясь, ввязывалась в разговор младшая дженге. Она была в положении ее так разнесло, что она еле теперь ходила.

Дженге вяло опирались спинами о решетчатые наши ворота, а почтальонша, думая о предстоящем перемирии, даже не сообразила, о каком «важном» событии ей намекали.

— Да что вы, милые, я читаю не больше вашего, — она долго рыскала в сумке, пока не нашла газеты и не опустила их в почтовый ящик, хотя преспокойно могла отдать их в руки. — Куда мне до всей этой политики, мне бы свою домашнюю политику осилить... Легко, что ли, к свадьбе готовиться, когда она не за горами... На следующий год мой Амит надумал жениться на девушке, с которой переписывается. Только о ней и думает, — с гордостью договорила она.

— Да, наш Тенгиз тоже, если не в этом, так в следующем году приведет в дом невесту. Скорей бы уж. Намучались мы с ним. На него трудно угодить, разборчивый больно... — сказала младшая дженге, чтобы показать, что я парень не промах.

Но все это были разговоры вокруг да около. Первой на откровение пошла, отличавшаяся решительностью, старшая дженге.

— Домашняя политика — посложнее газетной, — сказала она. — Взять хотя бы нашу молодежь. Вашего Амита или нашего парня... Тут каждый день политика. Не отговори мы вовремя их от этой Меску, глядишь, не миновать

бы им беды... Да и другая беда могла бы случиться. Это ж надо, мы ведь чуть не поссорились с тобой, — сделала она шаг к примирению.

— Да что там... — перебила почтальонша. — Я тоже не просто так ходила вечерами за этой Меску. Хотелось понять, какой у нее характер, а то, Аллах его знает, какая попадется... И вовремя поняла; нет, не пара она моему Амиту. Бог миловал от этой Меску, и от ссоры с вами...

Мои дженге и почтальонша помирились.

Амит переписывается со своей девушкой.

Я готовился жениться на Насипхан.

И никакой трагедии. Все тихо, мирно, без крови и без ножей. Правда, мои сверстники предсказывали: «Женишься — будет трагедия». В пользу этого мнения как будто бы свидетельствовала, и семейная жизнь моих братьев... Старший брат все так же спит на летней кухне. Обычно в полночь раздается раздраженный голос его жены:

— Безмозглый, иди спать домой!

Младший обычно приходит даже позже того шума, что поднимает жена старшего брата. Толстушка скандалов не устраивает, и моему брату все легко сходит.

А самая старшая наша сестра? У нее родился шестнадцатый ребенок! Вот это здорово. У меня отличное настроение. Я засыпаю и вижу во сне мою хохотушку...

Ну вот, кажется, и все. Наговорил я вам здесь всякой всячины. Мог бы еще больше наговорить, да некогда — мне сегодня еще предстоит писать пригласительные открытки. Вы же сами знаете, какие у нас свадьбы и сколько нужно пригласить народу.

И то, о чем я сегодня рассказал — не комедия и не лирическая повесть, не роман и уж тем более не трагедия. Это просто-напросто обыкновенный аульский хабар...

А у меня здесь — я по-прежнему обитаю на чердаке, — действительно хорошо. Возле открытого окна безмолвным роем кружатся ночные бабочки, а черное звездное небо опять так низко навалилось, что кажется, будто оно уже проглотило весь мир и теперь хочет проглотить мою комнатушку. И от предчувствия, что оно проглотит когда-нибудь мою комнатушку, мне становится жутко...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Если просите рассказать,
расскажу...

Из народной песни

Когда черная ночная мгла начинает рассеиваться и одна за другой гаснут звезды, Сынтаслы еще спит глубоким сном. Небо постепенно пропитывается густой синевой, исчезают таинственные ночные звуки, и все селение погружается в мертвую предутреннюю тишину. Пред-рассветный холод еще в силе. Темные крыши мокры от ледяной росы. Вот-вот должны запеть петухи... И вдруг над Сынтаслы, словно гром, прокатывается хохот, будто содрогаются земля и небо. Трясутся дома, зловеще треща жесткой черепицей крыш. Хохот, жуткий хохот раскатывается по всей округе... И потом снова тишина, такая тишина, что слышны беспокойный утренний шелест листьев и ползущее по земле вкрадчивое шуршание соломы. Тает синева неба... Затем свою серенаду затягивают сынтаслынские петухи, затем в домах начинают звенеть будильники, и лишь затем уж просыпаются сами сынтаслынцы. Встает солнце, и в Сынтаслы начинается новый день.

Тенгиз несколько раз досиживал до этого хохота на своем чердаке. Потом он многих аульчан расспрашивал о нем. Те только пожимали плечами: никто из них никогда не слышал этого хохота...

«Если б знал, где упаду, соломку постелил бы», — гласит народная пословица.

«Не дойдя до речки, одежды не снимай», — гласит другая народная пословица.

«Курица, пока не снесет яйцо, не кудахчет», — гласить еще одна народная пословица.

А я соломку не постелил. Не вовремя разделся. И вдобавок еще ни с того ни с сего закудахтал. Да я сам, может, в том и не очень виноват. Жизнь виновата. Жизнь всегда полна неожиданностей. Нет, это не я сказал, это сказал один мудрец. Давно сказал, кажется, в десятом веке. Соломку постелить... Если б я знал, где упаду, так не

заговорил бы о трагедии, а коль скоро и заговорил, то не стал бы раньше времени оголяться — мол, в моей жизни не было да и не может быть никакой трагедии. И не закудахтал бы так восторженно, созывая на свою свадьбу весь Сынтаслы.

Сынтаслы, конечно, пришел. И свадьбу, конечно, сыграли. Впрочем, свадьба как свадьба. Все было на месте, и все было хорошо. Была гармонь, танцевали ногайский танец «узын», зарезали десятки баранов, выпили... Кто ж сосчитает, сколько выпили...

Три дня длилось веселье, три дня придумывали тосты, три дня пили, три дня ели, три дня танцевали, три дня сидел я на почетном месте и был в центре внимания всего Сынтаслы, три дня сидела за занавеской невеста с моими дженге. И, наконец, Насипхан стала моей женой. Вот тут-то и выявилась вся моя недалёковидность. Но откуда мне было знать, что это такое — жена и вообще семейная жизнь? Смотреть на окружающих? Да на кого мне было смотреть! На своих дженге, что ли? Помилуй бог! Так на кого же еще?

Вот раньше жили... Не знаю, хорошо там или плохо раньше жили, но как рассказывают старики, — неплохо, хотя, говорят, — трудно. Но как бы там ни было — о прошлом старики всегда вспоминают с грустью.

Чернобородый Сулеймен рассказывал... Когда ему исполнилось семнадцать, отец палкой заставил его жениться. Асылхан же тогда было четырнадцать. А в пятнадцать она ему сына родила. В восемнадцать — второго. В двадцать — третьего. Не хотел с ней жить Сулеймен, но хорошо помнил об ореховой палке отца. В конце концов привык. А после третьего сына, так вообще полюбил. А что сейчас?..

Сулеймен подобные разговоры всегда затевал не просто так. Просто так о своих семейных делах у нас ни один старик и слова не промолвит. Говоря о прошлом, они норовили поспорить с современностью.

— А что? — возмущался Сулеймен. — Не успеют жениться — сразу «командировка». — С тех пор как Сулеймен стал постоянно смотреть телевизор, он непременно в свою родную речь норовил вставить какое-нибудь

производственное, техническое или политическое словечко. — Асылхан пока шесть лет со мной не прожила, мой отец ей даже глазом на родительский дом не разрешал посмотреть. А сейчас... Что сейчас? Не успела замуж выйти — уже спешит обратно к матери. А еще, хуже — разводятся. А если и не разводятся... Детей, так не больше двух, а какой это дом без детей! Дом, где дети, — базар. Дом без детей — могила. Дети, дети, а у детей еще дети... Это жизнь! — мечтательно вздыхал Сулеймен. — Как раньше было...

Прошное... Нам, молодым, чужое далекое прошлое кажется неинтересным, даже каким-то ненастоящим. Ведь как-то трудно себе представить, например, того же Сулеймена семнадцатилетним парнем, а его старую Асылхан четырнадцатилетней девчонкой... Когда старики рассказывают, то вроде бы веришь, что все на самом деле так и было, как они рассказывают. Но веришь так, как веришь в легенды, предания, сказки... Вроде бы это и было и вроде бы этого и не было...

И еще вот что. Когда люди живут в семье дружно, то этого как-то и не замечаешь, то есть не видишь, как именно они живут. А чуть какой изъян или какие неполадки, так они сразу всем в глаза бросаются. И мне всегда бросалось в глаза, если какой изъян или какие неполадки. Это я к тому, что, начиная строить свою семейную жизнь, трудно в окружающей жизни найти примеры для подражания. Не с братьев же мне брать пример? А Насипхан — жене моей — с кого брать пример прикажете?

Не с жены же лысого Акима-завклубом. Так то — гром среди ясного неба, а не женщина. Люди, заходя в клуб, с опаской смотрят на ее смуглое и вечно потное лицо, на крупных габаритов фигуру и прямо-таки вздрагивают от ее грубого, властного голоса. Недаром же ее прозвали — «вышибала». Пьяный какой заявится в клуб, она ему действительно все мозги вышибет. Аким и сам пьет, так что частенько видишь, как она, неистово ругаясь, волочит его от магазина, возле которого обычно роятся мужчины. Я, наверное, тоже запил бы от такой жены.

Или красавица с голубыми глазами и белой высокой шеей Сапийт — жена бухгалтера Муссы. Так на нее денег

не напасешься. Ей каждый год нужно по десять модных одеяний покупать, а потом все эти кольца, серьги, браслеты... Еще она любит соседям подарки дарить, так сказать, подтверждает свой аристократический образ жизни.

Или жена моего родственника Камая. Тихая-тихая такая. С утра до вечера только и занята работой. То дом глиной мажет, то белит его, то кукурузу в огороде срезает, а то взяла и весь двор кирпичом обложила. А однажды соседи увидели, как она сама подвал копает. Прибежали, ругают ее, говорят, что не подвал она копает, а себе могилу. Она же молчит и молчит. Так тогда и не раскрыла рта. Муж тоже ругал ее за это. Раз даже в дом отдыха путевку купил. Тогда вот впервые и выяснилось, что не такая уж она и тихая. «А куры, а ути? Ты что, Камай, с ума спятил!» — обрушилась она на мужа. Камай засмеялся и вернул путевку обратно. И она опять тихой-тихой стала.

Так вот, на кого же нам смотреть, с кого пример брать? И я решил, что жизнь сама укажет направление... О себе и не думал, я думал о Насипхан, точнее о том, какой она должна быть женой, а Насипхан, вероятней всего, думала только о том, как сделать из меня образцового мужа. Наверняка ей дома говорили, что за мужем нужно смотреть в оба. Во всяком случае, первое время мне нельзя было удалиться, ну, буквально, ни на шаг. Чуть что и сразу же: «Ты куда собрался?» А я никуда не собрался. Мало ли куда нужно сходить...

И сразу же ей почему-то надоели мои чердачные исчезновения. Она, конечно, могла легко забраться ко мне на чердак, однако, как у всех молодых невесток, скромность брала верх, и она этого никогда не делала. Из-за той же скромности она даже громко не разговаривала и почти перестала смеяться. Но однажды она все-таки забралась на чердак. Увидала, что я лежу на раскладушке с книгой в руках, и заплакала. Я успокоил ее, а чтобы успокоить окончательно, спустился с ней вниз. Когда же в следующий раз я забрался на чердак, то, раскладушки там не было. Спустился вниз, а Насипхан мне и говорит:

— Читай в нашей комнате, я тебе мешать не буду. Если тебе нравится на раскладушке, то мы ее поставим вот здесь.

Я засмеялся, и она засмеялась, довольная тем, как она все хорошо придумала.

А все произошло неожиданно... И вновь были замешаны мои дженге. Насипхан они приняли очень радушно. Еще бы не принять, им радушно, если все восемь комнат прибирала она и к тому же ходила еще на работу и приносила восемьдесят рублей денег в общий котел.

Прошло больше полугода нашей совместной жизни. Была весна. Люди уже купались в реке, и я тоже как-то в воскресенье отправился искупаться.

Я еще не говорил, что в Сынтаслы много разведенных. Молодые люди женятся, разводятся, вновь женятся и вновь разводятся. А весна, сами знаете, как действует на одиноких, особенно на разведенков. Они целыми днями на берегу просиживают... Но у нас не принято мужчинам купаться там, где поблизости есть женщины. И это, по-моему, правильно. Поэтому я удалился подальше от женщин, разделся, хожу себе по берегу в одних плавках. Туда прошелся, сюда прошелся. Река шумит, всюду зелень, теплое весеннее солнышко греет, а воздух такой свежий-свежий... Ах как легко на душе и просторно!

Подхожу к самому краю берега, он крутой, как яр, а внизу площадка: в прошлом году там женщины воду набирали, а в этом — переместились на другое, более удобное место. Смотрю, на площадке, подобрав подол платья, разведенка Сурат белье стирает. Ловко так стирает. Я нечаянно засмотрелся на нее. И она меня заметила. Улыбнулась и молча стала бросать взгляды снизу вверх. Я и забыл совсем, что полуголый, спустился вниз, неподалеку сел на камень. Завели разговор. И совсем вылетело из головы, что нас здесь могут увидеть. Иди потом, доказывай, что ты разговаривал о погоде, о речке или о последних аульских новостях. Непременно все перевернут и еще заподозрят в чем-то таком... Скажут, о погоде или о речке можно и на улице разговаривать, скажут, что и под яр-то забрались специально...

А Сурат — что ни слово, то смех, точно как Насипхан до замужества. Я заслушался и невольно засмотрелся на нее. Вдруг поднял голову и ахнул — на берегу стоит млад-

шая дженге. Мне даже показалось, будто она насвистывает и еще ногой притоптывает.

— Тенгиз, купаешься? — пропищала она сверху.

— Да, дженге, — машинально ответил я и даже не тронулся с места.

Дженге ушла.

— Ну, теперь тебе попадет, — улыбаясь, сказала Сурат. — Я лучше на работу к тебе приду.

— Зачем? — растерялся я.

Сурат только громко рассмеялась.

«Ничего себе, на работу придет... Смотри, какая приткая!» — подумал я, вскочил и под веселый смех Сурат побежал одеваться. Даже искупаться забыл.

С этого дня младшая дженге стала как-то многозначительно на меня посматривать и многозначительно улыбаться, затем я заметил: и старшая дженге тоже стала многозначительно улыбаться. Перед Насипхан мне, словно я совершил что-то недозволенное, было стыдно. Рассказать же ей все я тоже не мог — боялся. Боялся, что она поймет меня неправильно и еще, чего доброго, подумает, что я оправдываюсь. А потом, ведь если ничего не было, так о чем тогда говорить? Что рассказывать? То, чего не было? Я не знал, куда мне деться, ничего не предпринимал и в конечном счете оказался заподозренным.

Сурат сдержала свое обещание — пришла на работу. Тут я совсем растерялся. Пришла она к вечеру, когда на складе никого уже, кроме меня и сторожа, не оставалось. Пришла, словно на какой праздник собралась: в белой нейлоновой кофточке, в синей юбке, надушенная, накрашенная... Я на нее прямо загляделся. А она спрашивает про работу, смотрит прямо в глаза и все приближается ко мне... Я же как был, так и остался в своей старой рабочей спецовке — потому старался подальше от нее. Под конец, совсем меня к тюкам прижала. Все так же смотрит в глаза и шепчет:

— Тенгиз, знаешь, Тенгиз, как я по тебе соскучилась...

Я даже покраснел — стыдно стало за ее слова. Она протянула мягкие нежные руки и, глядя мою шею, поцеловала прямо в губы. Смутили меня окончательно ее духи — мне нечем стало дышать. Тут я сказал сам себе,

пусть весь свет переворачивается, и тоже обнял ее и поцеловал.

Потом, возвращаясь домой, проклинал все на белом свете и больше всех проклинал, конечно, Сурат. «Боже, что я скажу моей бедной Насипхан!» На душе было так противно, что домой возвращаться не хотелось вовсе.

У ворот стояла младшая дженге, и на лице ее блуждала, как мне показалось, еще более, чем обычно, многозначительная улыбка. Еле сдержался, чтобы не нагрубить ей. Вообще хотел молча пройти мимо, но она первая раскрыла рот:

— Никак теперь всех вас на работе женскими духами стали купать?.. Это мне знакомо.... — прищелкнула она языком. — Эх, все вы одним миром мазаны, — добавила она и, махнув рукой, направилась в сторону курятника.

Только я вошел в освещенный коридор, навстречу мне выскочила старшая дженге.

— Дурак! — вдруг хватаясь за голову, тихо выпалила она и начала своим платком обтирать мне лицо, потом поднесла платок ближе к свету, и я увидел на нем красные пятна.

— Эх ты, бессовестный горе-гуляка, иди умойся, — сердито толкнула она меня к умывальнику.

Потом все оставшиеся вечерние часы сидел перед Насипхан и не мог посмотреть ей в глаза. Она подумала, что я заболел, и сварила мне напиток из каких-то трав. Я не стал его пить, и мы из-за этого повздорили. Я стал раздраженно ее успокаивать. Она успокоилась, и тогда я стал целовать ее в губы. Она радостно засмеялась и, смеясь, недоуменно спросила:

— Чего кусаешься?

Я тоже обрадовался, что она обрадовалась, и сказал:

— Все так целуются...

А ночью она вдруг так поцеловала меня, что я от боли закричал:

— Не умеешь целоваться, так не лезь!

Она обиделась, и мы опять поссорились. Всю ночь мы не спали и не разговаривали. На работу я отправился с головной болью. В тот день опять пришла Сурат. Сначала я обругал ее и даже хотел прогнать, но она вдруг

заплакала и призналась, что любит меня. Мне стало жаль ее, и жаль было Насипхан, а потом мне стало жалко себя...

Домой идти не хотелось, и я остался на складе до утра. Осталась со мной и Сурат...

Насипхан в ту же ночь ушла к своим родителям. Я целую неделю не появлялся дома, и обо мне пошел слух, что я испортился. Меня приютила Сурат. По вечерам я рассказывал ей о Насипхан, она успокаивала меня и уверяла, что Насипхан вернется. Когда я начинал в это верить, то почему-то начинал вдруг капризничать. «Нет, она никогда ко мне не вернется, никогда не вернется...» — почти стонал я. «А если не вернется, — успокаивала меня Сурат, — оставайся у меня. Тогда я принимался ее ругать и порывался даже уйти. Сурат плакала и никуда меня не отпускала. Это было похуже всякой трагедии...

Один из родственников Насипхан пригрозил мне ножом, а муж младшей дженге — брат мой — ножом не грозил, но отколошматил меня так, как давно никто меня не колошматил. Домой возвращаться не хотелось, и я продолжал жить у Сурат.

Старший брат сам пришел ко мне на работу. Нет, он не ругался и тем более не дрался, он просто насильно отвел меня домой. Оказывается, все сестры опять собрались вместе. И вот состоялся суд, суд надо мной...

— Эй, бессовестный! — начала жившая в городе сестра, которую Сулеймен прозвал «обкомом». — Мы ему нашли жену, мы ему свадьбу сыграли, мы его поженили, а он нам в благодарность такую свинью подложил...

— Слишком, слишком мы его распустили... Все жалею: младший, младший... А он? Он что?.. — досадовала жившая в райцентре сестра, которую Сулеймен прозвал «райкомом».

— Слишком большого мнения о себе, — сделала коварный выпад старшая дженге и строго посмотрела на меня.

— Да, — сказала младшая дженге и тоже очень строго посмотрела на меня.

Самая старшая сестра молчала, но ее суровому лицу я догадался, что и она не одобряет меня.

Я, глядя на их суровые лица и слыша их грозные слова, чуть не плакал.

— Тогда верните мою Насипхан! — закричал я в отчаянии.

Тотчас с их лиц сползло суровое выражение, и все по очереди снисходительно улыбнулись мне. Было решено послать к родителям Насипхан женскую делегацию в составе самой старшей сестры и обеих дженге. Честно говоря, поскольку в это дело вмешались мои дженге, я мало надеялся на благополучный исход их похода в дом Насипхан. Так оно и получилось — делегация вскоре вернулась, вернулась ни с чем.

Мои дженге смотрели на меня с состраданием, но я знал, в душе они смеются надо мной. Самая старшая наша сестра, возглавлявшая делегацию, расстроенная постигшей ее неудачей, сказала:

— Я эту Насипхан больше на порог не пушу!

Это меня расстроило окончательно. Я даже тогда попробовал запить, но и из этого у меня ничего не получилось — я не умел и не любил пить. Попытался встретиться и поговорить с самой Насипхан, но и здесь меня ждала неудача — ее родители не подпустили меня даже близко к дому. К тому же Насипхан в это время переменяла место работы теперь она стала работать в поселке, на сахарном заводе. И я отправился туда...

Она вышла из проходной. Но здесь ее уже, поджидал, высокий парень. Я узнал его. Это был Башир-студент. Во мне разыгралась жуткая ревность. В эту минуту я возненавидел всех наших студентов, которые где-то пять лет мотаются, ну, пусть учатся, а потом приезжают каждое лето на каникулы домой и отбивают невест и даже жен.

Они стояли и разговаривали. Я же не мог тронуться с места. Вдруг Насипхан заметила меня и сразу же нахмурилась. Потом двинулась ко мне. Подошла, влепила бесцеремонно пощечину и проговорила:

— Ты, кажется, научился целоваться... Что ж, теперь я буду учиться целоваться, — повернулась и пошла.

— Насипхан! — еле сдерживая слезы, крикнул я.

— Чего тебе? — остановилась она.

— Ничего, — ответил я, забыв, что собирался с ней поговорить.

Она ушла, нарочно ухватив Башира под руку. Я ви-

дел, он не собирался давать ей руки, но Насипхан, чтобы досадить мне, прижала к себе его руку.

Я остался один. Совсем один...

Раскладушку свою я затащил обратно на чердак. О трагедии я больше не размышлял. Я стал писать стихи,

Я стал писать стихи... Стихи о любви. Это, наверное, закономерно: у кого несчастная любовь или кто любит безнадежно, тот начинает писать стихи, стихи о любви... Вообще, у нас в Сынтаслы таких поэтов много. Некоторые из них даже стали известными, то есть все знают; что они пишут стихи; другие, как я, сочиняют тайно. Есть и такие, которые вовсе не сочиняют, вернее, сочиняют их в уме, но никуда их не записывают—хранят в собственной душе для собственного успокоения. Я же писал. Исписал две тетради... Я перестал общаться с друзьями, перестал ходить в кино. Я искал уединения, чтобы остаться одному со своими переживаниями и возможностью изливать их на бумаге...

С Насипхан я не встречался и почти ничего не слышал о ней. Но я все время думал о ней. Как только темнело, я шел к ее дому, заглядывал в окно, надеясь, что она догадается, что я тут, выбежит, бросится ко мне... Нет, я видел по ее лицу, что она даже не переживает. Вот она спокойно читает книгу... Вот она спокойно гладит юбку... Вот она спокойно чистит платье... Спокойно тушит свет...

Подавленный, я возвращаюсь домой. И тут, при виде мрачных стен нашего дома, темных некрасивых сараев, курятника, построенного по типу маленькой птицефермы, даже при виде собаки, прибежавшей меня обнюхивать, я отчаиваюсь совсем. И только взобравшись к себе на чердак, который почему-то так не любила Насипхан, я понемногу начинаю успокаиваться. Я, как астроном, люблю смотреть на далекие звезды... Перед глазами встает образ милой Насипхан, я ее вижу такой, какой она была до замужества, когда мы ходили вместе в кино, вместе шли на берег реки и, обнявшись, долго где-нибудь там сидели. Она рассказывала мне про своих девчонок и смеялась, и я, заразившись ее смехом, тоже смеялся. Как она заразительно смеялась... Мы без конца могли говорить о пустяках, могли очень долго сидеть молча, и нам все рав-

но было хорошо: нас сближало что-то высокое и бесконечно нежное, о чем мы никогда не говорили вслух, но что находило выражение в каждом нашем слове, в каждом жесте и даже в молчании...

Мы молча смотрели вниз, на реку, и видели, как тонкое отражение луны вдруг терялось, тонуло в ее черных кипящих водах, а потом оно так же неожиданно всплывало, будто вырывалось из неволи, — и от этого нам становилось радостно. Потом, стоя над яром, мы поднимали головы и подолгу смотрели вверх, в черное звездное небо, мигающее, светящееся и еще более черное от всего этого непрочного света. И только холодный золотой диск луны был непричастен всему этому хаосу, он катился как бы сам по себе, заключая в себе весь запас света — пока еще не родившегося завтрашнего дня. И нам становилось радостно и одновременно тревожно оттого что приобщились к великой и вечной тайне...

...Теперь я полностью отдавался воображению. Я опять смотрю на звезды, на луну и думаю о миллионах спящих людей, которым сейчас не дано их видеть, я думаю о Насипхан и вижу ее лицо в чистом диске луны, потом оно начинает дрожать, дрожать, и вдруг желтый диск рассыпается золотой пылью, дорогой образ исчезает... Но усилием воли и воображения я начинаю его угадывать в светящейся звездной мозаике, этот образ занимает теперь все небо. Я отчетливо вижу мою Насипхан. Вот она спокойно читает книгу... Вот она спокойно гладит юбку... Вот она спокойно чистит платье... Спокойно тушит свет...

Я открываю глаза, рука с зажатым пальцами карандашом мелко дрожит. Я упираю карандаш в белый лист бумаги, рука перестает дрожать. И теперь только одно желание: писать, писать и писать... И вот уже слова складываются в строчки, строчки образуют строфы, я не пишу, я дышу стихами...

В бледном свете окна
Я увидел тебя, дорогая.
Эта полночь темна,
Только звезды глядят не мигая.

И луна с высоты
И на море глядит и на сушу,

Но не видит, как ты, —
В эту ночь одинокую душу.

Свет погаснет в окне,
И луна и звезда по соседству.
Ты не выйдешь ко мне —
И погаснет влюбленное, сердце.¹

Главное в стихах — это искренне выразить свои чувства, если, конечно, они есть. А меня чувства прямо-таки переполняли, и я писал и писал... Я тогда написал даже целую поэму о ревности. Там у меня действовал дракон, похищающий девушек. Под этим драконом я подразумевал того самого Башира-студента, который встречал На-сипхан около проходной, когда я пришел с ней поговорить. Вообще, этот дракон олицетворял не только Башира, но и всех тех наших студентов, что приезжали на каникулы и отбивали у аульских парней их девушек. Как я потом пришел к выводу, эта поэма, как, впрочем, и все мое творчество, заключали в себе романтическое начало. Наверное, все влюбленные в какой-то мере романтики, — ведь любовь, хотя она и приносит муки и страдания, самое романтическое чувство...

Я долго рассуждал о собственных стихах, вспоминал стихи, написанные другими авторами, и пришел к выводу, что должен опубликовать свои стихи. И эта мысль доставила мне сладостные минуты... Я видел себя читающим стихи в большой аудитории и рукоплещущих восторженных слушателей. Мне виделись подборки моих стихов на страницах журналов с моей фотографией, виделась моя поэтическая книга... Из города ко мне приезжают читатели за автографами, а мои дженге, радостные и милые, встречают и провожают гостей, а Каирхан-почтальонша каждый день приносит мне целую кипу читательских писем... И конечно же я вижу свою Наеипхан. Она сидит дома, а я с улицы смотрю в ее освещенное окно: она читает книгу моих стихов, а на глазах у нее слезы, она плачет и всё-таки читает. О как она сожалеет, что

¹Перевод В. Бояринова.

покинула меня... Я ей говорю: «Пойдем домой, я же тебя не забыл. Пойдем...» Через стекло ей ничего не слышно, а в дом я войти не решаюсь. Появляется ее хмурый отец и кричит мне: «Уходи отсюда! Опять пришел унижать мою дочь? Я зарежу тебя!» Отцы есть отцы, что с них возьмешь?! Я ухожу, зная, что все равно Насипхан вернется ко мне...

А однажды мне приснился сон, будто я стал лауреатом какой-то высокой премии. Мне торжественно вручают премию, Насипхан стоит рядом со мной (она уже вернулась ко мне), а я торжественно отдаю ей свою награду и говорю: «Это она сделала меня поэтом! Любите своих жен!» Зал, в котором все это происходит, долго рукоплещет и нас забрасывают цветами. Насипхан никак не решается поцеловать меня при всех — стыдится, а толпа гудит... Я прошу всех отвернуться. И тогда Насипхан целует меня... Я с криком просыпаюсь, облизываю языком губы... Она укусила меня точно так же, как в ту ночь, когда мы с ней поссорились. Но теперь я один. Мерцают звездами черный квадрат окна. Тишина. Я пытаюсь уснуть, чтобы сон мой продолжился... Но ничего не получается. Считаю, пытаюсь о чем-нибудь думать, потом, наоборот, пытаюсь ни о чем не думать — безрезультатно. Сна нет. Гаснут звезды. Растапливается ночная чернота... Громоподобный хохот взрывает тишину. Я, подбегаю к окну, вижу трясущиеся дома, хрустящие крыши... Потом хохот откатывается к горизонту, и отовсюду выползает тишина. Я понемногу успокаиваюсь, всматриваюсь в розовеющий восток — вот-вот всплывет красный диск... Я сажусь за стол под чистые звуки петушиной серенады. И опять пишу стихи...

Меня переполняют чувства, и я их не обуздываю, я их перевожу на язык звуков и придаю им естественный ритм, своего дыхания. Тщеславная мысль западает в голову, и вот уже кажется, будто нет теперь у нас стихотворца равного мне. Я вижу себя рядом с великими... От этого мне делается неловко, но как назло эта мысль долго не покидает меня. Я перечитываю только что написанные строки и погружаюсь в сладостные воспоминания и мечты....

Резко звенит будильник. Семь часов. Надо собираться на работу. Слышу, как внизу тарахтит тазик. Раздается голос старшей дженге:

— Опять этот противный ребенок намочил матрас!

Меня всего прямо-таки коробит от этих слов. Слышу шлепки по голому телу, а затем визг и плач самого маленького сына старшего брата:

— А-а-а! Ма-ма-ма!

— Он долго кричит. Мои уши, кажется, не выдержат, и я раздраженно кричу с чердака вниз:

— Ты, «пистолет», она тебя бьет, а ты все равно «мама» кричишь! Чего ты кричишь? Замолчи! Меня он понимает и замолкает.

— А ты чего ребенка бьешь? — кричу я на старшую дженге.

— Мой ребенок — хочу и бью! — кричит мне снизу дженге.

— Чего разоралась? — раздается сонный голос ее мужа.

Наступает тишина. Я продолжаю одеваться. На крик из комнаты выходит поздно спохватившаяся младшая дженге, которая готова повздорить в любую минуту.

— Посмотрим, что ты запоешь, когда сам займешь такого? — пытается она завести со мной диалог.

Я не реагирую. Я спокойно спускаюсь по лестнице вниз, показываю ей язык и говорю всего лишь одну фразу:

— Поезд ушел, а чемоданы в вагоне,

— Какой поезд, какие чемоданы? — испуганно смотрит на меня младшая дженге.

— Какие чемоданы? — спрашивает старшая дженге.

Я спокойно прохожу, мимо них и направляюсь к умывальнику. Они, ничего не понимая, вопросительно переглядываются друг с другом и потом следуют за мной.

— Какие чемоданы? — с недоумением спрашивает старшая дженге.

Я молчу. Они стоят и смотрят на меня. Младшая дженге показывает, вращая пальцем, на висок, дает понять, что я рехнулся.

— Ага-ага... — намыливая лицо, поддакиваю я.

Они пожимают плечами и уходят.

Ах, проза жизни, проза жизни! Куда от тебя деться? Как трудно после горестных ночных переживаний и сладостных мечтаний увидеть вот эту суету, услышать вот эти скучные, ничтожные разговоры, плач детей, перепалку домочадцев... Тоскливо смотреть на сонно-суровые лица братьев, которые примутся, сейчас давать мне указания и вдобавок еще напомнят о моей неудачной личной жизни... Потом все мы молча сядем за стол, молча позавтракаем и разойдемся на три разные стороны, а вечером опять соберемся здесь за едой. Вечером крик и плач детей будет еще громче. Дженге, как бы между прочим, расскажут массу сплетен. Потом все отправятся смотреть телевизор. И я опять останусь один. Задам корм скотине, проверю замки и засовы, сбегая искупаться на речку и лишь затем останусь наедине со своими мыслями и переживаниями...

Проза жизни... С тех пор как я стал писать стихи и с тех пор как мне в голову стали приходиться всякие тщеславные мысли, я стал подумывать, а не начать ли мне писать и прозаические произведения — рассказы, повести... Вокруг меня происходит много такого, о чем я потом думаю, что я как-то по-своему переживаю... От меня ушла любимая, и я начал писать стихи. Теперь тоже нужен был какой-то толчок... Чтобы начать. И я начал писать свой первый рассказ, когда меня клюнул петух, пусть клюнул и не в буквальном смысле этого слова.

За двором слежу я. И не потому, что таково мое желание. От меня это и не зависит — младший слушает старших. А я в нашей семье из всех взрослых самый младший.

Меня даже не бесит то, что я обязан следить за двором, а бесит то, что я младший. Если бы я был старшим, я тоже задерживался бы после работы: заходил бы к друзьям, родственникам... Чтобы приходиться домой поздно, на то есть уйма причин. Но только не для меня, потому что я — младший. И меня бесит, что я младший. Но дело даже не в этом...

В тот день хлопот у меня было не так-то много. Не надо было менять ворота, не надо было копать яму, не надо было возить силос... Надо было только убрать в лет-

нем хлеву навоз, положить корове сена, загнать овец и задать им корму, оттащить теленка от коровы и привязать где-нибудь в сторонке. Выполнив эти свои обязанности, я принялся за обязанности старшей дженге: пока она разливала для детей по кружкам парное молоко, я стал загонять в курятник кур и индюков. Индюки были целы и куры были целы, а вот рябой петух куда-то запропастился. Я обшарил весь двор, выскочил на улицу, а потом, сгоряча, даже закричал по-петушиному: «Ку-ка-ре-ку-у!» Петух не появлялся, но зато появились дети с кружками в руках.

— Тенгиз, покуракекай еще, — завизжали они от радости.

Мне было не до кукареканья.

— Что случилось? — спросила старшая дженге.

— Рябой петух пропал, — сказал я.

— Наверно, машина задавила... — схватилась она за голову, будто случилось непоправимое горе. — Или вот эти паршивцы, — указала она на своих голопузых, — камнями убили и бросили куда-нибудь в овраг. — Ох, я вас!.. — закричала на них дженге в расчете, что они испугаются и сознаются.

Дети испугались, но не сознались.

— Ма! Мы не видели петуха... — закричали они в один голос.

— Не верю вам, — сказала дженге и вышла на улицу.

Дети последовали за ней.

Уже темнело, и вскоре они вернулись, разумеется, без петуха. Весь вечер своими причитаниями старшая дженге не отпускала меня от себя. Она стояла, прислонившись к стене, смотрела на меня и рассказывала:

— Вчера ветеринара позвала. Куриный мор начался, Всем курам и этому петуху уколы сделали. Наверное, бедный петух ослаб и умер где-нибудь...

— Умер так умер, — вяло поддержал я разговор.

— А может, кто его украл? — предположила она.

— Нужен кому твой петух.

— Может, к Лукману в колодец попал, — высказала она новое свое предположение.

— Значит, утоп. Лукмана жаль. Корова не станет пить

из колодца воду, в котором дохлятина, — как можно хладнокровнее сказал я, начиная раздражаться от ее глупых предположений.

— Тенгиз, найди петуха, — тупо настаивала дженге.

— Тенгиз, а петухи плавают? — спросил ее младший сын.

— Петухи только ныряют, — ответил я ему как можно серьезнее.

— А куры?

— Что куры?

— А куры тоже ныряют? — не унимался он.

— Куры плавают, как лодки, — ответил я ему и подумал, что он отвяжется.

— Но не тут-то было.

— А лодки из чего делают? — выставил он мне новый вопрос.

— Из соломы, — решил продолжать я борьбу.

— Ага, — наконец-то успокоился любознательный мой племянничек, но тут же опять спросил: — А откуда этот свет в лампочке?

Я посмотрел на горящую лампочку и понял, что теперь расспросам не будет конца.

— Бог зажигает, — сказал я.

— А бог есть? — спросил он. Надоел он мне окончательно, и я выпалил:

— Бога нет!

— А свет? — был его очередной вопрос.

— Я тебе такой сейчас дам свет... — сорвался я, а успокоившись, пригрозил: — Сейчас возьму тебя и отнесу к черту!

Надо сказать, черта он боялся, а потому, чуть не заплавав, умолк.

— Где же наш петух? — почти взмолилась старшая дженге.

— Тут уж я взбесился.

— Пришел Шомат и убил его палкой! — выпалил я, вспомнив историю о другом петухе.

— Чего ты ерунду мелешь? — рассердилась дженге.

— Думала, ты хоть раз в жизни сделаешь доброе дело, а ты...

Тут меня выручил малыш.

— Тенгиз! Тенгиз! — закричал он. — А почему Шомат с чертом дружит и почему с палкой ходит?

— Отстань ты от него! — закричала дженге и больно шлепнула его по заду. Он заорал.

— Иди, иди спать, — крикнул я. Старшая дженге, рассердившись на меня, тоже ушла. Я был вне себя и, взобравшись на чердак, написал тогда рассказ, свой первый в жизни рассказ — рассказ о петухе. Только не о нашем петухе. Наш петух на следующий день сам объявился. И никто до сих пор не знает, где он тогда был.

ПЕТУХ

Из-под плетня высунулась любопытная головка с красным гребнем, затем она скрылась в пыли, которую подняли настойчиво скребущие землю лапки. Расширив дыру под плетнем, рябой петух ворвался во двор старого Шомата. Он загарцевал на выложенной кирпичом площадке двора, загарцевал и, насторожившись, замер. Но не успел петух кинуться в сторону, как сучковатый посох сбил его на землю. Петух захлопал чубарыми крыльями, разметая вокруг себя пыль на кирпичной площадке, захрипел и упал. Старик Шомат вышел из своей засады — штабелями аккуратно сложенных кизяков, поправил папаху, погладил седые усы и подошел к птице.

— Ага, попался, голубчик! — торжествовал он. — Теперь не будешь общипывать моих красненьких петушков и картошку мою клевать не будешь! Ее у меня не так много, чтобы чужих красавцев кормить.

Старик, не сгибая ног, нагнулся, поднял бездыханного петуха и, крикнув, вышел с ним со двора.

Во дворе, напротив, старушка Минат, возившаяся возле летней печки, подняла в это время голову и увидела Шомата. С каждым его шагом глаза Минат расширились. Плечи ее от удивления так поднялись, что голова чуть не исчезла между ними. Потом Минат встрепенулась, словно квочка, вспугнутая с яиц, и в единый миг оказалась возле Шомата.

— Что это, Щомат? — тихо спросила она, впиваясь глазами в ношу.

— Возьми! — Шомат бросил петуха к ее ногам. — Говорил тебе, чтоб следила за своими петухами.

Старик, сощутив глаза, пристально посмотрел на Минат и так сжал губы, что кончики усов поползли вверх к скулам.

— Вай... Жестокий, — в замешательстве успела вымолвить Минат, нагнулась и подняла петуха, а подняв прижала к уху. Голова у петуха висела.

— Не дышит, — тяжело прошептала Минат и рукавом черного платья обтерла выступивший на лбу пот. Косынка на ее голове сбилась, она набрала полную грудь воздуха и, на секунду замерев, выдохнула: — Убил... Люди! — закричала старуха... И пошло-поехало. — Чтоб у тебя была короткая судьба! Чтоб рука твоя, которой ты душил созданную Аллахом чистую птицу, высохла и стала твоим надмогильным камнем... — старуха махала мертвым петухом перед самым носом Шомата, а тот еле успевал отклонять свою голову. — Такую душевную птицу убил... — продолжала Минат.

Старик огляделся по сторонам и увидел, как из-за плетней и глиняных заборов выглядывали головы в платках.

— Молчи, женщина! Весь ямагат¹ подняла... У тебя было три рябых петуха. Теперь только два будут гулять в моем огороде, а если и их поймаю, то ни одного, — сказал спокойно Шомат.

— Люди! Что он говорит! Вы слышите, что он говорит? Хочет весь мой курятник изничтожить!.. Откуда Аллах мне такого соседа прислал... Ой, ой, ой! — причитала Минат. — В прошлом году индюка дохлого под забором нашла... С таким соседом немудрено всей семьей на тот свет отправиться... Разбойник Мирзабек каждое лето яблони ломает, а этот обезумевший старик всю птицу передушил!.. Ай-ай!.. Зачем, Аллах, ты так ко мне немилостив? — не успокаивалась она.

— Женщина! — оборвал ее Шомат и, надвинув на глаза свою новую папаху, сердито взглянул на нее. — Чтобы длинное слово было коротким... Что было, то произош-

¹Ямагат — квартал в ауле; место сходимости аульчан.

до... Отдай лучше какому-нибудь мужчине, и он зарежет птицу по обряду... Я не хотел убивать его, бросил посох и... Не думал я, что такой боевой на вид петух и так сразу сникнет... Пока у петуха жизнь теплится, пусть нож мусльманина прикоснется к его горлу.

Петух, не шелохнувшись, висел на руке Минат. Она, обдумывая слова Шомата, внимательно на него смотрела, а потом, враз успокоившись, протянула петуха.

— Шомат, зарежь, — ласково попросила Минат.

Шомат посмотрел на нее и, поняв, что она успокоилась, коротко бросил:

— Нет! — и добавил, направившись к воротам: — Мужчина до конца должен быть мужчиной.

— О, чтоб твоя судьба стала короче! О, чтоб ноги твои высохли! А твоего Мирзабека на шаг к дому своему не подпущу... И передай своей старухе, чтоб на сепаратор больше не приходила... О, убийцы!.. Ишь чего, мою Зарему они захотели!.. — не унимаясь, кричала и кричала Минат вслед исчезнувшему за высокими деревянными воротами Шомату.

Вечером эту историю с петухом знал уже весь аул, и даже прошел слух, что старая Минат собирается подать на Шомата в суд. К ужину в доме Минат варился петушинный суп. Другой ее сосед, Якуб, зарезал птицу по обычаю.

Когда темнота, как буркой, прикрыла эту местность и пока в доме Минат варился петушинный суп, за аулом, в почерневшем стогу соломы, сидели парень и девушка. За поцелуями и объятиями они не слышали ни стрекота сверчков, ни последнего шума засыпающего аула.

— С ума посходили старики, живодерством стали заниматься, — сказала девушка.

Парень крепче обнял девушку за плечи.

— Старухи не лучше, — ответил он.

— А чего старухи? Какое он имел право чужую птицу убивать, пусть даже не нашу, пусть бы, например, она была бектемировская... Разве хорошо?.. — сказала Зарема, сдувая прилипшую к ноге солому.

— Старик тоже по-своему прав, — молвил парень, подняв глаза на звездное небо.

— Но почему он прав?.. — высвободилась из объятий парня девушка. — Ты хоть его не защищай.

— Потому он прав, что этих петухов мы несколько раз отлавливали в картошке. Но это все ерунда... А люди пускай смеются. Нам какое дело до них?..

— Теперь дело и до нас с тобой дошло. Тебе разве все равно, что начали говорить: «Минат ни за что не отдаст свою Зарему за Мирзабека»? Разве хорошо, что люди стали так говорить?

— А ты никого не слушай и не усложняй... Кончится уборка, я и спрашивать ни у кого не буду, — оборвал Мирзабек и снова обнял ее за плечи.

— Так и не будешь? — высвободилась она из его рук. — Если наши семьи не помирятся, я за тебя никогда не пойду...

— И у тебя не буду спрашивать, — засмеялся Мирзабек, и снова его рука легла на ее плечо.

— Ах!.. Если так, то я тебя, как того нашего петуха, задую ночью. Понял! — и она показала ему кулак, а потом поднесла к его носу.

Он слегка укусил ее за пальцы и потом обнял. Она попыталась освободиться из его объятий, но он держал ее крепко.

— Отпусти! — взмолилась Зарема. — Ну что у нас за жизнь с тобой будет? Сейчас-то нет согласия. Зря я только с тобой связалась...

— Иди ищи другого, а я про тебя такую песню спою, что на сепараторе¹ только и разговору будет о тебе, — посмеиваясь, сказал Мирзабек.

— Ну иди и пой! — она оттолкнула его и вскочила на ноги. — Тоже мне, муж нашелся! Шоферишка босоногий...

— Ты это кончай! Шоферов не трогай! — притворно сердито закричал на нее Мирзабек. Потом усадил ее на солому и стал успокаивать: — Ну, что ты на всех обращаешь внимание? Мой старик вообще из ума выжил. Меня, понимаешь, меня, который полностью отдает ему зарп-

¹В домах, где имеются сепараторы и куда приходят крутить молоко, рассказываются все аульские новости и сплетни.

лату, куском хлеба попрекает. В пример старших братьев ставит!.. А про меня говорит, что я ленивый, ничего по дому не хочу делать... Если бы ты его только послушала... Что люди говорят, это еще можно терпеть, а вот что он говорит! Вторую неделю грызет: достань да достань ему брезент... Навес, говорит, хочу сделать, чтоб на свадьбе люди могли во дворе сидеть...

— Ну и правильно говорит, — перебила его Зарема.

— Правильно-то правильно... Только где я ему возьму этот брезент? Он на дороге не валяется. Так просто никто его тебе не даст...

Уже забыв о том, что чуть только не поссорились, они размечтались... Так пусть они сидят себе и мечтают. Не станем им мешать. Лучше посмотрим, что тем временем творилось в ауле...

Шомат спустил с цепи собаку и пошел в дом, чтобы хорошенько осмыслить события истекающего дня. В комнату жены он даже не заглянул: незачем ему было идти к ней в эту трудную минуту. «Нечего еще одну женщину впутывать в эту болтовню», — говорил он сам себе. Жена Шомата никогда не вмешивалась в дела мужа, и сейчас она сидела в своей комнате и чесала шерсть. Ее руки и мысли были так заняты шерстью, что она и думать не хотела об истории с чужим петухом, так как считала, что муж и сам разберется в этом происшествии...

Пусть жена Шомата чешет шерсть, пусть сам Шомат думает, как ему разобраться в происшествии, мы не станем им мешать и покинем их уютный дом...

Минат сидела во дворе подле печки, и ей в голову приходили мысли не менее тревожные, чем старику Шомату. Она разламывала на колене кизяк и бросала кусочки в огонь. Но не дадим бедной женщине терзаться тревожными думами. В таких случаях в народе говорят: «Чтобы излить горе и успокоиться, нужен только хороший собеседник». А такой собеседник в ауле имелся. Им была низенькая, горбоносая, однозубая Бийке, и зимой и летом ходившая в черных бурках, которым, кажется, не было износа. У старухи Бийке был необыкновенный слух. Как известно, в ауле никакой хабар лежать на земле не

будет, так что и наш хабар мгновенно был подхвачен необыкновенным слухом Бийке, а ее горбатый нос мгновенно уловил запах петушиного супа. Черные бурки тотчас донесли Бийке до двора Минат. Маленькая фигурка юркнула в полуосвещенный двор. На скрип калитки Минат даже не обернулась. Огонь из печи четко освещал ее хмурое лицо. Бийке сразу поняла, что явилась в самый раз, и ее ноздри еще сильнее раздулись от запаха петушиного супа.

— О, бедненькая! — пропела она. — Вот я и пришла разделить твою горе. — Бийке сразу нашла, на что сесть, и пододвинула к Минат несколько кизяков. Сев, она устремила сочувствующий взгляд на Минат.

Минат, не терпевшая Бийке, потому что та была «необыкновенная» и потому что ее горбатый нос был таким вездесущим, сказала ей:

— Спасибо, Бийке. Садись, погреемся у огня.

— И все-таки варишь?.. Я бы отнесла ему, этому выжившему из ума старику, отнесла бы эту замученную птицу и бросила в его бассейн с водой... О, чтоб его век жизни сократился! — Бийке говорила быстро и через каждое слово взглядывала на Минат, ища на ее лице поддержки.

Угрюмо сидевшая Минат вздохнула. Бийке тоже вздохнула.

— Я слышала, — начала Бийке, — что ты собиралась свою Зарему за его младшего сына... — Она не договорила и полувопросительно посмотрела на Минат, потому что ей было не ясно, что та думает насчет этого, а с обвинениями сама она решила не торопиться.

— Бийке, милая, я никогда об этом не думала. Что я, по-твоему, с ума спятила, чтобы на такое решиться... В этом ауле ложь летает быстрее той ракеты, которую в небо пускают. Аллах, сохрани меня и Зарему! — оживилась Минат, и ее тревожные думы стали рассеиваться.

— Конечно, я так и думала, что это вранье. Разве можно последнюю свою дочь отдавать в такой дом! Этот голодранец Шомат всю жизнь сторожем проработал, а твой покойный в бригадирах ходил. Разве не так?!

Минат в ответ кивнула, а Бийке уже торопилась с обвинениями;

— Да они всю жизнь из нищеты не выбиваются, и отец этого Шомата был голь голью, — ища поддержки, Бийке опять посмотрела на Минат, и та, соглашаясь, вздохнула. — Вот ты, Минат, сейчас в доме одна хозяйка, а у тебя все есть... И дом чистый-пречистый, и на стол есть чего подать... А у них? Того и гляди, дом завтра развалится, за двором никто не смотрит, а этот изувер еще разбоем занимается... Хорошо, что днем убил, на глазах людей, а то прикончил бы ночью, сварил да и слопал бы сам! — Бийке опять посмотрела на Минат. — А его жена? Сам Аллах не ведает, чем она занимается! Никто ее не видит, и она никого не видит...

Бийке, кроме своей «необыкновенности», была еще неугомонной. Она стала перечислять всех родственников Шомата и говорить, кто чем занимался и кто как осрамился перед аулом. Чего только не узнала Минат про своих старых соседей! Оказывается: прадед Шомата сбежал в Турцию, бабушка Шомата молола зерно на княжеском дворе и была гулящей, какой-то родственник Шомата был чахоточный, а какой-то задавил на машине человека и сидит в тюрьме.

Минат прямо ахала, ведь сколько лет она — соседка. Шомата и ничего этого не знала. Теперь она знала все грехи шоматовского рода и ей этого было достаточно.

— Бийке, хватит, — сказала она. — Я и так убедилась. Ни за что они не получают мою Зарему. Спасибо, Бийке. Приходи завтра есть суп...

Бийке, поджав тонкие губы, надулась и замолчала. Мечта о вкусной трапезе отодвинулась на целую ночь. «Зачем я, старая дура, приплелась сегодня? Могла и завтра прийти. Успела бы рассказать... О, неблагодарная Минат!» Но делать было нечего — надо было уходить, чтобы окончательно не надоесть хозяйке петушиного супа. Напоследок Бийке заглянула в дымящийся казан, понюхала, похвалила суп, упрекнула про себя Минат за неучтивость, а вслух пожелала «спокойной ночи», и ее черные бурки исчезли за калиткой...

Суп варился. Минат, озадаченная, сидела у печки, и языки пламени освещали ее морщинистое угрюмое лицо. Она опять не услышала, как скрипнула калитка.

— Бисмилла! — вскрикнула она, когда высокий мужчина в соломенной шляпе очутился уже подле нее. — Ох, напугал, долговязый, — сказала она, узнав своего родственника Карайдара.

Карайдар сел на то место, на котором только что сидела Бийке, и протянул к пламени руки, а потом спросил:

— Что у тебя делала эта старая карга?

Минат пропустила слова родственника мимо ушей и стала утирать слезы. Были они или нет на самом деле — это определить трудно.

— Ну, что с тобой, апытей¹? Зачем так мучаешь себя? Разве можно из-за какого-то петуха так надирать свое сердце?.. — стал успокаивать ее Карайдар.

Карайдар еще с довоенных времен работал учителем младших классов в школе, и в ауле его иначе и не звали, как «длинный учитель Карайдар». У Карайдара была большая семья, жил он в большом доме, и был у него самый лучший в ауле яблоневоый сад. И еще — он самый спокойный человек в ауле. Он редко когда, во что вмешивался, однако сегодня, услышав от жены, что здесь произошла ссора, решил навестить родственницу, чтобы потом о нем плохо не думали. Карайдар с мнением людей считался.

— Ох, жизнь, жизнь! — запричитала Минат, и настоящие слезы брызнули из ее глаз. — Да разве я виновата в том, что так ослаб наш род...

— Апытей, не надо... Не надо так... — просил длинный Карайдар, глядя Минат по плечу. — Перестань...

— Перестань? Зачем я буду переставать? Обижают старую женщину, и некому за нее заступиться... — Минат еле успевала кончиком платка утирать слезы.

— Ну, чего ты хочешь, апытей, скажи! — начал волноваться Карайдар, и его соломенная шляпа съехала набок.

— Ничего! — воскликнула Минат.

— Ну, как ничего?!

— Ничего... — продолжала всхлипывать старая женщина.

¹Апытей — старшая сестра (уважительное обращение).

— О, Аллах! — вскочил самый спокойный человек аула. — Скажи же, что мне делать?

— Ничего! — продолжала лить слезы Минат,

— Ну, затвердила...

— Меня обижают, а ты спокойно смотришь на это, — прервала свой плач Минат.

— Я пойду зарежу Шомата и дом подожду. Пойду зарежу этого айвана¹... — тяжело дыша, выпалил самый спокойный человек аула. — Мою тетушку обидел зверь! — взревел Карайдар и, поправив ремень и шляпу, решительно двинулся к калитке.

— О, Карайдар! Пусть я стану жертвой... Ради Аллаха, не ходи туда! И не вздумай резать Шомата! Я тебя об этом не просила, — Минат повисла у него на руке.

— Нет, уйди!..

— Карайдар, подумай о своих детях, подумай о работе! А жена! Ведь она тебя, Карайдар, съест после этого...

У Карайдара опустились плечи...

В это время вновь скрипнула калитка, и во дворе опять оказалась «необыкновенная старушка». Увидев людей посреди двора, она остановилась, не решаясь ступить дальше, выжидая, посмотрела на разъяренного аульского учителя, потом на Минат. Минат доброжелательно встретила взгляд Бийке. «Необыкновенная старушка» на цыпочках подошла к Минат, приложила руку к ее уху и прошептала:

— Она там, за аулом...

— Где? — вскрикнула Минат.

— У стога, — опять прошептала Бийке.

Минат бросилась в дом и, укутавшись в шаль, вышла.

— Ждите меня здесь! — твердо сказала она и захлопнула за собой калитку.

Два врага; аульский учитель — «самый спокойный человек аула» и «необыкновенная старушка» остались вдвоем возле кипящего казана с петухом.

Тишину нарушили осторожные шаги, в темноте мелькнул чей-то силуэт.

Девушка, испугавшись, прижалась к парню и спрята-

¹ Айван — зверь.

ла голову у него на груди. Парень продолжал сидеть, стараясь не выдать своего волнения.

А силуэт все приближался. Он остановился неподалеку от стога.

Увидев в руках у незнакомца хворостину, парень подумал, что у кого-то запропастилась скотина... Но силуэт решительно двинулся к стогу. У парня забилося сердце. Девушка что-то прошептала, чего парень не расслышал.

— Ах, думали, я старая, думали, меня провести... Вот где вы прячетесь?! Вставай, бесстыдница! Мать при жизни позоришь! С убийцами связалась... — прокричала в темноту Минат и погнала дочь, словно козочку, не вернувшуюся со стадом.

Старая женщина и ее дочь прижимались к забору, чтобы не быть замеченными на освещенных улицах. Позади плелся парень. Он никак не мог сообразить, как это Минат, никогда не выходившая из дому ночью, нашла их...

Минат помахивала хворостиной и шептала неведомо кому:

— Захотели мою Зарему! Ишь ты, чего захотели...

— Ночью мясо заставил есть! Проклятый старик! Хоть поздно, а есть придется. И так целый день подбородок чесался... — невесело проговорила Минат, нарушив долгое молчание сидевших за круглым низким столом.

— Весь вкус петуха в первом наваре! — не сумела скрыть своей радости Бийке и сразу запнулась, поймав недобрый взгляд Карайдара.

Все замолчали, и было слышно, как Минат разливала суп по чашкам.

Вдруг скрипнула калитка, и в темноте показался человек с ношей под мышкой. Встревоженная Минат придвинулась ближе к людям и устремила взгляд в темноту. Человек подошел ближе, и сидящие ахнули...

— Минат, — ласково обратился Шомат. — Оживил я твоего петуха. Даже поправился он, как индюшачий атаман стал... Возьми, — и старик протянул связанного по ногам черного петуха.

Все молчали. Карайдар и Бийке сидели, а Шомат и

Минат стояли — Шомат с петухом в руке, а Минат с чашкой, из которой струился парок.

— Ну, ладно, Минат. Петух хороший, чтоб без обиды... Доброй ночи... — Шомат, положив петуха возле печи, собрался уходить.

— Возьми, — шепнула Бийке.

— Да что ты, Шомат? Да разве стоит из-за такого... Возьми петуха обратно... Этот же не пропал... Видишь, суп едим...

— Возьми, — опять раздался настойчивый шепот Бийке. — Мне потом отдашь...

— Что ж я стою как остолбенелая... Иди, Шомат, садись с нами за сыпыру¹. Так хорошо сварился наш петух. Садись! — просила Минат...

Минат с Бийке, поставив чашки на колени, а Шомат с Карайдаром за сыпырой поели с большим аппетитом суп из петуха, принесшего столько тревог в этот день.

— Пусть сыпыра на той выйдет², — сказал, глядя лицо руками, Шомат и встал из-за столика.

— Пусть... — ответила Минат.

— У меня тоже выйдет, если ты поможешь, Минат.

— Поможем, Шомат...

Зарема все слышала в приоткрытую дверь и радовалась.

Вот так и покончили с петухом. А того петуха, которого принес Шомат, заполучила за свои старания пронырливая Бийке. Длинный Карайдар тоже оправдал себя в глазах родственницы.

А что же осталось от рябого петуха?

Остались перья, аккуратно сложенные в тряпичный мешочек, а мешочек этот хранится на чердаке. Может, кто-нибудь когда-нибудь обнаружит этот мешочек и тогда вспомнит, а может, если она будет жива (дай, Аллах ей здоровья!), вспомнит сама Минат эту историю с петухом...

¹ Сыпыра — столик на трех ножках.

² Пусть сыпыра на той выйдет — пожелание скорой свадьбы.

Я закончил свою первую прозаическую вещь — написал свой первый рассказ... Меня даже пот прошиб... И снова приятные мысли полезли в голову... Я видел рассказ уже напечатанным, видел свою фотографию на журнальной странице, видел крупным шрифтом набранное название — ПЕТУХ... И везде — Тенгиз Сынтаслынский, Тенгиз Сынтаслынский... Но главное даже не это. Это уже было. То есть были уже подобные мечты, когда я писал стихи... Теперь же я горд был не только за себя, но и за земляков.

В стихах я выражал собственные чувства и собственные мысли, в стихах я писал о себе. Теперь же я представлял, да что там представлял — воочую видел героев моего рассказа, приходящих в восторг оттого, что про них написали... Они прибегают ко мне, говорят слова благодарности, жмут мою руку... Ох как обрадуются мои гордые земляки! Мои земляки, считающие, что весь мир делится на две части: одна, главная часть, — это Сынтаслы, а другая — все остальное... «Зачем нам теперь телевизор, — скажут они, — когда есть писатель Тенгиз Сынтаслынский? Тенгиз рассказывает о нас всему миру, а телевизор рассказывает нам всего лишь об остальном мире. Нет лучше писателя, чем Тенгиз Сынтаслынский, и нет лучше произведения, чем рассказ о сынтаслынцах — «Петух»!»

Кому-то может показаться, будто писать рассказы — очень простое занятие: описывай, что видишь, вот и все... Я тоже, пока с этим не столкнулся, так думал. Теперь-то я знаю, как трудно писать рассказы. Ведь даже начальную сценку убийства петуха я переписывал несколько раз — хотелось добиться полной достоверности. Я бил себя кулаком по голове, чтобы представить то состояние, в котором находился петух, когда Шомат угодил ему в голову своим посохом. Когда я колотил себя по голове, только тогда я понял, что петух должен прохрипеть и упасть. Что и говорить, я был в восторге от своего рассказа, я был в восторге от своего труда...

Нет, я положительно не тот человек, который способен скрывать что-то от окружающих. Потому и рассказываю о себе многое такое, о чем другие ни за что бы не

рассказали. И в этом отношении я немного напоминаю младшую дженге. В нашей семье все живут по принципу: «Сердце не половик, чтобы каждому его топтать». И каждый что-то непременно скрывает от других. Мои братья что-то скрывают от дженге, дженге в свою очередь что-то скрывают от детей, дети — от своих родителей, а все вместе стараются как можно больше скрыть от посторонних. «Не выносите сор из избы», — постоянно твердит самая старшая наша сестра, единственная в семье, кто знает обо всех все.

Старший брат — это прямо идеал скрытности. Он по своей природе молчун. Мне даже странно: такой здоровяк — метр девяносто ростом, широкоплечий — и... молчун. Смотрит своими большими черными глазами и молчит. Правда, он очень любит хозяйство. Я не удивляюсь, что до сих пор не знаю, сколько у нас в точности овец, хотя наверняка знаю: их больше, чем положено иметь сельскому человеку. Часть наших овец всегда находится в маленькой отаре самой старшей нашей сестры, а то, что знают самая старшая наша сестра и мой старший брат, этого не знает никто.

Кстати, мой старший брат очень любит овец. Несмотря на то что за домашним скотом ухаживать должен я — это одна из моих обязанностей, он добровольно исполняет эту обязанность сам, за что я ему, разумеется, благодарен. Я рад, что мой старший брат так любит овец. Приходя с работы, он берет хворостину и отправляется на реку — там на сочных пастбищах пасутся наши овечки — и пригоняет их домой. Когда он гонит их домой, то почти всегда чему-то улыбается. Он сам их стрижет, сам купает в креолине, сам следит за ними...

Раз с ним произошла даже такая история. Однажды овца почему-то перестала подпускать к себе ягненка. Тогда мой старший брат стал его кормить с руки. А когда настали большие холода, забрал его в дом и через соску кормил коровьим молоком. Ягненок в конце концов так привык к дому, что когда подрос и стал настоящим бараном, то все равно продолжал ходить в дом. Откроет сам входную дверь и бродит по комнатам...

Как-то старший брат поехал в райцентр и привез от-

туда зеркальный шифоньер. Брат, конечно, не знал, что барана может привлечь зеркало, а баран, разумеется, не предполагал, чего стоило моему не много скуповатому брату купить этот шифоньер. Баран заходит в комнату и видит в зеркале шифоньера себе подобное существо, то есть другого барана. Наш баран нахмурился и замотал своей рогатой головой. И тот баран нахмурился и замотал своей рогатой головой. Наш баран затопал копытами. И тот баран затопал копытами, чего наш баран вынести уже никак не мог и приготовился к бою. И тот баран, к удивлению нашего, тоже приготовился к бою... Через секунду наш баран был весь усыпан битым стеклом. Тот — баран куда-то исчез, а вместо него в комнате возник мой старший брат, в вопле которого слышалось: «Убыток, убыток...»

Несмотря на убыток, мой старший брат все-таки сжался над провинившимся бараном и не зарезал его. Он выменял его у соседа на другого. Я же говорил, что мой старший брат очень любит животных.

За пределами нашей семьи никто, конечно, этой истории не знал, она у нас считается секретной. Мой старший брат старается вообще держаться подальше ото всех говорящих. Хотя у него нет такого чердака, как у меня, зато у него есть летняя кухня, где он спит, скрываясь от своей шумной жены и от ревущих детей. А перед сном обязательно читает. У меня он книжек не берет. Поругать он меня может, а вот книжку попросить не может. Как я понимаю, не желает связываться.

Книжки старший брат берет в аульской библиотеке, хранит их очень аккуратно, но вот где хранит, — это загадка. Однажды я увидел у него «Гаргантюа и Пантагрюэля» Франсуа Рабле и попросил почитать...

— Как прочту, пойдем вместе в библиотеку и перепишешь на себя, — сказал он мне вот в такой форме.

— А так нельзя? — попробовал я ему возразить.

— Нельзя. Вдруг порвешь или пятно какое поставишь, а подумают на меня... — аргументировал он свой отказ окончательно:

«Ну, ладно, эгоист...», — подумал я и прекратил наш спор. На следующий день я решил утащить у него книгу,

прочитать за ночь и потом положить ее незаметно на прежнее место. Я обшарил всю кухню, весь дом, заглянул в сарай и даже расспросил детей. И все напрасно. На работу брат книг никогда не брал — это я точно знал. Вечером, случайно заглянув в окно летней кухни, я ахнул; брат спокойно лежал на тахте и читал «Гаргантюа и Пантагрюэля»... До сих пор не приложу ума, где он мог прятать библиотечные книги. Скрытнейший человек мой старший брат. И еще он очень хозяйственный.

Сейчас он увлекся пчелами.

— Зачем тебе они, — отговаривала его жена, — перекусают ведь всех...

— Они мирные. Если их не трогать, то никого они не перекусают. А зато мед... И почти никакого ухода. Сами собой размножаются, сами мед дают, — вяло отмахивался старший брат.

Сейчас у нас во дворе только один улей, но я чувствую, что скоро у нас будет целая пасека.

Как-то я прибежал к брату, чтобы сообщить ему последнее достижение науки и техники.

— Космонавты на Луну полетели!..

— Чего кричишь? Пусть летят. Может, и на Марс полетят... — спокойно ответил он и продолжал читать.

Правда, это уже не о скрытности и не о хозяйственности моего старшего брата. Это уже о его равнодушии ко всему, что творится на белом свете. Хотя, возможно, я тут чего-то не понимаю. Но все равно мне это кажется странным...

А вот у другого брата — мужа младшей дженге — свои странности. О том, что он не отличается верностью, знают все. Но не в этом дело. «Жизнь надо прожить так, чтобы потом не жалеть», — любимая его присказка. И еще у него своя особенная скрытность. О чем бы он там ни говорил, а глаза его как бы твердят: «Говорю тебе сущую правду, сущую правду».

Как-то вечером, когда я сидел и пил чай, пришел брат с работы. Он тоже сел пить чай. И тут младшая дженге заверещала:

— Милый, ты вчера всю ночь мне про кино рассказывал, но я забыла спросить, что ты делал после кино?

— Как что? Гулял, — тут брат сделал вид, что рассердился и раздраженно добавил: — Не успеешь прийти — сразу вопросы!..

— Ведь поздно же было? — неуверенно и как-то даже смутившись, все же спросила его младшая дженге.

— Ах, жена, — он снова сделал вид, будто она надоела своими расспросами, но потом уверенно продолжал: — Кино-то какое страшное... Я же вчера тебе рассказывал. Про шпионов. Убийства сплошные. Такое накрутили, что у меня даже голова разболелась. Хотел потом пройтись по аулу, но подумал, а что скажут люди, если увидят твоего мужа, бродящего по улицам. Потому спустился к реке. Там посидел и вернулся назад, знал, что ты беспокоишься... Понятно? — он говорил, а глаза его как бы тоже все время говорили: «Говорю тебе сущую правду, сущую правду».

Кто ж будет отрицать, что он говорил правду! Вполне возможно, что вчера после фильма у него и разболелась голова, вполне возможно, что он хотел погулять по аулу, возможно и то, что он просидел на реке час или два. Он действительно знал, что жена его беспокоится, и потому вернулся домой. Кто ж все это станет отрицать?.. Но только ни я, ни его жена не были настолько наивными, чтобы слушая его рассказ, верить, будто все в нем, — правда.

Не знаю почему, но младшая дженге при этом настойчиво делала вид, словно верит каждому его слову. Наверное, она очень любит моего брата. Каждое утро она подает ему накрахмаленные сорочки, отутюженные брюки, до зеркального блеска надраивает ему туфли. Иногда даже сама бреет ему бороду и подбривает усы.

— Спасибо, сладкая! — благодарит брат и, поцеловав ее в щеку, уходит на работу, а работает он на нашей швейной фабрике монтером.

— Все знают, что муж моей младшей дженге — самый аккуратный человек в ауле. И мне вовсе не кажется странным, что самый аккуратный человек в ауле это есть мой брат. Станным мне кажется другое — его постоянное желание скрыть свою скрытность...

Хотя не исключено, что я и тут чего-то недопонимаю...

Такова, в общем, наша семья. Но это вовсе не означает, что я никого не люблю... Наоборот. Ведь все мои братья и сестры и даже дженге — это моя родня. А разве хорошо не любить свою родню? Я понимаю, может показаться, что я их осуждаю. И это не так. Я осуждаю не братьев моих, сестер и дженге, а их скрытность: не хочу, чтобы они были скрытными. И не потому, что мне от этого какая выгода получилась бы, а потому, что я люблю их и хочу любить еще больше.

Впрочем, если подумать хорошенько, то, возможно, они тоже по-своему правы и, вполне возможно, что такими их сделала жизнь. Живешь-живешь и... поневоле становишься скрытным. Взять хотя бы меня. Я все время хвалюсь, что я человек открытый. Допустим, что это так, допустим, что я на самом деле человек открытый. Что ж из того? Может, я такой только потому, что мне попросту скрывать нечего? Может, мои братья и сестры тоже до какой-то поры были, как и я, не скрытными?

Не знаю, как там у них было, но я, во всяком случае в последнее время, стал ловить себя на мысли, что тоже становлюсь скрытным. И мне, конечно, неприятно ловить себя на этом. Например, я никому не говорю, что пишу, больше того, я это утаиваю, делаю все, чтобы никто не прознал о моих литературных увлечениях. Разумеется, я не стал бы ничего скрывать, не опасайся того, что никто не оценит моих произведений и не осудит моих увлечений. Ведь все те, кто меня окружают, так мало разбираются в литературе...

И тут опять может показаться, будто я возгордился, будто я ни во что не ставлю ни свой аул Сынтаслы, ни своих земляков сынтаслынцева и думаю, что у нас нет и никогда не было людей, понимающих в литературе. Ничего подобного, такие люди в Сынтаслы всегда были, правда, почему-то как только они начинали понимать, что они понимают, сразу же покидали наш аул.

Мало того что я сам обнаружил, что становлюсь скрытным, это обнаружили и другие. Нет, дома пока ничего не замечали, а если и замечали, так все относили на счет моей неудачной личной жизни. А вот продавец сель-

мага Межит очень быстро обратил внимание на то, что я слишком часто в последнее время покупаю у него школьные тетрадки. Когда же я стал покупать форматную писчую бумагу, любопытство его прямо-таки разыграло. Стоило теперь войти мне в сельмаг, как он, выставив большой живот, сразу же семенил в отдел «Канцтовары»...

— Межит, — говорил я, — дай мне вон тот пакет бумаги.

— Сынок, — говорил он, — здесь сто листов. Учти, если тебе надо продукты заворачивать, я могу предложить рулон хорошей оберточной бумаги, а если ты надумал стены оклеивать, так у меня на складе всегда найдутся подходящие обои... Или возьми цветную бумагу...

Межит намеревался таким образом узнать, если не то, зачем мне нужна бумага, то хотя бы то, зачем она мне не нужна, и постепенно разгадать мою тайну. Но я молча забирал бумагу и уходил. Он от удивления разводил руками и шептал мне вслед: «Только два человека берут такую бумагу. Ну, Каражан, это понятно, а этому зачем?..»

Каражан был известный на весь аул жалобщик. Он жаловался на всех. Жаловался на соседа, что у того двадцать баранов, жаловался на другого соседа, что у того целый день играет музыка, жаловался на председателя, что тот разъезжает на «Волге» и однажды нарочно обрызгал его на дороге грязью, жаловался на школьного водовоза, что тот постоянно курит люлю и больше всех смеется над ним. Каражан строчил жалобы и рассылал их повсюду. Как и я, он покупал бумагу в сельмаге. И этого оказалось достаточно, чтобы мне подпасть под подозрение продавца Межита.

Другим человеком, заподозрившим меня, был чернобородый Сулеймен. Однажды он поднялся ко мне на чердак, чтобы попросить настроить телевизор. Я же писал и не заметил его.

— Тенгиз, — подошел он вплотную ко мне. (Застигнутый врасплох, я еще успел убрать лист бумаги.) — Ха! — добавил, улыбаясь, старик: — Вроде бы у тебя нет родственников на чужбине, кому же ты, мальчик, пишешь?

— Сулеймен-ага, это не письмо, — ответил я.

— А что же это тогда?

— Так себе... — неопределенно пробормотал я.

— Ладно, ладно... Я никому ничего не скажу, — добро блестя черными глазами, сказал Сулеймен, будто отводя от меня какую-то беду в будущем, — Я тоже в молодости одной писал, — подмигнул он мне.

Я рассмеялся.

— Да, да, не смейся...

И теперь, когда я встречаю Сулеймена, он, оглядывается по сторонам и тихо, чтобы никто не услышал, улыбаясь, спрашивал: «Пишешь?» Я пытаюсь объяснить ему, но чем больше я пытаюсь ему объяснить, тем меньше он мне верит. Сулеймен гладит обеими руками бороду, делает понимающий вид и говорит: «И я в молодости одной писал».

В своем знаменитом «Петухе» я уже упоминал про учителя начальных классов Карайдара — «самого тихого и самого спокойного человека» в нашем ауле. Карайдар был для меня настоящим кладом: он знал всех поэтов — выходцев из Сынтаслы, в свое время сам писал стихи, и сынтаслынды прочили его в большие поэты. Самым замечательным событием в его жизни было то, что он как-то ездил замещать своего родственника Шарапутдина, работавшего заведующим отделом поэзии в областном журнале. Поэтому о том, что я пишу стихи, первыми в ауле узнали в семье Карайдара.

Если сам Карайдар был человеком не только тихим и спокойным, но и скромным, то о жене его этого не скажешь. Она не уставала повторять сынтаслынцам, как ее муж целый год проработал в городе, не уставала рассказывать про своего родственника Шарапутдина, какой он важный и уважаемый в городе человек, как он умеет ценить способности своих родственников.

Однако наши аульчане истолковывали работу Карайдара в городе несколько иначе. Сынтаслынды придерживались, тут примерно такой версии: «Шарапутдина отправляли на переподготовку, и он, опасаясь, что на его место поставят временно другого человека, а тот, другой человек, не захочет потом уступать место истинному хозяину, вызвал своего грамотного родственника».

«Так поступил бы любой умный сынтаслынец», — говорили по этому поводу сынтаслынды. Я доверял

мудрости своих одноаульцев, но мне казалось, что в данном случае, их мнение не опровергает мнения жены Карайдара.

Я пришел к Карайдару поздно вечером. Он спокойно, не перебивая, слушал, как я читаю свои стихи. Жена его, скривив рот, тоже внимательно слушала и одновременно разглядывала меня своими черными, почти немигающими глазами. Когда я закончил читать стихи, Карайдар сказал:

— Если бы я сейчас, как тогда, работал заведующим отделом поэзии в журнале, немедленно опубликовал бы твои стихи.

Жена еще сильнее скривила рот.

— Поезжай, мальчик, в город и отдай стихи моему дяде Шарапутдину, и ты вскоре станешь известным поэтом, — дрожащим голосом сказал Карайдар и почему-то прослезился.

— Чего ты городишь бестолковый! До него ли сейчас нашему Шарапутдину? Ему в аул проведать родственников приехать некогда, а ты хочешь, чтобы он возился с твоими посланцами... У Шарапутдина важная работа, и незачем его отвлекать. Не бери грех на душу, побойся Аллаха! — рассердилась жена.

— Аллах тут совершенно ни при чем. А стихи чудесные! — тихо воскликнул Карайдар и посмотрел мне в глаза, будто искал у меня помощи и поддержки. — О, когда-то я тоже писал, стихи. Какие это были стихи! — Он даже причмокнул языком. — Свои лучшие стихи я никогда не публиковал. Жалко было показывать их всем — так они мне были дороги. И потом, наш журнал в то время про любовь не печатал... Вот жена, вот она перед тобой, видишь? Я все свои стихи ей посвящал. А она приносит мне пятерых моих мальчиков, показывает на них и говорит: «Вот тебе твои стихи!» Ведь я ей, ей посвящал все мои стихи, а она взяла и сожгла их... Не женись, не женись, мальчик, — просил меня Карайдар. — Жены убивают поэтов... Это она испортила мне жизнь. Она ругала меня за то, что я не остался на той несчастной должности, на которой Шарапутдин... Она говорила, что никакой я не поэт. Это она, она во всем... — Карайдар умолк и только указывал пальцем на начавшую нервничать жену.

— Эй, несчастный! — язвительно проговорила жена, подложив под щеку ладонь и покачивая головой. — Перед кем слезы льешь?! Он же мальчишка! Жалуешься, что не выпускаю тебя на улицу... Выпусти тебя, так ты такое на себя наговоришь, что люди смеяться станут. Эх ты... — она затолкала выбившиеся из-под пестрого платка волосы и как-то тихо, полупшепотом обратилась ко мне: — Ты, мальчик, о том, что слышал здесь, никому не вздумай рассказывать, А то люди такие...

— Да нет, что вы... — бормотал я.

— А к Шарапутдину сходи. Сходи и снеси ему обязательно гостинцев. Он любит аульские гостинцы... Сыр, копченое мясо, сметану свежую... Не стесняйся: он такое любит, — говорила она, заглядывая мне в лицо.

Карайдар сидел, обхватив голову руками и молча смотрел на цветастую клеенку.

— Если вырастешь и станешь большим человеком, — льстиво продолжала она заглядывать мне в лицо, — поможешь нашим детям. Не забывай, мальчик, человеческую доброту... А от этого несчастного чего дождешься? — и она кивнула в сторону Карайдара.

Тот поднял голову и мутным взглядом посмотрел на жену.

— Не забывай нашу доброту, — не унималась жена. — Не забудь помочь нашим детям. Им нужно в институты поступить, им нужно стать такими, как Шарапутдин, а не...

— Замолчи! — заревел «самый спокойный человек нашего аула». (Это уже во второй раз, а в первый раз — в моем «Петухе».)

— Вуа! — удивилась жена...

Надо было поскорее уходить: неприятно, когда вдруг делаешься свидетелем семейного скандала. Карайдар, весь дрожа, проводил меня до двери, но не успела она за мной захлопнуться, как я услышал:

— Дорогая моя, нежная моя, ну прости... Вспылил... Ну, виноват, ну прости меня... — донеслись до меня слова Карайдара и даже, как мне показалось, звуки поцелуев.

Я бросился прочь. На душе было неприятно — наверно, оттого, что невольно стал виновником семейного скандала.

Я долго бродил по темным улицам. Кое-где горели уличные фонари, под которыми густым роем кружилась всякая ночная живность. Я удивился, днем она и носа не показывает, а вот ночью появляется в таком количестве...

Мерцали звезды. Млечный Путь рассекал небо на две части. «Удивительная тропинка!» — подумал я, всматриваясь в Млечный Путь.

И все-таки меня не столько поразил скандал в семье Карайдара, сколько то, что в Сынтаслы еще существует такая слепая любовь. Карайдар прожил со своей женой, наверное, вот уже двадцать лет или около того, а все продолжает так же слепо ее любить. Да, чего только нельзя ожидать от сынтаслынца!

Душа сынтаслынца — это настоящий клад, который если и обнаружишь, то разберешься в нем далеко не сразу — столько здесь собрано за века всякой всячины, что по началу и не поймешь, какие тут драгоценности истинные, а какие мнимые. Поди ж ты, в таком тихом и спокойном человеке живет совсем еще молодая, почти юная любовь...

Где-то лаяли собаки. «Опять, наверное, лают на луну? — подумал я. — Почему они лают на луну?..»

Вскоре ноги сами привели к дому Насипхан. В ее окне горел свет, а перед окном кружилась та же ночная живность.

«Не удивительно, если уж человек тянется к свету, то куда же лететь всей этой ночной мошкаре?» — подумал я и подошел к окну.

Она читала. Я представил, как она будет читать мои книги, и от этой мысли на душе стало тепло. Но только я об этом подумал, как она встала и потушила свет. Я поспешил от окна, боясь, что она теперь может заметить меня. Что-то хрустнуло под ногами, и в соседнем дворе залаяла собака. Ее разом поддержали собаки в других дворах, и по всей улице покатился разноголосый протяжный собачий лай.

Да, ночью собакам так и хочется полаять на человека, они словно вспоминают забываемые днем какие-то давние-давние обиды на него. А если нет людей, то они, задржав головы, так же дружно лают на луну. Но почему они лают на луну?..

Где-то в стороне осталась улица, и вновь наступила тишина. Послышался шум реки... Освещенная луной, блеснула внизу площадка... Мне вспомнился тот далекий день, когда я сидел в одних плавках на камне, а Сурат полоскала белье и все время смеялась... Как мне тогда было одновременно хорошо и тревожно. Хорошо — от плеска реки, от горячего солнца, от всего весеннего возбуждения. И тревожно — от вызывающе-влекущего смеха Сурат и от сладостного беспокойного предчувствия...

Потом наступило тяжелое похмелье. Когда я понял, что Насипхан не вернется, то решил порвать и с Сурат. Но она еще долго преследовала меня. Несколько раз приходила на работу, как бы невзначай встречала меня в разных местах, на улице подкарауливала, Я убегал от нее, а она смеялась и делала вид, что ей от меня ничего не нужно. В конце концов она перестала искать со мной встреч, и я оказался совсем один. Но вот теперь мне стало ее почему-то немного жаль...

В прежние времена в нашем языке бытовали слова: «букыж», «бойдак», «айырылыскан», «кысыр»... Букыж — это женщина, у которой умер или погиб муж, то есть вдова. Бойдак — это старая дева. Айырылыскан — отпущенная, разведенная. Так по-старому. Кысыр — буквально яловая, шутовое название. Теперь же в общем употреблении осталось только слово «букыж», одинаково применяемое и к вдовам, и к разведенным, и к женщинам, вовсе не бывшим замужем. Раз мужа нет — значит букыж. Та самая «необыкновенная» старуха Бийке, о которой я писал в своем «Петухе», никогда не была замужем, но все ее называют — букыж. Айшат, хотя у нее пятеро детей, тоже не была замужем. Она тоже — букыж. И разведенная Сурат — букыж...

Теперь у нас столько одиноких женщин, что фиксируется лишь факт одиночества женщины и не фиксируется причина. Так на это явление отреагировал наш язык. А вот жизнь реагирует по-разному. Пожилой букыж трудно выйти замуж, потому как одинокий пожилой мужчина обычно предпочитает женщину молодую, как это, например, делает наш Асанбий, женившись уже в пятый раз. Молодой букыж, конечно, легче, зато молодому разведенному мужчине, как это ни странно, жениться вто-

рично не так-то просто. Репутация у него считается подмоченной, и редкая девушка наберется храбрости связать с ним свою жизнь. А молодая букыж, обжегшись на молоке, дует и на воду, она предпочитает пожилого мужчину, считая его более надежным спутником жизни. Восстановить репутацию молодому разведенному мужчине у нас довольно сложно, во всяком случае, тут необходимо время... Вот в таком положении оказался и я. Но и разведенным женщинам тоже не легко, даже молодым. Бывает, что их подолгу никто не берет замуж. Поэтому молодых букыж из Сынтаслы можно встретить и в Тбилиси, и в Норильске, и в Ташкенте, и в Ашхабаде. Они, не найдя счастья в родном ауле, скитаются по огромной нашей стране и нередко бывает так, что приезжают в аул уже с новой семьей, погостят с недельку и уезжают обратно туда, где волею судеб с их помощью теперь прорастает сынтаслынский корень. Семья у нас — это главное. Именно тут и начинаются все наши трагедии...

И вдруг мне стало не по себе, мне стало тяжело. Ведь теперь и моя Насипхан — тоже букыж. Она даже на три года моложе Сурат. Сколько же укоряющих взглядов будет брошено на нее моими дорогими аульчанами... А может, она не выдержит и тоже убежит в какой-нибудь Ташкент или Норильск?!

На реке стало неуютно, и я побрел в сторону аула. Постепенно шум реки начал сливаться с аульской тишиной. Переживания за Насипхан, воспоминания о Сурат, размышления о женских судьбах вообще отодвинули куда-то далеко и встречу с Карайдаром, и его восторженные отзывы о моих стихах, и мое неприятное свидетельство одной из сторон его супружеской жизни. Я медленно добрал до дому, взобрался на свой чердак и повалился на раскладушку... Вскоре в мое уже затухающее сознание ворвались слова старшей дженге:

— Иди спать в дом, безмозглый!..

И снова тишина... Я представил моего старшего брата без мозгов, представил, как он идет по улице и его пустая голова качается по ветру, как детский воздушный шарик... Мне стало неловко, что я так представил своего старшего брата. И больше я ничего не представлял, ни-

чего не вспоминал, ни о чем не думал — навалился тяжелый, но спасительный сон...

На следующий день, придя с работы, я застал дома самую старшую нашу сестру. Увидев меня, она улыбнулась и глазами указала мне на табуретку. Ее смуглое лицо почему-то посерело, и я почувствовал, что предстоит какой-то недобрый разговор. Сестра поправила белую косынку, подобрав под неё выбившиеся волосы, пристально посмотрела на меня и начала:

— Слушай, Тенгиз. Братья у тебя и умнее и к любому делу приспособленные... А ты?.. Просто не понимаю... Хорошо работаешь?.. Не хватало только того, чтобы ты еще плохо работал. Хотел жениться на какой-то недостойной нашей семьи девушке, и ту увели из-под самого носа. Ну, хорошо, — женился. А дальше?! Жену бросил! Что это такое? — повысила она голос.

Я недоумевал: из-за чего и зачем она пришла... Видимо, какой-то еще мой грех раскрыла, или случилось что-то неприятное, связанное со мной.

— Бросил жену! Связался, извини меня, с какой-то дрянью, тряпкой... Ну, за это, извини... Ты не думай, что я старая и ничего не знаю. Я все знаю. Но до поры до времени я помалкиваю. Ты меня понимаешь?! — неожиданно грозно вскрикнула она. — Захожу я в магазин, а продавец Межит, доброй души человек и с чьим мнением считается весь аул, вдруг мне такое: «Твой самый младший брат, — а сам «хе-хе-хе» — смеется, — твой самый младший брат, наверное, — говорит, — деньги печатает. У меня он каждый месяц по сто листов бумаги покупает».

Тут я, кажется, начал что-то понимать.

— Ты представляешь, над нами смеется продавец. Смеется над нашей почтенной семьей. Я, конечно, поначалу не обратила внимания на этот его смех, но, признаться, удивилась: зачем моему брату столько бумаги... А сегодня иду... — и тут она так посмотрела на меня, что я вздрогнул, — иду и слышу... Эта кривобокая, кривоногая, с длинными ушами и длинным, как кнут, языком, моя соперница по молодости... Она жена, жена этого несчастного Карайдара, которого я в молодости отдала ей, ска-

зав: «На, возьми своего глупыша...» И вот она, паучья кровь, во весь голос болтает возле магазина с почтенными женщинами Сынтаслы... И о ком же ты думаешь?!

— Сестра дальше я все знаю... — тихо промямлил я.

— А я думала, ты не знаешь! — с издевкой подчеркнула она. — О ком же ты думаешь?! О нашей почтенной семье, об одной из самых уважаемых во всем Сынтаслы семье! Гордость нужно иметь, братик. Гордость! Эта криво-ротая болтает, что мы перед ними на коленях стояли, чтобы они познакомили нас с каким-то Шарапутдином. А я, дорогой мой братик, и вся наша семья никакого Шарапутдина не знали и знать не хотим! Так я ей и сказала: «Не знаю Шарапутдина и знать не хочу!» — самая старшая сестра вскрикнула в последний раз, и я почувствовал, как она, бедная, устала.

Это всегда так бывает. Когда заранее готовишься на кого-нибудь накричать, то пыл проходит быстро. Так произошло и с моей самой старшей сестрой. Она замолчала и как-то даже приуныла, а потом начала говорить тихо:

— Она, языкастая, болтает, что ты пишешь стихи... Но самое главное, говорит, что стихи неважные, но Шарапутдин все равно их напечатает. Ох ты, горе наше... — пустила она слезу и, с умилением посмотрев на меня, спросила: — Кто же тебя, хороший мой, научил писать стихи? — Она вытерла кончиком косынки слезы и продолжала: — Как было бы хорошо, если бы твои стихи напечатали в газете... Только, Тенгиз, обойдемся без этого Шарапутдина, а то возгордится старая ведьма. Знаешь, что мы сделаем? — задумалась самая старшая моя сестра.

Я молчал и смотрел, как быстро менялось ее лицо. Вдруг оно стало таким, каким бывает у человека, когда тот вспоминает самые приятные минуты своей жизни. И тут самая старшая моя сестра принялась говорить:

— В молодости за мной ухаживал один человек... Сейчас он поэт и имя его — Мамедбий... Такой хороший, такой нежный... И все песни мне пел...

Ах, говорю,
Ох, говорю.
Алтыншаш, говорю.
Люблю и горю...

Самая старшая моя сестра (ее звали Алтыншаш — Золотоволосая) замолчала, забывшись в своих воспоминаниях.

— Не осталось золотых волос и замуж вышла за нелюбимого, — грустно улыбнулась мать шестнадцати детей. — Так вот, Тенгиз, — обратилась она ко мне, и тут ее голос обрел прежнюю твердость, — нечего нам делать у этого Шарапутдина. Надо идти к Мамедбию. Он тоже работает в городе. Найди его и скажи, чтобы вспомнил Алтыншаш, и скажи, кем ты мне приходишься. Он обязательно должен вспомнить...

С этого дня весь аул знал, что в Сынтаслы рождается новый поэт. С одной стороны, жена Карайдара всем говорила, что их родственник Шарапутдин непременно напечатает мои стихи в журнале, а с другой стороны, самая старшая моя сестра, которая и знать-то не хотела никакого Шарапутдина, уверяла, что друг нашей семьи Мамедбий обязательно опубликует мои стихи в газете. Несмотря на распрю между самой старшей моей сестрой и женой Карайдара, получалось, что мои стихи уже ждут и в газете, и в журнале. Вернее, так получалось благодаря этой распре. И сынтаслынцы уже не сомневались, что из меня очень скоро получится большой поэт.

Чернобородый Сулеймен, встречая меня, по-прежнему спрашивал:

— Пишешь?

— Я ничего не пытался ему объяснять и лишь утвердительно кивал.

— Пиши, пиши, — подбадривал он меня. — А бабам этим не пиши... В моей молодости все было по-другому. Кто знал, что за стихи можно получать деньги?! Если бы я тогда знал про это, то катался бы сейчас на собственной машине. Пиши, сынок, пиши...

Я уходил, и вслед мне летели еще слова:

— Ну и умная же нынче молодежь пошла...

Должен сказать, с этого времени изменили ко мне отношение и домашние. Братья и те стали смотреть на меня как на человека, нашедшего наконец-то дело. А мне от этого становилось не по себе: я как-то привык, чтобы меня задевали, ругали, упрекали... Теперь же все смотрели на меня с уважением, а порой, как мне казалось, и с

завистью. К младшей дженге я дважды заходил в комнату, когда она мыла полы, и каждый раз оставлял грязные следы, однако она не шумела и даже делала вид, будто ей доставляет удовольствие убирать за мной. И еще она стала подыматься на чердак и звать меня на ужин, чего прежде никогда, конечно, не делала. И постоянно улыбалась. Старшая дженге, хотя и не улыбалась, но смотрела на меня, как на достойного человека. Один раз она купала в тазу своего младшего, а тот что есть силы кричал. Когда я вошел, старшая дженге сказала орущему ребенку:

— Смотри на своего дядю, он скоро станет поэтом. Не кричи и бери с него пример. Ты тоже будешь поэтом, когда вырастешь, да?

Малыш при виде меня и так бы перестал плакать, а тут он не только замолчал, но еще уставился на меня как на что-то диковинное, и уже не обращал внимания на то, что мать принялась тереть ему спину мочалкой.

Наверное, это был самый шумный и самый радостный в моей жизни семейный совет. На нем все пришли к мнению, что мне надо ехать в город.

Мне разрешили взять сумку старшего брата — такой сумки не было во всем ауле. Я положил в нее папку с рукописями и две тетрадки стихов. Вся семья вышла провожать меня до ворот. Дети цеплялись за сумку и твердили, чтобы я привез им конфет, как это делает их отец. От старших я выслушивал последние напутствия...

На пути к автобусной остановке повстречался чернобородый Сулеймен. Он стоял возле своего дома и постукивал сучковатым посохом о землю. Увидев меня, Сулеймен захотел, было, спросить: «Куда?», но, вспомнив, что так нельзя спрашивать собравшегося в путь человека — иначе тому не будет сопутствовать удача, — улыбнулся и задал обычный свой вопрос:

— Пишешь?..

Я сказал, что еду в город, и он, видимо, понял, зачем я туда собрался.

— Добрый путь, сынок! Вот так мужчины нашего аула уезжают в город с сумками своих старших братьев, а возвращаются с собственными портфелями, полными подарков... Тенгиз, у меня что-то мундштук состарился, — уж очень прозрачно намекнул старый Сулеймен.

ВСТУПЛЕНИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

Один бедный человек решил продать корову. Дождь-дался он базарного дня и рано утром погнал корову на базар. Четверо обманщиков проведали о том и решили надуть бедняка.

По пути на базар встречается бедняку один из обманщиков.

— Эй, джигит, куда это ты ведешь свою козу? — спросил он.

— Какую козу, это же корова, — удивился бедняк.

— Какая же это корова, это же самая настоящая коза, — сказал обманщик.

— Не морочь ты мне голову! — возмутился бедняк и погнал корову дальше.

Вскоре ему встретился второй обманщик.

— Куда, добрый человек, ведешь свою козочку? — ласково спросил он.

— Да вы что, ослепли совсем? Это же корова! — пуще прежнего возмутился бедняк и, не останавливаясь, погнал спую корову дальше.

Вскоре ему встретился третий обманщик.

— Вуа, какая худая коза!.. Где ты ее взял, добрый человек? Не продашь ли случаем? — затараторил он.

— Из дому выгонял — была корова, не шайтан ли превратил теперь ее в козу? — удивился бедняк и стал рассматривать свою корову. — Нет, это корова, все-таки это корова... — успокоил себя бедняк и погнал свою корову дальше.

Не дошел бедняк до базара, на пути ему встретился четвертый обманщик.

— На базар идешь? — спросил обманщик.

— На базар, — ответил бедняк.

— Козу продавать? — опять спросил обманщик.

— Козу?! — опять удивился бедняк и начал протирать глаза. И действительно, корова теперь казалась ему козой. — Козу продавать, — сказал он.

Они ударили по рукам, и продал бедняк свою корову как козу.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Стоит ли рассказывать об этом?

Из народной песни

Город встретил Неизвестного, как и всякого приезжего сельского человека, шумно и неприветливо, и Неизвестный поначалу ощутил свою здесь неуместность. Его успокаивало лишь то, что приехал он сюда ненадолго. Впрочем, вскоре Неизвестный обнаружил, что таких, как он, озабоченных вот этой неприветливостью города, людей не так уж и мало, Это обстоятельство успокоило его еще больше.

На Неизвестном была белая нейлоновая сорочка, аккуратно заправленная в отутюженные черные брюки, из-под которых блестели новые черные туфли. Был он кареглазый, черноволосый, слегка горбоносый, среднего роста и молодой. Если не считать его красно-зеленой сумки с белым шнуром, в нем не было ничего такого, что сразу же привлекло бы к нему постороннее внимание однако он был привлекателен. Вероятно, своей молодостью в сочетании с аккуратностью, скромностью и еще чем-то таким, что наводит на мысль об открытости души и честности. Впрочем, у нас нет никаких оснований называть его «Неизвестным», и мы не стали бы так его называть, если бы ему не предстояло здесь встретиться с людьми, для которых он и в самом деле был абсолютно неизвестным. Даже тогда, когда он называл свое имя, он продолжал оставаться для всех неизвестным, потому как чужое имя быстро забывается, коль скоро нет никаких причин его запоминать. А причин запомнить его имя, как мы увидим, ни у кого не возникало, вот поэтому мы и будем называть его все же «Неизвестным».

На площадке перед автостанцией возле базарной стены за маленькими столиками, на которых стояли белые тазики с черными маслянистыми семечками, сидели в ряд около дюжины чрезвычайно похожих друг на друга старух. Старухи эти Неизвестному понравились и не каждая в отдельности, а все вместе, как нравятся своей необычайной похожестью близнецы. На каждой старухе, несмотря на лето, был черный ватник, пуховый

платок и валенки. У них были коричневые морщинистые лица, такие добрые и даже чуть заискивающие. И еще у них были кошельки, кисетные кошельки на резинках: в один они совали серебро, в другие — медяшки, а в кожаные, что держали за пазухой, сноровисто запихивали бумажные деньги. И все движения у них были одинаковыми, будто они их совместно отрепетировали. Неизвестный долго смотрел на хорошеньких старушек, пока те тоже не стали на него смотреть и не встревожились. Что бы их не смущать, Неизвестный зашагал прочь.

Прямо на углу площадки, при входе на базар стояла деревянная будка «звукзаписи», над которой красовался плакат «Нам песня строить и жить помогает!». Оттуда из будки доносилась синтаслынская «Орайда» на русский лад:

Две восьмерки, два нуля—
Золотые номера.
Номера не увлекают,
Завлекают шофера.
0-рай-да-орай-да...

На базарной площади вкусно дымились шашлычные, чайные, закусочные. Возле стены стояли по соседству автомашины, мотоциклы и арбы. Тут важно прохаживались горцы — как это и положено по древнему обычаю — в папах и сапогах. Тут деловито сновали интеллигентные горцы — как это и положено по современной моде — в европейских костюмах и в шляпах. Толстые хозяйки, тяжело отдуваясь, тащили раздутые сумки и оттого казались угнетенными невольницами. А базар бурлил и клокотал. Впечатлений у Неизвестного оказалось уйма.

Для любого синтаслынца, когда тот приезжает в город, базар — это главное, во всяком случае ему кажется, что именно здесь он слышит и видит ритм города. И вся эта несусветная суета представляется ему общим, движением, а весь этот разнородный шум — единым голосом. Но от всего этого синтаслынец ужасно устает, поэтому даже тогда, когда он съездил в город на базар не без пользы для своего кармана, он дома долго ворчит и жалуется на городскую суету, хотя на самом деле нигде,

кроме базара, не побывал и ничего, кроме базара, не видел. И все-таки Неизвестный считал, что его земляки правы — достаточно увидеть базар, чтобы составилось мнение о городе и городской жизни.

Что и говорить, сынтаслынец любит базар, хотя и любит поворчать насчет городской жизни. Захочет, скажем, сынтаслынец посмотреть цирк, пожалуйста, к его услугам стоит на базарной площади под красным куполом цирк; придет ему в голову блажь поменять корову на мотоцикл и опять, пожалуйста, на базаре он всегда найдет людей, желающих поменять мотоцикл на корову; возникнет у него желание посмотреть и послушать песни и пляски цыган, тоже, пожалуйста, — их здесь целый табор. Заодно он купит у них тяпку или железную скобу, которые только цыган и может по-настоящему выковать. Потолкаться среди всех этих людей, посмотреть на них — это для сынтаслынца праздник. Или где он, например, сможет еще увидеть молочника, продающего птичье молоко, а потом рассказать об этом своим аульчанам. Хотя молока этого он сам и не пробовал, но зато собственными глазами видел бидон с надписью «Птичье молоко».

Вообще, город хитер на всякие надписи. Катает в парке детей бидарка ¹, запряженная вороной лошадей, а на бидарке надпись: «Антилопа гну». Что это такое — сынтаслынец толком, конечно, не знает, но все равно интересно... А на борту одной грузовой машины, что стояла возле базара, было написано еще лучше: «Шоссе — не космос, не уверен — не обгоняй!» Да мало ли каких надписей тут можно повычитать...

Наконец, Неизвестный вышел из южных ворот базара. Людской муравейник остался позади, и теперь ему навстречу мчались хозяйки с тощими сумками, они так спешили туда, откуда вышел Неизвестный, что не казались ему угнетенными невольницами. Гул и шум постепенно стихали и в конце концов растаяли совсем.

Было свежее солнечное утро. Вдали за городом виднелись две огромные серебряные вершины Эльбруса. Неизвестный шел по зеленым тенистым аллеям, и ему

¹Бидарка — двухколесная упряжка.

изредка попадались одинокие прохожие: пенсионеры, вышедшие подышать свежим воздухом и насладиться утренней прогулкой, или служащие — эти, как правило, шли, заложив руки за спину, шляпы их были слегка заломлены, а на лицах было выражение спокойствия, вернее, выражение жажды спокойствия. После базара тишина казалась неправдоподобной: слышны были шаги каждого прохожего, слышен был шелест кленовых листочков. Иногда только все перекрывалось жужжанием машины на дальней улице. Вдруг где-то захрипел горн и застучали воинственные барабаны — это прошли пионеры. И опять стало тихо...

Неизвестный шел по городу, и ему, как любому сельскому жителю, было приятно ступать по еще как следует не просохшему от утренней росы асфальту. Он шел по городу, но мысли его были далеко отсюда: аульские впечатления последних дней вытеснили сейчас и впечатления от дороги, и впечатления от города, то есть от базара. Он уже чувствовал себя настоящим поэтом и чувствовал неотвратимое приближение славы. Вспомнилось, как утром подростки, гнавшие на пастбище коров, с завистью провожали его до самой автобусной остановки. Вспомнился чернобородый Сулеймен. Вспомнились самая старшая сестра и самый старший брат, сказавшие в напутствие: «Смотри сумку не запачкай!» И теперь ему здесь, в городе, осталось только оправдать надежды своих земляков.

Он шел мимо детского сада. Возле ограды стояла полная женщина, а за оградой топталась воспитательница в белом халате, и они разговаривали между собой. За воспитательницей находилась песочница, а в песочнице играли дети. Они лениво перебирали песок, пытались что-то строить, у них ничего не получалось, и они, скукая от этого, все же продолжали перебирать песок. На бортике песочницы, заложив ногу за ногу, сидел бледно-желтый мальчик с синими глазами и совсем белыми волосами, потом он задрал ногу и, насупившись, начал ковырять подошву сандалия, с неудовольствием изредка поглядывая на полную женщину.

Полная женщина, живо разговаривавшая с воспита-

тельницей, оторвалась от разговора и сделала ребенку строгое замечание:

— Тигр, не грызи сандалий!

Такая шутка Неизвестному понравилась, он не сдержался и захохотал.

Как мы уже могли заметить, он был человеком веселого нрава и никогда, не чуждался незнакомых людей. Неизвестный был аульским парнем, а аульские, особенно же сынтаслынские, здороваются со всеми знакомыми и незнакомыми людьми и всегда готовы поддержать любую беседу или любой разговор. Сынтаслынцы народ любознательный и приветливый и потому не чуждаются незнакомцев.

Женщина удивленно посмотрела на него. Неизвестный оборвал свой смех. А Тигр, услышав слова матери и уставившись на ее строгое лицо, разревелся.

«Нет, наших аульских детей вот так одними словами и строгими взглядами не заставишь плакать, — подумал Неизвестный. — Пока не подойдешь, не треснешь его по заду или не напугаешь в темном сарае чертом, он тебе не заплачет. Вообще, что делать детям в городе, ведь скучно же целый день в этой песочнице ковыряться. То ли дело аульские ребята! Уйдут куда-нибудь в горы и возвращаются оттуда только ночью. Усталые, голодные, зато довольные, что принесли с собой полные пазухи яблок и груш. А для городских детей единственная игрушка и баловство—это дворики с песочницами и беседками, где няни рассказывают им сказки, прочитанные в книгах. Ну, еще скакалки, качели... А аульские дети и борьбу устроят, и в альчики поиграют, и на осле покатаются. Да мало ли развлечений для детей в ауле...» — так здраво размышлял над данным эпизодом Неизвестный.

А держал он путь к справочному бюро. Там он навел нужные ему справки и с чувством великой ответственности перед своими земляками решительно направился к Дому печати.

В представлении людей, мало знакомых с миром, искусства, но знакомых с самим искусством, деятели искусства выглядят людьми необыкновенными, они выглядят даже не людьми, а какими-то полубогами. Неизвестный

шел и тоже воображал увидеть сегодня обитателей Парнаса. Ведь одно дело — быть знакомым с творениями, их можно сколько угодно обсуждать; хвалить или даже ругать, и совсем другое дело — видеть живого творца. Тут уж какое хвалить или ругать! Тут люди в большинстве случаев испытывают какой-то необъяснимый душевный трепет. Этот трепет овладел и. Незвестным, когда он подошел к Дому печати.

Перед ним высилось пятиэтажное здание из стекла и бетона. К входу вели широкие бетонированные белые ступени над которыми висел большой балкон, а под балконом с обеих сторон ступеней стояли статуи девяти парнасских муз. В городах зачастую злоупотребляют скульптурами, но девять муз у Дома печати были уместны, во всяком случае, так показалось Незвестному. Однако вскоре он обнаружил, что все музы на одно лицо, все они одного роста, все в одинаковых плащах, и вообще все девять муз напоминали близнецов. Такое сходство показалось ему забавным, а когда почему-то он вспомнил сидящих на базаре похожих старушек друг на друга, то рассмехался...

Незвестный вошел в фойе, там было тихо. Слева от двери, за большим столом, важно положив руку на телефон, как кладут свою лапу скульптурные львы на каменные шары, сидел длинноусый горец-вахтер в каракулевой шапке. Прищуриль глаза, он посмотрел на Незвестного. Незвестный спросил:

— Как пройти в журнал, в отдел поэзии?

Ответа не последовало.

Так на самом пороге Парнаса он был не понят. Но Незвестный не обратил на это обстоятельство никакого внимания, вероятно, в силу своей молодости и в силу впечатления, которое произвел на него вахтер: он никак не ожидал встретить в городе такого колоритного старика. Его высокомерие, его гордая осанка, его важность, — все это оказало на Незвестного самое приятное впечатление.

Тут, к счастью, он увидел на стене схему расположения редакций и отделов — нужный ему журнал находился на пятом этаже.

...Неизвестный робко вошел в длинный прохладный коридор. Пока он поднимался на пятый этаж, решимость его заметно пошла на убыль. Лестница была крутая, и он слегка утомился, а физическое утомление, как известно, обычно неблагоприятно действует на душевную настрой. Вдобавок на протяжении всего подъема он думал о предстоящих встречах и о том, что его вообще ожидает впереди; всякое же отвлечение мысли в сторону порождает невольные сомнения, а уж сомнения, как известно, никоим образом не укрепляют решимости.

В конце коридора стоял сильно бородатый мужчина. Неизвестный, тут же вспомнив областной писательский справочник, узнал его. Не узнать его, вернее, не узнать его бороду было невозможно. Конечно, это был Кемал.

«Он меня, разумеется, не узнал, но, разумеется, понял, что я его узнал», — сообразил Неизвестный.

Кемал в это время глубоко затянулся трубкой, гордо закинул голову и взглянул в его сторону. Трубка была интересная и очень напоминала люлю сынтаслынского школьного водовоза.

«Странно, — подумал Неизвестный, — все курящие люлю почти никогда не выпускают ее из зубов». И еще он, глядя, как Кемал всеми силами стремится походить на задумавшегося и никого не замечающего человека, подумал: «Какой же он все-таки позер...»

Кемал, шевеля тонкими губами, вдруг произнес:

— Мне и холодно, и жарко...

Неизвестный стоял напротив двери, на которой висела под стеклом табличка «Отдел поэзии», но войти туда не решался.

— Мне и грустно, и печально... — вновь отрешенно вздохнул поэт.

Неизвестный осторожно повернул голову. Кемал все так же стоял вполоборота к нему и, глядя не то в окно, не то на стену, глубоко затягивался трубкой и дымил точь-в-точь как школьный водовоз из Сынтаслы. Неизвестный даже подумал: «Интересно, кто у кого — поэт у водовоза или, наоборот, водовоз у поэта — научился так красиво закидывать голову и выпускать при этом вверх целые столбы дыма».

Но Кемал перебил эти его раздумья, вновь вдохновенно прошептал:

— Мне и радостно, и страшно...

— Это отдел поэзии? — растерянно спросил его Неизвестный.

— Нет, здесь всюду проза, — важно и многозначительно ответил Кемал.

— Но здесь же написано, что «Отдел поэзии», — еще более растерянно промямлил Неизвестный.

— Нет, молодой человек, там написано — «сено». Ха! Ха! Ха! — язвительно засмеялся Кемал.

— Извините, пожалуйста... — совсем смутился Неизвестный. — Мне нужно кого-нибудь из этого отдела. Я пишу стихи...

— Ха! — закончил Кемал свой смех. — Пишешь стихи или пишешь прозу? — нарочно растягивая слова, насмешливо вопрошал он. — Мой знакомый и незнакомый, мой поэт и прозаик...

«Издевается», — подумал Неизвестный и был недалек от истины.

— Вы кем же, молодой человек, или чем интересуетесь? — не унимался бородатый поэт.

— Мне кого-нибудь...

— Ну, а я вам разве не «кто-нибудь»?! Что вам угодно? — теперь уже почти официально спросил Кемал, а глаза его смеялись, будто он все и всегда знал наперед.

— Я пишу стихи.... — сказал Неизвестный. — Я из Сынтаслы...

— Как, разве в Сынтаслы еще пишут стихи? — опять насмешливо спросил Кемал и, не дожидаясь ответа, добавил: — О вас мы уже слышали, вас там ждут! — многозначительно проговорил он и указал Неизвестному на дверь, где его ждали.

Смущенный и удивленный тем, что его здесь могут ждать, Неизвестный вошел в кабинет. Но там никого не оказалось. Вдоль стены стояло три письменных стола, и на одном из них громоздились высоченные кипы бумаги. Бумага была точно такая же, какую Неизвестный по-

купал в аульском сельмаге. Он намеревался уже покинуть кабинет, как различил какой-то шорох, прислушался и, наконец, понял, что это — скрип пишущего пера. Он кашлянул, и сразу же из-под груды бумаги показалась маленькая женская головка с худым смуглым лицом и в больших очках в черной роговой оправе. Незвестный от удивления даже на шаг отступил и потом растерянно пробормотал:

— Здравствуйте...

— Здравству-уй-те! — кокетливо ответила незнакомка. — Проходите, молодой человек, садитесь.

Он прошел вперед и остановился возле ее стола.

— Садитесь, садитесь, — мягко произнесла она.

Незвестный сел на стул, положив на колени свою большую красно-зеленую сумку.

— Откуда вы приехали? — задала она вопрос, посмотрев предварительно на его сумку.

— Из Сынтаслы, — ответил он кратко. В ответ она улыбнулась, и на ее обвислых щеках, неожиданно появились ямочки.

— Ах, Сынтаслы, Сынтаслы... Сколько я там уже не была? Наверное, лет десять. Да, не меньше. Слава богу, мать раз в месяц приезжает... Что новенького в нашем ауле? — спросила она, все так же улыбаясь,

Незвестный чувствовал себя скованно, он не знал, что говорить, и поэтому скупно ответил;

— Да почти ничего новенького...

— Ну ладно, — опять улыбнулась она, и опять на ее щеках появились ямочки, — Вы молодой поэт и пишете стихи, не правда ли? — она кокетливо склонила голову на приподнятое правое плечо.

Он бы ответил «да», однако слово «поэт» его смутило. Она же, не дожидаясь ответа, продолжала:

— Как трудно писать, Ах как трудно писать... Мы пишем, а вы думаете, наши чабаны читают нас? А если и читают, то понимают? Не понимают, молодой человек, не понимают... Им подавай частушки — это они поймут. Вот и, приходится писать так, чтобы они понимали. Это наша трагедия, что народ нас не понимает. Приходится писать и писать, — говорила она вдохновенно и время от

времени грустно вздыхала. — Вот я сейчас пишу подстрочники, много пишу... Все для народа стараюсь. Хочу, чтобы и о нашем ауле узнали все. Извините, — вдруг встрепенулась она, — я же не представилась. Меня зовут Мариам, — сказав это, она, подражая мужчинам, протянула руку.

—Тенгиз, — ответил Неизвестный и ощутил в своей руке ее теплую ладонь.

Хотя Неизвестный и произнес свое имя, это ничего ровным счетом не меняет, потому что через час Мариам уже забудет его имя и его самого. И разве мы вправе винить эту занятую женщину, если ей нет никакого дела до молодых аульчан? Но так как у всех сынтаслынцеv есть общая черта говорить и со своими знакомыми и с незнакомыми, поэтому она и продолжала разговор.

Неизвестный знал, что перед ним одна из популярнейших поэтесс и стихи ее печатаются даже в центральных газетах. И еще она была романисткой: у нее вышли два романа в переводах, правда, она пока еще не позаботилась выпустить их на родном языке, так что сынтаслынец о ее романах ничего не подозревал, и хотя он ничего не подозревал о ее романах, зато он знал ее стихи... Мариам в них воспевала горы, которых в Сынтаслы нет, Мариам пела про кинжалы, настоящий вид которых сынтаслыницы давно уже забыли, Мариам пела про сакли, в которых ее предки никогда не жили по той причине, что всегда проживали в саманных домиках...

У Неизвестного хорошо сохранилось в памяти одно ее стихотворение:

О, Сынтаслы, край ты орлиный!
Мужчины твои крепче горного гранита.
Женщины прекрасны, как косули...
Мужчины носят большие кинжалы,
И за честь горскую они умрут.
Когда враг подойдет,
Они вынут большие кинжалы
И пойдут на врага...
Женщины, если враг подойдет близко,
Прикрыв белым платком лица,
Бросятся вниз с родимых скал.
О, Сынтаслы, край ты орлиный.

Сынтаслынцы, знающие русский язык, читали в центральных газетах подобные стихи и гордились своей Мариам. Выйдя на ямагат, они по строчкам разбирали ее стихи. Неизвестному вспомнилось, как однажды чернобородый Сулеймен разбирал и это ее стихотворение.

«Наши мужчины, — гудел чернобородый Сулеймен, — конечно же покрепче тех, что живут в горах. Ах, если вспомнить молодость, то действительно, какие были красавицы! Куда там нынешним... Как это ты сказал?.. Какое там животное, с которым она сравнивает их? — переспрашивал он у Неизвестного. — Косуля, говоришь? Да ты что? Какая там косуля! Разве их можно сравнивать с какими-то козочками?! Не женщины были, а Луны!.. Когда пили, так у них через горло вода просвечивалась... Воллагий, эта Мариам — настоящий мужчина!» — хвалил он поэтессу из Сынтаслы.

«Если бы Сынтаслынцы знали, если бы они только знали, с кем он сейчас разговаривает, если бы они знали, что он разговаривает с их Мариам...» — восхищенно думал Неизвестный.

— Молодой человек... Извините, Тенгиз, — продолжала она, улыбнувшись тому, что смогла вспомнить его имя, и опять на ее щеках образовались ямочки. — Как трудно писать! Вы себе не можете представить, как трудно делать подстрочники. День и ночь, и я и муж, день и ночь... А забот, забот... В Москву поедешь, бегодня по издательствам, к переводчикам. Ах, мой совет тебе, дружок, — подстрочники надо делать. И в Москву, и в Москву! Только в Москве, дорогой Тенгиз, открыт семафор, только в Москве. Там будут знать — здесь будут знать. Там будут знать — весь мир будет знать! Как трудно жить, дружок, как трудно жить... Ах, время, — замерла вдруг она. — Надо бежать на радио, — Мариам принялась собирать со стола бумаги.

Неизвестный стоял, не шелохнувшись: такую энергичную и в то же время такую замученную собой же женщину он видел впервые. «Зря я не уважал ее книги, ведь этот человек так много трудится, так много трудится... Шутка ли, — около пятидесяти книг? Оказывается, об авторе несправедливо судить только по его прочитанным книгам», — думал Неизвестный.

На прощанье Мариам опять пожала ему руку и, высухая, маленькая, исчезла за дверью. Незвестный остался в кабинете один.

Простояв так некоторое время, он понял, что как-то нехорошо оставаться в чужом кабинете одному. Выйдя в коридор, он увидел, что Кемал по-прежнему стоит у окна. Незвестный, чтобы не попасться вновь ему на глаза, хотел юркнуть в сторону, однако Кемал успел его заметить и сразу же обернулся. Незвестный приостановился и затем медленно, стараясь не выдать своего волнения, пошел. Холодная дрожь прошла по спине, когда он услышал шипение Кемала:

— Новый сынтаслынец. Уже двадцать первый... Ненавижу их! Ненавижу Сынтаслы. Только бездарный аул может дать столько поэтов...

Молодому человеку остановиться было уже невозможно, и он сделал вид, будто не слышит обидных слов, он шел по коридору и спиной чувствовал, на себе ненавидящий взгляд Кемала. Вдруг он увидел обитую кожей дверь с табличкой «Зав. отделом поэзии Шарапутдин». Чтобы куда-то скрыться от ненавидящего взгляда Кемала, он постучал в дверь, совершенно забыв наказ самой старшей своей сестры, что она знать не знает и знать не хочет никаких Шарапутдинов.

— Войдите, — донеслось из-за двери.

Переборов волнение, он открыл дверь, вошел.

За столом, как сразу же догадался Незвестный, сидел именно Шарапутдин — родственник длинного, учителя Карайдара. Лицо у него было карайдаровское: не большое, круглое, длинный нос, тонкие губы, разве вот только редкие седые усы отличали этого человека от сынтаслынского учителя. На руках у Шарапутдина поверх рукавов голубой сорочки были надеты черные сатиновые нарукавники, на запястьях и на локтях затянутые резинками. Он недружелюбно взглянул на вошедшего, остановил на секунду свой взгляд на его красно-зеленой сумке и снова уткнулся в свои дела. Незвестный даже вздрогнул. Надо было что-то сказать и он сказал:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — не поднимая глаз, ответил хозяин кабинета и стал наливать себе чай.

— Я из Сынтаслы, — добавил Неизвестный и начал рассматривать стоящие на столе банки с вареньем и чайный прибор.

Шарапутдин отставил в сторону чашку, и Неизвестный заметил появившиеся на его лице проблески интереса и расположения.

— Я привез вам от Карайдара салам, — нашелся Неизвестный.

— О! — вдруг оживился Шарапутдин. — На его салам тысячу моих саламов. Проходи, дружище, садись, — он даже встал, чтобы усадить земляка.

Первое впечатление у Неизвестного было, что Шарапутдин сухой и желчный человек, однако он вскоре же отказался от этого своего мнения. Шарапутдин оказался не только, гостеприимным — он сразу же стал угощать гостя чаем с клюквенным вареньем, — но и необычайно приветливым человеком. Он стал расспрашивать про аул, про семью Карайдара, потом перешли на семью самого Неизвестного, и тут выяснилось, что они тоже находятся в каком-то родстве. В конце концов они стали такими друзьями, что Неизвестный даже забеспокоился: не сон ли все это. Он несколько раз щипнул свою руку, оказалось, что явь. «И зачем только жена Карайдара вот уже несколько лет подряд делает из Шарапутдина бог знает кого, а он очень простой, очень скромный и очень приветливый человек», — подумал Неизвестный.

Шарапутдин целый час расспрашивал и о своих родственниках, и о друзьях, а Неизвестный старался как только мог удовлетворить его любопытство. Они разговаривали как добрые земляки, а не как пожилой опытный литератор и пришедший к нему с просьбой молодой поэт. Хотя Шарапутдин занимал в журнале довольно высокий пост и сам писал стихи, он, как правило, избегал всяких разговоров о литературе. Где-то на заре становления сынтаслынской литературы, совпавшего с расцветом его молодости, он узрел, что родной язык подвластен рифме, он брал любую попавшую под руку тему и рифмовал, рифмовал, рифмовал... На старости лет, а сынтаслынцы всегда уважают солидный возраст, его сделали заведующим отделом поэзии. А разговоров о лите-

ратуре он избегал не столько потому, что опасался выказать здесь свое непонимание, сколько потому, что боялся уязвить свое самолюбие, если, к примеру, собеседник вдруг, оказался бы понимающим в литературе человеком.

Поэтому он вскоре замолчал, не зная, о чем еще спросить своего молодого земляка. Неизвестный же, вспомнив про Кемала, который, собственно, и загнал его в этот кабинет, рассказал о том, как неуважительно отзывался о Сынтаслы знаменитый поэт. Шарапутдин недоверчиво посмотрел на Неизвестного, и тут ему волея-неволей пришлось коснуться своей работы. Он, покачивая головой и звучно поцокав языком, возмущенно сказал:

— Разве так можно жить, как он живет?! Ведь он не только о родном ауле, он обо всех нас плохо говорит. Разве так можно жить?.. Мы все его уважаем, а он нас не ставит ни в грош. Ну, неплохой поэт! Ну, идею в себе несет! Знаем! Хорошо знаем. Но это же не значит, что о людях можно говорить всякие гадости. Мариам у него — графоманка, Хамзат — рифмоплет, а Улавбек — тот вовсе плагиатор... И термины-то какие откопал, сразу и необразишь, что к чему. И буквально обо всех, никого не пропустит, А обо мне он так выразился: «Соловей поет в мертвом саду» Представляешь, аульчанин, меня, седого человека, с птицей сравнил. Ну разве можно так жить?! И Мариам, и Хамзат, и тот, и другой — все у него плохие. Кто же тогда хороший?! У меня жена, дети, родственники есть, которых я кормлю, одеваю, воспитываю, и я плохой, я какой-то там соловей...

Шарапутдин разволновался, лицо его покраснело, и он, вытащив платок, принялся вытирать лоб, глаза, уши, даже рот.

— Завидует он всем, — продолжал он. — Завидует. Мне завидует, потому что у меня неплохое место. Мариам завидует, потому что она лучше его пишет. Даже Айвану завидует, потому что тот сильный. Он потому завидует всем, что каждому в чем-то уступает. Ему бы мое место, известность Мариам, силу Айвана... Вот прожорливый человек. Вот посмотришь, землячок, он когда-нибудь умрет от своей зависти. Он уже сейчас сам с собой разговаривает. А что ему делать? Ведь каждому поговорить хочется. На-

пример, я вот с тобой сегодня поговорю, и скукота пройдет... Понимаешь, разговор, он от скуки лечит. Ученые уже доказали, что женщина потому и живет дольше мужчины, что больше его говорит. И дело не в том, что Кемал всех не любит. Может, я тоже никого здесь не люблю и даже радуюсь, когда он ругает кого-нибудь в лицо. Я уважаю его за прямоту, только как-то обидно, когда такой разбирающийся в других людях человек вдруг говорит о тебе что-то такое... Я ведь тоже могу о любом сказать, а не говорю, потому что я человек почтенный. Я не Кемал. И зачем же так... птица. Я же знаю, что за глаза любой прохвост может ляпнуть про меня где угодно: «Он же не человек, он — птица».

Услышав последние слова, Неизвестный засмеялся.

— Вот видишь, ты уже смеешься. Вот так и люди пришли и смеются. «Соловей поет в мертвом саду», — так о тебе сказал Кемал», — говорят они мне. «Может, у меня есть такая строчка в стихах», — высказываю я предположение. «Нет, это он так о тебе сказал», — уверяют меня доброхоты. Я, конечно, не Айван, чтобы скандалы устраивать. Да с Кемалом-то не больно поскандалишь... Он такое еще наговорит... Нет, лучше уж от него подальше... — Шарапутдин вдруг остановился, надув тонкие губы, взглянул на часы. — Ох, землячок, заболтался я тут с тобой. Наша столовая в час открывается. Нужно поспеть, а то очередь будет неслыханная...

Шарапутдин встал, снял с рук нарукавники, закрыл крышкой банку с клюквенным вареньем, поставил на подоконник чашки, а железную коробку с чаем положил в ящик письменного стола, сказав при этом:

— Цейлонский. Отличный чай. В прошлом году в Москве во время отпуска двадцать пачек купил. Жаль, кончается... — Он надел пиджак и, радостно блестя глазами, протянул Неизвестному руку. — Ну, землячок, — воскликнул он лихо. — Не стесняйся, приезжай еще! Передавай всем моим знакомым большой-большой салам. Ну, пойдем.

Они пошли к двери. Неизвестный, вспомнив о своей сумке, вернулся за ней. Теперь Шарапутдин уважительно пропустил своего молодого земляка вперед, и они вышли.

По коридору, заложив руки в карманы брюк, бродил невысокого роста седовласый горбоносый мужчина. Он лукаво посмотрел на вышедших из кабинета, рука его потянулась к горбатуому носу, он погладил его ладошкой, сначала остановил свой взгляд на Неизвестном и на его сумке и вновь погладил свой горбатый нос ладошкой. Шарапутдин подвел к нему Неизвестного.

— Хамзат, это наш сынтаслынский паренек, познакомься, — сказав это, Шарапутдин куда-то исчез. Хамзат неподдельно заулыбался, протянул руку. Неизвестный, в знак особого уважения к старшему, взял его руку своими обеими, и Хамзат второй рукой накрыл его руки.

— Рука руку моет, — затараторил он, улыбаясь, — руки лицо моют, сынтаслынец сынтаслынца уважает и возносит его, а Сынтаслы гремит на всю область. Не так ли, браток?

— Так, — застенчиво согласился Неизвестный.

— А ведь ты знаешь, что такое Сынтаслы? — хитро сощуриив свои сероватые глаза, опять скороговоркой спросил Хамзат.

— Что такое Сынтаслы? — недоуменно переспросил Неизвестный и тут же радостно добавил: — Это же наш аул.

— Правильно, совершенно правильно, — заулыбался, сверкая зубами, Хамзат. — А знаешь, что означает слово «Сынтас»?

— Надгробье, памятник, — опять не совсем понимая, что от него хотят, ответил Неизвестный.

— Вот это и требовалось доказать, — радостно воскликнул Хамзат и затем неожиданно спросил: — А ты знаешь, браток, мою легенду о нашем Сынтаслы?

— Нет, никогда не слышал, — пробормотал молодой сынтаслынец.

— Ты еще многого не слышал. Но ничего, теперь тебе Хамзат все расскажет... Когда ты будешь читать мою поэму, то узнаешь и эту легенду. Как замечательно все получается! Не правда ли, браток?

— Да конечно...

— Вариантов легенды у меня сколько угодно... Если я, к примеру, пишу патриотическую поэму, то непременно скажу, что когда-то на том месте, где сейчас находит-

ся аул, народ поставил памятник погибшим героям, а потому люди и назвали аул — Сын­таслы. А если я пишу о любви, то скажу, что когда-то здесь покончила самоубийством несчастная в любви девушка и Сын­таслы — это памятник вечной любви. Народ создал легенду, народ создал тысячи ее вариантов... А что такое народ? Мы — это и есть народ. Ты же ведь тоже народ? — закончил он свою тираду новым вопросом, и на лице его заиграла лукавая улыбка.

— Да, — ответил, опять застеснявшись, молодой сын­таслынец, который неожиданно вдруг почувствовал себя народом.

— Вот то-то и оно, — вяло проговорил Хамзат, ища какую-то новую мысль. — Учти, — вдруг встрепенулся он, — сейчас в литературе наступил этап завоеваний. Это, кажется, еще Наполеон сказал, что надо побольше завоевывать территорий, а потом уж юристы доказывают его правоту, Великий человек был Наполеон! — произнося эти слова, Хамзат как-то смешно вздул губы. — В литературе тоже надо завоевывать, а потом уж решать: кто прав, а кто не прав. Понял, в чем дело, браток? — хитро подмигнул он.

Неизвестный очень внимательно слушал и почти ничего не понимал.

— Если теперь тебя кто-нибудь спросит: «Есть ли в народе легенда о Сын­таслы?», — говори, что есть. О ней ты прочтешь в моей поэме. А тот тут один... уже стал под меня подкапываться. Не беспокойся, у него и помощники отыщутся... Нет, так нельзя, нельзя так... — Лицо его вдруг изменилось, словно он вспомнил что-то кошмарное: нижняя губа невольно отвисла, а верхняя чуть задрожала, глаза впали, на лбу выступил пот.

«Бывают же люди...» — удивился Неизвестный столь быстрой перемене в настроении своего собеседника и даже проникся к нему состраданием.

Вдруг, оторвавшись от раздумий, Хамзат начал шептать:

— Историю Сын­таслы тоже никто не знал, а потом нашли на берегу этот греческий кувшин четвертого века до нашей эры... Вот тебе и история Сын­таслы. Теперь

люди многое узнали. Кто-то даже уверял, будто один древний сынтаслынец участвовал в Троянской войне. А что тут плохого, если и участвовал? Может, он в эту Троию проник на деревянном коне. Это же интересно! И докажи, что не было этого... Легенды... А знаешь, браток, я как сочиню какую легенду, так потом сам в нее верю, верю, что так и было на самом деле когда-то, и еще верю, что она народная... Я и имя свое не подписываю, мне это ни к чему, мне просто эта легенда к месту нужна. Когда она не от твоего имени, а от имени народа, то и звучит убедительнее. Не правда ли, браток? — он опять подмигнул Неизвестному.

— Наверное, так, — улыбнулся тот.

— Раз, молодой человек, пришел в литературу, помни слова великого Наполеона. Надо, надо завоевывать и... Кемал! — вздрогнул вдруг Хамзат и искоса взглянул в ту сторону коридора, где хлопнула дверь.

Вдалеке появилась сухая высокая фигура бородатого поэта. Последователь Наполеона как-то, мелко засуетился и затем громко сказал:

— Мамедбий, наверное, у себя. Заходи, парень, не стесняйся.

Неизвестному показалось, что Хамзат нарочно делает вид, будто не знает его, будто только что случайно столкнулся с ним в коридоре. А Хамзат тем временем открыл какую-то дверь, втолкнул его в кабинет и, улыбнувшись на прощанье, подмигнул.

За столом сидел кругленький человечек. Голова его напоминала тыкву темно-красного цвета, залысина его тоже отливала красным, и усы были огненно-красными. Увидав Неизвестного, красные маленькие глазки оживились.

— Садитесь, молодой человек, — указал Мамедбий своей пунцовой рукой на стул.

Неизвестный сел и, вспомнив, что забыл поздороваться, сам слегка покраснел, но со стороны могло показаться будто это на него упал отсвет от Мамедбиа. Хозяин кабинета не обратил внимания на неучтивость вошедшего, он поставил локти на стол, взгромоздил подбородок на сомкнутые кулаки и внимательно посмотрел на посетителя.

— Пишем, да? — спросил он.

— Да, — стыдливо признался Неизвестный.

— Бывает... — протянул Мамедбий.

Неизвестный не понял, что именно — «бывает».

— Бывает, — повторил, излучаясь красным цветом, Мамедбий. — Сначала многие пишут, а потом перестают писать. Мы их публикуем, надеемся на них, а они нас забывают и даже перестают читать наши вещи. Бывает... — многозначительно посмеиваясь, проговорил он, потом заморгал красными глазками и самодовольно заулыбался.

Неизвестный молчал.

— Бывает, — снова начал Мамедбий и внимательно посмотрел на красно-зеленую сумку Неизвестного. — Бывает, что и книги наши не покупают, и теплых отзывов о наших книгах никуда не посылают. А у вас, молодой человек, есть мои книги? — вдруг как-то тихо и даже боязливо спросил он.

— Есть... «Кубань течет с Эльбруса»... В прошлом году купил, — заикаясь и тоже тихо ответил Неизвестный.

У Мамедбия, когда он молчал, был поразительно скучающий вид: глаза его медленно ползали по сторонам, пальцы вяло тарабанили по столу; однако стоило ему раскрыть рот, как он тут же воспламенялся: глаза начинали восторженно блестеть, а пальцы весело барабанить по столу. Затем взгляд его постепенно тускнел, сам он с последним, словом погасал и вновь начинал скучнеть. Спросив про книгу, Мамедбий замолчал, медленно потарабанил пальцами по столу, но затем вновь загорелся.

— Бывает... — в который раз сказал он, быстро обдумывая следующую фразу. — А отзыв или хотя бы письмо в наш журнал о моей книге написал, а? — спросил он и даже не закрыл рта в ожидании быстрого ответа.

— Нет... — покраснел Неизвестный, осознав в этот миг свою вину перед собеседником.

— Вот видишь... — Мамедбий цокнул языком. — Вот ты сам пишешь, но если ты будешь писать и знать, что никто твоих книг не читает, разве тебе будет приятно, а?

— Конечно нет, — машинально согласился Неизвестный.

— У тебя есть с собой что-нибудь из написанного?

Если есть, то давай, — сказав это, он с безразличием протянул руку.

Неизвестный быстро развязал шнур сумки, вытащил оттуда папку, раскрыл ее и протянул Мамедбию рукопись своего рассказа «Петух».

Мамедбий, надев очки и взглянув на рукопись, прыснул:

— Это, наверно, для работников птицефермы?

Неизвестный, сразу не поняв и не оценив юмора, недоуменно посмотрел на него.

— Шучу, шучу... — пояснил покрасневший еще сильнее Мамедбий. Приняв серьезный вид, он погрузился в чтение.

Неизвестный больше всего опасался, как бы Мамедбий не начал расспрашивать его о своем романе, а потому, пока тот был занят чтением рассказа, попытался припомнить содержание романа «Кубань течет с Эльбруса». Он вспомнил, что речь там идет о современном ауле и что центральный герой у Мамедбия — пастух-богатырь. Еще ему припомнилось, что в романе высокий стиль переплетается с публицистикой, вспомнилось также, что там около трехсот протоколов заседаний колхозов и протоколы эти будто бы подлинные. Во всяком случае, так отмечала критика, и это было поставлено автору в заслугу. Больше ничего вспомнить не удавалось.

А Мамедбий, прочитав тем временем «Петуха», задумался, потом посмотрел на молодого автора и вдруг опять прыснул и долго смеялся. Неизвестный же опять недоумевал — как-то уж слишком своеобразно реагировал на все этот светящийся красным человек. Наконец, Мамедбий прервал свое хихиканье.

— Нет, — сказал он. — Для птицеводов это не годится, — и так снова захихикал, что у него выступили слезы. Он вытащил из кармана большой шелковый платок, громко высморкался, сложил платок вчетверо и засунул его обратно в карман. — Жестокие люди у нас в Сынтаслы. Очень жестокие. Послушай, а ведь я этого Шомата знаю. Он мне дальним родственником приходится. Так что ты все это лучше убери, ну, что о нем болтает эта старая сплетница. Зачем все это? Нехорошо как-то получается:

такой почтенный старик — и такая история у его рода... Понимаешь, не совсем приятно... И потом он у тебя людей убивает...

— Он же никого не убил! — неожиданно для самого себя встрял Неизвестный.

— Ну все равно петухов, — пояснил Мамедбий и продолжал: — Сейчас в литературе и петухи, и лошади, и собаки, и даже рыбы — это вовсе не петухи, лошади, собаки или рыбы. Под ними сейчас подразумеваются люди. Ты знаешь, один наш древний сынтаслынский мудрец когда-то сказал, что люди есть ишаки. Вот откуда это идет. Из Сынтаслы. Все идет из Сынтаслы... Только тогда, в древности, об этом лишь говорили, а теперь об этом пишут в художественных произведениях. Литература далеко пошла. Вот у меня в романе, который ты читал, знаешь, через какой образ я показываю людей? — спросил он.

Чего больше всего боялся Неизвестный, то и случилось. «Гадай не гадай, а, кроме пастуха-богатыря да отары овец, я там ни одной души не помню», — подумал он с испугом и, покраснев по самые уши, еле выдавил из себя;

— Нет.

— Вот, — цокнул как-то победно языком Мамедбий. — Орел... Помнишь, орел, который парит над Эльбрусом? Орел — это народ. А у тебя — петух... Петух — это не народ. Но все равно в петухе тоже должна быть идея, понимаешь? — спросил он и прямо-таки вылупил свои красные глазки.

— Нет, не понимаю, — чистосердечно признался Неизвестный.

— Петух без идеи — безыдейный петух. А так нельзя, — пояснил Мамедбий.

— А если такой идеи нет в жизни, то где же ее взять? — недоумевал автор «Петуха».

— Ну, не будем спорить. Ты же мне, надеюсь, веришь?

— Да, — ответил совсем растерявшийся молодой, писатель.

— Рассказ должен быть идейным, — на последнем слове Мамедбий сделал особое ударение. — Тогда это правдиво, тогда это жизненно. Только не обижаться, только не обижаться, — затвердил он, а улыбка не сходила с его лица.

— Что вы, что вы...

— Рассказ получится, непременно получится, если к твоему петуху приложить идею. И ты не ленись, не ленись... Поработай. Знаешь, я над своим романом больше года работал, — сказал он и, улыбаясь, протянул Неизвестному рукопись.

Тот сунул ее в сумку.

— А то, что они помирились, — это здорово, это правильно, — продолжал Мамедбий. — Ведь все они хорошие люди. Люди должны мириться и примиряться, поэтому и жизнь идет, что среди людей мир. А если не мириться, то знаешь, что будет? Конец света да и только. А вот про учителя Карайдара ты зря так написал. Нет, он мне не родственник, он Шарапутдину родственник. Но я знаю, у учителей и мыслей таких быть не может, чтобы кого-то убивать. Я ж Карайдара знаю, он такой тихий... А у тебя он вдруг кричит: «Я его зарежу!» Не дай Аллах, если твой рассказ прочтет Шарапутдин. Ему очень не понравится, что ты его родственника в своем рассказе изобразил. Да, а ты был у него? — спохватившись, спросил Мамедбий,

— У кого?

— Ну, у Шарапутдина.

— Да, — коротко ответил Неизвестный,

— Он читал рассказ? — оживился Мамедбий.

— Нет, я ему не показывал.

— И не вздумай! Ни в коем разе... — резко прочертил он указательным пальцем по воздуху, а затем, сомкнув губы трубочкой, лукаво улыбнулся и проговорил: — Тут и так за ним эта птичья кличка утвердилась, а теперь Кемал назовет еще его «петухом». Хи-хи-хи!.. А Кемала ты знаешь? — спросил он нахмурившись.

— Видел... А так не знаю, — успокоил его Неизвестный.

— Ну ладно. Бывает... — как-то отрешенно процедил Мамедбий, пальцы медленно затарабанили по столу, и весь он как-то сник. Он безучастно посмотрел на своего молодого земляка, вдруг взгляд его остановился на красно-зеленой сумке, он даже чуть вздрогнул, глаза его вспыхнули и просветлели, а пальцы начали весело выбивать дробь, — Ты это самое... — заговорил он шутливо, — теперь хоть о цыплятах пиши, все равно не забывай про людей. Понял да?

— Понял, — ответил, улыбаясь, Неизвестный. Мамедбий, как и в самом начале разговора, поставил локти на стол и положил на сомкнутые кулаки подбородок. Теперь он надолго замолчал, давая тем самым понять собеседнику, что тот слишком засиделся. Неизвестный и сам уже начал догадываться, что слишком засиделся, но ему что-то мешало просто так встать и уйти. Наконец, Мамедбий поднялся:

— Может, ты к Айвану хочешь зайти? Он тут направо от меня... первый кабинет...

— Да, зайду, — почему-то согласился Неизвестный, хотя совершенно не представлял, зачем ему нужен этот Айван.

Неизвестный пожал Мамедбию обеими руками руку и вышел, так и не сказав, что он брат той, которую он, Мамедбий, любил в молодости...

Неизвестный машинально зашел в соседний кабинет. И первое, что он услышал — это громоподобный кашель, от которого, казалось, вздрогнули стены. Вздрогнул и Неизвестный.

Стены кабинета сплошь были обклеены и увешаны экономическими картами, отчего в комнате царил бледно-бурый сумрак. За столом сидел человек, над широким раздвоенным подбородком которого навис длинный нос, придавивший толстые влажные губы. Лицо у человека было жирным и черным, а его покатые могучие плечи, почти сросшиеся с головой, действительно, создавали впечатление чего-то буйволиного. Он поднял голову, и черные палящие глаза впились в Неизвестного, и тому сделалось как-то нехорошо. Человек долго и, скорее, угрожающе, нежели испытывающе, смотрел на вошедшего, а два его больших кулачища как бы сами собою ползали по столу.

— Кого надо? — голос заставил вздрогнуть стены и вконец растерявшегося молодого сынтаслынца.

«Айван. Настоящий Айван», — мелькнуло в голове у Неизвестного, но выйти он уже не решался, как и не решался остаться в кабинете и начать разговор.

Айван не дождался ответа на свой вопрос и бросил

взгляд на красно-зеленую сумку Неизвестного, из которой торчала только что положенная туда рукопись.

— Стихи? — кивнул он головой на рукопись,

— Есть и стихи...

— Ну-ка, — протянул Айван свою могучую руку,

Неизвестный порылся в сумке и вытащил две тетради со стихами.

Взяв тетради, Айван несколько раз пустил веером листы, а убедившись, что все страницы исписаны, спросил:

— И все это написал ты?

— Да...

— Га-га-га! — расхохотался Айван и вдруг неожиданно смолк. — Ты писал? — нахмурившись, повторил, он свой вопрос.

— Я, — ответил перепуганный Неизвестный.

— Га-га-га! — вновь загоготал Айван и вновь так же неожиданно смолк. Задумался. Затем, что-то вспомнив, вновь загоготал. — Когда я учился в институте, — заговорил он, еле сдерживая смех, был там у нас один хлюпик. Он все из себя Достоевского мнил. Слушай, ты почему-то мне его очень напоминаешь, — сделав паузу и вытаращив, глаза, вдруг выпалил он: — Слушай, а ты кого из себя мнишь?

— Никого, — пожал плечами Неизвестный.

— Врешь! Не верю ни одному твоему слову. Я вообще никому не верю. Меня не проведешь. Тот мой однокурсник, ну, хлюпик тот, все из себя Достоевского строил... А знаешь, почему я завел о нем речь?! — его грозный вид и тон опять заставили вздрогнуть Неизвестного. — Он писал! — Айван ударил кулаком по столу и неожиданно снизил голос. — Как сейчас помню: сидит он передо мной, дрожит всем телом и... пишет. Плечи дрожат, руки дрожат, шмыгает носом — воздуха ему не хватает, — но все равно пишет. Жалко его: я такой здоровый и не пишу, а он такой щупленький, такой бедненький и... пишет. Озирается по сторонам и пишет.

Сейчас Айван говорил нормальным человеческим голосом, но Неизвестному уже было как-то непривычно слышать от него не громоподобную речь.

— Так вот, — вздохнул Айван, — беда произошла: рука у хлюпика отсохла. Парализовалась. Так он все равно не

унялся: стал левой писать. Говорят, всего Достоевского переписал. Тридцать томов переписать!.. Это тебе не упражнение для развития рук! Как ты думаешь?

Неизвестный улыбнулся.

— А ты случайно, не переписал там кого-нибудь? — снова изменив тон, спросил Айван.

— Нет, что вы... — быстро ответил Неизвестный, испугавшись такого предположения, и рука его потянулась за тетрадами.

— Ты откуда такой?

— Из Сынтаслы...

— Га-га-га! — гремел Айван. — Га-га-га! — и вдруг опять заговорил нормальным голосом: — Вот уже сколько времени я не вижу сынтаслынецов. Отовсюду едут, а из Сынтаслы... Что ж ты сразу-то не сказал? Разве я стал бы тебе устраивать такую психологическую обработку! Люблю я свой Сынтаслы и аульчан своих люблю... Меня Арсланом зовут, — сказал он дружелюбно и протянул руку.

— А меня Тенгизом, — и Неизвестный протянул свою руку.

— Ох, надоели мне все эти кабинеты, — показывая кулаком на экономические карты, произнес грустно Арслан. — По природе томлюсь, в просторы наши хочу. Хочу на лошади проскакать, хочу на майдане побороться, хочу отары перегонять... Может, тогда и стихи стал бы сочинять, — признался он.

Неизвестный, никак не ожидая такой перемены в настроении этого грозного человека и пожалел о том, что сразу же не сказал, откуда он родом и зачем приехал в город.

— Давай поборемся, — ставя локоть на стол, вдруг предложил Арслан.

— Вы же меня поборете, — улыбаясь, сказал Неизвестный, никак не ожидая такого мальчишества от работника сельскохозяйственного отдела.

— Ну, давай, давай, — глаза у Арслана азартно горели, он энергично двигал рукой, мысленно уже одолевая соперника.

Неизвестный тоже поставил локоть на стол. Арслан аккуратно поправил и свою руку, и руку Неизвестного,

затем, напыжившись, крепко зацепился за пальцы соперника и шепотом выдавил из себя:

— Ну, начали?

Неизвестный особенно не сопротивлялся, и Арслан без труда положил его руку на стол.

— Видишь, — успокоению сказал, он, — сила есть, а девать ее некуда...

— А зачем вы здесь сидите, если вам не нравится? Жили бы себе в ауле... — предложил Неизвестный, глядя на довольного победой Арслана.

— Легко сказать, жил бы в ауле... А с какими глазами я туда вернусь?! Я когда-то оттуда уезжал поэтом. Стал горожанином. А теперь обратно в аул? Да меня ж там никто не примет. Уж лучше считаться пропавшим без вести, чем так вернуться назад... Все же станут смеяться. И, знаешь, будут правы. Нельзя же так опускаться в глазах земляков. Нашему человеку только дай повод, а уж он тебя обсмеет, обхохочет, дети и те животы будут надрывать и каждый раз пальцем тыкать: «Вон поэт пошел! В. нашем ауле поэт ходит!» — Арслан, изображая детское изумление, показал, как его станут дразнить дети. — Что там ни говори, а наш брат — суровый народ: раз пустился в дальний путь — держись до конца, — закончил он очень серьезно.

— А что же вам делать тогда? — сочувственно спросил Неизвестный.

— Что-что?.. Ничего, — развел руками Арслан. — Не знаю. Сейчас, как видишь, всей душой отдался вот этой работе. Корреспонденты приносят материалы из совхозов, работники ферм пишут письма. Этим и занимаюсь. Теперь для меня стихи — это надои молока, урожайность... Увлекательно. Шучу с посетителями. Дружу с Шарапутдином, с Хамзатом, с Мамедбием. Добрые люди...

— А с Кемалом?

— С Кемалом? — призадумался Арслан. — С ним — нет. Он всех нас отрицает. А нас отрицать нельзя, потому что мы есть. Есть же и Шарапутдин, и Хамзат, и Мамедбий... А как же можно отрицать то, что существует? Он и наш Сынтаслы отрицает. Мои друзья его бояться, а я над ним

смеюсь. Он у нас, так сказать, для разнообразия, так сказать, для смеха. Ведь смешно же... — и Арслан, трясая своим раздвоенным подбородком, засмеялся. — Хочешь, я тебе одну притчу про него расскажу? Впрочем, хочешь или не хочешь, а слушай...

Ночью жена послала Кожа Насретдина за водой. Пришел он к колодцу, заглянул в него и ахнул:

— Ах, бедная, куда же ты свалилась?! — запричитал Кожа, увидев на дне колодца луну. — Ах, что же делать, что же делать? — разволновался он.

В конце концов Кожа взял крюк, нацепил на него ведро и опустил его в колодец. Черпает он, черпает из колодца воду, но все никак ему не удастся поймать желтую луну в ведро. Когда воды в колодце оставалось совсем уже мало, он в очередной раз опустил в него ведро. И вдруг Кожа почувствовал, как ведро его затяжелело.

— Ага, попалась! Ну, теперь я тебя спасу... — закричал Кожа и стал изо всех сил тянуть из колодца ведро.

Ведро в колодце за что-то зацепилось, но Кожа так тянул крюк, что ведро в конце концов сорвалось, и он упал на землю.

Ушибся Кожа, почесал с досады затылок, поохал, взглянул на небо, туда, где когда-то была луна. Смотрит и не верит глазам: луна на месте. Обрадовался Кожа, побежал быстрее домой, чтобы рассказать жене о своем благородном поступке.

— А где же вода? — встретила жена его вопросом.

— Я землю спас, я, жена, всех людей спас, — затараторил Кожа Насретдин. — Как люди жили бы без луны?..

Закончив притчу, Арслан пристально посмотрел на Неизвестного.

— Вот так же и наш Кемал спасает луну, А мы-то все знаем, что она на месте... Ха-ха-ха! — засмеялся он. — Да, да, мой дорогой земляк, луна на месте. Ну, пока! — уж как-то очень неожиданно закончил он разговор. — Передавай в Сынтаслы всем привет, а если кто будет интересоваться, скажи, что Арслан еще жив и здоров и что он по-прежнему поэт, — сказав это, он протянул Неизвестному свою огромную руку.

Неизвестный медленно спускался по лестнице. Когда он сошел с последней ступени, то заметил в вестибюле Кемала. Прежде всего ему бросилась в глаза торчащая клином борода, потом он обратил внимание на голову Кемала: серые волосы были по-сумасшедшему взлохмачены, казалось, что он целый час сидел перед зеркалом и придумывал себе прическу, но, так ничего и не придумав, оставил все как есть. «Сами по себе волосы взлохматиться так не могут» — отметил Неизвестный и вдруг увидел, что Кемал заметил его и прямо-таки впился в него глазами. Неизвестному стало не по себе, и он, стараясь опять никак не выказать своего волнения, гордо поднял голову и вообще принял очень независимый вид. Он уже прошел мимо Кемала, когда услышал презрительный шепот:

— Всех обошел, подхалим?.. Айвана и того не забыл, несчастный сынтаслынец!..

Ознобом ударило по спине Неизвестного, когда бородатый поэт произнес слово «сынтаслынец». «Этот Кемал — самый злой и самый дурной человек в журнале», — подумал он и проникся к этому мизантропу непонятной себе ненавистью.

Неизвестный выскочил на улицу, и его лицо приятно обвеяло прохладой. Он пошел тем же путем, которым шел сюда утром, и вскоре оказался на пустынной аллее. Уже вечерело. Из-за домов проскальзывали последние лучи солнца, на сухой асфальт падали длинные сетчатые тени от кленовых деревьев. Неизвестный почувствовал, как отяжелела его сумка, и понял, что устал. Вдруг он вспомнил недавно слышанные им слова: «Айвана и того не забыл, несчастный сынтаслынец!..» и в растерянности остановился, а остановившись, почему-то обернулся назад и... обомлел: за ним следовал высокий, взлохмаченный, с колючей бородой клином Кемал.

Неизвестный стоял, а Кемал медленно приближался, не спуская с него своего злого взгляда. Кемал подошел вплотную и тоже остановился. Неизвестный на всякий случай сжал кулаки.

— Подхалим... — услышал он шепот Кемала.

Неизвестный не выдержал, резко схватил его за руку и повернул к себе.

— Ты сынтаслынец или нет? — выходя из себя, почти закричал он.

— Я презираю Сынтаслы! — гордо вскинул голову, язвительно процедил бородатый поэт.

— Но это же твоя родина! — опешил Неизвестный, однако руки его не выпустил.

— Я человек без родины. Сынтаслы — аул насмешников. Я человек без родины, потому что я никогда не смеюсь! — выпалил Кемал.

— Но ты же родился и вырос в Сынтаслы!

— Я нигде не родился и нигде не вырос...

— Надо с улыбкой смотреть на жизнь, — неожиданно вырвалось у Неизвестного.

— Весь Сынтаслы — это пустой смех. Сынтаслы нет! Нет Сынтаслы! Там есть только один смех над жизнью. Сынтаслы провалится под землю, и останется лишь громоподобный хохот...

При упоминании громоподобного хохота Неизвестный вздрогнул и выпустил руку отвергающего родину земляка, а тот продолжал:

— Смех — это отчаяние... Смех — это бессилие... Смех несет смерть! — неожиданно вскрикнул Кемал и пошел прочь.

— Я докажу тебе, что смех — это не бессилие, — опять как-то само собой вырвалось у Неизвестного. — Смех — это не отчаяние. Смех продлевает жизнь! — крикнул он, не зная сам, как и почему вырываются эти слова. Он стоял пораженный, смотрел в спину уходящему Кемалу, но все равно продолжал чувствовать на себе его желчный взгляд.

Неизвестный шел по улице, и еще долго перед его глазами маячили серые взлохмаченные волосы, колючая борода и желчный взгляд Кемала. И еще ему слышался его желчный шепот...

«Какой ужасный человек, — думал о нем Неизвестный. — Разве можно все отрицать?.. Почему у него такое отношение к нашему аулу?.. И откуда он знает про хохот?..» Потом он вспомнил всех тех, с кем встречался сегодня в журнале: и замученную самую же собой Мариам, и тоскующего по родному аулу буйволородного Арсла-

на, и цокающих на разные лады Шарапутдина и Мамед-бия, и поклоняющегося Наполеону изобретателя народных легенд Хамзата... Потом он вспомнил свой аул, вспомнил свою семью и подумал, как одни далеки от других и почему-то одни пытаются размышлять за других...

В это время молодой сынтаслынец проходил мимо четырехэтажного жилого дома. Из открытого окна до него донёлся голос дикторши:

«Сейчас мы предоставим микрофон редактору журнала товарищу Мурза-хану Пашаевичу...»

Неизвестный остановился.

Через короткую паузу, откашлявшись, заговорил Мурза-хан: «Товарищи, в данное время наша литература на пути успешного развития. Нас радует то, что произведения наших писателей известны далеко за пределами нашей маленькой области. Наша литература приобретает широту, масштабность... Так сказать, немасштабная литература мыслит масштабно...»

«Немасштабная литература мыслит масштабно», — повторил про себя Неизвестный.

Он отошел от окна.

«Немасштабная литература мыслит масштабно...» — вновь повторил про себя Неизвестный и попытался вникнуть в смысл этих слов.

«Немасштабная литература мыслит масштабно...»

«Немасштабная литература мыслит масштабно...»

«Немасштабная литература мыслит масштабно...» — опять и опять повторял Неизвестный, чувствуя, что это верно сказано, однако он никак не мог четко уяснить смысл сказанного.

Неизвестный взглянул на часы. Было семь. Последний автобус на Сынтаслы уже прошел. К сестре, которая жила в этом городе, идти не хотелось, про покупки для дженге он забыл, и он отправился на шоссе а надежде сесть на попутную машину. Попутных машин на Сынтаслы не было. Закинув сумку за плечи, Неизвестный тронулся в далекий пеший путь.

Небо было усеяно крупными яркими звездами. Желтый месяц следил за походкой Неизвестного. Неизвестный все время пытался убежать, но месяц догонял его и подмигивая, приговаривал: «Ах ты хитрец, да ничего у тебя не выйдет...»

Неизвестный шел, вбирая в грудь холодный ночной воздух. А чтобы на одиноком асфальте не было страшно, он запел песню, которая сейчас никого не будила и никого не тревожила... Вокруг было пустынно, все было поглощено густой темнотой, и только по обе стороны шоссе, шелестя листвой, уносились ввысь пирамидальные тополя.

Подойдя на рассвете к Сынтаслы, Неизвестный остановился. Предрассветная тишина оглушала. В пепельном небе по одной исчезали белые звезды. Луна сделалась тонкой и прозрачной. Аул спал. Подходило то самое время... Неизвестный вспомнил слова Кемала...

Это началось разом. Как будто одновременно и с неба и из-под земли вырвался оглушительный многоголосый хохот. Зазвенело в ушах. Неизвестный закрыл пальцами уши и увидел, что вся округа — и дома, и деревья, и столбы — дрожит, как игрушечная. Ему стало жутко, и он зажмурился. Он долго стоял в оцепенении, а когда открыл глаза и оторвал от ушей руки... по всему Сынтаслы раздавалось спокойное многоголосое петушиное пение.

Придя в себя, он побежал домой, никем не примеченный взобрался на чердак и повалился на свою раскладушку...

ВСТУПЛЕНИЕ К ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ

Давным-давно жил хан. У того хана была красавица дочь. Если вспомнить про луну, то дочь хана была луноликая, если вспомнить про солнце, то дочь хана была лучезарная, если на свете есть две красавицы, то одна из них — дочь хана, если на свете есть всего лишь одна красавица, то и это — дочь хана.

Но вот настала пора выдавать дочь замуж, и хан своей необыкновенной дочери пожелал найти необыкновенного жениха.

— Кто мне расскажет сорок небылиц, за того и дочку отдам, — объявил хан свое ханское условие и еще уточнил; — Только, чтобы небылицы те были небылицами и ни в одну из них нельзя было бы поверить, чтобы ни одна из них не походила бы на другую и чтобы одна была бы лучше другой.

Прослышали про эту весть джигиты и устремились к ханскому дворцу: каждому хотелось заполучить в жены ханскую дочь. Хан же слушал всех и всем верил, а потому как он верил, то и не считал рассказанное небылицами, а потому как ему рассказывали не небылицы, значит, не исполняли его условия, а потому как не исполняла его условия и все же хотели заполучить его дочь, то хан усмотрел в этом желание его обмануть, а потому как хан не любил, когда его обманывали, он звал палача.

Многие отважные джигиты тогда лишились голов, а те, которые не лишились, решили их не лишаться, как ни соблазнительно было заполучить себе в жены ханскую дочь.

И долгое время во дворце не появлялись женихи.

Однажды, когда хан лежал на красивом шелковом одеяле, подложив под бок красивую шелковую подушку и о чем-то думал, к нему вошел неизвестный. Увидев его, хан нахмурил свои густые брови и раздраженно спросил:

— Чего тебе, несчастный, требуется?

— Нет, хан-отец, я не несчастный, — возразил ему неизвестный, — я табунщик и зашел к тебе рассказать сорок небылиц.

— Окаменей ты на месте я чтобы мои глаза больше

тебя не видели! — накинулся на него хан. — Познатнее и постарше тебя приходили... Языки за голову цеплялись, да во головы у них не удержались на месте. Ты, наверное, по виселице скучаешь?

— Нет, хан-отец, по виселице я не скучаю, и ты меня не повесишь. Хочешь ли ты того или не хочешь, а дочку тебе придется отдать за меня, — невозмутимо сказал неизвестный.

Промолчав, хан промолвил:

— Хорошо. Ты говори, а я послушаю.

Неизвестный начал так:

— Родился я раньше своего отца, и пас я тогда табун своего деда. Большой был табун. Когда табун ложился на землю — по ушам считал; когда стоял — по ногам подсчитывал.

— Чего ты мелешь? — подскочил хан.

— Однажды встал я рано утром, — продолжал неизвестный, — смотрю — весь табун лежит. Стал считать по ушам — не досчитался одной жеребой кобылицы. Поднял табун, по ногам посчитал — одной жеребой кобылицы съва не хватает. Позади был большой холм. Взбежал я на его вершину, посмотрел по сторонам, но ничего не увидел. Взял я тогда свой курук¹, оперся на его толстый конец — хотел на тонкий конец взобраться, — но у меня ничего не получилось. Тогда я оперся на тонкий конец и, взобравшись на толстый конец, приставил ко лбу ладонь, но опять ничего не увидел. Что же делать?

— Что же делать? — переспросил хан.

— Если кобылица ожеребится в степи, то жеребенок может съесть волка. Опечалился я. Глаза мои наполнились слезами, и я пошел по дороге на север, хотя дорога вела на юг.

Прошел я по той дороге доброе расстояние, смотрю — впереди валяется половинка лошадиного кизяка. И так и сяк, и потея и вздыхая, и так ловчась и так упираясь, как будто собачий день настал, взобрался я все-таки на эту половинку лошадиного кизяка.

Взобрался и поглядел во все четыре стороны. И вдруг

¹ Курук — шест с петлей на конце для ловли лошадей.

вижу мою жеребую кобылицу на той стороне Эдила¹, бегущую по ветру. Обрадовался я, прыгнул вниз и быстро побежал к Эдилю. Перебросил свой курук с берега на берег и, как по мосту, прошел по нему.

Быстро поймал я кобылицу, оседлал ее, жеребенка взял на колени и направился к реке. Доплыли мы до середины, смотрю — кобылица стала тонуть и я вместе с ней. Хорошо, сразу же сообразил, что нужно делать. Оседлал я жеребенка, взобрался на него, а кобылицу взял на колени. Поплыли дальше.

Вышел я на берег, смотрю — из-под не выросшего куста заяц в степь юркнул. Куруком догнал, жеребенком ударил, поймал я его все-таки...

Хан, видя, что табунщик на самом деле может рассказать сорок непохожих одна на другую небылиц, решил его запутать.

— Крольчонка, наверное, за зайца принял, — перебил хан.

— Вполне возможно, что и крольчонка. Только берцовая кость этого крольчонка для твоего дворца могла бы перекрытием послужить.

— Наверное, не для дворца, а для юрты?!

— Вполне возможно, что и для юрты. Только ту юрту сорок атанов² должны были тащить.

— Наверное, не атанов, а тайлаков³?!

— Вполне возможно, что и сорок тайлаков. Только эти тайлаки верхушки сосен в сорок обхватов глотать могли.

— Сорок обхватов? Наверное, сорок муравьиных обхватов?!

— Вполне возможно, что и муравьиных. Только, когда старики смотрели на вершины этих сосен, то с их голов папахи падали.

— Наверное, твои старики были лилипутами?!

— Вполне возможно, что и лилипутами. Только они, стоя возле колодца, со дна воду пили.

¹Эдиль — Волга.

²Атан — кастрированный верблюд.

³Тайлак — верблюд-однолетка.

— Наверное, твои колодцы канавами были?

— Вполне возможно, что и канавами. Только, когда в них утром бросали кожаное ведро, оно лишь вечером достигало его дна.

— Наверное, тогда дни были короткими?!

— Вполне возможно, что дни были короткими. Только утром трехгодовалая телка в долине телилась, а вечером ее теленок, трехгодовалым волом став и в арбу впрягшись, в лес за дровами ездил...

Хан замолчал, понял, что не запутать ему молодого табунщика, и решил его слушать до конца. А табунщик, глядя на хана, продолжал:

— Ну вот, взял я того зайца, принес в шалаш, содрал с него шкуру и разрезал на части. Целый пуд жиру собрал. Поставив мясо на казан, решил жиром сапоги смазать. Мне этого пуда только на один сапог хватило. Съел я мясо и лег спать. А через некоторое время проснулся от шума: сапоги мои дерутся.

— Тебя смазали жиром, а меня — нет, — кричит один сапог.

— Меня жиром смазали, а тебя — нет, — еще злее кричит другой сапог.

Встал я, отругал их, а тот сапог, что был жиром смазан, подложил под голову, а тот, что жиром смазан не был, положил возле ног.

Вечером просыпаюсь, смотрю, а того сапога, что возле ног лежал, нет. Вероятно, думаю, обиделся, что его не смазали, и убежал. Я скорее ноги в смазанный сапог и за ним.

Бежал, бежал, смотрю: мой сапог на веселой свадьбе гостей обслуживает — мясо разносит по столам. И сам веселый такой. Но как увидел он меня, так лицо его сразу изменилось. Испугался, бедный, подумал, что я его побью. Я ему тогда подмигнул, и он мне подмигнул, а потом стал мне подносами мясо носить.

Пятнадцать подносов мяса съел, от жажды все бочки с водой опорожнил, но и этого мне оказалось мало. Побежал на Эдиль. Жара несусветная, а Эдиль замерз. На моем поясе висел большой топор. Взял я топор, стал лед рубить — лед не разбивается. Отбросил топор, снял с головы папаху и принялся колотить головой. Прорубь пробил.

Только утолил жажду, смотрю — на бесспицевой арбе, без мешков, просом нагруженные, едут аульчане. Смотрят они на меня и кричат:

— Что видел? Что видел?

— На бесспицевой арбе, без мешков, просом нагруженных, и вас видел, — ответил я им, а потом сам спросил:

— А что вы видели?

— Тебя видели, ходящего с половиной головы, — закричали они.

Схватился я за голову, батюшки, на самом деле, на месте только полголовы, а вторую, наверное, на реке потерял, когда пробивал прорубь...

— Врешь! — закричал хан.

— Не спеши, хан-отец, раз я обещал тебе сорок небылиц, то и будет тебе сорок небылиц. Ну вот, вернулся я к проруби, нашел свои полголовы, хотел уже возвращаться домой, но тут услышал, что тому, кто расскажет сорок небылиц, хан отдаст свою дочь. Хан-отец, если бы со мной не приключились все эти приключения, я бы пришел во дворец раньше и рассказал бы другие небылицы...

— Врешь ты все! — сказал хан.

— Хан от ханского слова не откажется, а простой табунщик чего, действительно, не наплетет, — табунщик дал хану понять, что теперь хану деваться некуда...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Пусть, как песня, льется
эта жизнь...

Из народной песни.

В Сынтаслы жили горцы, хотя поблизости не было никаких гор — аул раскинулся в предгорьях, на берегу бурной Кубани. Из Сынтаслы — четко на юг — только виднелись серебряные вершины, над цепью которых величественно возвышался двуглавый Эльбрус, видимый не в любую погоду и не в любое время суток. Но в любое время суток и в любую погоду каждый сынтаслынец знает, что там — горы, и даже не то, чтобы он это знает, а как-то неизбывно в себе носит особое чувство — там горы...

В былые времена сынтаслынцы носили папахи и черкески с газырями, а на поясе у сынтаслынца всегда висел кинжал. Оружие почиталось особо: добрая винтовка, добрая турецкая сабля говорили о доблести их владельца. Обычай у сынтаслынцев были крепкие. Завидев в нескольких десятках метров старика, сынтаслынец не переходил ему дорогу, сынтаслынец не разговаривал с отцом на «ты» не пил при нем, не курил. Со старшими здоровался в «обе» руки. Почитались не только деды, отцы, матери, но и старшие вообще, даже старшие братья и сестры.

В далекие-далекие времена жил бедняк по имени Батирбек. У него на всем белом свете не было никого, кроме родной сестры. Батирбек не мог даже жениться, потому что без калыма никто не хотел отдавать за него свою дочь. И вот однажды сестра говорит:

— Послушай, Батирбек, у нашего хана есть немая дочь. Хан согласен отдать ее за того, кто совершит чудо: заставит ее заговорить. А что, если тебе к ней посвататься?

Батирбеку терять было нечего, а своей горемычной головой он не очень-то и дорожил. Предложение сестры ему понравилось, и вот они вместе с сестрой отправились в ханский дворец.

После позволения хана говорить с ним Батирбек опустился на колени и произнес:

— Салам алейкум, хан-апенди¹. Я пришел к тебе с добром. Слышал я, будто ты согласен отдать свою дочь в жены тому, кто заставит ее заговорить. Так вот я пришел, чтобы она заговорила.

— Ты правильно слышал, — сказал хан. — Только если она, несчастный, не заговорит, я отрублю тебе голову.

— Я согласен, — невозмутимо ответил Батирбек.

Хан позвал визирей и велел им отвести бедняка к дочери. Визири попрятались возле окон, а Батирбек с сестрой вошли в комнату, где сидела немая дочь хана.

— Говори, немая дочь хана! — приказывает Батирбек.

¹ Апенди — господин.

Немая дочь хана даже и глазом не повела.

— Батирбек, — спрашивает тогда его сестра, — что мне лучше рассказать: то, что я слышала, или то, что я видела?

— Тому, что ты слышала, — отвечает Батирбек, — нам трудно доверять, поэтому расскажи то, что ты видела.

И тогда сестра начала рассказывать то, что она видела:

— В одном ауле я видела трех братьев. У братьев было несколько овец, и они пасли овец по очереди. Самый старший брат был искусным мастером по дереву, и однажды, когда он возле леса пас овец, вырезал из дерева девушку, которую очень трудно было отличить от живой.

На следующий день на этом же самом месте пас овец средний брат. Заметив в лесу сидящую девушку, он подошел к ней, однако увидел, что девушка сделана из дерева. «Надо же, кто-то не поленился и смастерил, словно настоящую... Если же я ее одену и обую, то она станет совсем настоящей...» — подумал средний брат и отправился в аул. В лавке он купил все необходимое и поспешил обратно в лес.

На третий день пришла очередь пасти овец младшему брату, и он пошел на то же место, где прежде пасли овец его старшие братья. Младший брат, подойдя к девушке, увидел, что она деревянная. «Кто-то смастерил и нарядил девушку, а вот вдохнуть душу в нее не сумел, — подумал он. — Дай-ка я омою ее настоем из девяносто девяти трав, и она оживет». Так он и сделал. Сначала девушка подняла правую руку, затем — левую, протерла кулачками глаза и улыбнулась. Обрадовался младший брат, что сумел оживить деревянную девушку, и вечером вместе дошли они домой. Дома младший брат рассказал, как он увидел в лесу деревянную девушку и как потом оживил ее...

— Тело этой девушки вырезал из дерева я, если бы я, этого не сделал, то что бы ты оживлял? Эта девушка должна быть моей, — сказал старший брат.

— Но я ее одел и нарядил, поэтому она должна быть моей, — возразил средний брат.

— Эй, братья! — воскликнул младший брат. — Один из

вас ее вырезал из дерева, другой нарядил, но если бы я ее не оживил, так бы она и осталась деревянной, и кто бы из нас тогда о ней спорил? Нет, девушка должна остаться мне.

— Так вот, Батирбек, если у тебя есть голова, то сообрази, кому из братьев должна достаться девушка? — обратилась теперь к Батирбеку сестра.

И тот, недолго думая, ответил:

— Тому, кто дерево оживил, — младшему брату.

Немая дочь хана вдруг повернулась к Батирбеку:

— Ты не прав. Ты забываешь обычаи и законы предков. Разве младший брат может жениться раньше старшего? А если подойти по-другому: если бы старший брат не вырезал из дерева фигуру девушки, то что бы оживлял младший? Нет, по справедливости девушка должна достаться старшему брату..

Батирбек несколько не огорчился тому, что дал опрометчивый ответ, он рад был, что немая дочь хана заговорила.

— Если та девушка по справедливости предназначена старшему брату, — сказал он, — то ты по справедливости должна принадлежать мне.

Обычай у сынтаслынцев был крепкий. Когда-то они верили в бога, верили в то, что существует рай и существует ад. Дел греховных сторонились, потому как мечтали о вечном блаженстве в райских садах; двери которых распахивались только для спасенных душ. Главным смыслом их жизни на земле были дети. Они растили детей, а сами умирали, в свою очередь их дети растили своих детей и сами тоже умирали. Дети, их детей шли тем же многократно повторенным их предками путем. Рождались и умирали сынтаслынцы на своей земле, а если когда и покидали ее, то всегда стремились вернуться на родину, чтобы вечный покой обрести здесь — на земле своих предков.

Сейчас большинство сынтаслынцев в бога не верит. Их долго заставляли стать атеистами. Сейчас сынтаслынцы верят в себя. Но и сейчас они продолжают рождаться и умирать, Хорошую жизнь сынтаслынцы ищут на земле, а когда умирают, то завещают свои мечты о хорошей

жизни остающимся на земле детям. Хотя и вера, и жизнь сынтаслынцев очень изменились, земля у них осталась та же. И больше всего на свете сынтаспынец любит свою землю. «Родная земля — золотая колыбель», — говорит сынтаслынец и верит в это,

В середине аула находилось большое, огороженное железной сеткой кладбище. В давние времена это место было окраиной аула, и здесь Есене́йский и Найманский ямагаты¹ хоронили своих людей. Вокруг ограды росли старые тополя, а посреди кладбища возвышался большой курган, вокруг которого беспорядочно были разбросаны надмогильные камни. Меж камней росла густая сочная трава, и когда наступала пора сенокоса, кто-нибудь из аульчан, исхлопотав разрешение, производил на кладбище покос. Хромой, с красными веками и белыми ресницами кладбищенский сторож Максуд косил на кладбище постоянно, складывая свои стожки прямо среди могил, потому как жил совсем неподалеку. Другие же на тележках возили скошенное сено к себе на участки. И еще у Максуда была телка, которая постоянно паслась на кладбище. Она иногда взбиралась на самую вершину кургана и так отчаянно там мычала, что слышно было даже в конторе, находящейся в полкилометре от кладбища. Возле же той конторы собирались мужчины. Сидя на корточках и покуривая, они вели свои бесконечные разговоры. Услышав мычание Максудовой телки, они смолкали, затем дружно, хотя и медленно: поворачивали голову в сторону кургана.

— Опять этот теленок кричит, — говорил кто-либо из них.

— Опять, — сокрушенно соглашался с ним другой.

— Наверное, Максуд на этих кладбищенских телках скоро себе «Волгу» заработает, — высказывал кто-то вслух общую мысль.

¹Есене́йский и Найманский ямагаты — кварталы, названные по имени двух крупных родов кубанских ногайцев — Есене́й и Найман.

А черная телка, раздражая аульчан своей дармовой сытостью, вертелась на макушке кургана и, во всю мочь мыча, смотрела своими бледно-синими бессмысленными глазами то на юг, в сторону гор, то на север, в сторону степи. Хромой Максуд, понимая, что его десятая по счету телка плохо влияет на аульчан, ковыляя, взбирался на холм и сгонял мычащее животное.

— Нет тебе кроме этого места, что ли?! — ругался Максуд.

По преданиям, хранившимся старожилками-сынтаслынцами, это была Великая могила — могила древних ханов, князей и их людей. Но это были всего лишь предания, а современные сынтаслынцы особо горячего интереса к ним не проявляли, потому как преданий в Сынтасла тьма-тьмуца. Тут каждый старик или старуха знает великое множество сказок, легенд, песен. И в любой из них — необыкновенные приключения необыкновенных людей, некогда живших вот на этой земле...

Говорят, лет тридцать назад в Сынтасла специально приезжал какой-то ученый и увез отсюда четыре мешка записанных сказок, легенд, песен. Говорят, потом этот человек страшно разбогател и прославился. Зато сами сынтаслынцы после этого насторожились, и теперь уж редко кто расскажет постороннему человеку какую-нибудь сказку или легенду.

Много, много преданий в Сынтасла, но все-таки не так много, чтобы их разбазаривать, и все же слишком много, чтобы в них верить. Ну как могут современные сынтаслынцы поверить, например, в несуществующую страну Чун, жители которой обитают за стеной, доходящей до неба, или как могут они поверить в то, что когда-то сынтаслынцы воевали на слонах и покорили всю Поднебесную, или как они могут, наконец, поверить, что их предки жили в мраморных дворцах, во дворах которых разгуливали поющие павлины и произрастали райские деревья?

Как только за дальние холмы заходит солнце, и если по телевизору показывают плохой фильм, чернобородый Сулеймен усаживает вокруг себя соседских детей и начинает рассказывать им сказки, а они слушают его до тех

пор, пока в клубе не закончится последний сеанс и взрослые не разойдутся по домам. Современные дети хотя и слушают чернобородого Сулеймена со вниманием, однако они не настолько наивны, чтобы верить во все рассказанное.

— А-а! — дослушав старика, машет рукой какой-нибудь самый смысленый мальчишка. — Выдумываешь ты все, Сулеймен, а мы тут зазря с тобой время тратим! — и уходит от старика ватагу.

Хитрые дети мирно сидели возле старика еще и потому, что они дожидались ночи, чтобы начать свои разбойные вылазки по самым заманчивым садам Сынтаслы.

Преданиям не верили даже не потому, что они были слишком неправдоподобны. Если прежде, чтобы поведать о необыкновенном, существовали лишь уста сынтаслынца, то сегодня сынтаслынец слушает радио, читает книгу, смотрит кино и телевизор. И сынтаслынцы больше удивляются даже не услышанному, прочитанному или увиденному, а самим способам передачи разного рода сообщений. Да и в самой жизни сынтаслынца происходит столько всего, что только успевай удивляться.

— Вай-вай! — закричали от страха сынтаслынцы, впервые увидевшие трактор.

— Задавит, спасайся! — завопил один старик, закрывая ладонями глаза, увидев на экране мчащийся на него поезд.

А с первым мотоциклом в ауле устраивали состязания на лошадях.

Много было удивительного. И теперь вроде бы даже устали удивляться. Сейчас у каждого или мотоцикл, или машина. Ездят, ломают, меняют запчасти, мажут, красят, сломанное выкидывают...

Пожалуй, лишь сам человек не перестает быть удивительным.

В Сынтаслы, как и в других аулах, есть еще свои особо удивительные люди. И про некоторых из них Тенгиз уже писал. С тех пор как он побывал в городе и посетил редакцию, прошел год. Сейчас Тенгиз все так же работа-

ет на складе, все так же по вечерам залезает на свой чердак, много читает, ведет дневник. Про удивительных или странных людей своего аула Тенгиз писал еще до своей поездки, пишет о них и сейчас...

Странные люди Тенгиза не потому странные, что наделены от природы какими-то странностями, а потому, что в Сынтаслы есть особые нормы поведения, и эти люди - кажутся окружающим странными потому, что не придерживаются вот этих общепринятых норм поведения, И есть еще в Сынтаслы слабоумные, грубо говоря, дураки. Вообще-то, почти в каждом ауле есть свой дурак. Да что за аул без дурака! Сынтаслы же аул большой, и потому в нем дураков больше. В Сынтаслы их два...

Между прочим, эта категория людей почитается у всех народов. Начиная от сказок и кончая произведениями классической литературы, дурак — один из главнейших героев. И в народе дураков почитают, потому как они за всех людей несут боль. Их все жалеют: одевают, обувают, кормят, приносят милостыню и приглашают на все праздники. А когда, например, дети пытаются издеваться над ними, детей ругают, отгоняют, учат, чтобы богом обиженных не обижали. Даже есть такая, пословица: «Несчастен аул без дурака».

В Сынтаслы, как мы сказали, было два дурака, но мы расскажем только об одном — об Акылбеке.

Второй дурак — Ярой, живущий в верхней стороне аула, кроме того, что любит кино и красную милицескую фуражку без кокарды, подаренную ему соседом-милиционером, ничем особым от других дураков не отличается. Он, так сказать, нормальный дурак, так что тут и говорить-то почти не о чем. Правда, произошел с ним один случай... Вдова Гулькиз, чтобы обрести для дома счастье, продержала его у себя взаперти целую неделю. Вся округа тогда возмутилась поступком вдовы Гулькиз — хотела себе присвоить то, что принадлежит всем. А сам Ярой при виде вдовы потом прятался, просил у аульчан защиты. Умирая, мать Яроя очень боялась, что ее сына отдадут в специальный дом.

— Люди, сберегите беденького! Он принесет нашему аулу счастье. Председатель, — обратилась умирающая

к председателю сельсовета, — умоляю, присмотрите за ним! У меня там, под подушкой, накопленные деньги... Сделайте так, чтобы он каждый день ел горячую пищу...

Аульчане заботились о Ярое. Он каждый день ел горячую пищу.

Акылбек тоже терпимый дурак, живет он в нижней стороне аула (на каждую сторону по дураку), возле школы, в небольшом домике бывшего учителя истории Сарзамана.

Сколько лет дураку определить трудно. Говорят, Акылбеку тридцать исполнилось несколько лет назад. Просто многие аульчане помнили, когда он родился: во время войны. А так точный возраст дураку и не нужен. Роста Акылбек высокого, лицо с черными посмеивающимися глазами — круглое и маленькое. Рот он почти всегда забывает закрывать. Долго смотреть на Акылбека неприятно, потому как жалко видеть человека вот так, ни за что ни про что обделенного жизнью,

В отличие от Яроя, Акылбек иногда уходит из аула и месяцами где-то пропадает. Только-только люди начинают думать, что все, их дурак где-то пропал, как он неожиданно появляется. Вообще замечено, что дураки имеют привычку странствовать; хотя не все. Вот Ярой, тот оседлый дурак. И нормальные люди порой даже завидуют этим беспечным гулякам. Взял и пошел куда глаза глядят.

Но у Акылбека все-таки есть одна странная привычка, и он ей верен. И аул гордится, что у них особый дурак.

Акылбек постоянно таскает с собой настенные часы. Над циферблатом часов нарисована кошка, и он, словно кошку, держит и поглаживает свои часы, а иногда начинает их убаюкивать, как убаюкивают младенца.

А когда ему кто-нибудь встречается, он с еще большим усердием принимается баюкать свои часы.

— Что ты все возишься с ними? Может, продашь? — спрашивает его кто-нибудь из желания вступить в разговор.

— Ти-ише! — шепчет Акылбек. — Они спят...

— Ах ты несчастный, несчастный... Охота тебе таскаться с ними по аулам? Чего только брат смотрит, чего он тебя такого выпускает на улицу?.. — начинает сердиться встречный.

Начинает сердиться и Акылбек. Его взгляд меняется: почти всегда смеющиеся глаза наливаются какой-то черной жутью, белки; кажется, вот-вот выскочат из орбит, а рот, не закрываясь, начинает дергаться. Акылбек смотрит то на часы, то на собеседника, нащупывает большую стрелку и принимается ее крутить.

— Ходят! Ходят! — по-сумасшедшему кричит он, вертляво озираясь. И, продолжая крутить стрелку, уходит, повторяя свое: — Ляу! Ляу! Ляу-уу...

Акылбеку люди говорят:

— Если будешь умным, то и тебя, как Яроя, женим. Но Акылбек — сумасшедший неисправимый.

У Акылбека был старший брат — Сарзаман. Раньше Сарзаман преподавал в школе историю, а теперь находился на пенсии. Его бездетная жена давно умерла, и, кроме сумасшедшего брата, у него никого не было. Жили братья в небольшом трехкомнатном домике под черепичной крышей. По силе возможности Сарзаман ухаживал за домом, за небольшим вишневым садиком, сажал в огороде картошку, держал корову и несколько овец. В его постоянную обязанность входило присматривать и ухаживать за слабоумным своим братом.

В последнее время Сарзаман, с точки зрения нормальных сынтаслынцев, стал вдруг высказывать довольно странные суждения. И сынтаслынцы стали подозревать, что бывший учитель истории, мягко говоря, тоже стал слабеть умом. Иные, намекая на его младшего брата, говорили, что такое передается по наследству. Конечно, от Акылбека Сарзаман ничего такого унаследовать не мог, потому что тот был его братом, да еще младшим. Те же, кто помнил их родителей, ничего не могли припомнить за ними и такого, что бы окончательно решило вопрос в пользу наследственного недуга. Тех же, кто помнил родителей их родителей, в ауле оставалось совсем мало, и они прожили слишком долгую жизнь, чтобы все помнить. Когда же припоминали прежних дураков, то оказывалось, что они к роду Сарзамана не имели близкого отношения.

— Надо копать Великую могилу! — вдруг стал твердить Сарзаман. — Там зарыто все прошлое нашего аула...

— Священную землю трогать нельзя! — негодовали верующие старики.

— Чудишь ты, Сарзаман, чудишь... — смеялись неверующие старики. — Что может быть скрыто в этой земле? Скорей ты у себя в огороде найдешь клад, чем что-нибудь среди этих давно уже сгнивших костей.

Но Сарзаман стал одержим. Он почти каждый день ходил к директору совхоза и требовал то бульдозер, то экскаватор, чтобы начать вскрытие Великой могилы.

— Уйди, мой старый, уважаемый друг. Если бы даже там было то, о чем ты говоришь, зачем нам все это? Зачем? Нам еле хватает машин дорогу строить, а ты говоришь, могилу копать... Мы живем настоящим, а не прошлым. Прошлым жить нельзя. А этим твоим легендам даже дети не верят...

Сарзаман даже съездил в город и побывал в научно-исследовательском институте.

— Сынтаслы не представляет исторического — научного интереса, — сказали ему. — Все очаги древней культуры, которые имеются в нашей области, изучены или уже изучаются. А тратить средства, время и людей на легенды не имеет смысла...

Действительно, в Сынтаслы, кроме греческого кувшина четвертого века, никогда ничего найдено не было. И то его нашел не ученый, а какой-то сынтаслынец, удививший рыбу. Случайно нашёл. Весной, когда река смыла берега, в размытой земле нашелся совершенно целый глиняный кувшин. У ученых области сразу же возникло подозрение: хитрые сынтаслынцы хотят фальсифицировать историю. И потому ученые долгое время о кувшине даже не упоминали. Правда, потом один московский ученый заинтересовался найденным кувшином и написал целую статью об этой редкой находке. Предполагалось, что кто-то из древних сынтаслынцев закопал редчайший экспонат на берегу реки, предполагалось, что этот кувшин был семейной реликвией того древнего сынтаслынца, а у того сынтаслынца были какие-то древние предки, побывавшие в Греции и привезшие оттуда это редчайшее изделие.

«Сынтаслы не представляет исторического научного интереса...»

По мнению местных историков, сынтаслыныцы явились на эту землю не более двух столетий назад. Считалось, что вся их история осталась разбросанной в необъятных донских и каспийских степях. Многие легенды и сказки тоже говорили о тех, между двумя морями, степях. А местный научно-исследовательский институт отдавал предпочтение аборигенам и занимался только ценностями своей области. А что касается самих сынтаслынцеv, то они всерьез о своем прошлом задумывались редко. «Что было, то прошло», — любили говорить они и тем самым как бы сразу решали кардинально вопрос.

Сарзаман же твердил свое:

— Сынтаслыныцы захоронили всю свою историю в Великом погребении!

Сарзаман неистово доказывал свою гипотезу, но чем он неистовее ее доказывал, тем меньше становилось у него слушателей. Аульчане только посмеивались над ним, а директор совхоза стал избегать его.

Но старый Сарзаман не отчаивался и каждый раз на ямагате твердил про Великую могилу.

Сынтаслыныцы уважали учителей и считали их почетными аульчанами, однако речи Сарзамана им уже надоели, и они все чаще и чаще подшучивали над ними.

— Ну что, когда копать начнем? — спрашивал его на сходке кто-либо из стариков.

— Да хоть сегодня, хоть завтра с утра, — не подозревая подвоха, обрадованно отвечал Сарзаман.

— Начинай со своим братом, а мы потом придём — и подержанную усмешку расходились.

И все-таки один постоянный слушатель у Сарзамана был. Им оказался кладбищенский сторож Максуд. Максуд был хромым, а еще он прикидывался глухим, хотя хитрые сынтаслыныцы знали, что глухим он только прикидывается, и еще они знали, что ни одного разговора о деньгах Максуд мимо ушей не пропустит. Хромой Максуд с опаской слушал разговоры о Великой могиле. Больше всего он боялся за своих телков, которых бесхлопотно выращивал здесь на кладбище и потом выгод-

но продавал. Когда вечером приходил Сарзаман, жена Максуда, Зорымхан, охотно осведомляла гостя о многочисленных хворобах своего мужа. С ее слов получалось, что Максуд совсем уже оглох и почти ослеп, все ночи напролет кашляет, а больная нога не дает ему ни минуты покоя. Сарзаман проходил в кунацкую, садился на низенькую табуретку напротив Максуда, вытягивавшего свою нестигаемую ногу, и выкладывал свое горе. Сарзаман пересказывал героические песни о сынтаслынских героях, рассказывал легенды о полководцах и уверял, что все они похоронены в Великой могиле...

Максуд слушал учителя молча. Его нисколько не трогали истории, рассказываемые Сарзаманом. Все дела минувших веков: великие битвы сынтаслынских родов, великие походы сынтаслынцев, легендарные события, — все это ему казалось ненужным и ничтожным по сравнению с тем черным телком, которого он присмотрел взамен тому, что пасся теперь на кладбищенском уголье. Действительно, в последнее, время нога у Максуда побаливала, и он стал всерьез подумывать о “Москвиче” с ручным управлением. Если Сарзаман думал о том, что хранится внутри Великой могилы, то Максуд думал только о том, что растет на ее поверхности.

Жена Максуда, каждый раз собиравшаяся угостить Сарзамана бироком¹, устраивалась в соседней комнате, но так, чтобы гостю было видно, как она на низком столике катает тесто. Но она так долго и так упорно катала тесто, что Сарзаман успевал выговориться и уходил, не дождавшись угощения.

— Если этот сумасшедший вдруг подымет людей копать историю, тогда нам эта история выйдет боком, — говорил Максуд жене, когда уходил учитель.

— Да ну, что ты, Максуд? Старый учитель шутит, а ты веришь ему. Устал он, вот и плетет... Шутка ли, столько лет в школе возиться с детьми... Вон и брат у него такой же...

Кладбище, помимо того чем оно было для Сарзамана и помимо того чем оно было для Максуда, продолжа-

¹Бирок — мучное блюдо, вареники.

ло оставаться еще и просто кладбищем. Здесь по-прежнему хоронили умерших сынтаслынцев Есенейского и Найманского ямагатов. Похороны, как и день рождения, как и свадьба, — самый устойчивый у сынтаслынцев обряд. Если остальные обряды под напором новой жизни меняются прямо на глазах, то в этих трех случаях, касающихся основных моментов жизни человека, все осталось почти нетронутым. Пожалуй, изменились лишь надгробные камни. Раньше их делали прямоугольными, строго направленными в одну сторону — в сторону юга. Если хоронили женщину, то на камне высекали ножницы и иглу, если хоронили мужчину — кинжал. Теперь надгробия делают шпилеобразными, со звездочкой на макушке и с фотографией на одной из граней...

Кладбище у сынтаслынцев — святое место. Возле кладбища не полагается громко разговаривать, смеяться, ругаться, не позволено говорить на чужом языке. Нельзя тревожить дух предков. Размеры кладбища увеличиваются, разрастаются, и увеличивается количество надгробий: от самой древней каменной бабы, которая почему-то стоит за оградой, до самых разнообразных прямоугольных плит с мусульманской вязью и современных шпилеобразных.

«Подобно тому как сын — надгробье отцу, так Сынтаслы общее надгробье предкам», — говорят старые сынтаслынцы.

Хотя нынче большинство сынтаслынцев и не верит в бога, мулла по-прежнему читает над умирающими молитвы, дабы очистить их души от грехов. Похороны проходят по религиозному, обряду, но сынтаслынцы придерживаются этого обряда вовсе не по причине его религиозности, а потому, что это — обряд. Да сейчас едва ли сыщется хоть один мулла, знающий все молитвы. Читает мулла то, что запомнил наизусть, и кто его знает, понимает ли он то, что читает. А сынтаслынцы и подавно не понимают его святую речь. Мулла читает языком Корана возвышенно, успокаивающе:

«Хвала Аллаху, который создал все твари и определил для них сроки, умножил их потомство и установил, чтобы они возвращались к Нему. Для Него не составляет труда создание твари единицами или сотворение существ вместе. Его власть покрыта славой, а другие лишены власти. И не поражают его никакие слабости. Его не изменяют столетия, и Его жизнь не делают короче ни годы, ни месяцы...»

Мулла читает эти возвышенные слова на непонятном сынтаслынцу языке, читает и другие молитвы языком Корана, и умирающий, по мнению духовного лица, умирает очищенный от грехов.

Когда душа отлетает, покойнику сразу же стягивают платком челюсть, чтобы не попал в рай с искаженным лицом. Женщины в доме умершего поднимают плач, на их голоса приходят женщины-родственницы и соседские женщины и тоже начинают реветь и рвать на голове волосы. Семь дней продолжается первое оплакивание. На сороковую ночь и на пятьдесят вторую ревут только близкие женщины, а через год после смертного часа — совсем близкие женщины.

Мужчины же собираются во дворе. Сидя на корточках и прикрыв ладонями свои печальные лица, они делают вид, будто шепчут молитвы. Кто просто шевелит губами: «Алла-бисмилла», а кто тянет что-то вроде: «Ля илляги иль-алла Мухаммед расул Алла». Кто же непонятных слов знает чуть побольше, тот уже читает: «Хвала Аллаху, который своей милостью делает совершенными блага, и по Его желанию сотворены земля и небеса. Да благословит Аллах господина нашего Мухаммеда и его род наилучшими молитвами и благороднейшими приветствиями, и да дарует ему многие приветы до самого судебного дня!»

Если умирает мужчина — то старики, если умирает женщина — то старухи обмывают тело усопшего, с головы до ног оборачивают в белый саван и кладут на похоронную лестницу¹. А в доме продолжается плач...

¹ Ногайцы несут покойника на специальной лестнице-носилках.

Женщины плачут с причитаниями. Одна импровизирует, а остальные ее поддерживают припевным плачем.

Нельзя ступить ногой
В чувяк, наполненный песком,
О, собравшийся ямагат,
Не бери эти слова в обиду,
По-другому же плакать я не смогу,
Чувяки есть, чулков намазных ¹ нет.
Ум есть, да памяти нет.
Набату голос твой подобный,
Большого дома сын,
И таз, и кумган ² имеющий,
Святого дома сын.

На протяжении всего причитания женщины, кланяясь хором, одним дыханием вздыхают, повторяя слова причитальницы. А та продолжает:

Что на этом свете есть?
Без верблюжонка оставшаяся верблюдица есть,
Без жеребенка оставшаяся кобылица есть...
Что на этом собрании есть?
Без сына оставшаяся мать есть,
Без матери оставшийся сын есть!

Опять кланяются женщины, припевая, плачут, и в их плаче слышится:

Без сына оставшаяся мать есть,
Без матери оставшийся сын есть!

Тело покойника больше одного дня в доме не держат. Выносят покойника только мужчины и старики и несут его до кладбища на похоронной лестнице. Женщины остаются дома плакать. Каждый, кто участвует в похоронной процессии, несет лестницу. Могила к этому времени уже вырыта. Сперва роется прямоугольная яма, потом

¹Чулки из сафьяна, надевающиеся под чувяки во время намаза-молитвы.

²Таз, кумган – принадлежности мусульман для омовения.

роется лахат — место, где должен лежать обернутый в саван покойник. Лохат роют в одной из стенок вырытой ямы, как нишу.

Похоронная процессия приближается к кладбищу. Со скрипом открываются ворота. Лестницу с покойником несут к вырытой могиле. Мужчины, выстраиваясь в шеренги, готовятся к молитве. Перед ними стоит апенди¹.

— Ва, ямагат! — обращается он к присутствующим. — Такого-то сын такой-то уходит от нас. Если он на этом свете совершил что-либо недобропорядочное, если у него порок был какой, простите его!..

— Прощаем! — шепчут люди.

Апенди три раза повторяет эти слова, и три раза люди отвечают ему одним и тем же.

Потом апенди читает последнюю молитву — талкын. Люди ее повторяют.

И засыпают могилу.

Апенди остается читать молитвы.

Мужчины, покидая кладбище, идут, торопясь, во двор умершего.

Семь дней плачут женщины. Семь ночей в отдельной комнате сидят на длинных скамьях старики, и семь ночей апенди читает «ясин», читает Житие пророков. Семь ночей зовут женщин к дверям комнаты, чтобы те послушали Житие пророков и успокоили свое горе.

А иногда бывает и так: убитый горем старик наперекор всем религиозным обрядам сидит отдельно ото всех во дворе и причитает:

Что на этом свете останется?

От скакуна седло останется.

От прибыльного места богатство останется.

На хоженном месте дорога останется.

Что на этом свете останется?

Что сила есть — не радуйся.

Сила уйдет — и такой день настанет.

Что богатство есть — тоже не радуйся.

Богатства не останется — и такой день настанет,

После того как созданы, что нам делать?

¹ Апенди — духовное лицо, господин.

Все мы покинем этот мир.
Предсмертный час — не настал — смерти нет.
А когда жизни конец — никто не знает.
Предсмертный час наступил —
Никому не дано остаться.
Если предсмертный час настал —
Выхода нет.
Хоть плачь — пользы нет.
Без смерти никому не дано остаться.
Жена останется — мужа найдет.
Сын останется — богатство найдет.
Дочь останется — милого найдет,
Когда к душе смерть подходит,
Что бедная головушка найдет?
Если скакун один останется,
То взобраться на него джигит найдется.
Кто останется, тому богатство найдется.
А кто уйдет в черную землю,
Тому что найдется?
От этого мира пользы нет...

Старик сидит одиноко где-нибудь в стороне, и никто к нему не подходит, лишь прислушиваются выходящие из дома мужчины и женщины. И эта песня обреченности вселяет в них больше веры, нежели обещания загробной жизни и рая...

А между тем жизнь идет своим чередом: рождаются дети, умирают старики и старухи, аул разрастается, разрастается и кладбище. Между могилами трава растет все сочнее и сочнее. Эту траву с удовольствием щиплют максудовские телки. Телки быстро растут и быстро взрослеют, и каждую весну, когда цена на скот повышается, Максуд ездит на базар продавать очередную телку. И уже новый теленок пасется среди надгробных плит и, как и его предшественник, наконец, взбирается на вершину Великой могилы и начинает тревожно мычать, вызывая раздражение старых аульчан.

В этом году разрешение на покос сена на кладбище получила Тенгизова семья.

Семья эта принадлежит Есенейскому роду. Род этот большой, а потому и неудивительно встретить однофа-

милльцев не только в разных концах Сынтаслы, но и в других аулах. Тенгизова семья — значит, семья, делившая один казан, — состояла из шести человек. Одним двором остались жить три брата. По обычаю, старшие братья — Карадав и Арун — должны были отделиться, оставив отцовский очаг младшему брату. Старшие сестры — Алтыншаш, Кериме и Кумисхан — давно уже вышли замуж и жили отдельно.

Тенгиз, из уважения к своим старшим родственникам, никого из них не называл по имени. К имени у сынтаслынцев особое почтение, и старшего редко называют по имени. Для этого существует множество своего рода заменителей: дада, эркем, агай, атай (большой, повелевающий, старший, отцеподобный). Обращением может также служить и название степени родства.

Старший брат Тенгиза, Карадав, уже имел четверых детей и жену по имени Ассирей, которая Тенгизу приходилась дженге. Карадав в этом году намеревался отделиться и уже приобрел «план» по соседству с отцовским очагом. Другой брат Тенгиза, Арун, в этом году заимел дочку, названную в честь главы государства Индии Индиры Ганди — Индирой. Жену Аруна, другую дженге Тенгиза, звали Инжихан. Пока Арун отделяться еще не думал.

Тенгиз тяжело переживал свой нелепый разрыв с Насипхан. Семьи в Сынтаслы крепкие, и развод осуждается сынтаслынцами, считающими, что семья создается раз и навсегда. Вторично создать семью разведенным трудно, и Тенгиз надеялся, что в конце концов Насипхан к нему вернется и все как-нибудь устроится. Но пока это были одни только надежды. Старшие сестры после того как уже: однажды попытались соединить молодых и потерпели неудачу, не решались вновь идти к отцу Насипхан. Теперь они возложили свои надежды на самих молодых.

Тенгиз изредка бывал в клубе и несколько раз видел там свою Насипхан; однако заговорить с ней никак не решался. При встречах они опускали глаза и молча проходили мимо друг друга. Разговоров в ауле по поводу их разрыва на первых порах было немало, но за недостат-

ком новых сведений об их отношениях и за отсутствием с их стороны каких-либо действий, разговоры мало-помалу стали стихать. В семье же Тенгиза говорили о том часто, хотя, не желая подливать масла в огонь, о Сурат почти не вспоминали. Это уж так повелось: об устроенной семье предпочитают молчать, а вот о неустроенной говорят охотно.

Тенгиз старался не слышать всех этих разговоров. Он много читал, размышлял, и это отвлекало его от неустроенной части жизни. В ауле, после его поездки в город, с нетерпением ждали его публикаций, но никто Тенгиза ни о чем не расспрашивал: каждому хотелось, чтобы ожидаемое произошло неожиданно. Сам Тенгиз молчал — похвастаться ему было нечем. Днями он пропадал на работе, а по вечерам забирался на свой чердак и подолгу мечтательно смотрел в звездное небо.

Братья тоже жили своей жизнью. Карадав по-прежнему работал в совхозе агрономом, а все остальное время возился во дворе или занимался с детьми. Беспечный Арун по-прежнему поглядывал на девушек, но все же любил свою жену, а еще больше любил маленькую Индиру, с которой нянчился по вечерам.

Наступала пора стрижки овец. На складе, где работал Тенгиз, развернули электростригальный пункт. Всю весну Тенгиз со складскими рабочими оборудовал его: здесь были установлены стеллажи, проверялись элетромашинки, монтировался транспортер, устанавливались ванны для креолинового раствора, соорудили временные загоны для отар.

Стрижка началась по прошествии первой недели лета. Стали пригонять обросшие шерстью отары, как говорится в сказках, шерсть была так густа, что на спине любой овцы жаворонок может свить себе гнездо... Вот такие овцы стали прибывать в загоны электростригального пункта. И сразу же организовали бригаду стригалей из мужчин и бригаду упаковщиц из женщин. Тенгиз и еще двое складских рабочих грузили в машины тюки, и машины тут же отправлялись на шерстомойную фабрику.

Стригали были разными людьми. Трое шоферов-сменников. Из пенсионеров — Сарзаман и чернобородый Сулеймен, который недоверчиво относился к электромашинке и как человек, спорящий с веком, с грустью вспоминал стрижку ножницами. В стригали попал и старший брат Тенгиза, Карадав. А всего стригалей — людей разных профессий — было пятнадцать человек. Упаковщицами стали, в основном, домохозяйки, среди них оказалась и самая старшая сестра Тенгиза, Алтыншаш, и женщина редкой для села профессии — библиотечкарша Алиме. Подсобными рабочими устроились чабаны.

Стрижка проходила шумно, но дружно. Блеяли овцы, жужжали машинки, тарахтел транспортер. Чабаны подавали овец, стригали стригли, женщины ловко тюковали шерсть, учетчик бегал возле стеллажей.

Стригали вошли в азарт. В первый день трое шоферов настригли по шестьдесят пять овец. Во второй день чернобородый Сулеймен, все время ворчавший на машинку, разозлился и настриг семьдесят овец. Посчитали. Оказалось, что овцы Сулеймена за один день сбросили триста пятьдесят килограммов шерсти. Три дня над его стеллажом развевался красный флажок.

Вдруг неожиданно для всех вперед вырвался бывший учитель истории Сарзаман и старший брат Тенгиза агроном Карадав, люди, которых аульчане не привыкли видеть за черной работой. Они настригли в день по восемьдесят овец. Общий вес шерсти за день работы одного человека достигал четырехсот килограммов. По двести двадцать «костюмов» настригли Карадав и Сарзаман. Стригали стали вести неофициальный подсчет, не по настриженным овцам и не по добытой шерсти, а по шерсти, которая требуется на один мужской костюм. Такова выработалась единица измерения работы — мужской костюм.

Все остальные дни красные флажки развевались над стеллажами Карадава и Сарзамана.

После рабочего дня стригали до темноты оставались в комнате отдыха и, смотря телепередачи, обсуждали прошедший рабочий день. Тон задавали передовики. Когда шоферы настригли по шестьдесят пять овец, все с уважением и вниманием слушали шоферов.

— Мы, шоферы, всегда о себе скажем, — произнес тогда почти торжественно смуглолицый, Тагир.

— Нет лучше шоферской профессии, но и на другой работе шоферы никогда не подведут, — сказал протяжно Мирзабек, сын старого Шомата.

— Шоферской класс—мировой класс. Представьте себе, что произойдет, если на всем земном шара шоферы вдруг прекратят работу, — высказал предположение Айдемир, любивший все брать в мировом масштабе.

— А арба... — попытался возразить чернобородый Сулеймен, но все сидящие в комнате отдыха дружно посчитали его точку зрения устаревшей и даже высказались в том духе, что хотя и надо уважать стариков, однако их взгляды на жизнь тянут сынтаслынцев назад, и вообще, во взглядах стариков очень много феодальных пережитков.

На следующий день, учитывая преимущество передовиков, Сулеймен настриг шерсти на двести двадцать костюмов. Три дня шоферы молчали и с досадой смотрели на чернобородого старика, а все остальные признали авторитет стариков и про феодальные пережитки больше не вспоминали.

Три дня стригалим, упаковщицам и складским рабочим Сулеймен преподносил «этнографический» материал о прошлой жизни сынтаслынцев. Он рассказывал о том, как катали войлок, как ткали ковры, как делали бурки-накидки, бурки-обувь, войлочные папахи и какими прочными и удобными были те изделия.

— Да, были времена... — начинал старый Сулеймен, косо поглядывая на установленный в комнате отдыха телевизор. — Были, были времена... — и вновь косо смотрел на молодую дикторшу, объявлявшую программу телепередач. — Овцы были что твои телята, а шерсть на них — серебро... Старухам одна радость. Сидят с утра до вечера дома и чешут ее, и чешут, и прядут, и вяжут...

Сидевшие в комнате отдыха смотрели на молодую дикторшу и, косо поглядывая на Сулеймена, почтительно поддакивали...

Но вот агроном Карадав и бывший учитель истории Сарзаман настригли по восемьдесят овец. Агроном стриг новым, неслыханным в ауле «оренбургским» методом. Он

ловко усаживал овцу, держал удивленное животное за передние ноги и ловко орудовал своей электромашинкой.

Когда приехала автолавка, Карадав послал Тенгиза за деньгами домой и по случаю своей трудовой победы купил итальянский костюм. В тот вечер в комната отдыха было особенно шумно: все поздравляли агронома с обновкой и хвалили «оренбургский» метод. А Сарзаман с достоинством обтирал шелковым платком вспотевший лоб и покрасневшую от солнечных лучей шею. Потом все, кто работал на пункте, слушали бывшего учителя истории. Конечно, с тем же вниманием слушали бы и агронома, но тот — молчун по своей природе — предоставил слово Сарзаману.

— Чтобы знать себе цену, надо знать свое прошлое, — самозабвенно говорил бывший учитель истории. — Должны мы его знать? Должны. А откуда такой удивительный, как мы, народ взялся? Должны мы знать?..

— Да! Да! — с восхищением, относившимся к слову «удивительный», поддакивали сидящие в комнате отдыха.

— Мы — сынтаслынцы! Мы — сынтаслынцы! Бьем себя в грудь, а сами не знаем, кто мы...

Сидящий в комнате Тенгиз насторожился: речь бывшего учителя истории совпадала с его думами последнего времени

— И ко всему с пренебрежением относимся, — продолжал бывший учитель. — И все смеемся над прошлым. А прошлое смеется над нами и смеется так, что земля наша дрожит...

— А вы слышали? — вырвалось у Тенгиза — он вспомнил предрассветный хохот.

Все сидящие в комнате отдыха засмеялись, думая, что Тенгиз пошутил.

— Знаю! — вскрикнул Сарзаман, и смех умолк. — Знаю, что прошлое смеется над нами. И смех прекратится, как только мы узнаем свое прошлое...

— А как же это сделать? — опять вырвалось у Тенгиза, но сейчас никто не засмеялся.

— Как сделать?! Надо разрыть Великую могилу. Там находится наше прошлое, — уверенно ответил Сарзаман.

Сидящие в комнате заулыбались, но, чтобы не обнаружить своих улыбок, уткнулись в телевизор.

— Выключите его, — попросил бывший учитель.

Но никто не обратил на его слова никакого внимания, и все молча продолжали смотреть «Клуб путешественников.»

Сарзаман, не ожидавший такого, замолчал и снова вытащил из кармана шелковый платок.

— А как оно там оказалось, это наше прошлое? — спросил Тенгиз, нарушив общее молчание.

— Ты спрашиваешь как? — Сарзаман спрятал платок в карман. — Оно само ушло туда, и пока мы не раскопаем Великую могилу, нам оно не будет известно. И не будет известно, как оно там оказалось.

— А какое было наше прошлое? — теперь уже улыбаясь старику, спросил Тенгиз.

— Ну, что ты пристал со своими вопросами? — вмещалась самая старшая его сестра. — Дай человеку отдохнуть...

Самая старшая сестра была очень довольна прошедшим днем: как-никак, а ее брат стал передовиком, и она все то время, что сидела в комнате отдыха, сияла, улыбалась всем, и ей вообще не хотелось уходить домой. Теперь же Тенгиз расстроил ее.

— О чем ты, Алтыншаш, волнуешься! — успокоил ее Сарзаман. — Мальчик говорит со мной об очень серьезных вещах. Видимо, из него выйдет толк, — похвалил бывший учитель истории Тенгиза.

— Правда! — вновь засияла Алтыншаш. Она встала и, подойдя к Тенгизу, погладила его по голове. — И где только он всему научился, — довольная произнесла она и стала со всеми прощаться.

Алтыншаш ушла. Вскоре остальные тоже встали и, учтиво попрощавшись, разошлись по домам. Про себя все радовались, что передовику оставили собеседника.

Сарзаман выключил телевизор.

— Я сам не знаю наше прошлое, — признался бывший учитель истории. — Земля должна рассказать нам про это. Там могут быть какие-нибудь книги или вещи... Или еще что-нибудь, что расскажет нам наше прошлое. Так или иначе, но секрет там, в земле. Не может быть, чтобы народ говорил неправду. Народ никогда не говорит неправ-

ду... Из уст в уста, из уст в уста передается, что земля наша хранит тайну... — Сарзаман вдруг стал оглядываться по сторонам, будто боялся присутствия постороннего. Потом он успокоился. — Ты знаешь, я думаю... Я думаю, — повторил он возбужденно, — там живые люди! Они все живые...

Тенгизу стало жутко, и он в испуге взглянул на старика.

— Духи, что ли? — тихо спросил Тенгиз.

— Нет, они живут там, — ответил старик, хмуря брови и раздувая ноздри. — Живут... — повторил он.

Тенгиз молчал — речь старика навела на него страх. Он в оцепенении смотрел на искаженное лицо Сарзамана, и ему пришла мысль, что, может быть, бывший учитель, действительно, сошел с ума.

— Я об этом никому не говорил, — продолжал Сарзаман, — никто этому и не поверит, а меня, чего доброго, еще примут за безумного... Сынок, если хочешь, пойдём послушаем их, а?.. Послушаем голоса сорока знатных людей Ногая. — Сарзаман выпрямился во весь рост и вопросительно посмотрел на Тенгиза.

Сарзаман, мягко ступая, вышел молча из комнаты. Тенгиз, боясь проронить хоть слово, потушил в комнате свет и, тоже тихо ступая, вышел за Сарзаманом.

Уже наступила ночь. Лишь в немногих окнах горел свет. Откуда-то лилась тихая мелодия гармонии... В небе ярко горели звезды, и золотой серьгой покачивался молодой месяц.

— Однажды ночью, — прошептал Сарзаман, приостанавливаясь возле Тенгиза, — я пришел к Великой могиле и увидел, как в кибитке мирно сидел Ногай с сорока ведьможами, и я слышал, как они разговаривали. Они говорили о том золотом времени.

«Бредит», — подумал Тенгиз.

— Следующей ночью я опять пришел к Великой могиле, — все более воодушевлялся Сарзаман. — Но уже никого из знатных людей, кроме Ногая, не было. Я заметил сидящего рядом с Ногаем старика — он был очень похож на меня. Этот старик позвал меня и сказал, что если сынтаслынды не откроют Великую могилу, то ни-

когда не узнают своего прошлого. Ногай тогда сказал, что этот старик и я — сумасшедшие. И еще он сказал, что своего старика за его свержение он повесит, и пожалел, что не может заодно повесить и меня, потому что я живу в другом времени. Но он успокоился тем, что меня повесят в своем времени, обязательно повесят. Старик, похожий на меня, которого должен был повесить Ногай, попросил тогда меня, чтобы я привел к Могиле человека, жаждущего знать прошлое. Он боялся, что если его повесят и меня повесят, то некому будет интересоваться прошлым, и оно навсегда канет в Лету. Он в свою очередь обещал привести того, кто у них интересовался будущим...

«Старик говорит какие-то невероятные вещи, но почему-то я ему верю», — подумал Тенгиз.

— Да, тот старик — это мой двойник. Я давно знаю, что я когда-то уже жил, и знаю, что после смерти, когда-нибудь вновь появлюсь на свет, — сказав это, Сарзаман надолго задумался.

Они молча подошли к кладбищу. Сарзаман открыл ворота, которые поприветствовали их похожим на стон скрежетом. Из темноты повеяло сыростью и еще каким-то непонятным убогим запахом. Сарзаман вошел первым и призывным жестом руки пригласил своего молодого спутника следовать за ним. Тенгиз, боясь споткнуться, осторожным шагом пошел за стариком, а тот уверенно ступал среди надгробий, словно шел давно и хорошо изученным путем. А Тенгиз потерял себя, потерял себя настоящего, потерял сегодняшний день, он как бы провалился в прошлое... Он в детстве наслушался разговоров о ходячих мертвецах, о вампирах и джиннах, живущих на кладбищах, и теперь детское воображение снова вернулось к нему, отринув все то, что потом отринуло его детское воображение. Услышав за плитой какой-то шорох, Тенгиз в ожидании чего-то ужасного замер. Шорох исчез, и Тенгиз, не глядя по сторонам, устремился за Сарзаманом.

Наконец, они подошли к холму.

— Вот она — Великая могила! — тихо, но торжественно произнес Сарзаман, положив руку на плечо Тенгиза.

От прикосновения руки старика Тенгизу и вовсе стало не по себе. Мало того что он был на кладбище, ему еще представлялось лицо бывшего учителя истории, рассказавшего такие невероятные вещи, и теперь он бранил себя за то, что в столь поздний час решился прийти сюда с сумасшедшим...

— Давай присядем, — шепотом предложил Сарзаман.

Они сели.

— Некоторое время посидим, — опять шепотом сказал Сарзаман, — потом они сами начнут...

Но сколько они ни ждали, никто не появлялся, и Сарзаман начал нервничать: хрустел пальцами, вздыхал, ерзал по плите...

— Наверно, его повесили... И того, который у них интересовался будущим, наверно, повесили, — сокрушенно произнес старик. — Встреча не состоялась. Если завтра Сынтаслы не начнет копать Великую могилу, то я тоже умру. Сынок, ты завтра придешь? — тихо спросил Сарзаман.

— Мне надо на работу, — устало ответил Тенгиз.

— Это же намного важнее твоей работы, — взмолился Сарзаман.

— Я подумаю, — поспешно сказал Тенгиз.

— Подумай, Тенгиз и приходи. Это для Сынтаслы сейчас важнее всего, — сказал многозначительно бывший учитель истории.

Поздно ночью они покинули кладбище...

«Ненормальный старик... Как он мог видеть людей, которые уже многие века спят в земле?... И как можно повесить того, кого давно уже нет в живых?... Какой бред он нес... А я слушал...» — сказал сам себе Тенгиз, решив больше ничего не вспоминать.

Утром по всему аулу разнеслась весть, что Сарзаман начал копать Великую могилу. От плетня к плетню, от штакета к штакету, от дома к дому, от улицы к улице, от сельсовета к конторе, от тока к полевым бригадам и даже из аула в райцентр разнеслась эта весть. Постепенно весь аул собрался на кладбище. Старики, мужчины, юноши,

девушки, женщины, старухи, дети — словом, все сынтаслынды, оставив свои занятия, стянулись к кладбищу. Сарзаман в папахе, в сапогах, в галифе, в синей навывпуск шерстяной рубахе, опоясанной кожаным ремнем, копал холм.

— Что ты, старый человек, делаешь? — обращались к нему люди.

Сарзаман, продолжая копать, отвечал:

— Для вас же стараюсь.

Люди с усмешкой смотрели на бывшего учителя истории. И вдруг поднялся невообразимый шум: к холму приближались старейшины аула, председатель сельсовета и директор совхоза, специально прикативший на «Волге». Толпа расступилась, не переставая шуметь. Вперед вышел председатель сельсовета Клыч-гирей и торжественно поднял руку. Гул постепенно стих, а Сарзаман, не обращая ни на кого внимания, продолжал со скрежетом вонзять в землю лопату.

— Ямагат! — громким голосом заговорил председатель. — И к тебе это тоже относится, учитель, — обратился он к Сарзаману.

Сарзаман прекратил работу, оперся рукой на черенок лопаты и, сощутив глаза, посмотрел на оратора.

— Ямагат! — вновь обратился к людям Клыч-гирей. — Вы спрашивали у учителя, зачем он копает нашу аульскую землю? Или, может быть, он, наш аульчанин, спросил у нас разрешение копать аульскую землю?

— Не-е-е-т! — шутливо и дружно ответила толпа.

— Кто же тогда дал ему право на это кощунство?! — попробовал возмутиться председатель.

— Можно мне?! — вдруг крикнул Сарзаман и быстро приблизился к председателю. Став рядом, он тоже поднял руку. Сняв с головы папаху и обнажив седую голову, он сказал: — Ямагат! Я давно говорю вам о том, что надо копать Великую могилу. Вот мы сегодня все собрались, так давайте возьмем лопаты и сообща разроем ее...

По толпе прокатился легкий смех.

— С тех пор как я увидел Ногаю и сорок его знатных людей в белой кибитке... — хотел дальше продолжать бывший учитель истории, но его перебил кто-то из старейшин:

— Какая белая кибитка, какой Ногай? Не тот ли, что живет в нижней стороне?..

Толпа засмеялась.

— Нет, — возразил Сарзаман. — Я видел людей, умерших пять веков назад...

— Вуа! — ахнули собравшиеся.

— Несчастный человек, несчастный человек... — шептала какая-то совсем древняя старуха, а несколько других в такт ее словам утвердительно кивали головами.

Старейшины цокали языками и с сожалением смотрели на бывшего учителя истории.

— Нет, не думайте, что я ненормальный, — пробормотал Сарзаман.

— Ах бедный, как и все сумасшедшие, он доказывает обратное, — довольно громко прошептала та же древняя старуха.

Толпа весело гудела, и Сарзаман растерялся. Председатель снова поднял руку, и гул стих.

— Конкретно, — обратился он к Сарзаману, — что ты имеешь сказать в свое оправдание?

Но тут старейшины отозвали председателя в сторону и стали советоваться с ним.

— Он того... Разве не видно? — сказал один из старейшин и постучал пальцем по своему виску.

— Да, да, — сокрушенно подтвердили остальные.

— Так мы уже послали человека в райцентр за «скорой помощью», — успокоил их председатель Клыч-гирей.

— Ямагат! — вновь обратился Сарзаман к аульчанам. — Я видел, я все видел... Я разговаривал со своим двойником, который живет в том времени...

— Вуа! Куда его занесло, — проговорил чернобородый Сулеймен, находившийся среди старейшин.

— Бедный, бедный! — восклицали в толпе и молодые, и старые сынтаслынды.

— Тот мой двойник сообщил, что если мы не начнем копать Великую могилу, то мы никогда не узнаем нашего прошлого...

Люди уже не слушали бывшего учителя истории.

— А все-таки он того... Перестарался на стрижке, вот и ударило в голову, — высказал кто-то предположение.

А так как пора была горячая и работа стояла, а сам по себе случай был понятен и никого уже не интересовал, все стали расходиться.

С того самого времени в ауле утвердилось мнение, что Акылбек намного нормальнее своего старшего брата, а если не считать его часов, стрелки которых он постоянно крутит, то он вообще нормальный человек.

Через несколько дней после случая с Сарзаманом из далекого Норильска приехал молочный брат Тенгиза, Карадава, Аруна и трех их сестер — Есенеев Солтан-гирей. Отец Солтан-гирея был в свое время известным конокрадом, и в Сынтаслы до сих пор о его проделках ходят легенды. Их было еще больше, когда сынтаслыныцы не мыслили своей жизни без лошадей. Старики и сейчас с восхищением вспоминают огненно-рыжих, буланых, чалых и вороных скакунов отца Солтан-гирея, а заодно и свою молодость.

Солтан-гирей родился в том году, когда убили его отца. А отца его убили кровники из Есенеевых. Солтан-гирей должен был отомстить за кровь отца, но он тогда был еще младенцем. Первым кровь пролил отец Солтан-гирея, поэтому вернувшие кровь Есенеевы, с согласия стариков, усыновили мальчика. А потом, во время войны, умерла мать Солтан-гирея, мальчик воспитывался в семье Тенгиза, став для всех братьев и сестер молочным братом.

После армии Солтан-гирей не вернулся в Сынтаслы. Он окончил институт, стал инженером и местом своего постоянного жительства избрал далекий Норильск. Там он женился и теперь через год навешает семью, в которой вырос. Приезжает он со своей русской женой Катей и единственной дочерью Анжеллой.

Рано утром к штакетной ограде Тенгизова двора подкатило зеленое такси. Из такси сначала вышел мужчина в блестящем, стального цвета костюме и в шляпе. Затем вышла полная блондинка в красном платье, и третьей из такси вылезла беловолосая девочка лет пяти-шести. У нее были такие же голубые глаза, как у матери, и

во всем она была похожа на мать, лишь когда щурила глаза и улыбалась, то сразу же делалась похожей на отца.

— Опять на курорт приехали? — звонко заговорила она с родителями.

— Веди себя прилично, — поспешила с упреком мать.

Обе дженге нетерпеливо выглядывали из окон, они узнали гостей и были в некоторой растерянности. Старший брат Карадав, улыбаясь, вышел навстречу приехавшим. За ним поспешили Арун и Тенгиз.

— Пусть приезд ваш принесет счастье! — несколько раз повторил Карадав, обнимая Солтан-гирея.

— С приездом, Катя, — обратился он, протягивая руку жене молочного брата.

— И ты, Анжелла, здравствуй! — говорил Карадав, поднимая девочку на руки.

Арун и Тенгиз тоже приветствовали Солтан-гирея, его жену и дочку.

— Анжелла Солтан-гиреевна! — пошутил Арун и тоже поднял девочку на руки.

Солтан-гирей, обнимая Тенгиза, радовался особенно:

— Смотри, озорник, в мужчину превратился! Вот молодец! А на свадьбу, прости, приехать никак не мог: дела, далеко... — объяснил он, щуря свои черные глаза.

— Поздравляю, поздравляю! — сказала жена Солтан-гирея, протягивая руку Тенгизу. — А ну, покажи-ка невесту! Дай хоть взглянуть на нее...

Тенгиз покраснел.

— Он придерживается новых обычаев. Женился и тут же развелся... — поспешил внести ясность Арун.

— Хо, уже развелся? — засмеялся Солтан-гирей и похлопал Тенгиза по плечу.

Дети Карадава, насупившись, исподлобья смотрели на гостей из глубины двора. Их внимание несколько раз останавливалось на белокурой Анжелле. Они помнили, что она приезжала в позапрошлом году, но тогда они не смогли с ней подружиться: она была слишком маленькой и к тому же не понимала их языка. Карадав повел гостей в дом, Арун и Тенгиз, взяв из такси вещи, последовали за ними.

Во дворе успевшие принарядиться дженге приветствовали дорогих гостей. Потом их провели в кунацкую и сразу же стали накрывать на стол.

Тенгиз, расставив в каждом углу двора детей Карадава, стал гоняться за петухом, который исчезал в прошлом году и который послужил толчком к написанию его первого рассказа. Дети визжали, когда взбешенный облавой петух, размахивая крыльями, летел прямо на них. Наконец, петуха занесло в сарай, и тогда Тенгиз, прикрыв дверь, поймал его. Взяв за ноги хлопающего крыльями петуха, он вышел из сарая. Младшая дженге с ножом, полотенцем и с кумганом, наполненным водой, пошла за Тенгизом в огород. Тенгиз взял нож, соединил крылья петуха и наступил на них левой ногой, а правой наступил на ноги птицы. Испуганную голову петуха повернул на юг, вытащил тонкий красный язычок, прищемил его клювом и, произнеся: «Бисмилла», чиркнул по горлу ножом. Петух востепенулся в последний раз, и из его горла ударил темный фонтан. Дженге с ужасом взглянула на птицу и отвернулась. Когда петух перестал колыхаться, Тенгиз отошел от него и попросил у дженге воды: вымыл руки, отмыл нож и с жалостью взглянул на обмякшую тушку петуха, доставившего в прошлом году так много беспокойства старшей дженге.

— Куда улетела его душа? — улыбнувшись, спросил он у младшей дженге.

— Теперь это не имеет никакого значения, — сухо ответила дженге. Она взяла петуха за ноги и понесла его в летнюю кухню.

Гости пили горячий сынтаслынский чай, угощались сотовым медом, ели коровий сыр.

— Анжелла, не запачкай платье, — осекла Катя дочь, рука которой тянулась за куском свежего сотового меда.

— Дядя Арун, а мед вот таким и растет? — спросила Анжелла, облизывая пальцы.

— Нет, его пчелы делают, Анжелла Солтан-гиреевна, — отвечал Арун, глядя ее по голове.

— Пчелы? Бр-р... — она даже плечами передернула.

После завтрака Солтан-гирей стал раздавать подарки. К этому времени пришла самая старшая сестра Алтыншаш: она по обычаю поцеловала руку Солтан-гирея и приложила ее ко лбу, а потом обнялась с Катей.

Солтан-гирей стоял возле трех открытых чемоданов и говорил:

— Это тебе, а это тебе...

— Ой-ой, как много! Солтан-гирей, ты на нас разо-ришься! — радостно восклицала сестра Алтыншаш.

Вечером праздновали приезд дорогого гостя. Карадав позвал чернобородого Сулеймена, и тот зарезал приготовленного специально для такого случая барана. Во дворе был разведен огонь, и над ним водрузили большой черный свадебный казан. Дженге подносили мясо и бульон в чашах. На столе стояли бутылки с виски, привезенные Солтан-гиреем. Сулеймен не был любителем спиртного, но на этот раз не отказался и, чокаясь с гостем, открыл пир.

Катя с женщинами сидела в другой комнате. У них на столе стояло шампанское, в вазочках лежали конфеты, домашняя халва и другие сладости.

— Пейте, пейте, веселитесь... — твердила Катя.

Женщины пригубивали вино и жмурились от удовольствия.

— Пьяные мы уже... — говорили они.

Алтыншаш пила чай и неодобрительно смотрела на дженге, которые, обслужив стол мужчин, заскакивали в свою комнату и втихомолку выпивали шампанского и, как казалось самой старшей сестре, больше, чем это положено.

— Пейте. Раз хотите, пейте... — говорила Алтыншаш, а в голосе ее чувствовался скрытый упрек.

Тенгиз не сидел за столом. Он ходил вокруг стола и подавал старшим все необходимое: носил в чашках айран, предлагал полотенце, нарезал хлеб, откупоривал бутылки... Солтан-гирей несколько раз наливал ему виски, протягивал стакан и затем, чокаясь, пил за его здоровье.

— А ты стал настоящим мужчиной! Молодец!

Мужчины сидели до утра. В перерывах между едой-питьем они пели. Чернобородый Сулеймен дважды соревновался с Карадавом в песнях, и оба раза Сулеймен оказывался победителем. Он знал множество куплетов, а когда забывал — импровизировал. Карадав под смех сидящих почесывал затылок и с завистью смотрел на старика.

Кто уставал сидеть, выходили прогуляться во двор, освежившись там, вновь усаживались за стол. Дженге подносили подогретую шурпу, айран, ногайский чай и подавали все это Тенгизу, а тот ставил на стол перед пирующими.

Когда Солтан-гирей вставал из-за стола, Тенгиз в знак, особого к нему уважения выходил вместе с ним.

Ярко светила луна. Небо было испещрено множеством мигающих звезд. Далекий шум реки неразличимо сливался с тишиной. Легкий ветерок освежал лицо прохладой. Причудливые силуэты деревьев, затаив дыхание, прислушивались к ночной тишине. Из хлева раздавался хруст жующей коровы и доносился кислый запах силоса. Земля отдавала сыростью. В летнем загоне кашляла большая овца.

Солтан-гирей глубоко вздыхал и с каким-то печальным восторгом произносил:

— Какая же благодать у нас в ауле!

И все вокруг было родное для него, все это было из его далекого детства. Именно затем он пересекал тысячи километров, чтобы увидеть родной край, услышать звуки родной земли, ощутить запахи своего детства.

— Люблю я Сынтаслы! О как я люблю нашу землю! — Солтан-гирей сжимал плечо Тенгиза. — Если б ты только, братишка, знал, как я тоскую по родному краю. Иногда думаешь, бросить любимое дело, бросить все и вернуться в свой аул. Хочу, ох как хочу жить среди родных, слушать таких, как Сулеймен, любоваться бездонным голубым небом, слушать щебетанье ласточек, купаться в бурлящей Кубани!..Надо, чтобы дочь научилась родному языку, поэтому и привез ее, пусть с аульскими детьми пообщается...

Каждое утро Солтан-гирей, его жена Катя и маленькая Анжелла брали еду, удочки и уходили на реку. В стороне от аула купались, загорали, ловили рыбу. Аульчане, завидя на берегу курортников, посмеивались. Особый смех, вызывала у них Катя, сидящая на берегу с удочкой. Поэтому Солтан-гирей стал уводить семью подальше от насмешливых взглядов аульчан...

А Тенгиз по-прежнему жил на чердаке, по-прежнему допоздна читал, по-прежнему пробуждался от фантастического предрассветного хохота. Слова и судьба Сарзамана не давали ему теперь покоя. «Чтобы знать себя, надо знать свое прошлое, если познаешь себя, то узнаешь и свою семью, если узнаешь семью, то узнаешь аул... Если не познаешь прошлое, то не познаешь и себя, не познаешь, что ты есть и для чего ты есть... Если не познаешь себя, то не познаешь и прошлое, не познаешь, для чего оно было прошлое... Каждый человек — результат прошлого. Все люди разные, значит, прошлое было разное... Но прошлое у нас единое. В чем же единство прошлого?..» — мучительно размышлял Тенгиз, одолеваемый все новыми и новыми возникавшими вопросами. Находили отзвук в его душе и слова Солтап-гирея. Тенгиз тоже горячо любил свою землю и мечтал, чтобы на этой земле были заводы и фабрики и чтобы такие люди, как Солтап-гирей, не уезжали в дальние края, а жили бы здесь. Он хотел, чтобы сынтаслынцы занимались любимым делом на своей земле.

Тайной мечтой Тенгиза стало написать большую книгу о Сынтаслы и сынтаслынцах. Он чувствовал, что в незначительных, будничных подробностях жизни заключен ее какой-то великий смысл, который он никак не может понять, как не может он понять многие поступки и намерения окружающих его людей. Сколько он ни бился над тем, как, хотя бы на одно мгновение, проникнуть в характеры своих аульчан, ему это не удавалось, и тогда, обессилев от бесплодных поисков, он принимался читать.

Читал он теперь только классиков. Восхищался Гомером и часто, перечитывая его, отчетливо представлял Древнюю Грецию, представлял слепого старца, сидящего на берегу моря и слагающего песни про дела минувших времен. Восхищался Гоголем и представлял себе невысокого человека с длинными волнистыми волосами, с длинным носом и удивительными глазами, и еще отчетливее ему виделась жизнь его героев, рассеянная по разным временам: Запорожская вольница и чиновный Петербург, фантастический Вий и удручающе обыденные Хлестаковы...

Порой он откладывал книгу, подходил к окну и подолгу смотрел в блестящее ночное небо. С тайной надеждой, что вдруг сейчас, именно сейчас ему откроется то виденье настоящего, которое он хорошо себе представлял, но которого был лишен, он садился за стол и опять не ощущал ничего, кроме, внутренней немоты. Обессиленный от этой немоты, он падал на раскладушку, как в спасительный своим освобождением омут. Больше он ничего не слышал, не видел, не чувствовал, он исчезал в небытие — без яви и без снов...

Утром он спускался вниз. Видел в комнате Аруна и почему-то орущую не «мама», а «папа» племянницу Индиру, выходил во двор — там бегал голышом с натянутой на самые глаза отцовской фетровой шляпой самый младший сын старшего брата. Малыш бегал, крутя в руках колесо от детского велосипеда и одновременно жужжал, подражая автомобильному гулу. Тенгиз постепенно приходил в себя. Шел завтракать. Молча, исподлобья поглядывал на братьев, те тоже молча пили чай, потом давали ему задания по хозяйству и уходили на работу.

Младшая дженге с маленькой Индирой выходила провожать до ворот мужа и просила его, чтобы не задерживался... Индира плакала и опять кричала «папа»... Старшая дженге, увидев на голове сына шляпу мужа, спохватывалась, шлепала малыша, срывала с его головы шляпу и бежала вслед за растерянным мужем. Вскоре отправлялся на работу и Тенгиз. Но прежде он целовал плачущую Индиру и подбадривающе похлопывал по голый спине своего младшего племянника. Светило утреннее яркое солнце, синее небо разрезали стремительные белогрудые ласточки, приятно освежал утренний холодок...

Потом весь день Тенгиз крутился на своем складе, а вернувшись домой, крутился по хозяйству — исполнял задания старших братьев, и лишь когда наступали сумерки, брал махровое полотенце и бежал к вечерней реке. Возвращался, дрожа от холода, вбегал на кухню, где его ожидала кружка теплого парного молока. Во время ужина шум детей перекрывал голоса взрослых, но никому это не мешало — после рабочего дня Карадав и Арун

наслаждались семейной атмосферой. А Тенгиз взбирался к себе на чердак: здесь начиналась никому не известная и никому не доступная его жизнь...

«Необыкновенное — единственно. То, чего много, перестает быть единственным. Единственное — всегда ценно. Оно вызывает чувства: его любишь, ненавидишь, жалеешь... Однообразное вызывает равнодушие. В Синтасле ни один человек не похож на другого, но все придерживаются общих норм поведения. «На руке пять пальцев. Разные пальцы — это люди, жизнь — рука», — говорят аульчане. Человек всегда интересен и всегда единственен в своей неповторимости. Жизнь тоже единственна и потому необыкновенна. Прелесть жизни в том, что она разнообразна... У каждого человека своя жизнь, отличная от других, человек не может ни прожить, ни повторить чужую жизнь. Каждому человеку даруется его жизнь, короткая или долгая, счастливая или несчастная... Для согласия люди устанавливают нормы поведения, наиболее главные возводя в обычай. Обычай сковывает и освобождает людей одновременно, освобождает волю и сковывает своеволие...

Каждый аульчанин, блюдя обычай, по-разному приспособляется к нему... Обычай один, а каждый подходит к нему по-своему, исходя из своего характера. Обычай и характер. Характер и обычай...»

Началось жаркое лето. Солнце щедро разливало свои лучи. Дети с самого утра и до вечера пропадали на Кубани: загорали, купались в бурной ледяной воде, в обед бегали домой, наскоро поев, возвращались на реку и ложились на свои, сооруженные из гладкой гальки, лежанки. Аул днем словно вымирал: здесь можно было услышать воркование голубей под черепичной крышей или кудахтанье квочки, рывшей ямку в раскаленной пыльной земле, или тихое поскуливание идущей в тени собаки, но не голоса людей. Люди были или в поле, или в учреждениях, или в прохладных помещениях фабрики, складов,

ферм. В ауле же, не вынося жары, в прохладных домах с закрытыми ставнями оставались старухи, старики и домохозяйки и еще выпускники школ, готовящиеся в институты. Летний жаркий день — большая радость лишь для детей. Горячее солнце, ледяная вода, синее небо, галечный или песчаный берег и... полная свобода. Перед ними вечная природа, Они восторженно рассказывают друг другу истории, происшествия, наивно мечтают о будущем, играют в игры, а самые задумчивые сторонятся веселых ватаг и в одиноких местах ловят удочками рыбу.

Дети бегают друг за другом по берегу, обливают друг друга водой, кто-нибудь с разгона прыгает в бурлящую воду, вызывая тем всеобщий восторг. Самые маленькие, совершенно голые, черные, как негры, барахтаются в воде возле берега, потом, трюся от холода, покрывшись гусиной кожей, ежась, ходят по берегу, обхватив руками свои худые бока. Маленьких тянет к старшим детям, которые, собравшись в кружок, азартно играют в копейки или в жаровни. Игра в копейки заключается в том, что играющие бьют копейкой по копейке, если лежащая копейка переворачивается с бука¹ на щик², то копейка забирается. В жаровни же играют плоским камнем и сплюснутыми от бутылок железными пробками. Пробки складывают одна на другую и кидают в них камнем, кто попадает, тот и забирает все железки. Маленькие дети с завистью смотрят на играющих. Бывает, что кто-нибудь не соглашается со своим проигрышем, и тогда в ход пускаются кулаки. Дерутся, мирятся и с еще большим азартом продолжают игру.

Маленький сын агронома Карадава, племянник Тенгиза, совершил такое, что его поведение обсуждали и родители, и семейный совет, и старики на ямагате.

Когда в семье Карадава появился еще один сын, самая старшая сестра Алтыншаш после своего обычного гадания на сорок, одним кукурузным зерне объявила на

¹Бук — орел.

²Щик — решка

семейном совете: «Отныне это послание аллаха мы будем называть именем Зулкарнай», хотя, надо сказать, во время своего рождения малыш никак не проявил своих полководческих способностей, чтобы его уподоблять Искандеру Зулкарнаю¹. Впрочем, его никто и не называл по имени. Все три тетки называли его «маленьким мальчиком», отец называл Аскером, что означает — «воин», младшая дженге, Инжи-хан, как и мать Зулкарная, Ассирей, называла его Кара-балой — «черным ребенком», Тенгиз звал его «племянником» или же «пистолетом», а на улице его называли именем, которое подобрал ему чернобородый Сулеймен — Шибжий, что означало «перец».

Хотя у малыша и было такое внушительное имя — Зулкарнай — на первых порах он никак его не оправдывал. Говорят, когда дети в младенчестве орут изо всей мочи и плачут все время, то из них вырастают мужественные, драчливые, злые, то есть крепкие духом люди. Зулкарнай же, напротив, лежал в колыбели и не выпускал ни единого звука, больше того, он и говорить-то начал слишком поздно. Когда ему исполнился год, ему сделали первую стрижку головы, а кекель² отдали на сохранение старшей тете Алтыншаш. И тут у него выявились три особенности. Во-первых, он терпеть не мог никаких одежд: все, даже трусики, скидывал с себя. Во-вторых, он очень полюбил животных, — это он, наверное, унаследовал от отца, — и любимым его занятием было — гоняться за курами. В-третьих, он научился отчаянно реветь.

В тот день было особенно жарко. Зулкарнай встал рано, попил чаю попросил у матери чищеную сырую картошку, которую та давала грызть детям для укрепления зубов, погрыз ее немного и выкинул курам. Затем стал гонять кур, собравшихся вокруг картошки. Когда солнце порядочно взошло и уже слышны стали, голоса детей, идущих на реку, он, как и был голый, выскочил со двора. Когда он пришел на берег, там уже играли в копейки. Игроки с замиранием духа объявляли: «бук»,

¹ Искандер Зулкарнай — Александр Македонский.

² Кекель — чуб на макушке головы (первые волосы ребенка у ногайцев сохраняются)

«щик» и азартно смотрели на деньги. Он уже вертелся среди играющих, его несколько раз отгоняли, кто-то попутно вlepил ему щелчок, он почему-то даже засмеялся, обнажая свои белые зубы и почесывая то место, куда ему вlepили щелчок. Потом он купался в ледяной воде, бегал по берегу и вновь возвращался к играющим...

В обед он побежал домой. Матери не было. Прямо из кастрюли похлебал ложкой холодную шурпу, вытащил рукой мясо и с, удовольствием съел его, затем походил по прохладным комнатам, взобрался на кровать, попрыгал на мягкой сетке, посмотрел на фотографии, висевшие на стене, и спрыгнул на пол. Он уже направился к двери, но какая-то сила заставила его подойти к шифоньеру. Зулкарнай открыл нижний ящик, порылся в нем и вытащил тугую пачку, взяв ее, посмотрел на свет, падающий со двора в открытые двери. «Деньги», — прошептал, он и спокойно вышел из дома, затворив за собой дверь.

Когда он пришел на берег, там по-прежнему играли в копейки.

— Ага, а у меня деньги, — переведя дух, сказал Зулкарнай.

Игроки повернули к нему головы и застыли от удивления. Зулкарнай же, почувствовав, что деньги привлекли к нему внимание, стал их считать. Вообще-то, считать он не умел, но видел, как их считают другие. И, как отец, поплеывая на палец, начал считать:

— Один, два, семь, сто, пять, восемь... — произносил он без разбора цифры.

Игроки, забыв про игру, внимательно смотрели на деньги.

— Шибжий, может, дашь немного... — сказал льстиво один из них.

Зулкарнай почувствовал, что деньги изменили к нему отношение со стороны игроков. Он впервые слушал достойную речь.

— На, — сказав это, он протянул бумажку просившему,

Потом попросил другой, и тому Зулкарнай щедро протянул бумажку. Потом попросили остальные, и всем он протягивал синие пятирублевки. Потом стали просить вторично, и он щедро раздал двести пятьдесят рублей, а

взамен получил все копейки. Зулкарнай был страшно доволен, — наконец-то, долгожданные, так притягивающие его взор игральные копейки были у него в руках.

Вечером, он, счастливый, вернулся домой. К тому времени вернулась и мать, отлучавшаяся на прополку участка свеклы, выделенного ей как домохозяйке. Ассирей, увидев в руке сына мелочь, ласково спросила:

— Кара-бала, откуда у тебя копейки, наверно, отец дал? — В семье не баловали детей деньгами.

— Нет, — сказал Зулкарнай и продолжал звенеть медью.

— Откуда же? — ещё ласковее спросила мать.

— На деньги поменял, — сказал, обнажая свои белые зубы, сын.

— На какие, деньги? — у старшей дженге Тенгиза появился, легкий испуг.

— На те, что отец считал, — еще сильнее звякал мелочью ребенок.

— Когда считал?

— Давно, — протяжно ответил сын.

— А ты где их взял?

— В шифоньере.

— Что-что?! — закричала Ассирей. — Спаси меня, Алла, от таких детей! О, я несчастная! — причитая, она быстро вбежала в дом, бросилась к шифоньеру, перерыла весь ящик и, ничего не найдя, выскочила во двор. Схватив сына за руку, она закричала:

— Хулиган, где деньги? Где деньги?

Мальчик испуганно смотрел на мать.

— Не знаю, — пробормотал он.

— Как не знаешь?! — кричала старшая дженге. Губы ее дрожали, глаза дергались, и она не находила слов.

— Это Мурат, это Алик, это Салим, это Якуб...

— Ах, чтоб ты окаменел! — закричала Ассирей и побежала на улицу искать по названным именам детей.

Тотчас же вся округа узнала об этом происшествии. К счастью, Ассирей сумела собрать двести сорок пять рублей, и она сказала: «Бог с ними, с пятью рублями, это лучше, чем разорение».

В тот вечер собрались все близкие люди: пришла самая старшая сестра — самая старшая тетя провинивше-

гося; прознав о случившемся, приехала из райцентра другая тетя; до городской еще не дошло, и поэтому она не приехала; пришел чернобородый Сулеймен; присутствовал и Солтан-гирей со своей семьей. Отец строго смотрел на провинившегося.

— Зулкарнай! — внушительно произнес он имя мальчика.

Тенгиз, стоявший у дверей, улыбнулся при произнесении родителем настоящего имени его младшего племянника.

— Зулкарнай! Ты что же наделал? — хмуря брови, говорил Карадав. — Ты знаешь, что я каждый день за эти деньги работаю. Эти деньги для тебя ж и нужны. Для тебя же и дом буду строить...

— Когда будешь строить? — спросил четырехлетний сын.

Все присутствующие ответили улыбками на беспечный, вопрос ребенка.

— Бессовестный! — сказала тетя, жившая в райцентре, скрывая подступающий смех.

— Зулкарнай! — кашлянув, опять обратился к сыну Карадав. — Как же это получается? Я работаю и получаю деньги, а ты не работаешь и раздаешь деньги. И притом воруешь их из дому. За это руки отрезают... Сегодня будешь спать в курятнике! — придумал, наконец, наказание отец.

— Не буду, — пробормотал Зулкарнай.

— Будешь, — настоятельно сказал отец.

— Нет, не буду, — прошептал Зулкарнай.

— Нет, будешь, — прикрикнул отец.

Все в комнате заулыбались. Зулкарнай заплакал и сразу же перевел свой плач в рев. Все заткнули уши. Мать, подойдя к сыну, стала его успокаивать, но Зулкарнай стал орать: «Мама!» и замахиваться на отца.

Старшая тетя не выдержала и прикрикнула на Карадава:

— Да успокой же ты его!

— Ну, не будешь, — сдался отец.

Зулкарнай тут же перестал реветь.

— Смотри, какой хитрец, чуть что — и сразу в рев, — сказала тетя, жившая в райцентре.

Тенгиз улыбался, он сегодня увидев в Зулкарнае настоящую себе смену. Теперь будет ради кого собираться на семейные советы. Есть теперь достойный слушать упреки старших. Тенгиз ясно увидел будущее Зулкарнаа. «У тебя все впереди, малыш...» — многозначительно подумал Тенгиз о племяннике.

Чернобородый Сулеймен сразу же после «совета» решил, пока светло, сходить на ямагат. Когда он подошел к центральной улице, где на скамейке и на больших круглых камнях сидели старики, постукивая палками о землю, он услышал, что и они говорили об этом происшествии. Сулеймен, поздоровавшись, сел на свой камень и стал слушать говорившего.

— Какие дети пошли, это у них все от книг... — вещал старик по имени Абдулла, которого за глаза называли «контрой».

В юности Абдулла случайно попал в банду сынтаслынского мурзы, и, хотя при первой же возможности перешел на сторону красных, аульские балагуры так и не забыли его опрометчивого шага. Этот Абдулла, значившийся среди стариков «контрой», видел в учености только отрицательные стороны, и, по его мнению, из-за того, что дети учатся, девушки носят короткие платья и не покрывают головы платком, идет все непослушание.

— Да, в моем детстве я разве знал, что такое деньги, — продолжал он. — Отец кинет рваную папаху, крикнет: «Носи!» И я рад, что хоть такая есть...

— Да, да, — цокая языками, поддакивали остальные.

— Мой отец говорил, — взял кто-то инициативу, — настанет время, все будут есть белый хлеб и начнут беситься. А мы, голодные, нас было семеро детей, никогда не верили, что настанет такой день, когда все будут есть белый хлеб.

Абдулла сразу же поддержал:

— Вот-вот, уже бесятся. Деньги раздают... Какие щедрые... На месте Карадава я бы его палкой!..

— Наверно, настанет день, — вмешался в разговор Сулеймен, — когда деньги обесценятся, и вот такие, как Зулкарнаа, будут все отдавать друг другу безвозмездно.

— Ну, это когда коммунизм будет, что ли? — перебил Абдулла. — Этого нам не дожидаться.

— Вай, «контра» захотел коммунизма дожидаться! — подскочил на своем камне Сулеймен.

Старики, опустив головы, ухмылялись.

Старики решили, что Зулкарнай — человек будущего, человек из коммунизма.

Вскоре после этого случая в жизни Тенгиза произошло немаловажное событие. В субботу вечером Зулкарнай несколько раз взбирался к Тенгизу на чердак и показывал ему банку с червями и большими капустницами. Сутра в воскресенье он опять был на чердаке.

— Ну пойдем, Тенгиз. Вчера Солтан-гирей вот сколько поймал! — он смешно разводил руками, стараясь показать большой обхват. — У меня и крючок есть, мне его Сулеймен подарил...

В конце концов Тенгиз согласился.

Солнце целый день стояло высоко и сильно припекало. Попадалась одна краснопёрая плотва. Зулкарнай нанизывал рыбу на очищенную от стеблей ромашку. Рыбаки, как правило, на одном месте не стоят, и Тенгиз, следя за поплавком из гусиного пера, сам не заметил, как очутился в той стороне реки где собираются жители с Насипхановой улицы. Зулкарнай, как козленок, прыгал и бегал вокруг Тенгиза. Когда Тенгиз шел за поплавком, плывущим по течению, мальчик хватался за одежду и перетаскивал ее за ним...

— Червяка! — требовал Тенгиз.

— Сейчас, Тенгизчик, — подхалимничал Зулкарнай и, с усердием вытаскивая красного червя, протягивал его дяде.

— Кус, кус ¹! Рыбка, ловись! — бормотал Тенгиз, хлопал ладошками и потом оглушенного червя насаживал на крючок.

— Жена! — вдруг сказал Зулкарнай, тыкая Тенгиза рукой в бок. Раскрыв рот, он смотрел на идущую с коро-

¹ — Кус, кус! — звукоподражание, рифмующееся со словом «ЛОВИТЬ».

мыслом Насипхан, а та шла, гордо вскинув голову и будто не видя рыбаков.

Тенгиз взглянул на Насипхан, а Зулкарнай неожиданно кинулся за ней.

— Ой, Кара-бала, ты так вырос! — радостно сказала Насипхан.

— Ага. А мы рыбу ловим! — похвастался Зулкарнай, показав кукан с рыбой.

— Это все ты, поймал? — спросила она, опуская коромысло, но в сторону Тенгиза старалась не смотреть.

Тенгиз понимал, что другой такой возможности для примирения больше не представится, хотел ей что-либо сказать и не находил нужных слов.

— Я поймал! — продолжал хвастаться Зулкарнай, размахивая перед ее лицом куканом.

— Иди, лови еще. Иди, Кара-бала. — И она ласково погладила его по бритой голове.

Насипхан подняла коромысло и, звякая ведрами, пошла в сторону от Тенгиза набирать воду. Тенгиз стоял и ничего не мог придумать. Насипхан отошла подальше от рыбаков, взяв ведра, стала долго их бултыхать в воде. Тенгиз забыл все на свете. Зулкарнай взял удочку и обнаружил, что поплавков давно исчез в воде, а натянутая нитка, разрезая волны, ходит в разные стороны.

— Смотри, клюет! — заорал Зулкарнай.

Тенгиз схватил удилице, потянул его, но нитка не поддалась.

— Наверно, за камень зацепилась... Черт! — выругался Тенгиз и потянул изо всех сил.

Что-то большое и черное сверкнуло на конце нитки.

— Змея! — испуганно закричал Зулкарнай и побежал от Тенгиза.

— Аллах мой! — вскрикнула в стороне Насипхан.

Большая рыба плюхнулась в траву. Тенгиз подбежал к ней и стал колотить ее кулаком, она выскальзывала изпод руки, трепыхалась. Наконец, Тенгиз крепко ухватил обеими руками черную с красными крапинками крупную форель.

— Эй! — крикнул он Зулкарнаю. — Смотри, какая змея! Мальчик, вытаращив глаза, стоял и не решался при-

близиться. Насипхан подошла к нему и, обняв его за голые плечи, сама удивленно смотрела на Тенгиза, идущего к ним с рыбой.

— Никогда не думал, что в нашей Кубани я смогу поймать такую рыбу, — сказал Тенгиз, не сводя глаз с Насипхан.

Когда измерили, оказалось, как раз по локоть Тенгизу. Зулкарнай никак не мог избавиться от испуга и не решился прикоснуться к рыбе.

— Потрогай, ну, потрогай же, — просила Насипхан и сама несколько раз пальцем дотронулась до черной скользкой рыбы.

В конце концов дотронулся и Зулкарнай, но тут же отдернул руку.

— Эх ты... трус, — сказал ему Тенгиз.

— Я не трус, — сказал Зулкарнай и взял рыбу в руки, но она тут же выскользнула и начала колотиться в траве. Зулкарнай, упав прямо в траву, прижал рыбину голой груди и обеими руками поднял ее.

А Тенгиз взял за руку Насипхан и, крепко сжав в своей руке ее ладонь, пристально посмотрел ей в глаза. Насипхан, опустив глаза, молчала. В это время рыбина опять выскользнула из рук Зулкарная, и он, став на колени, стал ее снова ловить.

— Смотри, опять убежала, — звонко смеясь, сказала Насипхан.

— Помирился?! — требовательно спросил Тенгиз, не обращая внимания на мальчика и пристально смотря ей в глаза.

— Смотри, смотри! — опять радостно воскликнула Насипхан, уклоняясь от ответа и делая вид, будто не слышала вопроса.

Наконец Зулкарнай поймал рыбу, и, не выпуская ее, подошел к Тенгизу.

— Ох и здоровая же! — сказал мальчик, блестя белыми зубами.

Тенгиз поднял с травы синие штанишки Зулкарная, связал узлом обе штанины и в одну из них запихал рыбу.

— На, и быстро дуй домой! — приказал Тенгиз, передавая племяннику рыбу.

Зулкарнай вприпрыжку побежал голый по зеленому берегу.

— Глупо, что у нас получилось, — начал Тенгиз, когда они остались вдвоем.

Насипхан молчала.

— Разве нет? — настойчиво спросил Тенгиз. Она ничего не ответила и, опустив глаза, стала смотреть под ноги.

— Ведь ничего не произошло, чтобы ссориться... Разве нет? — настаивал Тенгиз.

— А Сурат? — тихо прошептала Насипхан,

— Сурат? Ой, что ты, что она перед тобой? Ты что, Насипхан! Чего ты ее с собой сравниваешь! — затараторил Тенгиз.

— Я ее как раз с собой и не сравниваю, — дрожащим голосом сказала Насипхан.

— А я тем более, — приободрился Тенгиз.

— Не знаю... — проговорила Насипхан.

Вечером самая старшая сестра Алтыншаш и обе дженге привели в дом Насипхан. На следующий день привезли на машине ее приданое, а вечером вся семья дружно устанавливала мебель в комнате Тенгиза. На третий день Солтан-гирей преподнес Насипхан привезенные из Норильска свадебные подарки. Получив красные сапожки и красное шерстяное платье, Насипхан могла теперь разговаривать с молочным братом Тенгиза. Карадав и Арун не сделали еще подарков для Насипхан, и, по обычаю сынтаслынцев, невестка не разговаривала с ними...

Очень трогательным было прощание с Солтан-гиреем и его семьей. Когда подъехало заказанное для отъезда такси, вся семья вышла за калитку. Все провожающие стали обниматься с отъезжающими. Катя от предчувствия разлуки и от благодарности за радушный прием искренне растрогалась и у нее даже выступили слезы. Младшая дженге, увидев слезы, и, явно желая выразить солидарность, обняла Катю и стала всхлипывать. Но через пару секунд, видимо, слишком войдя в роль сочувствующей, она зарыдала. Чтобы не отстать от женщин:

— Ой-бай, ой-бай! — с причитаниями зарыдала и старшая дженге.

Конечно, это было впечатляюще, но Солтан-гирея это возмутило.

— А ну перестаньте! На похоронах что ли?! — одернул он строго женщин.

Женщины смолкли. Младшая дженге и Катя, отпустив друг друга из объятий, стали вытирать руками заплаканные лица.

Анжелла, подойдя к матери, подняла руку над головой и выразительно проговорила:

— До свидания!

Стоящий возле старшей дженге голый Зулкарнай пронзительно закричал:

— До - си - да - ния - а-а-а! — рассмеявшись, склонил голову до пояса и, не поднимая ее, украдкой стал смотреть на реакцию взрослых.

Было очевидно, что его крик совсем невпопад. Установилась пауза. Паузу прервал Солтан-гирей:

— Ну вот, — сказал он, — Хотел, чтобы у вас дочка научилась родному языку, а тут — она всех русскому научила.

Тенгиз, взяв на руки смущенного Зулкарная, похвалил:

— Пистолет у нас полиглот! Он скоро и французский и китайский языки выучит!

— Спасибо! — закричал по-русски мальчишка.

Все засмеялись. Солтан-гирей забрал у Тенгиза Зулкарная и подкинул его вверх.

— Очень способный! Будет с него толк! — поставив мальчонку на ноги, приказал садиться в машину...

Трава уже начинала желтеть — наступила пора покосов. Жители аула с самого рассвета заводили мотоциклы, брали косы и уезжали на выделенные им делянки. Поздно вечером возвращались усталые и довольные. Тенгизова Семья получила делянку на кладбище. «Далеко не ездить, совсем рядом, и трактор с тележкой не понадобится... Можно привезти на арбе», — радовался Тенгиз.

Накануне косьбы он подточил косу, сказал Насипхан, чтобы на завтра приготовила айран, и рано лег спать. Перед рассветом он проснулся от хохота. Подбежал к раскрытому окну, и ему показалось, что хохот стал тише, и дома трясутся не так, как раньше. «Почему бы это?» — удивился он.

Хохот быстро затих, и сразу в наступившую тишину пререзался постоянный, однотонный шум Кубани. Тенгиз постоял у окна: на пепельном небе еще кое-где белели звезды. Было по-утреннему холодно. Слышен любой шорох, даже порханье маленькой птицы. Тенгиз с удовольствием вдыхал прохладу. Он вышел во двор и направился в сарай, взял там подготовленную с вечера косу, заглянул в летнюю кухню, снял с гвоздя широкополую войлочную шляпу от солнца, прихватил приготовленную для него сумку с едой.

Когда он подходил к кладбищу, уже выглянул краешек красного солнца. По-прежнему все еще было прохладно, и от кладбища исходил запах скошенной травы. Тенгиз положил вещи возле ограды и отворил простоявшие ворота. Ровно половина травы уже была скошена Максудом. Межа проходила прямо по вершине Великой могилы.

Подняв косу и сумку с едой, Тенгиз пошел дальше. Покосившиеся, покрытые черновато-зеленым мхом, осевшие в землю серые плиты навевали печаль. И не верилось, что под ними захоронены люди, — люди, которые жили, у которых были и радости, и невзгоды, люди, которые плакали и смеялись. «Вот где они стали одинаковыми, — подумал Тенгиз. — Но как же узнать, кто расскажет, как жили эти люди, что ценного оставили после себя? Столько жизней покинуло этот свет, столько чаяний и дум, столько радостей и плача поглотила эта земля, и ни один человек не в состоянии рассказать об этом. Может, и просыпаются в нас их радости и их невзгоды, может, и деяния их живут в нас. Среди них были и добрые, и злые, среди них были и герои, и трусы, среди них были и шуты, и мыслители. И это были все живые люди. Ведь должен же кто-то поведать о них! Вся жизнь ушедших стала мраком для нас. Кто же расскажет о них?..»

Тенгиз косил целый день. От непривычки болело все тело. Косить было трудно, надо было остерегаться камней, чтобы не испортить косу. Косил, обходя надгробья, хотя у надгробий и было жалко оставлять траву, он часто нагибался, сбивал темп, после чего совсем становилось трудно. Потом он косил с частыми перерывами, протирав пучком травы косу, а когда она совсем не брала,

направлял точильным камнем. К обеду Тенгиз совсем обессилел. Он мокрой рубашкой обтер все тело, и, сняв с головы войлочную шляпу, сел возле ограды. Добрая половина участка была пройдена.

Тенгиз вытащил из сумки кувшин и с удовольствием выпил кислый айран. Подстелив рубашку под спину, он лег. Синее высокое небо, в которое он смотрел, захватило дух. Вокруг стояла удивительная тишина. Он закрыл глаза и долгое время, не желая ни о чем думать, лежал. Вдруг ему послышался голос:

— Тенгиз.

Он поднял голову, но на кладбище было по-прежнему пустынно и тихо.

«Наверное, почудилось», — подумал Тенгиз. Голос был похож на тот далекий голос, которым всегда звала его домой мать...

1974 г.



ГАРМОНИСТКА

Современная легенда

Мы источник веселья — и скорби рудник.
Мы вместилище скверны — и чистый родник.
Человек, словно в зеркале мир, — многолик.
Он ничтожен и он же безмерно велик.

Омар Хайям

Думы печальные вдаль улетают—
Без меня теперь свадьбы ногайцы играют.
Я от них далеко, между нами снега.
В моем сердце любовь, в моем сердце тоска,

Кафрия

Сова, широко распластав крылья, скользнула бесшумной тенью к засохшему тополю, который четко вырисовывался на темно-синем ночном небе, и опустилась на ветку. Перебрала лапками, устраиваясь поудобней, круто повернула голову вправо, потом влево, слегка подалась вперед, уставившись в темноту огромными круглыми глазами, да так и застыла черным пятном в путаной вязи сучьев — казалось, птица высматривает добычу или с удивлением прислушивается к далекой переливчатой игре гармоники, похожей на журчание бурного, порожистого ручья.

Гармоника ликовала на другом конце аула, во дворе Наймановых, где справляли свадьбу. Пронзительно-вос-

торженная мелодия, с вплетенной в нее гортанной скороговоркой аккордов, искрящаяся звонкой перекличкой колокольчиков, прорвавшись сквозь ровный, слитный, гул большого веселья, растекалась по улицам, вливалась, ослабленная расстоянием, но все равно будоражающая, в распахнутые окна даже самых удаленных от праздника, окраинных домов.

Старики и старушки, которые не пошли на свадьбу, — кто по немощи своей, кто потому, что с семьями молодоженов не имели и самого отдаленного, маломальского, родства, — ворочались в постелях, вздыхали. «Ни заботы, ни горя не ведает бесстыжая Нурхан, знай веселится!» — ворчали, язвительно улыбаясь, одни. «Вот денег-то загребет, беспутная», — поджимали губы другие. «Как играет, как играет! — восхищенно цокали языками третьи. — Настоящий «сандрак тартув¹» И каждый, чувствуя, как от этой переполненной радостью и счастьем музыки разгорячилась кровь, как бодрей побежала она по жилам, невольно вспоминал чудо, которое произошло весной с почтенным Махмудом.

Более года назад у старого Махмуда парализовало левую половину тела, и с тех пор он не поднимался с постели. А весной стал и вовсе плох — по нескольку дней не приходил в сознание; лицо осунулось, пожелтевшая кожа туго обтянула выпирающие скулы, лоб, заострившийся нос; глаза, окруженные пепельными тенями, ввалились. На третий день мая родные и близкие решили, что наступили последние часы старца, пригласили Якуба-эфенди, чтобы тот прочитал прощальные, заупокойные молитвы и суры Корана.

Одетые в черное, убитые горем женщины рода собрались во дворе и, сев кружком, принялись оплакивать праведного Махмуда — негромко причитали, отирали глаза уголками черных траурных косынок, вспоминали светлые, угодные Аллаху, деяния умирающего.

И вдруг! Из соседнего дома, где жил агроном Алимтай, который недавно разошелся с женой и которого два

¹ Сандрак тартув — бредовая мелодия, танец джиннов; бравурная, виртуозная музыка.

дня не было в ауле, грянула дерзкая, визгливая музыка гармонистки Нурхан. Здесь — печаль, скорбь, к похоронам готовятся, а у соседа — веселье, гулянка, пир горой. Какое кощунство, какое святотатство! Вскочили женщины, загомонили, посылая проклятия нечестивому агроному и беспутной его подружке: «Эй, лишенная стыда, прекрати сейчас же играть!.. Алимтай, что ты, совсем свой ум пропил?! Горе вам, не дающим спокойно умереть такому достойному человеку!..» В окнах агронома дома показались хозяин, гармонистка Нурхан и ее подруга Надюшка — улыбаются, глазают на женщин, говорят о чем-то, но за вскриками и смехом гармоники, на которой рьяно наигрывала Нурхан, не было ничего слышно. Еще возмущенней замахали руками разгневанные женщины, загалдели, негодуя: «Чтоб тебе, греховодница, самой на том свете покоя не было от твоей гармошки!.. Вся в бабку, в колдунью Меруа, та тоже ничего святого не признавала... Вот распутная, новому мужику голову вскружила и веселится теперь!» Полыхающие ненавистью плакальщицы, рассвирепевшие, разъяренные, двинулись уже ко двору соседа, чтобы расправиться с забывшей о всех приличиях Нурхан, и замерли от грозного оклика: «А вы что тут делаете?!» Оглянулись и оцепенели.

На пороге, опираясь о медную трость, стоял в одном нижнем белье старец Махмуд. Из-за плеча его выглядывал переполошившийся, с выпученными от изумления глазами, Якуб-эфенди. «Уважаемый, иди ложись. Тебе нельзя, ты не должен вставать...» — растерянно бормотал он в ухо старику. Но тот лишь усмехался. Гаркнул на женщин: «Вы что, похороны мне устроили?! А ну — вон с моего двора! — и повернувшись к дому агронома, крикнул: — Эй, сосед! Иди ко мне! И тебя, гурия с благословенным Аллахом кобузом ¹, который вернул меня к жизни, тоже приглашаю. Устроим той в честь моего выздоровления!»

Заметалась обрадованная, глазам своим не верящая родня: барана, приготовленного для поминок, зарезали, снеди, бузы ², водки с вином натащили. И грянул празд-

¹ Кобуз — ногайская гармонь.

² Буза — домашнее пиво, чаще всего из проса.

ник! Агроном Алимтай принялся было извиняться: про-сти, дескать, Махмуд-ака, что мы веселились, когда ты со смертью встретиться готовился, но старик рыкнул: «Не было этого! А если было, забудем!.. Играй, дочка, играй во славу жизни!» И Нурхан играла, да так лихо, как никогда. «Ах, хорошо, вот порадовала, дочка! Душу разбудила, петь ее заставила! — восхищенно ударяя себя по колену, залиvisto смеялся старый Махмуд. — Никогда не слышал такой игры: настоящий «сандрак тартув» — бесовская мелодия, музыка джиннов!..»

— Может, и впрямь эту несчастную Нурхан, когда она болела, джинны посещали: слышите, как играет?! Человеку не дано такое... — переговаривались женщины, которые, встревоженные этой обезумевшей, мечущейся музыкой, выглянули из летней кухни; с веранды, отыскивая взглядами известную во всех семи ногайских аулах гармонистку.

Нурхан, окруженная нарядными, слегка захмелевшими, а от того возбужденными, шумными гостями, строго и отрешенно выпрямилась на стуле и лишь изредка, с недоверчивым и радостным видом, склоняла голову, точно услышала вдруг в собственной музыке нечто давно ожидаемое. Но тут же лицо ее тускнело, и обычно смугло-румяное, бледнело настолько, что становился почти незаметен маленький белый шрам на левой щеке; ноздри тонкого носа вздрагивали, синие глаза делались встревоженными; длинные пальцы ускорили и без того бешеную пляску по перламутровым кнопкам гармоники — восторженно-напряженная мелодия взвивалась в какие-то вовсе уж невообразимые высоты. Те, кто плотным кольцом окружили танцоров, отзывались на всплески музыки радостным гулом, кольцо это волнами, в такт мелодии, начинало то сжиматься, то расширяться, самозабвенные выкрики: «Карс!.. Карс!» становились еще громче, отбиваемый ладонями ритм сливался в сплошной лавинный рокот; стоявшие рядом с гармонижкой благодарно оглядывались на нее, улыбались: «Молодец, Нурхан! Давай, давай, заставь их шевелиться, пусть, знают, что такое «сандрак тартув»!»

Нурхан тоже слабо улыбалась в ответ, но взгляд её

был печальным. Она очень хотела сыграть так, чтобы исполненное можно было бы смело назвать «сандрак тартув» — эта музыка, услышанная только однажды, во время свадьбы с Кематом, ее первой и единственной любовью, все время жила в ней, неотступно звучала в памяти, терзала и мучила, рвалась наружу, но поймать эту мелодию, а тем более передать в звуках Нурхан не могла, Расширившимися глазами смотрела она на пронесившихся перед ней танцоров, на их лица, ярко освещенные множеством лампочек, которые развесили над двором для сегодняшнего праздника, но видела не эти мельтешащие белые пятна, а белых красавцев коней, что, едва касаясь земли точеными копытами, уносили ее и Кемата к счастью; прорываясь сквозь хохот-плач гармоники, назойливо лезло в уши шарканье подошв по асфальту, но Нурхан слышала иное — свист ветра в разметавшихся гривах скакунов, шелест фаты, шуршание атласного платья, в котором была на своей свадьбе с Кематом. А дразнящая, неловимая, прекрасная и непостижимая музыка, которую играли в ту ночь джинны, все нарастала и нарастала в душе Нурхан, переполняла ее, сжимала сердце, перехватывала дыхание...

Сова резко выпрямилась, нахохлилась, моргнула, будто хотела на мгновение пригасить пристальный и внимательный взгляд неподвижных желтых глаз и пронзительно крикнула, точно захохотала.

Захлопнулись окна ближайших домов — кто же не знает, что вопль обыр-кус сулит несчастье! — но на другом конце аула, уже на дальнем подлете к свадьбе, голос упырь-птицы был отброшен, смят бурной рекой музыки, утонул в ней — во дворе Наймановых, в гомоне, гвалте, гаме праздника, никто и не расслышал его. Только Нурхан испуганно вскинула голову, оглянулась по сторонам. Пискнула на высокой ноте гармоника и смолкла. Но люди не заметили этого. Яростно отбивая ритм одеревеневшими ладонями, дружно и в лад вскрикивая, они еще слышали исчезнувшую мелодию, еще жили в ней. И подбадриваемые ими танцоры, не замечая ничего вокруг, продолжали то подступать друг к другу, плавно поводя руками, покачиваясь, наклоняясь, то отступать, чтобы тут же

снова начать свою игру — преследовать и ускользать, ускользать и преследовать. Нурхан вздрогнула, словно внезапно проснувшись, встряхнулась и, рывком растянув мехи гармоники, опять начала плести кружево звуков, соединив прервавшуюся на мгновение нить мелодии.

Такое уже бывало с Нурхан. Даже когда праздники отмечались в помещении, даже зимой, раздавался вдруг во время игры на гармонике похожий на хохот крик совы, который слышала только Нурхан. Ее охватывал, панический страх, пальцы леденели, сердце обмирало, лоб и виски стягивал тугой обруч боли. Похолодев от ужаса, Нурхан не могла взять ни одного аккорда и беспомощно смотрела на собравшихся повеселиться. Те посмеивались, переглядывались понимающе — все музыканты любят порисоваться, набить себе цену, любят, чтобы их поупрашивали, а эта Нурхан, капризная и взбалмошная, особенно. Ей подносили рюмку, произносили в ее честь пышные здравицы, льстивые тосты. Нурхан машинально выпивала, благодарила кивком и, осторожно нажав на клавиши, извлекала первые звуки. Гармоника откликнулась охотно, однако мелодию поначалу вела робко. Но вскоре музыка оживала, крепла, пропитывалась бодростью, и тогда страх отступал, ужас ослабевал, отпуская сердце, освобождая из холодных тисков виски и лоб.

Нурхан, сдвинув в мучительном раздумье брови, прислушивалась к звонкой песне ладов, благодушному оханью басов, лукавому смеху колокольчиков и размышляла: «Было? Не было?.. А может, крик обыр-кус только чудится мне? Но ведь упырь-птица хохотала и на свадьбе с Кематом. Или... тоже показалось?»

— А ну-ка, Нурхан, наддай жару. Пускай молодежь посмотрит да поучится!

Нурхан подняла глаза.

Тучный, коротконогий Юсуф-агай, дядя жениха, высочил в круг, одернул синюю черкеску. «Совсем как у Кемата на нашей свадьбе черкеска», — мельком отметила Нурхан. Улыбнулась ободряюще толстяку и взбодрила пригрустнувшую во время раздумий мелодию.

Юсуф-агай легко и стремительно скользнул внутрь круга, остановился перед подружкой невесты, часто-ча-

сто перебирая ногами, — приблизился, потом, пятясь, отдалился, и девушка как зачарованная медленно выплыла вслед за ним. Юсуф-агай, поводя поднятыми на уровень плеч руками, подвигался мелкими шажками, кружил около подружки невесты, а та, плавно поворачиваясь вслед за ним и слегка изгибаясь, чтобы не соприкоснуться с его напружиненными ладонями, уходила то влево, то вправо. Юсуф-агай осторожно, но настойчиво теснил ее и снова отходил, похожий на распушившегося от нежности, голубя, который, сдавленно воркуя, изнывая от любви и признательности, выписывает вокруг горлицы летли.

Гармоника все взвинчивала и взвинчивала темп; ладони зрителей отбивали такт, все быстрее и громче; выкрики «Карс!.. Карс!» становились все резче и требовательней. Лицо Юсуф-агай уже блестело от пота, дыхание стало тяжелым и прерывистым, но круглые глазки его были по-прежнему веселые, улыбка под пышными усами — от уха до уха.

Молодежь, сбившись в кучку, наблюдала за танцорами с притворно снисходительным и пренебрежительным видом, переговаривалась негромко, посмеивалась, ухмылялась, но глаза были заинтересованные и даже слегка завистливые. Когда же Юсуф-агай как-то особенно лихо и молодежато развернулся около девушки-партнерши, парни не выдержали — зааплодировали. И другие зрители, перестав отбивать ладонями такт, захлопали беспорядочно и восторженно. Все принялись суетливо шарить по карманам, доставать деньги и, вбежав на секунду в круг, осыпать ими головы танцующих.

Рыжая Надюша, верная подруга Нурхан, вьюном замелькала у ног Юсуф-агай и его напарницы, собирая трешки, пятерки, рубли — законная и честная награда гармонистке.

Юсуф-агай устал, медленно склонил голову, благодаря подругу невесты, и та прекратила танец. Нурхан замедлила бег пальцев по клавишам; мелодия полилась плавно, тоскующе, зазывно. Юсуф-агай, горделиво поглядывая по сторонам, проводил, слегка приотстав, девушку на ее место среди зрителей и, внезапно повер-

нувшись, схватил за руку ближнего парня. Тот растерялся, начал дергаться; отбиваться.

— Да не умею я танцевать, Юсуф-агай, Отпусти! — взмолился он.

Его приятели, отшатнувшись, отступив на шаг, фыркнули, засмеялись. «Не осрамись, Али! — кричали одни. — Не подведи!» — «Вы нам магнитофон включите!..» — потребовали другие. — Врубите шейк, тогда себя покажем!»

— Давайте, давайте, парни, танцуйте! Или вы не ногайцы?! — загалдели вокруг. Мужчины, стоявшие рядом с молодежью, принялись с шуточками-прибауточками, но настойчиво выталкивать в круг покрасневшего Али. Он извивался, упирался, брыкался, крутил возмущенно головой,

— Ты ему, Нурхан, «прижим» сыграй! — звонко выкрикнул из-за спины дружков почти мальчишеский голос.

Парни загоготали: Нурхан понимающе кивнула — «прижим» так «прижим» — и заиграла, как просили, танго.

Али обреченно выдохнул, вырвался из рук, прошел, набычившись, внутри круга вдоль развеселившихся зевак. Остановился около партнерши Юсуф-агая, наклонил голову. Стоило только девушке, еле сдерживавшей смех, сделать шаг, как Нурхан неувовимо сменила танго национальной мелодией. Али удивленно оглянулся на гармонистку, зыркнул по сторонам — вырваться из кольца зрителей было невозможно — и неуверенно начал танец. Скованно поводя руками, стараясь повторить движения Юсуф-агая, неумело перебирая ногами, он отступил, приглашая подружку невесты.

Нурхан, чтобы помочь парню, вела мелодию осторожно, не подгоняя ее, и, лишь когда увидела, что танцор освоился, перестал смущаться, начала постепенно наращивать темп. Опять бурливым, водопадным потоком полилась музыка, опять ночь взорвалась громогласными и дружными вскриками «Карс!.. Карс!», опять часто и оглушающе ударили ладоши, отбивая такт.

Печальны глаза Нурхан. Равнодушно смотрит она на то, как верная подружка, с разгоревшимися от возбужде-

ния глазами, собирает ее, гармонистки Нурхан, заработок, с грустью наблюдает за неумелым Али, который не понимает закона танца, не видит, что партнерша ждет, когда же он, наконец, навяжет свой рисунок движений, когда же подчинит ее своей воле. А сердце ноет, сердце тоскует, сердце плачет о несбывшемся счастье, о любви, которая, вспыхнув, опалила и погасла, — рыдает, жалуется гармоника, откликаясь на эту боль, музыка наполняется то обидой, то горечью, а то вдруг расплеснется бешеным весельем — а пропади все пропадом: чего горевать?! — но постепенно начала она пропитываться все нарастающей и нарастающей тревогой...

Сова откинулась назад, сомкнула веки, взмахнула, не снимаясь с места, крыльями и, широко распахнув глаза, опять издала клекочущий, похожий на хохот, вопль.

И опять оборвалась на высокой ноте мелодия. Нурхан испуганно посмотрела в ту сторону, откуда донесся торжествующий клич обыр-кус. Замерла, чувствуя, как снова накатил, парализуя, непонятный страх.

Довольный собой Али заулыбался Нурхан, похлопал в ладоши. И все, кто был на дворе, тоже повернулись к гармонистке, тоже заплодировали.

— Что ни говорите об этой Нурхан, а играет она лучше всех в округе! — решительно заявила Айбийке, мать жениха, и требовательно поглядела на женщин: попробуйте, дескать, возразите!

Но те и не думали возражать. Закивали, подтверждая, соглашаясь:

— Да, да, замечательно играет!.. Очень хорошо играет! Другой такой гармонистки нет больше на берегах Кубани и Зеленчуков.

Рослый, плечистый тамада Аскер, в ухарски сбитой на затылок серой шляпе, в черном костюме, в белой нейлоновой сорочке с расстегнутым воротом, появился рядом с Нурхан.

— Ямагат! — гаркнул он, перекрывая веселый шум. — Предлагаю сделать на время перерыв. Уважаемая гармонистка уже более часа радует нас своей музыкой. Надо ведь и ей отдохнуть, верно? — Он весело посмотрел на Нурхан и шепнул еле слышно: — После свадьбы мы с Исмаилом придем к тебе. Позовешь и Надюшу, ладно?

Нурхан перевела взгляд с его лоснящегося, уверенного лица на часики — ого, уже полночь! — и неопределенно качнула головой. Обрадованный и таким ответом Аскер слегка сжал ее плечо и, взметнув ладонь, выкрикнул:

— Прошу к столу!

Стол, опустошенный после первых, произнесенных еще в начале свадьбы, гостов, был заново и обильно накрыт: сверкали чистые тарелки, горделиво торчали белые, зеленые бутылки с водкой и сухим вином, возвышались вазы с яблоками, виноградом, алели на блюдах толстые, сочные ломти арбузов. Аскер, шутливо раскинув руки, пригнувшись, двинулся на гостей; те, уворачиваясь от него, направились к столу, принялись, посмеиваясь, рассаживаться.

— Ну, что сказал Аскер? — подскочившая к Нурхан Надюша пытливо заглянула ей в лицо, — Я видела, он что-то сказал. — Договорились, да? Договорились?

Нурхан отвернулась, дрогнула поздрями, сдерживая зевоту.

— Ну скажи, договорились? — Надюша подергала ее за рукав. — А Исмаил придет? Исмаил ведь хороший мужик, правда?

— Хороший, — Нурхан еле заметно скривилась и насмешливо уставилась в глаза подруге.

— Что с тобой? Ты себя плохо чувствуешь? — переполошилась Надюша, но тут же оживилась, рассмеялась радостно. — Ты знаешь сколько сегодня заработала?! Вот, смотри! — Достала из кармана платя скомканные деньги, принялась расправлять их. — Видишь, сколько красненьких? Есть даже одна двадцатипятирублевка! А казвалы¹ — целых десять штук! — Она снова сунула деньги в карман. — Я же говорила, что у Наймановых будет богатая свадьба. Ох и заработаешь ты сегодня, ох и заработаешь! — Она, прижав к щеке руки, склонив голову к плечу, восхищенно засмотрелась на подругу.

— Пора к столу, — тронул ее за локоть Али. — Тамада приглашает.

¹ Казвалы — шелковый платок, который, как награда, повязывается на руки танцующих. Обычно их отдают гармонистке,

Он, улыбаясь, протянул руку и Нурхан, но та, смерив его взглядом, отодвинула ладонь парня. Резко поднялась, поставила на стул гармонику.

Надюша, кокетливо хихикнув, шлепнув игриво Али, который взял ее под руку, уже шла к гостям. Отыскав глазами среди них Исмаила, слабо помахала ему, и тот, зажмурившись, крепко потер ладонью о ладонь. Нурхан, увидев это, гордо откинула голову и, прямая, точно натянутая струна, стремительно прошла к нему. В длинной черной юбке, в голубой, переливающейся в свете лампочек, приталенной блузке, она казалась особенно стройной и гибкой. Исмаил вскочил, усадил гармонистку рядом с собой и, лукаво поглядывая то на нее, то на Надюшу, которая устроилась напротив, налил до половины стакана водки. Пододвинул к Нурхан.

— Ой, как много, — опять хихикнула Надюша. Хотела сказать еще что-то, но, увидев глаза подруги, осеклась.

Нурхан пусто и отрешенно смотрела на нее, потом подняла глаза на Исмаила, прищурилась, словно оценивая, и медленно перевела взгляд на тамаду Аскера. Тот огладил двумя пальцами усы и неожиданно дерзко подмигнул Нурхан. Она не отвернулась, не потупилась, только большие синие глаза ее, внимательно изучавшие потное лицо Аскера, затуманились...

...Возбужденная Надюша ворвалась к Нурхан плюхнулась на стул и рассмеялась, согнувшись, зажав меж колен руки.

— Знаешь, с кем я приехала? Исмаил на своих «Жигулях» довез! Всю дорогу мне мозги пудрил, рассыпался — со смеху помрешь. Сказал, что вечером заглянет сюда с Аскером. Можно? Исмаил ведь хороший: видный, лицом не обижен. Пускай придут, а, Нурхан?

— Нам только их не хватало, — фыркнула Нурхан. — От них, наверно, свиньями воняет.

— Да ты что говоришь?! — ахнула Надюша, и черные глаза ее округлились от возмущения. — Они же свинину не едят. А если и продают ее, так что ж... Умеют жить!

Исмаил и Аскер работали скотниками на свиноферме, к животным этим привыкли и держали их в своем

хозяйстве. Забивали, везли мясо в город, продавали его на рынке. Аульчане считали свиней нечистой скотиной и тех, кто возился с ними, сторонились. Исмаил и Аскер посмеивались над земляками, жили — не тужили, денег имели много, гуляли широко, с размахом.

— Ты что, хочешь прогнать их? — встревожилась Надюша. — Таких парней?! — И принялась нахваливаться: — Что за парни: стройные, точно камыш, у каждого усы подковой, а уж веселые, а уж щедрые...

— Пускай приходят, если пригласила, — перебила Нурхан и насмешливо поинтересовалась: — А ты знаешь сколько детей у этих твоих парней?

— Детей? — Надюша изумленно посмотрела на подругу: — А зачем тебе их дети? Жены Исмаила и Аскера рожали, а у нас из-за них головы должны болеть? Вот еще, больно нужно.

— Как же так! — притворно удивилась Нурхан. — Семьи ведь разбиваем. Придется и перед законом, и перед Аллахом отвечать.

— Отвечать?! А кто будет отвечать за мою семью? — Надюша неожиданно обозлилась. Подалась вперед, впились взглядом в подругу. — Кто?! Может, та, которая увела моего мужа? Я, как шелк, чистая была, а он смылся в город, за той потаскухой... А за твою жизнь кто ответит?

— Меня не трожь! — оборвала Нурхан и нахмурилась. — В своей жизни я сама виновата, сама и разберусь.

— А я разве виновата, я разве заслужила такую жизнь? — Надюша, слегка покачиваясь, устала в угол. — Не гуляла, глаз ни на кого поднять не смела, а сейчас?.. Каждому мужику в лицо заглядываю: вдруг улыбнется, вдруг понравлюсь ему, и он, глядишь, не обманет... — и всхлипнула.

— Ну что ты, Надюша, что ты. Реветь, что ли, вздумала? — Нурхан присела перед ней, обняла. Прижала к себе подружку, шепнула: — Давай лучше встретим, как следует, этих кабанов, если уж тебе хочется.

— А и вправду, чего это я? — Надюша засмеялась, крепко обняла Нурхан, потом, оттолкнув ее, вскочила. — Гулять так гулять!.. Ты здесь орудуй, а я — на кухне.

Пока Надюша готовила закуску, Нурхан вымыла

полы, прибрала комнаты. Принесла из огорода цветы, украсила ими ковер, прибитый над кроватью. И по белому атласному покрывалу разбросала цветы — темно-красные, фиолетовые георгины. Отошла, полюбовалась.

Потом они с Надюшей привели себя в порядок — сделали прически, Надюша покрыла свои крашенные, огненно-рыжие волосы лаком, напудрились, подкрасили губы, брови, ресницы, подвели тени. Нурхан надела свою любимую голубую блузку, а Надюша выбрала пушистый розовый джемпер хозяйки, который, правда, был немного великоват, но зато в нем Надюша не казалась такой худенькой.

Вечером в доме Нурхан стало весело и празднично. Надюша без умолку болтала, смеялась, посматривала на Исмаила блестящими, лукавыми глазами. Оживленные мужчины много шутили, много пили за здоровье девушек, за их красоту, за их веселый нрав, за их легкий характер.

Нурхан, отгоняя тяжелые думы, смеялась вместе со всеми, не вслушиваясь в тосты гостей; тоже шутила, тоже предлагала здравицы в честь Исмаила и Аскера — ей хотелось забыться, почувствовать себя веселой и беззаботной, а может, даже счастливой. Она схватила гармонику и, наигрывая, принялась отплясывать с Аскером, да так увлеклась, что не заметила, как Исмаил и Надюша ушли в другую комнату. Увидев же, что осталась наедине с Аскером, нахмурилась. Медленно сдвинула мехи гармоники, отчего та, словно обижаясь или возмущаясь, зашипела, осторожно поставила ее на тумбочку. Села на кровать, уперлась локтями в колени, зажала лицо в ладонях и задумалась — на душе стало тошно, горько, тоскливо. Аскер присел рядом. Постель под ним вдавилась, и Нурхан качнуло к нему. Он приобнял ее за плечи, но Нурхан, отшатнувшись, оттолкнула его руку.

— Ну ты, свинарь, не лапай, — процедила сквозь зубы.

Аскер натянуто засмеялся, огладил усы и, засопев, обхватил Нурхан. Она с силой отшвырнула его, и мужик, чтобы не свалиться на пол, вынужден был вскочить.

— Привык иметь дело со свиньями и сам свиньей стал, — громко и раздельно сказала Нурхан.

Насмешливо-уверенные глаза Аскера стали колючими. Он, не раздумывая, звонко ударил ее по щеке.

— Свинья! — упрямо выкрикнула Нурхан. — Думаешь, если я выпила, то все можно?.. Свинья, — повторила уверенно. Опрокинулась на спину, сминая разбросанные по постели цветы. Закрыла глаза. — Я, может, лучше всех вас, лучше... — Она тихо застонала, пробормотала еще что-то и затихла, лишь изредка всхлипывая.

Аскер, пощипывая ус, прошелся по комнате, выпил, не присаживаясь и не отрывая глаз от Нурхан. В соседней комнате послышались шепот, сдавленный смех. Аскер тихо выругался, решительно направился к кровати. Забросил на постель ноги Нурхан, прислушался, всматриваясь в ее лицо. Оно было спокойно, только на секунду слегка сморщилось — словно судорога пробежала по нему. Аскер быстро и деловито раздел женщину донага, подошел к выключателю и через плечо глянул на Нурхан. Черные блестящие волосы ее растеклись по белому покрывалу; смуглое тело, казалось, слабо светилось. Нурхан лежала на цветах так тихо, что даже дыхания не было слышно. Аскер выключил свет...

— Давайте выпьем за наших молодоженов! — встав, предложил Исмаил и поднял стакан. — За Мурада и Юлдуз! Чтобы жизнь у них была слаще меда, чтобы до конца дней своих любили они друг друга. За любовь! — Он многозначительно посмотрел на Надюшу и, нагнувшись, чокнулся с Нурхан.

Аскер, поднявшись со своего места тамады, подошел к ним, пока произносился этот пылкий тост. Слегка склонившись, он, будто невзначай, протянул руку между Исмаилом и Нурхан — точно оградил ее ладонью — и быстро шепнул:

— Водкой не увлекайтесь. Лучше выпьем одни, после свадьбы. — Выпрямился, хлопнул приятеля по спине. — Ты это брось — за разведенками ухаживать, — громко потребовал с шутливым осуждением. — Смотри, все жене расскажу!

Исмаил поперхнулся водкой, закашлялся. Надюша весело, заливчато рассмеялась. Аскер улыбнулся, хотел погладить Нурхан по плечу, но она вывернулась из-под ла-

дони, ожгла тамаду взглядом. Аскер хмыкнул, ослабил-ся, скрывая растерянность, и отошел. Нурхан чуть отпила и сморщилась.

— Закусывай, закусывай, — Исмаил суетливо подал ей большой кусок вареного мяса.

— Подай отпек¹, — Нурхан отвела его руку. И замерла.— Отпек,— повторила четко и склонила голову, словно прислушиваясь к этому слову. — От-пек.

Исмаил, недоуменно глянув на нее, пододвинул хлеб. Но Нурхан не заметила этого. Расширившимися глазами она пристально смотрела прямо перед собой. Медленно подняла руку, прижала ладонь ко лбу — кружилась голова, звенело в ушах, перед глазами плавали разноцветные круги.

Нурхан уже с утра плохо себя чувствовала — всю ночь преследовали ее какие-то видения, которые измучали, потому что нельзя было понять: сон это или явь?.. Из темноты выступали странные тени, напоминающие фигуры людей, они приближались, обступали со всех сторон, тихо и неразборчиво переговаривались, медленно протягивали к Нурхан вздрагивающие от нетерпения руки. Ей не было страшно, она знала, что руки эти не причинят боли, а лишь прикоснутся, чтобы убедиться, здесь ли она, но Нурхан не хотела этого, сжималась в комок, просила, сначала мысленно, а потом и вслух, чтобы не трогали ее, чтобы оставили в покое, но тени надвигались, и Нурхан, чувствуя, что сердце готово разорваться от невыносимой тоски, плакала. Но когда, застонав особенно громко, замечала, что меняющие очертания, похожие на людей, сгустки мрака слегка отдалялись, и отирала от слез щеки, то обнаруживала, что и щеки, и глаза — сухие. Тогда она была уверена, что не спит, так как узнавала в сумраке свою комнату, но, внимательно взглядевшись в нее, убеждалась, что призраки не исчезли, а лишь затаились в углах и через некоторое время, решив, видно, что она успокоилась, начинали снова шевелиться, придвигаться, тянуть к ней руки. Один раз Нурхан показалось, будто на нее пристально смотрит бабушка — она привиделась после смерти

¹ Отпек — хлеб.

впервые, — но лица Нурхан не разглядела, только угадала в темноте знакомый, чуть сутуловатый силуэт. В какой-то момент Нурхан показалось, что она узнала и Кемата — любимый тоже тянулся к ней, шептал что-то ласково и непонятно; тени поплыли быстрее и вскоре замелькали совсем уж стремительно, как кони в бешеной скачке во время свадьбы с Кематом, только были они не белые, а вороные. И откуда-то издали послышалась музыка джиннов — «сандрак тартув» звучал, обрывочно, то нарастая, то теряясь; мелодия билась, металась, пытаясь вырваться из тесной, без окон, каморки, в которую превратилась комната. Нурхан с облегчением вздохнула — догадалась, что засыпает. И уже понимая, что все происходит во сне, она встала, прошла мимо онемевших, замерших с протянутыми руками призраков. Густая тьма окружила ее — Нурхан знала, что солнце погасло и по всей земле разлилась мгла, но знала и то, что впереди ожидает какая-то радость, хотя и не представляла, как будет выглядеть ожидаемое. Она легко бежала в почти осязаемом мраке, и в ней росло ликование — вот, вот, сейчас! Сплошная темень впереди стала бледнеть, отступать; вдали показался небольшой дом с плоской крышей, он надвигался и надвигался, от него исходило неяркое, легкое сияние, отогнавшее ночь. На душе у Нурхан стало легко, празднично. Она в плавном беге, напоминающем полет, приблизилась к двери, распахнула ее и чуть не засмеялась от восторга: догадалась, поняла сердцем, что очутилась в доме своего детства, хотя совсем не помнила его. Серый земляной пол, низкий круглый столик-сыпыра посредине, железная кровать близ окна, печь с казанами и кастрюлями, по стенам развешаны сито, тулук из козлиной шкуры, чесалка шерсти, деревянный половник — все было родным, узнаваемым, несмотря на то, что до этого Нурхан совсем не представляла, как выглядит эта комната, эта мебель, эта утварь. Она почувствовала, что очень хочет есть, но и это чувство было каким-то светлым, бестревожным — так бывало только в детстве, когда набегавшись на улице, она врвалась в дом, твердо зная, что всегда найдет кусок хлеба и чашку молока. Нурхан уверенно направилась к печи, и тут же раздался звонкий веселый голос.

— Отпек и юрт¹ под полотенцем на сыпыре.

Пораженная Нурхан оглянулась и обомлела — как же сразу не заметила такое?! Рядом с ней стояла богато украшенная резьбой и сложными узорами колыбель с полумесяцем в изголовье. Нурхан изумленно вскрикнула, склонилась над колыбелью, увидела завернутого в ослепительно белые пеленки младенца с ясным лобиком, смеющимися и, казалось, излучающими свет голубыми глазами.

— Отпек и юрт под полотенцем на сыпыре, — четко повторил ребенок и улыбнулся.

— От-пек? — отозвалось, как эхо, Нурхан, радуясь, что впервые за ночь понимает сказанное.

— Да, — подтвердило дитя.

— Да? — Нурхан обрадовалась еще больше, оттого, что и ее понимают.

— Ешь, — ласково попросил младенец.

— Ешь, — откликнулась она, с усилием произнося это слово, точно оно было незнакомо ей.

Но про голод Нурхан уже забыла. Она восторженно повторяла за ребенком: «Небо... земля... вода... жизнь...» Эти простые и привычные слова казались ей звучными, необыкновенными, прекрасными, словно только сейчас Нурхан впервые услышала их, только сейчас узнала их смысл, только сейчас начала учить родной язык... Сон был странный, трогательный, загадочный, потому и запомнился во всех деталях, со всеми подробностями. Все увиденное, пережитое было настолько ярким и реальным, что когда Нурхан проснулась, ей почудилось, будто это она, безмятежная и счастливая, лежала в колыбели, лежит и сейчас, а все вокруг, и в настоящем и в будущем, виделось безоблачным, лучезарным, ясным. Улыбаясь, она негромко повторяла, услышанное во сне: «Небо, земля, вода, жизнь, бабушка, Кемат...»

— Что это еще за бабушка Кемат? — нетрезво расхохотался Исмаил. — Ведь Кемат — мужское имя. Забыла? Может, ты и мое имя или, имя тамады забыла?

Нурхан вздрогнула, увидела рядом блестящее лицо,

¹ Юрт — кислое молоко.

пьяненькие, возбужденные глаза соседа по столу, и нахмурилась.

— Принеси гармошку — потребовала властно. — Петь буду!

— Петь?! О, это дело. Очень хорошо! — Исмаил оживился, откинулся сыто к спинке стула, взметнул руки. — Тамада, слышь! Нурхан петь хочет.

Но его не слушали. Оживленный говор, дружелюбные споры, вспыхивающие то тут, то там, звяканье посуды, смех не приутикли. Только Аскер, украдкой посматривавший на Нурхан, расслышал Исмаила, поднялся торопливо с места.

— Ямагат! — зычно выкрикнул он. — Наша уважаемая гармонистка хочет спеть в честь дорогих нам молодоженов. Выпьем за их здоровье, а потом послушаем нашу родную, ногайскую нашу песню! — Поднял стакан, сделал им легкое движение в сторону Нурхан, потом повернулся к молодоженам, слегка склонил голову, как бы приветствуя их.

Мурат и Юлдуз, которые неподвижно сидели во главе стола и за весь вечер не притронулись к яствам, расставленным перед ними, даже к затейливо украшенному кремом огромному свадебному торту, опустили застенчиво глаза.

Гости восторженно загалдели, выпили за здоровье молодых и, склонившись над тарелками, зачастили вилками.

Надюша уже принесла гармонику. Торжественно, на вытянутых руках подала ее подруге. Гневно поглядывая на жующих, уселась на свое место, поерзала, устраиваясь поудобней, положила локти на стол, заулыбалась — приготовилась слушать.

— Тише, товарищи, тише! — потребовал Аскер.

У Нурхан все покачивалось, плыло перед глазами, вспыхивали иногда разноцветные точки, среди которых смутными пятнами маячили лица. Она не стала ждать, когда стихнет гомон, сделала, склонив голову, проигрыш, высвобождая первый, робкий еще, ручеек стонущей, наполненной горечью мелодии. Застолье не откликнулось на жалобу гармоники — лишь некоторые гости, вытирая губы, повернулись с удивлением, услышав игру,

большинство же продолжало что-то выяснять с соседями. «Эх, люди, — отрешенно, почти без обиды подумала Нурхан. — Ни веселиться, ни грустить не умеете». Музыка окрепла. Нурхан, улучив момент, когда мелодия почти задохнулась от обиды, вплела в нее свой сильный, чуть осевший от волнения голос:

Бий Темир, эй, слышишь, бий Темир!¹
Право дал тебе Аллах землей владеть,
Право дал Аллах мне песни петь.
У меня ты песню отобрал,
У народа песню отобрал,
Чуть хребет у песни не сломал.
О-рай-да, рай-да, рай-да, рай-да.

И хозяева, и гости удивленно переглянулись: никто из них никогда не слышал ни этого напева, ни этих странных слов.

— Что-то не очень похоже на поздравление жениха с невестой, — хмыкнули одни.

— Что это еще за Темир? Почему столько обиды на него? — недоумевали другие.

Не знали они, что эта, пришедшая из глубины веков, песня сочинена великим поэтом средневековья Шал-Кийизом, сыном Нищего; ничего не знали и о Темире, жестоком правителе пятнадцатого столетия, мечом и огнем насаждавшем любовь к власти. Не знала этого и Нурхан. Не задумываясь над смыслом и даже не совсем понимая его, а лишь чувствуя боль и скорбь, переполнявшие песню, жаловалась гармонистка людям:

Я теперь, как белый лебедь без воды,
Словно лань без леса, — вот что сделал ты!
Хочешь, чтоб кобуз мой онемел?
Чтоб он больше никогда не пел?
Но давно известно: не живет
Тот народ, который не поет.
О-рай-да, рай-да, рай-да, рай-да,

¹ Бий Темир — правитель Темир, глава ногайского государства в XV в.

Она глядела на растерянные лица, а видела бабушку, от которой и услышала впервые эту песню, услышала в тот день, когда, словно выплывая из розового тумана, медленно и несмело возвращалась к жизни после свадьбы с Кематом.

2

Сколько помнит себя Нурхан, бабушка всегда была рядом, заменяя и мать, и отца. Отца Нурхан не знала, тот погиб, когда девочке не исполнилось и года. Во время пахоты он перегонял трактор к совхозным полям на другом берегу, а река в тот год, напившись воды дружно таявших в верховьях ледников, точно взбесилась, яростно набрасывалась на ветхий мост, который, не выдержав ее свирепых ударов, рухнул вместе с трактором — так рассказывала бабушка внучке. Рассказывала и о своей дочери, матери Нурхан, но мало и неохотно: горе, мол, свое перенесла она стойко, сильная оказалась женщина, а вот потом... По всей округе шла слава о красоте матери Нурхан. Многие мужчины хотели бы ввести молодую вдову хозяйкой в свой дом, да немногие решались предложить ей это — отпугивало то, что была она с ребенком. Правда, когда прошел срок траура, сватались некоторые, но женщина знала цену и себе, и женихам — отказывала. Потом вышла замуж за шофера из дальнего аула. Новый муж любил ее, но через полгода она с ним рассталась — гордая была, не могла позволить, чтобы новая родня искоса смотрела на ее дочку. Вернулась домой, а вскоре и пожалела об этом — больше к ней не сватались, никто не хотел брать в жены дважды побывавшую замужем. И прожила она пять лет с подрастающей Нурхан, увядая, злясь, срывая свое раздражение и отчаяние на дочери. Наконец ей повезло — приглянулась Она городскому учителю, который привозил школьников на уборку свеклы. Он сделал ей предложение, она с радостью согласилась. Продала дом, оставила Нурхан бабушке, сказала, что скоро, очень скоро заберет дочку, и уехала в райцентр. Первое время присылала деньги, а затем перестала. Добрые люди

говорили бабушке, что дочь ее живет неплохо, родила новому мужу четырех детей, потом добрые люди принесли весть, что мать Нурхан переехала с семьей из райцентра в большой город, а в какой — не знали. «Что ж, дай ей Аллах счастья, — повторяла внучке бабушка. — Твоя мать долго ждала его, вот и дождалась. И мы своегождемся».

Жили бабушка и Нурхан бедно, спали на одной кровати — большой, самодельной. В доме, кроме круглого стола, кухонных полок из некрашенных досок, сундука с одеждой, старой швейной машинки, облупившихся настенных часов и гармоники, ничего не было. Бабушка получала небольшую пенсию, которой хватало на хлеб, имела козу, огород — не голодали. Трудновато было, конечно, когда надо было покупать крупы, жиры, платить за свет или обновлять Нурхан одежду — девочка росла быстро. Но и тут бабушка выкручивалась: брала у соседей шерсть, пряла ее, получала за работу кое-какие деньги и натурой, вязала носки, а из козьего пуха — полушалки, и продавала. Платья для Нурхан шила из своих, а пальтишки на вырост покупал Сидали. Сидали, младший брат бабушки, дядя Нурхан, чем мог помогал сестре и ее внучке: копал огород, косил сено, приносил продукты, а для девочки каждый раз гостинцы.

По вечерам бабушка любила вспоминать о прошлом, порассуждать о жите-бытье: рассказывала о своем отце, известном на весь край мулле, о муже-бедняке, который, имея только коня, выкрал ее из родительского дома и которого убили кулаки, когда он стал первым председателем колхоза; рассказывала об отце Нурхан — какой тот был сильный, веселый, смелый, и девочка, зачарованно слушавшая, полюбила и деда, и отца, часто видела их во сне: могучими, красивыми, добрыми. О матери своей Нурхан не, вспоминала и не думала — бабушка редко говорила о ней. Иногда, правда, вздыхала: «Сгубила красота мою дочь, сделала черствым сердце ее. Забыть ребенка, забыть свою мать! О, Аллах, прости ее грешную и не наказывай». К Аллаху бабушка обращалась часто, но как-то по-свойски, без, страха и заискивания, потому, наверно, что набожной не была: намаз не делала, посты не со-

блюдала, Коран открывала редко — впрочем, это-то, может, оттого, что знала его наизусть. Бывало, что, вместо колыбельной, читала она внучке нараспев аяты и даже целые суры, но такое случалось не часто. Обычно бабушка рассказывала то смешные, то грустные, то страшные истории, в них совершались всяческие чудеса, волшебные превращения, было много иногда забавных, иногда жутких приключений, действовали хитрые дервиши, глупые муллы, жестокие бии, удалые джигиты, прекрасные принцы и принцессы, которым помогали всемогущие и верные джинны. Иногда перед сном доставала бабушка из сундука гармонику и, посмеиваясь, вспоминала, что была когда-то знаменитой гармонисткой, которую приглашали на самые богатые свадьбы. Улыбаясь, она лихо растягивала мехи, резво перебирала пальцами клавиши, и Нурхан, замерев на секунду от восторга, взвизгивала, подпрыгивала на кровати, а потом срывалась с постели, бросалась в дикий, бестолковый пляс. Бабушка хохотала, играла еще быстрее, а затем меняла мелодию — музыка становилась грустной, и под ее протяжный напев Нурхан успокаивалась, задумывалась: глаза ее начинало пощипывать, она принималась шмыгать носом от непонятной печали, необъяснимой жалости и к бабушке, и к себе, от сладкой боли, распиравшей грудь. Прекращала играть бабушка всегда неожиданно. «Вот и потешила себя, — говорила она. — Теперь ты потешься...» И подавала гармонику внучке. Та, смущенная, нажимала то одну, то другую блестящие кнопки и, затаив дыхание, слушала, как уплывают от нее чистые, отдельные звуки, уплывают и незаметно исчезают, уступая место другим.

Когда пришла пора отправлять Нурхан в школу, девочку, не спрашивая согласия бабушки, увезли в районный центр и определили в интернат. Она сбежала оттуда и, ликующая, заявила домой. Бабушка ахнула, чуть не упала в обморок от удивления: «Как же ты дорогу нашла? Как добралась?!» — «На автобусе. Там какая-то тетенька с ребятишками ехала. Все подумали, что я ее дочка, — весело объяснила Нурхан. — А около нашего аула я выскочила на остановке». Ее опять увезли в интернат. И опять через неделю она была дома. Увезли в третий раз — то же

самое. Сидали по просьбе бабушки сходил в сельсовет и попросил, чтобы девочку оставили в покое, дал слово, что будет заботиться о ней. Местным властям надоела эта канитель с Нурхан, и они больше не тревожили ни бабушку, ни внучку.

Нурхан стала ходить в аульскую школу, когда дети проучились уже больше месяца. Первоклашки к этому времени освоились с новой для них жизнью, привыкли друг к другу и потому новенькую встретили с интересом. «А я тебя знаю! — торжествующе закричала на перемене какая-то девчонка, строя Нурхан рожи. — Тебя мать бросила, и ты живешь со старой колдуньей Меруа!» Нурхан побелела от возмущения и, не раздумывая, вцепилась обидчице в волосы. Та завизжала, заревела. Подружки с писком бросились врассыпную и принялись кричать: «Брошенная, брошенная...» Нурхан метнулась к ближней однокласснице, хотела схватить ее, но вопль «Брошенная!» раздался за спиной, и Нурхан, круто развернувшись, кинулась к новой оскорбительнице — так, закусив губу и раздув ноздри, металась она всю перемену под панические визги девчонок и довольное гоготание мальчишек. Прозвище «Брошенная» прочно закрепилось за ней. Но ни жаловаться, ни пропускать из-за этого занятия Нурхан не собиралась — наоборот, в школу шла решительно, голову держала гордо. Стремительно появлялась в классе, швыряла на парту холщовую сумку с книжками и, окаменев, оглядывала соучеников сузившимися, потемневшими от злости глазами — ну, кто смелый?!

Так прожила она до шестого класса: была девчонок, не разбираясь, кто прав, кто виноват, если слышала за спиной шепоток: «Брошенная... Ведьмина внучка», рвала их тетради, топтала портфели; если обижали мальчишки, дралась с ними, очертя голову бросаясь в схватку и не глядя, сколько человек перед ней. Иногда побеждали и они. Нурхан не плакала, только скрипела зубами. Однажды самый зловредный и самый трусливый одноклассник, который дразнился, только спрятавшись за спины приятелей, и которого Нурхан, изловчившись, поймала как-то на улице, повалила, натыкала лицом в пыль, схватил от страха, обиды и бессильной злобы камень, ударил

им девочку-победительницу — с тех-то пор и остался на лице Нурхан небольшой шрам. Перепуганной бабушке, увидевшей внучку в крови, Нурхан сказала, что стукнулась в школе о дверную ручку. Бабушка, конечно, не поверила, но и допытываться не стала. Ей часто жаловались на Нурхан, но старая Меруа и слушать не хотела, только ворчала: «Дети сами разберутся». Лишь однажды она рассердилась на внучку — та вымазала чернилами первую ученицу, обозвавшую ее «инкубаторской»; разгневанная мать отличницы и учительница привели зареванную девочку с лицом синим, как баклажан. Бабушка, обомлевшая при виде учительницы, накричала на внучку и даже пометалась суетливо, делая вид, будто ищет, чем бы отлупить ее.

В седьмом классе отношение соучеников к Нурхан изменилось — летом она работала на свекле! Тому, что девочка, начиная с четвертого класса, подрабатывала во время каникул, никто не удивлялся — большинство аульских девчонок и мальчишек занимались тем же; совхоз давал ребятишкам какое-нибудь дело попроще и полегче, лишь бы заняты были и дурью не маялись. Но после шестого класса, Нурхан, чтобы получить побольше и помочь бабушке по-настоящему, напросилась в постоянную бригаду к пожилым женщинам. И весь сезон, от зари до зари, работала наравне со старшими. На ее деньги Сидали заменил на крыше истлевший камыш шифером, покрасил двери, оконные наличники, оградил двор штакетником, изрубив старый плетень на растопку. Когда осенью Нурхан пришла в школу, одноклассники не решились больше ее дразнить, а стали посматривать с уважением, как на взрослую. Она и выглядеть стала по-другому, как взрослая — за лето вытянулась, окрепла, формы округлились, исчезла угловатость, движения стали плавными, женственными.

«О, Аллах! Цыпленочек мой, да ты все больше становишься похожа на свою негодную мать, ту машалла¹! — покачивала головой бабушка и вздыхала. — Лишь бы не довела тебя до беды твоя красота...»

¹ Ту машалла — возглас одобрения,

Нурхан смущенно опускала глаза, краснела, удивляясь тому, что смущается и краснеет. Многое удивляло ее в себе; она чувствовала, что становится какой-то иной — смешным и глупым казалось теперь обижаться, если кто-нибудь из соучеников, забывшись, шипел по привычке «Брошенная»; Нурхан, по привычке же, испепеляла его взглядом, но ни прежней ярости, ни прежнего гнева не испытывала. Все чаще накатывала на нее вдруг неизвестно отчего возникавшая тоска или острая беспричинная грусть — и это тоже удивляло Нурхан. Облегчение приносила музыка; когда становилось совсем уж неважно, Нурхан хватала гармонь. Бабушка, слушая то бешеную, какую-то судорожную, то протяжную жалобную игру внучки, поджимала в раздумье губы, качала головой. По вечерам Нурхан не хотела теперь слушать сказки о чудесах, волшебствах и похождениях проныр, а просила рассказать о влюбленных, которым джинны помогли найти друг друга, или об удальцах джигитах прошлого.

Так и проучилась она седьмой класс — тихая, непривычно задумчивая, одинокая; никто, помня о ее бешеном, в недавнем прошлом, характере, сблизиться с ней не решался.

Летом Нурхан опять работала на свекле и все больше и больше отдалялась от сверстников, стала даже дичиться их. Когда приходила после работы к речке, чтобы смыть пыль и пот, то уже стеснялась раздеваться там, где купалась ребятня, а держалась поближе к женщинам. Но больше всего любила бывать одна — прихватив полиэтиленовый мешок, переплывала на другой берег и бродила по зарослям, собирая, ежевику, дикий абрикос, кизил, чтобы побаловать бабушку.

Нурхан превратилась в высокую, стройную девушку и еще больше похорошела. На нее стали посматривать парни, следя озадаченные такой непривычной красотой: от отца Нурхан унаследовала черные, блестящие волосы, матово-смуглую кожу, а от матери — пронзительно-синие глаза, слегка вздернутый нос.

Как-то мальчишки-старшеклассники, переплыв вслед за Нурхан на другой берег, подкараулили ее в кустах и схватили. Обезумев от ужаса, она пиналась, кусалась, ца-

рапалась. Отбивалась отчаянно и молча. Вырвалась и, придерживая разодранный купальник, прижимая его к телу, убежала в лес. Затаилась в орешнике, вздрагивая при малейшем шорохе. Но, странное дело, успокаиваясь, она думала о происшедшем уже без страха и без ненависти к нападавшим. Наоборот, появилось какое-то легкое чувство стыда за себя, нечто похожее на досаду, что все получилось так, как получилось; радость победы приобрела вовсе уж непонятный привкус сожаления об этой победе. В сумерках Нурхан переплыла реку, надеясь, хотя и не признаваясь себе в этом, что парни, может, поджидают ее. А когда Нурхан нашла в темноте свою одежду, то чуть не заплакала от злости и обиды — мокрое, вываленное в песке платье было похоже на комок сплошных узлов, Нурхан даже и развязывать их не стала — до утра провозишься! Полуголая, прячась в тени, крадучись, пробралась Она по улице, шмыгнула в дом, упала на кровать. И тут не выдержала, разрыдалась, уткнувшись лицом в подушку. Бабушка испугалась, увидев разорванный купальник, синяки, царапины на руках и плечах внучки, присела рядом, принялась утешать ее, поглаживая по голове, по спине маленькой шершавой ладонью. Постепенно Нурхан успокоилась, затихла, притворилась, будто засыпает, но уснуть не могла. Всю ночь пролежала она с открытыми глазами, прижавшись к сухонькому телу бабушки и прислушиваясь к ее беспокойному неглубокому дыханию, к ее старческим вздохам.

Утром бабушка отправилась к своему брату. Застала его во дворе. Сидали, опершись о вилы, хмуро выслушал рассказ о Нурхан, молча развернулся и вышел за ворота. Около конторы направился к стайке молодежи, схватил за грудки известного на весь аул озорника Тугана, притянул к себе.

— Если кто-нибудь из вас посмеет еще раз обидеть Нурхан, убью! — громко объявил парням. — Думаете, если у нее нет отца, то и защитит некому?! Вот этими самыми вилами пропору живот любому, кто тронет племянницу. Запомните и другим передайте! — Оттолкнул от себя ошалевшего Тугана и, не оглядываясь, отправился домой.

Слова Сидали привели к неожиданному — на Нурхан стали с любопытством поглядывать даже те парни, которые раньше не замечали ее. Первое время аульские шалопаи шарахались от Нурхан, помня об угрозе ее дядюшки, но потом осмелели, стали гурьбой бродить за ней, подтрунивать, зубоскалить — это превратилось даже в нечто похожее на обязательную забаву, в которой молодняк, обмирая от страха при мысли о Сидали, проверял себя на дерзость. Нурхан почти перестала показываться на улице, а по вечерам и вовсе не выходила из дому.

Одинокая, казавшаяся сверстникам надменной, а учителям — рано повзрослевшей, закончила она кое-как восьмой класс и весной заявила дядюшке, что больше учиться не будет, а пойдет работать, так как бабушка совсем старая стала и не дело молодой, здоровой девке сидеть у нее на шее. Сидали выслушал племянницу, поразмышлял и согласился: «Что ж, тебе видней. Делай, как знаешь... А захочешь дальше учиться: в техникум какой или на курсы надумаешь — помогу». Он подарил ей часы и лакированные туфли. «Спасибо, спасибо, не надо...» — начала было Нурхан и хотела добавить, что, вам, мол, и без меня забот хватает: шестеро детей, а тут еще я, но Сидали прикрикнул: «Кто тебя научил старшим возражать? Бери. Детство кончилось, ты уже стала совсем взрослой. Для тебя начинается новая жизнь: надо, чтоб это запомнилось».

И началась новая жизнь. Замелькали одинаковые, ничем не запоминающиеся сутки. Днем Нурхан работала, вечером помогала бабушке по хозяйству, играла на гармонике или ходила в клуб, когда привозили новый фильм. Если кино было про любовь, Нурхан возвращалась домой с горьким комком в горле. Подходила к небольшому зеркалу на стене, подолгу изучала свое отражение, чувствуя, как в глазах набухают едкие слезы обиды — вспоминалось, как хорошо и красиво закончились для героини картины все неприятности и страдания: хотелось и себе такого же счастья, такой же чистоты, а виделись парни, которые, плотно окружив, провожали из клуба. Они, как всегда, однообразно и сально шутили, ржали над своими похабными намеками, пытались с раз-

вязной непринужденностью, красуясь друг перед другом, обнять Нурхан, потискать ее; она сначала натянуто улыбалась, липнущие к ней руки отталкивала вяло, но потом ей становилось нестерпимо противно — она ругаясь самыми грубыми словами, какие знала, вырывалась из плотного кольца провожающих и, опустив голову, торопливо шла домой под дружный гогот за спиной.

Разглядывая себя в зеркале, Нурхан частенько натыкалась в нем на внимательные, изучающие глаза бабушки, которая, стараясь быть незаметной, наблюдала за ней.

— Перестань водить за собой аульских бездельников, — принималась ворчать бабушка, встретившись взглядом с внучкой. — Нехорошо это. Хочешь совсем опозорить меня, опозорить мою старость?!

Однажды, когда Нурхан вернулась из клуба особенно разъяренная, и, пометавшись по комнате, вдруг обесиленно опустилась на кровать, всхлипнула, старая Меруа не выдержала.

— Ну все, хватит! — Она собирала на стол ужин и в сердцах бросила на стол нож, которым резала хлеб. — Завтра избавлю тебя от греховных мыслей! Пройдешь очищение огнем: только огонь внешний может побороть огонь внутренний, только пламя освященного костра может победить сжирающее тебя пламя желания блуда.

Нурхан с удивлением подняла на нее глаза.

— Желания блуда? — Она растерялась. — О чем ты, какой внутренний огонь, какой еще огонь внешний?

— Увидишь какой, — буркнула бабушка. Села рядом с внучкой, прижала ее голову к груди. — Охо-хо, многого требует Аллах от красоты, — вздохнула привычно и, слегка покачиваясь, добавила нараспев: — Дождешься ты своего суженого, девочка, дождешься. Найдет и тебя, предназначенный судьбой джигит, с которым заживешь надежно и спокойно, как и все достойные уважения люди...

Ранним утром, когда аул еще спал, Меруа разожгла на огороде за сараем, подальше от глаз соседей, большой костер. Пошептала что-то над ним, заставила Нурхан сплунуть на четыре стороны и стала подгонять хворостинкой внучку к огню. Нурхан фыркнула, еле сдерживая

смех, легко и с удовольствием перепрыгнула через пламя и, звонко рассмеявшись, принялась скакать через костер, поддразнивая бабушку. Та схватила ее за руку.

— Ну, ну, довольно!.. Совсем еще ребенок, как погляжу. Давай, затуши скорей, а то кто-нибудь увидит, снова беды не миновать, упаси Аллах!

У нее уже были неприятности: и в сельсовет таскали, и тюрьмой угрожали, обвиняя в самовольном лечении, знахарстве и чуть ли не в колдовстве. Давно это было, еще до рождения Нурхан, но старая Меруа до сих пор со страхом вспоминает те дни.

Все женщины в ее роду слыли умелыми врачевательницами и ворожеями. Меруа тоже многому научилась у матери: хорошо знала целебные травы, умела готовить из них снадобья, запомнила даже заклинания от сглаза и зубной боли, хотя в силу этих заговоров не верила. Когда умерла мать, больные начали было ходить к Меруа, но ее муж-коммунист запретил жене, как он выразился, «дурачить трудящихся». В ауле не было даже плохонького медика, и все хворые вынуждены были ездить за двадцать верст в русскую станицу к тамошнему фельдшеру, поэтому, после того, как мужа Меруа убили кулаки, аульчане снова потянулись к ней со своими недугами. Она помогала, как могла и чем могла: принимала роды, вправляла вывихи, лечила самодельными отварами, настойками, мазями. Особенно зачастили к ней в войну. И не только с болезнями, но и со своим горем, своими тревогами — просили погадать о тех, кто ушел на фронт. Меруа о судьбе отдельных людей говорила осторожно, предсказания делала расплывчатые, но с уверенностью пророчествовала о неизбежной победе, о том, что скоро настанет прежняя мирная жизнь, и земляки уходили от нее успокоенные, просветленные. Веру в Меруа не поколебало даже то, что многие мужчины не вернулись после войны домой — Меруа ведь и не говорила, что все останутся живыми. К ней по-прежнему ходили лечиться, искать утешения. Беда пришла неожиданно. У фронтовика Мусы Ходжаева открылась не залеченная в госпитале рана. Родственники привели его к Меруа, она осмотрела язву на руке больного и решительно отказалась лечить — кость

гниет! Родные Мусы умоляли, говорили, что грешно не облегчить страдания воина, и Меруа с тяжелым сердцем принялась за врачевание. Мусе становилось все хуже, и когда его наконец отвезли в районную больницу, там руку отрезали — это неизлечимо, сказали, проклятая война, пропади она пропадом, виновата. Но женщины рода Ходжаевых, потрясенные несчастьем, обвинили не войну, а Меруа. Ее вызвали в сельсовет, потребовали рассказать, как людей лечит. «Да не лечу я их, — оправдывалась Меруа, — в район посылаю, в больницу, а они не хотят: далеко, мол, лучше ты помоги. Ну я и даю им отвары из трав, как мать учила...» — «Знахарство!» — вынесли ей приговор. «Ага, знаю я кое-какие травы, сказала ведь, что отвары даю, — подтвердила Меруа. — А иногда и без этого обхожусь. Вот на днях пришла Абидат, подружка моя, вместе в девках ходили. Голова, говорит, очень болит, помоги, говорит. Я Абидат-то хорошо знаю, доверчивая она, простодушная. Беру чесалку для шерсти, поглаживаю подружку по голове и бормочу, что на ум придет, стараюсь непонятней. Абидат что угодно внушить можно, она и поверила, что ее боль в чесалку перешла. Обрадовалась: спасибо, говорит, совсем легко мне стало...» — «Вот это-то и есть знахарство! — грохнул кулаком по столу председатель сельсовета. — Религиозный предрассудок, дурман!» И строго-настрого запретил Меруа заниматься врачеванием, да еще тюрьмой пригрозил. Ни жива, ни мертва вернулась Меруа домой, на улицу носа не показывала. А тут новое горе — у Мусы сын утонул. Обезумевшие от ударов судьбы женщины рода Ходжаевых обрушили на Меруа проклятья — «это ты, ведьма, мстишь нам!» Черный шепоток пополз по аулу: «Меруа — колдунья, Меруа со злыми духами водится...» Многие посмеивались над такой глупостью, многие отмахивались от новости, как от явной нелепицы, но молва росла и крепла. К Меруа перестали ходить не только старики и старухи, но и те, кто помоложе; некоторые при встрече с ней спешили перейти на другую сторону улицы; ее именем начали пугать детей. Сколько лет минуло с той поры, уже и кости Мусы Ходжаева истлели, наверно, на кладбище, и родственники-то его редко вспоминают о нем, а

дурная слава о Меруа все еще жива — аульчане относились к бабушке Нурхан с недоверием и настороженностью, хотя ни в колдуний, ни в духов, скорей всего, не верили...

Пришла жатва. Урожай выдался отменный, машины везли и везли зерно, поэтому Нурхан, которая вместе с другими женщинами работала на току, некогда было даже пот с лица утереть.

Подкатил новенький зеленый «ЗИЛ». Нурхан, подгребавшая зерно к транспортеру, мельком глянула на грузовик — «Бортовой. Придется вручную...», выпрямилась, прогнулась, разгоняя тупую боль в пояснице, и пошла к машине. Закинула в кузов лопату, занесла над колесом ногу, обтянутую тренировочным трико, чтобы, вцепившись в борт, перемахнуть через него, как вдруг чьи-то сильные руки сдавили ей бока, оторвали от земли.

— Давай помогу, красавица.

Нурхан вскрикнула, резко крутнулась, взмахнула согнутой в локте рукой и... не решилась ударить. На нее весело смотрел светловолосый парень — незнакомый, на уборку, наверно, приехал.

— Ух ты, глазищи-то какие! — удивленно хмыкнул он. Посматривая на девушку, которая взлетела в кузов, шофер открыл задний борт. Отошел к бочке с водой, присел на край столика и, улыбаясь, принялся разглядывать Нурхан. Та чувствовала это, хмурилась, швыряла зерно резко и раздраженно. Когда машину разгрузили, шофер вразвалку подошел к заднему борту, протянул руки.

— Прыгай, синеглазая! — щурясь от солнца, предложил он. — Ловлю!

— Меня лови! — крикнула сорокалетняя Кенжехан, — Да к себе прижми покрепче, а то не удержишь!

Женщины рассмеялись. Парень тоже улыбнулся, махнул пренебрежительно рукой.

— Пусть тебя муж к себе прижимает, — и пошевелил пальцами, приглашая Нурхан. — Прыгай, красавица. Уж тебя-то я буду держать крепко, не упущу. Клянусь!

— Прыгай, дурочка, не зевай... Посмотри, какой джигит. Эх, нам бы твои годы, не упустили бы такого парня! — Женщины, посмеиваясь, стали подталкивать Нурхан к краю кузова.

Она, гневно сдвинув брови, зажала меж колен подол платья и соскочила на землю, но еще в полете успела так оттолкнуть шофера, что тот, вытаращив от неожиданности глаза, засеменил назад и чуть не упал. Нурхан не удержалась — прыснула со смеху, торопливо прикрыв рот.

— Вот ты какая... — изумленный парень с силой пригладил свои светлые волосы. — Но ничего, я тебя все равно обниму! — Раскинул руки, пошел, широко улыбаясь к Нурхан.

— Только попробуй, — серьезно сказала она. С силой отбила его руку и, медленно стянув с головы белую косынку, спокойно отерла ею лицо.

— Она у вас всегда такая? — Шофер, пряча смущение за пренебрежительной ухмылкой, повернулся к женщинам.

— Тебе еще повезло. Она одному, такому же бойкому, как ты, голову недавно проломил... Уезжай, пока цел, а то будешь на лекарства работать, — еле сдерживая смех, загалдели женщины.

— Seriously? — парень съежился в притворном испуге. — Ая-яй, ну и характер... Как раз в моем вкусе! — Засмеялся, вскочил на подножку, всунулся наполовину в кабину, но тут же повернулся к Нурхан. — Не балуй без меня, синеглазая, — и погрозил ей пальцем.

Она неожиданно для себя скорчила ему рожу и высунула язык. Смутилась, прикрыла лицо косынкой.

Светловолосый еще два раза приезжал на ток, но Нурхан он словно не замечал — был серьезен и деловит. Нурхан, которая все это время думала, сама того не желая, о незнакомом шофере, была слегка обижена, но одновременно в душе благодарила его — впервые не знала, как держаться с парнем, что говорить, что делать. Она тоже старалась выглядеть серьезной и деловой, орудовала лопатой, не разгибаясь, не поднимая головы, — в сторону водителя даже не смотрела.

Когда после работы Нурхан шла домой, ее нагнал знакомый зеленый «ЗИЛ». Он резко затормозил и медленно пополз рядом. Дверца кабины распахнулась.

— Садись, синеглазая, подброшу! — весело крикнул шофер.

Нурхан и головы не повернула, и шагу не прибавила, не замедлила.

Машина, рыкнув, рванулась вперед, и остановилась шагах в десяти. Светловолосый выскочил из кабины, широко расставил ноги и погладил по привычке волосы.

— Ну, чего ты?.. — насмешливо спросил он, когда девушка подошла. — Садись, подвезу до дома.

Нурхан, строго глядя перед собой, хотела обойти парня, но тот схватил ее за руку.

— Чего ты ломаешься?.. Что я тебе плохого сделал?

— Пусти, — она, слегка поморщившись, выдернула руку. — Люди увидят. — И не спеша стала удаляться от машины.

— Приходи сегодня в кино, синеглазая, — крикнул за ее спиной шофер. — Слышь, Нурхан?

Она вздрогнула, запнулась. Медленно повернулась к парню. Тот, едва коснувшись ногой подножки, взлетел в кабину. Двигатель заревел, грузовик прополз мимо девушки, обдав ее едким дымом выхлопа.

— Обязательно приходи, я буду ждать... — светловолосый помахал ей рукой. — Запомни на всякий случай, меня звать Кемат.

Машина, окутавшись клубами пыли, подпрыгивая на ухабах, умчалась. Нурхан подождала, когда грузовик скроется за углом, и, задумчивая, медленно побрела домой. Там она, как неприкаянная, послонялась из угла в угол, взяла гармонику, но даже не расстегнув ремешок, стягивающий мехи, снова поставила ее на место и взглянула на часы. Когда до начала сеанса в клубе осталось двадцать минут, Нурхан начала лихорадочно переодеваться, прихорашиваться. Метнулась к выходу, но на пороге словно споткнулась. Постояла, опустив голову, медленно отошла от двери и, к огромному удивлению бабушки, до поздней ночи просидела, почти не шелохнувшись, у окна. Утром, собираясь на работу, Нурхан решила надеть яркий, в цветах, сарафан, оставлявший неприкрытыми плечи и руки, но тут же передумала. Надела старенькое, застиранное платье, в котором была вчера.

Кемат опять возил зерно. Улучив момент, когда рядом с Нурхан никого не было, он подошел к ней, спросил, привычавшись:

— Почему не пришла в клуб?.. Сегодня придешь?

Нурхан неопределенно пожала плечами, Но, увидев лицо парня, неуверенно кивнула.

— Порядок! — обрадовался Кемат. — До вечера...

Однако вечером они не встретились, в клуб Нурхан опять не пошла. Затуманенно улыбаясь, взяла гармонику и допоздна играла на ней.

На следующий день Кемат, приехав на ток, решительно и зло подошел к Нурхан.

— Ты что, за мальчика меня принимаешь? — дрожащим от возмущения голосом отрывисто спросил он, — Сколько можно обманывать?!

— Я не смогла, — Нурхан потупилась. Потом быстро глянула снизу вверх на взбешенного парня, смущенно улыбнулась. — Сегодня приду, — сказала тихо. — Честное слово, приду, не обману.

После кино Кемат провожал ее до дому. Рассказал, что живет в Нижнем Ауле. — «Ты бывала у нас? Это ведь совсем рядом?» — «Нет, я нигде не была». — «Жаль. Отличное место, тебе бы у нас понравилось», — сказал, что сюда его откомандировали до конца сезона. — А я, дурак, еще не хотел... Видишь, как повезло: тебя встретил», — Кемат неуверенно приобнял ее за плечи, но Нурхан, изогнувшись, сбросила его руку.

— Знаешь, Нурхан, ты мне сразу понравилась, сразу, как только увидел тебя, — осипшим от волнения голосом сказал он, когда остановились у калитки. — Ну почему меня раньше не послали в ваш аул? Почему мы раньше не встретились? — Кемат осторожно сдвинул ее запястье, — Я таких красивых, как ты, еще не видел. Да таких, наверно, и нету больше...

— Не надо так, Кемат, не надо. Ты смеешься надо мной, — Нурхан, защищаясь, слабо уперлась ему локтем в грудь, но другая, рука ее сжала его ладонь, словно хотела удержаться.

— Нурхан, я люблю тебя. Только тебя одну, одну тебя на всем свете... — горячее, прерывистое дыхание Кемата щекотало щеку, шею Нурхан. Она, плавно отводя назад голову, прикрыла глаза; дрогнувшие ноздри уловили непривычный запах мужского пота, который не казался

неприятным, а, наоборот, был странно знакомым, родным; пальцы Нурхан робко пытались оттолкнуть все приближающееся и приближающееся лицо Кемата, но вместо этого несмело гладили, ласкали его щеки, его колючий подбородок; голова у нее кружилась, неведомая до этого нежность растворила, казалось, тело.

— Не надо, Кемат, не надо... — Нурхан гибко вывернулась, освободившись от руки Кемата, которая легко, но настойчиво приближала ее тело к его телу. Крепко зажмурилась, тряхнула головой, отгоняя наваждение. — Я тоже люблю тебя, — глядя исподлобья, сказала серьезно.

Круто развернулась, проскользнула во двор, проскочила его, скрылась в доме. Кемат с силой пригладил волосы, стукнул кулаком в раскрытую ладонь и, радостно улыбаясь, отошел от калитки.

На следующий день его направили возить зерно на элеватор и увидеться с Нурхан. Кемату не удалось. Из последнего рейса он вернулся лишь под вечер и, не заезжая на ток, где дневная смена уже закончила, пожалуй, работу, подкатил к дому Нурхан. Нетерпеливо постучал по кнопке сигнала и с радостным лицом высунулся из кабины. Но тут же лицо у него вытянулось — в дверях показалась маленькая, сгорбленная старуха. Она, козырьком приложив над глазами ладонь, поглядела на шофера, подошла, шаркая подошвами, к калитке.

— Мурза мой, кого тебе надо?

— Да я, бабушка, по делу... — Кемат растерялся, почесал макушку. — Тут картошку у вас никто не продает? Заготовитель один просил узнать...

— Картошку? — бабка склонила голову набок, присматриваясь к незнакомому парню, и взгляд ее хитреньких глаз стал едким. — Тебе, поди, молодую надо?

— Да уж понятно, не старую, — фыркнул, чуть не рассмеявшись, Кемат и торопливо уточнил; — Конечно, молодую, бабушка, кто же прошлогодною закупать будет?

— Что-то я тебя раньше не видела, — Меруа в раздумье пожевала губами и нахмурилась, увидев, что незнакомец быстро и, как ему казалось, незаметно глянул на окна дома, обшарил взглядом двор. — Ты из чьих будешь?

— Я из Нижнего Аула, — скороговоркой пояснил Кемат.

Спрыгнул на землю и, подражая манере старых людей, степенно с достоинством уточнил: — Из кипчаков я, из узденского рода. Слыхали про таких?

— И-и, знаю, знаю я вас, кипчаков, — замахала ладошкой Меруа и даже слегка приотвернулась. — Все кипчаки обманщики. Неправду мешками с собой таскают.

— Зря обижаете, бабушка, — с подчеркнутым огорчением покачал головой Кемат. — Может, и встречались вам кипчаки-обманщики, не спорю, но ведь меня-то вы не знаете. Как можно такое говорить в глаза неизвестному человеку, а? Посмотрите, парень я хоть куда. — Он театрально приосанился. — Чем не жених? Могу и сватов заслать. Узденские кипчаки — сваты знаменитые.

— Сватов? — Меруа притворно радостно хлопнула в ладошки. — Ко мне? Засылай. Ты да я — чем не пара?

Кемат ошалело заморгал, приоткрыл бестолково рот и вдруг весело расхохотался, запрокинув голову.

— Ну, бабушка, ну и отмочила... — Он вытер кулаком глаза. — Я имел в виду вашу внучку.

— Гляди, какой ловкий, — старушка прищурилась. — Начал с картошки, а кончил внучкой. Нету у меня никакой картошки. И внучки никакой нету! — Она стукнула сухим кулачком по планке штакетника. — Нету, понял?!

— Ага, вот вы и попались, — торжествующе выкрикнул Кемат, — неправду говорите! Выходит, не кипчаки обманщики, а вы, — от шутливо погрозил пальцем. — А не здесь ли живет синеглазая красавица, а?

Меруа смугилась, замахала рукой.

— Езжай, езжай, голубь, отсюда. Чего пристал к старухе? Чего надо?

— Не сердитесь, бабушка, — Кемат пригладил волосы, помялся. — Мне бы воды, радиатор залить, — глянул на машину, сделал опечаленное лицо, но не выдержал, съехидничал: — Или опять неправду будете говорить: скажете, что и воды у вас нет?

— Разве не видишь колонку? — Меруа усмехнулась, показала коричневой морщинистой рукой вдоль улицы. — Бери сколько хочешь, не жалко.

Кемат сдвинул в кабине сиденье, достал не спеша резиновое, сделанное из автомобильной камеры, ведро, не

спеша же сходил к колонке, не спеша вернулся. Принялся заливать воду в почти полнехонький радиатор — вода плескалась на двигатель, стекала струйками к пыльной дороге, где стягивалась в большие, круглые и выпуклые, лужицы.

Старая Меруа насмешливо наблюдала за Шофером.

— Эй, мурза, — сладким голосом окликнула она. — Откуда, интересно, ты знаешь мою внучку?

— Вместе работаем, — буркнул Кемат. — А что?

— А то, что вон она идет. Посмотрим, как тебя встретит моя внучка.

Кемат резко повернулся, опустил ведро — оно хлопнуло по ноге, заливая остатками воды брюки.

Нурхан, в легком, цветастом, выше колен сарафане, открывающем загорелые ноги, медленно приближалась к дому, опустив в задумчивости глаза.

Меруа торжествующе хихикнула, представив, как будет выглядеть этот бойкий шофер, когда внучка даже не обратит на него внимания или, еще лучше, осмеет, опозорит презрительными словами, — и поразилась...

Нурхан, как от оклика, вскинула голову, увидела Кемата и даже качнулась, прижав руку к сердцу. Лицо ее, только что бывшее грустным, обиженным, прояснилось, осветилось счастливой улыбкой. Быстро, почти бегом, приблизилась внучка к шоферу.

— Здравствуй! Давно ты здесь? — Она протянула ладонь, которую Кемат торопливо сжал двумя руками. — А я тебя на току ждала.

Старая Меруа вздохнула и медленно побрела к дому. Но Нурхан даже не заметила бабушку.

— Давай сегодня весь вечер будем вместе, — не выпуская руку девушки, Кемат заглянул ей в глаза. — Хочешь, я тебя покатаю?.. Только сходи, бабушке скажи.

— Бабушке? Ладно, потом... — Нурхан резво влезла в кабину, устроилась поудобней. — Ну, поехали, чего же ты?

Кемат вел машину лихо — пока не выехали из аула, ухарски срезал, не сбавляя скорости, углы, а когда вырвались на широкую дорогу за околицей, и вовсе забыл об осторожности. Но Нурхан не замечала этого, она не отрывала глаз от Кемата. Тот искоса посматривал на радос-

тное лицо девушки, на ее смуглые плечи, руки, переводя иногда, словно ненароком, взгляд на четко прорисовывающиеся под тонким сарафаном груди, и рассказывал, немного рисуясь, о драках, в которых участвовал и в которых конечно же всегда побеждал, о городских ресторанах, в которых, как он дал понять, бывал частенько и где денег не жалел. Нурхан слушала заворожено, не вникая в смысл, — ей нравился этот голос сам по себе: звонкий, уверенный, со снисходительными нотками, которые тоже нравились; она, улыбаясь, смотрела на Кемата, и, когда встречалась с ним взглядом, улыбка делалась смущенной и чуть горделивой одновременно.

Домой Нурхан вернулась поздно. Бабушка сидела у стола.

— Обманет, — без выражения сказала она, как только внучка подошла к ней.

— Кто обманет, кого? — удивилась Нурхан. — О чем ты?

— Обманет тебя этот желтоволосый, — Меруа подавила вздох. — Все кипчаки вруны и хвастуны, а он — особенно. Видела, какие у него хитрые глаза?

— Не хитрые, а веселые, — засмеялась Нурхан. — Не придумывай себе страхов, бабушка! — И принялась стелить постель.

— Ужинать не будешь, что ли? — потухшим голосом спросила Меруа.

— Не хочется, — Нурхан нырнула под одеяло, закрыла глаза, чтобы снова увидеть, со всеми подробностями, сегодняшний вечер, увидеть Кемата.

На следующий день она опять ездила с Кематом, и опять он рассказывал, а Нурхан, затаив дыхание, слушала, не слыша.

— Хочешь, подарю свою фотку? — сказал вдруг Кемат, смущенно откашлявшись. — Правда, на ней я плохо вышел, но... Хочешь? — И с деланной небрежностью достал из нагрудного кармана маленькую фотокарточку, протянул ее, не глядя на Нурхан.

Она подставила ладонь, бережно приняла снимок. На фотографии Кемат выглядел другим — лицо напряженное, глаза серьезные, пристальные, губы плотно сомкнуты и оттого какие-то узкие, длинный нос казался искривленным.

— Спасибо, — Нурхан завернула снимок в носовой платок, спрятала его на груди. — А у меня вот своей фотокарточки нет.

— Не беда, — довольный Кемат откинулся к спинке сиденья. — Я и так твое лицо помню. Всегда помню.

Ни на секунду не расставалась Нурхан с фотографией: днем, завернув в платочек, носила на груди, ночью прятала под подушку.

Когда в работе выпадал хоть небольшой перерыв, Нурхан отходила в сторонку, подальше от людей, доставала нагретый телом платочек для того будто, чтобы отереть лицо, прятала снимок в ладони и разглядывала его, мысленно беседуя с Кематом. Иногда, воровато оглянувшись, она целовала фотокарточку, краснела и испуганно озиралась — не заметил ли кто?

Кемат по-прежнему возил зерно на элеватор, на ток не заезжал и встречался с Нурхан только после работы. Для нее же день тянулся нестерпимо долго, а вечер и, добрая часть ночи проносились мгновенно... Однажды Кемат сказал, что его отправляют в Краснодар за запчастями, где пробудет неделю. И все то время, пока его не было Нурхан места себе не находила. Бабушка допытывалась! «Что, обманул, да? Чуюло мое сердце, чуюло. Я, как только увидела его бесстыжие глаза, поняла — обманет!» Нурхан изо всех сил крепилась, чтобы не накричать на бабушку или не разреветься; уходила из дому, будто бы в кино, и, спрятавшись в огороде так, чтобы видно было калитку, сидела там, сжавшись в комок, дотемна...

В сумерках Нурхан сразу увидела и сразу узнала Кемата, хотя тот был еще далеко. Она промчалась через двор, выскочила на улицу, метнулась к парню.

— Долго же тебя не было! — выдохнула, остановившись около него. — Ох и долго...

— Долго? — удивился Кемат. — Да я вернулся на два дня раньше! — Обнял Нурхан, шепнул ей на ухо. — Давай отметим мой приезд. Я тут кое-что захватил, — и показал глазами на сверток в руке.

Нурхан, не понимая о чем он говорит и лишь вслушиваясь в голос, радостно кивнула.

Залитые белым светом луны, не таясь, пошли они се-

рединой улицы к реке. Кемат был возбужден, оживленно рассказывал о Краснодаре, о том, какой это большой, красивый и шумный город.

— А девушки там красивые? — набравшись смелости, спросила Нурхан.

— Девушки? — Кемат задумчиво поглядел на нее. — Не знаю. Я и не смотрел на них... Вот здесь сядем? — Он снял пиджак, разостлал его на траве. — Мне можно было еще в Краснодаре погулять, да я не захотел, без тебя очень скучал. — Развернул пакет, достал бутылку вина, конфеты. Посопев, сорвал зубами пробку, налил в складной стаканчик, протянул его Нурхан. — Давай, ты первая. За мой приезд, за нас.

— Я никогда не пила, — она испугалась, спрятала руки за спину. — Пей один.

— Да ты что? — поразился, Кемат, — Это же детское вино. Совсем слабенькое. Пей, ничего страшного не будет. — Он поднес стаканчик к ее губам, слегка надавил на затылок девушки ладонью. — Вот так, за мое здоровье.

Нурхан выпила с обреченным и встревоженным лицом — точно яд проглотила. Облизнула губы: вино оказалась сладким и душистым.

— И правда, ничего страшного, — она засмеялась. — Я думала, горько будет.

— Будет и горько, — Кемат тоже засмеялся. — Помнишь, как у русских на свадьбах кричат: «Горько! Горько!» — Он быстро поцеловал ее.

Нурхан не успела отклониться. Сделала вид, будто обиделась, слабо оттолкнула парня.

— Не надо.

— За тебя, Нурхан! — Он рывком налил в стаканчик, браво поднял его на уровень глаз. — За наше счастье! — И молодецкато выпил.

С бормотанием и всплесками уносились вдаль река, убаюкивающе шелестели ветки облепихи, долетали из аула тьякканье собак, гул машин, проносившихся по шоссе, вкрадчиво журчал голос Кемата, который опять о чем-то рассказывал. Нурхан не прислушивалась: у нее слегка кружилась голова, но мысли были чистые, ясные, восторженные, на душе было светло и так радостно, как никогда до этого.

— Ке-мат, — негромко, по слогам, сказала она, прислушиваясь к этому слову.—Ке-ма-а-ат, — повторила нараспев и положила голову ему на плечо.

Он смолк. Осторожно повернулся, бережно стиснул ее лицо в ладонях и, ласково поцеловав в губы, медленно опустил Нурхан на пиджак.

— Не надо, Кемат, — умоляюще шептала она, обхватив его за шею, пряча лицо от поцелуев, которые — в щеки, в глаза, в шею — обессиливали. Не надо, не надо...

— Мы всегда будем вместе, Нурхан, всегда, — голос Кемата осел, стал хриплым. — Никогда не расстанемся. Уедем отсюда далеко-далеко, чтоб нам не мешали. На север уедем, я уже все обдумал.

— А бабушка? — Пальцы Нурхан, запутавшиеся в его мягких волосах, замерли.

— И бабушку возьмем с собой, — торопливо заверил Кемат. — Пусть с нашими ребяташками нянчится.

Нурхан сдавленно, счастливо засмеялась, притянула к себе Кемата, поцеловала в горячие, пахнущие вином губы. Его рука скользнула под платье.

— Не надо, Кемат, не надо, — чуть слышно попросила Нурхан и закрыла глаза.

Белый круг луны сполз уже к краю неба, отчего длинная черная тень кустарника вытянулась через всю лужайку. От реки тянуло прохладой, на траве поблескивали капельки первой росы.

Нурхан, поджав к подбородку ноги и положив голову на колени, смотрела потухшим взглядом на Кемата. Тот, присев на корточки у кромки берега, умывался — с силой плескал пригоршнями в лицо, фыркал, постанывал. Выпрямился, потряс ладонями, разбрызгивая воду, отер о брюки руки. Глянул на часы.

— Ого, как поздно. Пора и по домам, а то бабушка ругать тебя будет. — Он подошел к Нурхан, нагнулся. — Дайка пиджак, платок достану, — голос его был сухой и деловитый, чужой голос.

Нурхан рывком вскинула ладони, прикрыла лицо, всхлипнула — в душе разрастались горечь и пустота, стало жалко себя, жалко такого недавнего, счастливого и

безоблачного прошлого, которое сразу отдалилось и отдалялось все больше, словно между этими вот минутами и днем нынешним, а особенно вечером, разверзлась бездонная, расширяющаяся пропасть.

— Ну что ты, что ты? — Кемат потоптался, притронулся неуверенно к её плечу. — Успокойся.

Она заплакала навзрыд — услышала в его голосе недовольство и даже раздражение.

— Что с тобой? — Кемат погладил Нурхан по голове, повернул ее лицо к себе. — О чем ты плачешь?

— Мне нехорошо, Кемат, — она жалобно смотрела на него. — Голова разламывается и тут вот, — очертила ослабленными пальцами круг близ груди, — тут очень плохо.

— Глупая ты... — Кемат постарался улыбнуться. Поднял ее за руки. — Все будет хорошо, перестань хныкать.

— Я не хнычу, мне, правда, плохо, — она вытерла кулаком слезы. — Ты стал каким-то другим, — вскинула на Кемата испуганные глаза. — Ты не бросишь меня?

— Ну что ты выдумала?! Нет конечно! — Он цапнулся, подхватил с земли пиджак, встряхнул его. — Пошли, а то и мне от бабушки попадет. — Набросил пиджак на плечи Нурхан, хотел обнять её, но, она вывернулась и пиджак сбросила.

Всю дорогу до дома они молчали. Нурхан задумчиво глядела под ноги, хмурилась, морщилась от мыслей; Кемат шел рядом, дымил сигаретой, покашливал. Около калитки он, прощаясь, задержал руку Нурхан, потянулся, чтобы поцеловать, но Нурхан вырвала ладонь и ушла, не оглянувшись.

Проскользнув в дом, она торопливо разделась, скомкала праздничное платье, белье, швырнула все это в угол, торопливо надела ночную рубашку и, ежась, как от холода, залезла под одеяло, впервые позабыв о фотокарточке Кемата.

— Охо-хо, бесстыжая, что ты с собой делаешь, — заворчала, подвинувшись, бабушка. — Опять, стало быть, появился этот рыжий. А я уж обрадовалась, думала — больше не придет, И зачем он только приехал? — запричитала она. — Зачем снова появился? Зачем? Ох, горе, горе... Быть беде.

— О чем ты, абай, не пойму. Какое горе, какая беда? — со страхом спросила Нурхан и попыталась разглядеть в полумраке лицо Меруа.

— Одна у нас беда, одно горе, — вздохнула старушка. — Слабый мы народ, голову теряем, когда приходит время любить... — Она пробормотала еще что-то, повернулась на другой бок, поворочалась, укладываясь поудобней, и затихла.

А Нурхан уснуть не могла. Не шелохнувшись, крепко зажмурившись, пролежала она всю ночь и видела Кемата — радостного, улыбающегося, когда шли к реке, равнодушного, скучного, когда возвращались. О себе, о том, что произошло с ней, Нурхан не думала, словно и забыла об этом. Как только в окне посветлело, она тихонечко поднялась с постели, пока бабушка не проснулась — не хотелось видеть ее встревоженные, вопрошающие глаза, — и ушла на работу.

Меруа встала, как только за внучкой захлопнулась дверь. Недовольно ворча, подобрала платье Нурхан, встряхнула, расправляя ее нижнюю рубашку, и ахнула, опустилась, потрясенная, на табуретку — увидела маленькое кровавое пятно. Долго сидела старая Меруа, постанывая и покачиваясь, потом устало нагнулась, подняла с пола связанный в узелок платок Нурхан. Развернула его, увидела фотокарточку Кемата. Не удивилась. Поднесла ее к самым глазам, взгляделась пристально.

— Что же ты натворил, голубчик, — простонала она. — Что же наделал с внучкой?.. Себя обманываешь, ее обманываешь, еще одного человека обманываешь. Душа у тебя, может, и добрая, но в обмане ты живешь. Неплохой человек, а людям зло приносишь... Улыбаешься? Радуетесь? — Она вдруг обозлилась, хотела разорвать снимок, но увидела на стене подушечку, оцетинившуюся швейными иглами. Выдернула самую тонкую, вонзила ее в фотографию. — Вот тебе, забудь о нас! — Проколола глаза на снимке. — А это, чтобы ты не видел нас... А это, чтобы внучка моя не слышала больше твоих колдовских слов! — Она несколько раз ткнула в изображение парня, да с такой яростью, что иголка сломалась. — Ага, не нравится! — Меруа засмеялась. — Пусть в сердце твоём умрет

даже воспоминание о моей Нурхан, — ткнула еще раз, но обломок иглы только царапнул снимок и выпал из рук старушки.

Она, нагнувшись, пыталась рассмотреть его на полу да так и замерла, уперевшись локтями в колени. Потом, забыв уже об иголке, тяжело выпрямилась, поднялась с табуретки. Глянула в окно, вспомнила виденное вчера ночью: к калитке приближается этот светлоголовый шофер, через двор мчится к нему счастливая внучка, подбежала к парню, они, улыбаясь, поговорили о чем-то и пошли, обнявшись, вниз по улице к реке.

Меруа, как во сне, набросила на плечи большую клетчатую шаль, вышла из дома. Постояла около калитки и, с трудом волоча ноги, тоже направилась к реке.

День был пасмурный, тоскливый. Налетал порывами ветер, гнал по низкому небу рваные черные тучи, брызгал в лицо холодными мелкими капельками дождя.

Меруа, закутавшись в шаль, остановилась на берегу, посмотрела на серую, бурливую воду, покрытую белыми барашками волн, огляделась бездумно и в отчаянии с силой сжала кулак. Почувствовала в руке какой-то комочек, разжала пальцы, увидела смятую фотокарточку. Удивившись, старушка поспешно бросила снимок через левое плечо и, не оглянувшись, чтобы не видеть, куда упадет изображение ненавистного парня, брезгливо вытерла ладонь об юбку.

Понурая, устало побрела она домой, не обращая внимания на разгулявшийся дождь, который хлестал в лицо, не замечая луж, вода которых заливалась в галоши. «Зачем я ходила сюда? — удивлялась Меруа. — Что хотела увидеть?.. А карточку зачем истыкала? Надо было порвать ее — и все. А может, и рвать не надо было: вдруг внучка рассердится?.. Но зачем же все таки я ее продырявила, какой шайтан под руку толкал? Не пойму, что на меня накатило».

Нурхан вернулась рано, в дом вошла бесшумно и незаметно. Меруа не ждала внучку в это время, поэтому когда, оглянувшись, увидела ее у порога, то даже вздрогнула от неожиданности. Нурхан вымокла до нитки, платье облепило ее тело, волосы мокрыми сосульками свесились на белое, и страшное, и жалкое одновременно, лицо.

— Ну, чего стоишь? — оправившись от испуга, прикрикнула, притворяясь грозной, Меруа. — Проходи, переодевайся... Что, догулялась, бессовестная? — заворчала, когда внучка медленно подошла к печи. — Говорила я, что этот рыжий доведет тебя до беды? Говорила. Вот и дождалась ты своего несчастья...

— Откуда ты знаешь, бабушка? — Нурхан со страхом посмотрела на нее. — Кто тебе сказал?

— Никто не сказал! — Старушка в сердцах загремела кастрюлями. — Гадала я сегодня и поняла, что большое горе ждет тебя. Не плачь! — приказала раздраженно, увидев, что внучка, опустив голову, еле сдерживает слезы. — Раньше надо было плакать; перед этим нахальным шофером надо было плакать, чтобы не приставал он к тебе, чтобы не трогал... Ну кто теперь тебя, порченную, возьмет, кто? — Она повернулась к внучке, взмахнула перед ее лицом руками. — И этому, который попользовался тобой, ты не нужна. Бросит он тебя, помани мое слово, бросит...

— Уже бросил, — тихо сказала Нурхан. Всхлипнула, отвернулась, зажала ладонью рот, чтобы не закричать.

— Что-о? Что ты сказала?.. О, Аллах, — Меруа взметнулась к потолку ладони, — зачем ты услышал меня так поздно?! Ты все испортил! Вчера надо было, позавчера надо было, чтобы тот наглец оставил мою внучку, а не сегодня... — Помолчала, решила деловито: — Ну ладно, прошлого не вернешь. Сделай теперь так, чтобы моя девочка забыла этого парня.

— Нет, никогда, ни за что, — Нурхан стремительно развернулась, расширившиеся синие глаза ее потемнели и глядели так гневно, что бабушка отшатнулась. — Я люблю его. И он меня любит! Слышишь — любит!

— Успокойся, внученька, успокойся, цыпленочек, — Меруа схватила ее за руку, — успокойся, золотце мое... Если он обманул тебя, обманет еще не раз. Все время будет обманывать. Что же это за жизнь с ним?

— Ну и без него мне тоже не жизнь, — тихо сказала Нурхан дрогнувшим голосом. — За что же меня так-то? — Она усмехнулась. — Вчера любил, а сегодня... Я как узнала, жить не захотелось, — и вдруг застонала, повалилась на колени, обхватила голову руками. — Ой, да за что же

это, как же понять такое! — выкрикнула пронзительно и заголосила: — Не хочу жить, бабушка, не хочу-у-у...

— Что ты, внученька, что ты, опомнись, — переполошилась Меруа. — Как это, жить не хочешь? — Попыталась поднять Нурхан, но не смогла и опустилась рядом с ней. — Нашла из-за кого от жизни отказываться! — Прижала внучку к себе, погладила по спине, слегка покачиваясь, словно убаюкивая. — Встретится еще тебе настоящий джигит, красивее этого дурака, умнее. Будет он любить тебя до могилы, и ты его любить будешь. А я буду радоваться, глядя на вас. Для того только и живу на свете, чтобы счастья твоего дождаться, с детишками твоими понянчиться...

— Он хотел на север меня увезти. И тебя, говорил, с собой, возьмем, чтобы, прямо твоими словами сказал, чтобы ты с детишками нянчилась, — всхлипывая, перебила Нурхан.

— Может, и поедем на север, — не прислушиваясь, размышляя о своем, сказала Меруа, лишь бы успокоить внучку.

— Как это поедем? — Нурхан недоверчиво посмотрела на нее. — У него же сегодня свадьба. Мне женщины на работе сказали.

— Женщины сказали! — Меруа рассмеялась, обрадованная, что внучка вроде успокоилась. — Нашла кого слушать! Ты что, наших баб не знаешь? Они, чего доброго, пошутили над тобой, а ты и поверила...

Нурхан робко улыбнулась, но глаза ее повеселели.

— Может быть... может быть, — она медленно поднялась, распрямилась. — На току всегда хихикали, когда Кемат приезжал, посмеивались надо мной. — Улыбка Нурхан становилась все уверенней. — И когда в Краснодаре Кемат был, говорили, что больше его не увижу. А он пришел ко, мне... Конечно, подшутили, конечно, — и бросилась к двери.

— Куда ты?! — Бабушка, семена, кинулась за ней. Из коридора увидела она сквозь распахнутую наружную дверь, как быстрой тенью метнулась Нурхан к калитке, выскочила за ограду и скрылась в струях дождя.

— Нурхан, деточка, вернись! — приложив к губам ладонь, закричала Меруа. Прислушалась: ни звука, только

монотонно шелестит дождь да журчит вода в желобке под окном. — О, Аллах мой, да что же это такое, да куда же она побежала? — Старушка торопливо вернулась в комнату, сдернула с гвоздя шаль, набросила ее на голову и, сгорбившись больше обычного, протрусила через двор.

— Ой беда, вот беда-то, — причитала Меруа, озираясь. — О, Аллах, что же делать? Где же искать бедную мою внученьку?

Оскальзываясь в грязи стертыми калошами, всхлипывая и не вытирая слез, которые дождь вымывал из морщин, сбегала Меруа в один конец улицы, потом — в другой и выдохлась: перед глазами поплыл кровавый туман, в ушах нарастал противный звон, сердце колотилось так исступленно, что старушка, глотая широко раскрытым ртом влажный, холодный воздух, испуганно схватилась за грудь. «Упаси Аллах, сейчас придет мой последний час, — мелькнуло в голове. — Нет, нет, не время... Где же Нурхан, куда она побежала? Может; к тем женщинам, которые про свадьбу сказали? А где они живут?.. Надо к Сидали, он поможет», — и на подгибающихся, непослушных от усталости ногах поплелась Меруа в другой конец аула к брату.

Только вышла она на центральную улицу, как в глаза ударил, ослепив, свет фар и исчез, — мимо с ревом проскочила машина, окатив грязью и чуть не сбив с ног.

— Чтоб ты перевернулся, чтоб ты разбился, Аллахом проклятый! — крикнула вслед грузовику старушка и погрозила кулаком скрывшимся за поворотом красным огонькам.

Кемат видел, как на обочине мелькнула сквозь сетку дождя какая-то бабка, но не обратил на нее внимания и уж тем более не мог подумать, что это старая Меруа. В черном свадебном костюме, в белой рубашке со сбившимся набок галстуком, мчался он к Нурхан. Ни в какой Краснодар Кемат не ездил, а, взяв отпуск за свой счет, готовился все последние дни к свадьбе. Жил у родственников, у дяди, как того требовал обычай, был занят по горло и лишь вчера сумел вырваться к Нурхан, чтобы похорошему попрощаться с ней и все объяснить. Да так, и не осмелился, обезоруженный ее радостью, ее счастьем, которое захлестнуло и его, как только увидел девушку.

Ту, которая стала его невестой, Кемат знал с детства и до знакомства с Нурхан был твердо настроен жениться на ней. Отец и мать одобрили выбор сына — будущая сноха вышла из уважаемого, достойного, ничем не запятнавшего себя рода, воспитывалась по законам горской чести: уважала старших, была почтительна, трудолюбива, скромна — даже в кино одна не ходила, а тем более без разрешения. Около года назад родители встретились, все обсудили, обговорили и начали готовиться к свадьбе, которую Кемат ждал с нетерпением — был уверен, что любит невесту, мечтал поскорее назвать ее женой. И вдруг встретил Нурхан... Все, кроме нее, потеряло смысл. Кемат готов был пойти на неслыханный скандал — отказаться от невесты и объявить родителям, что женится только на Нурхан, но знал, что об этом даже заикнуться нельзя: мать упадет в обморок, отец расвирепееет, может избить, проклясть, родственники переполошатся, начнут возмущенно ахать, охать, смотреть, точно на сумасшедшего: как? жениться на внучке этой, известной во всех ногайских аулах, колдуньи, жениться на девчонке, которую бросила мать, — хороша семейка! — жениться на той, которая, говорят, каждую ночь шляется с самыми отъявленными шалопаями? Нет, нет, Кемат, запричитала бы родня, не позорь нас, выбрось это из головы; добро бы еще, если б эта самая, как ее... Нурхан, была из крепкой, зажиточной семьи, а то — из самых низов; ну кто она и кто ты? — посмотри, какой огромный дом у твоего отца, какая мебель в комнатах, какие ковры, какой огород, сад, вспомни о машине, которую тебе подарят после свадьбы... И дом, и машина конечно же ерунда, дело наживное, поэтому слова родни можно было бы пропустить мимо ушей; и то, как будут поносить Нурхан можно было бы стерпеть, но отец никогда не позволит так оскорбить себя, давшего слово родителям невесты и, оказываясь, не сдержавшим его, посчитает, что лучше смерть, чем такое бесчестье в глазах аульчан и в своих собственных — и будет прав. Поэтому родители ничего не узнали о Нурхан, Кемат решил, что сыграет свадьбу, чтобы через какое-то время развестись и жениться на Нурхан в этом случае все неприятности достанутся ему

одному, а честь отца, честь фамилии останется незапятнанной. Обрадованный тем, что нашел выход, прикатил он вчера к Нурхан, хотел рассказать ей и о женитьбе, и о своем плане, а на берегу неожиданно для себя ляпнул про север и возликовал — отличная мысль, так и надо сделать! всю ночь провел он в восторженном возбуждении, обдумывая подробности побега с Нурхан, но к утру поостыл, призадумался: куда ехать, что это за север такой, как там жить? На душе становилось тоскливо, тревожно, а когда Кемат понял, что никуда из родных мест не уедет, то стало совсем тяжело — вспомнилось, что совершил подлость, опозорил Нурхан; воспоминание разрасталось, мучило, делалось нестерпимым. Друзки, заметив, что жених приуныл, а потом и помрачнел, организовали небольшое застолье, чтобы взбодрить Кемата перед тем как везти его к родителям. Кемат выпил одну за другой несколько рюмок водки, сделал вид, будто повеселел, хотя настроение стало совсем никудышное: все время стояло перед глазами печальное лицо Нурхан, которое казалось каким-то серым и безжизненным. И Кемат решил: надо сейчас же ехать к ней, покаяться, повиниться, вымолить прощение, поклясться чем угодно, что, пусть не сейчас, а чуть позже, — ты только подожди немножко, Нурхан! — возьмет ее в жены, если, конечно, она согласна, если он еще не противен ей. Пока приятели, балагурия, посмеиваясь, с удовольствием выпивали-закусывали, Кемат поднялся из-за стола, вышел с непринужденным видом из дому и, не разбирая дороги, по грязи, по лужам стремглав бросился к машинному двору... Он выжимал из своего «ЗИЛа» все, на что тот был способен, — времени; чтобы домчаться к Нурхан, переговорить и вернуться обратно, было в обрез: в доме отца уже собрались гости, уже заканчивались последние приготовления к встрече молодых, дружкам пора было уже везти жениха. Дождь хлестал по кабине, стекал по лобовому стеклу такими плотными струями, что стеклоочиститель не успевал сгонять воду — в глазах Кемата рябило, дорога виделась смутно, как в тумане. Когда машина подлетела к окраине аула Нурхан, выпивка начала сказываться — Кемат повеселел, безысходность и отчаяние отступили, тягостные думы

растаяли, и внезапно вспыхнула неожиданная, бесшабашная мысль забрать Нурхан, привезти ее в родительский дом и объявить своей женой. «Так и сделаю! — радостно решил Кемат. — Зачем откладывать? Гости собрались, всего наварено, нажарено, накуплено, не отменять же свадьбу!»

Справа мелькнула сгорбленная фигура какой-то старухи. Кемат заложил крутой вираж, подумал мельком: «Забрызгал, наверно, бабу...» — машина ворвалась в улицу, где живет Нурхан, и, расхлестывая лужи, запрыгала по рытвинам. Кемата мотало из стороны в сторону, но он, намертво вцепившись в руль, не замечал этого и скорости не снижал. И только около дома Нурхан он затормозил, да так резко, что машина пошла юзом, шофера кинуло вперед и ударило грудью о руль, лбом о стекло, но боли Кемат не почувствовал. Выскочил из кабины и, не отрывая глаз от освещенных окон, пробежал через двор. Рванул, распахнув, дверь в коридор, затем в комнату и радостно крикнул с порога:

— Нурхан, собирайся! Я за тобой приехал!

Никто не отозвался. Улыбка на лице Кемата угасла. Он осмотрелся: лужа около печки, рядом мокрая косынка, около стола валяется табуретка, уныло и бесприютно светит под потолком лампочка — тихо и тоскливо в доме. Кемат попятился, прикрыл дверь и вышел на крыльцо. Медленно побрел через двор к машине, но на полпути передумал вернулся в коридор и, прислонившись к косяку, замер, вглядываясь и вслушиваясь в дождь — решил дожждаться Нурхан...

Меруа отерла шалью лицо, которое заляпала грязью машина, и, проклиная беспутного шофера, заспешила из последних сил к брату.

Сидали был на кухне, беседовал о чем-то с Касаем, товарищем по работе — Меруа знала этого несчастного, он недавно оформил развод с женой, которая в прошлом году сбежала от него, вместе с ребенком, в соседний аул. Не ответив на приветствия мужчины, старушка обессиленно опустилась на стул и, задыхаясь, заглывая слова, принялась рассказывать, что внучка исчезла, что побежала, наверно, к женщинам, с которыми работает, что... Сидали не дослушал, торопливо надел резиновые сапо-

ги, набросил на плечи брезентовую плащ-палатку, глянул вопросительно на приятеля. Тот засуетился: «Да, да, конечно, я тоже с тобой...»

Кемат сделал последнюю глубокую затяжку, швырнул окурок во двор. Красный огонек, кувыркнувшись в воздухе, тут же исчез, убитый дождем. «Что же делать? Где искать Нурхан?.. И старуха куда-то запропастилась!» Вдали распорола тьму ветвистая молния, отчего струи дождя стали похожи на стеклянные нити; докатились догоняющие друг друга раскаты грома — словно захохотал кто-то огромный и самоуверенный. Кемат вздрогнул и представил вдруг, как сидят сейчас во дворе отца около двухсот гостей и родственников, недоумевают — где жених? — беспокоятся, тревожатся, и ему стало не по себе. «Надо возвращаться, сколько можно ждать?!» — Он, оглядываясь, останавливаясь, пошел неуверенно к машине, а когда влез в теплую кабину, включил скорость, то подумал о Нурхан с неожиданным раздражением. «Сама виновата, шляется где-то... — Выглянул еще раз, осмотрелся и, успокаивая сам себя, решил: — Значит, не судьба».

В свете очередной, теперь уже совсем близкой, молнии машина рванулась от дома, опять запрыгала по ухабам и рытвинам разбитой дороги. Когда «ЗИЛ» вылетел на асфальт центральной улицы, мотор даже взвыл от напряжения — стрелка спидометра скакнула за цифру «сто». Кемат, стиснув зубы, наращивал скорость и даже не оглянулся, когда двое мужчин в плащах, поднявшие руки, чтобы остановился и подвез их, шарахнулись с дороги в кювет.

Мысленно обращаясь к Нурхан, он принялся с язвительной насмешливостью выговаривать ей за то, что отдалась ему. Кемат хотел оправдаться перед собой и почти добился этого, почти успокоился, как вдруг ему стало невыносимо страшно — показалось, что рядом кто-то сидит. Похолодев, Кемат глядел сквозь залитое водой стекло на еле различимую в пелене дождя дорогу и не решался повернуть голову. Наконец осмелился, скосил глаза вправо и облегченно выдохнул — в кабине конечно же никого не было. Он облизнул пересохшие губы и постарался сосредоточиться: грузовик заносило на мокром асфальте — того и гляди перевернешься. Кемат нахмурил-

ся, хотел сбросить скорость, потянулся к рукоятке и оцепенел — на подножке слева кто-то стоял; краем глаза видно было что-то белое, не то покрывало, не то рубашка. Руки враз обмякли, испуг ударил мелкими иголками в кончики пальцев, по спине скользнули мурашки. Выругавшись шепотом, он резко повернул голову влево — никого! Кемат расслабленно откинулся на сиденье, вытер тыльной стороной ладони пот со лба, шевельнулся, устраиваясь поудобней, и отчетливо увидел перед самым стеклом чье-то лицо; оно заглянуло на мгновение в кабину и скрылось. И сразу же по глазам ударил яркий свет — в этой вспышке успел Кемат заметить, что посреди дороги, совсем рядом, метрах в пяти, стоит, раскинув руки, Нурхан, а рядом сторбилась, склонила голову набок, улыбается хитро ее бабушка. Кемат вскрикнул и круто вывернул руль...

Нурхан вскрикнула и обессиленно упала на колени перед порогом дома, к которому, уже теряя сознание, карабкалась по глинистому склону. Дом этот она увидела, когда мокрая, продрогшая до костей, стояла на берегу, испуганно прислушиваясь к шуму дождя, к бормотанию реки — бабушка говорила, что в такую пору выходит из воды албаслы¹, — озиралась, загнанно дыша и пошатываясь от усталости. Где-то здесь река делала большую петлю, и если бежать берегом, как бежала Нурхан до этого, бежала, падая, порвав о кустарник платье, потеряв босоножки, то в селение Кемата и к утру не доберешься. Закусив до крови губу, чтобы не расплакаться от отчаяния, склонившись к самой земле, Нурхан пыталась отыскать тропинку в Нижний Аул: упаси Аллах, если проскочила ее на бегу, тогда придется возвращаться, а это — потеря времени... Прямо над головой расколосось с оглушающим хрустом небо, ослепительные ветвистые трещины, похожие на олени рога, метнулись сквозь дождь к земле, прокатились, сшибаясь, раскаты грома, словно захотел кто-то большой и сильный — так смеется сазаган², рассказывала бабушка, когда он охотится на одино-

¹ Албаслы — мифическая женщина, ведьма, живущая в река.

² Сазаган — мифический небожитель, повелитель грома и молний.

ких путников. У Нурхан подкосились ноги, но, падая, она успела увидеть на косогоре белый дом. Как всегда бывает после молнии, сразу же обрушился плотный, почти осязаемый, мрак, но и в этой тьме далекий дом угадывался бледным пятнышком, которое звало, манило. Нурхан долго лежала в грязи, вглядываясь в это еле видимое за дождем смутное мерцание. Сазаган опять пустил свои огненные стрелы, но теперь немного в стороне, почти над аулом; опять захохотал, только в этот раз добродушно.

Нурхан поднялась и побрела к дому, который все еще был виден и, казалось, светился. Путь к нему оказался не легким — в гору, по скользкой глине крутого склона. Нурхан падала, сползала вниз, но снова поднималась и снова падала, однако одолела все-таки этот длинный откос, этот долгий, затяжной подъем. Перед самым порогом дома выпрямилась, нащупала дверь, открыла ее и смело шагнула в черный проем. Не удивилась; оказавшись на залитой ярким солнцем лужайке, где стояла нарядная, сверкающая лаком тачанка, в которой поджидал веселый, улыбающийся Кемат. Он протянул руку, Нурхан, опершись на нее, легко вскочила в тачанку. Белые кони, гордо выгнув шеи, стремительно рванулись с места. Разметались в скачке белые гривы, встречный ветер чуть не сорвал невесомую и прозрачную, похожую на дым, фату Нурхан. Она засмеялась и, удерживая ее, оглянулась. Сзади, слегка приотстав, летели такие же белые кони, запряженные в такие же, как у нее, тачанки, а в них — веселые, нарядные женщины и девушки с флагами, с козыборками¹ в руках, одетые в синие, как на Кемате, черкески парни и мужчины с ружьями. Еле слышная переливчатая музыка, которая звучала со всех сторон, стала нарастать, крепнуть, и свита, точно подстегнутая ею, начала приближаться. Кемат тоже оглянулся, шевельнул едва заметно вожжами; кони, вытянувшись в беге, понеслись быстрее ветра, почти не касаясь земли копытами. Люди сзади что-то кричали, палили из ружей, но ни криков, ни

¹ Козы-борки — корзины с фруктами, сладостями, водруженные на шести.

выстрелов не было слышно — все заглушала восторженная, огнеметная музыка. Кемат повернул к Нурхан радостное лицо, обнял, медленно нагнулся и поцеловал; она прижалась к нему, твердо зная, что впереди у них долгая-долгая совместная жизнь. «Какие есть все-таки злые языки; зачем надо было врать, что Кемат женится на другой?» — мелькнула на мгновенье мысль и исчезла, вытесненная переполняющим Нурхан ощущением счастья, полета, праздника... «Смотри, наш дом!» — Кемат указал рукой на аул впереди. Тот быстро приближался: мелькнули стоящие на взгорке нарядно одетые люди, среди которых Нурхан с удовольствием заметила и женщин, сказавших, что Кемат женится на другой, люди эти смеялись, размахивали руками, приветствуя свадебный поезд. Кони влетели на главную улицу аула, и Нурхан удивилась — никогда она не видела таких красивых домов: украшенные цветами веранды во всю длину стен, белых, искрящихся, точно сахар, разноцветные крыши, окрашенные яркой голубой краской ставни, наличники, ворота... Тачанка лихо вкатилась во двор Кемата, кони замерли как вкопанные, — мотали головами, всфыркивали, посматривая дружелюбно на Нурхан, били копытами. И — музыка, музыка. Восторженная, со странными, неожиданными аккордами и неуловимыми переходами, с затейливой, прихотливой мелодией, она ликовала, обещала что-то светлое, чистое и невыразимо прекрасное... Кемат выпрыгнул из тачанки, протянул к Нурхан руки, бережно принял ее и понес в центр двора, на котором те, кто ждали дома жениха с невестой, и те, кто сопровождали их, уже образовали три — один в другом — круга. Кемат осторожно опустил Нурхан; она, раскинув руки, плавно заскользила вокруг него, своего мужа, который, тоже раскинув руки, охотно и умело поддержал танец жены. Гости восхищенно вскричали, мужчины опять принялись палить из ружей, женщины взмахивать флагами, покачивать козы-борками; сотни ладоней дружно и слаженно начали отбивать такт, поддерживая музыку, которая неистовствовала, безумствовала, затопляя двор и всю округу. «Что это? Что это за танец?» — изумленно спросила Нурхан. «Неужто не узнаешь? — Кемат засмеялся. — Это же сандрак-тартув!»

И сразу же замысловатое кружево мелодии прорвал резкий и судорожный, похожий на вопль совы, вскрик, который закончился отрывистым и громким хохотом — мелодия вильнула, сменила окраску, ритм, предлагая новый рисунок танца; подчиняясь этому приказу музыки, Кемат заизвивался, точно в шейке, и все мужчины тоже заизвивались, подражая жениху. Нурхан звонко рассмеялась, но музыка опять незаметно и неуловимо изменилась, заставив и мужчин изменить движения — все опять танцевали национальное, ногайское, похожее на «узын», танцевали легко, красиво, безукоризненно. И снова музыка предложила нечто похожее на шейк, и танцующие выполнили это требование; а потом — опять национальное, и это было выполнено с удовольствием.

Неведомая и невидимая гармонистка словно околдовала всех своим искусством — так легко повелевала она людьми, которые, судя по всему, были только рады оказаться в таком плену, подчинялись ее воле беспрекословно, охотно и целиком.

Нурхан, продолжая описывать вокруг Кемата круги и петли, пыталась отыскать взглядом музыкантшу, чья игра то обволакивала сердце нежностью, заставляя его грустить, то наполняла гордостью, восторгом, верой в огромное счастье. Гости поняли, видимо, желание невесты, медленно расступились, и Нурхан увидела самозабвенно, с закрытыми глазами играющую женщину в длинном, бархатном платье вишневого цвета; на голове был повязан желтый платок-казвалы, в руках богато и затейливо украшенная перламутром гармоника. Нурхан всмотрелась в бледное, почти безжизненно-белое лицо — оно показалось знакомым, но Нурхан не могла вспомнить, где видела его. Гармонистка вдруг быстро открыла глаза, которые оказались пронзительно-синими, насмешливо-пристальными, откинула назад голову, захохотала, и, вторя ей, где-то рядом закричала торжествующе сова...

Нашли Нурхан под утро, да и то случайно — когда мертвого Кемата увезли и начали вытягивать из кювета разбитую машину, понадобилось что-нибудь подложить под

колеса, которые пробуксовывали. Кто-то побежал в заброшенную водокачку, что одиноко торчала над обрывистым берегом, — может, удастся отодрать доски пола — и когда вошел вовнутрь, чуть не упал, споткнувшись о скрючившуюся, зачоченевшую девушку. Сидали и Касай, уже давшие милиционерам показания о том, как мимо них промчался вот этот самый «ЗИЛ», и теперь помогавшие вытащить грузовик из грязи, отвезли Нурхан домой.

Несколько дней Нурхан не приходила в себя: стонала, смеялась, пыталась петь, что-то рассказывала, но понять ее было невозможно — левую щеку стянула судорога, рот перекосило, поэтому вместо слов получалось гундосое, шепелявое бормотание. Бабушка, как увидела лицо внучки, ахнула: «Только этого не хватало!.. Как ее джинны-то отметили!» Меруа в эту страшную и ненастную ночь надорвала сердце: в ушах что-то тоненько пищало, звенело, шумело, перед глазами все покачивалось, плыло, ноги и руки стали тяжелыми, непослушными, но, увидев Нурхан, старушка забыла о своих хворях, хлопотала круглыми сутками около внучки: вливала ей в рот отвары, настойки, растирала спину, шею, затылок самодельными душистыми мазями, бормотала заклинания, играла на гармонике исцеляющие мелодии. И Нурхан полегало: она перестала метаться, дышать начала ровнее, судорога отпустила щеку; вскоре девушка открыла глаза. Поглядела с недоумением на бабушку, на Сидали.

— А где Кемат? — она радостно улыбнулась. — Вышел? Меруа переглянулась с братом, вздохнула.

— Пусть земля ему будет пухом, — она молитвенно провела сомкнутыми ладонями перед лицом. — Разбился твой Кемат, в дерево врезался. Пьяный, говорят, был...

— При чем тут пьяный, — хмуро перебил Сидали. — Мчался как сумасшедший, вот и все. Я сам видел. — Покрутил осуждающе головой. — Разве можно так гонять в дождь!

— Вы обманываете, что он умер, — засмеялась Нурхан, посматривая то на дядю, то на бабушку. — Вы просто не хотите, чтобы я за него замуж выходила. Опоздали! — Она смущенно потупилась. — У нас с Кематом уже состоялась свадьба, без вас, правда. Большая, богатая...

— Свадьба? — У бабушки стали круглыми глаза, она встревоженно покосилась на брата; тот кивнул понимающе. — Какая свадьба?

— Такая, о каких ты рассказывала, какие были в давние времена, — Нурхан мечтательно прищурилась. — Белые кони, тачанки, Кемат и мужчины в синих черкесках, женщины в старинных нарядах... Только я была в современном: в белом атласном платье, в фате...

— Ой, внученька, забудь об этом, — всполошилась Меруа. — Забудь и не вспоминай! Это тебя джинны морочили, Не было с тобой Кемата, не было у тебя никакой свадьбы, поняла? Не было! — Она всхлипнула, зажала ладошкой рот, уставилась со страхом на внучку.

— Как не было? — Нурхан возмущенно дернула плечом. — Там еще музыка такая играла... — сморщилась, попыталась напеть. — Нет, не могу передать. В ушах стоит а вот... Веселая такая, ноги сами под нее танцуют.

— Сандрак-тартув! — Бабушка обомлела, торопливо погладила внучку по руке. — И музыку эту забудь, а то — беда! Горе она тебе принесет. Забудь, прошу тебя...

— Это, Нурхан, все тебе приснилось, — кашлянув в кулак, вмешался Сидали. — Не было ни свадьбы, правильно бабушка говорит, ни музыки... Вернее, была, но во сне, в бреду. Ты ведь болела сильно, чего уж скрывать, — он опять кашлянул, поднялся со стула. — Выкинь все из головы. Приснилось тебе что-то, а ты и поверила. Приснилось, понимаешь?

— Да, поняла. Приснилось, — повторила Нурхан, и взгляд ее затуманился. — Ах, какая была свадьба, как танцевал Кемат... Сандрак-тартув, — закрыв глаза, шепнула она еле слышно.

Выздоровливая Нурхан медленно — ей не хотелось жить, когда убедилась, что Кемат не придет, хотя в смерть его так и не поверила. Ела она мало и неохотно, и то лишь, чтобы не огорчать бабушку. Старая Меруа сильно сдала: дышала мелко и часто, в груди набухла обжигающая боль, голова кружилась. Здоровье уходило, но старушка крепилась, старалась держаться, как можно бодрей, боясь, что Нурхан заметит, насколько ей худо, и жила лишь ожиданием дня, когда поставит свою девочку

на ноги. Чтобы хоть немного развеять сумрачные думы внучки, отогнать ее печаль, бабушка каждую свободную минуту играла на гармонике. Музыка выбирала самую жизнерадостную, самую развеселую, но Нурхан в лучшем случае вежливо улыбалась — в памяти ее все еще ликовал, бесновался сандрак-тартув, исполняемый на свадьбе с Кематом, и до которого бабушкиным мелодиям было далеко. Но однажды Нурхан словно очнулась: зрачки расширились, лицо покрылось розовыми пятнами — бабушка, прикрыв глаза, задумавшись, сыграла, сама того не заметив, старинную песню, жалобу бий Темиру, и даже исполнила ее слабым, надтреснутым голосом. Из-под почерневших век старушки скользнули по иссохшим щекам слезы и затерялись в морщинах. Нурхан пронзительно закричала, уткнулась лицом в подушку — только сейчас поверила она, что Кемата нет в живых, — и потеряла сознание. Но с этого дня она быстро пошла на поправку, а вскоре настолько окрепла, что могла уже ходить. Бабушка облегченно и радостно вздохнула — неизвестно откуда бравшиеся силы оставили ее. Старая Меруа слегла.

— Лекарей не зови, не надо беспокоить занятых людей, — свистящим шепотом попросила она внучку. — Я знаю: подходит мой последний час...

Но Нурхан и слушать не стала. Сбегала в медпункт, привела фельдшера Раису Ивановну. Та осмотрела бабушку, бодро заверила, что ничего страшного нет — легкое осложнение после перенесенной на ногах простуды, ну и, конечно, нервное потрясение, общее истощение организма, возрастные недуги; посоветовала положить бабушку в больницу. Меруа решительно и не задумываясь отказалась. Хочу, заявила твердо, умереть дома. «Что вы, что вы, о смерти думать еще рано, — скороговоркой заверила Раиса Ивановна. — Хорошо, на больнице не настаиваю: переезд, новая обстановка... Я вам выпишу лекарства, принимайте их, ну и, понятно, полный покой...» А во дворе она сказала Нурхан, что положение больной, судя по всему, безнадежное, поэтому надо приготовить к худшему.

— Не убивайся так, цыпленочек, — прошептала Меруа, когда заплаканная внучка, проводив фельдшера, при-

села на край кровати. — Что поделать, все имеет конец — это неизбежно... Особых поминок не устраивай, зарежь курицу, брата позови — и ладно. Что душа моя куда-то там, в рай или в ад, отлетит, не верю. Ты будешь помнить меня, вот и душа моя с тобой будет. А дети у тебя пойдут, расскажешь им обо мне, песни мои споешь; глядишь, и детишки твои меня вспомнят, значит, и с ними душа моя будет. В это — верю.

Новое горе, обрушившееся на Нурхан, заслонило старое, заставило забыть на время о Кемате. Внучка ухаживала за бабушкой с таким же рвением, с каким та совсем недавно ухаживала за ней: кормила и поила с ложечки, мыла, пыталась развлечь аульскими новостями, играла на гармонике любимые бабушкины мелодии, но Меруа становилось все хуже и хуже — морщинистое лицо ее пожелтело, осунулось, глаза ввалились, подбородок и нос заострились, тело стало маленьким и легким. Бабушка угасала. Иногда ей, правда, становилось вроде бы лучше, старушка улыбалась, смотрела веселей.

В один из таких дней, когда она выглядела почти бодрой, даже разругивалась, Нурхан, попросив Таужан, жену Сидали, посидеть с бабушкой, поехала в город: кончились лекарства.

В автобусе рядом с ней сел, вежливо попросив разрешения, худощавый, остроносый мужчина. Нурхан мельком глянула на него, узнала Касая, которого часто видела вместе с дядей Сидали, молча подвинулась и отвернулась к окну.

— Ты не помнишь меня? — кашлянув, робко спросил сосед, когда от аула отъехали уже довольно далеко.

— Вы кладовщик, работаете вместе с моим дядей на базе, — смутившись, что разговаривает с таким пожилым мужчиной, тихо ответила Нурхан.

— Нет, я не об этом, — еле слышно засмеялся, словно замурлыкал, Касай. — Это я вместе с Сидали привез тебя от водокачки.

Нурхан нахмурилась, опустила голову.

— Да, да, понимаю. Откуда тебе помнить, ты была без сознания, — сосед снял большую драповую кепку, вытер ладонью залысины, лоб. — А я вот не забыл... — Он опять

надел кепку и тоже опустил голову, пряча мечтательную улыбку.

В ту ночь он был поражен красотой Нурхан. Конечно, Касай и раньше встречал ее на улице, но внимания не обращал — мало ли девчонок, легкомысленных бездельниц, шляется по аулу: ему ли, тридцатипятилетнему, солидному человеку, отцу, знающему цену женщинам, обращать внимание на этих малолеток? Но когда Касай увидел Нурхан в заброшенной водочаке, изогнувшуюся, точно в танце, застывшую с раскинутыми, как в полете, руками, в разодранном, сбившемся к бедрам, платье; увидел ее стройные ноги, черные, беспорядочно спутанные волосы, залепившие улыбающееся, искаженное какой-то сладкой истомой лицо, его будто током ударило. Он суетливо помог Сидали вынести племянницу, уложить ее в бричку, даже укутал девушку в свой плащ, и всю дорогу до дома старухи Мерау не мог оторвать взгляда от прекрасного, несмотря на мертвенную бледность, несмотря на искривленный судорогой рот, лица. Помог Касай внести Нурхан и в дом, да и остался там, скромненько притулившись у двери и затихнув, когда перепуганная бабушка, сорвав с внучки тряпье, принялась вместе с Таужан, женой Сидали, мыть горячей водой, растирать тело девушки. Потрясённые несчастьем родственники забыли о Касае, постороннем, чужом мужчине, а тот зачарованно смотрел на обнаженную Нурхан, и лишь когда ее укутали в одеяло незаметно вышел...

— Выздоровела уже, значит? — снова кашлянув и не решаясь взглянуть на девушку, спросил Касай. — В город, гляжу, поехала.

— Да. За лекарством. Бабушка очень болеет, — слабо улыбнулась, словно извиняясь, Нурхан, все еще робея перед таким взрослым собеседником.

— Знаю, знаю о вашей беде. Сидали рассказывал. — Касай вздохнул. — Будем надеяться, что уважаемая Мерау выздоровеет... — Помолчал, добавил: — Мы с твоим дядей большие друзья, он мне все рассказывает.

Нурхан промолчала. И Касай умолк, не зная, о чем говорить с девушкой, которая намного младше его. После мучительного раздумья сказал, опять сняв кепку и вы-

терев лоб, что погода стоит хорошая, только жарко немного; потом заметил, что до города, пожалуй, за полчаса доедут. Нурхан, поддакивая, со всем согласилась. Касай приуныл — нет, не получается, не завязывается беседа.

В городе он проводил Нурхан до аптеки, дождал девушку на улице, а когда та вышла, попросил сходить с ним в хозяйственный магазин — надо, сказал, взять стирального порошка, за тем и приехал, а то в ауле какой-то импортный, дорогой. Нурхан, хоть и торопилась к бабушке, сказать об этом не решилась, побоялась обидеть аульчанина. В магазине Касай порошок выбирал тщательно: осматривал почти каждую коробку, внимательно читал надписи, но так и не купил ни одной пачки, а попросил завернуть пять кусков хозяйственного мыла.

Все время, пока ехали в аул, пока шли до дома Нурхан, Касай чуть слышно вздыхал, покашливал, взглядывал исподтишка на спутницу, но с разговорами не приставал, и Нурхан была благодарна ему за это — думала, что друг Сидали так же, как и она, опечален из-за бабушки, беспокоится о ее здоровье. Около калитки Касай пожал Нурхан руку и так пристально посмотрел в глаза, что она смутилась. Раздумывая об этом странном, неожиданном и непонятном взгляде случайного попутчика, девушка вошла в дом и сразу же позабыла и о Касае, и обо всем на свете бабушке было совсем плохо.

— Думала уж не дождусь тебя, моя ласточка, — Меруа попыталась улыбнуться, — сегодня я отправляюсь в другой мир... — Она повернулась к Таужан, которая, вытирая глаза передником, стояла в ногах. — Позови мужа, брата моего... А ты, цыпленочек, подай зеркало, — попросила внучку.

Нурхан недоуменно посмотрела на нее, но зеркало со стены сняла, подала бабушке; помогла удержать его перед лицом. Меруа долго разглядывала свое отражение, потом прикрыла ладонью лицо.

— Ну вот и попрощалась, — беспечально прошептала она. — Убери. — Подняла уже затуманенные глаза на внучку, которая глотала слезы и еле сдерживалась, чтобы не зарыдать. — Поплачь, поплачь, родненькая, легче станет. Рано или поздно это должно было случиться... Саван, по-

крывало в сундуке, там же и нитки с иглой. Не бойся за меня, это не страшно, — Меруа слабо сжала пальцы Нурхан. — И не горюй очень, когда умру. Тебе жить надо, а не об умерших думать... И про того, про Кемата, забудь. Не тревожь себя, не мучай. Тебе еще встретится хороший парень, встретится твоя судьба. Ты ведь у меня красавица... — Она тяжело, сипло задышала и закрыла глаза.

— Бабушка, хорошая моя, бабушка, дорогая, не умирай... — закричала Нурхан, схватила ее сухонькую, невесомую руку, прижала к щеке.

— Я еще не, ушла, еще не время, — Меруа с усилием приоткрыла глаза. — Успокойся, девочка моя. Успокойся и послушай, что скажу... — взгляд ее стал почти ясным. — Я много пожила, многое видела, многое знаю. — Рука ее отвердела в ладони внучки. — Тебе будет трудно, потому что ты красивая, — неожиданно горячо и быстро зашептала бабушка. — В каждом роду должна хоть один раз расцвести красота. Ты — красота нашего рода. Но Аллах многого требует от красоты. Люди станут осуждать тебя, хотя в душе станут радоваться, глядя на твою красоту. Но знай — ты ни в чем не виновата, красота не бывает виновата. Не вини себя, прошу, и не торопись туда, куда ухожу я. Живи, как живется, и радуйся, что живешь — вот самое главное... — Бабушка задохнулась, захрипела, но собралась с силами, добавила: — И выходи... поскорей... замуж, Нельзя быть... одной. Нельзя!

— О, я вижу, дело идет на поправку, раз о замужестве заговорили, — пророкотал деланно бодрый бас за спиной Нурхан.

Она оглянулась, посмотрела умоляюще на дядю. Тот склонился над Меруа.

— За кого это ты сватаешь нашу Нурхан, сестра? — Сидали положил широкую ладонь на лоб, прикрыв ее голову почти до затылка. — Температура нормальная, все в порядке. По-моему, Таужан зря подняла тревогу...

— Слава Аллаху, и ты не опоздал. — Меруа облегченно вздохнула. — Береги нашу девочку, — сказала серьезно. — Ты у нее один остался...

Умерла старая Меруа на рассвете, когда внучка задремала, положив голову на стол. Умерла тихо и незаметно.

Сидали не стал будить Нурхан, но та, услышав его сдерживаемый, похожий на клекот, плач, вскинула голову и увидела, что дядя уже сложил бабушке руки на животе.

— Бабушка! — Нурхан кинулась к ней, но Сидали удержал племянницу, обнял, прижал к груди. — Не надо, не беспокой ее. Не вернешь... Ах, Меруа, Меруа, — голос его дрожал, и рука, торопливо поглаживающая Нурхан по голове, по плечам, тоже дрожала.

Нурхан, окаменев от горя, всматривалась в ставшее чужим, отстраненным и строгим лицо бабушки, качнулась — закружилось перед глазами. Когда пришла в себя, Сидали попросил ее позвать соседей.

Попрощаться с умершей пришел почти весь аул. Люди толпились на дворе, входили, опечаленные, в дом, обнимали Нурхан и Сидали, утешали, вспоминали, как помогала Меруа всем, лечила, делилась последним, какая была добрая, веселая, никому ни разу ничего плохого не сделала и не пожелала; даже родственники Мусы Ходжаева, которые; когда-то объявили усопшую врагом своей семьи, говорили о ней только хорошее, просили у мертвой прощения. Женщины рыдали, закрыв лица; мужчины тоже не могли сдержать слез. Больше всех убивался Касай; громко, не стесняясь, плакал и ни на шаг не отходил от Сидали.

Бабушку похоронили в тот же день.

Семь дней женщины-соседки, выполняя свой долг, заботились о внучке покойной, не оставляя ее одну, — готовили еду из поминального барана, которого принес Сидали, встречали, угощали, провожали аульчан, приходивших поддержать, ободрить Нурхан. Семь дней Сидали и Таужан, как самые близкие родственники Меруа, провели в доме умершей, и все семь дней вместе с ними был Касай. Он сидел обычно в сторонке, положив на колени руки, и, помаргивая черными, как мокрый уголь, глазами, внимательно выслушивал соболезнования тех, кто приходил разделить горе с Нурхан, поддакивал, но говорил мало. Только когда речь заходила о том, что внучка Меруа теперь окончательно осиротела, что жить ей теперь будет нелегко, вздохнув, замечал по-старчески: Аллах милостив, да и мир не без добрых людей... И пос-

ле семидневного траура Касай ежедневно сопровождал Сидали в дом его племянницы, где, молчаливый, сочувствующий, оставался до поздней ночи. Сидали удивлялся — раньше он не замечал в своем приятеле такой отзывчивости, не знал, что у него такое сострадательное сердце. Но еще больше удивился, прямо-таки поразился Сидали, когда накануне сороковин Касай, пошатываясь, заявился с двухгодовалым бараном на плечах. До этого он никогда особой щедростью не отличался, а скорее наоборот... Но спрашивать у него, почему так делает, а тем более отказываться от подарка в день поминовения Сидали посчитал неудобным и невежливым. Касай принялся рассказывать, как долго и тщательно выбирал он это животное, озабоченно морщил лоб, допытывался у Нурхан, не считает ли она барана тощим, и успокоился, повеселел только тогда, когда девушка, вяло улыбнувшись, поблагодарила за заботу, за память о бабушке.

И после сороковин Касай продолжал бывать доме Нурхан. Иногда даже заживал туда один, без Сидали. Тот разозлился, застав его как-то у племянницы, но сдержался. Лишь на улице, когда остались с глазу на глаз, сказал:

— Слушай, дос, некрасиво поступаешь. Ты ведь не родственник, чтобы ходить к одинокой девушке, когда захочется. Подумал, что люди скажут, о добром имени Нурхан подумал?

— Я с хорошими намерениями, честное слово, — начал оправдываться Касай. Покашлял смущенно, сказал тихо, не глядя в глаза. — Она, понимаешь, одна, и я, понимаешь, один. Старикам моим трудно стало, ну вот и подумал я...

— Так, жениться, значит, надумал? — Сидали почесал щеку, поразмышлял, задумчиво глядя на понуро опустившего голову Касая. — Давно подозревал я, что неспроста ты... Ладно, дело житейское. — Помолчал. — И все-таки нехорошо. Подожди хотя бы год.

— Я подожду, подожду. Конечно подожду. — Касай оживился, — Разве я не понимаю!

— Вот и договорились. А я за это время подготовлю Нурхан, поговорю с ней, — Сидали искоса глянул на него, улыбнулся. — Мужик ты неплохой, работающий, скром-

ный. А девочке все равно рано или поздно жизнь свою устраивать надо. — И предупредил строго. — Только ты к ней больше без меня не ходи!

— Хорошо, хорошо, обещаю, — закивал обрадованный Касай.

Слово свое он сдержал — обходил дом Нурхан стороной, а когда заходил к девушке вместе с Сидали, то посидит молча в уголке, не отрывая глаз от молодой хозяйки, и уйдет. Если же встречал Нурхан на улице, а встречал он ее каждое утро, то улыбался уже издали.

— Салам, Нурхан, — голос его становился ласковым. — Как поживаешь?

— Салам. Хорошо... — Нурхан тоже старалась улыбнуться, чтобы не обидеть друга дяди, человека, который был такой заботливый и внимательный после смерти бабушки, но ей становилось не по себе от восторженно-го взгляда мужчины, и она торопилась поскорей уйти. За день до годовщины смерти Меруа Касай пригласил к себе домой Сидали, посадил за богатый стол, предложил порусски помянуть усопшую, а когда выпили, поинтересовался, смущенно покашливая и косясь в угол, поговорили ли дорогой друг с племянницей и согласна ли она стать его женой. Сидали Касая закадычным другом никогда не считал, но и слов на ветер бросать не привык. Насупился, ответил резко, что нет, не говорил, рано было, но сегодня поговорит обязательно, сегодня можно — завтра траур кончается.

Вечером он пришел к Нурхан. Долго пил чай, посматривая задумчиво на девушку, которая тихонько, не шелохнувшись, сидела напротив.

— Давай поговорим, дочка, — сказал он наконец, хмуро разглядывая чашку. — Твою бабушку, сестру мою, не вернешь. Ей вечный покой и наша память, а тебе — жить надо. Живым — живое.

Нурхан низко опустила голову. Черный платок, нависший надо лбом, скрыл ее лицо.

— Я долго думал о тебе, — продолжал Сидали. — И вот что предлагаю: переходи к нам... — увидел, что Нурхан, возражая, быстро помотала головой, замолчал. Отхлебнул чай. — Что ж, ты девушка взрослая, — согласился он, —

можешь сама решать, как тебе поступать... Наверно, хочешь свою семью завести?

Нурхан еще решительней помотала головой.

— Нет, не хочу, — быстро, не задумываясь, сказала она глухим голосом. — Я одна буду жить. Всегда.

— Так не бывает, — Сидали откинулся к спинке стула. — Нельзя человеку одному, никак нельзя. Помнишь, и бабушка об этом говорила. А еще о чем она говорила, помнишь?

Нурхан подняла лицо, напряженно посмотрела ему в глаза, слегка сдвинула брови, припоминая.

— Забыла? — Сидали добродушно усмехнулся. — А еще она говорила, чтобы ты поскорее выходила замуж.

Нурхан вспыхнула, сверкнула глазами, гневно поджала губы, но Сидали сделал вид, будто не заметил возмущения племянницы.

— Есть у меня на примете один вроде бы неплохой человек, — задумчиво, словно размышляя вслух, сказал он. — Род наш уважает. Хорошее отношение и ко мне, и к тебе показал. Вон какого жирного барана на сороковины забил...

— Касай? — у Нурхан округлились глаза. Она судорожно сглотнула, улыбнулась жалко и недоверчиво. — Но он же старый... и женатый был.

— Старый? — удивился Сидали. — В тридцать шесть лет-то? — Он весело засмеялся. — Мне бы такую старость. Самый расцвет для мужчины, самая золотая пора. А что касается женитьбы, — развел руки. — Ну, не получилось с той женщиной семьи, развелся. С кем не бывает? Зато жизненный опыт приобрел, умней стал. Второй женой дорожить будет.

— Не нужно мне никого, — решительно заявила Нурхан. — Ни с опытом, ни без опыта.

— Смотри, дело, конечно, твое, — Сидали обиженно отодвинул чашку. — Но я советую: не торопись, подумай. Работник он хороший, должность приличную занимает. Зарабатывает неплохо, живет в достатке. Дом большой, хозяйство. И родители — уважаемые в ауле люди. Чем не жизнь? Все у тебя будет, знай только мужа да его родителей слушайся... А может, у тебя уже есть кто-то? —

поинтересовался, увидев, как окаменело лицо племянницы. — Тогда другой разговор...

— Нету у меня никого — громко и раздраженно перебила Нурхан. — И никто мне не нужен! Не хочу об этом и говорить.

— Ну, ну, не буду больше, — Сидали приподнялся, протянул через стол руку, похлопал племянницу по плечу. — Я ведь хочу как лучше, — опять сел, потер лоб. — Я ведь просто хочу исполнить свой долг, хочу сделать, как лучше. Мерау мне твою судьбу доверила, вот я и стараюсь помочь тебе... Ну все, все. Нет так нет!..

Утром в день годовщины смерти бабушки Касай пришел во двор Нурхан затемно и опять с бараном. Быстро и умело разделал тушу, развел в летней печке огонь, поставил на него казан с мясом — все делал уверенно, похозяйски, как свой человек в доме. Нурхан исподлобья наблюдала за этим молчаливым, щуплым, совсем чужим ей мужчиной со смешанным чувством удивления, словно впервые его увидела, любопытства и страха — пыталась представить Касая своим мужем и не могла. Весь день Касай был рядом с Нурхан и Сидали: рубил дрова, поддерживал в печке огонь, встречал и провожал аульчан, подавал поминальные кушанья.

Вечером, когда двор опустел, когда уже и Таужан увела домой детей и остались только Сидали с Касаем да Нурхан, мужчины впервые за день сели к столу.

— Скажи нам, девочка моя, что ты решила? — спросил Сидали и повернулся к Касаю. — Вот сидит перед тобой человек, который просит тебя стать его женой. Он дал мне слово, что будет хорошим мужем, хорошим отцом твоих детей. Поклялся, что с ним ты будешь счастлива. Правильно я говорю, Касай?

Тот, не отрывая от Нурхан глаз, торопливо кивнул. Нурхан еще ниже опустила голову, перебирая пальцами уголки черной косынки.

— Молчишь, значит, согласна, — решил Сидали. — Это хорошо. Я бы скорей умер, чем позволил кому-нибудь называть тебя женой без твоего согласия. — Он поднялся из-за стола, с шумом отодвинув табуретку. Касай тоже встал, но Сидали положил ему на плечо руку. — Посидите, поговорите. Без меня вам проще будет, — и вышел.

Касай сгорбился, крепко сцепил на коленях пальцы.

— Скажи, Нурхан, — осипшим голосом спросил он, — ты согласна? — Глянул искоса на девушку, подождал, что она скажет, и, не дождавшись, заговорил торопливо. — Я понимаю, нехорошо так вот прямо спрашивать... — кашлянул, прочищая горло. — Надо бы, конечно, присмотреться друг к другу. В кино надо бы сходить, по вечерам встречаться, ну и все такое. Но мне неудобно, я уже был женат, да и возраст... — Он облизнул губы, вытер лоб.

— Да, возраст, — слегка вздохнула Нурхан и в упор посмотрела на него. — Я другого люблю, — слегка поморщилась, словно от боли, поправилась: — Любила.

— Кто он? — помолчав, с усилием спросил Касай.

— Его уже нет. Он погиб, — сухо ответила Нурхан.

— А-а, это тот шофер, — Касай облегченно выдохнул. — Вот и ладно. У меня была жена, у тебя — парень. Мы квиты, — и улыбнулся, но улыбка получилась неискренней. — Ты что же с ним... — но договорить не решился.

— Он тоже любил меня. Сильно любил, — задумавшаяся Нурхан говорила нараспев, точно во сне.

— Я понимаю, понимаю, — Касай сделал опечаленное лицо. — Но ведь его уже нет, — сказал тихо. — А о себе-то надо позаботиться, а? Ты ведь не будешь вечно одна. И Сидали за тебя беспокоится. Ему тоже нелегко: должен жить на два дома, а у него ведь семья, свои дети...

— Да, да... Сидали, — Нурхан закрыла глаза. — Ты прав, Касай. О Сидали я не подумала. Ты прав.

Касай обрадовался. Ему показалось, что он услышал согласие в словах девушки, в ее нерешительности, в ее раздумье о дяде, которому доставляет столько забот и хлопот.

— Когда ты станешь моей женой, тогда и Сидали станет легче, — оживленно принялся доказывать он. — А чтобы ему расходов было поменьше, свадьбу сделаем скромную...

— Так, так, свадьбу, говоришь, скромную сделаем, — весело отозвался Сидали, появившись в дверях. — Вижу, дело у вас сладилось.

Нурхан покраснела, взглянула на него растерянно, вскочила и выбежала в другую комнату.

— Смущается, — посмеиваясь, пояснил Сидали. — Еще бы: такой шаг в жизни...

На следующий день Касай и Сидали все обсудили, обговорили. — Сидали берет на себя расходы со стороны невесты, покупает ей в приданое мебель; так как у невесты только-только кончился траур, поэтому не надо никакой пышности — не будет свадебного поезда, Нурхан сама придет в дом жениха, где соберутся только родственники и самые близкие друзья. Об этом и доложил Сидали племяннице. Та растерянно и беспомощно заморгала, когда узнала, что все решено, что дядя уже снял со сберкнижки деньги и передал жениху — отказываться было поздно, отступить некуда, и Нурхан смирилась.

Свадебный вечер прошел скучно, почти уныло. Невеста была печальной, не притворно-грустной, как требует обычай, а печальной по-настоящему. Гости поняли это, решили, что Нурхан такая из-за недавнего траура, попили-поели, потанцевали, раз так заведено, и разошлись.

Утром Нурхан проснулась рано и, пока муж спал, бесшумно сделала все, что полагается жене: убрала со стола, принесла воду, вымыла посуду. Касай, притворяясь спящим, наблюдал за ней сквозь прищур. Лицо его было злое и обиженное. Когда Нурхан, закончив уборку, присела к столу, он резко открыл глаза.

— Кто? — спросил отрывисто и скрипнул зубами. Нурхан испуганно оглянулась на дверь в соседнюю комнату, где спали родители Касая — люди, как показалось вчера, добрые, ласковые, встретившие ее приветливо.

Касай вскочил с кровати, схватил жену за подбородок рывком развернул ее лицо к себе.

— Кто этот человек, отвечай! — зашипел, брызжа слюной. — С кем ты путалась до меня?

— Я тебе говорила о нем, — Нурхан усмехнулась. — Предупреждала, а ты слушать не захотел.

— У-у, подстилка шоферская, — Касай замахнулся, но ударить не хватило духу. Не выдержав взгляда жены, отпустил ее подбородок, отвел глаза, — Осчастливил тебя, женился! — Он заметался по комнате. — Ведь говорили мне добрые люди, какая ты есть, — не поверил, дурак!.. Вот дурак, ох дурак, пустая голова! — с силой постучал костлявыми пальцами себя по лбу.

За стеной зашевелились проснувшиеся отец с матерью, слышались тихие, осторожные шаги — родители боялись разбудить молодых.

— Что ты моей матери скажешь, когда она узнает, что ты нечестная, что ты порченная? Как в глаза ей посмотришь? — Касай обхватил ладонями голову, застонал, — Какой позор, какой позор! — Глянул бешено на жену. — Ненавижу тебя, потаскуха!

Так началась для Нурхан новая — замужняя — жизнь. Потянулись безрадостные, полные горечи и унижений дни. Ни Сидали, ни товарищи Касая по работе не знали, что этот исполнительный и добросовестный, молчаливый и скромный кладовщик дома был тираном. Отец-пенсионер, как только сын появлялся на пороге, спешил уйти во двор: копался по хозяйству или, когда плохо себя чувствовал, сидел допоздна на лавочке — знал, что Касай сейчас брюзжит, всем недовольный, или ворчит на мать: «Хоть бы каким-нибудь делом занялась, чем сложа руки у печки греться. Другие женщины свитера вяжут, ковры ткут, поэтому сыновья у них в «Жигулях» разъезжают, а ты...» Старик несколько раз пробовал заступиться за жену, пытался одернуть сына, даже батогом замахивался, но только злил Касая. «И ты хорош, — кричал тот. — Мог бы взять на откорм бычка, сейчас это поощряют. Дело выгодное! Как можно целый день без дела слоняться? — так нет же, живете старыми, дурацкими представлениями!» Старик плевался из-за неуважительного тона, и уходил, хлопнув дверью.

Когда Касай надумал во второй раз жениться, родители обрадовались: думали, сын успокоится, поспеет, смягчится душой рядом с молодой женой, которая, они знали это, ему нравилась. А вышло совсем плохо. Уже на следующее утро после свадьбы сын стал хуже прежнего — бешеный какой-то проснулся, свирепый. Мать, убирая постель молодых, догадалась обо всем, прибежала, перепуганная, обомлевшая, к мужу, шепнула ему на ухо страшную весть: «Невестка-то не девушка!» Старик удивился, но, подумав, хмыкнул: «Что за беда? Наш — тоже не парень». Но жена замахала на него рукой; «О чем ты говоришь?! Он ведь мужчина!» — и заплакала: обидно

было за сына, обидно было, что нельзя устроить скандал ни матери, ни бабушке Нурхан. С невесткой она теперь не разговаривала, а только цыкала на нее, презрительно мерила с головы до ног взглядом да язвительно кривила губы. Но постепенно сердце старой женщины смягчилось — очень уж Нурхан была работящей, тихой, прилежной, во всем старалась угодить свекрови. О такой снохе можно только мечтать. Да и жалко ее — сильно уж Касай над ней измывался. Придет с работы, рухнет за стол, гаркнет: «Таци поесть!» Нурхан скорехонько — пищу на стол. А сын глазами сверкает. «Ну-ка, попробуй сначала сама, — потребует с угрозой. — Небось яду мне подсыпала, тварь!» Нурхан окаменеет вся, но молчит. Один раз, правда, не выдержала, сказала тихо: «Зачем мне смерть твоя, подумай?» Да лучше бы и не говорила ничего. «Зачем?! — Касай грохнул кулаком по столу, скинул на пол тарелку. — Затем, чтобы блудить в открытую. Мать твоя, бабка твоя были распутными, и в тебе огонь блуда горит, гармонистка проклятая!» Гармонь он возненавидел люто с того самого первого, послесвадебного дня, когда Нурхан, думая, что муж ушел на работу, заиграла, чтобы разогнать тяжелые мысли, поднять хоть немного настроение. А Касай, оказывается, был во дворе — услышал музыку, ворвался в комнату; «Веселишься?! Радуетесь?! Тебе все нипочем!» — и хотел изломать гармонику. Еле отстояла ее Нурхан, а вечером отнесла к Сидали и с тех пор к ней не притрагивалась... Жалко матери Касая невестку, ох как жалко, а что делать? — сама виновата, теперь уж надо терпеть. Так она и втолковывала Нурхан: «Терпи, дочка, что уж теперь поделаешь. Может, Касай со временем остынет, простит. Если даже побьет — терпи, потому что ты должна не сердиться на моего сына, а тысячу раз спасибо сказать ему за то, что взял тебя, грешницу, позор твой прикрыл... Ну, ну, не смотри на меня так. Разве не ты, а я виновата?.. Я от своего старого кабана тоже в прежние годы многое вытерпела, пока привыкла к нему. И вот, видишь, живем мирно, дружно. И вы мирно жить будете, если терпеть станешь. Касай — хороший, не злой. Ты будь с ним ласковой, и он добрей будет». Однако Касай добрей не становился, хотя Нурхан молча

сносила все окрики, оскорбления, брань, надеясь, что когда-нибудь мужу надоест скандалить и они, наконец-то, заживут нормально — пусть без любви, но и без ежедневных издевательств. Напрасные ожидания. Касай, видя, что жена безропотна, совсем распоясался — начал даже бить Нурхан, когда та, в ответ на придирки, пыталась было возразить или оправдаться. Бил остервенело, ожидая, что жена заплачет, будет валяться в ногах, просить прощения, а она молчала, от кулаков не отклонялась — только поворачивалась спиной, прикрывая руками живот. Обессилен от истязаний, Касай падал на кровать и плакал. Плакал, проклиная Нурхан и свою жизнь. После таких сцен он с неделю ходил тихий, прятал от жены глаза, не капризничал, не придирился, но вскоре все начиналось снова: ругань, оскорбления, побои. Несколько раз Нурхан собиралась уйти от мужа, да совестно было перед Сидали — дядя столько сделал для нее: заботился с детства, кормил-поил во время болезни, приданое купил, свадьбу оплатил, и теперь вроде спокоен за племянницу, а она опять взвалит на него груз забот и тревог. Приходила даже мысль наложить на себя руки, но сейчас, в отличие от тех черных, беспросветных дней, что обрушились после гибели Кемата, а затем и смерти бабушки, слабая надежда все же жила в сердце Нурхан — казалось, что сквозь эти серые и постылые будни светит, несмотря ни на что, далеко впереди слабый, призывный огонек ожидающей радости. Чудилось, будто какой-то тихий и ласковый голос нашептывает, успокаивая: «Не думай о смерти, не надо... Есть ведь в этом мире что-то и кроме Касая: солнце, небо, зеленая трава, Сидали, женщины на работе, с которыми можно посмеяться, а коли нет сил смеяться, то послушать, как смеются другие». Только на работе и отдыхала Нурхан. Бралась за любое дело, задерживалась допоздна, напрашивалась на ночные дежурства — лишь бы оттянуть час, когда надо возвращаться домой. Касай, хоть и хмурился, но молчал — чем больше работает жена, тем больше денег приносит, но на второй год женитьбы решительно заявил Нурхан: «Хватит на стороне шляться, увольняйся! Знаю я твою блудливую натуру, при первом же удобном случае изменишь. Если уже не

изменила...» Нурхан, чтобы не раздражать, не злить его — еще только ревности не хватало, тогда вовсе житья не будет — уволилась. В совхозе решили, что она ждет ребенка, и отпустили без лишних разговоров. Жизнь ее превратилась в настоящий ад. Касай, сначала чтобы полить жену, оскорбить побольней, принялся обвинять ее в неверности и твердил об этом так часто, что вскоре и сам поверил в измену Нурхан. А поверив, взбеленился, до дикого дошел — запретил ей на улице показываться. Выйдя замуж, она и раньше-то нигде не бывала — ходить в кино, в гости Касай не любил, — а теперь даже Сидали без мужа не имела права проведать. Да Нурхан и не хотела — стыдно было перед дядей за свои платья. Ничего нового из одежды Касай жене не покупал, и она донашивала старое: штопала, латала, обновляла, как могла. Муж, который до этого обвинял Нурхан в том, что она не умеет экономить, теперь совсем поедом заел: ругался, что жена не приносит денег в дом, что пользы от нее — никакой. Всю свою зарплату он клал на сберкнижку а семья жила на молоке, картошке и чае. Соль, сахар, хлеб и прочее, без чего не обойтись, покупал на свою пенсию отец Касая. Старик тоже был прижимистый, невестке денег не доверял, в магазин ходил сам, брал всего в обрез, а потом проверял, сколько расходуется продуктов, возмущался, зло стучал палкой в пол, призывал Аллаха в свидетели, что эта непутевая сноха хочет их разорить.

Осенью вернулся из армии Сафарбий, старший сын Сидали, и через месяц отец женил его. Нурхан, как близкая родственница, обязана была прийти на свадьбу, но когда она заикнулась об этом мужу, о том, что надо купить молодоженам подарок, Касай ожег ее взглядом, рявкнул «Сам знаю, сам куплю, сам отнесу!» Но подарка не купил на свадьбу не пошел, а жену тем более не пустил. Да она и не пошла бы в своем тряпье — позориться только.

Сидали смертельно обиделся, что племянница с мужем не были на свадьбе Сафарбия. Заявился на склад к Касая, спросил в лоб: «Почему не пришли? За что так оскорбили своих близких?» Касай заюлил: «Жена, понимаешь, заболела, а один я чего ж пойду?» Сидали развернулся и сразу же отправился к Нурхан. Застал ее во дво-

ре. Племянница, одетая в ветхий, засаленный ватник, укутанная в какой-то дырявый старушечий платок, чистила сарай. Взглянула виновато на дядю, покраснела, потупилась, и гневные упреки застряли в горле Сидали — увидел он, что не сладко живется родственнице. До него давно доходили слухи, будто Касая держит жену в черном теле, сделал чуть ли ни домашней рабыней, но Сидали не верил — сплетни, мол, бабы языки чешут: Касая он знал по работе, уважал, да и племянница на жизнь не жаловалась.

— Как твое здоровье? Не болеешь? — спросил Сидали.

— Нет, — тихо ответила Нурхан, — не болею.

Хлопнула дверь коридора, выскочила мать Касая, подбежала к Сидали, стала приглашать дорогого гостя в дом. Сидали, мельком глянув на нее, поблагодарил и с жалостью оглядел племянницу.

— Ты почему... почему в совхозе работать перестала?

— Муж не пускает, — хмуро ответила Нурхан.

— Не верь ей, не верь. Сама не хочет! — переполошившаяся свекровь, взмахивая руками, подступила к снохе, но перехватила угрюмый взгляд Сидали, слегка смутилась. — А зачем ей работать? — начала оправдываться. — Денег нам хватает: сын, слава Аллаху, неплохо получает, да еще пенсия моего старика. И в доме у нас все есть, и хозяйство богатое. Вон какой у нас огород. И две коровы держим. Так что, ничем не хуже других живем. — Поморгала, приоткрыв рот, и неожиданно похвасталась: — Скоро наши молодые «Жигули» купят, вот как!

— Это хорошо, что все хорошо, — Сидали усмехнулся. — А то я подумал: уж не обижают ли вы Нурхан?

— Кто ее обижает? — ахнула старушка и, прижав ладонь к щеке, покачала возмущенно головой. — Как у тебя, сват, язык повернулся сказать такое?

— Ладно, не сердись, я пошутил... — Сидали постарался улыбнуться. — Я ведь ничего не говорю. Зашел вот племянницу проведать, а то она что-то в наш дом дорогу забыла. — И серьезно посмотрел на Нурхан. — Ты приходи, если что... В любое время. Поможем, чем можем.

Попрощался и ушел.

— Ты, дочка, не позорь нашу семью перед людьми, —

обиженно заворчала свекровь, когда Сидали скрылся за калиткой. — Ругаетесь с Касаем — ваше дело. Но из дома свои обиды не выноси и мужа в плохом свете не выставляй. Вы теперь с ним едины вас Аллах соединил. Я ведь ходила к мулле, он по всем правилам неке¹ совершил, — и горделиво посмотрела на невестку.

— Неке? Едины с Касаем? — Нурхан горестно хмыкнула. — Вы об этом сыну своему скажите. Может, он хоть Аллаха испугается, издеваться надо мной перестанет. А мне на неке наплевать, если жизнь такая!

— Опомнись, дочка! — Старуха испуганно отшатнулась от снохи. — Опомнись, безумная!.. Накажет тебя Всевышний, вот увидишь!..

— Если он есть, то уже наказал, сильнее некуда, — зло перебила Нурхан и, повернув к свекрови гневное лицо, выкрикнула: — За что он мне дал такого мужа, за какие грехи?!

Свекровь увидела ее лютые глаза и поняла: все то доброе, что, может, и испытывала когда-то невестка к ее сыну, давно исчезло — осталась одна ненависть, поэтому и хорошее отношение к снохе, жалость, которые иногда посещали мать Касая, тоже забылись в этот момент.

— Мужем не довольна? Грехи свои не знаешь? — язвительно засмеялась она и подбоченилась. — А ты забыла, какой он тебя взял?.. Смотри, скажу Касаю про твои мысли, — и замахала перед носом Нурхан сухоньким кулачком. — Тогда тебе худо будет, бросит тебя Касай. У него жена-красавица есть, с ребеночком, законная. Он в любое время может опять ее к себе вернуть, поняла?

— А как же неке? Ведь нас Аллах соединил? — Нурхан рассмеялась, но увидела, что свекровь растерялась, пожалела ее. Добавила примирительно: — Правда, Аллах, наверно, вашего сына и с той соединил. Так что она — первая, у ней и все права... — И вдруг взмолилась. — Хоть бы Касай вернулся к ней, хоть бы отпустил меня! — Крепко зажмурилась, помотала головой. — Не могу я больше так жить! — Помолчала. Резко распрямилась. С силой метнула вилы в кучу навоза. — Хватит! Надоело.

¹ Неке — обряд религиозного бракосочетания.

Быстро ушла в дом. Умылась, причесалась, внимательно и изучающе посматривая, впервые за совместную жизнь с Касаем, на свое отражение в зеркале. Переделалась в самое сносное платье: и села к окну, праздно сложив руки на груди.

Притихшая, встревоженная свекровь пошущукалась, о чем-то с мужем. Тот выглянул из соседней комнаты, ошалело посмотрел на сноху, крикнул и скрылся. Старики притихли за стенкой и больше Нурхан не тревожили.

А она, чувствуя, как растет в ней бешенство, как стучит в висках буйная, разгорячившаяся кровь, размышляла о своем замужестве. «Да что же это со мной случилось? — изумленно и растерянно думала она. — До чего докатилась, а! Все женщины нашего рода были гордые, отчаянные: бабушка, не испугавшись проклятий родителей, и родственников, ускакала с нищим; мать хлопнула дверью в доме второго мужа, когда показалось ей, что там ее не уважают. Может, она и от меня-то отказалась, чтоб счастье свое отстоять — даже на такое пошла! Сильные люди. А я? Что это со мной: заснула, затмение нашло? Половой тряпкой стала, и ради чего, ради кого?» Думая так, она пыталась оправдать себя тем, что надеялась: будет у нее муж, который станет опорой и защитой в жизни, столь неласковой и жестокой к ней, будет дружная, хорошая семья, но чувствовала — не то, не то! Не оправдать этим такого долготерпения. И наконец поняла: попала в силки по недоразумению, когда Сидали во время сговора решил, будто она дала Касаю согласие, а потом стало отказываться и неудобно, и стыдно. Сейчас тоже неудобно и стыдно перед дядей, но больше не осталось сил терпеть унижения и оскорбления — и так слишком уж дорогая цена заплачена, за эти страшные, беспросветные месяцы жизни замужем. Вечером Касай пришел, как обычно, недовольный. Развалился за столом, потребовал ужин. Нурхан молча поставила перед ним еду. Хотела опять сесть к окну, но муж схватил ее за руку.

— Ну, рассказывай, чего ты наплела своему родственнику! — грозно потребовал он.

— Пошел ты... знаешь куда, — Нурхан смерила его взглядом, выдержала руку.

— Что-о-о? — Касай начал медленно приподниматься со стула, но Нурхан, замахнувшись тяжелой поварешкой, предупредила вполголоса:

— Только попробуй тронуть. Убью, — тон был серьезным, глаза решительные.

Касай не выдержал взгляда жену, посмотрел растерянно на мать.

— Что это с ней? — он натянуто усмехнулся, ткнул пальцем в сторону Нурхан. — Пьяная? Или с ума сошла?

Нурхан положила поварешку на стол, села у окна. Свекровь, возмущенно посматривая на нее, рассказала торопливо о разговоре с Сидали, расписывая, как она поставила — дядю невестки на место.

— Правильно сказала, — одобрил Касай, услышав про — «Жигули». — Скоро, скоро куплю я машину. Буду, как все люди, ездить каждый выходной в город, а то и к морю махну...

— В город, к морю... — Нурхан зло рассмеялась. — Никуда ты ездить не будешь! Ворованный комбикорм да яблоки возить — вот для чего тебе машина нужна.

Свекровь даже присела от такой дерзости. И накинулась на сноху:

— Да ты что, спятила?! Значит, мой сын — вор?! И как тебе в голову взбрело такое! Я тебе за эти слова сейчас глаза выцарапаю, все волосы выдеру...

Касай обхватил разбушевавшуюся мать, но она рассвирепела не на шутку, тянулась к невестке, порывалась вцепиться в нее.

— Ох как вы мне надоели, — тяжело, безысходно простонала Нурхан. — Если б вы знали, как мне противно в вашем доме.

Она рывком поднялась со стула, прошла торопливо к двери, сорвала на ходу платок с крючка и вышла.

На улице засмеялась облегченно, вдохнула поглубже свежий вечерний воздух и направилась к Сидали — дом бабушки, покосившийся, с заколоченными окнами, нежилой, пугал ее.

Сидали сам открыл дверь на стук.

— Что так поздно? — Вгляделся в лицо племянницы — встревожился. — Что случилось? Рассказывай.

— Не могу я больше с Касаем жить, — Нурхан, которая, освободившись, вырвавшись на волю, шла к дяде почти счастливая, сейчас, неожиданно для себя, расплакалась — Ткнулась лицом в грудь родственника. — Не могу, не могу больше, сил моих нет терпеть! Не могу, пойми...

— Успокойся, успокойся, — Сидали обнял ее, провел в — комнату. Махнул рукой напуганной жене, чтобы та увела детей и сама до времени не показывалась. — Обижают? — спросил сочувственно у племянницы. — Издеваются? Скандалят?

Нурхан, прижав ко рту кулаки, давилась слезами, но говорить не могла и на все расспросы только кивала. Сидали помрачнел, уставился угрюмо в пол.

— Вот уж не думал, что они такие, без чести, без совести, — покрутил сокрушенно головой. — А может, они хотят власть свою показать, может, испытывают тебя? Может, переменятся?

— Нет, нет! — возмущенно выкрикнула Нурхан и даже всхлипывать перестала. — Не такие это люди! — Ее даже передернуло. — Да и сколько можно испытывать, хватит, наверно... Нет, не такие они люди! — повторила убежденно. — Они кроты, только к себе и под себя гребут... — Нурхан почти успокоилась. Достала платок, вытерла глаза, высморкалась. Сказала устало, не глядя в глаза дяде. — Я только переночую у вас, ладно? А завтра уйду. Буду жить в бабушкином доме.

— Еще чего! — возмутился Сидали. — Та избенка вот-вот развалится.

— Ничего, первое время проживу. Когда заработаю отремонтирую...

— И не выдумывай! — оборвал Сидали. — Живи здесь, у меня. А со временем я тебе новый дом поставлю, — он улыбнулся. — Сперва Сафарбию, потом и тебе.

— Спасибо, дядя, за добрые слова, — Нурхан тоже улыбнулась, но неуверенно, виновато. — Не знаю, как смогу отблагодарить тебя за все, что ты для меня сделал.

— О чем говоришь, — Сидали поморщился. — Мы же родня, одна кровь, и потом... — помялся, опустил глаза, — Я ведь как-никак виноват перед тобой: за такую скотину замуж выдал, — увидел, что племянница скривилась

при этих словах, поспешил сменить разговор. — На свеклу пойдешь? — поинтересовался деловито. — Сейчас на свекле хорошие деньги платят. Можно за сезон заработать на материал для дома.

— Хоть куда пойду, — Нурхан пожала плечами. — Мне все равно... Главное — вырвалась из того ада. — Она облегченно вздохнула.

— Все будет хорошо, — Сидали похлопал ее по руке. Поинтересовался, — Ужинать будешь? Или чай? Нурхан замотала головой, отказываясь.

— Ладно, отдыхай, набирайся сил, — решил дядя. И гаркнула — Таужан! — А когда жена появилась в дверях, приказал: — Покажи племяннице, где она будет спать. И с расспросами, смотри, не приставай!

Таужан уложила родственницу на широкую кровать вместе с двумя младшими дочерьми. Нурхан уснула сразу — как в черную яму провалилась.

Проснулась она поздно, когда все уже были на ногах. Вскочила с постели, торопливо оделась, смущенно поглядывая на Таужан. После завтрака когда Нурхан впервые увидела всю семью Сидали в сборе и поразились, какая та, оказывается, большая, а от того стыдно стало, что будет стеснять их, что явилась в этот дом, хоть и временной, но все же нахлебницей, она, оставшись наедине с хозяйкой, попросила виновато:

— Не сердись, Таужан. Я сегодня же уйду от вас.

— Где живут девять душ, там и для десятой найдется место, — Таужан, поливавшая цветы на подоконнике, отвернулась, чтобы племянница не увидела ее лицо. — Куда ты пойдешь? — Она, привыкшая беспрекословно слушаться мужа, постаралась скрыть недовольство в голосе.

— Может, в город... — неуверенно сказала Нурхан.

— В город? Без специальности, без знакомых? — Таужан покачала головой. — Пропадешь! — И вдруг отшатнулась от окна. — Во! Погляди — твой явился.

Тарелка, которую мыла Нурхан, чуть не выскользнула у нее из рук. Она испуганно глянула на тетюшку.

— Касай?

— Он самый, — Таужан засмеялась. Зашептала торопливо. — Твой муженек и ночью приходил, да Сидали тур-

нул его. Пока, говорит, не станешь человеком, пока не поймешь, скотина, что нельзя так с женой обращаться, ноги чтоб твоей не было здесь...

Скрипнула дверь. Только что улыбавшаяся Таужан мгновенно изменилась, стала надменной, высокомерной.

Касай вошел робко. Снял кепку, пригладил волосы, поздоровался. Ему не ответили. Нурхан мельком глянула на него через плечо и удивилась — муж, вытянув тонкую шею, растерянно моргал, и вид у него был непривычный — пришибленный, несчастный.

— Я за тобой пришел, Нурхан, — просительно сказал он и вымученно улыбнулся.

Нурхан не ответила. Со стуком поставила стопку тарелок в шкафчик. Отошла к окну, сложила на груди руки и, прислонившись плечом к простенку, принялась глядеть на улицу.

— Слышишь, Нурхан? — тихо окликнул Касай. — Пошли домой... Ну чего ты, в самом деле, — голос его стал жалобным, — Жена ты мне или не жена?

— Жена?! — глянув на неподвижную племянницу, взорвалась Таужан. — Какая она тебе жена?! Служанка, батрачка, а не жена!.. Ты посмотри, пес паршивый, до чего ее довел.

— До чего довел? Ни до чего не довел, — забубнил Касай. — Мы хорошо жили.

— Хорошо? — Таужан даже задохнулась от возмущения. Хлопнула себя по бедрам. — И это ты называешь — хорошо?! стыда нет ни у тебя, ни у твоей матери. Нурхан — молодая женщина, в расцвете сил, а выглядит, как старуха; худая, изможденная, кожа да кости остались. Одета в какое-то тряпье, в котором и на улице-то показаться стыдно. Понятно, что она никуда не ходит, даже у нас не бывает...

— Разве я запрещаю? — несмело перебил Касай. — И платье у нее хорошее есть. Мать купила, да случая не было отдать. Слышишь, Нурхан, мать, оказывается, давно тебе платье купила, подарок хотела сделать.

Нурхан не откликнулась, не шелохнулась.

— А на работу почему ее не пускаешь? — опять оглянувшись на племянницу, взъерилась с новой силой Таужан. —

Если заболит, кто за ней ухаживать будет? Ты? От тебя дождешься, А так — она бы по больничному получала...

— Пускай работает, если хочет, — уныло разрешил Касай, — мне-то что...

— Гляди, какой покладистый стал, — ехидно засмеялась Таужан. — Он, видите ли, ни при чем, он, видите ли, все своей жене разрешает. Может, и на гармонике ей разрешал играть?! — Она вплотную подступила к Касаю. Тот попятился.

— Пускай играет, — вздохнул обреченно.

— То-то, «пускай играет»! — Таужан взяла его за плечи, развернула. — Вечером приходи, родственничек дорогой, вечером, когда муж мой дома будет. Без него и разговаривать с тобой нечего.

Касай надел кепку, оглянулся на Нурхан, но та словно окаменела, все так же глядя в окно.

— Даже жалко стало мужика, — вздохнула неглубоко Таужан, когда Касай вышел. — Тяжело ему, тоже ведь по-пясть можно.

— Притворяется, — твердо сказала Нурхан. Откачнулась от простенка, потеряла с силой виски.... — Это он только на людях такой.

— Тебе лучше знать, — неуверенно согласилась Таужан. — Хотя... по-моему; он любит тебя.

— Любит? — Нурхан ошеломленно посмотрела на нее. — Ничего себе: любит! — Она расхохоталась. — Любит как волк овечку.

— Нечего смеяться, — обиделась Таужан. — Раз говорю — любит, значит, любит. Сразу ведь видно.

— Ну и шайтан с ним, пусть любит, — разом оборвав, смех, равнодушно сказала Нурхан. — Я-то его не люблю.

— И-и, девочка, — перебила Таужан и сама засмеялась, мелко, искренне. — Какая еще такая любовь может быть у женщины? Думаешь, я твоего дядю любила, когда замуж шла? Его родители сосватали, мои согласились — вот и вся любовь... Сейчас, конечно, Сидали самый родной мне человек: отец моих детей, привыкла к нему, а любовь... — Она пренебрежительно махнула рукой, заявила убежденно: — Нет, нам любить необязательно. Главное, чтобы смысл был; главное — дети. Детей вам надо, вот что!

— Я и сама так думала, — тихо сказала Нурхан. — Очень хотела мальчика, ждала его, да не дождалась, — она от-
вернулась.

— Выкинула? — охнула Таужан.

Нурхан кивнула, опустила голову. Сцепила пальцы так сильно, что те хрустнули.

— Бил он меня...

— Ничего, ничего, бывает, — Таужан несмело погладила ее по плечу. — Молодая, наживешь еще... Со мной тоже такое было: подняла как-то бак с бельем, и... И, вот видишь, ничего страшного, — она улыбнулась как можно бодрей, промолчав, что после того случая больше не рожала, и, прикрыв глаза, помолилась про себя, чтобы Аллах не оставил Нурхан, помог ей в беде.

Вечером вместе с Сидали пришел и Касай. Скромненько сел на краешек табуретки у двери. На жену смотреть не осмеливался, глядел на кепку, которую теребил в руках. Сидали сказал племяннице, что потолковал на работе с ее мужем, вернее тот сам пришел к нему, просил помочь вернуть жену, обещал вести себя достойно, обещал измывательства свои прекратить, обещал, что впредь Нурхан пальцем не тронет и даже грубого слова она от него не услышит. Закончив, Сидали потребовал, чтобы Касай подтвердил это. Тот, подавшись вперед, сжав умоляюще руки у груди, помаргивая, поклялся, что Нурхан, если вернется, станет полной хозяйкой в доме, что все ее желания будут законом и для него, и для родителей. Сказано это было торопливо, взახлеб и настолько искренне, что Нурхан задумалась: а вдруг действительно теперь у нее с Касаем все пойдет на лад и можно будет все же создать семью, пусть даже и с нелюбимым; живут же другие — Таужан вот... И она согласилась. Касай вскочил с табуретки, засуетился, достал из портфеля сверток, протянул жене — «мать прислала платье, то самое, которое давно приготовила тебе в подарок», хотя купил его только сегодня. Он был оживлен, неподдельно радостен, потому что, оставшись без Нурхан, понял, как, оказывается, сильно любит ее. Любит ее молодое красивое тело, ее такое необычное, тонкое, нервное лицо с синими — удивительными, странными при смуглой коже — глазами,

любит ее голос, ее привычку дергать обиженно плечом, даже ее манеру хмуриться и так поджимать губы, что они, белеют. Любит — и оттого ревновал, оттого свирепел, когда думал, что кто-то обладал ею до него, а думал он об этом беспрестанно. Он ненавидел соперника, даже мертвого, и эту ненависть изливал на жену. В глубине души Касай сознавал, хотя и гнал эту мысль, что человек он заурядный, незначительный, неинтересный, что и внешне — более чем обыкновенный, и удивлялся, не мог поверить, что такая совершенная женщина живет рядом, принадлежит ему. Чувствуя превосходство жены, он унижал ее, чтобы низвести до себя, чтобы быть уверенней, быть на равных с ней, чтобы она поняла, насколько он сильней, а значит — значительней, умней. Только когда Нурхан ушла, он понял, что упустил свое настоящее счастье, которое случайно досталось ему, понял, что в его дом заглянула по ошибке красота, заглянула и упорхнула, как золотая птица, оставив после себя изумление, тоску, боль. Потеряв, как он считал, навсегда Нурхан, Касай был настолько потрясен, что готов был выть от горя. Мать Касая, встревоженная, что сын места себе не находит, принялась его успокаивать: может, и хорошо, дескать, если «ведьмина внучка» ушла насовсем — «с ней недолго до беды, вон какую власть над тобой взяла!», — и робко заикнулась о первой жене:

— Лучше помирись с Салимат, верни ее. И мне с внуком Арсланчиком будет веселей! Но Касай взорвался:

— Еще чего! То грызлась с ней, из дома выживала, а теперь — верни! С Салимат жил — тебе не нравилось, с Нурхан жил — не нравилось. Нет уж, я лучше бобылем умру, Чем буду слушаться твоих советов!

Первую жену Касай не любил. Мало того что Салимат была некрасивая — какое может быть сравнение с Нурхан?! — она имела еще и вздорный, сварливый характер, ссорилась со свекровью, из-за чего в основном и ушла, капризничала, требовала, чтобы муж, оставив своих родителей, перебрался к ее родителям в соседний аул.

Когда Нурхан вернулась, мать Касая, чтобы угодить сыну, встретила ее приветливо, но, оставшись наедине с невесткой, бормотала вслух, делая вид, будто разговаривает сама с собой:

— И чего хорошего нашел он в этой чернявой?.. Говорят ведь в народе: у черного человека и сердце черное. Говорят еще: черная овца не родит ягненка белого, черный человек не сделает дела светлого... — Нурхан отмалчивалась, притворялась, будто, не замечает ворчания свекрови, и та осмелела. Стала говорить в глаза: — У, колдунья... Наверно, ворожкой присушила моего сына или какое-нибудь шайтаново зелье дала ему выпить. С чего бы он так за твою юбку вцепился, когда у него жена — золотое сердце и сын — ангелочек?

Нурхан не отвечала. Когда же ей становилось совсем невмоготу, играла на гармонике, чтобы не слышать голос свекрови, чтобы разогнать тоску и отчаяние, которые не покидали Нурхан, как только она вновь переступила порог этого дома.

Через неделю Нурхан твердо заявила мужу, что идет на работу. Касай помялся, глянул робко на нее, но запретить не решился. Он очень изменился: не скандалил, не ругался, стал тихий, несмелый, по ночам шептал жене нежные слова, и она чувствовала, что это от души, хотела быть тоже ласковой с ним — и не могла: лежала холодная, одеревеневшая, с трудом сдерживая неприязнь к этому тщедушному, вызывающему жалость человеку. И думала, думала... Невеселые были те думы.

Отдыхала душой Нурхан только на работе. И опять, как в первые месяцы замужества, делала все, чтобы задержаться подольше, чтобы оттянуть возвращение в ненавистный дом, где ждут ехидные ухмылки свекрови, ее подчеркнуто скорбные вздохи, где ждет муж с напряженно-радостным лицом и глазами, в которых застыли недоверие, испуг, обида — Касай ревновал пуще прежнего. Ревность была какой-то болезненной, глупой и оскорбительной. Он, прячась за палисадниками, сопровождал жену до работы; днем появлялся внезапно на свекловичном поле и, вытянув шею, озирался, высматривая, не спрятался ли где мужчина; по вечерам подкарауливал Нурхан и, опять прячась, следил: домой ли она идет? Ей было обидно за него и стыдно, потому что аульчане посмеивались над мужем, издевались: кто-нибудь из мужчин, зная, что Касай затаился рядом, подходил к Нурхан, спра-

шивал ее с веселым лицом о каком-нибудь пустяке, смеялся и делал вид, будто собирается обнять. В такие дни Касай вечером был мрачнее тучи. Однажды он не выдержал. Как только Нурхан пришла с работы, визгливо закричал, сжав кулаки:

— Где шлялась, потаскуха? Опять за старое принялась?..

Нурхан презрительно подняла брови, холодно процедила сквозь зубы:

— По-моему, это ты за старое принялся, — и повернулась к двери, но Касай, упав на колени, удержал ее, Обхватил ноги жены, уткнулся лицом в подол:

— Прости, Нурхан, прости. Нечаянно вырвалось...

— Встань, а то мать увидит, — она поморщилась, подняла мужа. — Не будь посмешищем.

Ночью Касай плакал, твердил, что жить без Нурхан не может, что если она опять уйдет от него или обманет с другим, то покончит с собой. Нурхан, стиснув зубы, кривилась в темноте от отвращения. Касай, почувствовав это, принялся слезливо вымаливать прощения и поклялся, что больше не унизит ее своими подозрениями, больше не будет следить за ней... Слово свое он сдержал, и с тех пор Нурхан, пусть только и на работе, стало легче дышать.

С женщинами в звене сошлась она легко и быстро — те полюбили ее за беззлобный нрав, покладистость и старательность в деле. А еще за то, что в обеденный перерыв и после работы брала она гармонику, которую носила с собой, побаиваясь, как бы свекровь не испортила ее, — растягивала мехи и... Уставшие женщины веселели, распрямляли спины, поводили плечами, подчиняясь лихой мелодии, или, радостно переглядываясь, подхватывали вслед за гармонисткой удалую песню. Грустное Нурхан никогда не исполняла.

Вскоре, сначала по аулу, а потом и по округе, разнеслась молва об искусстве Нурхан. Ее стали приглашать поиграть на свадьбах, днях рождения, вечеринках по случаю проводов сыновей в армию, на гулянках, когда те возвращались со службы. Нурхан неизменно напоминала приглашающим: «Спросите у мужа. Если разрешит —

пойду; если запретит — не сердитесь, не смогу. Он глава семьи, его слово — закон». Касай, проклиная в душе неожиданный негаданный талант жены, разрешал — запретить боялся: аульчане не дали бы после этого проходу, засмеяли бы; но одну жену Касай не отпускал, всегда шел вместе с ней. Пока Нурхан играла, он ревниво поглядывал на парней, которые окружали ее, молча пил. Когда наступала пора прощаться с хозяевами, Касай обычно был уже совсем пьяным. Красная от стыда Нурхан извинялась за него, подхватывала отяжелевшего, полусонного мужа и вела, почти несла, домой. Там, под охания и причитания свекрови, раздевала его, отпаивала молоком, чаем, укладывала спать. Немного протрезвев, Касай начинал всхлипывать, припоминать жене, на кого и как она взглянула, кому улыбнулась, с кем говорила, хныкал, умолял не оставлять его. Свекровь плевалась и, хлопнув дверью, уходила в свою комнату. Когда Нурхан ложилась в постель, Касай, дыша перегаром, лез с поцелуями, ласками и, облюбявив лицо жены, засыпал наконец, положив ей на грудь голову. Она брезгливо отодвигала его, пыталась повернуться спиной, но Касай снова начинал ныть, поскуливать, плакаться, что Нурхан не любит его, и успокаивался только тогда, когда жена позволяла обнять себя. Она смирилась — лишь бы спал, лишь бы не приставал больше. Сама же она уснуть не могла: лежала с открытыми глазами, размышляя о своей бессмысленной и нелепой жизни, и чувствовала, как с каждым днем становится на душе все горше, все беспросветней и безрадостней. Жить с нелюбимым, спать с ним — да будет ли когда-нибудь этому конец?!

Единственную радость, единственное утешение и облегчение находила она в музыке и поэтому, когда приглашали на очередное празднество, шла охотно, хотя и знала, что, после этого — опять пьяный, слезливый муж, опять тоскливая, бессонная ночь. Касай тоже привык к своей роли и постепенно пристрастился к водке. Пил он теперь не только в гостях, но и дома. Приносил, вернувшись с работы, бутылку, просил, чтобы и Нурхан выпила с ним. Она только передергивала презрительно плечами и, зная, что муж, начнет доказывать что-то, объяснять,

брала в руки гармонику. Играла громко, заглушая голос мужа. Все чаще и чаще видела она, как только начинала звучать музыка, Кемата — светловолосого, веселого; все чаще и чаще, закрыв глаза, перебирала она в памяти, день за днем, все встречи с ним, вспоминала каждое слово, каждый жест любимого, и гармоника грустила, веселилась, печалилась вместе с ней. А заканчивалось всегда одинаково — появлялись белые стремительные кони, которые уносили ее с Кематом к счастью, под ликующую музыку джиннов; Нурхан бессознательно пыталась воспроизвести ее — гармоника неистовствовала, захлебывалась звуками... «Бесстыжая! Беспутная! Ведьма! Что ты сделала с моим сыном?!» Нурхан открывала глаза. Перед ней размахивала кулаками взбешенная свекровь, в дверях комнаты стариков стоял угрюмый свекор, за столом Касай, мотая головой, заливался пьяными слезами над пустой бутылкой. Нурхан хмурилась, ставила гармонику на место и принималась укладывать мужа в постель. Свекровь шипела ей в спину, угрожала небесными и земными карами, испепеляла взглядом. Спасая доброе имя сына, она давно уже плела перед соседями всякие небылицы про Нурхан: та, мол, спаивает сына, дает ему какие-то колдовские отвары, бормочет над ним, спящим, наговоры-заклинания. В наговоры и отвары соседи не верили, но то, что Касай, никогда раньше не выпивавший, стал каждый день ходить нетрезвый, — видели и шайтанскую музыку слышали. Но Нурхан не винули — жалели: знали ее жизнь. Жалели и Касая — спивается.

Нурхан тоже видела, что муж спивается — тот пил теперь и на работе, а дома продолжал, — но ей это было безразлично. Ее и днем и ночью преследовала назойливая мысль, которая терзала, мучила, лишала покоя: что делать, как же быть? Ведь дальше так жить нельзя! Уйти снова к Сидали? Стыдно. Уехать в город? Страшно. Отремонтировать бабушкин дом или построить новый и жить одной? Деньги-то есть, на свадьбах заработала, но как решиться — Касай будет преследовать, аульчане замучают пересудами, намеками, сплетнями. Иногда Нурхан казалось, что она попала в какой-то черный круг, через который не перескочить, из которого не вырваться,

и круг этот сжимается, отчего становится душно, и так тревожно, что сердце останавливается. Однажды во сне Нурхан увидела себя внутри извивающегося, наползающего черного кольца — вздрогнула всем телом, вскрикнула и проснулась. Скинула с груди голову мужа, попыталась уснуть и не смогла — стоило закрыть глаза, как снова оказывалась внутри черного шевелящегося кольца. Три ночи не сомкнула Нурхан глаз, испуганно прислушиваясь к шорохам в комнате, неясным звукам с улицы, и радовалась, что муж рядом, что голова его — вот она, на груди. На четвертую ночь бессонница отступила, Нурхан забылась в дремоте. Когда же из мрака, в который она погрузилась, вновь начала вырастать черной стеной внутренняя сторона круга, Нурхан, не просыпаясь, привычно притронулась к голове мужа. И вдруг вскочила, завизжала пронзительно:

— Змея! Черная змея!

Пьяный Касай встрепенулся было, забормотал что-то и опять затих.

Всполошились в соседней комнате старики. Вспыхнул свет. Возмущенная мать Касая, заспанно жмурясь, просеменила к Нурхан, которая, поджав ноги, сидела на стуле.

— Ты, что ли, кричала? — свекровь потормошила сноху. — Чего людям спать не даешь?.. Не стыдно?

— Там змея была, — Нурхан испуганно показала взглядом на постель и еще больше съежилась. — Большая, черная... Я рукой на нее наткнулась. Кожа гладкая, скользкая... и глаза — хитрые такие.

— Показалось... — буркнул сонно Касай. — Никакой змеи, кроме тебя, тут нету.

— Вот золотые слова, сынок, — старуха хихикнула и, став серьезной, зло добавила: — Только к плохому человеку плохие сны приходят, поняла?.. Говорили, что ты с шайтанами дружбу водишь, а я не верила! Вот когда вся правда-то вышла, — она погрозила пальцем невестке. — Вот твое колдовское до чего довело...

— Да ложитесь вы спать! — взмолился Касай. — Иди, мать, отсюда, не каркай. Не выдумывай глупости...

— Иду, иду, сынок, — свекровь подошла к двери, щел-

кнула выключателем и уже из темноты прошипела: — Она и впрямь на тебя змей напустит. Будь осторожен, сынок.

— Да замолчи ты! — рявкнул Касай. — И чтоб я тебя не слышал!

На следующую ночь змея опять привиделась Нурхан и она, похолодев от ужаса, опять вскочила с постели, но в этот раз не закричала, сдержалась. Всю ночь просидела Нурхан на стуле, подобрав под себя ноги. Вечером пошла к Сидали, попросила переночевать.

— Опять, что ли, Касай начал?.. — хмуро спросил дядя.

— Нет, нет, просто я выспаться хочу, — торопливо пояснила Нурхан. — Не могу уснуть в том доме. Уже почти неделю не спала. — Она смугилась. — Ты, если этот... ну, муж мой, придет, объясни ему, ладно?

— Скажу, — Сидали ещё больше помрачнел, глядя на племянницу: измученную, похудевшую, с впавшими щеками, с черными тенями под глазами.

Впервые за долгие точи Нурхан заснула легко и бестревожно. Снился ей Кемат, снилась последняя встреча с ним на берегу реки, снилась свадьба. Проснулась веселая, почти счастливая, помолодевшая... Сидали сказал, что ночью заявился пьяный Касай, умолял, чтобы допустили к жене, но он, Сидали, его, выгнал. Услышав про мужа, Нурхан потускнела, плечи ее обвисли, лицо стало обиженным и горестным. На работу она не пошла, чтобы не встречаться с Касаём, и попросила дядю сказать в конторе, что берет отгул за переработку в воскресные дни.

Вечером пришел Касай. Трезвый. Тихо попросил Нурхан вернуться домой. Та не ответила. Касай застонал, быстро отвернулся, вытер глаза кулаком и вдруг взвыл, упал на колени, принялся бить ладонями об пол, выкрикивая, что убьет себя, если Нурхан не вернется.

— Ты что, с ума сошел? — Сидали начал поднимать его, но Касай извивался, вырывался, норовил опять упасть жене в ноги, и Сидали пришлось прикрикнуть: — А ну перестань же! Ты кто, мужчина или тряпка?

— Тряпка?! Мужчина?! — Касай неожиданно взъярился. — Ладно, буду мужчиной! — Он начал торопливо выхватывать из карманов пачки денег и, срывая с них бумаж-

ные ленточки оклеек, принялся осыпать банкнотами голову неподвижно сидевшей у стола Нурхан. — Вот, бери! Все твое... Все до последней копеечки с книжки снял, все — тебе! Деньги — твои, дом — твой, хозяйство — твое. Бери...

Нурхан повела плечами, потрянула головой, сбрасывая приставшие десятирублевки, слегка поморщилась, когда одна из них, скользнув по щеке, щекотнула.

— Ну что тебе еще надо? — закричал Касай, потрясая перед ее лицом ладонями. — Я все отдал тебе, все! Больше у меня ничего нету, больше нечего дать!.. Ну что ты сидишь, как каменная? — Он просительно оглянулся на Сидали. — Что ей еще надо? Объясни мне! Я ничего не понимаю... — и беспомощно развёл руками.

— Собери деньги, Касай, — попросил Сидали и сам присел на корточки, подбирая ассигнации. — Больше не уговаривай мою племянницу. Не может она с тобой жить. Не пара, выходит, вы. Не судьба тебе с ней...

— Не пара? Не судьба? — Касай растерянно посмотрел на него, потом на жену. Поднялся с колен, беспорядочно комкая деньги, запихивая их в карман. — Не судьба... — Опустил голову, постоял, глядя в пол. — Что ж, может, и так, — криво усмехнулся и, ссутулясь, вышел,

Тишина вместо музыки из кобуза течет,
Лето жизни моей скоро снег занесет.
Лето жизни моей белый снег заметает,
Мой кобуз онемел, тишина наступает.
О-рай-да, о-рай-да, о-рай-да.

Нурхан закончила припев и, задумавшись, еще раз повторила его — перед глазами стояло судорожно искривленное лицо Касая, каким оно было в ту последнюю попытку примирения у Сидали, лицо мужа вытеснилось торжествующим лицом свекрови, когда та принесла платья Нурхан, но и это лицо сменилось другим — первая жена Касая, Салимат, вернувшаяся к нему, глядела колюче, насмешливо и зло; и опять всплыло лицо Касая, но теперь довольное, округлившееся, — он, совсем переставший пить, приходил предложить помощь бывшей жене, когда та, перебравшись в бабушкину избушку, отремонтировала ее вместе с дядей.

Пригрустнув, слушали собравшиеся во дворе Наймановых песню-плач гармонистки; эта полная жалобы музыка, эти скорбные слова вызывали в каждом какую-то смутную, сладкую грусть, отзывались легкой, ноющей болью— вспоминались несбывшиеся надежды, не осуществившиеся мечты, вспоминались утраты, неудачи, незаслуженные обиды, укусы и удары судьбы; на глазах женщин блестели слезы, мужчины хмурились — все думали о сокровенном, заветном, глубинном, и ни у кого даже мысли не мелькнуло, что растревожившая сердца песня — стон самой Нурхан, которая была убеждена, что это ее лето жизни миновало, увянув от рано выпавшего снега невзгод, это ее душа рыдает, не в силах понять: за что, почему ниспосланы ей такие испытания?

Нурхан тряхнула головой, отгоняя видения. Посмотрела вокруг ожившими, повеселевшими глазами, и пальцы, которые только что замедленно вытанцовывали на клавишах, встрепенулись, запорхали в легкой, игровой пляске — гармоника отозвалась бодрими, озорными переливами мелодии ногайских частушек. Нурхан вскинула горделиво подбородок, пропела:

Ах, свадьбы хочется, свадьбы.
Только что же это за свадьба,
Если песен нет, песен нет, нету песен?
Ах, песня нужна нам, песня!

Закончив, она сделала лихой проигрыш, ожидая, что кто-нибудь поддержит ее — отзовется новым куплетом, но все только моргали, глядя на гармонистку с веселым изумлением.

Пой же, пой, вы мне говорите!
Хоть пою я не так уж часто,
Но когда запою, запою когда, верьте,
Лучше многих певцов буду петь я!

Нурхан опять сделала проигрыш и призывно посмотрела на слушателей — продолжайте, мол, однако те молчали. Парни и девушки народных песен не знали, а пожилые стеснялись молодежи — посмеивались, стыдливо пря-

тали глаза. Нурхан поморщилась и резко оборвала игру. Тишина, наступившая после громких, насмешливых завихрений мелодии, показалась неожиданной, неуместной, странной. Все почувствовали себя неловко, смущенно и даже виновато.

И тамада Аскер почувствовал эту натянутость. Резво вскочил, поднял бокал.

— Друзья дорогие, я вижу, вас околдовала наша прекрасная народная музыка. Давайте же выпьем за эту музыку, за наши песни, за наш народ!

Люди стали подчеркнуто серьезными, одобрительно закивали: «О, да, да, наш народ, наши песни!» — принялись чокаться с соседями по столу, делая многозначительные лица.

— А ты что же не пьешь? — Исмаил локтем подтолкнул Нурхан. — Или тебе тост не нравится? — и заискивающе улыбаясь, заглянул ей в глаза.

Нурхан, не мигая, задумчиво изучала его. Исмаилу стало не по себе, но он постарался скрыть это, выдержал взгляд. Только улыбка стала растерянной.

— Что с тобой, Нурхан? — натянуто засмеялся он. — Ты сегодня какая-то не такая.

Надюша, с беспокойством поглядывая на них через стол, потянулась к подруге с рюмкой.

— За твоё здоровье, Нурхан! — льстиво, нараспев предложила она. — За твою музыку, за твой талант!

Нурхан покосилась на нее, усмехнулась.

— Лисица ты, Надюша, — сказала отчетливо. — Такая лисица, даже смотреть тошно.

— Ты у нас больно хорошая, — обиделась Надюша. — Тоже мне, голубка белая нашлась.

— Девушки, только не ссориться, — растопырив пальцы, торопливо поднял руки Исмаил. — Прошу только не ссориться!

— Ладно, не сердись, Надюша, это я так... Плохо мне что-то. — Нурхан на секунду мучительно скривилась; зрачки ее настолько расширились, что стала почти незаметна синева глаз. Она угловато, судорожным, рывком схватила стакан, выпила.

Сова, суетливо перебиравшая клювом перья левого

крыла, вскинула голову, посмотрела в сторону аула, выпрямилась, насторожилась...

Ровный мерный гул застолья становился громче, оживленней — гости расслабились, вели себя непринужденно, веселились или делали вид, будто веселятся, как могли и как умели в одном месте мужчины тешились анекдотами, замирали, склонившись к рассказчику, и вдруг, разом откачнувшись, довольно хохотали; в другом жарко спорили, перебивая друг друга парни нашептывали что-то девушкам, те, шутливо отталкивая их, звонко смеялись. Исмаил переговаривался с Надюшей, Аскер стучал вилкой по графину, требуя к себе внимания, молодожены, которые все так же чинно, не шелохнувшись, сидели во главе стола, еле сдерживали зеवоту — устали: по их лицам, по мимолетным взглядам друг на друга видно было, что они ждут не дождутся, когда останутся, наконец, одни — праздник, которого они так долго ждали, их уже утомил.

Нурхан остекленевшими глазами пристально смотрела перед собой. Слегка нахмурясь, точно припоминая что-то, медленно подняла руки, сжала ладонями виски — боль, пульсировавшая в них, слегка приутихла. Вдруг Нурхан резко повернула голову в сторону ворот, и лицо ее побелело.

— Обыр-кус, обыр-кус, обыр-кус, — все громче с ужасом бормотала она.

— Ты чего это, Нурхан? — удивился Исмаил.

— Обыр-кус зовет, — раздраженно пояснила скороговоркой Нурхан. — Не слышишь, что ли?

Размеренный, однообразный крик совы болезненными, нарастающими толчками крови отдавался в ее висках.

Исмаил тяжело развернулся, проследил за взглядом гармонистки. Прислушался.

— Выдумываешь ты все! — И неуклюже поелозив, принял прежнюю позу. — А если и кричит дура-птица, нам-то какое дело? — Он подмигнул Надюше и показал взглядом на Нурхан; посмотрит, дескать, как чудит.

Но Надюша с тревогой следила за подругой и не улыбнулась угодливо, как ожидал Исмаил.

— Что с тобой, Нурхан? — Она потянулась через стол, тронула ее за плечо. — Нурхан, а Нурхан, что с тобой?

— Обыр-кус... Обыр-кус зовет меня, — громко и четко сказала Нурхан. — Ох как больно, — покачала головой и стала заваливаться набок.

Надюша, метнувшись вокруг стола, подхватила подругу, прижала к себе. Рыкнула на соседей, которые, перестав жевать, устали на гармонистку:

— Ну, чего пялитесь?! Ничего страшного! Продолжайте веселиться, — и наклонилась к Нурхан. — Тебе плохо? Голова кружится? Пойдем, отдохнешь... Полежишь, и все пройдет. — Она, бережно обняв подругу, помогла ей встать, повела, ласково, и осторожно поддерживая, к кухне. — Сейчас, сейчас я тебя устрою. — Тут тебе будет тихо, спокойно, — как малого ребенка утешала она. — Вот и пришли.

Нурхан пошатывалась, постанывала, закрыв глаза.

— Ну-ка, уважаемые, выйдите на время! — властно командовала Надюша с порога летней кухни. — Видите, гармонистке плохо!.. — Уложила Нурхан на диван, пошла, раскинув руки, на женщин. — Давайте, давайте, подышите на свежем воздухе, потанцуйте... Человеку покой нужен.

Женщины, оглядываясь на Нурхан, неохотно вышли, но остались около двери. Заглядывали внутрь, спрашивали взглядами у Надюши: что случилось? Но та на них не смотрела. Присела на диван, взяла руку подруги и, поглаживая ее, склонилась к лицу Нурхан.

— Ну что, лучше тебе? Полегчало?

Нурхан страдальчески смотрела на нее, сжав зубы: уханье совы по-прежнему настойчиво и призывно билось толчками в висках, только сейчас голос птицы был не зловещий, а вкрадчивый, сочувственный — казалось, она утешает, успокаивает, обещает что-то хорошее, радостное, светлое. Боль, которая раздирала изнутри голову, стала утихать, оставляя после себя лишь томящее воспоминание. Нурхан закрыла глаза: поплыли какие-то чистые, многоцветные и полупрозрачные тени; они истаяли, открыв залитую солнцем лужайку с яркой зеленью травы, слепящими бликами на воде, очертаниями кустов, скрытых в дымке. Нурхан сразу узнала это место, хотя оно

было совсем не похоже на берег реки близ аула, — здесь она виделась в последний раз с Кематом. Вкрадчивый зов совы стал ликующим — яркий свет, заливавший лужайку, превратился в невыносимое сияние, растворившее и траву, и кусты, и речку Нурхан охватил восторг и ужас одновременно — такое не раз приходило к ней во сне, когда она стояла на краю бездонного обрыва и уже занесла над пустотой ногу, а сердце замирало, потому что шаг в неведомое, шаг, который нельзя не сделать, мог оказаться шагом и к полету, от которого дух захватывает, и к долгому мучительному падению в пропасть, где поджидает нечто неизвестное, а оттого ещё более жуткое... А сова поддразнивала, сова заманивала, сова упрасивала.

— Мне страшно, Надюша, — Нурхан сжала в горячих, потных ладонях пальцы подруги. — Обыр-кус зовет меня, а я боюсь...

— Успокойся, родненькая, успокойся, — умоляла Надюша. — Нету никакой совы, это тебе кажется.

— Как это нету? — удивилась Нурхан. — Слышишь? — Настороженно повела глазами в сторону двери. — Вот, опять... Теперь хохочет. Слышишь?.. Ей душа моя нужна. Возьмет мою душу, тогда успокоится, — объяснила почти буднично, без обиды, без возмущения. — К бабушке, к Кемату зовет. Все, кого я люблю, там, куда зовет обыр-кус.

— Что ты, что ты, о чем говоришь?! — Надюша испугалась. — О смерти, что ли? — Быстро наклонилась к Нурхан, принялась торопливо целовать ее в щеки, в виски. — Тебе ли о смерти думать? Ты такая красивая, такая добрая, такое золотое сердце у тебя... — бормотала она взахлеб. — Тебе жить да жить.

— Нет, пора, — Нурхан, слегка поморщившись, отодвинула ее голову от себя. — Человек живет только тогда, когда любит или когда его любят, а без этого... одни мучения.

— Любят тебя, любят! — горячо заверила Надюша, быстро поглаживая подругу по щеке, по лбу и сдерживаясь изо всех сил, чтобы не разреветься. — Я люблю тебя! Не веришь, что ли, сомневаешься?

— Все, я решила... — чуть слышно сказала Нурхан и

закрыла глаза: она шагнула с обрыва в сияющую, наполненную струями света пустоту и, разметав руки, плавно поплыла ввысь, медленно переворачиваемая лицом к солищу потоками грустно-торжественной музыки.

Во дворе включили магнитофон — рассыпалась оглушающая дробь ударных, зарокотали, словно задыхаясь, бас-гитары, ритм-гитары, заныли, постанывая, взвизгивая, инструменты солистов, но Нурхан этого не слышала — она, счастливая, парила в успокаивающих волнах света, и было ей беспечально, празднично.

Надюша подняла голову, повернулась, увидела в двери встревоженные, вопрошающие, сочувствующие лица женщин и улыбнулась.

— Уснула, — она прижала палец к губам, показала глазами на подругу.

Женщины понимающе закивали, тихонько вошли, остановились около дивана. Насипхан, соседка Касая, работавшая медсестрой, села на табуретку, взяла руку Нурхан, сдавила пальцами запястье.

— Ненавижу этот бесстыжий танец, — она возмущенно показала взглядом в открытую дверь. — Туда-сюда задами крутят — срамота! Некстати слегла наша гармонистка. То ли дело ее музыка... — Сдвинула на затылок синий, сколотый под подбородком, платок, прижалась ухом к груди Нурхан. Послушала. Выпрямилась. — Все в порядке: и пульс хороший, и дыхание ровное. — Вздохнула неглубоко. — Машалла! Какая красавица. — Покачала восхищенно головой. — Сколько смотрю на нее, все время удивляюсь — наградил же Аллах такой красотой.

— Красотой-то наградил, да что толку?.. — заметила Айбийке, мать жениха, полная женщина с властным лицом. Заправила под парчовую косынку выбившуюся прядь седых волос. — Красота! От нее-то все беды у этой горемычной. Лучше бы Аллах наградил ее хоть маленьким счастьем, не помешало бы...

— Что верно, то верно, — поддержала Кенжехан, работавшая с Нурхан в одном звене. — Счастье она заслужила. Видели бы вы ее в работе. Какая она старательная, трудолюбивая, послушная...

— Видели, видели, — перебила Насипхан. — Насмот-

релась я на нее в доме этого изверга Касая. Другой такой тихой жены и не встретишь. Все делала по хозяйству. Молча, проворно, на совесть, а вместо благодарности только брань да обиды. Хуже цыганки жила, бедная, глаз поднять не смела...

— Кому что на роду написано, — подчеркнуто скорбно вздохнула Айбийке и тут же, улыбнувшись, заявила решительно: — Ну ладно, подружки, хватит ее разглядывать. Пусть гармонистка спит, не будем мешать ей. Пора и о себе подумать. Гости сыты, пьяны, веселы, можно и нам немного отдохнуть, — и с достоинством неся свое крупное тело в сиреневом шелковом платье, удалилась к столу.

Женщины, сделав сочувствующие лица, глянули еще раз на Нурхан и, отвернувшись, оживились — принялись рассаживаться для чаепития. Они набегались, устали, организуя свадьбу, поддерживая праздник, готовя закуски, горячее, следя, чтоб не пустовали тарелки гостей, и сейчас, когда собравшиеся во дворе танцевали и веселились, а об обеде и думать не хотели, женщины могли перевести дыхание, посидеть, поболтать, посудачить. С полудня были они на ногах: топтались у летней печки в углу двора, у костра на огороде — варили в огромных казанах мясо, лапшу, картошку; здесь, в летней кухне, раскатывали тесто, чистили овощи, делали салаты, здесь же раскладывали первое и второе по тарелкам, которые уносили парни, обслуживающие свадебный стол; здесь, мимоходом, между делом, обсуждали гостей, кто как одет, кто как себя ведет, выносили оценки-приговоры, которые надолго оставались окончательным мнением аульчан об аульчанах; здесь, в короткие минуты передышки, женщины, вдали от пирующих во дворе, садились за наскоро приготовленный стол, лакомились баурсаками с медом, катламой, хинкалами, пили ногайский чай — только чай и никакой водки, никакого вина, никакой бузы, хотя в другое время почти каждая из них не прочь была пропустить рюмочку-другую, а то и полный стакан, но сейчас ни-ни, потому что и без выпивки, столь обязательной на свадьбах, были эти женщины радостны, оживленны, веселы: радостны от того, что радостно гостям, оживленны от того, что все получается как задумано,

веселы, потому что всем во дворе было весело. И еще они были счастливы, так как счастливы были молодожены и их родители. Только здесь, среди женщин, в летней кухне, сохранялись еще дух, черты, особенности подлинно ногайской свадьбы: трезвость, неподдельное, естественное, а не вызванное напитками, веселье, культ еды, праздничное чувство единства всех собравшихся, ощущение общности во имя нужного светлого дела, во имя благополучия новой, только что родившейся семьи.

Надюша, чувствуя себя немного неловко, потому что в свадебных хлопотах собравшихся здесь женщин не участвовала, а сейчас как равная садится с ними за стол, сказала с подчеркнутой озабоченностью, взглянув опять на Нурхан:

— Какая-то сова взбрела ей в голову. Напугала, прямо ужас... И что это за сова дурацкая, не пойму.

— Нельзя про эту птицу плохо говорить, нельзя ругать ее, нельзя прогонять, если сядет рядом с домом, — поучающе заметила Айбийке. И важно объяснила на правах главной в этом застолье, — Старики говорят, что в обыр-кус живет душа злого человека, которую Аллах не принял. Поэтому упырь-птица ищет себе жертву, чтобы душу ее погубить, а свою, грешную, очистить, освободить от проклятия Всевышнего. Сказки все, конечно.

Женщины внимательно, не перебивая выслушали Айбийке, торжественно восседающую в почетном углу. Подождали, не добавит ли она еще чего. Но Айбийке молчала, разливая чай.

— Зачем же обыр-кус понадобилась душа этой сиротки? — недоуменно спросила Насипхан, чтобы поддержать разговор. — Забирала бы душу злого человека. Ее бывшего мужа, например, Касая.

— Нельзя, нельзя, — горячо вмешалась Кенжихан. — Говорят, чтобы очиститься, душа, которая живет в птице, должна погубить самого чистого, самого невинного, самого красивого человека.

— А, ну тогда понятно. К Нурхан это подходит, — согласилась Насипхан.

— Ужас, о чем вы рассказываете, — зябко поежилась Надюша. — Теперь ходи и оглядывайся: не кружит ли над головой сова?

— Ну-у, тебе это не грозит, — пренебрежительно махнула в ее сторону рукой Кенжехан.

— Это еще почему? — удивилась Надюша.

— Так ведь обыр-кус выбирает самую чистую, самую непорочную душу, а ты?.. — Взгляд Кенжехан стал насмешливым. — Водку стаканами пьешь.

— И Нурхан пьет, — Надюша непонимающе заморгла. — Чем же она лучше?

— Э, нет, дочка, ее с собой не равняй, — вмешалась Насипхан. — Она гармонистка, она не по своей охоте пьет. Ее угощают за игру, она не может людей обидеть. А ты — по своей воле, да наравне с парнями, чтобы им понравиться.

Надюша надулась было, засопела обиженно, но, подумав, бесшабашно мотнула головой, так что рыжие кудряшки взметнулись облаком.

— Что верно, то верно: грешна. — Она засмеялась, показав белые маленькие зубы. — Люблю повеселиться! Наломалась до черноты в глазах на свекле, ну и хочется отдохнуть. — Зажмурилась, потянулась сладко. — Ваша правда, ни одному мужику в этом деле не уступлю да и не только в этом.

Айбийке, с усилием согнав с лица улыбку, сделала постное лицо, какое полагается почтенной женщине и матери, осуждающе и скорбно качнула сверху вниз головой.

— Что с Надюши спрашивать, когда и старики со старухами, и почти дети с ума сходят. — Она опечаленно вздохнула и опять покачала головой, только теперь из стороны в сторону, — Вон бывший эфенди Якуб, вспомните. Самому восемьдесят четыре года, а девочке, которая родила от него, всего восемнадцать. Совсем ребенок.

— Неправда это, — решительно возразила Насипхан и неодобрительно сжала губы. — Очернили старика. Я в больнице работала, когда он у врача справку брал, что ни на что не годен. Якуб отдал эту справку в сельсовет, а там ее потеряли.

— Как это неправда, как неправда? — возмутилась Кенжехан и тоже губы сжала презрительно. — В газете об этом писали... Справка! — хмыкнула и даже возмущенно отвернулась от Насипхан. — Справку можно и купить, у эфенди денег много.

— Ах какой красивый старик, — мечтательно протянула Надюша, сощурившись. — Седой, статный, а улыбается так хорошо, что на него хочется смотреть и смотреть.

— Если бы он на тебя внимание обратил, не отказалась бы?.. — вкрадчиво поинтересовалась Айбийке.

Надюша растерялась, покраснела, а женщины расхохотались — на этот раз открыто, весело, потому что смеялась и хозяйка дома. Только Насипхан, еле сдерживая улыбку, сочла нужным изобразить осуждение и недовольство.

— Что ты пристала к девчонке, Айбийке... Не смущай ее, не вгоняй в краску.

— Э-э, ее смутишь, — Айбийке смеялась беззвучно, вздрагивая всем телом, — она сама, кого хочешь, смутит, — и вытирая пальцами слезы, сказала с усмешечкой: — А справка у Якуба, наверно, действительно была. Он, пожалуй, и в самом деле никуда не годен — очень уж им жена его недовольна. Старухе шестьдесят пять лет, а она дружка на стороне завела. Уже пятнадцать лет с соседом... дружит, — и опять беззвучно засмеялась, заколыхалась всем телом. — Якуб-эфенди ходит людям проповеди читать, от грехов очищает, о нравах заботится, а его Гүльхан... — Она хлопнула ладонями, потеряла их одну о другую. — Только старик на свадьбу или на похороны, как в доме сразу ломается сепаратор и чинить его приходит конечно же сосед Маулыт...

Женщины расхохотались совсем уже неудержимо взвизгивали, постанывали, подталкивали друг друга локтями, сгибались, покачивались.

— Чего только не выдумают люди! — всхлипывала от смеха, корчилась, схватившись за живот, Насипхан. — Ой, не могу... Такое про старую Гүльхан сочинить, а!

— Где я? — громко прозвучал вдруг звонкий голос.

Смех враз оборвался, женщины оглянулись на гармонистку.

Нурхан, встревоженно озираясь, приподнялась на диване.

— Где я? — повторила испуганно. Поглядела со страхом на развеселившихся женщин. — Кто вы?

Надюша сорвалась с места, под села к подруге, подсунула ладонь под ее голову.

— Ты на свадьбе...

— Ах да, на свадьбе, — Нурхан понимающе улыбнулась. — Верно на свадьбе. Джинны сейчас так хохотали, так хохотали надо мной. И обыр-кус тоже... — Она опять прикрыла глаза, — Хорошая была свадьба: белые кони, флаги, козы-борки, пальба из ружей, сандрак-тартув. И я с Кематом...

— С каким Кематом? — Надюша растерялась. — Ты на свадьбе Мурата и Юлдуз. Забыла?

— Нет, все помню, — негромко отозвалась Нурхан, — помню обыр-кус, джинны, сандрак-тартув... Вон, слышишь? — Она радостно глянула во двор через открытую дверь. — Видишь, сандрак-тартув пляшут.

В белом свете лампочек молодежь танцевала шейк: ревел магнитофон, гибко извивались стройные тела, покачивались по-змеиному, то уменьшались, приближаясь к земле, словно ввинчиваясь, то вырастали, распрямляясь; мелькали длинные пряди волос, яркие пятна рубашек и блузок.

— Сандрак-тартув! — Нурхан весело засмеялась.

— Бредит, — понимающе вздохнула Насипхан.

— Мне надо туда, к ним, — Нурхан потянулась к двери. — Туда надо.

— Лучше еще полежи, отдохни. Тебе нельзя вставать, — Надюша попыталась удержать подругу, но та раздраженно оттолкнула ее. Поднялась с дивана, пошатнулась и чуть не упала. Надюша подхватила Нурхан и, оглядываясь на женщин, словно извиняясь, помогла гармонистке выйти во двор.

Нурхан жадно глотнула ночной прохладный воздух.

— Хорошо танцуют — сказала удовлетворенно, глядя на молодежь, исполняющую шейк, и прошла к столу. Села на табурет, поставила на колени гармонику, растянула мехи, пристально всматриваясь в танцующих. Перебрала пальцами клавиши, прислушиваясь к грохочущей музыке и пытаясь попасть в ритм танца. Мучительно сморщилась — опять вместе с зачастившими толчками крови ударили в виски вопли совы...

Размеренно ухая, сова, крепко вцепившись в ветку, резко замахала крыльями, словно проверяя силу и упругость их...

Боль в голове стала невыносимой. И Нурхан, не выдержав этой муки, застонала; откинув назад голову. Но стон этот неожиданно перерос в отрывистый, резкий, торжествующий хохот.

— Хах-хах-хах-хаха! — громко, гортанно выкрикивала Нурхан.

И, сметая шейк, хлынула из гармоник никем до того не слышанная, будоражащая кровь, истерически-восторженная музыка.

Али выключил магнитофон. Музыка Нурхан, оставшись наедине с людьми, расплеснулась широко, вольно. Бурлящая мелодия затопила двор, ударила в сердца, заставив их сжаться от непонятого восторга — и молодежь, и пожилые, и жених с невестой, и женщины, выскочившие из летней кухни, радостно-возбужденные, смеющиеся, образовали, толкаясь и сами того не замечая, огромный круг, но круг этот не вмещался во дворе, и тогда внутри этого круга сложился второй, а внутри того — третий; круги эти, подчиняясь требовательным велениям музыки, заскользили по асфальту, все убыстряя и убыстряя движение. Повинуясь музыке, мужчины нагибались то вправо, то влево, поводя вскинутыми руками, как это делается в национальном танце «узын», надвигались, крадучись, на женщин, а те, уклоняясь от дружеского, ласкового преследования, скользили, изгибаясь, назад и потом сами плавно наступали, чтобы снова увернувшись, водить за собой мужчин в сложном, запутанном по рисунку танце.

Блестели синие глаза Нурхан, играли блики на синих рукавах ее блузки.

— Ха-ха-ха-ха-ха! — опять перекрыл музыку громкий смех Нурхан.

И сразу же мелодия, неуловимо вильнув, сменила мотив, ритм, окраску — движения танцующих тоже изменились, но никого это не удивило и не возмутило, наоборот, вызвало взрыв веселья, восторженного рева. Мужчины в праздничных костюмах, парни в джинсовых и вельветовых брюках, девушки в ярких платьишках, женщины в разноцветных платках и длинных юбках, старики в каракулевых папах и суконных бешметах, старухи, наглухо затянутые в черное, невеста в фате, жених в

темно-синем пиджаке и ослепительно белой сорочке — все, даже те, которые только что появились во дворе, привлеченные властным зовом исполнявшейся перед этим музыки, даже те, которые только что показались в воротах, начали извиваться в шейке.

— Ха-ха-ха-а! — снова возликовал хохот Нурхан.

И мелодия тоже снова сделала неуловимей зигзаг, снова превратилась в ту прежнюю, колдовскую, прихотливую, гипнотизирующую, вихревую, заставляющую стремительно кружиться, скользить, преследовать и отступать, отходить и надвигаться по законам ногайского национального танца «узын»...

Сова плавно снялась с ветки и целеустремленно, не рыская в воздухе, не отклоняясь в сторону, быстро полетела туда, откуда доносилась все ускоряющаяся и ускоряющаяся восторженная музыка.

Нурхан смотрела на мельтешение радостных лиц, мелькание пятен разноцветных нарядов, на эту пеструю, многокрасочную, бурную круговерть, а видела белых, с разметавшимися гривами коней, вытянувшихся в бешеном галопе, видела так же неудержимо летящий за спиной свадебный поезд — флаги, старинные платья, синие черкески, козы-борки, — видела струящиеся по ветру светлые волосы Кемата, его радостные глаза, его улыбку, и ее, Нурхан, наполняло, переполняя, счастье, потому что она знала — отныне с Кематом навсегда. И еще потому, что музыка, звучащая со всех сторон, слилась с музыкой в душе, и наконец-то она, Нурхан, поняла ее, поймала; наконец-то сумела извлечь из гармонике «сандрак-тар-тув»!

Сова, увидела маленький с высоты двор: светлое пятно, на котором — россыпь шевелящихся пестрых точек. Сова круто спланировала и, снижаясь, принялась описывать круги над головами людей, но те, увлеченные, околдованные танцем, не обращали внимания на птицу.

1982 г.



САЛАМ, МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

Повесть

Дождь тихо шелестел за окном, монотонно барабанил по жести подоконника, вкрадчиво журчал, оmyвая стекла, за которыми низко висела сплошная серо — черная туча.

«Пропало воскресенье», — уныло подумал, проснувшись, Мухтар и почувствовал, что опять, как вчера, как позавчера, как много дней подряд, накатила непонятная беспричинная тоска. Он поглядел на жену.

Ольмесхан спала, уткнувшись лицом в полотняный коврик на стене. Черные волосы ее разметались по подушке, смуглое плечо, высвободившись из ночной рубашки, оголилось, и Мухтар, прижавшись, всем телом ощутил тело жены, тепло которого чувствовал даже во сне.

— Повернись-ка, — попросил шепотом.

— Не надо ... — сонно отозвалась Ольмесхан. — Детей разбудишь, — и убрала руку мужа.

Он приглушил обиженный вздох, поднял голову, посмотрел туда, где вдвоем на одной кровати спали дочери. Младшую не было слышно, а старшая, шестилетняя, ворочалась, дышала тяжело, простуженно и, казалось, вот-вот проснется.

Мухтар лег на спину, закрыл глаза.

Что-то нашептывал дождь, настенные часы негромко и размеренно отсчитывали секунды; эти тихие однообразные звуки успокаивали, убаюкивали — раздражение

понемногу улеглось, тоска начала отпускатъ. Мысли потекли спокойные, бестревожные: о сыновьях, которые спали в соседней комнате, о том, что старшему — Али — идти в этом году в армию и что, вернувшись со службы, он, наверно, женится, сделав отца своего дедом. Размечтавшись, Мухтар попытался представить будущих внучат, но, как часто бывало в последнее время, вместо них увидел свое детство.

... Возвратившись из школы, он положил на стол потрепанную, сшитую из мешковины, сумку с учебниками и, чувствуя, что от голода закружилась голова, а ноги совсем не держат, опустился на земляной пол рядом с деревянной кроватью матери. Мать, уже полгода не встававшая с постели, посмотрела страдальческими глазами, которые казались огромными на изможденном почерневшем лице. Попыталась улыбнуться.

— Встань, сынок, простудишься ... — но приступ сухого, надсадного кашля не дал договорить.

Мухтар вскочил, схватил ее тоненькую невесомую руку, сжал в ладонях.

— Что же с тобой будет, жеребеночек? — отдышавшись, прошептала мать синими губами. — Как ты останешься один? Вся надежда на бедную сестру мою Шайдат. Когда умру, иди к ней ...

— Не надо, мама, не говори так! — закричал Мухтар и прикусил губу, чтобы не заплакать.

— Не буду, сынок, не буду. Может, я и поправлюсь.

Мне уже лучше ... — она попробовала приподняться. Приготовлю тебе что-нибудь поесть, ведь ты совсем голодный.

— Лежи, мама, лежи, — Мухтар удержал ее. — Я сам приготовлю.

Разогрел суп, сваренный утром из остатков муки, которую дала позавчера Шайдат. Тетя жила в соседнем ауле и изредка приносила то мешочек кукурузных зерен, то с полведра картошки, то, как в этот раз, чашку муки.

— Ешь, сынок, я не хочу, — слабо запротестовала мать, когда Мухтар протянул ей пиалу с горячим варевом.

— Я сыт! — решительно заявил Мухтар. — Ты ведь знаешь, что Аскер отдает мне половину своего завтрака, —

и, чувствуя, как пустой желудок скрутили режущие спазмы, выдержал, не моргнув, взгляд матери.

Аскер ни разу не дал Мухтару даже крохотного кусочка лепешки. Более того, при всем классе смеялся над двоюродным братом, обзывал нищим, побирушкой и только потому, что однажды Мухтар пришел к ним как к родственникам ... Это случилось, когда прожиты были последние деньги, вырученные за корову, и в доме не осталось ни крошки съестного. Переборов стыд, Мухтар отправился к брату отца. Попал к ужину. На приветствие мальчика никто не отозвался: дядя, мельком глянув на гостя, еще ниже склонился над пиалой, Аскер заулыбался, но промолчал, даже мать его, которая хлопотала у печки, не откликнулась, только посмотрела на племянника с жалостью. От аромата наваристого жирного чая, забеленного молоком, у Мухтара закружилась голова. Он прислонился к косяку двери и, глотая слюну, ждал, что, может, все-таки позовут к столу, угостят. Но не дождался.

— Дайте нам немного хлеба, — чувствуя, что краснеет, отрывисто попросил Мухтар. — Когда мама выздоровеет, мы вернем.

Дядя поперхнулся, закашлялся, захлюпал носом, затряс головой.

— Вот, сучий сын, спокойно поесть не дал! Чуть не захлебнулся из-за него! — Он высморкался, вытер пальцы о штаны. Рывкнул: — Нет у меня для твоей матери хлеба! Так и передай ей, понял?! — И снова принялся хлебать чай деревянной ложкой.

Мальчик, съездившись, выскочил наружу. От обиды и унижения в горле застрял колючий горький комок, на глазах набухли слезы. И ребенок поклялся, что никогда больше не переступит порог этого дома, никогда не будет считать даже знакомыми семью дяди. Мухтар знал, как сильно не любят родственники мать, и все же надеялся, что они не оставят в беде. Но оказалось, что даже самые близкие люди не забыли и не простили матери того проклятия, которое она обрушила на них в день смерти мужа.

Мухтар не помнил отца — тот погиб, когда сыну исполнилось четыре года. Мать рассказывала: страшная засуха опустошила округу, уничтожила посевы, выжгла

всю зелень. На самом же деле это был искусственный голод, сотворенный властями. И тогда отец вызвался отвезти в горы медную кухонную утварь. Он поклялся обменивать эти изделия на хлеб. Был отец сильным и бесстрашным, земляки уважали его, считали многоопытным, так как работал он на железной дороге. Потому все и согласилось. Принесли кумганы, газы, котлы, благословили Алим—гирея Карамова на святое дело. Вернулся отец, как и обещал, с зерном. Разделил все честно. Но ведь хлеба оказалось мало, а свое имущество, приобретенное трудами, накопленное за многие годы, представлялось таким дорогим, что за него рассчитывали получить гораздо больше. Вот и пополз от двора к двору шушок, что Алим—гирей, которому поверили аульчане, обманул их, раздал не все, привезенное от карачаевцев. Отца упрекнуть не осмелились, во всем обвинили мать: она, дескать, утаила для своей семьи зерно. Припасы, которые добыл в горах отец, аульчане проели скоро. Настало совсем тяжелое время. И теперь уже родственники, знакомые сами пришли в дом Карамовых, принесли серебряные украшения жен, сестер, матерей, попросили отца поменять и это в чужих аулах на еду. Отец, оскорбленный недоверием и сплетнями, не хотел сначала ехать, но подумал, подумал и согласился — ведь надо же людям как-то жить. Отправился. Когда возвращался, напали на него бандиты, разграбили подводу, а отца убили. Тогда-то обезумевшая от горя мать Мухтара и прокляла родню: «Пусть ангелы смерти вонзят раскаленные вертела в ненасытные желудки тех, кто послал моего князя на гибель! Пусть очаги в домах этих людей погаснут и навсегда покроются мертвым пеплом!» Перепуганные родственники, чтобы ослабить в глазах аульчан проклятие, сами обрушили на мать несправедливый гнев свой: обвинили, что она, якобы, украла после первой поездки чужое зерно, упрекнули, что пережила мужа, и, потеряв от возмущения и страха рассудок, договорились даже до чудовищной глупости — будто из-за жадности жены погиб Алим—гирей ...

Мухтар, стиснув зубы, посмотрел в потолок — показалось, что белая плоскость, наливаясь ядовитой желтиз-

ной, качнулась, начала опускаться. Он зажмурился — от воспоминаний стало муторно. Чтобы вернуть душе покой, Мухтар вызвал в памяти тот вечер, когда как оплеванный брел от брата отца: в сумерках, почти ночью, жена дяди, изгнавшего племянника, постучала в дверь и, молча сунув Мухтару узелок с хлебом, исчезла. Потом она еще не раз приносила еду. Оттого-то и поверила мать Мухтара, будто Аскер делится с ее сыном завтраком. «Время, время, все расставляешь ты по своим местам, любые раны залечиваешь. Дал я слово, что отрекусь от родства с Аскером, а сейчас разговариваю с ним по-братски. В гости к нему хожу, у себя принимаю его как самого дорогого человека, — Мухтар улыбнулся. — Даже Якубу простил я вину его ...»

Из-за Якуба Мухтар на всю жизнь остался хромым. Однажды, когда мальчик перелезал через плетень огорода, сосед — здоровенный, крепкий мужик — подкараулил его. Замахнулся сплеча палкой. Мухтар увернулся, удар пришелся по колену ... До рассвета проплакал ребенок, уткнувшись лицом в разостланную на полу отцовскую шубу. Плакал от нестерпимой боли в ноге, плакал от отчаяния и безвыходности — три-четыре картофелины, которые он, обмирая от страха, выкапывал вот уже несколько ночей в соседском огороде, вырывая по одному кусту, были для них с матерью единственной едой на целый день, а то и на два.

Мухтар вздохнул, шевельнул несгибающейся ногой, посмотрел на нее. Из-за этого увечья он не попал в армию, да и лишних осложнений испытал в жизни немало. «Зато я познакомился с Огурлы, — потеснила тяжелые думы радостная мысль. — За одно это спасибо судьбе».

...Утром, когда боль в распушем, почерневшем колене немного отпустила, Мухтар приковылял в правление.

— Дайте мне работу! — потребовал с порога у председателя.

Тот разговаривал с каким-то краснолицым усачом. Повернулся. Оглядел мальчика с веселым недоумением.

— Работу? Неужто отец не может прокормить тебя? Чей ты сын?

— Алим—гирея Карамова ...

— Ах, Карамова Алим—гирея ... — лицо председателя стало сочувствующим. — Того самого, что погиб? Понимаю, понимаю, — он рассматривал мальчика и постепенно взгляд его становился жестким. — Но ведь твой отец не был колхозником. Помнишь, Огурлы, как Алим—гирей заявил на первом собрании: «Брат брата не понимает, а вы хотите, чтобы чужие жили дружно. Люди потому вступают в колхоз, что силы вашей бояться». Сдал нам быков, чтобы, наверно, под раскулачивание не попасть, а сам устроился работать на железную дорогу. Против мнения большинства пошел, всех аульчан оскорбил ...

— Зачем ты при ребенке-то? — перебил усач.

У Мухтара от обиды за отца потемнело в глазах, задрожали губы.

— Я работать хочу! — хрипло выкрикнул он. — Мне есть надо.

— Нет у меня для тебя работы, — отрубил председатель. — Ты сын единоличника и поэтому не член колхоза. И вообще — мал еще. В школе твоя работа.

Мухтара качнуло от слабости, закружилась голова, и он почувствовал, что сейчас упадет. Чтобы не опозориться перед недругами отца, мальчик выскользнул за дверь и, хватаясь за перила, спустился с крыльца. Еле-еле добрал до могучего тополя возле ворот и опустился на землю... Очнулся от чьего-то встревоженного голоса:

— Мальчик, что с тобой?

Поднял глаза. Над ним склонилось красное лицо того, кого председатель назвал Огурлы.

— Нам с мамой нечего есть. Скоро мы умрем от голода, — отрешенно, равнодушным голосом сказал Мухтар. Хотел встать, но, застонав, схватился за колено и повалился на бок.

— Болит? — усач камчой, висевшей на запястье, указал на ногу.

Мухтар кивнул и снова попытался встать. Огурлы стремительно наклонился, всунул ладони под мышки мальчика и легко поднял его. Тот вцепился в суконную гимнастерку и не решался разжать пальцы.

— Что с ногой? — в голосе мужчины было сострадание, во взгляде — раздумье.

— Ушиб, — Мухтар опустил глаза.

— Ничего, вылечим!

Огурлы улыбнулся, посадил мальчика на коня, привязанного к тополию. Освободил узду, вскочил по-молодому в седло, прижал к себе Мухтара и повез его к знахарке.

Старуха натерла больное колено какой-то душистой едкой мазью, туго запеленала в тряпки. Достала бутылку с густой зеленой жидкостью, велела смазывать ушиб. Около ворот дома Мухтара Огурлы бережно опустил на землю, погладил по бритой голове.

— Когда перестанет болеть нога, приходи к Коян-йылга, — сказал он, развязывая артпак¹. Достал лепешку и огромный кусок сыра, сунул эту еду в руки мальчика. — Будешь мне помогать пасти отару. Председателя я уговорю! — Лихо расправил усы, вскинул ладонь к виску, словно честь отдал. — Выздоровливай! — И ускакал, оставив ленно оседающее облако пыли.

Вечером дочь Огурлы принесла на коромысле ведро муки и ведро айрана² — невиданное в доме Карамовых богатство.

Через неделю Мухтар пришел к кошу Огурлы, хотя нога сильно болела, и стал подпаском. Это было самое счастливое время недолгого детства — солнце, степь, свирель Огурлы, вечерний костер под звездным небом, неспешные рассказы чабана о житье-бытье, а главное — вдоволь еды: пахучая, обжигающая похлебка, чай, щедро сдобренный молоком, куриные яйца, которые они отыскивали в соломе около кошары, в старых скирдах, и пекли в горячей золе.

«Если бы не Огурлы, не дожил бы я до нынешних дней, не стал бы таким, какой есть, не видеть бы мне своих детей», — не раз повторял Мухтар. Подумал он об этом и сейчас. И прошептал:

— Пусть ему земля будет пухом!

— Ты чего бормочешь? — Ольмесхан зевнула, посмотрела на окно. — Все еще льет ... И что за погода!

¹Артпак — пастушья сумка.

²Айран — кислое молоко.

Мухтар не поддержал разговор. За четверть века семейной жизни Ольмесхан научилась понимать мужа и сейчас догадалась, что он хочет побыть один. Встала с постели молча оделась и пошла доить корову.

Когда возвращалась из хлева, Мухтар был уже около трактора. Ольмесхан гордилась, что мужу — «лучшему механизатору, ветерану труда», как называли его на собраниях, — начальство разрешало оставлять трактор около дома. Знала, что Мухтар дорожит таким доверием: каждую свободную минуту чистит машину, смазывает копается в моторе. На работе мужа уважают — всегда Карамов на первом месте, всегда, будь то зной или слякоть, безотказно выполняет, что прикажут: не спорит, не ругается, не жалуется. Еще затемно выкатывает его синенький «Беларусь» за ворота. В ауле даже пошучивают, что лежебоки, проспавшие утренний клич петуха, могут отмечать начало рабочего дня по бодрому стрекоту карамовского трактора. Утро для Мухтара и в будни, и в воскресные дни, и в праздники, всегда начиналось одинаково — еще не позавтракав, первым делом проверит, опробует двигатель, Сегодня же, судя по всему, копаться в моторе не собирался — запахнувшись в ватник, стоял и глядел равнодушно на трактор. Лишь изредка, когда попадал за шиворот дождь, поводил плечами, словно недоумевал или возмущался. Ольмесхан удивилась, но как-то мельком. У нее были свои заботы: дети, кухня, стирка, уборка.

Как только за женой мягко стукнула дверь, Мухтар медленно повернулся, оглядел, точно впервые увидев, двор, прислушался к далеким крикам пастухов, которые напоминали, что пора выгонять скотину, и, обходя лужи, чтобы не запачкать чистые кирзовые сапоги, побрел отвязывать корову и бычка. Выгнал их за ворота, хлестнул веревкой. Провожать не пошел — дождь! Понаблюдав за тем, как из соседних дворов выходят не спеша коровы, быки, телки и, растянувшись по улице, понуро шагают к околице. Посмотрел налево, направо — людей не видно, не с кем даже словом перекинуться. И пошел домой.

Ольмесхан уже накрыла низенький столик — сыпыру и, поджидая мужа, застыла на табуретке около газовой

плиты. Мухтар, не глядя на нее, уселся поудобней, взял деревянную ложку, зачерпнул густой ногайский чай. Жена, соблюдая обычай, отвернулась, чтобы мужчина не видел, как она ест, и отпила из пиалы. Когда позавтракала, собрала в ладонь крошки с подола, встала.

— Не знаю, что делать с Муратом, — пожаловалась, — Никак не хочет копать картошку.

— Чего это он? — Мухтар от удивления даже ложку до рта не донес. — Почему?

— Мне, говорит, к экзаменам готовиться надо.

— Экзамены — дело важное, — решил Мухтар. — Не мешай ему. Может, наш сын таким ученым человеком станет, каких еще не было в роду Карамовых.

Черные блестящие глаза его повеселели, жесткие усы шевельнулись, улыбка обнажила слегка пожелтевшие, но ровные, крепкие зубы.

— Ученым? — ахнула Ольмесхан и засмеялась, прикрыв рот ладонью. — Да он просто отлынивает от работы, чтобы целыми днями гонять на велосипеде ...

— Велосипед я запрю, — твердо заявил Мухтар. — А на огороде пусть Али поработает.

— Али и так уже пол-огорода выкопал. И мне совхозную свеклу помогал убирать. А ведь парень устает в мастерской, и в армию ему в этом году — надо бы отдохнуть, погулять, — Ольмесхан с укором поглядела на мужа, поджала губы. — Ты лучше задай Мурату трепку, а то привык на старшего брата сваливать.

— Если справишься, сама задай, — Мухтар усмехнулся, но сразу посерьезнел. — Я на детей руку не поднимал и не подниму!

Смуглое, почти черное, обветренное лицо его стало суровым, и жена поняла; что дальше разговаривать на эту тему бесполезно. Оправила передник, замерла, ожидая, когда муж кончит завтракать.

— Интересно, будет Апас в такой дождь разносить почту или нет? — словно размышляя вслух, спросил неожиданно Мухтар.

— А что ему дождь? — Ольмесхан растерялась от вопроса мужа. — Апас — работник добросовестный. — И успокоила: — Получишь свои газеты, никуда они не денутся.

— Э-э, газеты, — Мухтар слегка скривился. — Их и завтра посмотреть не поздно.

— А тебе чего надо? — удивилась Ольмесхан. Хмыкнула. — Неужто все еще письмо ждешь?

— Ничего не жду! — вскипел Мухтар. — Разве нельзя с тобой просто так, ни о чем поговорить?! — И вышел, хлопнув дверью.

Он направился было к летнему хлеву, чтобы выгрести навоз, но на полпути передумал, свернул в зимний сарай.

Отдернул занавеску на окошечке, осмотрелся. От тонкого сладковатого запаха стружки в ящике под длинным добротным верстаком, от вида пил, ножовок, рубанков, фуганков, стамесок, развешанных по стене, аккуратно расставленных, разложенных на полке, настроение улучшилось. Мухтар погладил доски, составленные в углу. Их вчера привез сосед Парисбий, которого все звали на русский манер Борисом, и попросил сделать оконную раму для какого-то приятеля. Материала хватало на десяток рам, но Борис добродушно отмахнулся: «Что останется — возьми себе». Столярничать Мухтар любил, но тесу у него почти никогда не было, поэтому заказу обрадовался. Выбрал доску потолще, разметил, чтобы распилить на рейки, потянулся за ножовкой, но тут взгляд упал на связку ровненьких ореховых заготовок для свирели.

Со свирелью Мухтар никогда не расставался. Бывало, наматается по полям так, что от тряски голова кружится и белый свет становится немилым, но стоит заиграть, как уходят мрачные мысли, светлеет на душе, словно в непогоду выглянуло из-за туч солнце, а в жару набежал прохладный степной ветерок. И люди, слушая его, тоже теплели лицами, улыбались, переглядывались, повеселев ... Играть Мухтар научился у Огурлы. И сейчас еще помнит, как сладко ныло сердце, когда он, мальчишка, сидел у костра, обессиленный работой, и, чувствуя, как покидает тело усталость, слушал, впитывал заунывные, тревожащие кровь старинные ногайские напевы, которые выводил чабан. Всфыркивали расседланные кони, мягко топтались, шевелились в темноте овцы, еле слышно булькал в котле суп, и запах вареного мяса сплетался с горьковатым кизячным дымком — было хорошо,

мирно, уютно, казалось, что впереди ждет долгий и светлый праздник ...

Мухтар выбрал из связки ореховый ствол потоньше, осмотрел его, пощелкал ногтем и, сдвинув в сторону заготовку для рамы, принялся мастерить свирель — последняя сломалась вчера, когда переносил в сарай доски Бориса. Дождь за открытой дверью монотонно шелестел в листве алычи, пузырил с вкрадчивым бормотанием лужн, и под эти неназойливые однообразные звуки всплыло опять перед Мухтаром прошлое ...

Огурлы умер, когда Мухтару было уже за тридцать. Он пришел в осиротевший без старика дом и не выдержал—заплакал. Ведь Огурлы был Мухтару вторым отцом: когда у мальчика умерла мать, чабан упросил тетю Шайдат, чтобы она отдала ему мальчика на воспитание.

— Атай меня от смерти спас. Я ему жизнью обязан, — не скрывая слез, повторял Мухтар, обнимая названных братьев. — Как нам теперь жить?

Сыновья покойного, его родственники успокаивали Мухтара, говорили, что негоже мужчине так убиваться, но сами еле сдерживались, чтобы не заплакать.

Мухтар взял неделю отпуска за свой счет и все семь дней, когда поминают усопшего, не отлучался со двора Огурлы: вместе со старшим сыном покойного нес в первой паре погребальные носилки, встречал и провожал аульчан, приходивших почтить память умершего, помогал по хозяйству и даже рубил хворост, колол дрова, хотя обычно это делают подростки. На сороковины зарезал для поминок своего самого откормленного барана, а ночью ушел в степь и, оставшись там наедине с печалью и воспоминаниями, впервые сыграл, прощаясь с приемным отцом, самые любимые и, оказывается, не забытые мелодии детства. Играл на свирели Огурлы, которую выпросил у родственников старика, и на душе была такая горечь, какой не испытывал со дня смерти матери ...

Сейчас, очистив палочку от коры, разметив дырочки для пальцев, осторожно закрепил ее в тисках; взял электропаяльник, в котором был зажат раскаленный стальной прут, поднес конец этого выжигателя к торцу будущей свирели. Центр белого кружочка потемнел, над

верстаком всплыл, переливаясь, легкий дымок, и в его прозрачной, изменчивой голубизне увидел Мухтар синие губы матери ...

— Сейчас я умру, сынок, — прошептала она еле слышно. — Но ты не бойся и не плачь. На все воля аллаха.

Протянула руку, погладила сына, и тот испугался — до того была холодна ее ладонь.

— Соседей позови. Тетю Шайдат позови. Ее обязательно. Это моя последняя просьба, мой последний наказ ... — голос матери прервался, доброе ее лицо стало отрешенным, рука упала на постель. Длинные тонкие пальцы сжались на секунду, точно попытались что-то удержать, и, резко распрямившись, растопырившись, замерли.

Мухтар упал лицом на грудь матери. И от того, что щека не ощутила даже намека на дыхание, от того, что впервые стало тихо — не было слышно ни слабых стонов, ни хрипов, мальчик понял: все! Смерть!

— Ана-ай! — пронзительно закричал он, чувствуя, как проваливается в какую-то густую, липкую тьму.

Когда очнулся, тело матери будто одеревенело.

— Анай, анай ... — звал, умолял он, глотая слезы ...

Мухтар оклеил мелкозернистой наждачной бумагой деревянную спицу и принялся прочищать отверстие в будущей свирели — надо отполировать до блеска, тогда и звук будет чистым. Работа требовала внимательности, поэтому воспоминания отступили. Но стоило Мухтару поднести к глазам свирель: гладко ли? — как прошлое снова всплыло в памяти. Словно в подзорную трубу увидел ...

Вот он, приволакивая истерзанную больную ногу, измученно поднимается по каменистой дороге на гору, за которой живет тетя Шайдат. Пыль, духота, печет солнце. Пот и слезы изъели глаза, щеки; губы пересохли, Мухтар жадно хватая ртом раскаленный воздух, но рыдания стиснули горло, он задыхается. Шаг, другой, еще один. Зацепившись за камень покалеченной ногой, мальчик рухнул, уткнувшись головой в горячий песок и щебень. Не в первый уже раз. Но до этого мольба, которая звучала в ушах: «Тетю Шайдат позови; ее обязательно...», поднимала Мухтара, и он брел вперед. А сейчас не хотелось

даже шевелиться, хотелось умереть, чтобы где-то там, в неизвестности, куда навсегда уходят отжившие, встретить мать и больше с ней не расставаться. «Шайдат ... позови. Это моя последняя просьба, мой последний наказ», — явственно услышал он за спиной и испуганно оглянулся. Надсадно подвывая, медленно вползала на гору полупорка, и в стоне ее мотора звучало повеление: «Шайдат!.. Шайдат!» Мухтар встал и, когда грузовик поравнялся, метнулся, словно падая, к нему. Подпрыгнул. Ухватился за задний борт, как делают это аульские озорники, когда хотят прокатиться, и повис — вскарабкаться не было сил. Люди в кузове подхватили за руки, втащили ... На вершине горы машина остановилась. Рыжий, с лютыми зелеными глазами, водитель выскользнул из кабины на подножку, легко переметнулся через борт.

— А ну слезай, косоглазый!

И не успел Мухтар еще испугаться, как в ушах тоненько зазвенело от затрешины, в голове вспышкой взорвалась боль, ослепила, и тут же мальчик почувствовал, что его сначала вздернуло за шиворот вверх, а потом он полетел куда-то вниз. Удара о дорогу он уже не помнил ... Очнулся в доме тети. Узнал, что какой-то русский, сбив кулаком шофера, выскочил из кузова и, когда машина умчалась, понес на руках Мухтара, пока не встретил запыхавшуюся Шайдат, которой аульчане, ехавшие в полупорке, рассказали о беде с племянником. Долгие годы искал Мухтар своего заступника, но так и не нашел, даже имени и фамилии его не узнал ...

Зачистив последнюю дырочку для пальцев, Мухтар поднес свирель к губам и выдохнул, изгоняя из груди горечь и тоску. Долгий, переливчатый, как эхо в горах, звук поплыл в воздухе.

Время неумолимо движется вперед, снимая боль, притупляя радость. Горе, черной, уродливой скалой выросшее когда-то в жизни, и сейчас еще давит камнем на сердце, но годы все же сгладили острые, ранящие выступы и грани, превратили этот некогда жуткий утес печали в обкатанный валун обиды, а беды и огорчения поменьше стали казаться и вовсе не значительными, точно песок воспоминания, а то и совсем забылись. Вот и при мысли о рыжем шофере давно уже не покрывается тело

липким холодным потом страха, и при раздумьях о том неизвестном русском не обжигает щеки стыд за то, что не отыскал этого человека, не стал до конца дней его кунаком и братом. Даже самое тяжкое чувство ослабило время — то чувство отчаяния, одиночества и безысходности, которое охватило Мухтара, когда он с тетей Шайдат перешагнул порог своего дома и увидел уже приготовленную соседками к погребению мать — маленькую, сухонькую и, казалось, скорбно виноватую ...

Свирель выводила старинную прощальную песню. Заунывная мелодия то поднималась высоко, словно в плаче, то опускалась до глухих сипловатых придыханий; Мухтар смотрел в открытую дверь на свой большой, четырехкомнатный дом из белого силикатного кирпича, но видел не его, а саманную хату, которая стояла когда-то на этом месте и в которой умерла мать ...

— Салам алейкум, Мухтар! — степенно, по-взрослому поздоровался мальчишка, неожиданно появившийся на пороге.

— А-а, Юсуп. Алейкум салам! — тоже серьезно поприветствовал Мухтар, но не выдержал, улыбнулся: очень уж важным казался карапуз. — Заходи, гостем будешь.

Толстый, неповоротливый Юсуп, которого Мухтар любил больше всех соседских детей, не спеша вошел, шаркая по земляному полу растоптанными кирзовыми сапогами, доставшимися видно, от старшего брата; сдвинул за спину капюшон замызганной болоньевой куртки, которую, судя по всему, тоже донашивал после брата.

— Музыку услышал вот и пришел, — пояснил он. Шмыгнул носом. — Сделал мне коня?

— А как же! Держи, — Мухтар достал из-под верстака палку, на конце которой красовалась выпиленная из доски лошадиная голова.

— Ого, вот здорово! Лучше, чем у Эльдара! — обрадовался Юсуп, мигом утратив всю свою солидность.

Схватил палку, перебросил через нее ногу, будто в седло вскочил, и запрыгал на месте, заулюлюкал, размахивая рукой.

Мухтар улыбнулся. Он любил мастерить детворе всякие пустяковины: деревянные арбы, мельницы, пистолеты, сабли, глиняных лошадей, собак, свистки в виде пе-

тушков. Первые игрушки сделал для Али, когда тот едва начал ходить; потом — детям родственников и знакомых. А вскоре аульская ребятня стала сама приходить к нему с просьбами и заказами. Никому не отказывал он и вот уже много лет снабжает малышню поделками.

— Ну беги, объезжай своего коня, — Мухтар ласково потеревил мальчика за щеку и слегка подтолкнул его.

Упершись ладонями в стойки двери, проследил, как Юсуп, смешно взбрыкивая ногами в тяжелых сапогах, умчался со двора, зажав в руке палку, изображающую флаг; вспомнил мельком и без обиды деда этого малыша — старика Якуба, похороненного лет пять назад, и снова подумал о быстротечности времени. От этой мысли опять начала нарастать грусть, и Мухтар, испугавшись, что вновь накатит прежняя необъяснимая тоска, торопливо перевел взгляд на дом. Посматривая на блестящую светлую жесть крыши, зеленые ставни, прислушиваясь к деловитому бормотанию дождя в тоже зеленых водосточных трубах над крепкими деревянными бочками, почувствовал Мухтар, что на душе становится веселее.

Он не сразу решился строиться — хлопотное это дело. Но подрастали дети, в родительской избенке становилось тесно, да и перед соседями, которые воздвигли белокирпичные добротные особняки, стало неудобно. И Мухтар решился. Позапрошлой весной перебрался со всей семьей в сарай, зарезал барана, с десяток кур, купил водки и организовал талаку — созвал родственников, соседей, знакомых. Под радостные визги и вопли детей, мужчины сообща разрушили саманные стены, поставленные отцом Мухтара, сообща очистили участок, вырыли траншеи, сложили фундамент из больших камней, загодя принесенных с берега Кубани Али и его сверстниками. Ольмесхан, тетя Шайдат и Фатима — жена двоюродного брата Аскера — приготовили отменный обед, и, когда работа закончилась, грянул той. Мухтар тоже не раз ходил помогать аульчанам строиться, поэтому на расходы не поспешил — знал, что после совместной, плечом к плечу, работы людям хочется побыть вместе, продлить радость общения, повеселиться, потому что такое вот, всем миром, дело — это не, только тяжелый труд, но и праздник ... Стены Мухтар решил сложить сам, хотя для

такой работы обычно приглашались мастера. Мухтар тоже хотел было через Бориса подрядить за тысячу рублей бригаду, но передумал: и денег если честно говорить, жалко, и — главное — обидно стало, что дом будут воздвигать чужие, равнодушные руки. Думал Мухтар, думал, в райцентре побывал, понаблюдал за работой каменщиков и решился. Сначала дело продвигалось медленно, но потом, когда Аскер, работавший когда-то в стройбригаде, показал кое-какие приемы, рассказал о кое-каких тонкостях и хитростях, работа пошла на лад.

Все лето, несмотря ни на зной, ни на дождь, воздвигал Мухтар, не разгибаясь, стены: во время отпуска — от зари до зари; в другие дни по вечерам. Ольмесхан и Али замешивали раствор, подносили кирпичи. Вся семья устала, издергалась. Зато какая была радость, как ликовали, когда Мухтар выложил последний карниз. Сделал он его красивым, веселым, чередуя белый кирпич с красным, чтобы перекликался узор с краснофигурными ромбами в простенках между окнами. Этими ромбами Мухтар очень гордился — сам придумал!

Осенью созвали народ на еще одну талаку — поднять и установить стропила, обмазать глиной потолок, оштукатурить дом изнутри. До холодов Мухтар успел обить жестью крышу, зимой столярничал. И весной, когда дом уже дал осадку, Мухтар настлал полы, навесил двери, вставил окна. Летом справили новоселье. Тоже хорошее дело. Дали людям возможность радость с хозяевами разделить и подарки к тому же получили: от товарищей по работе — настенные часы, от детей Якуба — стулья, от Аскера с женой — стол, от тети Шайдат — клеенку, от соседа Бориса — ковровую дорожку. Другие гости тоже не с пустыми руками пришли: принесли, по традиции, кто десять рублей, кто пятнадцать — пригодится новоселам на обжитье ...

«Вернется Али из армии, женится, будет жить в тех двух комнатах, что пустуют сейчас, — привычно размышлял Мухтар. И так же привычно подумал, что все равно старшему сыну придется со временем отделяться — с родителями должен жить младший, даже когда обзаведется семьей. — Ничего, силы будут, я для Али еще лучше дом поставлю, а если не смогу ... Что ж, Али сам отстро-

ится. Руки у него умелые, парень он работающий, понятливый, не то, что Мурат. — Мухтар нахмурился: вспомнил сегодняшний разговор с женой. — И в кого он пошел? — подумал о младшем сыне. — Беспечный какой-то. Что ни скажешь, только смеется, дурачком прикидывается ... Избаловали мы его!»

Посмотрел на пузырящиеся лужи, на трактор, который под дождем казался каким-то сиротливым, на обвисшие ветви алычи, на мокрый стожок прошлогоднего сена, укрытый набухшим, почерневшим брезентом; поднял голову — с грязно-серого неба тянулись к земле неразрывные струи, которые сливались вдали в сплошную пелену.

— Ну и льет! — вздохнул Мухтар. — Вот скука-то. Скучища!

Отошел к верстаку, сгорбился на табуретке, поднес к губам свирель. С ним и раньше случались приступы необъяснимого унынья, которые удивляли Мухтара: с чего такое настроение, почему? И в семье, и на работе все ладно, все хорошо, а вот подступит вдруг к сердцу такая тяжесть, что глаза бы на белый свет не глядели: жизнь начинала казаться пустой, неинтересной, хотелось, чтобы в ней произошло что-то неожиданное, но что именно — Мухтар и сам не знал. В такие минуты он, присев в сторонке от людей и глубоко задумавшись, бесцельно строгал карманным ножом подвернувшуюся под руки палочку или, невидяще уставившись в даль, подбрасывал на ладони какой-нибудь камешек... Свирель выпевала протяжное, жалобное — Мухтару вспомнилось, как работал он плугатарем, когда после войны не хватало рабочих рук, вспомнилось, как рябило в глазах, как кружилась голова от однообразной борозды, на край которой напалзал бесконечный пласт отваливаемой земли, как боялся задремать и упасть под лемех; вспомнились детишки — первенцы — мальчик и девочка — умершие сразу после рождения; вспомнилось, как пострашнела, постарела от горя жена, но тут же всплыло в памяти, окрашенное зеленоватой дымкой, смуглое, с крапинками веснушек лицо юной Ольмесхан ...

Она каждое утро ходила мимо дома тети Шайдат за водой, и Мухтар, уже умывшись, причесавшись, надев

чистую рубашку, наблюдал за девушкой, спрятавшись за ореховое дерево. Потом долгие полчаса ждал, когда она, тоненькая, гибкая, будет возвращаться от реки, осторожно ступая и слегка подавшись вперед под тяжестью коромысла с ведрами. Следил за девушкой пока она не скрывалась из виду, переодевался в спецовку и шел на работу. Его на сезон перевели сюда, во второе отделение совхоза. Мухтар обрадовался, что может хоть на время уехать из аула. Его не взяли в армию, и он сильно переживал — на тех, кто не служил смотрели чуть ли не презрительно. Мухтар и до этого стеснялся своей хромоты, а теперь почувствовал себя совсем несчастным: не решался показаться на улице рядом с одноклассниками, а на девушек и взглянуть-то не осмеливался. Стал замкнутым, нелюдимым, брался, чтобы забыть, за любое дело и осваивал его до тонкостей, надолго задерживаясь после работы, — лишь бы домой не идти. «Обидно за парня, — говорили меж собой аульчане. — Трудится, точно вол, с утра до вечера, а радости в жизни не видит. Все один да один». В ауле, где жила тетя, знакомых среди молодежи у Мухтара не было, и он почувствовал себя уверенней, бодрей, стал веселее смотреть на жизнь. А когда увидел Ольмесхан и затем каждое утро стал поджидать ее, спрятавшись за дерево, то забывал на время о всех бедах и обидах. Правда, поговорить с девушкой хотя бы, словно случайно, встретиться с ней на улице не хватало духу. Но зато как радостно было наблюдать за Ольмесхан по утрам, как приятно было засыпать и просыпаться с ее именем. «Вот если б она согласилась стать моей женой!» — мечтал Мухтар. И не замечал он, что тетя Шайдат с каждым днем все лукавей и лукавей посматривает на него.

Однажды, спрятавшись, как всегда, за деревом, Мухтар увидел, что Ольмесхан, шедшую с ведром, остановила тетя Шайдат:

— Ольмесхан, голубушка, за что же ты нашего парня покоя лишила? — услышал Мухтар.

— Не понимаю, Шайдат-абай¹, о чем вы, — чуть слышно отозвалась Ольмесхан.

¹Абай — обращение к пожилой женщине.

Мухтар почувствовал, что щеки его будто кипятком обварило. Он сжался, желая стать совсем незаметным, затаился за деревом.

— Не понимаешь? — Шайдат засмеялась. — А чья рубаха вон там белеет, тоже не знаешь?.. Выходи, выходи, племянник, хватит прятаться.

Но Мухтар крепко зажмурился и не шелохнулся.

— Абай, зачем вы так... Не нужно, — попросила девушка, и по голосу было件нятно, что она еле говорит от смущения.

— Почему не нужно? Очень нужно. Ага, покраснела, выдала себя. Жди скоро сватов!

Мухтар открыл глаза, когда тетя дернула его за рукав.

— Хорошую девушку облюбовал: красивую, статную, работающую, — весело похвалила она. — Будет Ольмесхан тебе женой, а мне невесткой. Я своего добьюсь!

И зачастила к матери девушки.

— Племянник мой и собой не плох, и работу всякую знает, — нахваливала тетя Шайдат. — Ценят его в совхозе, на помощь сюда прислали. Видела, небось какую огромную машину водит? На том берегу Кубани рев ее слышен ...

Мать Ольмесхан, соглашаясь, что Мухтар человек достойный и работник отличный — любой это подтвердит, отвечала все же неопределенно: что, мол, дочь скажет?

— Ваша девушка хороша собой, слов нет; может, конечно, сама жениха выбирать, — поддакивала Шайдат и, поджав губы, пугала: — Только смотрите: как бы в невестах не засиделась. Давно уж на выданье ...

А в последний раз прямо заявила:

— Дочь ваша попадет в хорошие руки, это я твердо обещаю. Кроме того, подумайте, какая судьба ее ждет: свекрови у нее не будет, чтобы работой мучить, свекра — тоже ... Станет жить, как княгиня, сама себе хозяйка.

Убедила. На следующий день заслала сватов. Договорились, что Мухтар не будет «красть» Ольмесхан, хотя похищение невест давно уже превратилось всего лишь в свадебный ритуал. Отец девушки хочет, чтобы дочь торжественно, при всем народе, вывели из родного дома ...

Свирель давно уже журчала бодрым весенним ручьем, но теперь в ее напеве появилось что-то смущенное, застенчивое и насмешливое одновременно.

После свадебного пира жениха отвели в спальню, где в углу за занавеской сидела невеста. И хотя весь вечер дружки, посмеиваясь, объясняли ни живому ни мертвому Мухтару, как он должен себя вести и тетя Шайдат напутствовала: «Не робей, племянник!» — молодой муж, как только оказался наедине с женой, опустился на табуретку и не шелохнулся. Краснея, бледнея, смотрел он исподлобья на белую занавеску, откуда не доносилось ни дыхания, ни шороха, ни звука. Так и сидел Мухтар, оцепенев, пока не загалдела под окнами озорничающая молодежь. Мухтар вскочил, задернул оконную шторку и на деревянных ногах подошел к занавеске. Отодвинул ее, приготовившись, что девушка, как объясняли ему, будет противиться — так положено. Но Ольмесхан сама протянула горячую руку, поднялась со стула и, опустив голову, покорно пошла к постели. Выпрямившись, окаменев, не глядя друг на друга, просидели молодожены всю ночь на краешке кровати. Когда начало светать, Ольмесхан чуть слышно напомнила:

— Тебе скоро уходить. Ты бы лег ... отдохнул.

От этого ласкового, полного нежности голоса у Мухтара радостно перехватило дыхание. И тут же он насторожился — показалась нескромной прямота жены. «Вдруг она не девушка? Красивая, а что-то слишком долго замуж не выходила. Может, согрешила, потому за местного и выдать не могли, а про меня решили — хромой и такой рад будет — но Мухтар устыдился таких мыслей и обозлился на себя. — Что я с ума, что ли, сошел? Ведь это — Ольмесхан!»

Он обнял ее, и словно жаром обдало — перед глазами за клубился зеленоватый, зыбкий туман ... Счастливый Мухтар разглядывал смутно различимое в полумраке лицо жены, осторожно гладил кончиками пальцев ее брови, закрытые глаза, губы, застывшие в слабой, умиротворенной улыбке.

— Ольмесхан, дорогая ...

Все десять дней, которые Мухтар, соблюдая обычай,

должен был проводить в комнате невесты, незаметно для старших пробираясь туда, не смел он заговорить с женой. Лишь иногда, когда переполняла радость, шептал: «Ольмесхан, дорогая ...», вкладывая в эти два слова всю любовь,

Осенью, закончив сезонную работу во втором отделении, Мухтар перевез жену и приданое в пустовавший дом своих родителей. Справил то ли новоселье, то ли еще одну свадьбу, а вернее, устроил пир для Огурлы, чтобы смягчить боль расставания с ним. И зажил своей семьей.

Сколько лет прошло, а кажется, что было это вчера.

Подернутое зеленоватой дымкой светлое и незабываемое вчера ...

Мухтар перестал играть, посмотрел сквозь завесу дождя на дом, представил, как Ольмесхан, беззлобно ворча, кормит детей завтраком, и решил строго поговорить с Муратом, о чем просила жена. С женой он прожил в ладу: всегда понимали и уважали они друг друга, вместе несли тяготы, заботы, беды, вместе радовались хорошему, и в глазах аульчан Мухтар и Ольмесхан были единым понятием — семьей Карамовых. Видели они и счастье и горе; счастье осталось с ними, горе притупилось, сгладилось — так сглаживает река угловатые камни, превращая их в обкатанную гальку. «И наша жизнь, как река, — подумал Мухтар. — Слилась моя судьба с судьбой Ольмесхан, как сливаются два потока, чтобы, растворившись один в другом, течь по общему руслу». Особенно остро почувствовал Мухтар эту общность с женой в нынешнем году, когда, впервые в жизни поехав на курорт, разлучился с семьей на целый месяц и, возвращаясь домой, обнаружил вдруг, что очень соскучился по жене, что сердце, совсем по-юношески, ноет от любви к Ольмесхан. Он невольно улыбнулся вспомнил Ялту, дом отдыха, Ивана Харитоновича.

Когда после весенней пахоты и посевной Мухтара премировали путевкой, он сначала удивился, а потом

решительно отказался: «Курорт? Зачем мне курорт? Солнце? Солнца и у нас хватает. Море? Да разве сыщешь где-нибудь воду лучше, чем в Кубани? Нет, нет, не поеду, буду хозяйством заниматься, для дома что-нибудь сделаю самый хороший отдых!» Уговаривали и товарищи по работе, и соседи, и родственники, Мухтар только посмеивался: «На пляже, говорите, валяться буду? Делать ничего не надо? Не привык я быть лежебокой!» Убедила Ольмесхан. Боюсь, сказала, тебя отпускать, заблудишься ты в большом городе, еще и в беду какую — упаси, Аллах! — попадешь, но ехать надо: нельзя таким гордым быть, на людское уважение плевать; и начальство, сказала, нельзя подводить, в смешное положение ставить — слыханное ли дело, чтобы человек от награды отказывался?! Мухтар призадумался — правильно говорит жена: нехорошо получается — и решил ехать.

Через два дня он был в Ялте. Устал в дороге от многолюдья и новых впечатлений; нанервничался, пока искал дом отдыха и устраивался в нем. Когда получил ключ, уже проклинал себя за то, что приехал в этот город с его пестрыми, праздными толпами на улицах, с его незнакомой, непонятной жизнью. Маленькая, на двух человек, палата бодрости не прибавила. Мухтар оробел от казенной чистоты и опрятности, от картинок на стенах, от светлых покрывал на кроватях и даже от строгого графина на столе. Он хотел бы отдохнуть, но не осмеливался разобрать постель и не знал, можно ли днем спать. Посидел на краешке стула, не решаясь даже распаковать чемодан. «Какой уж тут отдых, если все непривычное, все чужое?» — подумал невесело и, чтобы совсем уж не приуныть, поспешил на воздух. Постоял перед входом и побрел не спеша вниз по ступеням вслед за стайкой хохочущих девушек, которых, заметил, когда оформлялся. «Буду держаться за ними — решил Мухтар. — Они, наверно, здесь не впервой». То обгоняли, то поднимались навстречу отдыхающие, и он, поглядывая на их веселые лица, почувствовал, как начало таять уныние, а когда вслед за девушками пересек шоссе и спустился на набережную, то, подойдя к парапету, чуть было не вскрикнул от восторга и изумления.

Перед Мухтаром лежало море. Оно было беспредельно и, теряясь вдаль, сливалось с небом, отчего казалось, что этот зеленовато-серый простор, переходящий в голубое, поднимается ввысь, нависает над землей и нет ему конца. «Неужели все это вода?» — поразился Мухтар, и на секунду ему стало страшно: показалось, что волны, с шипением наползающие на берег и медленно, неустанно возникающие одна за одной из глубины пространства, могут поглотить землю. Мухтар много раз видел море по телевизору и знал, что это — всего лишь огромный водоем, у которого есть границы и который мирно и дружелюбно служит людям. И все же казалось невероятным, что где-то там, вдаль, есть предел этой величественной, полной затаенной мощи, стихии. Мухтар перевел взгляд на огромный, лениво приближающийся белый теплоход и подумал о тех, кто на противоположном, неведомом берегу провожал этого исполинского красавца, и вдруг сразу, полностью, ощутил всю огромность пространства, которое раскинулось перед глазами, а вслед за этим представил города, народы страны, разделенные-объединенные морями и океанами. Конечно, он и раньше знал о том, что мир велик, что в нем множество людей и государств, но знания эти ничего не добавляли к пониманию им, Мухтаром, и себя, и своего места в жизни. Сейчас же пришло чувство необъяснимого единства, сопричастности и общности, слитности со всем окружающим: и с морем, и с небом, и с кипарисами, и с теплоходом, и даже с теми незнакомыми, непредставимыми людьми на другом берегу; пришло чувство, что он, Мухтар, частичка и часть некоего единства, в котором все взаимосвязано и взаимозависимо. Это потрясло Мухтара. Он долго бродил у самой кромки воды, то отступая от набегающей волны, то следуя за ней, и слабо улыбался. С улыбкой вернулся в дом отдыха, с улыбкой присел к столу и, уставясь невидяще в даль за окном, размышлял и размышлял об осенившем на берегу открытии, пытаясь постичь его суть, пытаясь понять свое назначение, свое место в мире и жизни.

Дверь распахнулась. Бодро вошел среднего роста крепыш в добротном серо-стальном костюме.

«Начальник какой-то», — решил Мухтар, взглянув на яркий красный галстук, на дорогой желтый чемоданчик гостя, и встал.

— Давайте знакомиться, сосед, — курносое лицо гостя так и сияло от удовольствия. — Меня зовут Иваном Харитоновичем. Шахтер из Донецка.

— Михаил... Андреевич, — пожимая руку, неуверенно представился Мухтар. Подумал секунду, добавил решительно, чтобы скрыть смущение: — Механизатор широкого профиля с Кавказа, — и слегка покраснел: впервые назвал свою профессию так, как пишется она в совхозных бумагах. Хотелось перед незнакомым человеком не ударить в грязь лицом.

В серо-зеленых глазах Ивана Харитоновича мелькнула незлая усмешка.

— Широкого профиля! — поднял он многозначительно палец и улыбнулся. Склонил лукаво голову. — А почему у вас русское имя?

— Вообще-то меня зовут Мухтаром, а по отцу — Алим-гиреевич, — еще больше покраснев, признался Мухтар. — Но так, наверное, проще запомнить.

— Запомню, Мухтар Алим-гиреевич, — перебил сосед, слегка споткнувшись на отчестве. — Так даже интересней.

— Лучше зови меня Михаилом Андреевичем! — настаивал Мухтар и подумал: «Тебе, видишь ли, интересно. А мне, может, интересно пожить с русским именем».

У них в ауле некоторые, особенно кто имел приятелей в райцентре или станицах, называли Николаем вместо Хасана, Иосифом вместо Юсуфа, Мишей вместо Магомеда. Мухтару это казалось хоть и диковинным, но солидным, и он очень хотел, чтобы и к нему, пусть даже только раз; обратились: Михаил. Конечно, в ауле никому и в голову не приходило называть Мухтара по-русски, а сам он боялся даже заикнуться об этом — знал, что поднимут на смех.

— Михаил Андреевич, так Михаил Андреевич, — добродушно пожал плечами Иван Харитонович и похвалил: — Я вижу, вы человек простой, свойский. Это хорошо. Нам вместе целый месяц жить, поэтому молодец, что сразу на «ты» перешел.

— Это нечаянно вышло, — Мухтар огорченно цокнул языком. — Ногайцы «вы» одному человеку не говорят. К ровеснику обращаются «дос», что значит — друг. А к пожилому, как вы, — «агай».

— Нет уж, зови лучше «дос», — засмеялся Иван Харитонович. — И, пожалуйста, безо всяких «вы». Я вот расскажу тебе одну историю ...

Распаковывая чемодан, поведал о том, что есть у него друг, с которым как поссорятся, так начинают «выкаты», следовательно, если уважаемый Михаил Андреевич не будет обращаться на «ты», значит чем-то обижен или хочет поссориться.

Новый жилец оказался человеком словоохотливым, рассказал, что еще мальчишкой воевал, попал в плен, бежал, был партизаном во Франции; после войны пять лет рубал уголек, поэтому считал, считает и будет считать себя шахтером, несмотря на то, что уже лет тридцать работает диспетчером, хотя давно пора на пенсию. Объяснил, что живет с сестрой, так как жена умерла двадцать два года назад, а другой такой женщины не встретил, поэтому и не женился во второй раз, да это, может, и к лучшему, потому что помог сестре вырастить двух детей, к которым она, кстати, каждый год ездит в отпуск, а он, Иван Харитонович, вот уже пятнадцать лет проводит свой отпуск здесь, в Ялте...

— Поэтому, дорогой Михаил Андреевич, город я знаю отлично, — Иван Харитонович повернулся к Мухтару, всунул руки в карманы, качнулся с пяток на носки. — Могу все тебе здесь показать. Хочешь?

— Надо посмотреть. Спасибо,

На следующее утро отправились на набережную. Было солнечно, тепло; с ровным шумом накатывала на гранит волна, визгливо кричали чайки, смеялись, шутили нарядные, беспечные курортники. Иван Харитонович опять рассказывал о себе, о шахте, о сестре и ее детях. Иногда он вдруг замолкал, останавливался, распахивал полы пиджака и, зажмурившись, приговаривал:

— Хорошо, ах хорошо! Вот воздух так воздух. Чувствуешь?

— Да, да, — рассеянно соглашался Мухтар, строго сдвинув брови и глядя прямо перед собой.

Он заметил, что прохожие с веселым недоумением по-сматривают на его каракулевую папаху, хромовые сапоги, китель и галифе из темно-синей диагонали. Мухтар никогда не задумывался над тем, как одет, но сейчас чувствовал себя неловко и испытывал к Ивану Харитоновичу легкую зависть. Она стала еще сильнее, когда выяснилось, что новый знакомый старше его на девять лет.

«Вот что значит костюм, — размышлял Мухтар. — И молодит человека, и вид ему, вызывающий уважение, а не насмешки, придает ... Завтра же куплю светлый пиджак и светлые штаны. И шляпу куплю!»

Когда вернулись в палату, сосед окончительно сразил Мухтара, надев синий спортивный костюм с белыми полосками на воротнике — в таком наряде, только попроще, Али бегал на тренировки. А ведь Иван Харитонович по сравнению с сыном совсем старик!

Вечером, когда выключили свет и легли спать, Мухтар, радуясь, что в темноте не видно его лица, спросил как можно равнодушной:

— Ты говоришь, что город хорошо знаешь. А магазины тоже все знаешь, Иван Харитонович?

— Угу, — сонно отозвался тот. — Завтра покажу, где одежда продается. Спокойной ночи.

— И тебе пусть снится только хорошее, — степенно пожелал Мухтар, а сам подумал: «Как это он догадался, чего мне хочется?», но, вспомнив набережную и увидев себя со стороны, понял: приятель тоже обратил — внимание, как одет спутник, но из вежливости ничего не сказал. «Хороший человек!» — твердо решил Мухтар. Долго еще не мог он уснуть — с мельчайшими подробностями стоял перед глазами нынешний день: дом отдыха, город — все так не похоже на жизнь в ауле.

Назавтра Иван Харитонович повел Мухтара в «Дом торговли» и там долго ходил вдоль развешанных рядами костюмов: рассматривал их, щупал, хмыкал, бубнил что-то неодобрительное. Наконец, выбрал — серый, в мелкую, почти незаметную клеточку. Снял его, придирчиво оглядел и отнес в кабину для примерки. Мухтар, который шаг в шаг ходил за приятелем, задернул шторку и, недоверчиво улыбаясь, суетливо переоделся. Посмотрел в

зеркало. Костюм оказался как раз впору, словно сшитый на заказ, и сухощавая фигура выглядела в нем не худой, как казалось раньше, а подтянутой, стройной. Мухтар понравился себе в обновке — стал словно бы моложе и на городского похож. Когда вышел в торговый зал, Иван Харитонович критически склонил голову к одному плечу, к другому.

— Да ты, Михаил Андреевич, красавец, — заявил удивленно. — Верно, девушка?

Молоденькая продавщица глянула мельком, улыбнулась вежливо.

— Вы прямо как киноартист.

Мухтар действительно был хорош: радостно блестящие глаза, крупный с горбинкой нос, жесткие черные усы, которые раньше выдавали в Мухтаре крестьянина, сейчас казались значительными, по-мужски привлекательными. Даже папаха, надвинутая почти на брови, оказалась, как ни странно, уместной — делало лицо мужественным.

Мухтару от похвал стало неловко и радостно.

— Выписывать? — сухо, пристукивая карандашиком по блокноту, поинтересовалась продавщица.

— Конечно. Обязательно! — Иван Харитонович еще раз оценивающе оглядел приятеля с головы до ног и вдруг захохотал.

Мухтар проследил за его взглядом, увидел, что стоит в одних носках и, сгорая от стыда, метнулся в кабину. Принялся торопливо натягивать сапоги. И замер.

— Как же мне штаны сделать? На выпуск? Или заправить в сапоги? — поднял недоуменные глаза на Ивана Харитоновича.

Тот, выпятив трубочкой губы, поднял в раздумье брови.

— По-моему, ни так, ни эдак не годится ... Ты обувь какого размера носишь? — поинтересовался деловито.

— Сорок первый.

— Жди меня здесь, — Иван Харитонович бодренькой трусцой засеменял от кабины.

Вернулся он минут через пятнадцать, когда Мухтар, расплатившись и получив свою старую одежду, которую продавщица завернула в бумагу, начал уже беспокоиться.

— Держи! — Иван Харитонович сунул Мухтару блестящие коричневые туфли. — А сюда сапоги положим, — весело помахал большой картонной коробкой.

— Спасибо, друг, — Мухтар растрогался и, чтобы скрыть это, полез, слегка отвернувшись, в карман за деньгами.

— Потом рассчитаешься, — удержал его руку Иван Харитонович. — Тебе, наверное, еще что-нибудь хочется купить: вдруг не хватит? — Увидев, что приятель собирается обидеться, попросил, указывая взглядом на туфли. — Сперва померь, может, не подойдут, менять придется.

Но туфли пришлись в аккурат по ноге. Одно плохо: в новой обуви Мухтар прихрамывал сильней.

Иван Харитонович заметил это, и когда они, нагруженные покупками, возвращались в дом отдыха, остановился около обувной мастерской.

— Я видел, что один каблук у тебя на сапоге чуть повыше, — отводя глаза, сказал он. — Может, хочешь и с туфлями то же сделать?

От такого внимания и заботливости Мухтару даже неудобно стало. Он благодарно посмотрел на соседа по палате.

— Так я пойду, договорюсь с мастером? — обрадовался тот и юркнул в дверь.

Через час, оставив в палате свертки, коробки, пакеты, приятели, как и вчера, гуляли по набережной. Мухтар, в голубой шляпе из тонкого фетра и новой, тоже голубой сорочке с пестрым галстуком, теперь смело смотрел в глаза прохожим; радовался, что ничем не отличается от других отдыхающих; недоумевал, что не догадался все это, или хотя бы костюм, купить раньше, еще дома, чтобы надевать на собрания и праздники.

Сблизившись в первый же день, Мухтар и Иван Харитонович были весь месяц неразлучны. «Никаких групповых экскурсий, — решительно заявил Иван Харитонович. — Я тут все знаю и покажу тебе!» Он очень любил Ливадию, и поэтому приятели зачастили туда чуть ли не каждый день: осматривали дворец, где заседали в войну главы союзных правительств. Дворец поразил Мухтара красотой и великолепием. Правда, еще больше поразило,

что вот-де когда-то здесь бывали такие великие, исторические люди, а теперь сюда запросто наведывается он, Мухтар Карамов. Но чаще всего Мухтар и Иван Харитонович гуляли по «солнечной тропе». Ступив на нее, Иван Харитонович распрямлял плечи, поднимал подбородок, поглядывал вокруг гордо и торжествующе, подолгу стоял в задумчивости около солнечных часов, сидел, вольно развалившись в беседке, поглядывал удовлетворенно на крутые уступы близких гор, на покрытый пирамидальными кипарисами берег внизу. Мухтар, подражая другу, тоже, сделав глубокомысленное лицо, стоял перед часами, тоже оглядывал из беседки окрестности, но не видел в прогулках по тропе ничего интересного. Ему больше нравилась набережная, заполненная отдыхающими. Там большие, красивые здания, там рядом море с резвыми катерами и белыми стройными теплоходами там весело, оживленно, празднично. Покорно отправляясь другом в Ливадию, становился Мухтар с каждым днем все более унылым. И Иван Харитонович заметил это.

— Вижу, Михаил Андреевич, надоела тебе эта «царская тропа», — виновато сказал он, подойдя к беседке. — Ты уж прости мою слабость. Любимое мною место в Крыму, поэтому я и не подумал, что другому может быть не интересно.

— Царская? — растерялся Мухтар.

— Ну да. Разве я не говорил об этом? — удивился Иван Харитонович. — По ней гулял царь, здесь он отдыхал. — Посмотрел вокруг слегка самодовольно и добавил: — А теперь я, Иван Харитонович Калягин, прохаживаюсь тут.

Мухтар не смог удержать улыбку: уж очень торжествующим выглядел друг. А тот внушительно поднял палец.

— И ты, Михаил Андреевич, ходишь там, где когда-то разрешалось бывать только особам царствующей фамилии!

Эти слова произвели на Мухтара оглушающее, ошеломляющее впечатление. Теперь он с удовольствием ездил в Ливадию; по-новому смотрел на горы, поросшие кустарником, на острые вершины кипарисов внизу, серозеленую гладь моря. Глубоко вдыхал полной грудью, и неизменно появлялась мысль: «Раньше он здесь ходил, а теперь я, тракторист Мухтар Карамов!»

Во время прогулок Иван Харитонович рассказывал о своей жизни, о работе на шахте.

— После войны все шахты в Донбассе были затоплены. А стране позарез уголек был нужен. Во время откачек по самое горло в воде простаивали, иногда и обвалы случались. Только горизонт откроем, и сразу — в забой. Не было тогда теперешних комбайнов, обушком работали. Всюду газ, по-шахтерски душегуб называем, воздуха не хватает, тогда, видно, мое здоровье и пошатнулось. Многие товарищи здоровье оставили в шахте, тоже фронтовики и, как я, потомственные горняки ...

Мухтару было обидно, что он не может так вот — просто и понятно — рассказать Ивану Харитоновичу о своей жизни хлебороба; стеснялся чего-то, не знал, как начать, как закончить.

Тот спросил у Мухтара:

— Михаил Андреевич, сколько у тебя детей? Я знаю, что у вас там на Кавказе многодетные семьи.

— Четверо, — улыбнулся Мухтар, — два сына, две дочки.

— Да, как по заказу, — бодрое лицо Ивана Харитоновича вдруг стало совсем другим, замкнутым, незнакомым. — А у меня было двое сыновей, в войну померли, а после — и жена Евдокия. Пережил всех я.

Только раз Иван Харитонович заикнулся о своих детях, и Мухтар понял, что его приятель, носящий в душе такое тяжелое горе, обладает большим мужеством не показывать его окружающим.

Мухтар представлял, как будет рассказывать о своем друге жене и детям, но думал о них как бы мимоходом. Иногда ловил себя на этом, удивлялся, что не тоскует по родным, но, поразмышляв, решил: таким и должен быть отдых — ни забот, ни тревог: отдых — это ощущение покоя и устойчивой ровной радости. Пусть так и будет!..

За месяц он так привык к новой одежде, что даже растерялся, когда, вернувшись с курорта, вошел во двор и увидел недоуменно-растерянное лицо Ольмесхан. Она кормила кур, да так и замерла с открытым ртом.

— Что с тобой, женщина? — истосковавшись по ней, по дому, по семье, Мухтар приготовил другие, ласковые слова, но вид жены, разглядывающей мужа, точно чужого, рассердил. — Не узнала, что ли?

— О, Аллах. И впрямь Мухтар! А я глазам своим не поверила, — Ольмесхан подбежала, схватила обшарпанный фибровый чемодан, понесла в дом. Оглянулась через плечо, хихикнула. — Вот нарядился-то на старости лет!

— Теперь будем жить по-новому, — заявил Мухтар, важно вышагивая следом. — Тебе тоже модное платье купим.

— Когда это я платья покупала? — удивилась Ольмесхан. — Сама сошью, если есть из чего.

— Есть, есть, — Мухтар не выдержал, обнял жену за плечи: очень уж соскучился. — Привез я тебе материал ... Только обязательно сшей по-городскому.

Она фыркнула, качала головой.

— Не узнаю тебя. Разве мужское дело про бабьи наряды говорить?

Дочери тоже встретили отца настороженно, почти испуганно. Он погладил каждую из них по голове, подхватил на руки, поднял, любуясь, высоко над головой. Но девочки не взвигнули, как обычно, не улыбнулись. Глаза их повеселели, плотно сжатые губы расслабились, только когда Мухтар вынул из чемодана кукол и конфеты. Дочки смущенно приняли подарки, отошли тихонько к своей кровати и, счастливые, зашушукались, захихикали.

— Отец, отец приехал! — раздался радостный вопль с улицы.

Мурат ворвался в комнату и, проскочив с разгону несколько шагов, остолбенел.

— Ну ты даешь, ата! — протянул изумленно. — Каким пижоном вернулся.

Засмеялся, отбросил ладонью длинные волосы со лба. Подошел, обнял отца.

Тот протянул толстую книжку про космонавтов — ее достал где-то Иван Харитонович, когда узнал, что младший сын Михаила Андреевича в школе почти отличник, поэтому станет, наверно, ученым — и майку, на которой в круге из иностранных слов был нарисован мотоциклист. Книгу Мурат полистал без интереса, а майке обрадовался.

Мухтар отдал жене отрез зеленого кримплена на платье поперебирал другие подарки, еще раз проверяя, не забыл ли о ком-нибудь: тете Шайдат клетчатую шаль, двоюродному брату Аскеру голубую, как у себя, рубашку, его жене — шарфик, сыну Якуба — набор тонкостенных

стаканчиков в коробке, соседу Парисбию с женой — то же. И захлопнул чемодан.

Важно выпятив грудь и упершись ладонями в колени, спросил об аульских новостях, о домашних делах. Ольмесхан дождавшись своего часа, принялась, накрывая на стол рассказывать, но оказалось, что ничего мало-мальски примечательного за месяц не произошло. Это поразило Мухтара. Он, можно сказать, побывал в другой жизни, столько видел, узнал, а тут все по-старому — словно и не уезжал никуда, словно вздремнул на часок, увидел во сне иные края, иных людей с иными интересами, проснувшись же обнаружил, что ничего этого не было, есть только дом, аул, работа, работа, аул, дом. И Мухтар впервые задумался о времени, о том, что оно, оказывается, может стремительно мчаться, но может и еле заметно ползти. «В Ялте месяц был как целая жизнь, а тут — целая жизнь как месяц», — пришла неожиданная, ошеломляющая мысль.

— С приездом, отец. Как отдохнул?

Мухтар поднял голову.

Али, сдержанно улыбаясь, подошел, поздоровался за руку.

— Меня бригадир отпустил, — ответил на вопросительный взгляд отца. — Ему позвонили из конторы, что ты приехал ... — Поблагодарил за зажигалку, которую Мухтар купил потому, что этот подарок будет всегда при сыне, даже в армии. Сел рядом, глянул искоса на костюм. Одобрил: — Давно бы так, а то ходишь, как маленький начальник сороковых годов.

— Теперь все будет по-другому, — уверенно пообещал Мухтар, обрадованный похвалой сына. Повернулся к столу, который Ольмесхан уже приготовила к обеду, посмотрел на шурпу, на хинкал, на борек с картошкой и решительно заявил: — Отныне будем каждый день есть борщ!

У жены чуть миска из рук не выпала.

— Я же никогда в жизни его не готовила.

— Научишься! — отрубил Мухтар. Так резко и властно он никогда еще не говорил.

— Хорошо, хорошо. У соседок поспрашиваю, в столовую схожу, узнаю, как этот суп варят, — с притворной покорностью поспешно согласилась Ольмесхан.

Весь этот месяц она прожила в тревоге и страхе — снились плохие сны, иногда думалось, что больше не увидит мужа. В такие дни Ольмесхан казалась себе солдаткой, ожидающей фронтовика, готовилась встретить Мухтара больного, несчастного, страдающего, даже собралась ехать в неведомую Ялту на помощь мужу, уверенная, что скоро получит оттуда телеграмму. Поэтому была счастлива, когда Мухтар вернулся сам — живой и невредимый. Только вот здоровый ли, все ли с головой в порядке? Уж очень срамно одет, и речи какие-то непонятные, желания несуразные.

Проголодавшийся Мухтар с жадностью ел шурпу, о которой, чуть ли не облизываясь, не раз вспоминал на курорте, но сейчас не замечал вкуса, потому что опять думал о времени, о том, что могут быть дни, недели, месяцы запомнившиеся, а могут быть и пустые, не оставившие в памяти и следа.

— Ну, как там, в Ялте? Видел что-нибудь интересное? — полюбопытствовал Али.

— Видел, — боясь потерять мысль, буркнул Мухтар. — Был во дворце, там, где царь гулял, где Сталин с американцами и англичанами встречался. ..

Звякнула о тарелку ложка Ольмесхан. За столом стало тихо. Мухтар сначала не заметил этого, но, уловив боковым зрением, что жена и дети окаменели, поднял глаза.

— Да, вот так-то, — подтвердил многозначительно.

На другой день после возвращения домой Мухтар, не обращая внимания на осуждающие взгляды жены, надел ялтинский костюм, повязал галстук и отправился в контору. Аульчане останавливали его, здоровались, расспрашивали об отдыхе, а когда Мухтар отходил, долго смотрели вслед, цокали языками.

— Ай-яй, что делает с человеком одежда, — покачивали головами. — Неужто это Мухтар, знающий девяносто девять болезней трактора? Совсем другим, не сельским, человеком вернулся.

Директор совхоза тоже удивился тому, как одет Мухтар, но постарался скрыть это.

— Здравствуй, здравствуй, дорогой! С приездом! —

крепко сжал в ладонях руку, тряхнул ее. — Вижу, хорошо отдохнул: помолодел, посвежел, сил набрался, — и все-таки не удержался, заметил мимоходом. — Шляпу эту не носи. Она молодежная.

Мухтар смутился, начал оправдываться:

— На курорте все такие носят, вот и я ...

— Здесь не курорт, — рассудительно заявил директор.

— Там одно — тут другое.

Из конторы Мухтар возвращался с непокрытой головой, стыдливо пряча глаза от прохожих. Дома он снял с коврика над кроватью праздничную папаху, которая, по обычаю, красовалась на этом почетном месте, и повесил шляпу. Но недолго услаждала она взор хозяина, напоминая о счастливом курортном месяце. Младший сын все время норовил стащить этот пижонский головной убор, чтобы покрасоваться в нем перед сверстниками. Мать лупцевала Мурата и венником, и половником — всем, что под руку попадалось, потому что видела в шляпе, как и папахе, прежде висевшей здесь, символ достоинства мужчины — главы семьи. Но однажды Ольмесхан, возвращаясь с работы, натолкнулась на младшего сына, который, окруженный приятелями, горделиво расхаживал в отцовской шляпе. Женщина бросилась в дом, схватила камчу, чтобы наказать неслуха, но муж, задумчиво сидевший на корточках около трактора, удержал ее. «Оставь парня в покое. Если ему нравится — пусть носит».

Мухтар давно уже спрятал в шифоньер отпускной костюм «Пусть Али надевает на вечера в клуб» — и ходил опять в привычных галифе, темно-синем френче и сапогах, чем очень обрадовал Ольмесхан. Не настаивал он больше и на борще. Жена, которая в охотку уплетала в городе это фирменное блюдо столовых, упорно не хотела готовить его дома. Сначала отнекивалась, что нет-де капусты, свеклы, томата, а когда муж, специально съездив в райцентр, привез все необходимое, сделала вид, будто не замечает этих продуктов, и продолжала, варить, стряпать, печь и жарить только национальные кушанья. Мухтар смирился. Жена была довольна, что он прекратил чудить, стал таким же, как прежде, но к радости пришивалась и тревога — изменился муж: не улыбнется,

не поговорит, может подолгу сидеть неподвижно, задумавшись о чем-то. О чем? Не знала Ольмесхан, что Мухтар в эти минуты размышлял о времени: «Опять один день не отличишь от другого. Сегодня то же, что вчера, вчера — то же, что позавчера. Скука!» От таких мыслей ему казалось, что все вокруг приобретает тоскливо-желтый оттенок: желтели белые стены дома, зелень листьев, лица собеседников и даже всегда голубое небо над аулом.

«Зря я упросила его ехать на этот — пропади он пропадом — курорт, — терзалась Ольмесхан. — Совсем другим мужчина вернулся ... Уж не встретила ли ему какая-нибудь беспутная, бесстыжая женщина?» Ольмесхан гнала эти мысли, стыдила себя за то, что могла так нехорошо подумать о муже, но успокоенность не приходила. Не шла из головы история с шофером Карамирзой. Тот тоже ездил отдыхать на Черное море, а когда вернулся, то вслед за ним, недели через две, прикатила в аул бело-волосая, лет тридцати, бабенка. Карамирза, как узнал об этом, сбежал прямо с работы в соседний аул и дней десять прятался там у друзей: скрывался и от гнева жены, и от курортной подруги, которая гостила в его доме.

Ольмесхан, конечно, и в мыслях не допускала, что Мухтар может так опозорить себя, связавшись на курорте с женщиной, но ... кто знает? Что-то слишком уж нетерпеливо встречает он почтальона Апаса, словно ждет известия, от которого может измениться жизнь.

Однажды, далеко за полночь, когда муж долго ворочался в постели, вздыхал, она, не выдержав, спросила, уж не ждет ли Мухтар каких-нибудь новостей.

— Жду, жду, — подтвердил он. — От Ивана Харитоновича. Я ведь рассказывал тебе о своем друге ...

— А может, твой друг в юбке ходит? — осмелев, съязвила Ольмесхан. — Или письмо у него такое же бесстыжее, какое Карамирза Аскеру присылал?

Ольмесхан слышала, как Аскер со смехом читал его около магазина жене Карамирзы. «Встретил я здесь одну «Ладу», — делился Карамирза радостью с Аскером. — Симпатичная легковушка, такую только во сне можно увидеть: двигатель — восьмеркой, фары синие, точно море.

Ходовая часть и задний мост — вообще айнанайым¹». Жена Карамирзы ничего не поняла. «Ну и что? — заявила, передернув плечами. — Мы давно «Жигули» собираемся купить!»

Ольмесхан тоже сначала не поняла, о чем речь в письме, но потом одна из соседок объяснила ей ...

— Может, ты, вместо отдыха, тоже на легковые машины глаза пялил? — продолжала Ольмесхан. — Может, ты, как Карамирза, на курорте холостяком назвался и мне надо, словно в старые времена, ждать твою вторую, молодую, жену?

— Женщина, как разговариваешь! Помолчи, если хочешь, чтоб я уважал тебя! — рыкнул Мухтар и отвернулся.

Ольмесхан выругала себя за длинный язык. «Наверно, обиделся», — подумала она и огорчилась.

Как только Ольмесхан заводила речь о том, что неплохо бы купить машину для Али, когда тот придет из армии, — «Что мы хуже других?» — Мухтар мрачнел. Он ничего против собственного автомобиля не имел, но и не собирался копить, урывая деньги от семьи, экономя на еде и одежде, и уж тем более не собирался подрабатывать на стороне за шальные деньги или торговать в городе на рынке фруктами, ягодами, мясом. Так и заявил Ольмесхан. Она согласилась, что это — не дело. Подумала, подумала и четыре года назад впервые за много лет взяла в совхозе участок сахарной свеклы. Давно уже, как только родился младший сын, стала Ольмесхан домохозяйкой: воспитывала детей, стирала, готовила пищу, ухаживала за скотиной, индюками, курами. Когда жена, после долгого перерыва, взялась выращивать свеклу, Мухтар возмутился — считал, что Ольмесхан подрывает его авторитет мужчины, который был, есть и должен оставаться единственным кормильцем домочадцев. Ворчал он до осени и успокоился, лишь когда жена заявила, что заработанные шестьсот рублей кладет все до копейки на сберкнижку Али, которую выдаст сыну после армии. «Что ж, — согласился Мухтар, — если так, твое дело, работай.

¹ Айнанайым — восклицание, выражающее высшее восхищение.

Только бы не говорили, что я не могу семью содержать». С тех пор каждое лето брала Ольмесхан участок свеклы, а чтобы соседки не подумали, будто делает это от нужды, хвасталась при всяком удобном случае: «Мой Мухтар, знающий девяносто девять болезней трактора, принес вчера сто пятьдесят рублей. Я расправила их, чтобы были гладенькими, как те вон листья клена, и спрятала: куда нам столько денег?» Над ней беззлобно посмеивались, но верили — ведь Мухтар Карамов и в самом деле зарабатывал хорошо. А Ольмесхан была довольна, что честь мужа от злых языков, если такие найдутся, оберегла. Она сама вела хозяйство: покупала рис, муку, жиры, разные крупы, обновки для всей семьи и еще умудрялась выкраивать с каждой, полочки по двадцать — тридцать рублей на особые расходы, такие, как проводы сына в армию, свадебные подарки аульчанам или похоронные ябув¹. Эти деньги Ольмесхан складывала в полиэтиленовый мешочек и хранила под замком в деревянном сундучке вместе с Кораном, который достался от матери. Мухтар в расходы не вмешивался и не интересовался ими, только удивлялся иногда, если время от времени жена в конце месяца жаловалась, что денег в обрез. Хмыкал, молча смотрел на Ольмесхан, и та читала в его глазах: как же так — когда шестьдесят — восемьдесят получал, хватало, а сейчас, вместе с премиальными да аккордными, под двести, а то и больше, и не хватает? «Жизнь дороже стала, дети подросли», — отвечала Ольмесхан.

Вот и недавно посетовала:

— В тридцать рублей брюки Мурату обошлись, — и поспешила успокоить мужа. — Это еще дешево. Когда джинсы для Али покупала, двести рублей пришлось выложить.

— Балуешь ты сыновей. Разве штаны, хоть и джинсы, за двести рублей покупают? — равнодушно заметил Мухтар.

— Нельзя иначе! — решительно не согласилась Ольмесхан, — Все парни нашей улицы такие носят, а чем Али хуже соседских детей? Вот и сапоги ему за шестьдесят

¹ Ябув — приношения, которые делаются, чтобы помочь родственникам умершего.

рублей купила. Жалко, малы оказались. Мурат ими завладел и снимать не хочет ...

— Не жизнь, а соревнование, — вздохнул насмешливо Мухтар.

— Это что. Скоро девки подрастут, тогда и начнется настоящее соревнование, — Ольмесхан засмеялась. — Платья, пальто, сапожки, туфли — что за год заработаешь, на месяц не хватит.

— Да, да ... — рассеянно согласился Мухтар. — Пусть одеваются, если есть во что. А не будет — не беда. Не это главное ... Помнишь, как мы начинали?

Ольмесхан помнила. Когда переехала в дом мужа, там были только потолок да стены, и приданое оказалось единственным имуществом молодоженов. Но Ольмесхан не тужила — за Мухтара она пошла с радостью, хотя никакой такой сильной любви к нему не чувствовала. Это сейчас можно до тридцати лет ждать суженого и никто не удивится, а в те времена считалось, что девушка старше восемнадцати засиделась в невестах. Мухтар посватался, когда Ольмесхан было двадцать два, и она боялась остаться старой девой, да и родители стали все откровенней упрекать, что не может назвать жениха. С первого дня семейной жизни стала Ольмесхан работящей, послушной, преданной женой, — сначала была благодарна Мухтару, а потом полюбила не полюбила, но жизнь свою представить без него уже не могла. Она гордилась мужем, хорошим хозяином и отцом, считала его самым лучшим человеком из всех, кого знала: умным, добрым, сильным, который и свою честь, и честь семьи не уронит. Была убеждена, что Мухтар всегда прав, и редко возражала ему, а уж спорить с ним или упрекать в чем-то, ей и в голову не приходило. Поэтому сейчас, когда муж, прикрикнув, отвернулся, Ольмесхан стало не по себе от того, что посмеивалась над ним, когда тот вернулся с курорта, и даже оскорбила, сравнив с Карамирзой.

И Мухтару было не по себе. Он закрыл глаза, крепко стиснул зубы, — одолело воспоминание ...

Каждое утро перед завтраком ходили приятели к морю. Иван Харитонович купался, а Мухтар, в новом спортивном костюме, сидел на корточках около одежды

и, натянуто улыбаясь, глядел по сторонам. На пляже всегда было полно женщин, юношей, девушек, и Мухтар ни за что на свете не осмелился бы оголиться перед ними. Дома, когда надо было в знойный день смыть с себя после работы пыль и грязь, он уходил на Кубань подальше от людских глаз, отыскивал укромное место и, стыдливо раздевшись, заходил по колено в реку. Торопливо мылился, брызгал на себя и окунался, зажав нос и уши. Бултыхаться в воде для забавы допустимо лишь молодежи, считал Мухтар, поэтому смущенно отводил взгляд, когда Иван Харитонович молодцевато выходил на берег и, ничуть не стесняясь, восторженно посматривал вокруг, пошлепывая себя по дряблой груди.

— Зря ты не принимаешь эти естественные ванны, — неизменно повторял он. — Поплавать в таком рассоле приятно, и полезно.

Мухтар отмалчивался. «Хожу за ним, как тень, — расстроено думал он. — Может, я для Ивана Харитоновича уже обузой стал, а он, по доброте своей, не говорит об этом. Завтра не пойду на пляж!» Но шел и завтра, и послезавтра, и каждый день, потому что море манило, звало, притягивало к себе, и Мухтар не мог устоять, хотя было ему среди загорающих неуютно.

— Вода бывает разная, — рассказывал Иван Харитонович. — Я еще пацаном спускался с отцом в шахту, а там в штольне такая блестящая, прозрачная водичка течет по желобку, ну, набрал я ее в горсть и хлебнул. Во рту сразу связало, губы не сомкнуть, не разомкнуть. Нельзя оказывается, ее пить, тяжелая это вода, в воде этой порода играет ... А в море зря ты не купаешься.

Особенно виноватым чувствовал себя Мухтар, когда замечал, как Иван Харитонович поглядывает на женщин. «Мешаю я ему», — мрачнел Мухтар и клялся во всем слушаться приятеля, чтобы тот не сердился и не обижался.

Накануне отъезда Иван Харитонович был особенно оживлен, говорлив. Едва пришли утром на пляж, принялся подшучивать над Мухтаром:

— Так и не научил я тебя отдыхать, Михаил Андреевич. Уедешь, ни разу не искупавшись, не позагорав. Посмотри на людей, хотя бы вот на этих женщин: одна брон-

зоя, другая — шоколадная. Сразу видно, что на курорте были, не то, что ты ... — и указал взглядом на двух молодых подруг у воды.

Одна, с коротко остриженными желтыми волосами, стояла, картинно уперев руку в крутое бедро, обтянутое вишневым купальником, другая, худощавая, сидела на разостланном по гальке полотенце и, откинув голову, подставляла солнцу коричневое от загара лицо. Стоявшая оглянулась через плечо, сменила позу, поворачиваясь к солнцу спиной. Улыбнулась, поглядела пристально на Мухтара. Тот смутился, хотел опустить глаза — стало стыдно, что смотрит на обнаженную женщину — но запоздал и, встретившись со взглядом изучающих синих глаз, выдержал его.

Иван Харитонович прищелкнул языком.

— Эх, Михаил Андреевич, мне бы твои годы ... — и, зажмурившись, мечтательно покачал головой.

— А чем ваши годы плохи? Вы еще мужчина хоть куда, — насмешливо заметила сидящая. Убрала мешавшую смотреть ярко-каштановую прядь, посмотрела на мужчин, сравнивая, изучающе.

— Кхе-кхе-кхе, — засмеялся довольный Иван Харитонович и притворно вздохнул. — Я уже старик, гражданочка.

— Рано старите себя. Верно, Маша? — взглядом пригласила подругу поддержать разговор.

— Все мужики одинаковые, — отозвалась та. — Лет десять назад вы, наверно, тоже себя за старика выдавали, — улыбнулась она Ивану Харитоновичу, — а сами ... — и шутливо погрозила пальцем.

— Вообще-то, есть еще порох в пороховницах, — выпятив грудь и поправляя плавки, сказал Иван Харитонович. — Правда, Михаил Андреевич?

Мухтар машинально кивнул.

— Ой, не могу, есть еще, говорит, порох в пороховницах, — фыркнула худощавая и уткнулась лицом в колени.

Та, которую называли Машей, сжала губы, чтобы не рассмеяться — дрогнули, расширились ноздри, сощурились глаза, отчего стали заметней морщинки под толстым слоем поблескивающего крема.

— Что же вы тогда, как баптисты, всегда вдвоем да вдвоем? — подчеркнуто удивилась она.

— Почему это всегда вдвоем? — слегка обиделся Иван Харитонович. — Вовсе нет ...

— Здрасьте, — женщина усмехнулась. — Мы ведь о вас все знаем: в одном доме отдыха живем. Подтверди, Нина.

Нина опять отбросила со лба каштановую челку, козырьком приложила ладонь над глазами.

— Наша комната прямо над вашей, — и покачала осуждающе головой. — Ничего-то вы не замечаете. Только и знаете, что в Ливадию ездить да спать. Хоть бы раз соседок на танцы пригласили или в ресторан.

— Нина! — ахнула подруга.

— Что Нина? Я бы с этим дряхлым старичком, — лукаво покосилась она на Мухтара, — или с этим, у которого порох остался, — фыркнула, — с удовольствием бы вечерок скоротала.

— Нина! — уже возмущенно выкрикнула подруга.

— Ловлю на слове! — Иван Харитонович оживился, подмигнул приятелю. — Что, Михаил Андреевич, поведем гражданок в ресторан? Тем более что они соседки.

Мухтар, натянуто улыбаясь, опять кивнул.

— Ну, пошутили и хватит, — серьезно заявила Маша.

— Действительно, мы что-то не о том заговорили, — согласилась Нина.

Но Иван Харитонович, радостно поблескивая ставшим совсем зелеными глазами, принялся убеждать, доказывать, что ничего зазорного в его предложении нет.

«Гляди, как преобразился, — удивился Мухтар. — Наверно, он такой веселый всегда и только со мной ... Ох, видать, и надоел же я ему! Конечно, надоел. Даже сейчас сижу, как дурачок, улыбаюсь; нет, чтобы хоть слово вставить, поддержать друга».

Женщины, напустившие было на себя холодный, чуть ли не оскорбленный вид, отнекивались недолго. Согласились. Оказалось, Мария Алексеевна и Нина Михайловна вместе работают на заводе в Свердловске экономистами, вместе отдыхают, вместе уже несколько лет подряд приезжают на юг, разведенные, имеют по ребенку, Мария Алексеевна — сына, Нина Михайловна — дочь.

Вечером все четверо сидели на открытой веранде второго этажа ресторана «Сочи», где расторопный Иван Харитонович еще днем заказал столик.

Большой зал был погружен в мягкий полумрак — то ли потому, что рядом притаилось море, слившееся с черным, небом, и, казалось, оттуда наползают прозрачные сумерки, то ли потому, что лампочки, усыпавшие потолок, светили слабо, вкрадчиво. Сновали официанты, блестя на столиках вазы с фруктами, бутылки, приборы; ровный гул голосов разрывали иногда вспышки смеха, пикивание инструментов оркестра, который готовился к работе.

Мухтар, ссутулившись на краешке стула, осмотрелся украдкой. Он впервые попал в ресторан, хотя побывать в таком заведении подмывало давно — слишком уж красочно описывали свои застолья товарищи по работе, когда возвращались из города. Они хвастались, что оставляли за вечер по пятьдесят, по сто рублей, и это особенно поражало Мухтара: как можно истратить на еду и выпивку ползарплаты и даже больше? Хотелось самому испытать то особенное праздничное состояние, которое расписывали рассказчики и которое, наверное, действительно было ни с чем не сравнимым, если стоило так дорого. Однажды, приехав в областной центр на трехдневный семинар передовиков, Мухтар даже подошел к дверям ресторана, но увидел за стеклом танцующую молодежь и оробел, застеснялся, не решился войти.

— Вам не нравится здесь? Вы такой серьезный, и все время молчите.

В голосе Марии Алексеевны Мухтар услышал обиду.

Он покосился на соседку, увидел в глубоком вырезе синего платья ложбинку между массивными грудями и испуганно поднял взгляд, посмотрел на алые от помады губы, на маленький вздернутый нос, припудренную, уже увядающую, кожу щек, морщинки около рта. Глянуть в глаза женщины не хватило духу — и на пляже, и сейчас ему было неловко от ее раздумчивого, словно изучающего, взгляда.

— Нравится, — Мухтар выпрямился, пригладил двумя пальцами ус. — А молчу потому, что характер такой. Я мало разговариваю.

Иван Харитонович, оживленно беседовавший с Ниной Михайловной, заметил шутливо:

— Учтите, Мария Алексеевна, Михаил Андреевич мужчина твердых правил и никакой легкомысленности себе не позволяет.

Та усмехнулась, хотела ответить, но к столику подошла официантка.

Иван Харитонович, придирчиво поджав губы, пронаблюдал, как она сервирует стол, и спросил у женщины:

— Что будем пить?

— Нам сухое, — быстро ответила Нина Михайловна.

— А нам, Михаил Андреевич, тоже сухое? — Иван Харитонович посмотрел на приятеля. — Или водку?

Мухтар равнодушно пожал плечами. Ему было все равно. Пил он мало и редко — лишь на свадьбах, днях рождений да в праздники, когда приглашали в гости или сам созывал гостей. Никакого удовольствия в выпивке не находил, поэтому всегда удивлялся, что некоторые готовы под хмельком и по воскресеньям, и в будни, и даже на работе.

Задумавшись, он следил за ловкими и быстрыми движениями официантки и вдруг вздрогнул от неожиданности — совсем рядом грянул оркестр. Все разом повернулись к эстраде. Сначала Мухтар смотрел на музыкантов со снисходительной насмешливостью — уж слишком громко, прямо-таки оглушающе играют, но он впервые видел профессионалов, и недоверчивость сменилась сначала любопытством, а потом, когда вышел вперед парень с черной длинной свирелью и полился чистый, похожий на весенний ручей, напев, с уважением и восхищением. Вспомнилась свирель Огурлы, вспомнилось, как сам изливал в протяжных мелодиях душу.

Снова появилась и снова исчезла официантка, оставив на столе бутылки, нашептывал что-то на ухо Нине Михайловне Иван Харитонович, та смеялась. Мария Алексеевна изредка наклонялась к ним, вставляла словечко-другое и тут же вежливо, словно извиняясь, смотрела на Мухтара, но тот, замечая все, не видел ничего, кроме оркестра.

— Хорошо играют, — сказал он удовлетворенно, ког-

да музыка смолкла. И впервые за вечер широко, открыто улыбнулся, обнажив крепкие желтые зубы.

— Ну вот и Михаил Андреевич повеселел! — обрадовался Иван Харитонович. — Давайте выпьем за это. А заодно и за знакомство.

Чокнулись. Выпили. Стали деловито закусывать.

Взвизгнули трубы, и оркестр опять обрушил в зал лавину звуков, которые сразу же выстроились в игривую, легкомысленную, какую-то ломаную мелодию. Мухтар торопливо положил вилку с куском рыбы, повернулся к музыкантам. И замер, пораженный.

На эстраду выбежали, высоко поднимая колени, молоденькие девушки в коротеньких голубых платицах.

Иван Харитонович засмеялся, ткнул через стол приятеля в плечо и вместе со стулом развернулся лицом к сцене. Мария Алексеевна и Нина Михайловна тоже сели поудобней, не отрывая заинтересованных глаз от эстрады.

Танцовщицы были одного роста, одинаково сложенные, в одинаковых белых, по локоть, перчатках, в белых шляпках и походили на сестер, прекрасно понимающих друг друга — одновременно задирали ноги чуть ли не выше голов, одновременно вскидывали распрямленные ладони, одновременно поворачивались спинами и беззастенчиво вертели задами.

Мухтара от стыда бросило в жар и пот. Он сконфуженно глянул исподтишка на соседок и поразился — те сидели спокойные и даже довольные, затаив в уголках губ одобряющие улыбки. Мухтар хотел отвернуться от танцовщиц, закрыть глаза, но побоялся, что его поднимут на смех — ведь все смотрят с удовольствием. «Знал бы, что такое покажут, не пришел бы. Нехорошо это; нет, нехорошо», — оскорбленно думал он. Дома, если показывали подобное безобразие по телевизору, Мухтар выключал его или перестраивал на другую программу: нечего всякую срамоту смотреть. А тут, совсем рядом, живые девушки, перед чужими мужчинами, в таком наряде, такое выделывают. «Если бы жена их увидела и меня рядом! А если бы дочки?» От этой мысли кровь ударила в голову, щеки обожгло.

Столик был совсем рядом с эстрадой, и, когда танцовщицы, подбежав к краю, дружно взметнули ноги, Мухтар отшатнулся — увидел белые полоски трусиков, и еще показалось, будто девушки, издеваясь, хотели пнуть, да не дотянулись. Мария Алексеевна засмеялась, слегка прижалась к нему, и от этого вкрадчивого, булькающего смеха, от этого легкого прикосновения пот выступил на лице Мухтара. Он услышал, как хихикнул Иван Харитонович, как фыркнула Нина Михайловна, но взглянуть на соседей по столику, которые оказались виноваты в том, что он тут, в этом постыдном месте, не решился. Стиснув зубы, смотрел, не мигая, на танцовщиц и обнаружил вдруг, что ярко-красные губы их сложены в улыбки, которые ничего не выражают, а глаза, с густо-синими веками, пустые и равнодушные. Это потрясло Мухтара — оказывается веселье здесь не настоящее, лихо отплясывающие исполнительницы не испытывают никакой радости, они всего лишь работают на потеху собравшимся, которых, пожалуй, и не замечают. «Уйти надо, — решил Мухтар. — Надо уйти». Мельтешили девичьи руки и ноги, всплескивались подола платишек, мелькали трусики, подрагивали груди, подвывал, стонал, хохотал оркестр. Когда расплывчатые пятна перестали маячить перед глазами и уплыли куда-то, а визгливый рев в ушах ослабел, почти стих, превращаясь постепенно во что-то протяжное и грустное, Мухтар встал и, прихрамывая, пошел из зала. Он слышал, как его догоняли встревоженные, испуганные голоса:

— Михаил Андреевич, ты куда? — это Иван Харитонович.

— Что с ним? Ему плохо? — это Мария Алексеевна.

— Может, заболел? Что ж вы сидите, Иван Харитонович? — это Нина Михайловна.

Мухтар не оглядывался. Лишь когда раздался громкий начальнический голос, усиленный микрофоном: «Товарищи посетители! Наша программа длится час двадцать. Просим не покидать своих мест и не расхаживать по залу!» — Мухтар на секунду повернул голову. Кто-то в ярком пиджаке с блестящими лацканами сердито смотрел на него, а рядом с этим человеком тоненькая

девушка в алом купальнике медленно разгибалась, делая стойку на руках мускулистого парня, тоже в красном. Мухтар вяло махнул рукой и спустился по пустой лестнице. Стук каблуков по каменным ступеням ударами отдавался в голову.

— Устал, — вымученно улыбнулся он швейцару, увидев его изумленные, вопрошающие глаза.

Свежий воздух, легкий ветерок приятно остудили лицо, ослабили обруч, стянувший лоб, но вверху, на втором этаже ресторана, вновь взорвался высокими, крикливыми нотами оркестр, и вопли его, слившись с тяжелым, мерным гулом моря, снова вызвали боль в висках — опять, задирая ноги, замелькали перед глазами девушки: перчатки, шляпки, улыбки, синие веки, белые зубы ... Мухтар, сильно прихрамывая, чуть ли не побежал в дом отдыха и, добравшись до палаты, рухнул на кровать. И сразу же провалившись в сон, увидел шесть лягушек, которые правильным кругом расположились на полированном столе. В реальности эти твари всегда вызывали у Мухтара брезгливость, и он, завидев хотя бы одну из них, обходил ее стороной. А тут — сразу шесть: помаргивают блестящими выпуклыми глазами, рты раскрыли — дышат часто-часто, отчего ходуном ходит бородавчатая, слизистая кожа. Но, странное дело, Мухтар не испытывал ни страха, ни отвращения, наоборот, — какая-то сладкая истома охватила его.

Проснулся он от того, что кто-то настойчиво тормозил за плечо. Открыл глаза и, удивляясь тому, что приснилась такая пакость, а еще больше тому, что пакостью во сне лягушки не казались, ошалело уставился на смутную тень, которая пошатывалась перед самым носом.

— Друг, Михаил Андреевич, дорогой, почему ты меня бросил? — пьяновато причитал в темноте Иван Харитонович. — Зачем сбежал? Зачем?

— У меня поясницу свело, вот я и ушел, — начал оправдываться, но приятель не дал говорить.

— Хороший ты мужик, а не верю, не верю! Нарочно меня одного оставил.

— Ну что, нашелся? — донесся с улицы высокий голос Нины Михайловны.

Иван Харитонович сорвался с места, выбежал на балкон. — Ага, здесь он! — выкрикнул, задрал голову. — Лежит, как ни в чем не бывало.

— Ну слава богу.. Передайте ему привет, — наперебой заговорили женщины. — Спокойной ночи! — и засмеялись.

— Я знаю, отчего ты ушел, — сказал, вернувшись, Иван Харитонович. — Прав, друг, прав. Пошлость это! Некрасиво это, не по-нашему. Ну ладно, чего уж теперь. Новое время, новые нравы ...

... Мухтар повернулся на спину, прислушался к спокойному посапыванию жены. «Слава Аллаху, Ольмесхан не ведает ни о женщинах из Свердловска, ни об этом постыдном представлении с танцами».

На следующий день после ресторана приятели прощались с домом отдыха, с Ялтой, друг с другом. Мухтар упрашивал: «Иван Харитонович, приезжай ко мне. Будешь самым желанным гостем. Отца своего не помню, тебя, как отца, приму». — «И ты, Михаил Андреевич, заходи, если в Донецке окажешься. Не вздумай в гостинице останавливаться, понял? Никаких гостиниц, иначе обижусь!» — «Лучше ты приезжай, Иван Харитонович». Обменялись адресами, пожали руки и даже обнялись, расцеловались, что по ногайским обычаям не принято у мужчин, но это не смутило Мухтара — было грустно, тяжело, больно расставаться с приятелем, ставшим другом.

Ольмесхан глубоко, но бестревожно вздохнула, заворочалась. Мухтар покосился на нее, тоже вздохнул.

«Приехал бы ты ко мне, а? — мысленно обратился он к Ивану Харитоновичу. — Жена у меня хорошая, все понимает, тебя как родного встретила бы. Как я живу, посмотрел бы, а то ведь и не представляешь, наверно ... Не приедешь. Уж и забыл, пожалуй, что есть на свете какой-то Михаил Андреевич. Ты каждый год на курорты едешь, каждый год у тебя новые знакомые. Разве можно всех помнить, а тем более подружиться с каждым! А я хотел стать тебе другом, ты человек хороший, ни разу мне слова обидного не сказал, ни разу не посмеялся надо мной, хотя мог бы ... Я тоже, вообще-то, неплохой, не злой — вон ко мне ребяташки со всего аула льнут. Только

скучный я. Ох, какой скучный! И нелюдимый, замкнутый. Что поделать, жизнь тяжелая сложилась. Сиротой рос, сызмальства о куске хлеба думал. Работал, работал, работал — ничего другого не видел. Работал и молчал, поговорить-то не с кем было: родственники, только когда женился, признавать меня стали. Работал, молчал и думал. Много думал: о себе, о людях о жизни. У нас считают, что я счастливый человек, всем доволен, все у меня в порядке: четверых детей ращу, семья крепкая, дружная, в совхозе почет и уважение — и ошибаются. Чего-то не хватает, что-то не дает мне покоя, а что — не знаю. Приехал бы, поговорили бы, помог бы, может, разобраться, объяснил бы, отчего так тоскливо бывает иногда. Я к тебе приехать не могу. Вернее, мог бы, но неудобно. Если к тебе все знакомые ездить начнут, то не жизнь, а сплошное «здравствуй — прощай» получится. Вот если б я случайно в Донецке оказался, тогда зашел бы. Не приедешь? Не приедешь. Да же письма не написал».

В эту ночь Мухтару приснился отец. Он расхаживал по какой-то темной комнате, и Мухтар, совсем еще маленький ребенок, вцепившийся в ножку кровати, видел только широкую спину в белой рубашке. Но одновременно видел, представлял, и лицо отца — такое, как на пожелтевшей, увеличенной с паспортной фотографии, которая висела среди снимков членов семьи и родственников под стеклом в общей рамке. У отца бритая голова, широкий и высокий лоб, узкие глаза, горбатый нос, большие усы. Отец собирался куда-то уходить; Мухтар пытался окликнуть его, позвать, но не мог издать и звука. А лицо отца, словно отделенное от него, неподвижной маской застыло в сумеречном мареве, и только глаза — живые — строго и требовательно всматривались в сына. В отчаянии, что не может удержать отца, Мухтар закричал и ... проснулся. Задумался: к чему бы это приснилось? Раньше, в детстве, в молодости, он умел сам вызывать сновидения, в которых являлись родители, но вот уже несколько лет спал крепко, а если и приходили сны, то были они серенькие, незапоминающиеся, связанные с буднями и житейскими заботами.

Мухтар набрал побольше воздуха в легкие, задержал его и с шумом выдохнул — было горько и обидно, что сон прервался, что отец исчез.

Мухтар поднялся с табуретки, сунул свирель на полку и поглядывая в дверной проем, принялся строгать заготовки для рамы. Он поджидал почтальона. Сегодня, по всем расчетам, должно прийти письмо.

Вернувшись с курорта, Мухтар каждый вечер после работы первым делом заглядывал в почтовый ящик, прибитый к воротам, а встретившись с Апасом, спрашивал: «Дос, нет ли мне чего из Донецка?» Почтальон, который все слышал и понимал, но не мог говорить — в детстве его покусали собаки и он от испуга потерял речь — виновато мычал и отрицательно мотал головой.

Сегодня Апас должен обязательно принести письмо. Обязательно!

Что-то вкрадчиво бормотал лужам дождь, весело шелестела стружка, свиваясь в широкие золотистые кольца. Мухтар работал с удовольствием, улыбался и даже иногда посмеивался с видом человека, который знает об ожидающей его радости. Время от времени поднимал голову, застывал в напряженной позе. И все же чавканье грязи под лошадиными копытами услышал тогда, когда над штaketником проплыл мокрый плащ почтальона.

Мухтар торопливо положил рубанок, провел ладонями по груди, животу, то ли счищая с одежды стружку, то ли вытирая руки, и рысцой побежал к воротам. Распахнул калитку, громко поздоровался с Апасом. Тот, путаясь в полах брезентового дождевика, слезал с лошади, что уже само по себе было необычно. Повернул маленькое круглое о, спрятавшееся в глубине капюшона, и широко, радостно заулыбался — прямо-таки засиял от счастья. Достал газету из притороченной к седлу сумки, а потом пошарил за пазухой и вынул письмо. Прикрывая всем телом конверт от дождя, сунул его в карман Мухтара. Замычал восторженно, зажестикублировал, стараясь объяснить, что это мол, то самое, из Донецка! Мухтар кивнул: понимаю, понимаю; перехватил ладонь почтальона, вложил в нее заранее приготовленный рубль. Апас отпрянул, обиженно и возмущенно замахал руками.

— Это тебе суюнши!¹ — засмеялся Мухтар. Нагнулся, поднял брошенный рубль, запихнул его в карман дождевика почтальона.

Тот уже взобрался на лошадь. И вдруг рассмеялся, да так необычно, что Мухтар изумленно посмотрел на его рот — уж не стал ли немой говорить? Апас, хитро улыбаясь, сделал вид, будто пишет, потом указал на Мухтара, потом махнул рукой куда-то вдаль, за свою спину, и весело покачал головой. Изобразил, будто зажал в руке что-то, подышал на это что-то и, резко взмахнув, ударил в ладонь, точно припечатал. Стукнул пятками коня и, оглядываясь, весело скалясь, поехал к соседнему двору.

Мухтар захлопнул калитку и, размышляя над смехом почтальона, медленно пошел к крыльцу.

Дома, как всегда по воскресеньям, было празднично: пахло вареным мясом, чесноком, который, перемешав с солью, толкла для приправы Ольмесхан; крутились рядом с матерью возбужденные дочки, поглядывали на нее заискивающими голодными глазами, теребили тесто, раскатанное на столе; оживленно доказывал что-то в соседней комнате Мурат и снисходительно возражал ему Али.

Ольмесхан взглянула на мужа, выпрямилась, на лице ее были тревога и ожидание, и девочки перестали гомонить, уставились на отца — слишком уж довольный и важный вид был у Мухтара. Он сдернул с гвоздика у входа полотенце, вытер им лицо, шею; снял не спеша сапоги и только после этого достал письмо.

— От Ивана Харитоновича!

— Неужели? Наконец-то дождался! — вежливо обрадовалась Ольмесхан и, облегченно вздохнув, опять принялась хлопотать у плиты. — Видно, хороший человек твой друг, если тебя не забывает, дай ему Аллах сто лет жизни.

Вдверь выглянули сыновья, обрадованные, наверно, минутной тишиной на кухне, — подумали, что готов обед, — и опять скрылись.

Мухтар прошел к окну, уселся поудобней и распечатал конверт.

¹ Суюнши — вознаграждение за хорошую весть.

— Что пишет-то? Читай вслух! — потребовала Ольмесхан, ссыпая в казан нарубленное тесто.

Но Мухтар отмахнулся. Сначала он и сам собирался сразу же прочитать письмо семье, но сейчас понял, что не время — никто слушать не станет, а если и будут, то ожидая обед, невнимательно, и не оценят событие. Поэтому он изучал письмо молча: покачивал головой, восхищенно поднимал брови, иногда хмыкал или цокал языком, чтобы привлечь внимание жены. Лишь когда вся семья собралась за столом и принялась за хинкали, Мухтар решил, что — пора!

«Салам, Михаил Андреевич!» — торжественно начал он и гордо поглядел на всех поверх листка бумаги.

Али поднял голову от тарелки.

— А почему Михаил Андреевич? — удивился он.

— Это псевдоним! — заржал Мурат.

Отец строго глянул на него, пресекая смех. Объяснил, придумывая на ходу.

— Мухтар Алим-гиреевич слишком длинно и сложно для Ивана Харитоновича, поэтому мой друг попросил разрешения звать меня по-русски. Я позволил ...

— Мы сами виноваты, что забываем красивые национальные имена, вроде бы стыдимся их. Вот Володя Иштерек, который работает на БАМе, попросил у отца разрешения назвать дочку Абидат, так старый Магомед запретил. Написал, что давно мечтает назвать внучку Олсей... Ну разве это не анекдот?!

— Дети должны беспрекословно слушаться родителей, — ушел от ответа Мухтар. — В наше время молодежь действия старших не обсуждала.

— Это хорошо, это правильно, — согласился Али и хитро прищурился. — Последний вопрос: а как бы твой отец отнесся к тому, что ты стал Михаилом Андреевичем?

Мурат опять заржал и опять получил от брата подзатыльник. Мухтар от вопроса старшего сына растерялся, и, не зная, что ответить, посмотрел встревоженно на фотокарточку отца в простенке между окнами, потом на Али с таким упреком, и осуждением, что сын опустил голову.

— Значит так, продолжаю, — Мухтар откашлялся. —

«Салам, Михаил Андреевич! Я все время помню тебя, но написать не было даже свободной минутки, так как после отпуска накопилось много работы. Извини за молчание. Как твоё здоровье, не болит ли спина? Ты жаловался, что к плохой погоде она ноет, да и сам я это знаю — не раз растирал тебе ее. Здорова ли твоя жена? Как твои дети, не болеют ли, слушаются ли, понравились им подарки, которые мы с тобой выбрали? Как живут родственники, соседи, товарищи по работе? Передай от меня большой салам членам твоей семьи, двоюродному брату Аскеру, тете Шайдат, соседям Якубовым и Парисбию с женой, о которых ты так много рассказывал и которых я очень уважаю».

Мухтар поднял глаза, чтобы насладиться изумлением детей и жены. Но Али слушал со спокойным лицом, Мурат с интересом поглядывал в окно, девочки, перестав дергать друг друга и ссориться, сидели с открытыми ртами, но их, скорее всего, удивило не письмо, а то, что отец, вместо того, чтобы есть, читает. И только Ольмесхан, подперев подбородок рукой, внимательно и серьезно смотрела на мужа. Мухтар понимал ее: ведь за всю жизнь они ни разу не получали писем. Да и кто мог прислать их? Родственники из соседнего аула? Зачем, когда можно приехать. А тут такое обстоятельное, душевное послание из далекого, почти сказочно-нереального города Донецка. Но не знал Мухтар, что, помимо гордости за него, испытывает Ольмесхан и легкую тревогу: после той злосчастной ездки на курорт, когда муж вернулся таким странным, все, казалось, встало наконец-то на свое место, опять пошла ясная и привычная жизнь, и вдруг — это письмо. «Да, не зря он приехал таким возгордившимся, — размышляла Ольмесхан. — Ведь целый месяц рядом с вон каким обходительным, грамотным и, видать, не нам чета, человеком жил. Хороший у Мухтара друг: добрый, заботливый, приветливый ... — но тут же ревниво одернула себя: — Мой не хуже. И даже лучше. Только скромный очень, потому никто его золотой души и не замечает. Вот, вот, и в письме то же написано!»

Мухтар в это время читал:

«...Никогда не забуду, как мы с тобой отдыхали, и те-

бя не забуду. Часто вспоминаю твое отношение ко мне, вспоминаю, какой ты был вежливый и культурный. Я много рассказывал о тебе друзьям и нашему главному инженеру. Они обиделись, что я не уговорил тебя приехать к нам. Мы, говорят, тоже хотим познакомиться с таким замечательным человеком, то есть с тобой. Я им объясняю, что у Михаила Андреевича, то есть у тебя, отпуск кончился и тебе пора приступить к работе, а они говорят, пусть уважаемый Михаил Андреевич насовсем переезжает к нам вместе со всей семьей и пусть работает у нас, мы его очень ждем. Дадим новую квартиру со всякими удобствами, дети будут ходить в городскую школу, а потом станут учиться дальше, на начальников....»

Мухтар заметил, как заморгала Ольмесхан, как недоверчиво посмотрел на него Али, как повернул лицо Мурат, улыбаясь все шире и шире.

«У нас кавказцев уважают, — продолжал, обрадованный вниманием, Мухтар, — а о ногайцах мы слышали, что они хорошие и честные товарищи. Я подтвердил это и сказал, что если Михаил Андреевич такой замечательный человек, то и вся нация такая же замечательная. А тебя, Михаил Андреевич, я сильно уважаю, так как ты не пьяница какой-нибудь, а очень порядочный и добросовестный трудящийся.

Большой, большой салам тебе и твоим друзьям, которые, я знаю, тоже хорошие люди, потому что у такого человека, как ты, и друзья хорошие.

Крепко жмет твою руку твой друг Иван Харитонович из Донецка».

Мухтар вчетверо сложил письмо и самодовольно оглядел семью.

— Ты и вправду переезжать собрался? — тихо спросила жена.

— А что? — Мурат хихикнул и, важничая, выпятил грудь. — Поживем в городе. Чем плохо?

Дочки, не понимая, в чем дело, но чувствуя, что происходит нечто неожиданное, важное, а может, и страшное, следили за лицами старших и вдруг одновременно сморщились — приготовились плакать.

Такого оборота Мухтар не ожидал.

— У нас с Иваном Харитоновичем разговора о переезде не было, — скрывая смущение, торопливо сказал он. — Это его товарищи меня приглашают, но я, конечно, никуда отсюда не поеду.

— Слава Аллаху! — облегченно воскликнула Ольмесхан. — А то я уж испугалась, — и чтобы сгладить впечатление от слишком явной радости, польстила: — Очень хорошее письмо, и друг у тебя хороший. Пусть будет долгая жизнь у твоего ... — и с трудом выговорила, — Ивана Харитоновича.

— Надо написать ему, отец, — серьезно заметил Али. — Люди приглашают, невежливо будет, если не ответишь.

— Да, конечно, — Мухтар озадаченно посмотрел на сына и отвел взгляд.

— Передай наш салам Ивану Харитоновичу и его друзьям, — Али встал. — Я в клуб, на репетицию...

Мурат тоже сорвался с места, кинулся к двери, натянул куртку и умчался играть в щеккитоп¹ — с улицы давно уже доносились азартные вопли сверстников: дождь придавал игре особую остроту и непредсказуемость. Ольмесхан принялась убирать со стола. Дочери, скромненько сидевшие на диване, начали сперва робко, потом все смелей толкаться, щекотать друг друга, хихикать, взвизгивать. Старшая опрокинула младшую на спину, бросилась от дивана; младшая — за ней. Старшая — в дверь; младшая — туда же. Вернулись мокрые, продрогшие, с грязными босыми ногами. Старшей, конечно, досталось от матери. Девочка заревела, размазывая по щекам слезы и прозрачные сопли; младшая, с веснушчатым, пестрым, как индюшачье яйцо, лицом — похожая, видимо на Ольмесхан в детстве — тоже заплакала. Мухтар подхватил ее, усадил на колени и, обиженный, оскорбленный, что никто не оценил по достоинству письмо, прикрикнул в сердцах на Ольмесхан — не смей бить детей! Жена обиделась, вытерла резкими, угловатыми движениями стол и, не став мыть посуду, ушла в другую комнату.

¹ Щеккитоп — ногайская национальная игра, напоминающая лапту.

«Ничего им не интересно, повернулись и ушли, будто ничего особенного не произошло, — растравливал свою боль Мухтар, поглаживая дочь по мягоньким волосам. Он давно готовился к этому дню, представлял, как жена и дети будут восторженно обсуждать каждую строчку, расспрашивать про Ивана Харитоновича, про все новое, что увидел, узнал, понял Мухтар на курорте, и вот тебе раз: поговорили! Ну Ольмесхан-то ладно, дальше аула носа не показывала. Ее можно понять: переполошилась, когда про приглашение в Донецк услышала ... Да, это нехорошо получилось, — отметил мимоходом и опять закручинился. — А сыновья? Ведь не такие темные, как мать. Али десятилетку кончил, да и Мурат не глупый парень — неужто им не интересно, неужто не могут порадоваться вместе с отцом?»

— Ты не пойдешь со мной поздравить Эрту? — голос жены прозвучал виновато и чуть-чуть заискивающе: чувствовалось, что она ищет примирения.

Мухтар поднял глаза.

Ольмесхан в новом зеленом платье, сшитом из кримплена, привезенного мужем, смотрела немного смущенно и застенчиво. Мухтар оглядел жену с головы до ног, хмыкнул одобрительно.

— Хорошо сшила, красиво.

— Из такого материала все красивым будет, — сказала Ольмесхан, чтобы сделать приятное мужу и, обрадовавшись, что он оттаял сердцем, затараторила. — Я в подарок Эрту приготовила покрывало за двенадцать рублей и ситец на платье. Покрывало — от тебя, ситец — от меня. И девочке ползунки купила, такие мягонькие—мягонькие...

Эрту, невестку покойного Якуба, вчера привезли из роддома, и конечно же надо бы сходить к соседям, поздравить их с ребенком.

— Иди одна, — хмуро перебил Мухтар. — Я не хочу.

Ольмесхан по-своему поняла его.

— Конечно, если бы жив был Якуб, я бы тоже не пошла пусть он на том свете покоя не знает из-за твоей ноги. — Поджала губы. — Но грех отца на детей не падает, а хороший сосед лучше родственника, сам знаешь.

— С чего ты взяла, что я обижен на детей Якуба? — Мухтар вытаращил глаза. — Вроде мы с ними дружно живем. На свадьбу к ним ходили, к себе на талаку, на новоселье приглашали и вообще ... Да ты что выдумала, жена? И на Якуба давно, зла не держу. В те времена я свой огород, может, тоже с палкой сторожил бы, — поморщился, увидев недоуменное лицо жены, но не мог ведь объяснить, что не в духе из-за ее безразличия к письму. Все же намекнул: — К людям надо относиться с пониманием, с душой. Иди, соблюди обычай, а то будешь потом мучиться, что не исполнила долг.

— А ты не будешь мучиться? — съязвила Ольмесхан.

Муж не ответил. Подошел к телевизору, включил его и с серьезным, сосредоточенным видом уселся напротив, скрестив на груди руки. Дочери резво подтащили табуретки пристроились рядом с отцом и замороженно уставились на экран, хотя передача была, пожалуй, сложновата не только для них, но и для родителей — показывали какой-то фильм о строении атома. Сталкивались блестящие кружочки, распадаясь на маленькие шарики, шарики эти снова сливались и снова взрывались, но Мухтар не видел этого — перед глазами разрастался желтый туман, в котором ворочались, переливались какие-то оранжевые лохмотья, сгустки, завихрения, точно водовороты в Кубани или дальние облака, сбивающиеся в окрашенную закатным солнцем грозовую тучу. Как всегда, когда застилала взор эта желтая пелена, сердце забилось тяжело, с натугой, стало душно, тоскливо,

Так и просидел Мухтар перед телевизором, пока не вернулась Ольмесхан. Снимая болоньевый плащ, отряхивая его, она принялась рассказывать о том, какая славная девочка у Эрту — розовенькая, пухленькая; о том, как обрадовались ее, Ольмесхан, приходу и как жалели, что не смог зайти Мухтар-агай, как благодарили за подарки, которые всем очень понравились.

— Понравились, значит, подарки? — брюзгливо переспросил Мухтар. — Нужны им твои покрывало да ситец! — и сам удивился: зачем ляпнул, к чему срывать плохое настроение на жене, соседях?

— Зря ты так говоришь и думаешь о людях плохо, зря! — обиделась Ольмесхан. Повесила плащ на крючок

и прямо в праздничном платье, чего с ней никогда не бывало, принялась мыть посуду. — У тебя один твой Иван, как его, Харитонович, хороший, — постукивая тарелками, негромко, чтобы муж окончательно не рассердился, ворчала она. — Знаю, чего злишься: опять, наверно, Ялту вспомнил, заскучал по курортной жизни

— Пойду к Парисбию. — Мухтар поднялся со стула. — Обещал ему раму сделать, надо обговорить, что и как.

Оставляя хоть ненадолго жену, он всегда называл какой-нибудь предлог. Ольмесхан кивнула, но обида, которая застыла в ее глазах, разрослась: не хотел пойти поздравить, Эрту, а к Парисбию — пожалуйста! — отправился.

Ливень уже прекратился. С неба сеялся мелкий, почти незаметный дождик.

Обходя поблескивающие лужи, поеживаясь, когда с деревьев сыпались сорванные ветром капли, Мухтар сдержанно улыбался — представлял, как удивится Парисбий письму и, понимая по качивая головой, выслушает рассказ об Иване Харитоновиче. Сосед оценит событие, поймет, ведь ему часто пишут из дальних мест, куда он ездил в командировки или в отпуск. Когда Мухтар приходил в гости, сосед читал ему эти письма, и Мухтар завидовал: такие они были теплые, искренние, дружественные, с пожеланиями всяческих благ и успехов, с приветами жене, родственникам, соседям. Парисбий дорожил перепиской, хотя в ней не было для него никакой корысти. Это больше всего удивляло Мухтара — сосед слыл общительным, веселым, хлебосольным, знал, пожалуй, всех в районе, со всеми был приветлив, с каждым встречным здоровался, часто устраивал в своем доме пирушки с обильным угощением и возлияниями, на вечеринки эти приглашали многих, но ... все это были люди, которые чем-нибудь, как-нибудь нужны Парисбию. Никого из них он не мог назвать своим другом, и из них никто не называл Парисбия другом. Мухтар много размышлял о тех, кто пишет соседу. «Наверно, они не знают, кто такой Парисбий, если относятся к нему почти по-родственному, сочувствуют, переживают его неудачи, советуют и советуются, но Парисбий-то, почему он отвечает им? Почему так гордится этими знакомствами, почему так

радуется, что у него есть друзья, с которыми не связывает деловой интерес? Непонятно». А Парисбий действительно гордился, действительно радовался, и Мухтар видел, что это неподдельно, и ему, Мухтару, все сильнее, все нестерпимей хотелось тоже получать такие письма, пусть не от многих приятелей, пусть только от одного. Но той души, того единственного знакомого, который, проживая вдали, беспокоился бы о его здоровье, интересовался бы его самочувствием, настроением, делами, не было. И лишь после встречи с Иваном Харитоновичем появилась надежда, что кто-то, не связанный родством или соседством, станет близким, чутким человеком.

Мухтар, делая вид, что не замечает вышедшего встречать хозяина, старательно очищал сапоги о железную скобу у крыльца.

— Сосед, дорогой, не оскорбляй меня, — добродушным баском рокотал Парисбий. Он, в майке, в полосатых пижамных брюках, сползших с большого круглого живота, стоял над Мухтаром и снисходительно смотрел сверху вниз. — Ты что, в ханский дворец пришел? Сам знаешь, если даже грязь со всей улицы принесешь, я не обижусь.

Мухтар искоса глянул на него, усмехнулся: знал, что журят неискренно, но все же не потому так старательно скреб о скобу сапоги и потом тщательно вытирал о тряпку у входа — жена Парисбия обязательно посмотрит на ноги, даже если Мухтар заявит в сушь и обувь будет безупречно чистая. Только гостей — аульское начальство да людей из района — встречали они, сияя от счастья, заглядывая им в глаза. А Мухтара гостем не считали, он — сосед.

— Я насчет рамы ... — начал Мухтар. Хотя он мог заходить и без повода, но всегда старался придумать причину в основном, чтобы оправдаться перед собой.

— Э, о чем ты говоришь. Как сделаешь, когда сделаешь — тебе лучше знать. Заранее спасибо, — Парисбий открыл дверь, пропустил приятеля вперед.

— Салам алейкум. Мир этому дому! — громко поприветствовал Мухтар.

Тучная хозяйка выглянула из кухни.

— С миром встречаем, — ответила деловито, глянула на сапоги вошедшего и опять скрылась.

Мухтар почти на цыпочках прошел в комнату и остановился около стула у двери, но Парисбий обнял соседа за плечи.

— Ну что ты за человек! Каждый раз одно и то же, — засмеялся он. — Прошу сюда, на диван.

— Здесь телевизор лучше видно ... — начал неуверенно Мухтар, но Парисбий отмахнулся.

— Не выдумывай! Никакой разницы.

Странные и сложные отношения были между ними.

В детстве дружили, вместе ходили в школу, вместе пропадали летом на Кубани, и Мухтар даже покровительствовал Парисбию, заступался за товарища, если того обижали аульские мальчишки. Но особенно сблизила, почти сроднила их работа плугатарями, когда сутками приходилось трястись на железном сиденье, превозмогая бессонницу ночью, которой казалось не будет конца, одуревая от пыли, солнца и оупляющего однообразия пашни днем, таким же бесконечным, как ночь. Оба были сироты — у Парисбия отец погиб на фронте — родились в одном году, исполняли одну работу, поэтому и привычки, и чувства, и мысли имели одинаковые: гордились своим делом, гордились, что сами зарабатывают на хлеб, гордились, что помогают взрослым ремонтировать старенькие «СТЗ», которые часто выходили из строя, гордились, что аульчане серьезно и на равных здороваются и разговаривают с ними. Ведь в те времена пахали даже на коровах, поэтому к людям, связанным с техникой, относились благодарно, уважительно, с почтением. В детстве Мухтар, несмотря на худобу и хромоту, ни в чем не уступал Парисбию. Нередко, в короткие минуты отдыха, взрослые, подзадоривая, просили плугатарей побороться, и Мухтар всегда брал верх над другом. Прижав его лопатки к земле, требовал, чтобы побежденный, как предусмотрено правилами, признал свое поражение и подтвердил, что победитель сильнее. Тогда Мухтар сознавал свое превосходство, и Парисбий был согласен с этим — друг Мухтар и сильней, и выносливей, и технику лучше знает: в моторе разбирается и может даже трактор водить.

Но те времена прошли. Мухтар стал механизатором, а Парисбий окончил какой-то техникум и, вернувшись, работал в районе на начальственных местах, был даже директором элеватора. Правда, долго нигде не засиживался — то недостачи, то злоупотребления властью, то развал дела. Вот уже лет десять он экспедитор кирпичного завода. И хотя делает вид, будто жизнью доволен, всегда веселый, добродушный, но нет-нет да и прорывалась у него жалоба: «Эх, масштабы не те, размах не тот! Ну что это за должность?» Должность была действительно скромной, но все равно Мухтар робел перед бывшим другом детства: подавлял огромный дом, в котором сосед жил вдвоем с женой — единственная дочь, окончив мединститут, вышла замуж и осталась в городе, подавляла собственная «Волга», комнаты, забитые полированной мебелью, коврами, хрусталем, подавляли люди, приходившие в гости, — уверенные в себе, с громкими головами, с нахальными глазами. Когда они появлялись, Мухтар к соседу не показывался — стеснялся, чувствовал себя скованно, неуютно, а главное, боялся, что поставит приятеля в неловкое положение. И в мыслях не было у Мухтара завидовать, тем более что подозревал он: не по средствам живет сосед. И все-таки Мухтара тянуло сюда; может, из любопытства, может, чтобы неосознанно убедить себя, что не в вещах и деньгах счастье, но, скорее всего, потому, что Мухтар, сам того не подозревая, хотел показать и себе, и благополучному Парисбию, что его, Мухтара, судьба сложилась не хуже, а может, и лучше. А сегодня была и особая причина.

— Ну как дела, дос? — Парисбий поудобней уселся на диване, выпятил живот и огладил его ладонями.

— Какие у меня дела? План, план ... Выполним — премия, не выполним — позор! — Мухтар, невольно подражая соседу, тоже выпрямился, выпятил, за неимением такого внушительного живота, грудь.

— За планом не угонишься, ясное дело, — понимающе улыбнулся Парисбий, обнажив золотые зубы. — А дома нового?

— Тоже план выполняем, — заулыбался и Мухтар. — Все идет по плану. Скоро сына в армию отправлю. Бычка

для такого случая откормили, барана зарежем, кур, индюшек. Хорошо проводим Али...

— Не одобряю, — снисходительно перебил Парисбий. И пояснил поучающим тоном, будто более старший и более опытный. — Надо было в институт его отдать. После армии забудет все, что знал. Как говорится: кто вовремя начинает, тот успевает! — довольный, что удачно вставил народное присловье, благодушно засмеялся, отчего мелко затрясся живот, заколыхался диван.

— Всему свой срок. Яблоко падает, лишь когда созреет, — Мухтар не остался в долгу, тоже ответил поговоркой. — Это я сына надоумил. Пусть посмотрит другие края, других людей, другую жизнь. Парни, пока служат, мужчинами становятся и после свою дорогу выбирают обдуманно.

— Это верно, — согласился Парисбий. — В солдатах я многое понял, поумнел.

Мухтар опустил голову, чтобы не видно было усмешку.

После армии Парисбий вразвалочку рассказывал по улице, на все посматривал пренебрежительно, со сверстниками не здоровался, притворился, будто забыл родной язык. Даже с матерью, которая тогда была еще жива, объяснялся только по-русски. Рассказывают, что и до него так же вели себя некоторые парни, возгордившиеся перед земляками. Среди аульских ребятишек долгое время была самой любимой история — то ли выдумка, то ли правда о том, как один демобилизованный делал вид, что не понимает по-ногайски, пока не наступил во дворе на зубья грабель. Понятно, ручка хлопнула его по лбу. «О, шайтан, кто это бросил грабли!» — на чистейшем ногайском языке заорал тот человек. Мать его, рассказывают, тут же курицу зарезала, муллу пригласила, чтобы вознес он молитву во славу Аллаха, вернувшего сыну память ... Так вот, Парисбий в родном ауле тоже корчил из себя невесть какого чужака. Встретив в день приезда Мухтара на берегу Кубани, спросил на ломаном русском языке: «Эй, парень, ты чей? Как тебя зовут?» — «Ты чего дурачком прикидываешься?» — удивился Мухтар и с силой толкнул приятеля в реку, только отутюженная форма да начищенные до блеска сапоги мелькнули. «Мухтар,

шуток не понимаешь!» — завопил по-ногайски Парисбий, отплеываясь и пытаясь поймать фуражку, которая, бодро приплясывая на стремнине, уносилась по течению ...

— В институт, как моя дочь, Али после службы вряд ли поступит, а в техникум сможет, — размышлял Парисбий. — Я ведь тоже после армии техникум окончил. Глядишь, твой сын станет жить еще лучше, чем я, — добавил рисуясь.

— Там видно будет, — уклончиво ответил Мухтар. — Захочет дальше учиться — пусть идет; захочет работать — пусть работает.

Он рассеянно глядел на экран телевизора — показывали какой-то фильм про влюбленных. Смотреть его было не интересно и скучно. Раньше, до женитьбы, у Мухтара единственной радостью был клуб, когда там показывали кино — тогда оно было еще в диковинку. Но смотрел Мухтар по-своему: содержание забывал почти сразу после сеанса, а оставалось лишь воспоминание о какой-нибудь военной или смешной сцене, иногда и вовсе о незначительном эпизоде. Только один фильм — «Чапаев» — запомнил на всю жизнь и даже сейчас мог пересказать его от первого до последнего кадра. В этой картине Мухтару нравилось все: бесшабашный и такой узнаваемый, похожий на людей из жизни, красный командир, его адъютант Петька, пулеметчица Анна, комиссар, бородатый казак — «Митька ухи просит» — и даже лысый полковник белых. Ходил Мухтар в клуб и в первые годы после женитьбы, но все реже и реже: «Зря время потратил, — жаловался он Оьлмесхан. — «Чапаев» — вот кино, там все ясно. А это, которое смотрел, не понимаю!» Когда появился телевизор, Мухтар, как и все, терпеливо высиживал перед ним, свободное время, но пялясь на экран, думал обычно о своем.

Парисбий тоже, не отрываясь, смотрел телефильм, но еле сдерживал зевоту: он любил или заграничные картины или про бандитов и жуликов, и часто, когда приходил Мухтар, а разговаривать было не о чем, восхищался: «Недавно видел в районе кино. Итальянское. Вот живут люди!» — или — «Смотрел на днях про одного — вот это человек! Миллионами ворочал, денег полный чемодан.

Даже жалко, что попался; такая голова — все продумал, все рассчитал, а на пустяке, на мелочи сорвался!»

Глядя на экран, они вяло, отрывочно разговаривали: о детях, затем о работе, потом об аульских новостях. Парисбий уже откровенно дремал, посапывал. Лишь изредка, доносилось из кухни громыханье посуды или когда на экране слишком уж громко выясняли отношения, он открывал заплывшие глаза, смотрел по сторонам ошалело и непонимающе и, слегка смутившись, опять принимался расспрашивать Мухтара о детях. Тот, почему-то виновато улыбаясь, отвечал, но мысли его были заняты другим. Он думал о своей жизни, о том, что вся она, оказывается, прошла, замкнутая в кругу семьи, двух—трех родственников, соседей, товарищей по работе, а ведь вне аула существует другой, большой и многообразный, мир, краешек которого удалось подсмотреть на курорте. С этим миром многие земляки связаны постоянно и прочно — у некоторых дети учатся в городах, у некоторых там есть родственники и друзья, аульчане принимают гостей из дальних мест, сами уезжают в гости в те неведомые края и возвращаются оттуда счастливыми; получают письма и отвечают на них. Только он, Мухтар, никого не ждет в гости, никуда, дальше соседнего аула до райцентра, не ездит ... Но вот сегодня, наконец-то, пришло письмо — а это значит, что и у него, Мухтара, есть близкий человек вне района, это значит, что мир Мухтара, его интересы, заботы, радости тоже широки и не связаны лишь с работой и домом.

Мухтар с досадой посматривал на спящего соседа. Хрустел в кармане конвертом, шуршал им, даже кашлянул несколько раз, но Парисбий не открыл глаз.

Выручила хозяйка дома. Полная, белолицая, она величаво вплыла в комнату, равнодушно спросила:

— Ну что новенького, сосед?

Мухтар приосанился, разгладил усы, достал сложенную вчетверо бумагу.

— Вот получил от друга. Из Донецка!

— О-о-о, — притворилась изумленной женщина. Вытерла о фартук пухлые белые пальцы в золотых кольцах, взяла письмо. Опустилась рядом с мужем, толкнула его плечом. — Посмотри-ка!

— Что, что случилось? — переполошился спросонья Парисбий, испуганно глядя то на довольное лицо Мухтара, то на жену.

— Да ничего не случилось, ничего, — рассмеялась она. — Просто наш сосед письмо получил из Донецка.

— А, письмо, — Парисбий зевнул, потянулся. — А меня что-то разморило ... Ну-ка, посмотрим, посмотрим, — взял листок, развернул. — Салам, Михаил Андреевич! — начал громко и замолк, удивленный. — То, что Михаил Андреевич — понятно, самого иногда зовут Борисом Семеновичем, но почему «салам»? Это ты, наверно, научил своего друга? — осуждающе поглядел на Мухтара.

Тот подтверждаяще кивнул.

Дальше он читал без замечаний. Выделял интонацией понравившиеся места, повышал голос и даже рукой взмахивал. Особенно понравилось ему упоминание о себе.

— «Передай от меня большой салам... так, так, ага ... Парисбию с женой, о которых ты так много рассказывал и которых я очень уважаю», — отыскав, еще раз внушительно повторил он эту фразу. — Молодец, сосед, хвалю. И о нас своему другу рассказал, — повернул на секунду лицо к жене и — снова к Мухтару: — Спасибо, дос. Будешь ответ писать, передай от меня большой привет и уважение. А если не против, дай адресок твоего друга. Может, придется побывать в Донецке, в гости зайду.

Мухтар смутился, принялся старательно запихивать письмо в конверт.

— Дам. Почему не дать? — буркнул растерянно. — Только не знаю, можно ли, чтобы ты, незнакомый, к нему за явился?

— Э, о чем говоришь! — Парисбий откинулся на спинку дивана, опять закрыл глаза. — Был незнакомый, стану знакомым. Долго ли?

— А кем работает этот Иван ... как его ... Харитонович? — поинтересовалась жена Парисбия.

— На шахте, — гордо сказал Мухтар.

— Шахте-ер, — с легким разочарованием протянула женщина, но, почувствовав, что тон может обидеть соседа, добавила с похвалой: — Шахтеры хорошо зарабатывают.

Отвернулась к телевизору, сложила руки на животе и застыла.

«Им все безразлично, а смотри — адресок просит. Иван Харитонович не то что дремать не стал бы, а вокруг тебя, как юла, вертелся бы, на все твои сомнения ответил бы, подсказал бы что делать», — подумал Мухтар.

Он встал, пошел, не осторожничая, к выходу.

— До свидания.

Хозяйка, слегка и ненадолго повернув голову, кивнула; хозяин, так и не проснувшись, мирно похрапывал.

На дворе Мухтара поджидали предвечерние сумерки, наполненные легкой прохладой; запахами омытой дождем земли, листвы, травы, далекими криками мальчишек, все еще играющих в щеккитоп. Сквозь уже поредевшие на западе тучи, которые, побелев, утратили унылый грязный вид, прорвались на миг косые лучи солнца, похожие на яркие прозрачные полосы, и исчезли. «Вот так и у меня, — неожиданно подумал Мухтар. — Появилась, радость и угасла». Он остановился у своей калитки, вцепился в мокрые штакетины, опустил голову. Вспомнил, как целую неделю после работы, когда бригада отправлялась домой, оставался в вагончике и сочинял письмо от имени Ивана Харитоновича. Мучился, зачеркивал, рвал бумагу и начинал сызнова, все казалось, что непохоже, будто писал русский, все опасался, что те, кто будет слушать или читать, не поверят, так хорошо, братски относится друг из Донецка к нему, Мухтару Карамову. Кучу бумаги извел, пока не показалось, что получилось вроде неплохо. Три дня назад напросился в район за запчастями и в городе зашел на почту. Приметил в уголке очкастого, с седой щетиной сухонького русского в шляпе, который составлял телеграмму, и, краснея, заикаясь от смущения, попросил этого гражданина переписать текст. Старик ничуть не удивился прочитал, пожевал губами, кое-что вычеркнул, кое-что добавил и лихо настроил письмо красивым разборчивым почерком с завитушками. И адрес на конверте написал. Мухтар от радости и благодарности хотел угостить вином благодетеля, но тот отказался, объяснив, что у него больное сердце, язва желудка и очень строгая жена.

«Хорошо я придумал, и сделал хорошо, — улыбнулся Мухтар. — Главное, никто не догадается». Но вдруг вспомнилось веселое лицо Апаса, его жест, которым почтальон словно бы припечатывал что-то. «С чего это смеялся немой?» — встревожился Мухтар. Достал конверт, внимательно оглядел его и сник: конечно же, как можно было забыть — хотя откуда же и знать, ведь писем никогда не получал! — на штемпеле четко стояло название райцентра, а не Донецка.

— Ну и пусть! — упрямо прошептал Мухтар. — Апас никому не скажет, а для всех, и для меня тоже, это письмо от друга.

Он, сторбившись, прошел во двор и направился к сараю. «Ах, Иван Харитонович, Иван Харитонович, — обиженно выговаривал в мыслях Мухтар приятелю. — Ну что тебе стоит написать мне? Ты даже не знаешь, как бы я обрадовался. А как бы гордился этим!.. Может, ты стесняешься написать первым, а? Стесняешься? И я стесняюсь. А как было бы отлично, если бы мы хоть изредка перекликались: «Салам, Михаил Андреевич!» — «Здравствуй, Ян Харитон улы!»

Долго, почти до самой ночи, грустила, жаловалась, выводя задумчивую гортанную мелодию, свирель во дворе Мухтара Карамова

1981 г.

СИНИЕ СНЕГА

Повесть

Рисовал Айдар с тех пор, как помнит себя: в детстве, подобрав около печки уголек, — на побеленных стенах дома, за что не раз получал от матери подзатыльники, в школьные годы — на полях учебников и на тетрадных обложках, чем приводил в негодование учителей. Возмущенные, они жаловались на Айдара его отцу, тот, округлив глаза, делал встревоженное лицо и добросовестно выслушивал все, что говорили преподаватели о сыне, обещал наказать Айдара, а если надо, даже выпороть, но когда оставался с ним наедине, становился таким же, как обычно: добрым и как будто немного смущенным. Журил, конечно. Не надо, мол, сердить тех, кто выше, нехорошо, если они невзлюбят, тяжело тебе будет жить. Отец тяжело болел, кашлял, отхаркивался кровью и как позднее, уже взрослым, догадался Айдар, — он знал, что скоро умрет. Поэтому чувствовал вину перед семьей, в том числе и перед сыном, за то, что оставит их без своего заработка. Потому и не ворчал никогда ни на дочек, ни на Айдара, младшенького: не хотел остаться в их памяти суровым или даже злым. Умер он, когда Айдар перешел на второй курс художественного училища, куда поступил по настоянию Назара Якубовича, учителя рисования. Сначала тот не выделял Айдара среди других школьников, но потом, задумчиво разглядывая его рисунки, стал складывать их в отдельную папку, начал дарить ему краски, альбомы, кисти, научил писать маслом. Пос-

ле восьмого класса Назар Якубович пришел к родителям Айдара и стал уговаривать их отпустить сына учиться на художника. Мать, как и полагается женщине во время серьезной беседы мужчин, помалкивала, хотя и рассчитывала, что сын поступит в сельскохозяйственное ПТУ: механизатор — профессия надежная, денежная. А художник — что это за специальность такая? Но отец — ему, видно, все уже стало безразлично — неожиданно легко поддался на уговоры учителя рисования. Мать не осмелилась возражать мужу, главе семьи. И Айдар уехал в город. Обычно суровый Назар Якубович, прощаясь, расчувствовался, начал убеждать Айдара, что он очень одаренный и теперь главное для него — учиться, чтобы развить способности, не загубить талант. Сначала Айдар растерялся от таких слов, — он был убежден: рисовать так, как он, может любой, — но потом слова Назара Якубовича сделали свое дело, и Айдар твердо решил: как бы ни было трудно, он станет художником.

В училище он занимался рьяно и самозабвенно. Тем более, что там каждый день узнавал столько нового, увлекательного, интересного. Как много, оказывается, было в прошлом замечательных художников, как много создали они картин! Да каких — дух захватывает от восхищения. А сколько существовало стилей, манер, направлений: фаюмский портрет, академисты, романтики, «маленькие голландцы», русские передвижники, импрессионисты. И какую школу ни возьми — что ни полотно, то шедевр.

Но больше всего нравилось Айдару, прямо-таки околдовывало его, итальянское Возрождение. Часами мог он разглядывать в кабинете истории искусств альбомы с репродукциями Джотто, Мазаччо, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Джорджоне, Тинторетто. И особенно самого любимого своего художника — Тициана. Айдар даже себе не смог бы объяснить, чем привлек его этот живописец: может, тем, что Тициан был творчески очень плодовит, может, тем, что прожил почти до ста лет и до конца своих дней работал и совершенствовался, создал перед смертью великую картину «Святой Себастьян».

Чтобы постичь тайны мастерства гениев прошлого,

Айдар старательно изучал все, что о них написано: искусствоведческие и биографические монографии, исследования об эпохе Ренессанса, пристрастился к чтению серьезных книг по истории. В том числе и по истории России. Читал и про южного ее соседа — Ногайскую Орду. И все чаще задумывался Айдар над тем, как по-разному складывались судьбы народов: в то время, когда в Европе наступил расцвет гуманизма, культуры, когда там рождались прекрасные произведения искусства, предки Айдара жили так, словно время для них остановилось: как и за сотни лет до того, кочевали они по бескрайним ковыльным степям от Иртыша до Дуная, роды враждовали между собой, то объединившись, то порознь, нападали на сопредельные страны, разоряли, сжигали поселения, уводили всех от мала до велика в полон, чтобы одних превратить в рабов, за кусок конины охраняющих наравне с собаками табуны, а остальных продать на невольничьих рынках Оттоманской империи. Все еще угрожающие цивилизованному миру полудикие варвары, возглавляемые самонадеянными, воинственными племенными князьками, которые, развалясь в юртах на шелковых подушках и попивая кумыс, вынашивают коварные планы грабительских набегов, — такими виделись ногайцы европейцам пятнадцатого — шестнадцатого веков. И представления эти были недалеко от истины. Нет, никакой гордости за прошлое своего народа Айдар, как ни старался внушить себе это чувство, не испытывал, и жить в те времена, легендарные для каждого ногайца, когда они были свободными, заставляли себя уважать и даже бояться, он не хотел: знал, что в этом случае он был бы всего-навсего безымянным автором орнаментов для кошм. И то едва ли. Орнаменты, имевшие священный, пусть уже и подзабытый, смысл, передавались из поколения в поколение неизменными, да и занимались войлоком обычно женщины. И пришлось бы Айдару в те времена стать лихим, бесшабашным воином, пьянеющим от крови разбойником, или никому не известным ремесленником, наносящим узоры на утварь и седла, стремяна и уздечки. А ему хотелось бы стать — и тогда, и теперь — художником. Живописцем. Таким же мастером своего дела, какими были недостижимые пока итальянцы эпохи Возрождения.

Увлеченный учебой, он старался не унывать, хотя жилось ему трудно. Богемные мальчишки, которых в училище оказалось большинство, считали Айдара диковатым нелюдимом, а он, выросший в дальнем ауле, просто-напросто стеснялся чужих, робел перед ними, уверенными, раскованными, и замыкался в себе. Позже, когда сокурсники увидели, что Айдар одаренней их, они и вовсе невзлюбили его, решили: этот не пропускающий занятий, выполняющий все уроки молчун — гордец, самолюбленный и высокомерный зазнайка. Сначала Айдар терзался из-за того, что ни с кем не смог подружиться, но постепенно привык к своему положению. Одинок, в сторонке, работал за мольбертом в классе-студии, одиноко сидел до закрытия в библиотеке. И только на товарной станции, куда ходил разгружать вагоны, чувство одиночества исчезало: работяги к нему, безотказному и выносливому, относились как к равному. Ему было жалко потерянных воскресений — лучше бы съездить куда-нибудь на этюды, — но что же делать? Стипендии, как ни экономя, хватало только на полмесяца, из дома денег не получал, оттуда изредка присылали только брынзу, или сыр, или сушеные фрукты, но на них ведь красок, кистей и ватмана не купишь. А на втором курсе Айдар и посылки перестал получать. Когда летом похоронили отца, сам настоял, чтобы мать больше ничего не присылала.

После того в аул он уже не приезжал. Даже попрощаться, когда сразу по окончании училища его призвали в армию.

Служил Айдар в Подмосковье. Первые два месяца проходил курс молодого бойца: занимался как и все шагистикой, скучал на политзанятиях, зубрил уставы, разбирали и собирали автомат, задыхался в противогазе во время марш-бросков, бегал, ползал, окапывался, орал: «Ура!» на учениях, маршировал по плацу, мыл посуду на кухне, надраивал пол в казарме, чистил желоб для стока мочи в уборной, и этот новый мир, в котором оказался Айдар, представлялся бы ему беспросветным, если б не... Изабелла Португальская.

Вырванную из журнала «Юность» репродукцию этой работы Тициана Айдар обрел в первый же казарменный день, когда чувствовал себя хуже некуда — обреченным,

приговоренным на долгий срок к несвободе. В подавленном состоянии он открыл тумбочку у своей койки и там, в пустоте, в глубине, увидел прикрепленную кнопками ее — Изабеллу Португальскую: прекрасную, с изучающими и одновременно подбадривающими, чуть холодноватыми голубыми глазами, с насмешливо дрогнувшими ноздрями прямого носа, с чувственными, плотно сомкнутыми, чтобы сдержать улыбку, губами. Это было как чудо — Тициан! Любимый Тициан здесь, сейчас, когда так скверно на душе?! Айдар от неожиданности даже оцепенел на миг, но сразу же и обрадовался, сразу же на сердце стало легко — жизнь не остановилась, жизнь продолжается, потому что есть главное, ради чего стоит жить — искусство.

Он не стал выяснять у старшины, кто был тот солдат, который раньше пользовался тумбочкой, как его звали, чем он интересовался — не хотелось, чтобы исчез ореол загадочности. Айдар готов был относиться к репродукции из «Юности» так же, как верующие христиане к таинственно явленным иконам: с любовью, почитанием и не задумываясь о происхождении.

После присяги служба у Айдара покатила без осложнений. Он попал в привилегированные — числился писарем при штабе, но фактически был художником: писал транспаранты, рисовал плакаты, обновлял ленкомнаты, оформлял стенгазеты и стенды для клуба. Туда в конце концов он перебрался жить, возвращаясь, да и то не всегда, в казарму лишь к отбою, чтобы лечь спать.

Начальники всех рангов, от командира взвода до командира дивизии, смотрели на вольное житье Айдара снисходительно и относились к нему с покровительственной доброжелательностью. Тот безотказно делал по их заказам первоклассные копии классических натюрмортов со снедью и картин Шишкина, Левитана, Айвазовского. Ублажал офицеров и тем, что писал портреты самих отцов-командиров, их жен, детей, тещ, любовниц. Понятно, что ни о каком раскрытии характеров в этих работах не приходилось и мечтать: офицеры должны были выглядеть мужественными, женщины и дети — привлекательными. Типичная слащавая халтура. Чтобы не превратиться в бойкого ремесленника с наработанными приемами, чего Айдар боялся больше всего, он много и

честно рисовал для себя, для души. В основном солдат, изображения которых не надо было приукрашивать. Иногда, если кто-нибудь соглашался позировать, с натуры. А чаще по памяти. Писал Айдар и лица женщин — те, которые преследовали в воображении, — и с удивлением обнаруживал, что все они получаются схожими между собой, представляя, по сути, своеобразное тиражирование одного образа: лика Изабеллы Португальской, репродукция с портрета которой стала к тому времени для Айдара чуть ли не фетишем.

С этой репродукцией Айдар не расстался, даже став студентом Суриковского училища, куда поступил неожиданно для себя: не верил, что такое возможно. Но — Москва рядом, грешно не воспользоваться случаем, да и шанс пораньше вырваться из армии не хотелось упускать. Отпросившись за багетом в художественный салон, Айдар отвез в приемную комиссию училища две небольшие картины маслом, три акварели, около десятка рисунков. И постарался забыть об этом. Однако вскоре получил уведомление, что творческий конкурс прошел, и вызов — приглашение на экзамены. В штабе удивились, но удерживать, заставляя дослуживать не стали. И характеристику написали лестную.

В училище Айдар заявился в казенном обмундировании, с казенным вещмешком, в котором только и было, что казенные трусы, майка, вафельное полотенце да сухой паек на неделю. Экзамены по специальности — рисунок, живопись, композицию — сдал на отлично; общеобразовательные — на троечки. Конкурс был сумасшедший, и Айдар, воспаривший было в мечтах после первых туров, приуныл: видать, не судьба поучиться в столице. Но его приняли: может, пожалели солдатика, может, учли, что ногаец — надо формировать национальные творческие кадры, а может, и в самом деле сочли перспективным. Узнав, что его зачислили, Айдар чуть не ошалел от радости и поклялся в душе быть самым добросовестным, самым прилежным студентом, чтобы удача не разочаровалась в нем и не отвернулась.

Опять потянулись, словно и не прерывались на два армейских года, будни учебы, неустроенного, нищенского быта, одиночества — замкнутость Айдара в воинс-

кой части лишь усилилась: офицеры, заказы которых выполнял, были начальством, с ними не пооткровенничаешь, не отведешь душу; с солдатами и сержантами, живя затворником в клубе, он почти не общался. Не было теперь и случайных, ни к чему не обязывающих знакомств с грузчиками, среди которых чувствовал себя непринужденно: в Москве Айдар подрабатывать на товарные станции не ходил. Увидев случайно объявление, устроился на полставки, художником-оформителем в районное управление общественного питания со свободным графиком работы. Зарплата, конечно, копеечная, зато всегда был сыт — директрисы столовых благоволили к нему: первым делом он нарисовал их портреты. Приторные, разумеется, до неприличия. И опять заметил Айдар, что в каждом сделанном им женском портрете есть что-то, неуловимо напоминающее Изабеллу Португальскую — в одном поворот головы, в другом овал лица, в третьем выражение глаз.

Айдар понимал, что восхищаться этой жившей давным-давно красавицей глупо и смешно, более того, в таком отношении ней есть что-то ненормальное. Но ничего не мог с собой поделать — в любой миловидной, понравившейся ему женщине искал сходства с той, которую обессмертил Тициан. Если же встречал такую, которая, пусть и отдаленно, действительно напоминала Изабеллу, то, пораженный, следовал за ней в отдалении. Ни разу он не смог набраться смелости чтобы не то что представиться и попросить попозировать, но даже решиться подойти поближе. Женщины же эти никогда не замечали Айдара. Были они обычно холеные, довольные собой, подчеркнута благополучные, поэтому ни одной из них и в голову не могло прийти, что бедно одетый молодой человек, идущий следом, платонически влюблен, что он видит в ней подобие той гордой аристократки, которую увековечил величайший мастер живописи.

Одна такая встреча особенно запомнилась Айдару.

Морозным вечером в конце декабря шел он в отличном настроении из молочного кафе, где разрисовывал витрину дедами-морозами, снегурочками, зайчиками, снежинками и прочими новогодними символами. И вдруг, обгоняя оживленно беседующих барственного

вида мужчину в дубленке и женщину в черном пальто с белым пушистым воротником, он мельком взглянув на них, чуть не споткнулся, потрясенный: женщина была точной копией, абсолютным воплощением тициановской Изабеллы. У Айдара беспорядочно заколотилось сердце. Он замедлил шаг, пропустил парочку мимо себя и, точно во сне, направился за ними, не отрывая от женщины глаз и еле удерживая радостную улыбку. Ему представилось, как женщина, обеспокоенная его взглядом, обернется, посмотрит на него, потом оглянется еще раз, посмотрит пристальней, внимательней... Потом, когда расстанется со своим спутником, Айдар и она окажутся рядом, один на один — как, почему, он не думал, — будут долго, до глубокой ночи, гулять, говорить о чем-нибудь хорошем, и он понравится ей, и они станут встречаться, и вскоре не смогут прожить друг без друга ни дня; он будет любить ее и нарисует ее портрет, который все признают великим произведением; он будет делать ее портреты еще и еще, и напишет гениальную картину, нечто вроде «Венеры Урбинской» Тициана, где Венерой будет, конечно же, та, что идет сейчас впереди и не подозревает о своем блистательном будущем.

Прохожих в этот час было мало, и вскоре получилось так, что за увлеченно разговаривающей парочкой шел один Айдар. Опасаясь, как бы вместо женщины не оглянулся мужчина и не подумал, будто он их преследует, Айдар приотстал. Парочка приблизилась к перекрестку, мужчина наклонился к уху женщины, начал в чем-то ее убеждать; она игриво засмеялась, помотала головой, не соглашаясь, и, глянув налево, шагнула с бровки тротуара. Мужчина попытался удержать женщину за руку, она, скользнув равнодушным взглядом по Айдару, посмотрела укоризненно на своего спутника, и тот нехотя последовал за ней. Вместо зеленого кружочка светофора зажегся желтый; женщина, опять засмеявшись, потянула за собой мужчину, и они — снова рядом, прижавшись друг к другу, резвой трусцой побежали через дорогу туда, где темнел вход в какой-то парк.

Айдар, попавший под красный свет, задержался, увидев от редких машин, которые мчались по обледенелому асфальту, не снижая скорости. Когда он наконец

пересек улицу и влетел в парк, мужчина и женщина были уже в глубине безлюдной аллеи, еле освещаемой жидким светом неоновых фонарей.

Переходя иногда на рысцу, Айдар почти догнал парочку, но метрах в пяти от них сдержал шаг — в тишине безлюдной, сумеречной аллеи снег под ногами, показало, хрустел слишком громко и почти зловеще: мужчина мог оглянуться. А этого Айдар не хотел. Не отрывая глаз от женщины, по-прежнему посылая ей телепатические сигналы и досадуя, что та не воспринимает их, он мысленно продолжал упрашивать ее, только ее, обернуться, посмотреть на него. И одновременно боялся этого: вдруг она не так поймет, примет за грабителя или хулигана? Айдар торопливо отводил глаза, скользил взглядом по темным силуэтам деревьев, чтобы через секунду-другую снова смотреть на женщину, снова желать, чтобы она обратила на него внимание. Но та, судя по всему, видела только своего спутника, думала лишь о нем — теперь она о чем-то горячо спрашивала его, на ходу снизу вверх заглядывая ему в лицо, а он молча и, как понял Айдар, недовольно слушал, опустив голову. Время от времени из-за деревьев вырастал набегающей волной, наполненный дребезжаньем, лязгом, перестуком колес гул проезжавшего трамвая, и тогда женщина, востепенувшись, прислушивалась, а потом опять принималась уговаривать мужчину.

Когда аллея кончилась и открылась небольшая площадь, женщина, замерев на миг, радостно вскрикнула: «Боже, какая удача! Мой номер подходит, видишь?!» — и, звонко цокая каблучками сапожек, бросилась к павильончику остановки, куда, замедляя ход, подъезжал трамвай. Оглянувшись на мужчину, призывно махнула ему рукой, и он, помедлив секунду, тяжело и неумело побежал за ней. Они успели к трамваю — женщина легко и непринужденно впорхнула в вагон, мужчина влез в него солидно и с достоинством. Створки двери сомкнулись, трамвай, бренькнув звонком, укатил, и Айдар, несмотря на то, что рядом топтались какие-то люди, остро, как никогда до этого, почувствовал себя одиноким. А еще — словно бы обманутым. Незаслуженно обманутым. Вот и еще одно разочарование, — подумал уныло, — еще одна неудача.

Он смотрел вслед трамваю, увозившему незнакомку, женщину его мечты, и тоскливо размышлял о том, как несправедлива судьба: такая красавица, такое совершенство приглашает с собой этого пижона в дубленке — ясно ведь, что они не муж и жена, — а он, дурак, капризничает, раздумывает: ехать с ней или нет? Будь на его месте Айдар, улыбнись она ему — только улыбнись, больше ничего не надо! — любую ее блажь, любую прихоть исполнил бы.

Сожалеея, что не успел вскочить в вагон за незнакомкой, чтобы узнать, куда она едет, где живет, понурый Айдар глубоко задумался. Подходили и уходили трамваи, появлялись и исчезали люди — Айдар ничего не замечал. Но постепенно настроение его стало подниматься: возникла сначала робкая, а потом перерастающая в уверенность надежда, что не все потеряно, что он непременно встретит еще эту женщину или... такую же, а то и лучше. Айдар переступил с ноги на ногу, зябко поежился — только сейчас почувствовал, насколько, оказывается, замерз — и огляделся: где находится, как отсюда добираться домой? Улица с громадами многоэтажных домов в веселых квадратиках бесчисленных, освещенных уже, окон была незнакомой. Надо бы спросить, как проще и быстрее доехать до общежития? Но обратиться к кому-нибудь из ожидающих на остановке Айдар не спешил — уверенность, что он снова встретит поразившую воображение незнакомку, неожиданно переродилась в предчувствие: сегодня и, может, совсем скоро, прямо сейчас, должно случиться что-то хорошее, нежданное и незабываемое, — не напрасно же он очутился здесь, есть в этом какой-то неведомый пока, высший смысл.

Подкатил очередной трамвай. Из второго вагона со смехом, криками и взвизгом высыпала гурьба подростков, и Айдар невольно вскинул голову, чтобы поглядеть в их сторону, а увидел... На него в упор смотрела девушка в белом пуховом платке. Она сидела в первом вагоне прямо против Айдара и кончиками пальцев протирала в заиндевелом окне широкий овальный просвет чистого стекла. Девушка, не отрывая от Айдара лукаво-веселых, черных, чуть раскосых, как говорят поэты, «миндалевидных» глаз, сложила трубочкой, словно для поцелуя, розовые, чуть припухлые, как у ребенка, губы и плавно по-

далась вперед — Айдар решил, что к нему, и у него сладко заняло сердце. Овальная проталина в бельмастом, закуржавевшем стекле затянулась туманной дымкой от дыхания; сгоняя этот серебристый налет, заскользили плавно сверху вниз пальцы девушки, и вот уже опять она то ли насмешливо, то ли чуть игриво, то ли немного сочувственно — чего, мол, ты мерзнешь тут, глупый? — смотрит на Айдара.

Трамвай тронулся. Девушка медленно сомкнула веки с густыми длинными ресницами, еле заметно опустила голову, точно прощаясь, и Айдар, чувствуя, как губы растягиваются в изумленной улыбке, проводил взглядом трамвай до тех пор, пока тот не скрылся за дальним поворотом. А перед глазами стояло, не исчезая, смуглое лицо девушки в белом пушистом платке, и теплое чувство — словно после долгой разлуки встретил близкого человека, родственную душу, — не покидало Айдара. «Кто она, эта славная, красивая азиаточка? — размышлял он, все еще улыбаясь. — Калмычка? Казашка? А может, — японка?» Но в глубине души, не решаясь, однако, полностью поверить в такое везение, надеялся, что девушка — ногайка, и не исключено, что когда-нибудь он увидится с ней, если не здесь, в Москве, то на родине. И уже представлял, как они познакомятся, как напомним ей о предновогоднем вечере в столице, об одиноком парне на трамвайной остановке, и она узнает его, обрадуется, удивится: это надо же! — просто невероятно, что случай свел нас и тогда, в многомиллионном городе, и сейчас; нет, это не случай, это — судьба!.. Рисуя в воображении сцену будущей встречи с девушкой из трамвая, Айдар поймал себя на том, что образ ее затмил облик женщины, из-за которой оказался тут.

Не раздумывая, хотя до этого никогда не позволял себе такого расточительства, Айдар остановил такси — торопился нарисовать девушку, закрепить ее лицо на бумаге.

В комнате общежития никого не было — сокурсники, видимо, уже начали где-то встречать Новый год. Айдар, довольный, что никто не будет заглядывать через плечо, лезть с советами и расспросами, сразу же сел за мольберт. Радостное возбуждение не проходило, наоборот — Айдар почувствовал такое вдохновение, такой

творческий подъем, какого никогда не испытывал, и с удовольствием принялся за работу. Но сделав углем, чтоб выразительней были глаза, набросок, удивленно уставился на него: девушка получилась, конечно, похожей, но в чертах лица ее было что-то от Изабеллы Португальской. Раздосадованный, он перевернул лист, начал рисовать на обороте его сангиной — будет помягче, понежней. И, не закончив, изорвал ватман: опять выходило нечто похожее. И Айдар, так долго влюбленный в полотно Тициана, сейчас почти возненавидел его. Попробовал сменить манеру, материал: написал пастелью, в полутонах — девушка обрела сходство с Жанной Самари Ренуара; сделал четче, жестче — девушка стала напоминать одну из таитянок Гюгена.

Почти до рассвета, впадая то в отчаяние, то в бешенство, промучился Айдар, пытаясь изобразить то, что хотел, и так, как хотел. Бесполезно. Все время явственно проступало влияние какого-нибудь крупного мастера, а иногда и прямое подражание ему. Обескураженный и напуганный таким открытием — неужели он всего лишь копиист, неужели у него нет своей индивидуальной манеры? — Айдар под утро рухнул, не раздеваясь, на постель, чтобы отключиться на время. Но заснуть не удалось. «А что, если у меня не было и нет никаких способностей?» — страдальчески уставился он в потолок. И не верил, не хотел верить в это. Ведь преподаватели хвалили его работы, некоторые из них экспонировались на студенческих выставках, а «Горный пейзаж» («В стиле Сарьяна», — желчно усмехнулся Айдар) был представлен даже в зале Союза художников на Кузнецком Мосту. «Нет, нет, не стоит отчаиваться, — успокаивал себя Айдар, — просто я делал не то. Надо было передать впечатление от встречи с девушкой, а я ударился в натурализм, пытался добиться чуть ли не фотографического сходства. Оттого и неудача». На душе стало немного легче, и Айдар, все еще раздумывая о себе, о своем призвании — есть ли оно? — наконец-то забылся в полусне.

Днем, в институтской студии, он остервенело принялся воплощать задуманное — выразить в красках и линиях то, что испытал вечером на трамвайной остановке: чувство ослепляющей вспышки во мраке. Не задумыва-

ясь, не боясь выглядеть смешным или нелепым, переносил Айдар на холст первые же возникшие в воображении образы; наносил, по озарению, краски в самых смелых и несовместимых сочетаниях — картина получалась и фигуративной, и абстрактной одновременно. На ней при желании можно было увидеть и буйство стихии, ураганы, штормы, извержения вулканов, и глобальную апокалиптическую схватку сил добра и зла, и загадочный катаклизм, разнесший в крошево непонятную материальную структуру, — то ли некие растительные окаменелости, то ли мраморные плиты с их цветными прожилками и извивами. А в середине, как символ надежды, сияло расплывчатое лучезарное пятно — Она, та, которая поразила вчера: светящийся центр взорвавшегося, разрушившегося внутреннего мира Айдара. Но о смысле этой композиции, о девушке, поразившей его, знал только он сам. «Черт-те что намешано, — недоуменно удивлялись и студенты, и педагоги. — Тут и Сальвадор Дали, и Кандинский, и Пикассо, и Отто Дикс с Францем Марком. Чистейший эклектизм и эпигонство». Такой приговор и ошеломил, — опять заимствования? — и обозлил Айдара. Ну уж нет! Творчеством всяческих авангардистов и модернистов он не интересовался, поэтому считал, что они не могли воздействовать на него. Эта картина его — Айдара Карамова! — и только его, в ней он своими художественными средствами передал свое состояние. Однако полного удовлетворения от сделанного Айдар все же не испытывал. Получилось не то, вернее, не совсем то, чего он хотел.

И он сразу же начал новую картину. Опять неожиданная калейдоскопичность красочных пятен, полос, завихрений; опять замысловатое пересечение и переплетение линий, штрихов, в которых угадывалось что-то реальное, написанное то контурно, то силуэтно, то целостно, то фрагментарно. И опять фыркали студенты и преподаватели, находя в работе сюрреализм, дадаизм, экспрессионизм и еще бог знает что. От таких разговоров Айдар мрачнел, но с упорством фанатика, поверившего в обретение истины, вышел на верный путь, продолжая одержимо писать одно полотно за другим. И все такого же типа, что и два первых. Лихорадочное возбуждение,

стремление выразить себя не проходило: с утра уже был Айдар в институте и без перерыва на обед, не отвлекаясь даже на перекуры, оставался в студии до глубокой ночи, пока не выгоняли.

А 31 декабря наступил спад. По коридорам шныряли веселые от предвкушения праздника и каникул студенты, заглядывали в дверь: незнакомые изумленно тарасились на Айдара у мольберта, знакомые подходили, говорили раздраженно: «Кончай, старик, выпендриваться. Не строй из себя гения, который живет только искусством. Никто этого не оценит». А он в отчаянии смотрел на холст — опять ничего не вышло. Мало того, что каждая работа была хуже предыдущей — не слепой же, видит — все они намного уступают первой, родившейся спонтанно, по вдохновению. И накатила усталость, пришло отупение, безразличие ко всему на свете. А потом стало так тоскливо, будущее представилось таким беспросветным, что пропала охота жить: нет, не получится из него самобытный, настоящий художник!

Мрачные мысли слегка отодвинулись, а потом и вовсе исчезли только в чебуречной, где ему искренне обрадовались. Очнувшись от невеселых дум, Айдар сперва не понял, почему оказался здесь, но потом вспомнил, что женщины — а тут работали одни женщины — усиленно приглашали, когда он оформлял эту забегаловку к празднику, встретить Новый Год с ними. И вот — бессознательно забрел сюда, ноги сами занесли. Здесь, среди бесхитростных, немного вульгарных, шумно-оживленных поварих, официанток, их мужей и дружков и провел Айдар большую часть ночи: вместе со всеми пил, пытался поддержать самозабвенно, со взвизгами поющих женщин, слушал, улыбаясь, все, что талдычили ему захмелевшие мужики, и в душе Айдара истаявали желчь и раздражение, ослабшие сразу же, как встретили его радостным гомоном, объятиями, похлопыванием по спине: молодец, художник, спасибо, что пришел, очень, очень рады! Одно плохо: посудомойка Маша, тощая, некрасивая, в мелких кудряшках завивки, слишком уж откровенно льнула, лезла целоваться, звала поехать к ней. Поэтому, когда, в конце концов все, опьянев, утомившись от песен и танцев, от задушевных разговоров, засобирались домой, Айдар, улучив момент, незаметно ускользнул из чебуречной.

В блаженном состоянии добрел он до общежития, а там, неведомо как, опять оказался в развеселой компании, но уже среди своих, студентов, отчего настроение стало еще лучше. Утром, правда, было тяжело, муторно с похмелья, но кто-то подал стакан портвейна, Айдар, превозмогая отвращение, выпил — разбитость в теле, ощущение подавленности исчезли, в голове прояснилось, на душе опять воцарился покой. Потом пошли в пивбар, где в атмосфере дружеского, раскованного единства опять пили, и Айдару опять все и в жизни, и в нем самом стало казаться распрекрасным.

С той поры он, как только накатывало плохое настроение, подползала смутная тревога за себя и свое будущее, начинал искать успокоение в выпивке. Приятели и просто знакомые Айдара любили застольничать с ним. Он был идеальным собутыльником: не буянил, не скандалил, говорил мало и редко, зато, блаженно улыбаясь, терпеливо, не перебивая и не комментируя, выслушивал любую исповедь, а потом засыпал, перебравшись на чью-нибудь койку, если пили в общежитии, или забившись в какой-нибудь закуток, если был в гостях — обычно у нищих молодых художников. Тех это не смущало. Не смущался по утрам и Айдар: знал — ничего предосудительного не допустил, а то, что уснул... — люди свои, поймут и простят.

* * *

Так и тянулись недели, месяцы, годы. Айдар прилежно, но как-то машинально, точно в дреме, учился. Звезд неба не хватал, однако и в отстающих не числился: курсовые, зачеты, экзамены сдавал вовремя. На каникулы оставался в Москве — на родину не тянуло. Вот стану известным художником, оправдывался он перед собой, тогда и приеду в аул с деньгами. А сейчас, в таком моем положении, зачем я там? Мать расстраивать? Чтоб смотрела на меня с жалостью, как на непутевого, на неудачника? И — ничего не делал для того, чтобы стать тем самым знаменитым художником, каким все еще хотел быть. Все свободное время по-прежнему проводил или в пивнуш-

ках, или в запущенных обиталищах бесчисленных горемык — непризнанных гениев. Творческий азарт, жажда самовыражения, захлестнувшие перед тем памятным Новым Годом, давно уже не посещали Айдара — за карандаши и краски брался он лишь когда наседало руководство факультета: ленитесь-де, Карамов, бездельничаете! Он сенса за два состряпывал какую-нибудь правильную, не вызывающую нареканий, работу: студийную постановку, натюрморт, пейзаж — отвяжитесь! И опять впадал в апатию.

Только на последнем курсе Айдар немного оживился, встрепенулся — надо было выпускаться. А с чем? По-размышляв, поперебирав в уме варианты, остановился на исторической — о ногайцах — теме, хотя, как и прежде, не любил прошлое своего народа. Расчет был простой и, пожалуй, верный. Во-первых, здесь в память о Сурикове, чье имя носит училище, к истории благосклонны. Во-вторых, старина, азиатская экзотика — кони, верблюды, овчины, атлас костюмов, бунчуки, кольчуги — должны понравиться. И наконец — главное! — выбрал беспрюжный сюжет: Нурадин, сын ногайского бия Эдиге, горделиво показывает отцу отрубленную голову хана Тохтамыша. Члены экзаменационной комиссии будут довольны, что создана картина, изображающая торжество над ненавистным врагом Руси, который почти сразу же после Куликовской битвы унизил национальную гордость победителей, разорив и спалив их столицу. И вот на талантливом полотне нашего выпускника, скажет председатель комиссии, показано, что справедливость восторжествовала: коварный Тохтамыш, вероломный набег которого на Москву омрачил в нашем сознании подвиг Дмитрия Донского, разбит, повержен и уничтожен физически — спасибо вам, товарищ Карамов, за столь блистательную, замечательную работу.

Все получилось так, как и предполагал Айдар. Сначала на кафедре с энтузиазмом одобрили тему диплома, потом, на защите, лестно отозвались об исполнении. Вскользь, правда, отметили сходство типажей, костюмов, колорита с тем, что можно увидеть на произведениях туркестанского цикла Верещагина, но оценили все-таки на отлично.

Когда Айдар с красным дипломом столичного, к тому же такого престижного вуза вернулся на родину, встретили его там с распростертыми объятиями. Отдел культуры организовал персональную выставку Айдара, после которой его, зачтя участие в скромных московских экспозициях, приняли без волокиты в Союз художников. Наброски к дипломной работе купил краеведческий музей; «Горный пейзаж» — тот, что экспонировался когда-то на Кузнецком мосту, Айдар, растроганный теплым к себе отношением, подарил секретарю горкома партии по идеологии, а натюрморт «Дары земли Ногайской» — председателю горсовета. И через несколько дней получил жилье, мастерскую в центре города — обширный полуподвал старинного купеческого особняка. В знак особого расположения к Айдару ему даже поручили написать для Дома политпросвещения большое полотно: — Встреча В. И. Ленина с представителями горских народов», дав умопомрачительный аванс, чем вызвали к Айдару долгую и устойчивую неприязнь местных художников, которые и мечтать не смели о таком денежном заказе, доставшемся какому-то неизвестному никому Карамову.

Получив деньги, Айдар хотел сразу же поехать к матери и даже накупил подарков и ей, и сестрам, и их мужьям, и учителю Назару Якубовичу, если тот жив. Но потом решил, что отправиться в родной аул позже, как только определится композиция будущей картины и придет пора заняться портретами персонажей — тогда можно будет совместить приятное с полезным: и близких навесить, и, чтоб не тратиться на натурщиков, вволю порисовать земляков, у которых выразительные лица.

Первые дни Айдар жил в давно уже позабытом состоянии полного внутреннего удовлетворения: обустроив мастерскую — приобрел в комиссионке кое-какую мебель, вымыл окна, нанял электрика, чтобы поставил дополнительные лампы дневного света и софиты, сам сколотил подрамники, натянул холсты, запасся картоном, красками. И все это время, ежеминутно, ежесекундно, даже во сне, думал о предстоящей работе: какой интерьер выбрать для беседы Ленина с горцами, сколько их нарисовать, как расставить? Ну Ленин-то, конечно, в центре, а

другие фигуры как? Окружают его? Тогда их лиц не видно будет, да и главного героя перекроют. Или сделать, как — Ходоки у Ленина» Серова? Написать кавказцев побольше, погуще — вот и все! Но уверенности, что найден лучший вариант, не возникало. Может, придумается что-нибудь получше? Айдар припоминал то одни, то другие картины бесконечной ленинианы и все больше мрачнел. На всех полотнах, которые вставляли перед глазами, Ленин был одинаков: пламенный оратор, указующим жестом взметнувший руку, чуткий товарищ, внимательно слушающий собеседников, — везде он лучше всех, мудрее всех, везде он Вождь. Айдар знал, что по-другому нельзя, — канон! — но им постепенно, исподволь овладевало отчаяние: опять не удастся написать нечто свое, оригинальное, опять надо будет повторять чьи-то открытия и находки. Ленин-трибун для предложенной Айдару темы не годился. Значит, придется воспользоваться рисунками Андреева, Васильева, Жукова, поднаторевших в изображении добренького, улыбчивого Ильича с ласковым или лукавым прищуром. Это предопределенная зависимость от других художников тяготила, удручала Айдара — он так надеялся, что после института станет самостоятельным в творчестве. Не удастся. Поэтому, не приступив еще к работе, Айдар уже невзлюбил картину и долго не мог приняться за нее. Когда все-таки начал делать первый эскиз, накатила такая тоска, что терпения усидеть за картоном хватило только на полчаса.

Были на самом деле у Ленина горцы или не были, Айдара не интересовало. Какое это имеет значение: не были, так могли быть. Раз партийные руководители города не вдавались в подробности, не уточняли задание, значит, сами ничего не знают и полностью доверяют ему, Айдару.

Он неизвестно зачем вяло сделал абрис бравого джигита в черкеске и, уныло глядя на него, подсознательно ища предлог увильнуть от работы, задумался. Пожалуй, надо бы выяснить у заказчиков — может, надо кого-то из реально существовавших в то время кавказских деятелей нарисовать и посмотреть: вдруг сохранились их фотокарточки в архивах? Он с облегчением вздохнул. Отставил картон, быстренько переделался и, довольный собой, бодро вышел из мастерской.

Но вскоре настроение у него снова испортилось, снова накатило уныние. Зачем лукавить, обманывать себя? Ничего путного он в горьком не услышит. Если б там имели в виду каких-то конкретных людей, которые ездили к Ленину, сказали бы сразу. Надо выкручиваться самому.

Айдар хотел уж было повернуть домой, но, поколебавшись, неуверенно направился в ресторан, около которого, как только что заметил, он стоял.

После первой же рюмки настроение улучшилось, а вскоре все заботы и проблемы и вовсе стали казаться Айдару надуманными. «Ленин? Нарисую, как надо, какого хотят, какого принято. Подражательство? Наплевать. После «Встречи с горцами» буду писать, что хочу и как хочу». Соседи по столику, какие-то снабженцы из Махачкалы, оказались людьми веселыми и общительными. Они угощали Айдара, радостно удивлялись: впервые познакомились с профессиональным художником, интересовались, сколько он зарабатывает, восхищенно округлили глаза, когда узнали, над какой картиной работает. Айдар угощал их, снабженцы протестовали и, чтоб не остаться в долгу, заказывали шампанское, самый дорогой коньяк.

Потом, нагруженные бутылками и пакетами с закусками махачкалинцы и три неизвестно откуда появившиеся женщины очутились в мастерской Айдара — как это произошло, он не понял. Помнил лишь, что и там пили вкруговую из единственного стакана — снабженцы поразались бедности их нового гениального друга; помнил, что показывал свои студенческие работы гостям — те восторженно цокали языками — и даже подарил каждому по какой-то ранней, периода увлечения итальянским Возрождением, копии.

Проснувшись, Айдар с удивлением обнаружил, что лежит на кушетке рядом с пышнотелой блондинкой, которую звали Майя. Приподняв голову, Айдар обвел недоумевающим взглядом мастерскую: холсты и картоны раскиданы, на том, где вчера сделал контур молодца в черкеске, красовались два неряшливо выполненных гуашью мужских портрета: некто щекастый, с двойным подбородком, и носатый, с широкими усами. В памяти Айдара всплыло, как он просил у махачкалинцев разрешения запечатлеть на будущей картине их прекрасные, типично

кавказские лица; снабженцы смеялись: валяй, рисуй — такая честь быть рядом с Лениным. Айдар задержал взгляд на столе, где среди остатков лаваша, колбасы, разбросанных фруктов кеглями торчали бутылки.

Блондинка сладко потянулась, обхватила Айдара пухлыми руками и, зовущее улыбаясь, притянуло к себе. Но ему было не до нее. Он оттолкнул женщину. Та не обиделась. Поднялась с постели, прошла к столу. Принесла полупустую бутылку шампанского. Прямо из горлышка Айдар отпил два глотка этого сладковатого, уже выдохшегося вина и удовлетворенно опрокинулся навзничь. Блондинка без суеты оделась, пообещала заглянуть когда-нибудь, если будет время, послала от двери воздушный поцелуй и исчезла.

Шампанское начало сказываться, да и вообще Айдар чувствовал себя хоть и опустошенным, но без обычной с похмелья депрессии — все-таки пил-то вчера не какую-нибудь дешевку, как в студенчестве, а только высококачественное. Он почти бодро встал. Умылся, оделся, сложил к стене раскиданное. Позавтракав тем, что нашел на столе, выпив граммов сто коньяку из почти полной бутылки, Айдар в отличном расположении духа укрепил на самом большом мольберте самый большой лист картона. Чего мудрить, над чем ломать голову? Значит, так: в центре, понятно, Ленин. В повороте три четверти. Правую руку его почтительно сжимает обеими ладонями слегка согнувшийся в уважительном поклоне красивый, с аккуратной седой бородой, аксакал, за которым плотно, от края до края картины, — пожилые и молодые посланцы Кавказа со счастливыми лицами, сияющими глазами. Некоторые из них, те, что сзади, вытягивают шеи, влюблено смотрят на вождя. Левой рукой Ленин делает широкий жест — то ли приглашает посетителей пройти в кабинет, то ли дает понять, что все вокруг, и здесь, и в стране, принадлежит им.

Довольный собой, Айдар рисовал весь день. Отходил на несколько шагов, любовался своим творением, склоняя голову то к одному плечу, то к другому. Допивая шампанское, коньячок, перекусывал тем, что попадало под руку, и опять приближался к картону: кое-что исправлял, кое-что уточнял в расположении, очертаниях фигур, в их позах.

Под вечер нежданно-негаданно нагрянули махачкалинцы со вчерашними женщинами, среди которых была и утренняя блондинка. Снабженцы пришли к Айдару, чтобы попрощаться. Были они радостны, шумно оживленны — все, ради чего приехали, удалось повернуть. Подарили Айдару набор стаканчиков, тарелки, дагестанский, изукрашенный серебром рог для вина. Блондинка Майя по-хозяйски начала хлопотать, накрывая на стол; подруги снабженцев, оживленно щебеча приторными голосами, принялись помогать ей. Махачкалинцы восхищенно поразглядывали набросок картины — вах, вах, какой молодец, не пьянствовал, делом занимался: настоящий мужчина, знаешь, чтобы хорошо отдохнуть, повеселиться, надо хорошо потрудиться! — заставили Айдара выпить за его и за их успех полный рог какого-то терпкого почти черного вина.

А потом опять началось застолье. Сначала чопорное, с пышными, многословными тостами, а затем скатившееся до заурядной пьянки, когда говорят все враз, все кажутся сами себе остроумными, когда женщины, которых мужчины уже обнимают, хохочут неестественно громко, особенно над двусмысленными шуточками, и пиршество неизбежно должно превратиться в оргию. Оно и превратилось, наверное. Но без Айдара. Он, как всегда, незаметно для всех уснул.

Проснулся на этот раз один, без Майи. Тупо оглядел мастерскую со следами вчерашнего загула. Тупо опохмелился — на столе опять осталось много еды и выпивки. Тупо привел мастерскую в порядок. Тупо принялся за картину, хотя эскиз ее казался теперь отвратительным: напыщенным, слащавым и фальшивым. Айдар хотел было переделать его, но раздумал: какой есть, такой есть. Какая разница? И так сойдет. Никто придирааться не станет — идейно замысел безупречен.

Постепенно Айдар, прикончив глоток за глотком бутылку «Мукузани», втянулся в работу и повеселел, делая наброски Ленина, рисуя его то так, то эдак, добиваясь, чтобы облик соответствовал и ситуации — доброжелательство, гостеприимство, — и общепринятому стандарту. Должно быть сразу видно, что перед нами и великий государственный деятель, мыслитель, и самый человек-

ный человек. Очень трудное дело: и внутренне состояние вождя, его ум, волю, нестигаемую твердость характера передать, и черты лица сделать привлекательными, теплыми. От напряжения, ответственности, боязни исказить образ Айдар устал и перестал понимать, получается у него что-нибудь или нет.

И тут заявила Майя с какими-то тремя мужиками, которые принесли выпивку. Айдар сделал вид, будто недоволен, но в душе обрадовался: есть повод расслабиться. Мужики оказались простецкими, а Майя, подчеркивая свою близость к художнику, держалась бесцеремонно и даже начала было показывать пришедшим его работы и рассказывать о заказе горкома. Айдар, возмущенный такой фамильярностью, осадил ее, и оскорбленная Майя ушла. А мужики остались.

Заглянули они в мастерскую и назавтра, приведя с собой еще кого-то.

Так покатались нелепые, странные и страшные дни: нежданно-негаданно заваливались в гости какие-то, часто незнакомые люди, распивали вместе с Айдаром водку или дешевое вино; иногда это превращалось в запой, который длился несколько суток. Собутыльники менялись — уходили одни, приходили другие, — а Айдар, мучаясь похмельем, с утра уже ждал, чтобы хоть кто-нибудь навестил его. Если появлялся какой-нибудь такой же страдалец, смурной и хворающий, но без бутылки, Айдар, не считая, комом совал ему деньги, и когда счастливый посыльный возвращался, все начиналось снова: стаканы, бутылки, какие-то неведомые гости, пустые, бестолковые разговоры. Айдару было стыдно, он презирал и ненавидел себя, но приходивших не гнал: какое-никакое общество. Он теперь боялся оставаться один. Особенно ночью, когда проснешься — и никого: пусто, тихо. Жуткие мысли лезут в голову. Днем, при солнечном свете, не так тоскливо, и все же — поскорей бы кто-нибудь забрел сюда.

Время от времени возникала из небытия Майя, оставалась до утра и снова надолго пропадала. Бывали у Айдара и другие женщины. Переспав с ним, они начинали жаловаться на судьбу, несложившуюся жизнь, надоедали нытьем о неустроенности и надеялись — Айдар видел это — охомутать его, женить на себе, а когда понимали, что

мечты эти тщетны, исчезали. Попадались среди них и такие, которые, чтобы произвести впечатление, корчили из себя ценительниц искусства, принимались рассуждать о живописи. Этим женщинам он не любил больше всего: иронизировал над ними, издевательски высмеивал, а потом выставлял за дверь.

В таком бедламе, то в хмельном угаре, то в мертвецком сне, то в кошмарах тяжкого, похмельного пробуждения, то в приступах самобичевания, когда Айдар, чтобы доказать себе, что не совсем опустился, хватался за кисти и палитру, проползли осень и зима.

Заказчики не беспокоили Айдара, и к себе не вызывали, и к нему не заглядывали. Может, просто-напросто забыли о нем, а может, доверяли руководству Союза художников. Оттуда изредка появлялись в мастерской соглядатаи. В первый раз нагрязнули, когда композиция была перенесена на холст; потом наведались, когда на полотне появился подмалевок; потом когда Айдар начал прописывать фигуры. Поразглядывав работу, сделав кое-какие замечания, которые Айдар обещал учесть, посетители удалялись, не спрашивая, когда картина будет готова: профессионалы, они понимали, что такое серьезное, идеологическое полотно создается долго, тщательно.

Однажды мартовским утром — вернее, днем, потому что ликующее солнце, рвущееся в окна, было уже высоко, — Айдар проснулся разбитым, как никогда: голова разламывалась от пульсирующей в такт вялому сердцу боли, во рту было противно и сухо, словно он был забит песком. Айдар нехотя разлепил веки и тут же снова сомкнул их — яркий солнечный свет слепил, раздражал. Попытался вспомнить вчерашний вечер, но в памяти всплыло только начало пьянки, когда стали обмывать удачную сделку.

Вчера Айдар с растерянностью обнаружил, что у него кончились деньги. Коля-музыкант, игравший когда-то на кларнете, а после того, как сломал пальцы, спившийся, и бывший футболист Хасан, заскочившие в мастерскую с расчетом опохмелиться, приуныли, когда безотказно выручавший их художник, обшарив все тайники, заявил, что у него нет даже на пиво. Айдар, до их прихода твердо настроившийся на работу, был потрясен не меньше

приятелей. Как же так? Выходит, кончилось беззаботное житье и надо искать халтурку? Снова, как в Москве, братья за оформление?.. Скорбные Коля и Хасан начали неуверенно прикидывать вслух, где бы можно было бы занять денег, но не смогли припомнить никого, кому не были бы должны. И тут кто-то из них несмело предложил задумавшемуся Айдару продать какую-нибудь его картину; пообещали даже денежного покупателя найти — есть у них на примете один торгош, директор магазина, который давно просит достать ему что-нибудь этакое, красивое, на стену. Айдар, не веря в успех, вяло согласился: что ж, можно попробовать. И пока оживший Коля, которого как ветром сдуло, отсутствовал, расставил все свои студенческие творения вдоль стен. Привел Коля покупателя не скоро, когда уж и ждать-то перестали. Торгош был солидный и важный. Не раздумывая, решил купить «Встречу Ленина с горцами», пусть и незаконченную, и очень огорчился, узнав, что ее нельзя, никак нельзя продать. Взял «Данаю» Тициана — раннюю копию Айдара. Заплатил щедро, не торгуясь. А затем достал из портфеля бутылку «Посольской», выпил со всеми четверть стаканчика, попросил вынести картину к его «Волге» и ушел не попрощавшись. Под «Посольскую» Айдар рассказал бывшему кларнетисту и бывшему футболисту о Тициане, о том, как поклонялся ему, потом, посмеиваясь, поведал о своей юношеской, полузабытой теперь, влюбленности в портрет Изабеллы Португальской. Расчувствовавшийся Коля смотрел умильно, со слезой во взоре, лишенный сентиментальности Хасан откровенно скучал. Когда бутылка опустела, он выразительно потер перед носом Айдара пальцами, требуя денег, и быстренько сбежал еще за водкой.

Айдар медленно облизал шершавым языком сухие губы, безвольно опустил с кушетки руку и качнул ею, пошевеливая пальцами, — всегда оставлял в стакане хоть немного выпивки на утро. А вдруг есть еще и бутылка пива? Вчера Хасан вроде покупал. Но ни стакана, ни бутылки не обнаружил. Неужто Коля с Хасаном ночью и эту малость выпили? Не веря в такую подлость приятелей, Айдар, лежа на спине, перекинул голову набок и, щурясь, потому что перед глазами поплыли радужные

пятна, попытался искоса оглядеть пол — может, опохмелка стоит там, куда рука не дотягивается? А увидел сквозь разноцветное марево какую-то смутную тень, застывшую около картины с Лениным и горцами. Айдар крепко зажмурился и снова открыл глаза. Всмотрелся. Женщина! Среднего роста, полненькая, в синем цветастом платье, коротко острижена. Он не встревожился, не удивился: мало ли их сюда приходило... Но нет, эта, кажется, здесь никогда не была.

Женщина оглянулась на шорох, остановила на Айдаре изучающий взгляд больших карих глаз.

— Проснулись? — улыбнулась вежливо, одними губами. — Извините, если разбудила. Я старалась не шуметь. — Подождала, не скажет ли чего Айдар, и опять повернулась к картине. — Скоро закончите? — спросила деловито.

— Иванов «Явление Христа народу» более двадцати лет писал. Зачем же мне торопиться? — хриплым голосом привычно, как всегда отвечал на такой вопрос, отозвался Айдар, и когда женщина, недоуменно вскинув брови, снова обернулась к нему, засмеялся скрипуче. — Чем я хуже Иванова? И тема та же: народ и... Христос. Точнее, Спаситель, как его еще называют. Только новый, наш, советский.

Брови женщины сурово сдвинулись, взгляд ее стал ледяным.

— Нехорошо шутите, — твердо сказала она. Помолчала. — Будем считать, что я этого не слышала, — и снова стала рассматривать картину.

У Айдара от ее тона испуганно сжалось сердце и даже в голове немного прояснилось. «Распустил язык, — выругал он себя. — Не зная, кто она, острить вздумал, будто среди собутыльников».

— Должна признать, произведение, на мой взгляд, получилось неординарное и убедительное, — задумчиво произнесла женщина. — Трудящиеся Кавказа нарисованы выразительно, точно. И в целом картина мне нравится... Разве что лицо Владимира Ильича можно было бы еще посильней выделить. Чтоб сразу взгляд приковывало. А так, в общем, вполне впечатляет.

«Еще одна эстетка», — решил с облегчением Айдар и хотел тут же турнуть ее из мастерской. Но все же не ре-

шился. Да и похвала обрадовала: сам уже не понимал, хорошо или плохо получилось — горцев изображал так, как требуют того расхожие представления: бурки, папахи, башлыки, бешметы, газыри, кинжалы, усы, бородки или синие после бритья щеки. Ну и, понятно, все улыбаются, прямо-таки сияют от счастья.

Айдар, у которого даже движение глаз вызывало острый прилив боли в голове, обвел медленным взглядом персонажей картины и помрачнел: нет, халтура, она и есть халтура — кавказцы все как один сладенькие, сусальные, точно на поздравительной открытке. И решил, что посетительница ничего не понимает в искусстве, у нее нет вкуса. Или льстит? Зачем?

— А вы, собственно говоря, кто такая? — сипло и отрывисто спросил он. — Зачем пришли сюда, что вам от меня надо?

Женщина с веселым удивлением посмотрела на него через плечо.

— Кто я? — Слегка покачала головой из стороны в сторону. Развернулась к Айдару. — Ох, Карамов, Карамов, совсем вы одичали в своей берлоге. Понимаю, как всякий талант, одержимый работой, ничем, кроме творчества, не интересуется, и все же... начальство надо знать в лицо. Я — заведующая городским отделом культуры.

— Вы? Зав. отделом культуры? — Айдар непроизвольно дернулся, чтобы встать, отчего в голове плеснулась боль, а из желудка к горлу всплыл липкий комок. — Бросьте, не разыгрывайте, — снова упав навзничь и подавляя тошноту, поморщился он. — Там этот... как его?.. работает.

— «Этого, как его» выгнали. За пьянку, — с презрительной интонацией объявила женщина. Усмехнулась. — Я думала, он ваш друг. Но раз вы не помните даже его фамилии, то...

— Хорошего же вы мнения обо мне, — Айдар тоже попытался усмехнуться. — Если пьяница, то обязательно мой друг, да? Значит, по-вашему, и я алкаш?

Он, не отводя взгляда, недружелюбно смотрел ей в глаза.

— Нет, почему же, я так не считаю, — женщина смутилась. — Просто все это... — она повела плавным жестом вокруг, задержала руку, указывая на стол с пустыми бутылками и остатками вчерашнего пиршества.

— Все это типичное обиталище художника-холостяка, — раздраженно закончил за нее Айдар. — Вы же сами сказали, что таланту, — он оскалился в язвительной улыбке, — все, кроме творчества, безразлично. Поэтому и беспорядок. Богема, так сказать.

— Да, да, я понимаю, — соглашаясь, кивнула она. Медленно поворачивая голову, огляделась. — И все же... Коюшня, настоящая коюшня!

— Не нравится — уходите. Никто вас сюда не приглашал, — зло отрезал Айдар. Потом, устыдившись своей резкости, сказал примирительно. — Извините. Давайте договоримся не портить друг другу настроение. — И когда она, с неприязненно застывшим лицом, шевельнула неопределенно плечами, попросил неожиданно для себя. — В знак того, что не обиделись, подайте, пожалуйста, чайник, а то алкаша, — все же не удержался он от колкости, — жажда замучила.

— Ну вы и нагле-е-ц, — поражено протянула зав. отделом культуры.

Рывком нагнулась, выхватила из-под стола чайник и, твердо цокая высокими каблуками черных лакированных туфель, решительно подошла к кушетке. Сунула чайник Айдару.

— Значит, так: подведем итоги, — властно сказала она, став по-начальнически строгой. — Сегодня же на бюро горкома доложу, что картина ваша близка к завершению и что к дню рождения Владимира Ильича — слышите?! — она несомненно будет закончена. Согласны? Не подведете меня?

— А когда это? — оторвавшись от носика чайника и чувствуя, что немного оживает, простодушно спросил Айдар.

— Что? — у женщины стали круглыми глаза. — Вы этого не знаете?

— Знаю, знаю, — опять испугавшись, что ляпнул не то, торопливо заверил Айдар. — У меня невольно вырвалось: всегда уточняю сроки... — И, чтобы сгладить впечатление о себе, добавил просительно (женщинам нравится, когда их просят): — Может, походатайствуете за меня? Пусть полностью рассчитаются за картину. Она ведь, вы сами видите, почти готова.

— У вас нет денег? — изумилась зав отделом культуры. — Вам же выдали аванс. Сумма внушительная, вполне достаточная, чтобы...

— Внушительная сумма, — перебил, фыркнув, Айдар. — Когда я тот аванс получил? А есть-пить мне надо или нет? — Увидев, что у женщины, покосившейся на стол, появилось презрительное выражение на лице, добавил поспешно. — Кроме того, материалы — все за свой счет. А натурщики? Вы не представляете, сколько они за сеанс дерут!

— Не знаю, получится ли, — посетительница покусала накрашенные перламутровой помадой губы. — Я, конечно, поговорю, — в голосе ее прозвучала неуверенность, — но боюсь, вам не пойдут навстречу. Партия деньгами не разбрасывается, у нее строгий контроль и учет. Платит только за результат. — Задумалась, пристально глядя перед собой. — Знаете что?.. Мы лучше вот как поступим. Я куплю у вас что-нибудь. Для музея, для какого-нибудь клуба, неважно для чего. — И обрадовалась. — Решено, так и сделаем!

Оглянулась на расставленные вдоль стен работы Айдара. Поколебалась с секунду и решительно направилась к ним.

— Ну, эта никуда не годится, — не задерживаясь, показала небрежно пальцем на ту, первую, картину, которую Айдар написал в институте на следующий день после того, как увидел в трамвае девушку. Походя, пренебрежительно махнула рукой на две другие, созданные по тому же поводу. — Эти еще хуже: мазня! Бред какой-то!

«Да-а, в живописи она ни хрена не смыслит», — еще раз отметил Айдар.

— Мы договорились не оскорблять друг друга, — насмешливо напомнил он, — а вы?.. Как-никак это мои работы. К тому же любимые.

— Вот как? — Женщина рассеянно взглянула на него. — Наверное, связано с каким-нибудь воспоминанием? — Еще раз, повнимательней, посмотрела на картины и сделала заключение, точно приговор вынесла. — Все равно, если честно, кажется, будто рисовал или начинающий, или псих... — Двинулась опять вдоль стены. — Ага, вот то, что надо, вот и она. Я ее еще в прошлом году на вашей выс-

тавке заметила. — Взяла оставшееся после армии подражание Тициану: собирательный образ красавицы, напоминающей Изабеллу Португальскую, — и, держа на вытянутых руках, полюбовалась, откинув назад голову. — Очень славенький портрет. Девушка как живая.

Насмотревшись, снова прислонила ее к стене и, брезгливо потирая пальцы, чтобы очистить их от пыли, вернулась к кушетке.

— Вы безусловно талантливы, Карамов, — сказала серьезно. — Я это поняла сразу, еще в прошлом году, как только увидела ваши произведения. Помните, на вернисаже я подавала вам ножницы ленточку перерезать?

Айдар, снова присосавшийся к чайнику, оторвался от него, посмотрел виновато, вяло развел руками: извините, дескать, — не припоминаю.

— Впрочем, это не имеет значения, — в голосе завотделом культуры промелькнула обида. — Словом, я уверена, что вы могли бы стать большим художником. Побывав у вас, увидев это, — показала взглядом на картину о Ленине, — я только укрепились в своем мнении. Могли бы, — многозначительно повторила после паузы, — если б... — Выразительно посмотрела на чайник, потом, язвительно, в глаза Айдара.

Тот икнул. Вытер губы ладонью. Посетительницу передернуло.

— Может, вы наконец догадаетесь предложить мне сесть? — металлическим голосом потребовала она. И съехидничала. — Или правила хорошего тона, элементарная вежливость для гениев необязательны?

— Садитесь, — поморщившись от борьбы с приступом тошноты, буркнул Айдар и показал подбородком на стул.

Женщина немного помедлила, потом решительно подошла к стулу. Глянув искоса на Айдара, вынула из кармана платок и демонстративно тщательно вытерла сиденье. Лишь после этого села. Забросила ногу на ногу.

Айдар, сумевший-таки укротить рвотные позывы, посмотрел на заведующую отделом культуры повеселевшими глазами. И только сейчас, когда стало немного легче, смог сосредоточиться, чтобы разглядеть ее, — чуть смугловатое, с гладкой кожей лицо, прямой, правильной формы нос, четких очертаний губы, округлый подбородок.

«А она ничего», — отметил невольно. Оценивающий взгляд его скользнул по шее, по груди женщины, по ее стройным ногам и остановился на глянцевои колене. Она пошевелилась, сменила позу: убрала с ноги ногу, поставила их плотно одну к другой.

— Нет, это невозможно, это издевательство какое-то, — возмутилась вдруг ни с того ни сего и резко встала. — Я не могу разговаривать с человеком, который так неуважительно валяется передо мной в постели.

— Как вам угодно, — Айдар закрыл глаза. — И рад бы соблюсти приличия, да не могу. Сил нет.

Зав отделом культуры помолчала; слышно было, как она отодвинула стул.

— Хорошо, Карамов, отдыхайте, набирайтесь сил, — сказала уже помягче. — А завтра жду вас ко мне: оформим куплю-продажу портрета. Деньги постараемся выплатить сразу же.

— Спасибо, — Айдар медленно открыл глаза, уставился на посетительницу изучающим взглядом: можно ли верить? Она взгляд выдержала.

— Значит, договорились? — И повторила ровным тоном. — Жду вас завтра у себя в кабинете. До свидания.

Развернулась и, слегка покачивая полными бедрами, туго обтянутыми платьем, твердой, уверенной походкой направилась к выходу.

— Подождите. Одну минутку, — вырвалось негромко у Айдара.

Он смотрел ей вслед, и тоска охватывала его: сейчас эта женщина уйдет, в мастерской станет опять тихо, пусто, одиноко. Может, и забредет кто-нибудь, те же Коля-музыкант или Хасан, но это не то — снова, преодолевая поначалу судороги отторжения, надо будет пить, снова начнется бессвязный треп, кто-то примется бахвалиться, кто-то полезет с пьяными уверениями в дружбе, кто-то станет рассказывать какую-нибудь веселую, по его мнению, историю, которая будет смешить только его самого, снова будет густой до рези в глазах дым от сигарет, снова будет гора окурков в тарелках, лужи, огрызки, объедки на столе и на полу, гвалт, гомон, хохот, и — никакой радости. Возможно, окажутся тут и женщины: развязные, пристающие с ласками и обижающиеся, если их

отталкивают, чтобы, покапризничав, подувшись минутую другую, вновь с притворным оживлением пить, курить, ввязываться в разговоры, — все лживо, противно, паскудно. Эта же, заведующая отделом культуры, отличалась от них, как небо от земли. От нее повеяло чем-то неизвестным, привлекательным и манящим: чистотой и надежностью, семейным уютom, ухоженным и благополучным домом, ясной и правильной жизнью.

Посетительница сбилась с шага. Остановилась. Оглянулась — удивленно, с вопросительным видом. Подождала, но Айдар не знал, о чем же спросить ее.

— Мы так и не познакомились, — все же нашелся он. — Меня-то вы знаете, а вот как вас звать, я не знаю.

— Алимe, — быстро ответила она, однако, встретившись с глазами Айдара, поправилась. — Алимe Юсуфовна, — и вежливо улыбнулась.

Айдар тоже улыбнулся — натянуто, неуверенно. Когда посетительница скрылась за дверью, вяло опустил ноги на пол. Медленно сел, сгорбился, склонив безвольно голову к груди, и задумался. Мысли шевелились лениво, тягуче, но все они были об Алимe — не шла из ума ее крепенькая, ладная фигура, вспоминалось, как эта женщина двигалась, говорила, сердилась, восхищалась, удивлялась.

Он тяжело поднялся и, пошатываясь, еле волоча ноги, побрел умываться. Увидел в пыльном зеркале над раковиной свое отражение — опухшее, мятое лицо, трехдневная щетина, заплывшие угасшие глаза в красных прожилках, — представил, каково было Алимe видеть такую, точно у опустившегося бродяги, рожу и поморщился. Торопливо набрал в пригоршни холодную воду, остудил ставшие горячими от стыда щеки и замер, прижав руки к лицу. «А, ладно, наплевать! — решил, сдержав вздох. — Переживать еще из-за того, что на кого-то плохое впечатление произвел? Какой есть, такой есть!» Сунул под струю голову и, поеживаясь, подергиваясь, не убирал ее, пока немного не взбодрился. Потом тщательно умылся, побрился. Когда вытерся давно не стиранным полотенцем и развернулся, то вдруг глазами Алимe увидел мастерскую — захлавленную, грязную, вонючую — и ужаснулся: действительно, как выразилась гостья, ко-

нюшня. Сарай, хлев! «Надо будет сегодня же навести порядок». Когда охлопывал мятые, залоснившиеся, единственные свои брюки, в которых вчера завалился спать, впервые обратил на них внимание. Как и на полуботинки — стоптанные, обшарпанные, с облупившимися носками: в них ходил и в дождь, и в зной, и зимой, и летом. «Неплохо бы их сменить. Да и штаны не мешало бы новые купить». И одернул себя иронически: зачем? Чтобы на Алиме впечатление произвести? А кто собирался оставаться самим собой, таким, какой есть?

И все же впервые после тех дней, когда мечтал поправиться женщинам, похожим на Изабеллу Португальскую, Айдару захотелось быть одетым получше. Поэтому, выпив в шашлычной две бутылки пива, подкрепившись горячим жирным мясом и вновь почувствовав себя человеком, он отправился в универмаг.

Купил не брюки даже, а вполне приличный серый костюм, затем — модельные туфли, две пакистанские сорочки, кремовую и бледно-голубую, подобрал и галстуки к ним: деньги, которые выложил вчера торгаш за «Даную», позволяли не смотреть на цены.

Довольный тем, что приобрел все это, довольный собой, Айдар по дороге завернул в гастроном. Набрал чаю, сахару, конфет, печенья, консервов — твердо настроился начать новую, пристойную жизнь. Поразмышляв недолго, посомневавшись, — надо ли? — взял все же и бутылку водки: не исключено, что наводить чистоту в мастерской придется всю ночь. Тогда, может, не помешает выпить, чтобы поддержать трудовой пыл. А не понадобится искусственно подогревать рвение, бутылка останется нераскупоренной. Пусть стоит до поры до времени. Как в порядочных домах.

Весело напевая под нос, ощущая в руках приятную тяжесть покупок, вернулся Айдар в мастерскую. И сразу же принялся за уборку.

Выбросив в мусорный контейнер на дворе пустые бутылки, объедки, перебив посуду, уже отшоркивал загрязненный стол, когда появились Коля-музыкант и Хасан. Они ошалело уставились на рьяно работающего Айдара, поинтересовались, как тот себя чувствует после вчерашнего, намекнули, что неплохо бы опохмелиться. А после

того, как он с безразличием пожал плечами: дело, мол, ваше, опохмеляйтесь, стали просить деньги. Айдар дал каждому по пятерке, но заявил, что пить с ними не будет. Счастливые Коля и Хасан тут же исчезли.

А вечером, когда Айдар мыл пол, заявились снова, уже пьяные и мало что соображающие. Да не одни — с Майей, которую бывший музыкант и бывший футболист прихватили, наверное, для того, чтобы размягчить сердце благодетеля-художника. Потому что Майя, тоже под хмельком, сразу же принялась игриво предлагать позасотельничать как бывало, повеселиться, и обещала все организовать — были бы деньги. Айдар, отжимая над ведром грязную мокрую тряпку, слушал не перебивая и мысленно сравнивал с Алиме эту манерную бабенку, — никакого сравнения! — а потом предложил ей: вымой, дескать, полы, тогда посмотрим, может, что и сообразим. Майя возмущенно вытаращила глаза, оскорбилась и, как всегда, когда хотела продемонстрировать негодование, ушла, громко хлопнув дверь. Вслед за ней выскользнули на улицу и Коля с Хасаном, испугавшись, видно, что их тоже заставят работать.

* * *

Лишь в третьем часу ночи закончил Айдар работу. Потирая ноющую поясницу, чувствуя, как гудят руки и ноги, с удовольствием оглядел мастерскую, в которой, казалось, раздвинулись стены: стало просторней и больше воздуха.

Раздевшись догола, Айдар старательно вымылся. Потом попил не торопясь крепкого, ароматного чая. Впервые за последние дни застелил кушетку свежей простыней и, выключив верхний свет, оставив только софит, направленный на картину с Лениным и портрет, который выбрала Алиме, лег в благодушном состоянии спать. Посматривая то на картину — «Надо кончать ее, завтра же и примусь», — то на портрет — «Может, не брать за него деньги, а просто-напросто подарить Алиме, раз уж ей так понравилось?» — Айдар с тайной гордостью думал о себе: он все это время не забывал о припрятанной бутылке водки, но не притронулся к ней, хотя иногда хоте-

лось, ох, как хотелось принять с полстаканчика. Значит, есть еще воля, может удержаться и даже, если надо, совсем отказаться от выпивки.

С утра, как и наметил ночью, принялся за картину, но не успел еще и обдумать, каким образом, по совету Алиме, выделить лицо Ленина, как появился незнакомый хмурый мужик в сером халате. Потребовав паспорт, внимательно изучив его, подал Айдару заполненный, с печатями и подписями, договор на покупку отделом культуры горисполкома «Незнакомки в голубом». Прочитав, сколько готовы отвалить за его юношескую работу, Айдар чуть не присвистнул. Обрадовался. Но и удивился. Все-таки побаивался, ждал неприятностей за то, что вчера ляпнул какую-то глупость про Ленина, да и день рождения его забыл, поэтому на расположение к себе заведующей отделом культуры не рассчитывал. Расписался на всех экземплярах договора и, оставив себе один, остальные вернул мужику. Тот мотнул головой в сторону портрета девушки — «Эта?» — и, с каменным лицом поразглядывав ее, деловито унес из мастерской.

Айдар, все еще почти не веря в случившееся, потрянул головой, словно отгоняя нечто пригрезившееся, и резво поднялся с табуретки.

Через час он, в новом костюме, чисто выбритый, благоухающий «Шипром», элегантный и респектабельный, был уже в кабинете Алиме.

Она, оторвав взгляд от бумаг на столе, посмотрела рассеянно и вопросительно — слушаю, мол, вас: с чем пришли? — но тут же глаза ее стали изумленными, а лицо таким, будто зав отделом культуры увидела чудо.

Айдар, наслаждаясь произведенным эффектом, чопорно поздоровался, воспитанно попросил разрешения сесть.

— Да, да, конечно, проходите, пожалуйста. Прошу, — Алиме, привстав, показала на стул по другую сторону стола.

Айдар поблагодарил. С достоинством сел и развалился вальяжно.

— Вас просто не узнать, — усмехнулась, придя в себя, Алиме. И, устанавливая дистанцию между собой и посетителем, сочла нужным заметить менторским тоном. — Оказывается, можете выглядеть по-человечески. Вчера вы прямо-таки напугали меня. Я думала, вы совсем пропавший.

— Не поддавайтесь первому впечатлению и не судите, да не судимы будете, — как бы сочувствуя ей, философски заметил Айдар. Вздохнул легонько. — Сложен человек. Вспомните про лохмотья дервиша, под которыми скрывается святой. Или про жемчужное зерно в навозной куче, — и улыбнулся, давая понять, что слова его не надо воспринимать всерьез, что говорит он так лишь от хорошего настроения.

— Да пу вас, — чисто по-женски слабо махнула на него рукой Алиме. — Дервиш, тоже мне, нашелся. И насчет жемчужного зерна... В такой навозной куче, как ваша мастерская, оно может навсегда затеряться.

— Как видите, не затерялось, — буркнул, немного обидавшись, Айдар. — Кстати, и мастерскую вы теперь не узнаете. Я там все до блеска вылизал.

— Правда? — искренне обрадовалась Алиме, но удивившись, видимо, этого непроизвольно вырвавшегося восклицания, тут же напустила на себя официальный вид. — Приятно слышать. Рада, что вы оправдываете надежды. — Опустила глаза, поправила листок перед собой. — Вас привело ко мне какое-нибудь дело или... желание показать, насколько вы хороший?

— И то, и другое, — сухо ответил Айдар. Достал договор, положил его на стол, разгладил ладонью. — Во-первых, большое спасибо за то, что так высоко, вернее, дорого, оценили мою скромную работу...

— Оценили по достоинству, — холодно перебила Алиме. — А «во-вторых»?

— Сначала закончим с «во-первых», — Айдар смущенно почесал кончик носа. — Осложнений с экспертами, с закупочной комиссией не будет? Вдруг они не согласятся с вашим мнением?

— Вы же видели их подписи на договоре. Значит, согласны, — Алиме, слегка прищурясь, пристально посмотрела на него и неожиданно улыбнулась. Лицо ее расслабилось. — Мне нравится ваша щепетильность, но, уверяю, портрет девушки стоит таких денег. Вы просто-напросто не знаете себе цены. — Помолчала и, слегка подавшись к Айдару, добавила с заговорщической доверительностью. — Кроме того, сейчас конец квартала. Средства не освоены. Так лучше уж поощрить вас, нашего национального художника, чем...

И не договорила. Откинулась к спинке стула, выпрямилась. Потому что в кабинет ворвался долговязый бородатый парень в джинсовом костюме и, размахивая какой-то бумагой, уже от двери завозмушался тем, что его фольклорному ансамблю опять не утвердили гастрологи по глубинке на время посевных работ. Айдар приподнялся, чтобы попрощаться, но, перехватив мимолетный взгляд Алиме: останьтесь! — снова опустился на стул и с отрешенным видом уставился в окно. Парень напористой скороговоркой доказывал что-то, но о чем шла речь, Айдар не вникал и прислушивался только к начальственным репликам Алиме: «Нет!.. Есть мнение!.. И худсовет тоже! Я — категорически!.. Хорошо, не возражаю! До свидания!»

— Поэтому, — словно и не прерывался разговор, обратилась она к Айдару утратившим жесткость голосом, как только парень скрылся за дверью, — можете не терзаться и с чистой совестью идти в кассу. У вас ко мне все?

— Осталось «во-вторых», — напомнил Айдар. И как можно небрежней предложил. — А почему бы вам не заглянуть еще раз ко мне в мастерскую? Прямо сегодня же, например. Можно сейчас. Вам ведь разрешается отлучаться по делу? Или вечером, после работы.

— Зачем? — брови у Алиме удивленно поползли вверх. — Чтобы дать еще и оценку качеству вашей уборки?

— И это тоже. Не скрою, буду рад, если похвалите, — Айдар, улыбаясь, выдержал ее изучающий взгляд. Потом, перестав улыбаться, пояснил озабоченно. — Есть и еще одна, более важная, причина. Вчера вы сделали замечание по лицу Ленина. Я был, как бы это сказать, — помялся подчеркнуто удрученно, — несколько не в форме и пропустил ваши слова мимо ушей. Так вот, — поднял на Алиме смеющиеся глаза, — не могли бы вы повторить те указания, конкретизировать их? Прямо там, на месте, у картины?

— Ну что вы, сразу уж и «указания», — засмушалась Алиме. — Я всего-навсего высказала свои субъективные впечатления, а вы уж сами...

Но тут зазвонил телефон. Она рывком сняла трубку. Прося взглядом Айдара извинить, стала слушать абонента, изредка поддакивая раздраженно: «Хорошо, не возражаю.. согласна... я не против...» Пока она говорила,

вошла пожилая печальная женщина. Привычно села на стул, который уступил ей Айдар. Как только Алиме положила трубку, женщина начала скорбно жаловаться на то, что фанеры для декораций нет, мешковины и марли для костюмов тоже. Айдар понял: это надолго.

— Значит, договорились, Алиме Юсуфовна? — с утвердительной интонацией спросил он. — Мне крайне необходимы ваши советы, без них я не смогу продолжить работу. Когда вы сможете уделить мне внимание?

Алиме нахмурилась, покосилась на посетительницу и отрицательно, а может, и осуждающе покачала головой из стороны в сторону.

— Едва ли это возможно, — сказала отрывисто. — У меня нет времени. — Она выразительно посмотрела на скорбную женщину. — Так что обойдетесь без моих советов. До свидания!

— До свидания! — Айдар интонацией выделил прямое, первоначальное значение этих слов и, посмеиваясь, вышел.

Получил в бухгалтерии деньги, рассовал их по карманам и целеустремленно отправился в универмаг. Купил широкополую, как у декадентов, шляпу, болгарский кожаный плащ, а упакованные продавщицей в бумагу обшарпанное, студенческое еще, пальтецо и замызганную кепку оставил около мусорного ящика во дворе магазина — авось пригодится какому-нибудь бедолаге. Плотно и вкусно пообедав в кафе, Айдар вернулся домой. Закрылся изнутри на ключ, чтобы не ввалились неожиданно-негаданно какие-нибудь прежние друзья, помотался по мастерской и завалился на кушетку, чтобы вздремнуть. Но — не спалось. Все время думал об Алиме. Теперь, побывав у нее, увидев, какой она может быть непреклонной, Айдар размышлял о том, что должен сделать все, чтобы понравиться ей: по-прежнему, хотя теперь и приглушенной, беспокоила вырвавшаяся вчера легкомысленная реплика о Ленине — если Алиме невзлюбит, то с ее характером, с ее служебным положением сможет устроить большие неприятности, обвинив в аполитичности или, того страшней, в диссидентстве. «Надо закрепить ее хорошее отношение ко мне», — думал Айдар, а в том, что Алиме пока благосклонна к нему, он не сомневался.

В начале шестого деловито оделся. Придирчиво оглядел себя в зеркале. Задумался на миг — может, выпить граммов сто пятьдесят, чтобы чувствовать себя раскованней? Нет, не стоит. Наверняка Алиме учует запах алкоголя, будет недовольна.

По таксофону рядом с горисполкомом Айдар позвонил в отдел культуры и, узнав у секретарши, что Алиме Юсуфовна еще не ушла, но занята — проводит совещание, — стал ждать ее.

Появилась она не скоро, задержавшись на работе почти на целый час. Увидев Айдара, удивилась и растерялась. Он, пристроившись рядом, опять начал благодарить ее за то, что отдел культуры так щедро оплатил его труд, стал намекать, что неплохо бы отметить это, и в конце концов пригласил Алиме в ресторан. Но она так взглянула, что у него пропала вся игривость. Подумав, что Алиме опасается сплетен, злословия, так как в ресторане их может кто-нибудь увидеть, предложил купить вина и фруктов и посидеть в его мастерской. В ответ Алиме посмотрела с еще большим негодованием. Айдар решил: она боится, что он напьется, будет и выглядеть и вести себя по-скотски. Испугавшись, что все испортил, Айдар с бесшабашностью погибающего продолжал упрашивать зайти в мастерскую: — «Клянусь, пить будем только чай! — чтобы посмотреть картину о Ленине и вместе наметить, как исправить недостатки, которые вы, Алиме Юсуфовна, нашли».

— А вы, оказывается, льстец, — потеплевшим голосом заметила она. — Благодарю за приглашение, но... вряд ли вы прислушаетесь к моим рекомендациям. Не так ли? — Сдержанно улыбнулась, протянула, прощаясь, руку. — Спасибо, что проводили.

И скрылась в подъезде нового пятиэтажного дома.

* * *

С того вечера для Айдара началась действительно новая жизнь. Приятелей, знакомых и незнакомых выпивох он отшил: мешаете, не до вас, видите, работаю, сроки поджимают! По утрам что-то доделывал, подправлял

в картине или писал портрет Алиме — однажды ночью осенило нарисовать ее: когда-нибудь она в конце концов согласится прийти в гости, вот и будет ей подарок. После обеда обычно работалось плохо, приходилось заставлять себя заниматься делом: Айдар маялся, посматривал на часы — не пора ли отправляться к исполкому встречать Алиме? Виделся он с ней по будням ежедневно. В первое время относился к этим свиданиям несерьезно, как к игре, развлечению, способу хоть ненадолго избавиться от одиночества, но вскоре уже не мог обойтись без них: едва проснувшись, представлял, как подойдет к Алиме, о чем будет говорить; расставшись, сразу же начинал мечтать о завтрашнем дне; скучал в субботу и воскресенье, когда Алиме не приходила на работу, а значит, он не мог ее видеть.

При каждой встрече Алиме делала вид, будто недовольна, неизменно повторяла в разных вариантах одно и то же: ей не нравится такое его поведение, похожее на назойливость; это преследование — да, да, преследование, другого слова не подобрать! — становится неприличным, но Айдар знал, что говорится это неискренне, что на самом деле Алиме рада, когда, выходя после работы, видит его, ожидающего на улице. Если сразу не находила взглядом, то, замедлив шаг, осторожно озиралась, и лицо ее становилось разочарованным. Но вот замечала Айдара, и снова, как всегда, — поступь уверенная, твердая, лицо холодное, почти высокомерное. Из-за этого кажущегося высокомерия, как давно догадался Айдар, и не смогла устроить личную жизнь, создать семью — он уже знал об этом. Мужчины считали Алиме неприступной, черствой карьеристкой, думающей лишь о работе, и сторонились, даже побаивались ее. А Айдар — нет. Теперь — нет, не боялся. В ее присутствии он, сам удивляясь себе, обычно вялый, молчаливый, становился веселым, красноречивым, делился планами, много и оживленно говорил о своих будущих работах, за которые примется на днях, так как картина о горцах на приеме у Ленина готова. Алиме оказалось внимательной слушательницей: когда надо, кивала, соглашаясь; когда надо, улыбалась, посматривая одобрительно, и это воодушевляло Айдара. К себе она не приглашала, а ему так и не удалось

завзвать ее в мастерскую, поэтому им, точно юным влюбленным, приходилось гулять по улице или парку, время от времени надолго останавливаясь в каком-нибудь укромном уголке: под деревом, у затененной стены в незнакомом дворе. Иногда, увлеченный своим рассказом, Айдар вплотную придвигался к Алиме, непроизвольно брал ее руку в свою, но женщина всегда выскользнула, отступала на шаг-другой, осторожно, но настойчиво высбождала свои пальцы из его ладони. И, попросив глухим голосом проводить — поздно уже! — торопилась домой.

Однажды, когда были около кинотеатра, где шел фильм «Моя прекрасная леди», Айдар, показав на афишу, заметил шутливо, что это о ней, об Алиме, потому что для него «моя прекрасная леди» — она. Алиме фыркнула: не люблю пошлостей! Он предложил зайти, посмотреть кино, чтобы узнать, почему это пошло быть прекрасной леди. Алиме отказалась, сказав, что мюзикл этот уже видела и считает его действительно пошлым, хотя имела в виду другое — неуклюжий комплимент.

На следующий день Айдар пришел на свидание с двумя билетами в кармане. Опять гуляли, опять он много и вдохновенно рассказывал о живописи, о своих замыслах, а поздно вечером вывел Алиме к кинотеатру и, как не противилась она, увлек, почти силой затащил ее на последний сеанс. В темноте зала так и подмывало нащупать руку Алиме или положить ладонь ей на колено, но Айдар сдержал себя — вот уж это была бы действительно стоцентная пошлость!

После кино они долго сидели на скамейке в сквере. Стояла тихая, теплая ночь, на черном высоком небосводе мерцали, переливаясь, бесчисленные звезды, воздух был пропитан бодрящей свежестью, еле уловимым запахом молодых, клейких еще листьев — весна, пора влюбленных.

Находясь под впечатлением фильма, Айдар и Алиме молчали. Потом он, сам не зная как это получилось, осторожно и бережно обнял ее за плечи — она еле ощутило вздрогнула, но не отодвинулась, не убрала его руку, — и медленно подавшись к Алиме, прикоснулся губами к ее щеке. Алиме, закрыв глаза, перестав дышать, не шелохнулась. Но уже в следующее мгновение резко встала, при-

казала осевшим голосом: «Не провожай меня!» — впервые назвав Айдара на «ты», — и, опустив голову, быстро ушла в темноту. А он еще долго сидел, слабо улыбаясь и предвкушая встречу завтра вечером.

Но встретились они уже утром. Проснулся Айдар от непрерывного трезвона звонка. Плохо соображая спросонья, Айдар, закутавшись в одеяло, бросился к двери. Открыл ее и остолбенел, пораженный: Алимэ?! Она решительно отодвинула его, стремительно вошла в мастерскую, объявив на ходу, что сегодня приедут принимать картину. Увидела свой портрет, сбилась с шага, точно споткнулась. Чуть заметно покраснела, быстро глянула на Айдара. Тот ошарашено мигал, недоумевая: почему-де ни Союз, ни худфонд его не предупредили? Потому, желчно объяснила Алимэ, что хотят, видимо, застать врасплох.

— Надеются, наверно, что работа не готова или застанут тебя, — она слегка запнулась на этом слове, — пьяным.

Айдар вспыхнул, но Алимэ уже не смотрела на него. Она обвела взглядом мастерскую, покачала головой.

— И это ты называешь: навел порядок? — Задумалась, прищурясь и прижав палец к губам. Приказала. — Давай ключ и погуляй где-нибудь до трех часов. Только не пей. Ради всего святого, не пей! — взмолилась, страдальчески наморщив лоб. И опять стала сосредоточенной. — А я постараюсь хотя бы немного облагородить этот хлев. Договорились?

Айдар растерянно кивнул. Торопливо оделся, застенчиво посматривая на Алимэ, которая из деликатности отвернулась.

Вышли они вместе. Алимэ, не мешкая, села в поджидавший ее служебный «жигуленок» и укатила, а Айдар побрел куда глаза глядят. Хотел было зайти в Союз художников повозмущаться, что не предупредили о сегодняшнем визите заказчиков, но передумал: ну их, интриганов и завистников, к свиньям! Пусть пока радуются, пусть думают, что оскандалюсь. Не спеша пообедал в первой же попавшейся столовой; сходил еще раз на «Мою прекрасную леди», но теперь еле досидел до конца — все время перед глазами стояла его картина о горцах. Понравится ли горкомовцам? Не придерутся ли к чему? Не пока-

жется ли им Ленин заземленным, обытовленным: не подчеркнуто, скажут, не бросается в глаза, что он — Вождь!

Измаявшись, истерзавшись сомнениями, вошел Айдар ровно в три часа в свою мастерскую. И не узнал ее: полы блестели, будто лакированные, на безукоризненно чистых, точно свежепокрашенных стенах развешены этюды и эскизы к картине. Остальные работы — и студенческие, и портрет Алиме — исчезли: их, наверное, спрятали в чуланчик, где хранился всякий хлам, оставшийся еще с прежних времен. Но больше всего поразили Айдара широкое, обитое зеленой тканью мягкое кресло, ваза с яблоками на покрытом неизвестно откуда взявшейся скатертью столе и — холодильник в углу.

Алиме, застывшая на краешке кушетки, застеленной новым ковровым покрывалом, впилась в Айдара настроженным взглядом и, очевидно, удовлетворенная его реакцией, просветлев, поднялась навстречу.

— Откуда все это? — Айдар показал на кресло, стол, холодильник.

— Не имеет значения, потом объясню, — отмахнувшись, ответила на выдохе Алиме и, открыв холодильник, в котором стояли бутылки шампанского, коньяка, минералки, тарелочки с нарезанными уже сырами, копченой колбасой, красной рыбой, стала поучать. — Предложишь гостям. Если откажутся, не настаивай. Если согласятся, попроси меня быть, так сказать, хозяйкой приема. Сам, мол, ничего в таких делах не смыслишь.

Айдар, плюхнувшись в кресло, потрясенно смотрел на нее. Так и просидел он, неподвижный, оцепеневший, пока снаружи не послышался шум подъехавших машин и не пропел мелодично клаксон.

Алиме встрепенулась, вскочила с кушетки, точно подброшенная. Побледнела. Глаза стали круглыми. Сцепив пальцы, хрустя суставами, повелела взглядом: встречай! И Айдар вылетел за дверь.

Увидел три «Волги» — две черных и одну белую — и синий фургон. Улыбаясь так сладко, что самому стало противно, Айдар суетливо подскочил к первой машине и неожиданно для себя согнулся в неглубоком поклоне перед заведующим идеологическим отделом горкома, уже выбирающимся из «Волги». Стало стыдно, но рас-

прямить смиренно согбенную спину, согнать с лица приторную улыбку Айдар не сумел. Заведующий идеологией тоже улыбнулся — сдержанно, но приветливо, — подал руку для пожатия. Ободряюще прикоснулся к плечу Айдара, даже похлопал слегка, и не спеша, с достоинством направился в мастерскую. За ним потянулась свита: все в одинаковых костюмах стального цвета, в безупречно белых рубашках со строгими, однотонными — бордовыми, серыми, голубыми — галстуками. Только секретарь Союза художников — в замшевом пиджаке — и худфондовый начальник — в вельветовом — выделялись. Каждый из приехавших, за исключением шоферов и бравых парней, которые вышли из фургона, тоже поощрительно улыбался Айдару, тоже, словно из милости, протягивал ему руку, и он, ответно улыбаясь, тискал эти мягкие, расслабленные ладони. Лишь у своих, у художников, рукопожатия были по-мужски сильными.

В мастерской визитеры полукольцом, в центре которого стоял заведомом горкома, выстроились против картины. С важными, серьезными лицами порассматривали ее, потом вполголоса, с многозначительными паузами, начали обмениваться мнениями. Умничали, замечания кое-какие делали, но видно было — это больше для того, чтобы впечатление произвести, дать понять, что тоже разбираются в искусстве. Стало ясно: картина всем понравилась.

— Идеологически и эстетически хорошее произведение, — подвел итог заведомом горкома. — Согласны со мной, товарищи? — повернул голову к помалкивавшим во время обсуждения секретарю Союза и худфондовцу.

— Да, конечно, разумеется, — наперебой подтвердили те. — Рисунок классический, композиция безупречная, колорит продуманный. А главная удача — центральный образ! Очень выразительный Владимир Ильич, очень!

— Верно, это главное, — сделав торжественное лицо, согласился заведомом горкома. — Рад, что мнение специалистов совпало с моим.

Глянул в сторону входа, где окаменело застыли парни из фургона, и, подняв руку над головой, щелкнул пальцами. Парни сорвались с места, подбежали к картине и, пыхтя, негромко покрикивая друг на друга — «Заноси

свою сторону!.. Не дергай, не дергай!» — вытащили полотно из мастерской.

Как только они скрылись за дверью, Алиме требовательно посмотрела на Айдара, и он заикаясь предложил отметить столь знаменательное для него событие, обыть, как говорится, окончание работы — традиция, мол, того требует: чтоб удача не отвернулась.

— Что ж, раз в вашей среде так принято, не возражаю, — благосклонно разрешил завотделом горкома, и глаза его повеселели. — Как считаете, товарищи, поддержим предложение? Не возражаете? А то, чего доброго, наш художник еще обидится, сочтет, что мы оторвались от народа.

Члены комиссии, с глубокомысленным видом разглядывавшие этюды и эскизы, оживились, потянулись к столу, потирая ладони.

— Алиме Юсуфовна, вы не могли бы помочь мне? — старательно изображая радостное смущение, попросил Айдар. — Сыграть роль, так сказать, хозяйки дома, а то я, — он удрученно развел руками, — не знаю, что и как. Никогда таких высоких гостей не принимал.

Алиме правдоподобно притворилась растерянной, вопросительно посмотрела на партийного идеолога, и когда тот разрешающе кивнул, заметалась, захлопотала. Быстренько накрыла стол, сервировав его неизвестно откуда появившимися приборами, фужерами, рюмками, положив даже полотняные салфетки. Выставила все, что имелось в холодильнике.

Стоя, а ля фуршет, выпили шампанского. Первый тост, по предложению завотделом горкома, был за безусловно выполненный заказ — картину — и за дальнейшие творческие успехи товарища Карамова. Айдар, застенчиво потупившись, поблагодарил за столь высокую оценку его скромного труда, а затем, стыдясь своей откровенной лести, но не сбиваясь, произнес цветистую здравицу в честь самого завотделом, отметив его тонкий художественный вкус и редкостные личные достоинства: демократичность, обаяние. Завотделом принял тост благосклонно.

Отведав после этого коньячку и закусив, члены приемочной комиссии, утратившие неприступность и важ-

ность, вскоре уехали, пригласив с собой Алиме и дружески, почти как с равным, попрощавшись с проводившим их до машин Айдаром.

Он, согнав с лица сладкую улыбку, от которой уже онемели щеки, дождался, когда автомобильный кортеж скрылся за дальним поворотом, и решительно вернулся в мастерскую. Так же решительно, не раздумывая, налил полный фужер коньяка и залпом выпил. Передернулся, скривился, плюхнулся в кресло. Глубоко засунув руки в карманы брюк, нахохлился, зло глядя на пустое место, где совсем недавно была картина о Ленине. Но думал Айдар не о ней, хотя и был рад, что наконец-то отмаялся: надоела, опостылела, измотала. Думал о себе: было противно, что лебезил перед партийными чиновниками, которые ничегошеньки не понимают в живописи и перед которыми приходилось заискивать. Айдар скрипнул зубами — не вспоминались ехидные ухмылочки, какими, посматривая на него, обменивались между собой секретарь Союза и худфондовец. «Лицемеры! — пытался уверить себя Айдар. — Сами раболепствуют перед горкомовцами, в рот им заглядывают, а надо мной еще иронизировать смеют?!». Однако успокоение не наступало, отвращение и презрение к себе не ослабевали.

Так, не шелохнувшись, угрюмый, с остановившимся взглядом, и сидел он, пока в мастерской вновь не появилась Алиме. Пришла она с двумя мужиками: один был тот, что унес портрет девушки, второй — незнакомый.

Алиме была оживленной, глаза ее прямо-таки светились, но стоило ей бегло взглянуть на Айдара, на бутылку коньяка, и лицо сразу потускнело, словно набежала на него легкая тень. Украдкой бросая на Айдара встревоженные взгляды, Алиме деловито стала складывать в большую хозяйственную сумку посуду, сбрасывая объедки в полиэтиленовый мешок. Мужики, тоже деловито, немного поворчав, подвигали холодильник и поволокли его к выходу.

— Почему такая меланхолия? — обеспокоено, хотя и пыталась скрыть это за насмешливостью, поинтересовалась Алиме, как только грузчики скрылись за дверью. — Жалко, как это у вас, художников, бывает, что пришлось с картиной расстаться? Так? — она, складывая скатерть,

прижав ее подбородком к груди, пытливно смотрела на Айдара. — Не грусти. Главное, и работа твоя, и ты сам всем очень понравились. У руководства сложилось о тебе самое лестное мнение. — Аlime сунула скатерть в сумку, сдернула с кушетки покрывало и принялось скатывать его в рулон. Обернулась. — Помоги, пожалуйста. Айдар торопливо поднялся. Тщательно связал покрывало бечевкой, которую протянула Аlime. На душе у него немного прояснилось: хоть и уверял он себя, будто отношение к нему членов комиссии — ерунда, не имеющая никакого значения, все-таки стало приятно, чего уж лукавить, что произвел на работников горкома хорошее впечатление.

Вернувшиеся мужики подняли кресло и понесли его к выходу. Айдар, опередив Аlime, схватил сумку и с нею, с покрывалом под мышкой тоже направился из мастерской. Подождал, когда выйдет Аlime, и старательно запер дверь на ключ. Аlime быстро и внимательно взглянула в лицо Айдару, но ничего не сказала.

Молчала она и в микроавтобусе: сидела отрешенная, глубоко задумавшись. Но как только машина остановилась, тряхнула головой, словно отгоняя тягостные мысли и решившись на что-то, опять оживилась, даже повеселела. Айдар же, увидев, что подъехали к ее дому, помрачнел — был убежден: и холодильник, и кресло, и покрывало со скатертью казенные, взяты из отдела культуры или какого-нибудь клуба, театра, студии, а оказывается, все это личные вещи Аlime. «И выпивка, закуска за ее счет?» он почувствовал, что краснеет от стыда, но тут же накатил и такой сильный, какого не испытывал прежде, прилив нежности к Аlime: никто, никогда, кроме, может, школьного учителя рисования, о нем не заботился, а эта женщина сама, по своей воле, сделала все — как понимала и считала нужным, — чтобы он выглядел достойно. Сделала вместо него и ради него! Фужер коньяка тоже начал сказываться: глаза Айдара защипало от умиления и благодарности к Аlime.

Он проворно выскользнул из машины. Отвернулся на миг, чтобы высохли готовые набежать — такое бывало с ним, пьяненьким — сентиментальные слезы, и галантно протянул руку Аlime, помогая ей выйти. Она поблагодарила улыбкой, подождала, пока Айдар возьмет сум-

ку и покрывало, и с достоинством, без спешки вошла в подъезд. Но там ускорила шаг. Легко взбежала на площадку второго этажа, нервно отомкнула дверь в квартиру и, придерживая ее, напряженно выпрямившись, пропустила Айдара впереди себя. В небольшой и опрятной, со светлыми обоями прихожей неловко взяла, почти выхватила, сумку и отрывистым голосом, не глядя в глаза, попросила отнести покрывало в комнату. «Волнуется, не знает, как держаться, — Айдар сдержал понимающую улыбку. — Боится, что впустив меня, осложнила наши отношения».

В единственной комнате квартиры Алиме был, как и в прихожей, идеальный порядок: паркет натерт до блеска, на телевизоре, сверкающих стеклах серванта, книжных полках, створках платяного шкафа, полированной поверхности журнального столика ни пятнышка, ни пылинки. Лиловый ворсистый ковер во всю стену, обтянутые темно-зеленой тканью тахта и кресло — такое же, как то, что было сегодня в мастерской, — торшер с зеленоватым шелковым абажуром создавали атмосферу устойчивого домашнего уюта, которого Айдар никогда не знал и который ему понравился — успокаивает, заставляет забыть о тревогах, неприятностях, суете.

Он положил покрывало на тахту. Хотел развязать его и разостлать, но не решился: неизвестно, как воспримет это Алиме, еще подумает, что позволил себе слишком уж большую вольность. Мельком глянув на застекленную пустую секцию серванта, удивившись, что там нет ничего — не похоже это на Алиме, — но сразу же сообразив, что хрустальные рюмки и бокалы, которые по логике должны здесь стоять, лежат сейчас в хозяйственной сумке на кухне, и снова испытал приступ нежности к Алиме за ее заботу о нем, подошел к книжным полкам. Они были сплошь заставлены подписными собраниями сочинений классиков. Заложив руки за спину, Айдар поразглядывал корешки книг. Сдвинув стекло, взял первый попавшийся томик Гоголя. Открыл его.

Сзади часто и мягко затопали. Айдар оглянулся.

Рабочие, сбросив в прихожей обувь, внесли кресло. Увидев их ноги в носках, Айдар смутился: самому-то ему разуться в голову не пришло. И Алиме не намекнула.

Она, с сосредоточенным видом следовавшая за мужиками, вежливо, будто прося извинить, улыбнулась Айдару, и опять — все внимание на кресло. Попросила поставить его около журнального столика напротив другого кресла. Чуть-чуть сдвинула, чтобы они стояли строго симметрично, и не взглянув больше на Айдара, словно его и не было тут, вышла с озабоченным видом. Он же чувствовал себя крайне неловко: «Может, помочь рабочим с холодильником? Заодно и разуться незаметно в коридоре? А как это воспримет Алиме? Раньше, мол, догадаться не мог?» Не зная, как поступить — не торчать же столбом посреди комнаты, — решил притвориться, будто заинтересовался книгами, позабыл обо всем. Не решившись сесть в кресло, стоя, сделал вид, что сосредоточенно читает. Но постепенно по-настоящему увлекся.

В прихожей опять затопали, закричали мужики — тащили холодильник. Потом они ворочали его в кухне, устанавливая, — изредка доносился раздраженный, требовательный голос Алиме; потом в прихожей опять зачастили шаги; хлопнула дверь.

Айдар слышал все это, но не особенно обращая внимания. Он читал. И оторвался от книги только тогда, когда заметил, что вошла Алиме. Поднял на нее глаза. Захлопнул книгу. Сунул ее на место.

— Прекрасная у тебя библиотека, — сказал, придав голосу как можно больше восхищения. — Не смог удержаться. Открыл вот наобум и влип... Все-таки «Портрет» удивительная повесть. Как точно подмечено: если художник изменит себе, продаст свой дар, конец такого творца и как мастера, и как человека неизбежен. Изменишь себе раз, другой, и все — крах, катастрофа, гибель.

Алиме, выставлявшая с подноса в сервант тщательно вымытые, сверкающие хрусталь и посуду, на миг оглянулась, и в глазах ее мелькнула растерянность. «Не читала «Портрет», — понял Айдар.

— Да, Гоголь замечательный писатель, — с пафосом подтвердила Алиме, поправляя бокалы, чтобы те стояли правильным рядком. — Но мне больше нравится Достоевский. Какое редкостное знание психологии. Особенно женской. Грушенька, Настасья Филипповна — сколько гордости, готовности пожертвовать всем, ради своей независимости. И любви.

— Разве только женщины? — лишь бы не поддакивать, возразил Айдар. — Мужчины у Достоевского тоже готовы на многое ради независимости и любви. Вспомни Рогожина, убившего ту самую Настасью Филипповну.

И опять Алимэ быстро оглянулась, и опять по взгляду ее понял, что «Идиота» она, скорей всего, тоже не читала, а знакома с этим романом, в лучшем случае, по кино — гибель Настасьи Филипповны была для нее, судя по всему, полной неожиданностью.

— Ты прав, у Достоевского все образы сложные, — глубокомысленно согласилась Алимэ и, видимо, чтобы сменить тему, сказала, прислушавшись. — Извини, кажется, чайник закипел.

И заспешила из комнаты. Айдар отправился за ней. В коридоре начал было разуваться около встроенного шкафа для одежды, но Алимэ, оглянувшись в кухонной двери, взмолилась, не очень, правда, уверенно: — Не надо, не надо, не делай этого, пожалуйста. У меня нет тапок твоего размера... Мне они ни к чему, — добавила многозначительно.

Айдар взглядом дал понять: намек, что мужчины здесь не бывают, оценил. Снял туфли. Алимэ, притворно неодобрительно покачав головой, метнулась к шкафу, извлекла из него, стремительно нагнувшись, какие-то легкомысленные, с голубыми бантиками, шлепанцы без задников. Они оказались Айдару почти впору и он, избавившись наконец от внутренней скованности, повеселел. Не отрывая глаз от Алимэ, которая хлопотала у стерильно белого стола в стерильно чистой белой кухне, прислонился плечом к дверному косяку.

— Тебе что — чай, кофе? — озабоченно спросила Алимэ, поглядывая на такую же стерильно чистую газовую плиту, где только-только закипал чайник.

— Лучше кофе, — попросил Айдар. И уточнил, посмеиваясь. — С коньяком. — Но увидев, что лицо женщины мгновенно окаменело, поторопился успокоить. — Пошутил, пошутил. Если получилось неуклюже, прости. Кстати, о коньяке, — заметил деловито, чтобы разрядить обстановку и развязаться с нежданно-негаданно возникшей проблемой. — Куда я должен внести деньги за банкетец в мастерской? Может, прямо сейчас отдать тебе?

Алиме, вытянувшись на цыпочках и высматривая что-то в глубине настенного шкафчика, пренебрежительно отмахнулась.

— Никуда не надо. Я провела этот расход как представительские издержки из средств, отпущенных на обмен опытом. — Достала банку бразильского растворимого кофе, показала Айдару. — Такой будешь? Или предпочитаешь традиционный, молотый? — Всмотрелась в его лицо, удивилась. — Что с тобой?.. Да не беспокойся ты ни о чем, все в порядке с тем угощением комиссии, все законно. — И властно, как хозяйка, потребовала. — Иди, не смущай! Нечего мужчине в кухне торчать, не его это дело. Иди, я скоро.

Обдумывая услышанное — не очень-то понравилось, что его выпивку оплатили по каким-то фиктивным счетам: есть в этом что-то некрасивое, нечестное, — Айдар вернулся в комнату. Сосредоточенно размышляя, как поступить — что, если все-таки настоять, внести деньги, чтобы быть полностью, ни от кого, даже от Алиме, независимым? — тем не менее, сам того не замечая, барственно развалился в кресле. «А может, так принято, так полагается? — мучительно раздумывал он. — Тогда я со своей щепетильностью буду выглядеть мелочным занудой и Алиме обидится, а то и оскорбится». Решил оставить все как есть: в конце концов, Алиме знает, что делает. И опять пробудилось и разрослось теплое чувство к ней: кто еще так старался для него? Что, кроме благодарности, можно испытывать к такой женщине?!

Поэтому, когда Алиме появилась с подносом в руках, Айдар встретил ее как самого близкого и дорогого человека.

Вместе с ароматным, терпким кофе принесла Алиме и графинчик коньяка, чем окончательно растрогала Айдара: «Даже на это решилась ради меня!» Делая редкие глоточки из фарфоровой, с синими цветочками чашки, он не отрывал от Алиме откровенно влюбленных глаз. А она, слегка разрумьянившись от этого взгляда, но не утратив контроля над собой — по-прежнему с прямой спиной, с горделивой осанкой, изредка осторожно прикасаясь кончиками пальцев к коротко остриженным волосам: не растрепались ли? — начала рассказывать о какой-то выс-

тавке самодеятельных художников, которую хотела бы устроить и членом жюри которой надеялась видеть Ай-дара. Тот не слушал, любовался ею. Алиме, не зная, видимо, как поддержать беседу, поведала о себе: закончила филфак, с первого курса активно занималась общественной работой, была комсоргом факультета, членом бюро райкома комсомола, поэтому после института стала штатным сотрудником горкома; потом — высшая партийная школа; потом — руководила сектором в обкоме профсоюзов работников культуры, а теперь вот — «... ну, ты сам знаешь».

Комнату постепенно заполняли вечерние сумерки. Алиме включила торшер. С его мягким зеленоватым светом стало еще уютней.

Умиротворенный Айдар тоже рассказывал о себе. Но, как всегда, когда был с Алиме, не о прошлом, а о своем будущем, каким представлял его: много работы, удивительные картины, которые обязательно напишет, — замыслов полна голова.

Алиме слушала внимательно и заинтересованно, не перебивая.

Вскоре за окном совсем стемнело, незаметно подкралась ночь. Алиме не напоминала, не давала понять Айдару, что уже поздно, что пора бы и попрощаться, а он тем более помалкивал — не хотелось уходить отсюда, из этого покоя и уюта. Как только вспоминал о своей пустой и постылой мастерской, такая тоска накатывала, хоть вой. Но все же надо ведь и Алиме пожалеть, ей, наверное, смертельно спать хочется.

— Что ж, пора и честь знать, — Айдар решительно встал. — Еще раз спасибо тебе за все, что для меня сделала. Спасибо и за сегодняшней вечер, за кофе, за беседу.

Алиме тоже поднялась с кресла, но не так резко, как он. Медленно, словно нехотя, обошла столик, протянула руку. Айдар бережно стиснул ее пальцы и, склонив голову, поднеся кисть к губам, поцеловал в запястье. Рука женщины вздрогнула и напряглась.

— Как ты пойдешь, не представляю, — осевшим голо- сом глухо сказала Алиме. — На улице такая темень и безлюдье. Не боишься?

Он быстро снизу вверх взглянул на нее. Она, отвер-

нувшись, смотрела в окно, и осунувшееся лицо ее было бледным.

Айдар, не выпуская пальцев Алимe, выпрямился. Осторожно потянул женщину к себе. Она покорно подалась и, пряча глаза, уткнулась лбом ему в грудь. Айдар ласково обнял ее, поцеловал в жесткие волосы, слабо и приятно пахнущие каким-то цветочным шампунем...

Утром, едва проснувшись, весь еще в приятной дреме, с нежностью думая об Алимe и горделиво о себе, Айдар сладко потянулся и, заранее счастливо улыбаясь, протянул руку, чтобы приласкать Алимe. Не обнаружив ее, разочарованно открыл глаза.

Алимe в наглухо застегнутом шелковом халате с длинными рукавами сидела за уже сервированным для завтрака столиком. Смотрела спокойно, чуть задумчиво и словно бы изучающе.

— Тебе опять кофе? Или чай? — спросила сухо, вставая.

Обескураженный ее холодно-отстраненным видом, Айдар поморгал, дернул неопределенно плечом: все равно, мол.

— Тогда чай, — решила Алимe и направилась в кухню. На ходу распорядилась через плечо. — Пока я готовлю, приведи, пожалуйста, себя в порядок: умойся, оденься.

Растерявшийся Айдар не посмел послушаться. Суетливо оделся, торопливо умылся, причесался. Вернувшись в комнату, разровнял простыни, набросил на них покрывало. И, стараясь выглядеть непринужденно, сел к столу. Тут же, услышав, вероятно, из кухни, что он затих, появилась Алимe с подносом.

— Я приготовила наш, ногайский, — сказала ровным голосом. — Он питательный, полезно по утрам. Не возражаешь?

Айдар опять шевельнул плечом: какие, дескать, могут быть возражения? Он с прищуром смотрел на Алимe, и когда та, разлив в пиалы густой наваристый чай, тоже села, спросил серьезно:

— Что случилось? Почему такая ...отчужденность?

Алимe, склонив голову к плечу, медленно помешала чай расписной ложкой. Аккуратно, без стука положила ложку на блюдце.

— Я всю ночь не спала. — Склонила голову к другому плечу, полюбовалась на ложку. — Думала. О себе. О тебе. И пришла к выводу: нам надо забыть друг о друге. Подожди, не перебивай, — попросила требовательно, уловив, что он заерзал на стуле. И наконец-то посмотрела на него. Прямо в глаза, открыто и спокойно. — Не буду притворяться: ты мне нравишься. Но, взвесив все, я решила, что хорошим мужем, надежным спутником жизни ты не будешь. А встречаться так просто... как вчера, как этой ночью, не для меня. Мне это, оказывается, ни к чему.

Айдар смутился от этих слов, решив, что, видно, не доставил Алиме никакого удовольствия, не разбудил в ней женщину.

— Почему же я не могу быть хорошим мужем? У тебя есть с кем сравнивать? — обиженно буркнул он.

— Не говори пошлостей... Я не люблю разговаривать в подобной манере.

— Тогда почему?

— Потому, что... — лицо Алиме на миг исказилось. — Как вспомню, каким ты был, когда впервые увидела тебя, страшно становится.

— Но я же теперь не пью! — возмутился Айдар. — С тех пор, как мы познакомились, ты меня видела пьяным?!

— Теперь не пьешь, — подтвердила Алиме и поджала губы. — А где гарантия, что не начнешь снова? ... Тебе сейчас будут покровительствовать в горькоме и, может, даже в обкоме, у тебя появятся выгодные заказы, а значит, и большие деньги. Очень большие, уж я-то знаю. И тогда ... — Алиме медленно повела головой из стороны в сторону. — Тогда к тебе начнут липнуть всякие проходимцы, любители дармовщины, готовые разделить с тобой и популярность, и гонорары. Ты не удержишься: сначала шампанское за очередной успех, потом водка — или что вы там пьете? И — пошло-поехало...

— Ты меня совсем, что ли, тряпкой считаешь? — обиделся Айдар. И усмехнулся. — Хорошо, допускаю, что я был таким, каким ты меня себе представляешь. Но ведь я могу и исправиться.

— Всего лишь «могу», а не «исправляюсь»? — едко заметила Алиме. — Значит, не уверен в себе? Значит, допускаешь, что можешь сорваться?

— Да ничего я не допускаю! — рассердился Айдар. — С чего мне пить, зачем?! — Он подался через столик и, глядя ей в глаза, дыша учащенно, объяснил. — Пил-то я от тоски, от того, что ерундой вместо дела занимался. А теперь? Когда Ленина этого столкнул, что мне водкой глушить? Радость свою, что снова свободен, что могу для себя, для души писать, да?! — Вновь откинулся к спинке кресла, закончил устало. — Мне сейчас работать хочется, зверски хочется, а ты — о каких-то пьянках. До пьянок ли мне, подумай сама!

Лицо Алиме будто оттаяло, глаза ее потеплели. И все-таки она хмыкнула.

— Не веришь? Сомневаешься? — Айдар заворочался, качнулся к столику. Рывком подтянул к себе пиалу, чуть не опрокинув ее. — Ладно, время покажет, — решил, отхлебнув чай. Поживем — увидим.

— Поживем — увидим, — согласилась Алиме с чуть заметной усмешкой.

Завтрак закончили молча, обмениваясь лишь вежливыми репликами: «Подай, пожалуйста, масло... Спасибо», «Попробуй вот эти локумы, сама готовила... Нравятся?» — и Айдар ушел, не дожидаясь Алиме. «Не надо, чтоб нас видели вместе», — сказала она.

В показавшейся до уныния пустой и, после квартиры Алиме, особенно необжитой мастерской Айдар завалился на диван. Сунул под затылок ладони, уставился в потолок. Думал об Алиме. Сначала раздраженно — из-за ее тона, которым зачислила в неисправимые алкаши; потом — из-за того же тона — с уважением: не юлит, откровенно, прямо говорит, что думает. И то, что боится связать судьбу с ним, понятно: видела ведь его в непотребном, скотском состоянии. Как не испугаться, что муж всегда будет таким? «Муж?.. Я ее муж?» — Айдар фыркнул. До сегодняшнего утра никогда не представлял себя в этой роли — было приятно скрасить одиночество рядом с Алиме, вот и все. Но сейчас, представив, что будет жить вместе с ней, хотя бы и в этой вот мастерской, где Алиме наведет такой же порядок, как в своей квартире, Айдар заулыбался — понял, что давно мечтал, сам того не подозревая, об этом: о домашности. И чтоб жена была именно такой, как Алиме.

Но представив ее — с легкостью представив — своей женой, Айдар слегка смутился: как всякий мужчина, которому женщина после близости дала понять, что не в восторге от него, он был уязвлен и даже испытал нечто похожее на стыд. Хотя и знал, что упрекнуть себя ему не в чем. Разве только в том, что, потеряв голову, действовал несколько прямолинейно и грубо в ее понимании? Поэтому она и разочарована.

От всех этих мыслей, сложностей, непонятностей, запутанности отношений с Алиме захотелось выпить. Чтобы расслабиться, чтоб все представилось простым и ясным... Выпить? Или не стоит? О том, что совсем недавно заверил Алиме, будто станет трезвенником, вспомнил мельком и насмешливо: ну вот еще, ради нее сразу и аскетом становиться? Ломать себя, неволить? И вообще... что он, школьник, юный пионер, который, если дал слово, то умри, но сдержи? Да и не узнает Алиме, не придет же она сюда.

Не вставая, Айдар без надежды заглянул под диван, медленно обвел взглядом мастерскую — где-то здесь должна быть бутылка водки, которую купил накануне генеральной уборки. Только вот где она? И цела ли? Алиме, готовясь встретить закупочную комиссию, наверняка нашла и... Могла выкинуть.

Айдар лениво поднялся с дивана и, пригибаясь, шаря на ходу взглядом под раковиной, под кухонным столом, направился к чуланчику — если Алиме не решилась выбросить бутылку, она может быть только тут.

Распахнул дверцу. И в первый миг даже остолбенел от неожиданности — на него смотрела Алиме. С холста, прислоненного к сломанным подрамникам, рейкам и другой рухляди. Айдар оценивающе поразглядывал свою работу. Потом бережно вытащил портрет наружу и, покусывая губу, еще долго рассматривал, держа на вытянутых руках. «Лицо, пожалуй, слащавое какое-то. И глаза игривые. Да и фон неплохо бы сделать построжее».

Отнес портрет к окну, укрепил на мольберте. И, чувствуя, как нарастает радостное возбуждение, сразу же принялся за дело.

В отличном настроении, на одном дыхании работал Айдар, пока не проголодался. Взглянул на часы и присви-

стнул: идти к горисполкому, чтобы подкараулить Алиме, было уже поздно. Да не очень-то и хотелось, откровенно говоря. Ничего, нынешний вечер можно пропустить, пусть она побудет сегодня одна, поразмышляет. Пусть не думает, будто он сходит от нее с ума, часа в разлуке прожить не может.

Айдар сделал еще один маленький плавный мазок, поправляя уголок губ на портрете, и отложил кисти. Вытирая руки тряпкой, не отрывая глаз от холста и, то приближаясь к нему, то отступая, стал изучать придирчиво: кажется, получилось то, чего добивался.

Удовлетворенно мурлыча под нос нечто бодренькое, пошел к кухонному шкафчику — там должны быть консервы. И хлеб, может, найдется.

В шкафчике действительно увидел банку «бычков в томате» и половину зачерствевшего батона. А еще — бутылку водки. Ту самую.

Обрадованный — разве не заслужил себе праздника? — Айдар, прихватив стакан, отнес найденное к табуретке около дивана. Вскрыл консервы, аккуратно нарезал хлеб и, довольный собой, довольный сегодняшней работой, налил водки в стакан. Сделал им движение в сторону портрета, словно предлагая чокнуться.

— За твоё здоровье, — подмигнул Алиме. — Пусть все у тебя будет хорошо, пусть исполнятся все твои мечты и надежды.

Бутылки хватило надолго. После первого стакана Айдар пил маленькими порциями. Пил и беседовал с Алиме, которая внимательно смотрела на него с холста: нет, не права ты, дескать, не такой я человек, каким меня считаешь... то, что я способный, это верно, в этом ты не ошиблась, а вот насчет всего прочего заблуждаешься... А дружки твои партийные, мои, как ты полагаешь, покровители, мне не интересны, более того, противны — сволочи они: с теми, кто ниже их, высокомерны, перед теми, кто выше, заискивают. Ну их к черту, без них обойдусь; я один, сам, самостоятельно добьюсь всего...

Утром Айдар встал с тяжелым сердцем — права Алиме: бесхарактерный он. Зачем вчера пил? Удачно, хорошо поработал? Но ведь впереди будет еще столько хороших, удачных дней. Что ж, после каждого пить? А потом

пить от неудач, как в студенчестве? И так — по каждому поводу?

Мрачный приехал он в худфонд, через который горком — может, перечислением, а скорей всего наличными, чтобы не тратить партийные деньги, — оплачивал картину с Лениным.

В бухгалтерии Айдара, улыбаясь завистливо, поздравили с созданием столь значительного исторического полотна, о котором все говорят, выдали пачечки десятков и пожелали дальнейших творческих успехов.

Поздравили, льстиво заглядывая в глаза, и те горемыки, что всегда выются в коридоре, курилке худфонда, рассчитывая подзанять у кого-нибудь денег. Айдар этих людей не знал, видел их впервые. Один из них робко попросил на бутылку, но Айдар ему не дал. Остальные, наверное, потому ничего не решились попросить — слишком уж угрюмым, неприступным выглядел он.

В Союз художников Айдар не зашел: знал, что там тоже кто-нибудь, не глядя в глаза, начнет поздравлять, а кто-нибудь, чего доброго, станет хамить, назовет конъюнктурщиком, халтурщиком, придворным живописцем, не имея никакого права так говорить, потому что картину Айдара не видел, а значит, и судить о ней не может. А еще не хотелось идти в Союз оттого, что и по неписанным правилам, и по-человечески, от души, должен был организовать для сотоварищей по ремеслу банкет или, на худой конец, угощение с коньячком, с водочкой, с пивком. Но пить Айдару сейчас не хотелось. Действительно не хотелось. Да и о чем говорить с ними, братьями-художниками, если почти никого из них он не знает? Ради поддержания традиции ломать, насиловать себя, делать застолье, ему, Айдару, неинтересное, ненужное, где придется притворяться заинтересованным, выслушивая чьи-нибудь споры о том, кто талантливей, претензии неизвестно к кому, обиды неизвестно на кого?..

И он решительно отправился домой, хотя и знал, что не заглянув в Союз, окончательно загубил свою, и без того не очень хорошую, репутацию.

В мастерской Айдар привычно завалился на диван и, таращась в потолок, стал вяло обдумывать, чем бы заняться. Приняться за настоящую, для себя, картину?.. Какую?

За этим-то занятием его и застали совершенно незнакомые земляки-аульчане, разыскивавшие его с раннего утра. Двое молодых мужчин, с любопытством разглядывая необычное для них помещение, сказали, что нашли его благодаря односельчанину-милиционеру, который сначала отправил их в городской отдел культуры. Сделав печальные лица, они сообщили о смерти его матери. Айдар поблагодарил вестников и проводил их до выхода. Вестью он был ошарашен, но времени на размышления и воспоминания не было. У ногайцев больше дня покойников в доме не держат, а ему надо было успеть на похороны. Айдар позвонил Алиме, сообщил о случившемся. Она выразила соболезнование и сказала, что могла бы поехать с ним и выразить соболезнование от имени общественности. Айдар отказался.

— Как знаешь... Это не по-людски. Все-таки это твоя мать. Хотя я ни разу ее не видела, — сказала она сокрушенно.

— Не надо, — твердо сказал Айдар, но ему было приятно сочувствие Алиме. — Поеду один, надо успеть до похорон...

Однако в аул приехал с опозданием. Оказалось, что родственники, совсем не надеясь на то, что его найдут, не стали держать покойницу и похоронили согласно обычаю до обеда. Как только Айдар ступил в родной двор, женщины подняли плач. Мужчины, приняв грустный вид, подошли к нему и, высказывая соболезнования, извиняясь за то, что не дождались его, принялись его обнимать. Когда вся мужская половина таким образом выразила соболезнование, Айдар, оглядев плачущих женщин, нашел среди них сестер, одетых в траурные темные одежды. Те, все трое, увидев его, выбрались из толпы, подбежали, стали обнимать его, плакать навзрыд и бессвязно причитать. Айдар очень хотел, чтобы и у него потекли слезы, но глаза оставались сухими. Самая старшая сестра не отпускала его из своих объятий даже тогда, когда две другие, продолжая плакать, отошли в сторонку. Она начала кричать душераздирающим голосом:

— Брат, похоронили мы маму. Нет ее! Похоронили! Не дождались тебя! Думали, что не найдем тебя. Хоть бы раз мать навестил. Она так ждала, так ждала! И мы ждали!

Айдар похлопал ее по плечам и освободился от объятий:
— Я все время собирался приехать, но так, видно, было угодно судьбе. Пусть попадет в рай!.. — непроизвольно вырвалось у него и накатилась волна сожаления.

Слезы хлынули по его лицу. И он теперь сам стал поочередно обнимать сестер, чтобы не показать собравшимся своих слез. Он действительно давно собирался навестить родных. Вначале, когда окончил институт, он думал, куда устроиться на работу, как создать хотя бы видимость благополучия, и только после этого хотел заявиться к родным, как говорится, на белом коне. Но долгое время он прозябал в бедности, его творческие поиски сопровождалось обильным употреблением спиртного, а это выбивало из нормального ритма, создавало дискомфорт, гасило всякое желание упорядочить свою жизнь. И это при его-то амбициях! После, став человеком при деньгах, он намеревался навестить родных, особенно хотел увидеть мать. Вот-вот, не сегодня так завтра, он должен был ехать в аул, но всякий раз что-то происходило, или просто пропадало желание, и он откладывал поездку.

— Непростительно, — сказал он самому себе, но получилось, как будто сестрам.

Вытащив из кармана платок, он вытер слезы, высморкался, принял строгое отрешенное выражение и отвел сестер к женской половине. Там несколько женщин подошли к нему и, обнимая, стали высказывать соболезнования. Айдар еле-еле освободился от них. Тотчас к нему подошел низкого роста, краснолицый старик, несмотря на лето, одетый в полинялый синий плащ, в кроликовой шапке, обутый в облезлые кирзовые сапоги:

— Пойдем, я покажу тебе могилу, — сказал он.

Старик вывел Айдара со двора, и они направились к аульскому кладбищу.

По пути старик заискивающе поглядел в лицо Айдара:

— Тебя Айдар зовут, а меня — Маулыт. Ты меня, конечно, не помнишь, я прихожусь родственником твоей матери.

Айдар согласно кивнул головой. Старик был не по годам бойкий, он быстро семенил рядом, то заходил вперед, то уходил в сторону, поправлял на голове кроликовую шапку и, желая произвести впечатление, радостно глядел на Айдара.

Айдар отводил от него взгляд и не менял отрешенного выражения лица.

— Бедная, заболела. Да и возраст взял свое. В молодости я вон какой был, — старик, подняв руки, изобразил великана, — а теперь какой... изнашивается человек — это уж точно... С этими словами он вопросительно посмотрел на Айдара.

Айдар молчал.

— Про тебя мы все тут вспоминали, — продолжал Маулыт. — Говорят, ты богатый? Большую должность занимаешь? — он опять вопросительно посмотрел на спутника.

Айдар улыбнулся, но ничего не сказал, а сам подумал: «Не успел еще сам толком разобраться со своим положением, а тут уже все знают».

Старик, слегка обижаясь на неразговорчивость Айдара, проговорил себе под нос:

— Ты родственников не забывай. Родственники всегда пригодятся. — Потом опять вопросительно поглядел на Айдара и спросил: — У тебя дети есть?

— Еще нет, — недовольным голосом ответил Айдар.

— Давно пора иметь детей. Ты же немолодой человек. Вот у меня уже и внуки есть. А почему нет?

— Я не женат. И не до детей было! — резко сказал Айдар, чтобы прекратить расспросы.

— Мне от тебя ничего не надо. Родственник о родственнике должен же знать, — осторожно проговорил Маулыт и замолк.

Снова он заговорил перед самым кладбищем:

— У меня внучка Эмина так здорово рисует!

— М-м, да, — отрешенно произнес Айдар.

— Ты зайди к нам, посмотри. Может, ей в институт надо поступить?

У него с языка чуть не сорвалось: «Еще чего не хватало!» — но он промолчал.

Возле ворот кладбища, чтобы прочитать молитву, Маулыт расставил у груди ладони. Взглядом попросил Айдара сделать то же самое. Айдар послушно расставил ладони и по примеру старика после окончания молитвы погладил ладонями свое лицо.

Могила матери была, как и предполагал Айдар, рядом с отцовой. Перед ней старик Маулыт опять повторил

ритуал с молитвой. Айдар застыл, глядя на два холмика: один отцовский — почти сравнявшийся с землей, покрытый густой травой, другой — материн — свеженасыпанный. На отцовском стояла вертикальная плита с полумесяцем, на которой было выбито имя человека, давшего ему жизнь. На душе у Айдара было пасмурно, тяжело, под стать серому, с низким облачным небом дню. Вот и все: ни отца, ни матери нет больше, ничто их теперь не тревожит, не мучает, даже судьба сына, за которого при жизни изболелись их сердца и который за все эти годы ни разу не дал о себе знать. Каково было матери — каждый день ожидание, каждый день неизвестность: что с ее Айдаром, как он там среди чужих?

Он вспоминал детство, мать, старших сестер. Пршлое виделось ему как бы в другой жизни, будто это жил кто-то другой, а не он. Он удивился тому, что мало знал о своей матери. В памяти осталось всего несколько эпизодов. Вот она стоит у печи, катает тесто, заглядывает в казан, ставит детям еду на маленький столик-сыпыра, вот она во дворе кормит кур и уток, а вот она в огороде полет картофель... «Нельзя же быть настолько черствым», — осуждал он себя за то, что не может вспомнить лучшие моменты, связанные с матерью. Ведь он не был обделен материнской любовью. Знал, что его она любила больше, чем сестер. «Почему так?» — удивлялся он и не находил ответа.

Обиду матери он понимал, только обида эта не трогала его душу, поэтому он отогнал от себя все эти вопросы.

«Возраст, заболела», — успокоил он себя, повторяя слова старика Маульта.

Вернувшись с кладбища, Айдар молча посидел с родственниками. На расспросы отвечал нехотя, давая понять, что ему ни с кем не хочется разговаривать. Даже сестры толком не смогли с ним поговорить. В доме ночевало много людей, так что он спал, сидя на деревянном топчане, хотя ему предлагали кровать и даже отдельную комнату. Утром он проснулся рано и, когда началось оживание в женской половине дома, вызвал к себе старшую сестру. Сказал ей, что ему надо возвращаться, сунул ей две сотни рублей на поминальные расходы... От них сестра, конечно, отказывалась. И он покинул родной дом, похоже, навсегда...

О чем говорить? Что объяснять? У каждого своя жизнь. Если я не хочу, чтобы вмешивались в мою жизнь, почему я должен вмешиваться в их? Такое объяснение поведения с родными он нашел для себя. Зачем эти церемонии, дежурные слова, неискренние пожелания и приветствия? С такими мыслями он сел в рейсовый автобус, который шел в город.

Дома, в мастерской, Айдар вяло кинул сумку с этюдником на диван, огляделся в надежде, что придет облегчение. Но легче не стало. Наоборот, чувство бесприютности и одиночества только усилилось — зачем все это, картины, живопись? Кому это нужно? Сестрам? Матери? Подумав о ней, Айдар протяжно, со всхлипом вздохнул.

Вот и не осталось в целом мире ни одного близкого человека — отца с матерью нет, а для аульской родни он чужой.

Затуманенный взгляд Айдара, скользивший по знакомой до последнего пятнышка стене, уперся в портрет Алиме. Она пристально и немного насмешливо смотрела на него, будто спрашивая: что, тяжело, и нет близкого человека, который мог бы помочь, который понял бы, утешил? А я? Забыл про меня?

Айдар опустил глаза. Постоял, напряженно глядя в пол, и, так и не подняв головы, в раздумье медленно вышел из мастерской.

В крохотной приемной Алиме секретарша попросила Айдара подождать, — Алиме Юсуфовна занята! — и он безропотно опустился на стул. Сгорбился, безвольно уронив меж колен руки. И сидел так, пока из кабинета не прошествовал кто-то тучный, важный. Айдар поднял на него глаза и увидел через дверной проем Алиме. Она тоже увидела его. Порывисто дернулась, словно собираясь вскочить из-за стола, но удержала себя.

— Товарищ Карамов, войдите! — пригласила требовательно, а когда он, плотно прикрыв за собой дверь, приблизился, взгляделась в его глаза и спросила: — Что с тобой? На тебе лица нет. Почему не сообщил, что вернулся?

— Алиме, выходи за меня замуж, — глухо, но отчетливо сказал Айдар.

— Что-о-о? — глаза у нее округлились, рот в изумле-

нии приоткрылся. Но она тут же овладела собой. — Не говори глупостей! Я с тобой о деле, а ты... Есть очень важный, ответственный заказ: нужно скопировать картину Налбандяна о Леониде Ильиче Брежневе. Для обкома.

— Очень прошу, будь моей женой, — тем же тоном попросил Айдар.

Алиме, раздувая ноздри, исподлобья изучала его настороженным взглядом. Натянуто и криво улыбнулась.

— Это что, шутка? Или ты на самом деле всерьез делаешь мне предложение?.. Я же сказала тебе, — выговорила с усилием, — что ты не можешь быть надежным спутником жизни.

— Я буду надежным спутником жизни, — безжизненным голосом заверил Айдар, и Алиме встревожилась:

— Что с тобой? Ты не такой, как обычно, не похож на себя... Садись! — мотнула головой на стул сбоку от стола. — Расскажи, как там родные.

Лицо Айдара брезгливо скривилось. — Причем тут родственники? Я о нас с тобой... Покорно сел, куда она указала, и, глядя в сторону, с усилием, паузами, с трудом подбирая слова, рассказал о том, как ездил в аул, как потрясла смерть матери, о чем думал около ее могилы и во время ужина с родственниками.

— ... теперь в целом мире у меня нет ни одного близкого и родного человека, — закончил устало. — Кроме тебя.

Алиме, поставив локти на стол и положив подбородок на сцепленные пальцы, серьезно смотрела на Айдара. Когда он смолк, шевельнулась. Расцепила пальцы, вздохнула неглубоко. Подровняла перед собой бумаги.

— Мне надо все хорошо обдумать, взвесить, — сказала сухо. — Встретимся после работы. Договорились? Или у тебя какие-то планы на вечер?

— Какие у меня могут быть планы? — вставая, кисло улыбнулся Айдар и пожал плечами. — Нет у меня никаких планов.

— Тогда зайди пока в Союз, — деловито предложила Алиме, — и посмотри эталонную копию картины, с которой будешь срисовывать. Ее нам долго держать не разрешат: повезут по другим областям для тиражирования. Так что, чем скорей приступишь, тем лучше.

Айдар, взявшийся уже за ручку двери, молча выслушал, кивнул: хорошо, дескать, зайду.

Но в Союз художников он не пошел. Вернулся в мастерскую и завалился спать. А около пяти часов снова отправился к исполкому, снова топтался у подъезда, не решаясь подняться в отдел культуры — вдруг Алиме резко откажет? А так... — все-таки есть еще какая-то надежда.

Алиме не задержалась, вышла в обычное время, ни минутой раньше, ни минутой позже. И сразу, ничуть, видимо, не сомневаясь, что Айдар уже поджидает, направилась к нему.

— Ну, видел картину Налбандяна? — взяв под руку и подстраиваясь под его шаг, спросила нетерпеливо. — Будешь делать копию? Заплатят по высшему, к тому же двойному, тарифу. Я специально узнавала.

— Да нарисую я вам и этого Ильича, нарисую, — поморщившись, пообещал Айдар. И обиженно засопел.

Алиме поняла, чего он ждет. Пошла медленней, потом и вовсе остановилась. Не глядя на Айдара, сказала отрывисто:

— Я согласна. — Откашлялась, прочищая горло. — Согласна стать твоей женой. — Помолчала. — Мы будем хорошая, дружная, всем на зависть семья, обещаю это. У нас будет все как у людей, — сказала серьезно, и на миг плотно прижалась к Айдару. — Одного боюсь... твоих выпивок. Боюсь, что тебя потянет к прежней, холостяцкой разгульной жизни. Если это случится, — выдернула ладонь из-под его локтя и, круто повернувшись, встала перед Айдаром, колюче посмотрела в глаза, — я уйду от тебя. Уйду сразу же, после первого твоего загула, так и знай! — Изучающее вглядевшись в лицо будущего мужа и, видимо, удовлетворенная его выражением, опять пристроилась рядом. — И еще одно меня тревожит, — призналась со вздохом, — как бы твое прошлое не сказалось на здоровье наших детей. Медицина считает — я интересовалась, — от пьющих рождаются с отклонениями...

— Так это же от пьющих, — перебил Айдар, подавляя раздражение из-за того, что она даже в такой момент сочла нужным подчеркнуть, будто считает его чуть ли не алкоголиком. — Я-то пить не буду.

Алиме в ответ лишь опять вздохнула.

И снова они до глубокой ночи гуляли по городу — к себе Алиме не пригласила, и Айдар не намекнул, что хотел бы к ней. Правда, он пригласил к себе, но когда Алиме отказалась, не стал настаивать: понимал, что их отношения стали другими, и теперь, если останутся наедине в четырех стенах, надо будет вести себя так, чтобы видно было — он без ума от любимой женщины, хочет обладать ею. Но чувственного желания Айдар, удивляясь себе, сейчас не испытывал, а делать вид, будто еле сдерживает страсть, не хотел — Алиме могла догадаться о его неискренности.

Углубившись в себя, пытаюсь разобраться в чувствах, недоумевая, что не испытал ничего — ни восторга, ни даже облегчения, когда Алиме согласилась стать его женой, — Айдар почти не прислушивался к тому, о чем говорила она. А она строила планы на будущее: выбьет в исполкоме приличную просторную квартиру, чтоб муж мог работать и дома; организует самые интересные выгодные заказы и через свой отдел культуры и через худфонд, чтобы не дрожать над каждой копеечкой, когда понадобится купить то, что необходимо, чтобы жить пристойно, как и подобает семье известного художника.

Расстались у дома Алиме. Айдар чопорно, целомудренно поцеловал свою будущую жену и на всякий случай — вдруг она хочет? — шепнул ей на ушко: может, поднимемся к тебе? Но Алиме, поглядела жалобно и умоляюще сказала: не надо, Айдар, потом как-нибудь, в другой раз, хорошо? Он, делая вид, будто очень огорчен, согласился с подчеркнутым смирением: что ж, отныне твое слово — закон, потом так потом.

На следующий день они подали заявление в ЗАГС.

Те два месяца, которые предусмотрены законом до регистрации, почти ничего не изменили в жизни Айдара: днем он остервенело, чтобы побыстрее отмучиться, копировал картину Налбандяна, изображающую сусально-благостного и мудрого Брежнева среди защитников Малой Земли, а к концу рабочего дня тщательно побрившись, безукоризненно одетый, всегда с цветами, шел к Алиме: шел на свидание с невестой. Спиртного в рот не брал ни капли: и некогда было, да и не хотелось. В квартире Алиме — по какому-то странному молчаливому со-

глашению с ней — за все это время не был ни разу. Она же приходила к нему в мастерскую каждую субботу и воскресенье: стараясь не шуметь, не отвлекать, делала уборку, готовила на двоих обед, а потом и ужин. Приготовив, тихонько сидела на диване с вязаньем в руках, посматривая то на свой портрет, который так и стоял на мольберте в сторонке, то наблюдая за работой Айдара. Сначала это его сковывало, но потом он привык к молчаливому присутствию невесты за спиной и не обращал внимания.

В первый ее субботний утренний визит обрадованный Айдар, без притворства пылко обнимая будущую супругу, попытался увлечь ее на диван, но Алиме посмотрела так недоуменно-осуждающе, что не только руки — все опустилось. На ночь она ни в тот раз, ни потом не осталась, и Айдар не удерживал: понял, что уговаривать бесполезно. Провожал ее, целовал у подъезда в щеку и возвращался к себе. Ложился спать, курил в темноте, опять и опять думая о себе, об Алиме, о своей будущей женитьбе, о новой жизни, которая начнется скоро. И не представляя эту жизнь, каждый раз приходил к одному и тому же выводу: хуже не будет! Во всяком случае, Алиме избавит от бытовых забот — как только она начала приходить в мастерскую, здесь стало чище, кисти, краски и растворители всегда были под рукой, рубашки были всегда свежие, брюки отутюжены, обувь вычищена. «Что-что, а привносить в жизнь покой, устойчивость и надежность Алиме умеет, и это — главное!» — засыпая, подводил итог размышлениям Айдар.

Копию налбандяновской картины он закончил быстро, месяца за полтора. И опять собралась комиссия, в расширенном, правда, составе, потому что заказчиком был обком и принимали картину в Союзе художников, куда ее накануне перевезли, — наверно, сочли, что обкомовским руководителям не пристало ехать к художнику в какой-то подвал.

Работу одобрили: единственным критерием было — похожа или не похожа картина Карамова на ту, с которой срисовывал? Дружно решили: похожа, очень похожа! Как две капли воды!

Банкета, даже такого скромного, когда Айдар сдавал полотно с Лениным и горцами, в этот раз не было:

Алиме не осмелилась организовать его в Союзе, а посоветовать Айдару пригласить членов комиссии в мастерскую или в ресторан не решилась — в мастерской убого, а в ресторане, даже если устроить застолье в отдельном, банкетном зале, всегда есть посторонние глаза: метрдотель, официанты и другая обслуга. Чего доброго, пойдут по городу, обрастая нелепыми домыслами, разговоры, сплетни, слухи. Да и с охраной что в мастерской, что в ресторане, сложно.

Несмотря на то, что обошлось без угощения, члены комиссии отнеслись к Айдару тепло: поздравили с новой творческой победой, пожелали еще больших успехов во славу советского искусства.

А второй секретарь обкома, возглавлявший комиссию, даже попросил Айдара сделать копию портрета Леонида Ильича работы товарища Глазунова. Айдар, похолодев, — опять заказная работа?! опять копия?! — благодарно заулыбался: спасибо, дескать, что так высоко цените мои скромные способности, я бы с радостью сделал для вас, коль доверяете, только вот ... с чего писать? Оригинал-то в Москве. Пустяки, отмахнулся второй секретарь, сделаете, мол, с репродукции. У меня, сказал, есть из «Огонька». С вашим талантом, — польстил, — получится даже лучше, чем у самого Глазунова. И пообещал завтра же прислать своего референта с этой репродукцией. Айдару взвыть захотелось от просьбы-приказа партийного руководителя, но он лишь еще шире заулыбался, показывая, что очень доволен, польщен, и пообещал оправдать столь высокое доверие партии.

Алиме была счастлива. Удрученный Айдар, слушая ее восторги — такая удача! такой человек благоволит к тебе! теперь в нашей жизни все пойдет, как по маслу! — мрачнел все больше и больше. И заявил тоном, не допускающим возражений, что раз уж не удалось угостить других, надо самим, вдвоем отметить этот подарок судьбы, а то она, эта самая судьба, обидится и не будет больше благосклонна.

Алиме поджала было недовольно губы, но противоречить не стала: может, догадалась, что творится в душе Айдара, а может, и впрямь не посмела искушать удачу.

В этот вечер Айдар напился до беспамятства.

Утром, благо была суббота, Алиме — уходила она домой или нет, Айдар не помнил, — не осуждала, а терпеливо и сострадательно отпаивала его чаем и горячим молоком.

А к полудню, когда Айдар окончательно пришел в себя, заявился поджарый, как борзая, щеголеватый референт секретаря обкома

Без интереса взглянул на Айдара, на Алиме. Достал из портфеля кожаную красную папку с вложенной в нее сиротливо одинокой репродукцией из «Огонька» и торжественно, точно награду, вручил ее Айдару.

— Сделайте таких вот размеров, — распорядился начальственным тоном, показав на портрет Алиме.

Попросил подписать отпечатанную на глянцевой финской бумаге «Расписку о получении художником А. Карамовым изобразительного материала в количестве одного экземпляра (репродукция портрета товарища Брежнева работы И. С. Глазунова)». Спрятал расписку в папку и, холодно попрощавшись, удалился.

Чтобы не впасть от злости в запой, Айдар под одобрительными взглядами Алиме, суетливо бросившейся помогать, сразу же начал сколачивать подрамник, натягивать холст, грунтовать его.

А на следующее утро, как только примчалась, еще до света, Алиме, принялся за дело.

Сначала клопоча от возмущения, от отвращения к себе — «Слизняк, снова не проявил характер, снова взялся за халтуру!», — а потом механически, с тупым равнодушием, переносил Айдар на холст до самого дня регистрации брака глазуновский портрет Брежнева.

Свадьбу сыграли скромную. Да по сути, и не было никакой свадьбы: расписались в ЗАГСе — свидетельницей Алиме была ее секретарша, свидетелем Айдара какой-то представительный и унылый сотрудник отдела культуры. Алиме даже не поставила в известность своих родственников. Родителей она лишилась давно, а единственный ее дядя жил где-то на Севере. Вместе со свидетелями посидели в ресторане и засветло разошлись по домам.

На следующий день Алиме и Айдар вдвоем отправились в Кисловодск, сняли номер в гостинице. Хотя и собирались прожить там несколько дней, пробыли всего сутки и вернулись домой.

— Айдар, зачем нам эта праздность? Давай вернемся, — предложила Алиме.

— Как скажешь, милая, — одобрительно ответил Айдар.

Так началась его семейная жизнь. Айдар очень старался, чтобы эта жизнь сложилась. Он потакал супруге, безупречно выполнял ее советы и указания. И все устраивалось неплохо, благодаря позиции Айдара. Однако жизнь сама выносила свои требования.

Первый год Алиме не решалась рожать, через год забеременела и родила мальчика. Мальчик, как она и опасалась, родился хилым и болезненным, врач определил шумы в сердце. Алиме сильно переживала за ребенка и постоянно говорила Айдару о том, что это заболевание — последствие его прежней жизни. Кроме того, малыш, когда ему исполнился год, упал с кровати и стал заикаться. Когда возникали споры, она в отчаянии выговаривала мужу:

— Знала же дура, что от пьющего нельзя рожать, нет же, родила калеку на свою голову!

Она почти убедила в этом Айдара, он чувствовал свою вину перед сыном и всячески старался искупить ее. Старался уделять время воспитанию, возил сына к известным врачам, ездил с ним по санаториям, хотя общественное положение его резко изменилось. За сравнительно короткое время Айдар приобрел в городе авторитет. Выглядеть стал солидно, даже представителью. Ходил размеренным твердым шагом, с людьми был немногословен, глядел насупленно. Прежние знакомые боялись к нему подступиться. Жена одевала его со вкусом. На людях он всегда был в строгом костюме, при галстуке, в свежей, тщательно отглаженной сорочке, всегда чисто выбритый, серебристая седина на висках придавала ему еще больше благородства. Во всем его облике стало просматриваться благополучие и высокомерие.

Семейная жизнь затянула его. Он приучил себя вставать рано, регулярно делал зарядку, пока жена приводила себя в порядок, занимался утренним туалетом, бегал в магазин за продуктами, затем вместе с женой кормил сына, завтракал сам и отводил ребенка в садик, а по вечерам забирал его оттуда. Жена шла на работу, и он тоже занимался делом, выполнял оформительские заказы, за

которые получал большие деньги. Хотя в былые времена таких денег он и в глаза не видывал, их недостаток ощущался и сейчас. Потребности росли — это было закономерно. Жена незаметно приучила его к роскоши, они начали обзаводиться богатой обстановкой, покупали ковры, хрустальные люстры, дорогую радиоаппаратуру, подписные издания, копили на дачу и на машину. Лишь в поездках, оторвавшись от дома, он оглядывал со стороны свою жизнь и начинал сокрушаться, что забросил творчество и чем дальше, тем больше погрязает в мещанстве. Но вернувшись домой, не в силах был что-то изменить. Чувство вины перед сыном, который к семи годам вылечился от заиканья, у него прошло. Нотации Алимэ брали верх, а она убеждала, что единственная цель в жизни — это жить ради семьи, ради ребенка, и что главное — это достаток. В пример ставились знакомые, у которых были двухэтажные дома, машины, дорогие меха и т. д. Погоне за благополучием не было видно конца. Айдар обзавелся дачей, у него были деньги на автомашину. Но покупать ее он не стал: боялся рисковать жизнью, да и заботы, связанные с машиной, пугали. И все же в глубине души погоню за все большим достатком он считал совершенно неразумным занятием. Но не мог убедить в своей правоте жену, которая всю себя посвящала этому.

Дома он почти не брал в рот спиртного, лишь в командировках или в поездках распивал с кем-нибудь из знакомых бутылку коньяка, а захмелев, искал уединения и долго размышлял о жизни. Случалось, что на него находило озарение, он начинал осуждать себя, винить за безволие, за малодушие.

Была у него в жизни и такая поездка.

Когда сын пошел в школу, ему удалось одному вырваться на побережье Черного моря на дачи Союза художников. До этого он ездил на побережье с семьей. Познакомившись с художниками, посмотрев их работы, он ясно увидел, что совсем отошел от творчества. А ведь мог бы работать как они, мог создавать картины, если не лучше, то и не хуже, чем его коллеги. Он следил за их горячими спорами о живописи, смотрел, как увлеченно они работают, и от души позавидовал им. Настроение у него упало в самые первые дни, стало обидно за себя, всели-

лось какое-то беспросветное разочарование, появилось отчаяние и безысходность от того, что он теперь не может повернуть свою жизнь в нужное русло. И он запил. Посылал за водкой местного плотника и две недели не выходил из предоставленного ему для работы помещения. Из запоя его вытащил молодой художник из Туркмении, который искал с ним дружбы с первых дней после приезда; на дачах они двое были нерусскими и на этой почве быстро нашли общий язык. Алланазар, так звали художника, несколько дней подряд заходил к нему, учтиво пытался образумить, упрашивал не пить, но видя, что это не действует, однажды принес билеты на шестидневную морскую экскурсию на теплоходе. Сперва Айдар не соглашался, намеревался по-прежнему лежать в кровати и заниматься самоистязанием, но когда к нему стала заходить администраторша и грозить выселением, он откликнулся на предложение Алланазара. Поездка по морю чуть отвлекла от непрерывного пьянства. Приятель хотел привлечь его к активному отдыху. Сам он увлекся одной молодой пассажиркой и целыми днями пропадал с ней, хотел познакомить и Айдара, но тот отказался. Айдар не появлялся на мероприятиях, которые организовывались для экскурсантов. Он сторонился людей, ходил в одиночестве по палубе, сидел один на скамье. Немолодые женщины обращали на него внимание, разглядывали его белый костюм, бросали игривые взгляды. Айдар холодно смотрел мимо, ясно давая понять, что ему не до них. Не было душевных сил, недовольство собой не проходило. Приятель следил за Айдаром, чтобы тот на теплоходе не пил. Он же, в отсутствие соседа, незаметно пробирался в бар, переплачивая, брал коньяк в кофейнике и до ужина или до обеда сидел, делая вид, что попивает кофе, а на самом деле, смакуя каждый глоток, пил крепкий напиток. В баре ему нравилось, здесь он сидел ни о чем не думая, получая наслаждение от того, что, как ему казалось, он единственный в мире понимал: все в мире суeta суeta. Он безразлично смотрел в открытое окно на бескрайнюю синеву воды, на белые гребни волн вокруг быстро идущего теплохода, глядел на неугомонных чаек, преследующих судно, и покуривал сигарету за сигаретой. В один из вечеров товарищ пошел посмотреть с отдыхающими кино, а он поднялся в бар; сделав заказ,

взял кофейник с коньяком и сел за свой столик. В зале под светомузыку танцевало несколько молодых пар. Видно было, что они пришли сюда из-за танцев: к чашкам кофе, поставленным на столе неподалеку, они почти не притрагивались, зато танцевали под все мелодии подряд. Красные, зеленые, синие круги, вспыхивая, освещали их извивающиеся фигуры. Тела танцующих отражались в высоких, на всю стену, зеркалах, от чего казалось, что в помещении танцует много людей. Когда заканчивалась магнитофонная запись, в зале сразу вспыхивал обыкновенный яркий свет.

Среди танцующих он видел и свое отражение. И даже не одно, а несколько. Он смотрел в зеркала и в разных частях бара находил отражение человека в светлом костюме с изможденным лицом. Он забавлялся световым эффектом. Иногда вскидывал руку, как бы для приветствия себя самого, или же мотал головой, несколько раз осторожно привстал, чтобы видеть себя лучше. Спереди, слева и справа отражение отвечало ему его же движениями. «Как много развелось Карамовых, и все будто совсем чужие люди», — ухмылялся он про себя, допивая коньяк.

Когда в очередной раз вспыхнул яркий свет, он поднял голову и замер, увидев отражение в зеркале. Он увидел Ее, ту, которую видел в давнюю зиму на трамвайной остановке в столице. С тех пор прошло более десяти лет. Но она была как и тогда молода, гладкое смуглое лицо, раскосые глаза были те же, черные волосы ее были коротко острижены, челка спадала на бок. На ней было белое выше колен платье, она в задумчивости размышляла, зайти или не зайти в бар. Он не решился повернуть голову. Не совсем был уверен, что это именно она, вглядываясь в знакомое лицо, будоражил в душе давнее воспоминание и угадывал поразившие его тогда брови, разбегающиеся волнистой черной линией, пушистые ресницы, уголки выступающих вперед скул и запавшие глубоко в сердце чувственные губы. Он твердо уверился, что эта та самая девушка, которую он всего-то с минуту лицезрел в заледенелом окне. Потерев виски, он в раздумье оглянулся к выходу, но там уже никого не было. Предчувствие, что может не увидеть ее, холодной волной пробежало по всему телу, он встал и прошел к выходу, под-

нялся по лестнице, лихорадочно обошел все проходы, заглянул на палубу, но девушки в белом платье нигде не было. Он даже хотел постучать во все каюты, но удержался и успокоил себя тем, что если девушка на теплоходе, то он ее обязательно встретит.

На следующий день он исходил весь теплоход, побывал на всех развлекательных мероприятиях, несколько раз поднимался в бар, весь вечер простоял на палубе, но девушка как сквозь землю провалилась.

Еще через день, когда теплоход сделал короткую остановку на одной небольшой черноморской пристани, он вышел из каюты. Прозвучал гудок, извещающий об отплытии. Опершись о перила палубы, он, как и другие пассажиры, стал смотреть на берег. На пристани стояли сошедшие с теплохода люди и махали руками отплывающим. Вдруг среди стоящих на берегу он увидел ее в том же белом платье, на плече у нее висела сумка. Она свободной рукой поправляла челку и с унылым видом смотрела в сторону теплохода. Он отпрянул от перил, быстро стал соображать, что тут можно предпринять, но ничего путного в голову не приходило. Теплоход отходил от берега, с каждой секундой расстояние все более и более увеличивалось, и он, как и другие пассажиры, замахал рукой. Худенькая фигура девушки застыла в той же позе, и, конечно, она не могла угадать, что его движения относятся к ней...

* * *

Прошло еще несколько лет. Сын ходил в школу, жена работала на прежнем месте. Айдар все больше отдалялся от семьи, но внешне ничем не выдавал этого, хотя супруга чувствовала его отношение и упрекала его. Больше всего она опасалась, что он завел любовницу, и прилагала немало усилий для разоблачения. Последние годы он все чаще и чаще оставался ночевать в мастерской, куда Алиме врывалась даже ночью с мыслью, что там застанет его с женщиной или увидит следы разгула. Она даже разочаровывалась, когда видела, как он спокойно лежит один на кушетке. То, что он, не обращая внимания на ее раздражение, читает книгу или разглядывает репродук-

ции известных художников, выводило ее из себя. Иногда она назло почевала с ним в мастерской и на протяжении долгого времени выговаривала ему за его эгоизм и бессердечие. Он старался ее успокоить, настойчиво убеждал, что она преувеличивает и что он в мыслях всегда с ней и с сыном.

— Мысли твои далеко, далеко. Я это чувствую. Ты ждешь момента, и как подвернется удобный случай, оставишь нас. Ты эгоист, думаешь только о себе!.. — каждый раз выговаривала Алимe ему.

Он не хотел объяснять ей, что жаждет остаться наедине с собой, что действительно хочет перемен в жизни. Он чувствовал, что такое объяснение тоже могло послужить поводом для придирок и обид. Да и вообще он старался, чтобы с его стороны не было ничего предосудительного, успокаивал себя тем, что ничего плохого в жизни у него не произошло. Хотя поводов для ревности он не давал, связи с женщинами возникали. Возможно, именно постоянная ревность супруги подталкивала его к этому. Он притягивал внимание женщин, но сам был не охотник до знакомств, не умел чем-то привлекать их и поэтому особо не домогался. Связи эти возникали как-то сами по себе, точнее, чаще по инициативе женщин. Связь с Разией, молодой преподавательницей художественно-графического факультета в педагогическом институте, куда его приглашали на прием экзаменов, тоже возникла сама по себе. После одной из вечеринок Разия зашла к нему в мастерскую. А после, когда он появлялся в институте и они встречались в преподавательской или в коридоре, ему было достаточно пристально поглядеть в ее серые глаза, как она сразу отвечала нежным взглядом и, наклоняясь к нему, заговорщическим тоном спрашивала:

— Будешь вечером у себя?

— Буду, — улыбался он.

— Ну, я найду, — и она старалась больше не задерживаться возле него, уверенно постукивая высокими каблучками, уходила. А вечером, как бы невзначай, заходила к нему в мастерскую. Сидела, выпивала рюмку, другую, потом, как спортсменка, знающая свое дело и регламент, вставала из-за стола и увлекала его в постель. Он даже удивлялся ее хладнокровию и рациональности. Обычно

это он не церемонился с женщинами. Разия, после ласк, понежившись некоторое время в постели, шептала ему на ухо:

— Ну, милый, разбежались!

Муж Разии был на заработках где-то на Севере. Дома она жила с ребенком и свекровью, которой очень боялась.

— Если свекруха заподозрит неладное, то Саид, мой муж, точно узнает. А он узнает — тогда секир-башка, — говорила она и проводила указательным пальцем по горлу, затем вздыхала. — И никогда ты не увидишь свою прекрасную Разию! — Она отклоняла предложения проводить и, несмотря на позднее время, торопилась домой.

Айдар с любопытством наблюдал, как она спокойно, с невинным выражением лица одевается и приводит себя в порядок. Четкость ее действий вызывала у него улыбку.

— Уношу поги. Не выходи, а то кто-нибудь заметит, больше паники, чем дела, — она целовала его в щеку и захлопывала за собой дверь.

Связь их так и осталась в тайне, кроме вахтеров и дворника, никто и не мог заподозрить их.

Более продолжительной и стабильной была его связь с Марианной, актрисой драматического театра. На нее он обратил внимание, когда оформлял в театре декорации для спектакля. Круглолицая, с маслянистыми черными глазами, округлыми телесами, она ходила мелкими шажками, будоража воображение мужчин своими ровными длинными ногами. Он искал с ней встреч и настойчиво добивался ее, наконец добился своего, пригласив на загородную дачу, где располагалась мастерская знакомого художника. Роман с Марианной мог зайти далеко. Она клялась в любви, особо подчеркивала гармонию их близости и возмущалась тем, что Алиме не по праву владеет им. Как и с Разией, они встречались тайно. Понятно, почему он всячески скрывал от людских глаз эту связь, но и Марианна тоже очень боялась огласки. Хотя, когда он чересчур наскрывался, конспирировался, она начинала требовать, чтобы они объявили о своих отношениях и поставили его жену перед фактом. Когда во время встреч беспокоили звонки, они не подходили ни к телефону, ни к дверям. Марианна боялась

своей родни, особенно брата, который якобы берег ее честь. Как-то раз Айдар остался у нее ночевать, и далеко за полночь его разбудили телефонные звонки. Проснувшаяся Марианна опасливо смотрела на телефон, не подходила сама и безмолвно требовала этого от него. Но через некоторое время раздались звонки в дверь, а после и громкий стук, сопровождавшийся руганью в адрес Марианны. Айдар сразу понял, что это никакой ни брат, несмотря на предостережения, отбросил в сторону хозяйку квартиры, надел брюки и пошел открывать. Перед дверью стоял изрядно подвыпивший и очень знакомый человек. Увидев Айдара, мужчина захохотал и полез обниматься. Айдар резко оттолкнул пьяного от себя.

— Как в троллейбусе, кто первым зашел — тот и занял место. А мы с тобой, дорогой художник, как-нибудь потеснимся, — сказал он, оттолкнул Айдара и прошел в комнату.

Увидев, как Марианна надевает платье, мужчина захохотал еще пуще и, тыкая в ее сторону пальцем, нагибаясь к полу, воскликнул:

— Стерва! Еще не успело мое место в постели остыть, а ты уже с художником!

Айдар вскипел и кинулся на него с кулаками. Двумя ударами сбил незваного гостя с ног. Тот, протягивая руки к хозяйке, завыл от обиды:

— Марианна, любимая, спаси!

— Пошел прочь, какая я тебе любимая! — истерично закричала женщина.

— Ах, так, — произнес мужчина и, вытирая лицо платком, колючим взглядом посмотрел на Айдара.

Айдар сразу вспомнил его. Это был тот самый референт секретаря обкома, приносивший ему репродукцию портрета Брежнева работы Ильи Глазунова.

— Узнал?!.. Да! Он самый! Игорь Ахметович Султанов — помощник Темирова.

— Узнать узнал, но твое имя для меня мало что значит, — проговорил Айдар, твердо отвечая на прищуренный взгляд желтых зрачков.

Султанов презрительно посмотрел на Марианну:

— От нее я чего угодно ожидал. Но чтоб с тобой...

только не с тобой, — процедил он сквозь зубы и покачал головой.

— Заткнись! — пробурчал Айдар.

— Не кипятись! Ты от меня еще и не такое услышишь. Тебе, наверное, жена не рассказывала ничего. А мы ее хорошо знаем, очень хорошо...

— А вот это очень интересно! — воскликнула Марианна.

— Для тебя, стерва, ничего необычного, а вот для него ... да! — Султанов ткнул пальцем а Айдара.

Айдар хотел наброситься на него, но, услышав, что речь идет об Алиме, весь подобрался.

— А ты сам спроси у своей Алиме Юсуфовны! Спроси! Тогда ей лет двадцать было.

— Ну, и что же было?! — с угрозой спросил Айдар.

— Ты не угрожай! Я не боюсь. Таких, как ты, да и похлеще, я много перевидал.

— Ты ближе к делу. Мне очень интересно про Алиме Юсуфовну узнать! — с улыбочкой произнесла Марианна.

— Приехал к нам из ЦК КПСС проверяющий. А вот фамилию не скажу, это равносильно измене родины. Допустим, Павел Павлович. На самом деле его не так звали. А приезжал он и раньше. Мы ему в загородном доме первого секретаря банкет закатывали, а на десерт бабу предоставляли. Так вот, в тот раз Галка из облсовпрофа, постоянная подстава, взяла на банкет свою сотрудницу, тогда молодую Алиме Юсуфовну. Гужевались, гужевались, а когда время подошло, Павел Павлович от Галки нос воротит и все, «Альку подавайте» — требует. Ну, Галка и завела в номер Альку, оставила с ним наедине и ушла. Правда, визгу было, скандал несусветный. Алька в суд хотела подать, заявление написала. Еле-еле отговорили. А потом в партию приняли, по работе в рост пошла, сам первый курировал.

— Вот так, Айдар! — злорадствовала Марианна. — Вот как она у тебя выдвинулась. А честные женщины в театре прозябают.

Айдар не обратил внимание на злорадство хозяйки, резко встал и схватил Султанова за ворот:

— Ты зачем мне это рассказал?!

— Чтоб ты знал, художник! — выворачиваясь из его рук, проговорил референт.

— Знаю! И что?! — Айдар отпустил ворот, но схватил двумя пальцами за крючкообразный нос.

Референт взвыл от боли, но Айдар пальцы не разжимал.

— Пошли вон отсюда! Оба! — заорала Марианна...

Услышанное потрясло Айдара. За все время совместной жизни с Алиме он несколько раз заговаривал с женой на эту щекотливую тему. Она уклонялась от ответа на вопрос, кто у нее был первый мужчина. Как-то раз сказала, что подонка, сотворившего бесчестье, нет в живых. После этого Айдар не расспрашивал ее. Он прекрасно понимал, что любой ответ мог быть неутешительным. Женеясь на ней, он знал, что она не девственница, но ее прошлое не было помехой для их женитьбы. В тот момент ему необходима была женщина, а Алиме устраивала его во всех отношениях.

После рассказа референта Айдар долго не решался начать разговор с женой. Если бы он услышал об этом раньше, то мог бы проявить сочувствие и понимание. Но теперь, когда у него все шло к разрыву с Алиме, печальное открытие не меняло ничего. Он мог использовать этот эпизод для нанесения ей обиды, но у него хватало разума понять, как это бесчеловечно.

Однажды ночью, после интимной близости у него вырвалось:

— Говорят, что ты в молодости переспала с аппаратчиком очень высокого ранга?

— Издеваешься, — тихо прошептала Алиме и заплакала.

— Я не хотел обидеть, — безразлично сказал он.

— Будь он проклят! Подох, туда ему и дорога... — и, плача, она рассказала историю в загородном доме. — Я написала заявление, хотела, чтобы состоялся суд. Но вместо этого меня саму арестовали. Держали в кутузке. Обвиняли черт знает в чем, даже растрату денег пришили. И свидетели объявились. Ой, что я пережила! Я ненавидела всех мужчин. Думала, что никогда не выйду замуж. В конце концов уговорили порвать заявление... Я пережила такой кошмар. Думала, никогда не оправлюсь. Ты не представляешь, что такое быть изнасилованной.

— Почему?! — удивился Айдар. — Я себя давно считаю изнасилованным...

— Насмехаешься... Тебе не понять. Ты отдаляешься от меня. Я чувствую...

* * *

Айдар оборвал связь с актрисой, которая еще пыталась наладить отношения. Он долго не мог забыть физическую близость с Марианной, его тянуло к ней, но неожиданная развязка с участием референта перечеркнула возможность их встреч. Не столько разоблачение Марианны, сколько рассказ Султанова об Алиме сильно повлиял на Айдара. Хотя он стал почти равнодушен к Алиме, эпизод с изнасилованием задел его сильно.

Когда же актриса намеренно или случайно встречалась ему на улице, он тотчас отводил в сторону взгляд и демонстративно проходил мимо.

— Я тоже как изнасилованный, — мысленно повторял он про себя, вспоминая разговор с Алиме в постели.

«Самое интересное, что в разгар связи с Марианной Алиме как будто не подозревала о его изменах, напротив, была ласковой, будто неведомо для себя подталкивала к этой связи. «Неужели для того, чтобы состоялась встреча с референтом Султановым?» — размышлял он.

После разговора с Алиме в постели Айдар обрел какое-то моральное превосходство над женой, но о той давнишней истории тактично не напоминал. Алиме была немало смущена тем, что выплыл наружу этот эпизод из ее биографии, хотя по-прежнему придиралась к мужу.

Особенно ее раздражало, когда он старался остаться наедине со своими мыслями. Она чувствовала, что он отдаляется от нее и что это может привести к разводу. Поэтому она начинала без причины закатывать ему сцены ревности. Когда она досаждала ему своими подозрениями, он очень сожалел, что у него нет настоящей любовницы. Он прекрасно понимал намерения жены и ему очень хотелось ответить на ее необоснованные нападки.

В последнее время все чаще приходила мысль оставить семью, работу, город и уехать куда-нибудь, где его никто не знает. А может, в аул, где родился. Построить там дом, жить в уединении и заниматься только творче-

ством. Но когда он развивал эту мысль, то представлял все трудности, связанные с такой переменной, и понимал, что у него не хватит решимости и воли. Поэтому он полагался на судьбу, надеялся, что придет к нему творческий настрой, который разорвет оковы быта. Порывался рисовать, но душа не работала в полную силу. Он загорался идеей создать самую лучшую картину, начинать начинал, но где-то в середине работы его настигала полная апатия по отношению к ней, будущая картина казалась обыденной, лишенной плоти, не вызывающей раздумий, восторга, не выражающей его отношения к миру, и он в отчаянье вырывал холст из подрамника и выбрасывал в мусорное ведро. Таких несостоявшихся шедевров у него было множество. Зато халтуру он продолжал писать исправно. Жена не изменяла себе, постоянно находила заказы и требовала от него безотлагательного выполнения. Видя в этом для себя нечто аморальное, он сопротивлялся, ворчал, но всегда делал свое дело. Выполнял, как последний заказ... Как-то во дворе производственной мастерской он увидел снятый со стадиона стенд, выполненный его руками. В луже лежали обесцвечившиеся листы ДВП с изображениями передовых рабочих былых лет, с силуэтом вождя, срисованным через проектор, изображения космических кораблей и неестественно мускулистых физкультурников. Листы были запачканы, изрезаны и сейчас предназначались для сожжения. Он глядел на них, и ему было жалко потраченных усилий, жалко времени, обидно за себя, что занимался никому не нужным делом. Хотя он и осознавал, что виноват сам, но легче было взвалить вину на кого-то другого, и у него проснулась ненависть к жене. «Ненасытная прорва! Ей всегда нужны были деньги», — в злобе шептали его губы.

Одну незаконченную работу он все же оставил в мастерской, не выкинул в мусорное ведро. Тогда во сне ему пришло видение: женские ноги, всего лишь стройные вытянутые ноги ниже колен. Когда весь город спал, он проснулся, озаренный, вдохновленный видением, и сразу взялся за краски. До утра он стоял с кистью в руке и пытался запечатлеть на холсте свой сон. На фоне бурозелено-синего тумана вырисовывались шагающие ноги,

как будто изваянные из белого мрамора. Необычный был сон, и картина получилась необычной, он не знал, к чему и о чем она. Утром в мастерской неожиданно появилась жена. Увидев только что нарисованную картину, она презрительно улыбнулась и сказала.

— Так я и знала!

— Что ты могла знать?! — удивился он.

— Ты сексуально озабочен!

— При чем тут это! — возмущился он.

— При том, что ты становишься ненормальным!

— Я вполне нормальный. А это всего-навсего эскиз.

— Да, ничего непонятно, можно подумать, что карикатурно, но... — она поостыла в своей придирчивости, потупив взор, обошла картину вокруг, посмотрела с разных углов, и будто оправдываясь, добавила. — В ней что-то есть.

— Ты права, в этой картине присутствует сексуальный мотив, особенно коленные чашечки, — принялся рассуждать вслух Айдар.

— Ты маньяк! Ты озабочен.... Ты б...ищешь! — неожиданно взорвалась Алиме.

Он так и не закончил эту картину и, видя, что ничего более не может сделать, повесил ее на стену. Оставаясь один в мастерской, подолгу глядел на нее и гадал, что же он хотел ей сказать, одновременно думая и о своем сне. И в один прекрасный миг пришел к выводу, что нарисовал ноги именно Ее.

Затем настала холодная зима. Со времени студенческой жизни такого холода он не помнил. Может, он и не обращал бы внимания на погоду, если бы она не усугубляла пустоту и холод в душе; ему казалось, что на землю наступает великое обледенение...

«Зачем мы на белом свете, зачем это тягостное существование?» — не раз задавался он этим вопросом. Он стал ясно осознавать, что все его мечты и устремления легковесны, они не имеют большого смысла. Когда-то давно он жил мечтой, что нарисует нечто такое, что может остаться на века, взбудоражит человечество, а самое главное, он оставит свое имя людям. В эту же зиму в сознание проникла ошеломляющая мысль о том, что созданное им ничтожно, жизнь прожита впустую. У него по-

явились глубокие сомнения в своем таланте, он начал убеждать себя, что живопись людей не волнует. Его горький опыт подсказывал, что понимающих настоящее искусство, наслаждающихся им на свете очень мало, да и для этих немногих ценителей вполне достаточно произведений, созданных предыдущими поколениями художников. Эти мысли опустошали его, и он часто видел в воображении свою безымянную могилу, высохшие кости и пустой костяной череп; представлял, как будет парить в каком-то непонятном измерении, как станет летать его очумелый дух, не желающий никого видеть, ни с кем разговаривать и общаться. Он часто ходил в городской парк, тяжелой походкой прогуливался по аллеям между заснеженными деревьями. Ходил по хрустящему снегу, поглядывая на нависшее над черными кронами деревьев густое темно-синее, зловещее небо. Он не чувствовал ни одной души. Близких людей у него не было. Родственники ему всегда казались оставшимися в какой-то потусторонней жизни, словно ушедшие в загробный мир предки; жена, которая жила положением в обществе, ставила на первое место свою работу и престиж семьи, представлялась ему чем-то вроде робота, выполняющего заданную кем-то программу. Даже родной сын виделся ему без отрыва от всех детей планеты, просто как маленькая частичка детского населения всей планеты, никаких надежд он на него не возлагал, хотя, конечно, и зла не хотел. О других людях он не задумывался, не до них было. Его пробиравал холод, ему казалось, что весь мир покрыт хрустящим, рассыпчатым снегом, который, как и небо, виделся ему темно-синим; отвлекаясь, он представлял себя идущим среди синих снегов. Ему хотелось вспомнить что-то приятное, яркое из своей жизни, но вместо этого он видел себя одного, шагающего среди синих снегов. Холод проникал в душу и леденил сознание. Как-то во время такой прогулки по парку его сознание озарило воспоминание, как он стоял на заснеженной остановке и увидел в заледенелом трамвайном окне лицо незнакомки. На какое-то мгновение он даже растерялся: это виделось как наяву...

В последующие дни, работая в мастерской, он пытался воссоздать ее лик. Почему именно она вспомни-

лась, почему именно ее лик он хотел восстановить? Он не мог ответить на этот вопрос.

Он рисовал ее портрет углем на картоне. Сделал десятки эскизов и все порвал.

Бессмысленные и тяжелые дни томили душу. Дома он не мог открыто смотреть в лицо жены и сына. Что-то надуманное, неестественное чудилось ему в их облике. Вещи и предметы тоже потеряли смысл. Дома он мог держать в руках, например, коробок со спичками и размышлять: для чего они, почему он держит их в руках и нужно ли это делать. То, что он не находил себе места, не ускользнуло от внимания жены.

— Чего ты маешься? — нервничала она, когда он, сидя в комнате, начинал хрустеть суставами пальцев.

— Да ничего, — пожимал он плечами, а через некоторое время возвращался к прежнему занятию.

— Нет, я вижу, что ты не в своей тарелке. Уже давно, — она, морща лицо, вглядывалась в него.

— Не выдумывай! — бурчал он. Вставая, прохаживался по квартире, а после, улучив момент, уходил в мастерскую, чтобы остаться одному.

Он понимал, что живет какой-то неестественной жизнью, но не мог объяснить себе, чего хочет. «Качусь по наклонной. Несусь — сам не знаю куда. По заданному расписанию... Выпасть из него невозможно, но надо попробовать... Даже не могу загадать себе желания...»

Не было ни желания, ни мечты, и не было никакой надежды. Он удивлялся этому и в отчаянье бил себя ладонью по лбу. Это отрезвляло и пугало его, заставляло задаваться вопросом, как бы не сойти с ума. Чаще всего он откровенно бездельничал, часами лежал на кушетке, разглядывая свою единственную картину, висящую на стене. Эта картина заставляла работать его воображение. Глядя на шагающие ноги, он представлял себе ее в жизни. Он знал, что ей за тридцать, ему виделся какой-то небольшой городок, маленькая квартира, где она живет с матерью. Живет тихой замкнутой жизнью, работает на какой-то интеллектуальной работе, ходит по магазинам, бывает в кино, а чаще сидит перед телевизором; с нетерпением ждет отпуска, чтобы вырваться на побережье или в столицу. О том, что у нее есть поклонники

или муж, он думать не хотел. Она ждет чего-то от жизни, как и он. Часто он представлял ее лежащей, размышляющей, спящей, воображение уносило его в ее комнату, он подходил к кровати и нежно касался пальцами ее плеч...

«Неужели она не увидит меня во сне? Я-то ее вижу... Неужели?» — задавал он себе почти ребяческий вопрос. И, направляя все свои телепатические способности в сторону воображаемого дома, понимал, что все это искусственные, надуманные потуги... Он жаждал большой и неповторимой любви, которая помогла бы ему вырваться из тисков серого существования. Каждодневно воссоздавал образ любимой, страстно желал, чтобы этот образ преследовал его, как навязчивая идея...

Ему казалось, что этот холод, этот снег, эти вьюги никогда не прекратятся. В таком настроении он находился в день встречи с ногайцами из Астраханской области. Жена знала, что он обычно избегает общественных мероприятий, официальных приемов, но на этот раз прямо-таки настояла, чтобы он был на встрече.

— Ты обязательно приди. Жалко этих ногайцев, их пятьдесят лет в паспортах записывали татарами. Несчастные, некоторые лишь недавно узнали, кто они по национальности...

— А почему не знали? — не вникая, рассеяно спросил он, готовя у плиты яичницу. — Разве можно забыть, кто ты есть? Или забыть родителей?..

Возникла пауза. Последние вопросы Айдар задавал скорее самому себе. Алиме разрядила обстановку.

— Им в головы вдалбливали, что никаких ногайцев не существует, и насильно писали татарами. Ты не представляешь, как они были удивлены, когда услышали, что мы разговариваем, как они. Радуются, как дети!...

— А-а, — будто что-то поняв, воскликнул он. Поразмыслив, спросил: — А я что? Я-то чем могу помочь?

— Ты — профессиональный художник. Ты — гордость народа!

— Я — гордость народа?! — хмыкнул он.

— А что?! Ты мало сделал для культуры? Вон как облагородил наш город, наш быт!

— Халтура все это!

— Кто-то же должен этим заниматься! Кроме того, и наш музей немало твоих вещей закупил.

— Ты купила! И притом за народные средства.

— Давай не будем. Пусть я купила, но я считаю, что у меня есть художественный вкус...

— Тебя не переубедишь, — со значением произнес он и сел за стол есть яичницу.

На встречу они пошли вместе.

В фойе театра было много народу. Знакомые погайцы, живущие в городе, здоровались с ними. Алимe представляла гостям Айдара. Он изобразил на лице приветливую улыбку и покорно склонял голову. Гости старались задержаться возле него, начинали беседу, но он, углубившись в себя, слушал рассеянно. Чувствуя, что он не расположен к разговору, люди отходили от него. Но вот все участники встречи, приезжие и местные, прошли в зал, стали рассаживаться. Столы, выстроенные большим прямоугольником, были накрыты белыми скатертями, на них стояли вазы с фруктами, бутылки с минеральной и фруктовой водой. Айдара посадили в центре, рядом с женой. Алимe самодовольно оглядывала накрытые столы, давая понять, что это ее рук дело. Получилось так, что место с правой стороны от Айдара пустовало. Он, чтобы не глядеть по сторонам, взял в руки фломастер и стал черкать на чистом листе.

За несколько минут до начала встречи в зал вошла девушка в длинной черной юбке и белой блузе. В поисках места оглядела зал, но незанятого стула нигде не увидела. Сидящие показали ей на место рядом с Айдаром. Она нехотя прошла в почетную часть зала. Когда она отодвигала стул, он поднял голову в ее сторону и оторопел от неожиданности. Девушка не поняла его удивления, слегка смутившись, опустила пушистые ресницы, отвела взгляд и села поудобнее. Он все с тем же любопытством разглядывал ее. Блестящие черные волосы были гладко зачесаны назад, на лоб спадала маленькая, будто нарисованная, челка, выделялась линия сросшихся бровей, а особенно притягивали сложенные сердечком чувственные губы.

— Откуда? Каким чудом? — прошептал он.

— Вы что-то сказали? — спросила она.

— Да, да, — пробормотал он.

Супруга встала, положив на его плечо руку, давая этим

жестом понять, что она открывает встречу и что ему надо помолчать. Затем стала говорить приветственные слова в адрес гостей.

Девушка сидела прямо, не облакачиваясь и не ставя руки на стол, смотрела перед собой. Он же, полуобернувшись в сторону соседки, не сводил глаз с ее лица. Вскоре она повернулась к нему, у нее дернулся кончик носа, она бросила на Айдара осуждающий взгляд, давая понять, что так разглядывать ее неприлично.

В ответ он шепотом произнес:

— А я знал, что тебя встречу.

Она недоуменно пожала плечами и, больше не обращая на него внимания, прислушалась к тому, что говорила Алимэ.

Но он не отставал:

— Как хорошо, что мы встретились!

— Я вас совсем не знаю, — ответила она тоже шепотом, не глядя в его сторону и боясь, что кто-нибудь обратит на них внимание.

В это время супруга закончила приветственную речь, и, садясь на место, незаметно для окружающих дернула его за рукав пиджака. Он повернулся к ней.

— Сядь нормально, все на тебя смотрят, — сказала она, нагнувшись к его уху.

Не вставая с места, она повела встречу, давала слово желающим выступить. Гости и местные участники говорили по очереди.

Айдар, прислушиваясь к выступающим, искоса наблюдал за своей соседкой. Она чувствовала его взгляд: то напряженно улыбалась, то плотно сжимала губы, делая надменное выражение лица.

В перерыве жену обступили гости. А он встал и последовал за поспешившей выйти из зала соседкой. Она сидела в фойе, в кресле возле зеленой пальмы, что росла в деревянном ящике. С удивлением рассматривала пальму, верхушка которой доставала до потолка.

Айдар сел в кресло напротив, не сводя с нее глаз. Она на секунду поймала его взгляд и тотчас с досадой отвела глаза. Спросила, нахмурившись:

— Вы всегда такой назойливый?

— Я бы не подошел к незнакомому человеку. Я вас знаю.

— А я вас — нет...

— Вы не поняли. Я вас видел. Первый раз — давно, в столице, когда учился, а второй раз — на Черном море, на теплоходе...

— В Москве я была только в прошлом году, а на Черном море мне, к сожалению, ни разу не пришлось побывать, тем более на теплоходе. Даже по своему родному Каспийскому морю не плавала.

— А вы вспомните хорошенько. Может, эти воспоминания не совсем приятные, я не знаю. Или вы просто не хотите развивать эту тему... но поверьте, это не интрига...

— Я не знаю, что у вас на уме. Вы, наверное, действительно кого-то видели, но это была не я.

— Не может быть: я уверен, что это были вы!

— Какой же вы все-таки! — она покачала головой.

— У меня хорошая память на лица. Я художник, что-то, а лица хорошо запоминаю. Жаль, что я не нарисовал ваше лицо, но впечатление, которое вы произвели на меня, я запечатлел... Кое-что у меня есть, — он имел в виду картину с женскими ногами.

— Вы — художник?! — она невольно рассмеялась и подняв голову, весело посмотрела на него. — И что же вы рисуете?

— Придете в мастерскую — увидите.

— Не получится, мы завтра уезжаем, а сегодняшний день у нас весь загружен. Кроме того, есть неотложные дела, которые за меня никто не сделает.

— Скажите, как вас зовут?

— А говорите, что знаете меня?! — хмыкнула она, опять улыбнувшись, затем, будто делая одолжение, ответила: — Зовите меня Гульбийке.

— Гульбийке! — мечтательно произнес он. — А меня зовут Айдар, фамилия — Карамов.

— Художник Айдар Карамов! — торжественно повторила она. — Но без отчества я не могу вас называть.

— Не надо по отчеству. Вообще-то, лучше будет, если мы перейдем на «ты». Давайте?

— Мне как-то неудобно: Айдар Карамов, — она вскинула плечи.

— Так лучше, Гульбийке. А где вы остановились?

— В гостинице «Черкесск».

- Если вдруг мы разминемся, я найду тебя в гостинице.
- Зачем? — удивилась она.
- Чтобы пригласить в мастерскую.
- Но я одна туда не пойду.
- Мне нужно, чтобы ты пошла одна. Целой группе мне все равно показывать нечего.
- Где же ваши картины?
- Распроданы, — сыронизировал он над собой.
- Она, не почувствовав иронии, сказала:
- Но всем же интересно увидеть, как живет ногайский художник. У меня в жизни не было знакомых художников...
- «Халтурщиков», — так и хотелось докончить ему, но он сдержался.
- А вы нарисуете меня? — спросила она, пряча за смешком свое смущение.
- Я не раз рисовал и разрывал ваши портреты. Но теперь обязательно нарисую. Потому что представляю, как это надо сделать. Это моя мечта! — произнес он настойчиво, серьезным тоном.
- Карамов! — раздался голос вышедшей из зала супруги. Ее смуглое лицо блестело от крема, черное шерстяное платье плотно обтягивало упитанное тело, она была в черных туфлях на высоком каблуке — этакая солидная, видная женщина. Она подошла к сидящим и, сощурив раздраженные глаза, с презрительной улыбкой внимательно оглядела худенькую Гульбийке. Настойчиво пригласила: — Заходите, там продолжим беседу.
- Гульбийке медленно встала, провела ладонями по бедрам, разглаживая юбку, и быстро направилась в сторону зала. Аlime оценивающе поглядела вслед девушке.
- Смотри, не скушай, — поддел ее Айдар.
- А тебе-то что? Захочу — и съем!
- Ладно, ладно, — отмахнулся он, не желая продолжать разговор.
- Слушай, веди себя прилично! Гости ведь...
- Может, мне гостей пригласить в мастерскую?
- И что ты им покажешь?
- Пусть увидят, как живет художник, небольшой прием можно организовать: чай, шампанское...

— Из-за чего это ты, родной, вдруг так воодушевился? — она подозрительно посмотрела на него. — Насчет банкета договорились, что он в ресторане будет. Я думала, ты туда не пойдешь. Ты же не любишь шумных компаний?

— Я подумаю. Все-таки люди издалека приехали.

— Ладно, родной, вместе подумаем, — она взяла его под руку и повела в зал.

Он понял, что жена начала ревновать. Чтобы снять всякие подозрения, решил вести себя осторожно. В зале он всего несколько раз взглянул на свою соседку, но все это время думал о ней и сидел, как наэлектризованный. Гости говорили о наболевшем. О том, что на протяжении нескольких десятилетий были оторваны от своих национальных корней, о том, что слабо развивается культура, исчезают исполнители народных песен, нет своих писателей; говорили о том, что некому преподавать родной язык в школах, исчезли народные традиции, обычаи, происходит падение нравов среди молодежи.

Айдар, слушая эти речи, проникался состраданием к соотечественникам, всей душой воспринимал их боль. Когда один из гостей стал рассказывать об известном газоконденсаторном заводе, построенном рядом с ногайским аулом, где дети давно спят в противогазах, он возмутился:

— Кто разрешил строить такое чудовище рядом с населенным пунктом? Почему не уберут его оттуда?

Выступающий лишь пожал плечами. Сидящие в зале одобрительно посмотрели на художника. Он нагнулся к соседке и шепотом спросил:

— А ты из какого аула?

— Я родилась в Сеитовке, в том ауле, где построен этот завод, но в прошлом году мы оттуда переехали, сейчас живем в 40 километрах от завода.

Заговорили о том, что исконно ногайские земли заселяют освободившимися из заключения, которые сеют вокруг себя преступность и всякие мерзости.

Айдар опять не сдержал возмущения:

— Ничем не лучше, чем в американских резервациях! — сказал он, обращаясь к жене.

Когда встреча закончилась, Алиме довольно посмотрела на него.

— А ты не хотел идти. Видишь, сколько полезного для себя извлек из этой встречи! — Она встала и обратилась к сидящим в зале. — Дорогие наши гости, сейчас вы отдыхайте, а вечером за вами заедут и повезут за город, там состоится небольшой вечер с концертом, познакомитесь поближе с нашей интеллигенцией.

Все встали. Алиме подошла к собиравшейся уходить Гульбийке:

— Я тут со всеми познакомилась, только вашего имени не знаю! Где вы живете, где работаете? — ласково спросила она и протянула для знакомства руку.

— Меня зовут Гульбийке, Сейчас живу и работаю в колхозе, в ауле Джанай, — сказала она, подавая руку в ответ.

— А меня — Алиме. — Она указала на стоящего рядом Айдара. — Я вот его супруга. — И сощурив глаза, с ехидцей поглядела на мужа.

«Ну и стерва!» — подумал тот.

— Приглашаем вас к нам домой. Если хотите, можете взглянуть и на его мастерскую, правда, там беспорядок — он меня в свою творческую лабораторию не пускает, — сладко улыбаясь, проговорила Алиме.

— Что вы, что вы?! Завтра мы уезжаем, а сегодня, как вы сами сказали, вечер будет, — сказала Гульбийке.

— Приходи после вечера. Ты нам очень понравилась! — сказала Алиме, выразительно глядя на мужа.

Айдар машинально кивнул головой.

— Вот видите, и Айдар подтверждает, а он очень сдержан в своих симпатиях.

— Вряд ли я смогу прийти сегодня. Еще будет такая возможность, и я обязательно побываю у вас. И вы приезжайте к нам, для наших людей это большая поддержка, особенно для молодежи. Им надо знать, что у нас есть такие, как вы, соплеменники, — искренне сказала Гульбийке, не чувствуя подвоха в словах Алиме.

— Да, да... При первой же возможности мы к вам приедем. Надо посмотреть, как живут наши люди. Вы обращайтесь, если надо в чем помочь, мы вас обязательно поддержим, — Алиме наклонилась к Гульбийке и осторожно поцеловала в щеку, затем повернулась к мужу. — Мы пойдем. Родной, ты, кажется, хотел идти на вечер?

— Пожалуй, я схожу, — ответил он.

— Видите, Гульбийке, один из нас обязательно будет на вечере, — деланно улыбаясь, проговорила Алиме.

— А почему не оба? — спросила Гульбийке.

— Не получится. У нас четверо маленьких ребятшек, кому-то надо быть с ними, — требуя подтверждения своему вранью, Алиме еще раз с ехидцей посмотрела на супруга.

— Счастья вам и вашим детям, — произнесла Гульбийке и протянула руку для прощанья Алиме.

Оставшись наедине с Айдаром, супруга с вызовом посмотрела на мужа. Айдар не заставил долго ждать:

— Ну, ты молодец! Смотри, как распоясалась! — сказал он.

— А ты как думал?! Будет тут какая-то соплячка глазки строить!

— При чем тут она?! — возмутился он.

— И все-таки ты пойдешь на банкет?! — с выражением спросила она.

— Почему бы и нет, — ответил он.

— Дело твое, — безразлично проговорила она. Потом добавила: — Мне надо еще на работе появиться, а ты сходи и сына покорми, а то он один к еде и не притронется.

— Хорошо, — проговорил он с облегчением, про себя радуясь, что избавляется от ее общества.

— Смотри, голову не теряй, — игриво сказала Алиме и отправилась по своим делам.

Он не торопясь вышел из опустевшего зала. В фойе еще оставалось несколько групп из приезжих и местных, они продолжали беседовать. Увидев, что жена переобувается, он остановился, подождал, пока та надела пальто, шапку, и отправился искать Гульбийке. Среди беседующих ее видно не было, зашел в буфет — там ее тоже не оказалось. Тогда и он пошел к гардеробу, взял свою дубленку, шапку, еще раз без особой надежды оглядев фойе, оделся и вышел из театра. Гостиница была недалеко, но передвигался он к ней с большим трудом. Дул холодный, хлесткий ветер, лицо обжигала несущаяся с ветром снежная крупа. Улицы города были пустынные. Он шел, то и дело поворачиваясь спиной к ветру. «Куда она делась? Как ее найти?» — лихорадочно спрашивал он себя, тем более, что не знал ни фамилии, ни в каком номере она живет. С

этими мыслями он подошел к серому пятиэтажному зданию гостиницы. В фойе было пусто, лишь в дальнем углу за стеклянными ограждениями сидели сотрудницы, оформляющие приезжих. Он стряхнул с одежды снег, снял шапку и, пройдя через зал, сел в кресло возле лестницы, ведущей к номерам. Решил во что бы ни стало дожидаться Гульбийке. С досадой подумал о поведении жены. «Разве можно так набрасываться? Что она сделала ей плохого? И зачем врать?! Все, разведусь! Она стала показывать себя с самых худших сторон. Раньше такой не была!» — злился он на Алиме. Прислонившись затылком к спинке кресла, он смотрел в потолок и представлял свою нелегкую жизнь, корил себя за соглашательский характер, за мягкотелость, за то, что создал вокруг себя такую скуку и серость. «А ведь мог жить лучше, мог!» — размышлял он про себя. Ему хотелось мечтать, но он не мог даже представить — о чем? «Художник должен страдать — это я понимал со студенческой поры, так нет же, пошел по линии наименьшего сопротивления! И стал, как разжиревшая мышь в норе! Жалкий я человек!» — клял он себя. Ему хотелось, чтобы кто-то пожалел его, но не было такого человека на земле, и ему стало так горько от этого, так обидно... На глаза наворачивались слезы, и он еле сдерживал себя, чтобы не разрыдаться. Он закрыл глаза и стал темнотой и тишиной гасить в душе тоску и обиду.

Стеклянные двери гостиницы растворились, и в фойе стали шумно входить возбужденные астраханцы. Их лица покраснелись от холода, одежда была запорошена снежной крупой. Они начали топтать ногами, отряхивать снег, потом вереницей двинулись по лестнице. Один из членов делегации обратил на него внимание.

— Это же наш художник! — крикнул он и, быстро спустившись обратно, подошел к Айдару.

Тот продолжал сидеть с запрокинутой головой.

— Вы кого ждете? — спросил худощавый, смуглолицый, средних лет мужчина, одетый в старенькое серое пальто с капюшоном.

Айдар поднял голову, протер глаза и посмотрел на него.

— Я вас узнал, — улыбнулся мужчина.

— Да, да. Я вас тоже, — Айдар встал, поправил седые усы, спросил: — Как ваше имя?

— Меня зовут Равиль, — с улыбкой глядя ему в глаза, сказал мужчина.

— Меня Айдар.

— Я помню, — улыбнулся мужчина.

— Меня потряс ваш рассказ. Я хочу поехать к вам и посмотреть на все, особенно хочется взглянуть на ваше чудовище — газоконденсаторный завод. Надо же такое сотворить рядом с аулом... — Он покачал головой, посмотрел мужчине в глаза и спросил — А ты, Равиль, чем занимаешься, кто по специальности?

— Я учитель в школе, преподаю русский язык и литературу... Пойдемте ко мне в номер! — пригласил он Айдара.

— Я бы с удовольствием, но мне надо увидеть вашу Гульбийке.

— А-а, Аметову? Ее вы не скоро увидите, она поехала на автобусе в район, за книгами.

— На каком автобусе? Что за книги? — удивился Айдар.

— Книжный магазин ей выделил автобус, чтобы привезти книги погайских авторов. Здесь их уже не осталось, а там, на районном складе, говорят, еще есть, не все распродали... Бедная, из-за этих книг и на вечер не попадет.

— Почему? — удивился Айдар.

— Мы через полчаса уже должны ехать в загородный ресторан. А как она одна его найдет?

— Тогда конечно, — протянул Айдар.

— Давайте заходите к нам, — опять предложил Равиль.

— Нет, я не смогу. А к вам обязательно постараюсь приехать, — и он протянул руку для прощанья.

Равиль, попрощавшись, ушел. Айдар остался, стал прохаживаться по фойе, размышляя, что предпринять. Затем, узнав у администратора номер Аметовой, поехал домой. Дома пообедал с сыном, а когда собрался идти в гостиницу, зазвонил телефон, и он взял трубку.

— А, ты дома. Значит, не поехал с гостями? — в голосе супруги чувствовалось облегчение.

— Как видишь, — ответил он.

— Правильно сделал, а то ты такой наивный, что можешь навредить и себе, и людям.

— Это в чем же выражается моя наивность?

— Влюбчивый ты.... А это девушка ничего! — явно дразня его, произнесла Алимэ.

— Она прекрасна! — в тон, но совершенно искренне проговорил Айдар.

— Только она не для тебя! — со злостью сказала жена.

— Почему?

— Потому, что ты старый! — кольнула она.

— Ты так думаешь? — с издевкой спросил Айдар.

— Не сердись, выбрось все из головы и жди меня, я скоро приеду.

— Нет, я иду в мастерскую, хочу поработать.

— Ну, хорошо, — чуть ли не с угрозой сказала она и положила трубку.

Айдар взял из бара неоткрытую бутылку коньяка и плитку шоколада, положил в сумку, оделся и поехал в гостиницу.

Когда она на его стук открыла дверь, Айдар увидел, что девушка немало удивлена и растеряна.

— Это вы? Вы пришли? — не зная, куда деть руки, она сначала спрятала их за спину, потом стала теревить пальцами пуговицы блузки.

— Я не могу вас так просто оставить. Да и поговорить хотелось.

Она внимательно посмотрела ему в лицо, подумав, спросила:

— Зачем? И для чего все это?

— Я хотел показать мастерскую, — запинаясь, робко ответил он.

— В мастерскую я пойти не смогу.

— Пойдемте! Это для меня так важно!

— Я же сказала, что не могу, не уговаривайте. Заходите, что мы стоим у дверей? — сказала она и прошла в комнату.

Айдар зашел, оглядел номер. Кровать, стол, телевизор, на столе белый фарфоровый чайник, тарелка с конфетами, беспорядочно лежат газеты и журналы. Гульбийке аккуратно сложила газеты и журналы в стопку и отодвинула на край стола.

— Можно раздеться? — спросил Айдар.

— Да, конечно, — ответила она.

Айдар снял с себя дубленку, шапку. Она взяла у него одежду и повесила на вешалку. Это понравилось Айдару, и он благодарно посмотрел ей в глаза. Она отвела взгляд:

— Садитесь, — и показала на единственный стул.

Айдар сел. Гульбийке еще не успела переодеться, на ней была та же самая белая блуза и длинная черная юбка, только на ногах — тапочки. Встала у спинки кровати. Сейчас она казалось еще моложе. Он мысленно сравнил ее хрупкую, гибкую фигуру с крепкими телесами супруги, вспомнил ее слова.

— Гульбийке, сама тоже садись, — сказал он.

— Я насиделась в автобусе...

— Садитесь, как-то неловко так беседовать, — настоял он.

Она села на край кровати и поежилась:

— Холодно, замерзла в дороге.

— Я с собой кое-что прихватил на этот случай. Давай выпьем, это согревает, — он встал, чтобы достать из сумки коньяк.

— Не надо, спасибо, — улыбнулась она.

Он все-таки достал бутылку и шоколад. Положив на стол, вопросительно поглядел на нее. Она отрицательно помотала головой.

— Ты, наверное, думаешь, что я таким образом знакомлюсь с девушками. Вовсе я никакой ни бабник.

— Я тоже об этом хотела сказать, что вы совсем не похожи... Но вы здорово умеете интриговать, а этот дар присущ именно таким людям.

— Никакого такого дара у меня нет. Все, что я говорил, правда, я тебя знаю давно. Помню, как видел тебя первый раз зимой в Москве, на трамвайной остановке. С тех пор прошло более десяти лет...

— Опять, — улыбнулась она. — А второй раз на море, на теплоходе. Я это уже слышала!

— Да. Второй раз на теплоходе. Я сидел в баре, а ты зашла и обвела все взглядом. На тебе еще было белое платье, я тебя видел в зеркале, там, в баре, передняя часть вся в зеркалах. А когда оглянулся — тебя уже не было, и после я тебя искал, но так и не нашел...

— В баре всякое может привидеться... — шутливо заметила она.

— Нет, я серьезно, — проговорил он, дотрагиваясь до кончиков усов.

— Я никогда не плавала на теплоходе, — сказала смеясь Гульбийке.

— Но я не обманываю.

— Какой же вы все-таки! А еще говорите, что не умеете интриговать! Чувствуется, что у вас большой опыт в этом отношении, прямо хватаете за живое, — она погрозила пальцем.

— Честное слово, я не такой, — не сдержал улыбки Айдар.

— Я принесу чай, — Гульбийке взяла со стола чайник и вышла из комнаты.

Пока она ходила, Айдар разлил в стаканы коньяк, разломил шоколад. Обычно при знакомстве с женщинами у него как-то само собой получалось, что он входил в роль и искусно создавал интригующий вид. Он хмурился, придавал лицу задумчивое выражение, делал долгие паузы. Женщины попадались на эту уловку, становились болтливыми, старались вызвать к себе интерес, а он изредка открывал рот и отвешивал комплимент, подчеркивая свое великодушие. Сейчас он лихорадочно соображал, о чем бы с ней заговорить, но в голову ничего путного нешло. Вскоре она вернулась с чайником, поставила его на стол, увидела распечатанную бутылку и разлитый по стаканам коньяк, нахмурилась:

— Я же сказала!

— Придется выпить, больше стаканов нет, не из чего чай пить будет.

— Я не люблю спиртного.

— Пожалуйста! Я хочу выпить за нашу встречу, за наше знакомство! — Айдар поднял стакан.

— Прямо не знаю, зачем так настаивать?! — возмутилась она. Однако подняла стакан и подумав сказала: — Если бы не замерзла, не прикоснулась бы!

Они выпили. Разговор не клеился. И он стал задавать традиционные вопросы: о работе, о семье. Гульбийке работала в колхозном профсоюзе, жила в одном доме с семьей брата. Ей давно предлагали отдельную квартиру, но жить одна она не хотела. Все ее интересы были связаны с работой, с жизнью аульчан, в последнее время с увлечением вошла в народное движение, была одной из активисток.

Когда у него кончились вопросы, Гульбийке спросила:

— А тебе, наверное, тяжело растить четверых детей?

Айдар улыбнулся:

— Это причуды жены, у меня вовсе не четверо детей. Один сын — школьник.

— Зачем же она так сказала? Неужели для того, чтобы я на тебя не заглядывалась? Я и так с семейными не связываюсь — это мой принцип, — задумчиво проговорила Гульбийке.

— Да будь у меня действительно четверо детей, я бы все равно развелся с нею. Она это чувствует, поэтому так и ведет себя. — Он махнул рукой и, поняв, что не в меру разоткровенничался, прикрыл губы ладонью.

— Почему развелся бы? — удивленно спросила Гульбийке.

— Я ее не люблю, — нахмурившись, резко сказал Айдар.

— И никогда не любил?

— Когда женился, было по-другому. А после...

— Разонравилась, — понимающе докончила Гульбийке.

— Я для нее нечто вроде орудия труда для пополнения семейной кассы.

— Но ты же как-никак отец семейства?

— А я еще и жить хочу, радоваться, любить. Не знаю, может, я эгоист...

Гульбийке отвела взгляд:

— Ты, наверное, красивых ищешь? За красотой не надо гнаться. Семья — это большое благо. — И закончила уныло: — Я хорошо знаю, каково быть одинокой...

— Теперь ты не одинока! — удивляясь своей смелости, сказал он. Она догадалась, на что он намекает, но не подала вида:

— Конечно, я не одинока. Я очень люблю брата, его детей, мы живем одной семьей.

— Я имею в виду другое. Я давно мечтал о такой, как ты! — упрямо проговорил он, удивляясь сам себе.

— Айдар, это несерьезно, зачем ты так?! — с обидой сказала она.

— А если я говорю серьезно?!

— Это и меня обижает, и тебя показывает не в лучшем свете... Так говорить нельзя, ты должен относиться ко мне с уважением.

— Извини, но для меня все это очень серьезно!

— Ты заставляешь меня повторяться: как у тебя мо-

гут возникнуть серьезные чувства к человеку, которого видишь впервые?

— Это ты меня видишь впервые, а я тебя знаю давно!

— Опять ты за свое! Ну ладно... — проговорила она, видя, что его трудно переубедить.

Айдар предложил еще выпить, Гульбийке отказалась. Он налил себе и сделал глоток.

— Раньше я пил много. Сейчас особо не тянет, нет в этом никакой радости. А вообще-то я думаю, уж лучше бы пил, чем так жить.

— Я не люблю пьющих, водка приносит много зла. У нас в колхозе столько хороших людей так сломали себе жизнь. Хотя те, кто пьет, думают этим ее облегчить. А я думаю, что это глубокое заблуждение. Чем, Айдар, плоха твоя жизнь? Мне кажется, она как раз-то очень благополучна.

— Гульбийке, дело не в благополучии... Моя жизнь просто безрадостная, и мне трудно объяснить, почему она такая. Какая-то бесцельная... Раньше, когда пил, как-то не думал об этом: выпьешь — и все хорошо, море по колено. А сейчас живешь и не знаешь зачем...

— Слушай, роль несостоявшегося человека тебе совсем не идет, — оценивающе глядя на него, с улыбкой произнесла она.

Айдар тоже улыбнулся:

— Я говорю искренне. Все время я чувствовал, что меня в жизни ожидает что-то важное. Мне кажется, предчувствовал эту встречу... она должна была состояться.

Гульбийке с негодованием вздохнула, но тотчас взяла себя в руки, решила отнестись снисходительно к этой блажи творческого человека. Сжав губы, с усмешкой посмотрела ему в глаза. Он ответил преданным взглядом, она выдержала его взгляд и засмеялась.

— Ах вы, мужчины, мужчины! Вам лишь бы подтрунить над женщиной!

— Совсем об этом не думал, — запротестовал Айдар.

— Во-первых, Айдар, ты представительный человек, и я думаю, что у тебя достаточно поклонниц. Во-вторых, твоя жена неспроста ревнует даже к совершенно незнакомой женщине.

— У нее агония, возрастная!

— Нет, она очень молодо выглядит и она — интересная. А как ты посмотришь, если она в кого-нибудь влюбится?

— Пусть, тогда у меня будут веские основания к разводу.

— А сейчас, значит, их нет?

— Почему? Просто они не проявляются внешне, а так мы давно друг друга не любим.

— А может, она любит?

— Мне думается, что любовь всегда должна быть взаимной, — он не смог прямо ответить на поставленный вопрос.

— Не всегда так бывает, многие семьи держатся за счет любви с одной стороны...

Айдар не нашелся, что сказать. В это время в коридоре гостиницы раздались оживленные голоса. Гульбийке обеспокоенно прислушалась.

— Это, кажется, наши... Они могут зайти, и, если тебя застанут со мной, представляешь, что обо мне подумают?.. — Она встала и на цыпочках подошла к двери.

Айдар тоже встал, подойдя к ней, тихо сказал:

— Запри дверь.

Гульбийке бесшумно заперла дверь на ключ. Голосов в коридоре поприбавилось, особенно четко слышались голоса женщин. Гульбийке потушила свет. Через несколько секунд в дверь постучали.

Айдар и Гульбийке замерли в темноте.

— Неужели она уже заснула? — спросил мужской голос.

— Обязательно разбудите, пусть хоть с нами посидит. Бедная, никакого веселья не увидела, — проговорила женщина за дверью.

Стучать стали более настойчиво. Гульбийке отшатнулась от двери, столкнулась в темноте с Айдаром. Он протянул руку и обнял ее за плечи. Она отпрянула, но из рук Айдара не освободилась.

— Куда же она делась? — как будто из комнаты, совсем близко раздался тот же самый голос.

По коридору раздались учащенные шаги:

— Ну-ка, дайте я попробую! — послышался звонкий голос молодой женщины. — Гульбийке! — позвала она настойчиво и забарабанила пальцами по двери.

Гульбийке испугалась еще больше и, задрожав, прижалась к Айдару.

Он заключил ее в объятия, опустил голову и коснулся лицом ее волос. Почувствовал ее податливость.

— Надо ее разбудить! Мы повеселились, а она нет, это несправедливо, у меня для нее кое-что припасено! — продолжала женщина и еще настойчивее стала отбивать дробь по двери.

— Может, она на нас обиделась? — раздался другой женский голос.

Гульбийке освободилась из объятий и, взяв Айдара за руку, отвела к кровати. Они сели. Он положил руку ей на плечо, прошептал на ухо:

— Успокойся, не волнуйся!

Гульбийке вздернула голову и поспешно приложила к его губам свой палец.

— Обижаться она не должна, сама ведь напросилась. Мы не виноваты. Может, она куда ушла? — сказал звонкий женский голос.

— Все равно нехорошо получилось! Надо было, чтобы этими книгами занялись мужчины! — сказала другая женщина.

— Да она бы никому не доверила это дело, разве не знаешь ее, тем более, что деньги их колхоз выделил.

Стук поубавился.

— Пойду спрошу у дежурной, может, она еще не вернулась, может, что случилось в дороге? — после некоторой паузы проговорила молодая женщина.

Оставшаяся время от времени продолжала стучать в дверь, но теперь реже, словно играючи, как будто отбивала какую-то мелодию.

Они сидели в темноте, прижавшись друг к другу, уже пережив испуг, и забавлялись происходящим за дверью. Айдар, совсем осмелев, не сдержался и поцеловал ее в висок. Она отклонила голову и, выставив в темноте указательный палец, пригрозила, чтоб прекратил.

Подошла уходившая к дежурной женщина:

— Говорят, она дома и вечером заказывала чай.

Женщины стали заговорщически перешептываться.

— Тогда понятно, — сказала одна. — Пойдем, пойдем.

— Что, не достучались? — крикнул со стороны мужчина.

— Она, наверное, спит. Разбудить не можем, — сказала одна из женщин, удаляясь.

Через некоторое время Гульбийке, освобождаясь от руки Айдара, тихо спросила:

— Кто-нибудь видел, как ты шел сюда?

— Не знаю. Я сам никого не видел.

— Если кто узнает, все пропало! — проговорила она в отчаянии.

— Почему ты так боишься? Сама сказала, что мужа у тебя нет!

— А разве хорошо, когда даешь повод для сплетен?!

— Это конечно, — согласился Айдар.

Они продолжали по-прежнему сидеть в темноте. Он привлек ее к себе и хотел поцеловать в губы.

— Зачем? — прошептала она, уклоняясь.

— Родная, — прошептал в ответ Айдар.

— Я не стану твоей любовницей, не надейся.

— Я не хочу, чтобы ты была любовницей, я хочу большего, — уверенно проговорил он.

— Айдар, не знаю, что на это сказать... Ты совсем меня не знаешь.

— Мне кажется, что я тебя знаю давно, твой образ — в моей душе. Я все время жил ожиданием этой встречи, я верил, что судьба смилостивится и мы встретимся. Я, как верующий, просил Бога об этом, — говорил Айдар, удивляясь тому, что это он говорит такие слова.

Она доверчиво повернула к нему лицо:

— Если это обман, то слишком искусный! Так трудно поверить, что кто-то из мужчин в наше время живет с надеждой на встречу с женщиной! Тем более, такой мужчина, как ты. Куда не повернись — всюду женщины...

— Зря ты так думаешь. Никакой я не обольститель. Наоборот, противник всяких романтических приключений... Мне некогда этим заниматься.

— Извини, что я так сказала. Конечно, ты занимаешься творчеством... я понимаю: это серьезно, и тебе не до женщин.

— Творчества у меня тоже нет, — проговорил Айдар упавшим голосом и добавил: — Тебе это трудно понять.

— Я хочу понять, — просительно произнесла она, и голос ее дрогнул.

— Я не обманываю!.. Я мог стать хорошим художником. Мог! Но у меня, видимо, это не заложено в генах. Поэтому я и не перенес положенных страданий твор-

ца, я не собрал всю свою волю для достижения этой цели. Но наверное, все-таки главное препятствие для меня — это гены. Я уверен: от крови во многом зависит жизнь человека. В генах заложена не только предрасположенность к определенной деятельности, будущий характер и так далее, но и заключена воля поколений... Конечно, легко все свалить на гены и снять ответственность с себя. У меня был талант, но что-то получилось не так, что-то у меня не вышло. Можешь мне не верить, но встреча с тобой мне была необходима. Ты могла бы вдохновлять меня на творчество. Та давнишняя наша встреча, даже если это была не ты, — как предвосхищение, толчок к прозрению. Или подсказка свыше, что именно ты — мой идеал. Мне надо было искать себя, свой идеал, а не повторять сделанное кем-то, не ходить в чужих одеждах и не губить свой талант в серой повседневности. А я так увяз в текучке, что и не заметил, как состарился. Твой образ был как звон колокольчика в минуты отчаяния. Когда я так заостенел, что до меня невозможно было достучаться, он вошел в мой сон. Поедем в мастерскую, и я покажу тебе картину, которую написал под впечатлением того сна...

— Айдар, успокойся, я не могу. Но кажется, я начинаю тебя понимать, — проговорила она, сама немало взволнованная всплеском его чувств.

Это «кажется, я начинаю понимать» тронуло Айдара, но он сдержался, не стал говорить больше. Все это время они сидели в темноте. Когда в коридоре все затихло, Гульбийке встала и включила свет. Сняла с вешалки халат, сказала, что хочет переодеться — Айдар кивнул — и ушла в ванную комнату...

Он взгляделся в обледенелое окно. Там, в темноте, ощущались порывы пронизывающего ветра, так что у него озноб прошел по всему телу, он даже вздрогнул. Встал и, налив себе коньяка, выпил. Ему не хотелось уходить, но в то же время он боялся быть назойливым. Вскоре Гульбийке вышла из ванной, переодетая в полосатый сине-белый халат.

— Айдар, я устала, хочу прилечь, — сказала она, вытаскивая заколки и распуская волосы.

Ему понравилось, что она не прикрывается излишней скромностью.

— А я уже не могу уйти. Поздно, — проговорил он, жадно наблюдая за тем, как она двигается.

— Понимаешь, мне не безразлично, что скажут мои земляки. Я не хотела бы, чтобы кто-то увидел тебя в моей комнате.

— Я уйду на рассвете, — просительно произнес он.

Гульбийке молча расстелила постель и, не снимая халата, юркнула под одеяло. Сразу отвернулась к стене:

— Завтра мне нужно на автобусе везти книги до Минеральных Вод, там придется оформлять контейнер. Дел будет много, не знаю, как я одна управлюсь?.. Я посплю...

— Пожалуйста, я не буду мешать, сейчас потушу свет и поудобнее устроюсь на стуле.

— Как на нем можно устроиться? Будет одно мученье.

— Тогда я лягу рядом в одежде....

Она ничего не сказала. Айдар погасил свет и прилег рядом. Всю ночь, ощущая ее близость, слыша ее дыхание, он не мог сомкнуть глаз. Иногда, прислушиваясь к порывам ветра, беснующегося за окном, чувствовал стужу, обжигающий мороз. Тогда он старался думать о ней, и сразу ощущал тепло. Душа наполнялась блаженством, и он про себя нашептывал восторженно: «Как хорошо, что эта встреча состоялась и она рядом! Хорошо, что я остался в номере! Я чувствую ее! Такую близкую и родную!» Стараясь сдерживать обещание не нарушать покой, он украдкой касался губами кончиков ее волос. И так лежал до начала дня. О том, что наступило утро, он узнал по звукам гимна — в соседнем номере было включено радио. Вставать не хотелось, но надо было сдерживать слово и уйти из гостиницы до света, чтобы никто из земляков Гульбике ни о чем не догадался. Он поднялся и сел на край кровати. Посмотрел на Гульбийке, думая, как ее разбудить, но она, видимо, тоже не спала. Повернула к нему голову.

— Время, да? — тихо спросила она.

— Да, мне пора уходить. Знаешь, Гульбийке, я поеду с тобой на автобусе.

— Айдар, не утруждай себя, я сама справлюсь.

— И не уговаривай. Мне это совсем не трудно! Я должен тебя проводить, для меня это очень важно!

Гульбийке ничего не сказала, но чувствовалось, что она переваривает его слова и не находит, что ответить.

— Откуда отправляется автобус? — настойчиво спросил он.

— От торговой базы, где книжный склад.

— Во сколько?

— Договорились, что я подойду к девяти, — сказала Гульбийке.

— Хорошо, я тоже буду в девять возле склада. Ты лежи, отдыхай, а я пойду. — Он нагнулся и поцеловал ее в висок. Ощувив ее жар, задержал губы. Она отстраняющим жестом положила руку ему на плечо, но он, опередив ее, отстранился сам. — Я пойду! — еще раз решительно произнес он, встал и зажег свет.

Она тоже встала. Он оделся и вышел.

На улице было еще темно, метель не утихала. Снежная крупа, которую бросало ветром, сразу обожгла лицо. Он перекинул ремень сумки через плечо, поднял воротник дубленки, засунул руки в карманы и, сгибаясь перед встречным ветром, пошел по тротуару. Пока дошел до мастерской, успел замерзнуть. Со вздохом облегчения открыл дверь своей мастерской, войдя, разделся, обернулся ... и обомлел. На кушетке, укрывшись своим пальто, лежала его жена и хмуро глядела на него. «Хорошо, что вчера мы не пришли сюда», — промелькнула у него мысль. Он молча прошел и сел в кресло. Жена резко встала, быстро надела сапоги, накинула на себя помятое пальто.

— Оставался бы там, где был! — буркнула она, застегивая пуговицы пальто. Пошла было к выходу, но с полпути повернула назад и, подойдя близко к мужу, сказала: — Смотри, Карамов! Смотри, если я тебя проклянущу, пожалеешь, горько пожалеешь! — Расплакалась и, вытащив из кармана пальто носовой платок, начала утирать слезы и сморкаться.

Он сидел и безучастно смотрел мимо.

— Смотри, Карамов! Мои проклятья всегда действуют! — повторяла она сквозь плач. Вышла на улицу, но

снова вернулась. — Ты думаешь, мои слезы даром тебе пройдут? Да я бы за тебя никогда не вышла, да и ребенка никогда от тебя не родила бы — просто поверила твоим словам! Обманул ты меня, всю жизнь исковеркал! Думаешь, я себе мужа не нашла бы?! Ошибаешься!.. Бог тебя накажет за мои слезы! Ты эгоист, только о себе думаешь, а я, дура, всю жизнь на тебя ухлопала! Бог тебя накажет! — в отчаянии размахивая платком, надрывно выговаривала она, но видя, что он не реагирует, бросилась к двери и, хлопнув ею изо всех сил, исчезла из мастерской.

Айдар прилег на кушетку. Проклятия жены он пропустил мимо ушей, не хотел о них и думать. Мысли уносились к Гульбийке, он уже видел, как провожает ее, думал о том, как у них все сложится дальше. Неожиданно его взгляд остановился на картине, висящей на стене. «Несомненно, это она!» — подумал он. Он смотрел на свое произведение, на то, как из тумана выступали ноги, и за туманом видел все тело. «Это послание свыше, я бы сам так никогда не нарисовал! Это предтеча сегодняшней встречи», — он сам удивился такому ходу своих мыслей. Хотел остановить их, дать им другое направление, но слова, пришедшие на ум — «Послание свыше, предтеча...», — преследовали, не давали покоя. Он взглянул на часы и снова удивился, как быстро пролетело время. Его оставалось в обрез. Айдар быстро оделся и вышел из мастерской.

Автобус ехал медленно. Из-за метели на дороге была плохая видимость. Несмотря на утро, машины ехали с включенными фарами. В автобусе было холодно, хотя работала печь. Они сидели рядом, прижавшись друг к другу: он не сводил с нее глаз, она иногда поворачивала к нему голову и отвечала ласковым взглядом. Из-за плохой погоды автобус сильно задержался, каких-то сто километров ехали чуть ли не три часа. На вокзале Гульбийке проявила всю свою сноровку. Айдар удивлялся ее живости и энергии, она будто всю жизнь занималась оформлением контейнеров: деловито сновала от одного окна к другому, настойчиво требовала у начальника отделения срочной отправки груза, в нужный момент даже использовала имя Айдара.

Он, увлеченный ее азартом, еле поспевал за ней и был очень доволен, когда уже к наступлению темноты она закончила свое хлопотное дело. Они отпустили автобус, но когда пошли на вокзал, оказалось, что на вечерний астраханский поезд нет билетов. Билеты взяли только на следующий вечер и пошли к ближайшей гостинице. Мест в ней не было, и они решили пересидеть ночь в фойе. В полночь краснолицая администраторша позвала Айдара к себе. Спросила:

— Жена твоя?

— Да, — ответил он.

— Знаю, — понимающе улыбнулась она, обнажая золотые зубы. — У нас только койки есть, одна в мужском номере, другая в женском. Будешь брать? — и почему-то подмигнула.

Видя, что другого выхода нет, Айдар хотел заплатить за койки, но то, что администраторша подмигнула, подтолкнуло к тому, что он, вложив между страницами паспорта двадцатипятирублевую купюру, протянул ей и сказал:

— Если можно — без сдачи.

Женщина взглянула на деньги, улыбнулась, недовольно покачала головой, осторожно посмотрела на ожидающих места посетителей, которые тоже на ночь устроились в креслах:

— Ей одноместный номер, а ты будешь спать на койке, согласен? — игриво спросила она.

— Еще бы! — обрадовался Айдар.

Про койку он Гульбийке не сказал, они поселились в один номер. По габаритам и обстановке он походил на вчерашний, только в отличие от того здесь было прикрепленное к стене большое зеркало. Сняв верхнюю одежду, они по очереди стали в него глядеться. После дороги, после мытарств на вокзале и устройства в гостинице это занятие напрочь оталекло их от всего, что было за стенами комнаты. Они сели перед зеркалом и, глядя на свои отражения, засмеялись. Затем Айдар, не отрывая взгляда от зеркала, будто бы в шутку, обнял Гульбийке и поцеловал в губы. Она не ожидала этого, опомнившись, тотчас высвободилась из его рук, встала, засуетилась. Айдар, затаив дыхание,

наблюдал за ней, затем резко встал и, взяв за руки, усадил Гульбийке рядом с собой. Девушка пыталась сопротивляться, но неожиданная решимость Айдара сбила ее с толку. Она подалась вперед и снова посмотрела в зеркало. В зеркале их взгляды встретились.

— Слушай, — сказал он, тыча пальцем в зеркало, — я там настоящий. И ты настоящая.

— Я не понимаю.

— Это ты здесь не понимаешь. А та, которая там, все понимает, — протянув руку, он коснулся ладонью зеркала.

— Произошел контакт. Вы соединились... — пытаюсь подстроиться под Айдара, рассмеялась Гульбийке.

— Не смейся. Никакого контакта нет, — он убрал руку и со значением произнес: — Там настоящее, а здесь мы — отражения, притом худшие, испорченные и искаженные. А там чувства, там высокая любовь.

Гульбийке в недоумении раскрыла рот и устремила вопросительный взгляд миндалевидных глаз в печальные глаза Айдара в зеркале.

Тот, не отрывая взгляда от зеркала, нежно провел ладонью по щеке девушки и остановил кончики пальцев на подбородке.

— Я только сейчас начал видеть себя, да и тебя тоже...

— Никогда не подумала бы. Однако я начинаю тебя понимать, — она тоже ладонью провела по его щеке. — Со мной никто так не разговаривал. Оказывается, словами можно разжечь любовь.

Айдар оторвался от зеркала и, повернувшись, нежно коснулся губами щеки девушки.

— Прекрасно, — прошептала Гульбийке и восторженно посмотрела в глаза Айдара, но тотчас будто очнулась. — Айдар, надо приземляться. Мне не по себе, я чуть не чокнулась от твоих слов. А ты всегда такой?

— Там — да, — показал он на зеркало.

— Нет, я так не могу! — резко проговорила она и встала.

Отойдя в сторону, изучающее посмотрела на Айдара. Айдар виновато опустил голову, а затем вскинул ее и угрюмо посмотрел в зеркало.

— Ты очень странный. Ты в чем-то стараешься разобраться. Кажется, что ты в другом мире, и я чуть с тобой не провалилась туда, — она показала рукой на зеркало.

ло. — Ты все придумал. Так бывает: люди придумают что-то, а после сами верят... Пожалей меня, мне так страшно, ты меня пугаешь.

Айдар пригладил свои седые волосы, встряхнул головой и сказал:

— Не пугайся, я больше не буду.

— Так-то лучше, — сказала Гульбийке. Она вытащила из сумки еду и остававшийся в ее номере со вчерашнего вечера коньяк.

— Хотела тебе передать, все-таки жалко было оставлять в номере, вот он и пригодился, — сказала она, показывая на бутылку.

— Теперь ты не откажешься?! — улыбаясь, спросил Айдар и разлил по стаканам коньяк.

— Айдар, извини, что я столько хлопот тебе доставила, измучила. Я тебе очень благодарна, без тебя я не знаю, как справилась бы, столько было волокиты! — Гульбийке с видимым удовольствием подняла стакан.

— А я выпью за тебя! Ты же не ради себя с этими книгами возишься — молодец! Ты знаешь, я счастлив, что провел этот день с тобой! — Айдар поднял стакан, и, чокнувшись с Гульбийке, одним глотком выпил. Гульбийке пила медленно, зажмурив глаза. Осушив стакан, открыла глаза, захлопала своими пушистыми ресницами и, ища сочувствия, вопросительно поглядела на Айдара.

— Ты закусывай, закусывай! Горечь сразу пройдет, — сказал он.

— Знаешь, Айдар, я раньше никогда не пила коньяк. Водку пробовала, но коньяк ничем не лучше. Почему спиртные напитки такие горькие и за что люди их любят?

— Я когда был школьником, так же точно думал: почему люди пьют не лимонад, а эту горькую гадость!? Правда, я тоже так думал.

— Не заставляй меня больше пить, ладно? — попросила Гульбийке.

— Хорошо, ешь, а то закружится голова, — ответил он.

Они с аппетитом стали есть сыр, яйца, бутерброды с маслом.

— Когда голодный — все кажется вкусно! — доволь-

но сказал Айдар, покончив с едой и доставая из кармана сигареты.

— Очень вкусно! — поддержала Гульбийке. Увидев в руке Айдара сигарету, удивленно спросила: — Ты куришь? А почему вчера не курил?

— Как-то неудобно было... Я выйду в коридор, покурю?

— Кури здесь. Брат всю палит папиросы и разрешения никогда ни у кого не спрашивает.

— Можно? — обрадовался Айдар.

Он закурил. Гульбийке, вытащив из сумки халат и туалетные принадлежности, пошла переодеваться в ванную комнату. Айдар курил и поглядывал на себя в зеркало. Провел рукой по своим серебристым волосам, поправил пальцами усы, потрепал кончик носа, улыбнулся самому себе. Как и вчера, посмотрел в окно, за которым были деревья, горел уличный фонарь, вокруг фонаря кружилась снежная пыль. «Разве я когда-нибудь думал, что это со мной случится? Эти минуты стоят всей жизни!» Он опять посмотрел в зеркало, хотел поймать собственный взгляд, чтобы убедиться, что не обманывает себя, а потом самозабвенно закрыл глаза, чтобы всем существом прочувствовать счастье.

Гульбийке вышла в халате, с мокрыми волосами, с освеженным лицом.

— Здесь и горячая вода есть — а в той гостинице не было, — сказала она, садясь на край кровати. Оперевшись локтями о колени и положив подбородок на ладони, она доверчиво посмотрела на Айдара. — Я, наверное, покажусь тебе несовременной, но ты знаешь, я в гостинице останавливаюсь второй раз в жизни: вчера был первый. Когда приходилось куда-то ездить, жила в общежитиях, редко останавливалась у знакомых, иногда у родных, много ночей проводила на вокзале. А что делать? Всем известно, что в гостинице не бывает мест, поэтому я сразу себя настраиваю на то, что придется сидеть на вокзале...

— Это же очень тяжело. Мне тоже приходилось ночевать на вокзале, но в фойе гостиницы лучше, здесь хотя бы надежда есть, что повезет с ночлегом. Зачастую ночью дают место...

— Если устал — ложись, — сказала Гульбийке, показывая на постель.

— А ты? Ты тоже устала...

— Я сейчас постелю, — встала она.

Айдар пошел умываться, а когда вернулся, Гульбийке, заправив одеяло в пододеяльник и расстелив простыни, отошла к окну и смущенно смотрела перед собой. Айдар тоже почувствовал неловкость.

— А ты что, не собираешься спать? — спросил он.

— Я лягу, но сперва ты ложись. Только у меня просьба к тебе: не требуй от меня ничего, хорошо? — попросила она.

Айдар подошел к ней и поцеловал в шею, робко коснулся губами ее губ, оторвавшись, посмотрел ей в глаза и произнес:

— Как ты скажешь, так и будет, я ни в чем не волен!

Прежде чем лечь, Гульбийке убрала со стола, тщательно протерла стол салфеткой, потом потушила свет, разделась и легла рядом с ним. Айдар обнял ее гибкое тело. Она вначале попыталась освободиться, но тут же подалась, и ее хрупкое тело потонуло в его объятиях.

— Моя долгожданная, моя родная! — шептал он.

— Странный ты! Извини меня, но как-то странно от тебя слышать такие слова. Я буду твоей, только не надо так высокопарно, — отвечала Гульбийке, глядя рукой его плечо и голову.

— Я всегда такой. Это мои слова, и они — от всей души...

— Ну что ж... — ответила Гульбийке и сама поцеловала Айдара.

Казалось, комната ожила от их ласк.

А потом все свершилось.

— Теперь ты будешь смеяться надо мной, — прошептала она, отворачиваясь к стене.

— Зачем ты так? Мне очень хорошо с тобой.

— Для чего я тебе? Ты хочешь показать, как будто впервые влюбился. Никто этому не поверит.

— Я искал тебя всю жизнь и наконец нашел.

— Милый, не говори так. Какие-то заученные слова... Я отдалась тебе, потому что ты этого хотел... Хотя и тому, что желал искренне, верится с трудом...

— По-твоему, я вру? — удивился Айдар.

— Я так не сказала. Вот ты говоришь, что искал меня всю жизнь... Значит, представлял меня такую... А ты для меня как снег на голову, я и представить не могла, что когда-то познакомлюсь с художником. Как было бы хорошо, если б это было правдой, — то, что ты искал меня!.. — сбивчиво, неуверенно проговорила Гульбийке.

— Милая, сколько испытаний послал нам Аллах, прежде чем позволил встретиться?!

Связный разговор не получался. Гульбийке не могла поверить в искренность чувств Айдара, но усугублять ситуацию выяснением отношений не хотела. Усталые, они уснули в одно и тоже время. Проснулись тоже почти одновременно.

Он открыл глаза от того, что его лица коснулся луч света. За окном было белым-бело, где-то вдали светило зимнее солнце, слышался гул автомашин, на улице качались от ветра заснеженные ветви деревьев. Мысли его унеслись туда, и он ощутил в душе холод и пустоту. Заставил себя «вернуться» в комнату, повернул голову и посмотрел на лежащую рядом головку Гульбийке, взгляделся в ее гладкое смуглое лицо, коснулся губами виска. Ее пушистые ресницы затрепетали, она раскрыла свои миндалевидные глаза, искоса глянула на него. Обеспокоено спросила:

— Нас не выселят отсюда?

— Нет, любимая. Я на всякий случай продлил срок на трое суток, только надо спуститься и заплатить. Гульбийке, может, ты сегодня не поедешь, а?

— Что ты, я не могу! Родные забеспокоятся. Я даже когда в Астрахань еду, точно ставлю в известность, когда вернусь. У нас там бывает всякое, даже зверские убийства. Сколько наших девушек попропадало! А после находили их мертвыми, поруганными. Брат будет сильно переживать за меня, несмотря на то, что наши сообщат ему, почему я задержалась.

— Это понятно. Но неужели ты не хочешь, чтобы мы подольше были вместе?

— Мне надо быстрее вернуться домой, да и тебе нельзя задерживаться.

— Все ты знаешь! Мне не хочется возвращаться домой!

— Нет, надо. Я не хочу стать виновницей твоих семейных неприятностей. Твоя жена догадается.

— Пусть догадывается, мне наплевать, что она будет думать. Главное, что мы будем вместе!

— Нет, это невозможно. Это у тебя просто увлечение.

— Наоборот, нам суждено быть вместе и мы будем!

— Айдар, нет! Если ты не хочешь жить с семьей, ты можешь выбрать себе любую женщину, но только не меня. Я не такая крепкая, не такая выносливая, чтобы вынести на своих плечах горе твоей семьи, я не хочу слышать за своей спиной проклятия. Мы еще встретимся: может, ты приедешь в Астрахань, может, я куда-то поеду...

— Пусть все обиды и проклятия будут на моей совести, а мы с тобой уедем куда-нибудь жить вместе.

— Но ты не свободен ...

— Я свободен, я сейчас более свободен, чем когда-либо!

— Айдар, нет и нет! Если бы только в этом было дело... — она не договорила и задумчиво посмотрела перед собой.

— Я сильный, я смогу защитить тебя от всех напастей.

— Зато я слабая. А ты такой сложный. Я тебе никогда не отдалась бы... Но я боялась сопротивляться тебе. Не хотела осложнений. Я сама виновата. Еще вчера надо было вести себя по-другому...

— Ты жалеешь, что так вышло?

— Конечно. Грех это... Забава.

— А я не считаю забавой. Я тебя давно люблю, а теперь еще сильнее. Ты моя навсегда!

— Ты говоришь не своими словами, все как-то надуманно... Но даже если бы это было искренне... Я боюсь неизвестной мне жизни. Я боюсь города. Если я выйду когда-нибудь замуж, то только за аульского и буду жить в ауле. Мне там все привычно, людей аульских я знаю лучше: и злых, и хороших, смогу вытерпеть любую неприятность. А в городе мне все чуждо, все не свое. Надо быть, наверное, проклятым, чтобы жить в этом холоде, в этом отчуждении...

— Я — проклятый, я живу в городе, — с улыбкой проговорил Айдар. Слова Гульбийке задела его за

живое, но он постарался, чтоб она не заметила. — Ты говоришь как мудрая, опытная женщина. Сколько тебе лет? Конечно, извини за бестактный вопрос.

— Ничего бестактного не вижу, нормальный вопрос. Мне тридцать один. А тебе?

— Мне сорок два года. Я старше тебя, но до таких рассуждений не дохожу. У тебя в жизни было что-то тяжелое?

— Что я такого сказала? Обыкновенные мысли, — пожалала она плечами. — Честно говоря, ты мне нравишься, но я тебе не подхожу. У тебя творческие дела, своя городская жизнь. А у меня — своя.

— А если я перееду к вам в аул, и мы соединим свои судьбы?

— Я была бы рада, но ты не переедешь в аул.

— Почему?

— Не переедешь! — упрямо повторила она.

— Посмотрим! — чуть ли не с угрозой произнес он, а сам задумался, мог бы он и в самом деле решиться на такой шаг или нет.

— Ты не переедешь, потому что привык к городу, к другим условиям, у тебя и работа городская, ты должен быть на виду. Не жертвуй ничем, я же тебе говорю, увидимся так. Если тебе очень нужно будет видаться, — не пиши, а сразу дай телеграмму. — Она коснулась губами его плеча.

— Моя родная! — произнес он шепотом, оценив ее самоотверженность.

— Айдар, давай довольствоваться тем, что есть. Я боюсь всяких обещаний и клятв, боюсь высокопарных слов... — устало проговорила она.

За весь день Айдар лишь раз вышел из номера, чтобы заплатить за номер и сходить в буфет за едой. Пообедав, они до самого вечера снова нежились в постели. Делали вид, что смотрят телевизор, а на самом деле наслаждались тем, что лежат рядом, что их тела соприкасаются. Ни о чем не хотелось говорить. У Айдара было одно желание, чтобы этот день длился вечность. Ему казалось, что он никогда не был таким счастливым. «За что Аллах одарил меня этой встречей?! Может, это судьба?» — Зная, что этот вопрос задают все

влюбленные, он все равно мысленно повторял его и не затруднял себя поисками ответа.

Они чуть не проспали время отправления поезда. Быстро собравшись, почти бегом шли к вокзалу, который, к счастью, был недалеко от гостиницы. Однако торопились зря. Когда, едва переводя дыхание, они искали на табло расписание поездов, чтобы узнать, с какого перрона отправляется поезд, по громкой связи объявили:

— Поезд Минеральные Воды — Астрахань ориентировочно опаздывает на один час.

Зал ожидания был битком набит людьми. Они стали высматривать себе свободное место. Гульбийке повезло, она нашла незанятое кресло. Пройдя сквозь заставленный багажом проход, она села, оставив место Айдару.

— Садись удобнее, а я пойду покурю и заодно узнаю в справочной, что с поездом, — сказал он, опуская сумки у ног Гульбийке.

Она обиженно поглядела на него, но место Айдару все равно оставила:

— Хорошо, хорошо.

Айдар вышел из здания вокзала и стал у входа, где курили и другие мужчины. На привокзальной площади было пусто. По ней гулял ветер, поднимая снежную пыль. Тускло горели фонари между деревьями. За парком виднелись мрачные городские дома, сквозь мглу едва пробивался свет окон. Где-то за домами была гостиница. Айдар с тоской смотрел в ту сторону, ему хотелось отпустить Гульбийке. Сигарету Айдар не докурив, за какую-то минуту холод пробрался к ногам, он, пожалев, что дома не надел нижнего белья, выкинул сигарету и пошел обратно в здание вокзала. Возле справочной от людей, что волновались в очереди, узнал, что опаздывают все поезда. Когда подошел к окошку, женщина по ту сторону барьера ответила, что точного времени отправления астраханского поезда никто не знает.

— Что же делать? — возмутился он.

— Ждите! — зло крикнула женщина.

Айдар не стал пререкаться и пошел в зал ожида-

ния, к Гульбийке. Остановившись возле стены, он любовался девушкой со стороны: на ней было темно-синее пальто и белый шерстяной платок, черные ее глаза смотрели вопросительно. «Что я делаю? Почему ничего не предпринимаю? Ведь может так случиться, что мы никогда больше не увидимся!» — в который уж раз лихорадочно спрашивал он себя и не знал, что предпринять. «Аллах мой, оттяни нашу разлуку! Прошу тебя!» — он опять повторил чьи-то слова. С этой мольбой он прошел через ряды сидящих в креслах пассажиров. С одной стороны Гульбийке сидел неопрятный бородатый старик в облезлой кроличьей шапке, в зеленом с грязными пятнами пальто, с другой стороны — смуглая аккуратная девочка лет двенадцати. Гульбийке опять отодвинулась на край кресла, освобождая место для Айдара.

— Сядь, пожалуйста, не уходи, — попросила она.

Девочка встала:

— Садитесь, — сказала она и пошла к другому ряду, где, видимо, были ее родители.

— Спасибо, девочка! — крикнул вслед девочке Айдар.

Гульбийке положила голову ему на плечо.

— От старика плохо пахнет, — прошептала она.

Айдар посмотрел на соседа. Судя по грязному, неопрятному виду и беспокойно бегающему взгляду, это был бродяга, бомж. Он тяжело сопел, то и дело ерзая на месте.

— Давай поменяемся местами, — сказал Айдар.

— Можно, я так? — Гульбийке положила голову ему на воротник дубленки. Он крепко обнял ее. По вокзалу то и дело объявляли об опоздании поездов. Вскоре женский голос сделал сообщение и для них:

— Поезд Минеральные Воды — Астрахань ориентировочно опаздывает на два часа!

Несмотря на то, что зал ожидания был полон людей, было прохладно, под креслами гулял сквозняк. Вскоре Айдар ощутил, что зябнут ноги.

— Ты не мерзнешь? — спросил он.

— Есть чуть-чуть, а что делать? — не открывая глаз, ответила Гульбийке.

— У меня предложение. Если еще раз объявят задержку, поменяем билет на завтра и пойдем в гостиницу.

— Нет, что ты, Айдар! Мне быстрее надо добраться до дому. Может, ты вернешься, а я уж как-нибудь доеду, — проговорила она.

— Этого я не допущу. Посадить тебя на поезд — мой долг! — жалея, что она не соглашается остаться, проговорил он.

Время перевалило за полночь. Откуда-то появились с детьми и тюками цыгане, оживили своими криками зал ожидания. Они стали хозяйничать здесь, как в собственном доме. Уснувшая было Гульбийке проснулась и с удивлением смотрела на заросших бородами мужчин, с важным видом расхаживающих по залу, на женщин с грудными детьми, орущих друг на друга, и на балующихся взрослых детей.

— У меня ноги замерзли, — жалобно сказала Гульбийке.

— У меня тоже, — ответил Айдар, растирая руками колени.

Цыгане стали занимать свободные места между рядами кресел прямо на цементном полу. Одна семья кинула тюки у самых ног Гульбийке. Женщина в черном полушубке, в длинной, до пят цветастой юбке начала вытаскивать из тюков вещи. С помощью детей-подростков она расстелила по полу брезентовую палатку, затем вытащила стеганые одеяла, разложив их на брезенте, покрыла все полиэтиленовой пленкой, потом достала другие теплые одеяла и постелила их поверх пленки, из других тюков извлекла большие перины и одеяла в чистых белых пододеяльниках. Трое мальчишек, скинув с ног обувь, бросились в середину постели, быстро подошел седоусый мужчина в ондатровой шапке и светлом овчинном полушубке, снял с ног сапоги и лег с краю, с головой укрывшись одеялом. Мать, посмотрев, как устроилась семья, поправила одеяла, собрала в одно место обувь, сняла с ног и свои сапоги, затем так же, как и все, в одежде легла с другого края.

— Славная жизнь! — восхитился Айдар. — Все, что есть, у них с собой, весь мир для них родной дом. Это будущее планеты!

— Бедные, они долго не живут, редко кто после

пятидесяти выживает, потому что вот так подхватывают болезни, — сочувственно сказала Гульбийке.

Цыганка, лежащая с краю, вдруг подняла голову. Прядь черных кудрявых волос, выбившихся из-под цветной косынки, закрывала половину ее лица. Она внимательно посмотрела на Айдара. Лицо ее приняло недружелюбное выражение: цыганка раздула ноздри горбатого носа и прищурилась. Айдару стало не по себе, он отвел от нее взгляд. Гульбийке, почуввав недоброе, прижалась к Айдару. Цыганка отвела от него взгляд, ласково улыбнулась Гульбийке, потом опять легла и прижалась к своим детям.

Женский голос объявил:

— Поезд Минеральные Воды — Астрахань ориентировочно опаздывает на четыре часа.

Гульбийке расстроилась:

— Что же делать? Я буду в Астрахани ночью, чтобы добраться домой, придется до утра сидеть на вокзале, снова мученья!

— Я же тебе говорю, давай обменяем билеты на завтра, и ты попадешь домой в нормальное время.

— А если поезда и завтра не будут ходить?

— Навряд ли! Говорят, днем на путях произошла авария, а к завтрашнему дню все нормализуется. Давай возьмем билет на завтра. Номер в гостинице нас ждет. — И Айдар коснулся губами ее лица.

Гульбийке поддалась уговорам. Они сдали билет и купили другой — на вечерний поезд уже начавшихся суток.

Теплая гостиница показалась им сущим раем. Они допили остатки коньяка и сразу легли в постель.

Впервые в жизни Айдару снилось, что он летит по небу, и он во сне поражался этому чудесному явлению. Стоило ему оттолкнуться от земли, как он легко взлетал в воздух, радостно болтал в воздухе босыми ногами, греб руками и летел, сколько ему хотелось. Небо было серое, безветренное, спокойное, и он летел и радовался тому, что летит... Открыв глаза, он почувствовал, что улыбаться, ощущение радости не проходило. По свету в окне он определил, что день в разгаре, слышался гул автомашин, раскачивались ветви деревьев. Рядом, повернув-

шись к нему лицом, лежала Гульбийке. Она спала. Боясь разбудить, он с осторожно положил руку на ее живот, погладил бедра, внимательно взгляделся в ее спящее лицо. На нем застыло скорбно-умиротворенное выражение. Он осторожно коснулся тонких складок на переносице, дотронулся пальцем до мягкой кожи под глазами, повел по щеке и остановил палец около скул. «Никакой ваятель, никакой художник не сможет доподлинно воссоздать это лицо, — промелькнула мысль. — Это правильно, что религия запрещала изображать человеческое тело. Никакое произведение искусства нельзя сравнивать с тем, что создал Великий творец. Все произведения искусства — это подобию жизни, но не жизнь, в них нет того неисчерпаемого разнообразия, которое вдохнул Всевышний. Он один властвует над жизнью и над ее красотой. Наверное, и в самом деле кощунственно делать попытки уподобиться Ему и пытаться изобразить живое. Единственное, что может человек, жалкий подражатель, так это угадывать линии, контуры красоты. Поэтому искусство зашло в тупик, к абстрактному изображению живого. Религия не зря предлагала это с самого начала. Да и вообще, изображение живого посредством неодушевленных субстанций, в камне, гипсе, металле, дереве, а тем паче в плоскостном изображении — неестественно, кощунственно!» — заключил он про себя. Склонившись над Гульбийке, поцеловал ее мягкие, холодные губы.

Она открыла глаза, встретила его взгляд и, повернув голову, спросила сонным голосом:

— Почему ты так на меня смотришь?

— Ты очень красивая! Я удивлялся тому, как Всевышний мог создать такое произведение!

— Все это неправда. Ты преувеличиваешь! Зачем?!

— Во все нет! Я даже боюсь такой красоты, у меня ощущение, что я недостойн тебя.

— Я самая обыкновенная. Раз Всевышний создал нас, то он же и дал нам возможность встретиться. И все достойны друг друга, потому что все мы — Его произведения, — загадочно улыбаясь, сказала она.

— Как ты просто рассуждаешь, после твоих слов легко смотреть на жизнь! Я даже не ожидал от тебя таких рассуждений, ты прямо-таки умудренный опытом жизни философ!

— С кем поведешься, от того и наберешься, по-моему, так говорится?

— Умница моя! — Айдар, обняв, прикоснулся к ее волосам. Она поцеловала его в плечо и, сощуриив глаза, задумчиво сказала:

— Ты знаешь, я тоже тебя видела раньше.

— Интересно! Почему же ты раньше об этом не сказала?

— Это я вспомнила только вчера, когда ты закурил. А произошло это пять-шесть лет назад, у нас было очень жаркое лето, еще пожары были. Стояла невыносимая жара, наши рабочие поледили помидоры, а я, закончив свои дела, пошла к озеру. До приезда машины, которая увозит нас с поля, оставалось еще много времени, дойдя до озера, я увидела на берегу густую траву и решила прилечь. Вообще я на работе хожу в брюках. Тебе не нравится, когда девушки ходят в брюках?

— Почему? — удивился Айдар.

— Просто многим мужчинам не нравится, но это не имеет отношения к моему рассказу. Вот так я прилегла и уснула. Снился мне такой ясный-ясный сон. Помню, в небе летела большая белая чайка, а мы плыли на лодке, веслами греб ты — теперь я знаю, что это был ты. Правда, волосы у тебя были длинные и не седые, как сейчас, и усы черные. Ты греб веслами и смеялся, а затем остановил лодку посреди озера, осушил весла и закурил сигарету. Ты держал ее как вчера, между указательным и большим пальцами, курил, приставляя ладонь к подбородку. Я просила тебя бросить сигарету и обнять меня, но ты продолжал курить, в нос мне летел дым твоей сигареты... А проснулась я от крика. Оказывается, горел прибрежный камыш. Я испугалась и побежала на крик. Мне не так часто снятся мужчины, но все равно про тот сон я забыла и только вчера вспомнила...

— Вот видишь! — обрадовался Айдар. — Только я видел тебя реальную, наяву. А ты меня — во сне. У меня тоже бывает, что я во сне вижу человека, которого, может, годы не видел, а чуть ли не на следующий день после этого встречаю его. В твоём сне и в том, что я видел тебя раньше, наверное, есть какая-то взаимосвязь, какой-то смысл.

— Ты хочешь сказать, что мы, как по волшебству, ока-

зывается в разных местах?.. Нет, просто это совпадение или тебе это просто кажется? Я тоже, наверное, сейчас просто представляю, будто тот мужчина в моем сне был похож на тебя, ведь прошло много лет.

— Не знаю, но мне кажется, что я прав. Эта наша встреча не случайная.

Гульбийке, улыбаясь, покивала, затем серьезно добавила:

— Айдар, только не надо фантазировать, ведь я от тебя ничего не требую. Встретимся еще — хорошо, если не встретимся — что делать!..

— Ты меня обижаешь. Гульбийке, ты для меня значишь все. Вся моя жизнь ничего не стоит, она лишена смысла без тебя... — он осекся; в сознании опять промелькнула мысль, что слова эти он от кого-то слышал. Возникла пауза.

— Это у тебя порыв, и он скоро пройдет.... — успокаивающе проговорила она. Задумалась на минуту, неожиданно глаза ее зажглись пониманием. — Самое главное, когда кончится это увлечение, ты заскучаешь и будешь искать что-нибудь другое.

— Ты не права, — удивился Айдар такому повороту разговора.

Он нахмурился и невольно принял выражение, с каким иногда слушал девушек при знакомствах. Гульбийке забеспокоилась, виновато посмотрела в его отчужденное лицо.

— Возможно, что я не права, но ты как-то легко говоришь. Ты, Айдар, сосредоточен на самом себе. По-моему, тебе никто не нужен. Ты даже ничего не спрашиваешь обо мне, — приподнимаясь и обнажая груди, она добавила: — Ты даже не знаешь, о чем спросить! — Улыбнулась: — А что, если я плохой человек, притворщица какая?

— Нет, ты не такая.

— А вдруг?! — она с вызовом приподняла голову.

— Это исключено! — твердо проговорил Айдар.

— Тебе интересно меня слушать? — настойчиво спросила она.

— Конечно, расскажи о себе, — ответил Айдар дрогнувшим голосом, опасаясь, что Гульбийке сейчас и вправ-

ду расскажет что-то такое, что может нарушить их хрупкие отношения.

— Только не ревнуй, — сказала она, угадывая его состояние. — Я говорю это тебе, чтобы как-то охладить твой пыл. — Она опять приподнялась на локте и доверчиво посмотрела на него. — Видишь, я с тобой до конца искренна! Так вот, я выросла в многодетной семье. Нас было семеро: у меня три брата и три сестры. Я самая младшая. Меня все любили, во всем потакали. Я была упрямая гордая девчонка, всегда настаивала на своем и делала так, как мне хотелось. Наверное, и расплачиваюсь за свой характер. В восемнадцать лет влюбилась в мужчину, который был намного старше меня и к тому же женат. А он хотел быть со мной, но в то же время не мог уйти из семьи. Я настаивала, добивалась, но ничего не могла сделать. Наша связь тянулась несколько лет, а потом оба его сына умерли от несчастного случая. Сперва одного ударило током, а другой в армии попал в аварию на машине. После этих несчастий я прекратила с ним встречаться, он остался со своей женой. После меня влюбился молодой парень, только что вернувшийся из армии, я была его старше. Хороший был, и жениться хотел, но только вот у матери он был один, в нем заключалась вся ее жизнь. Мать стала ко мне ходить, сначала плакаться, а потом умолять, чтобы я оставила ее сына в покое. Придет ко мне на работу, сидит, никуда не уходит, и плачет, о своей тяжелой жизни рассказывает, о трудностях, пожалей сына, говорит, — будто я не человек, а ведьма какая-то. Разорвала я с ее сыном отношения, тот, бедный, уехал на север, обзавелся там семьей и к матери не приезжает... Подумай сам, Айдар, какие это испытания! Ведь с тобой тоже что-то похожее будет!

— Почему?! — удивился Айдар.

— Может, я приношу людям только несчастье?

— Ну что ты! — запротестовал Айдар.

— Очень даже может быть, — тихо проговорила она. Подумав, добавила: — А вообще-то я обыкновенная и хочу себе нормального счастья: мужа, ребенка и так далее...

— Я дам тебе это счастье.

— Айдар, — вздохнула она. — Ты мне очень нравишься, даже слишком нравишься. Но ты не мой...

— Не понял! — удивился Айдар. — Из-за возраста, что ли?

— Не в возрасте дело, ты очень хорошо выглядишь, и держишься хорошо. Я вижу, что ты другой, из другой среды. Ты живешь своей жизнью. Извини, но ты живешь как будто по какой-то схеме, по чертежу. Тебе подходит именно такая женщина, как твоя жена. Любой скажет, что вы созданы друг для друга. Она такая холеная, ухоженная, правильная вся...

— По схеме? По чертежу? Ну, ты даешь! Вот так откровение! Не ожидал от тебя...

— Извини! Я не хотела тебя обидеть.

— Я не обижаюсь. Похоже, что так оно и есть... А жену я не люблю! Для меня сущий ад жить с ней под одной крышей.

— Она как никто другой понимает твои запросы...

— Она их никогда не понимала. Как ты сказала, это она лепила для меня схему, чертила свой чертеж. А может, это случилось еще до нее?.. — сам с собой рассуждал Айдар. — Что же мне делать? Почему я не познакомился с тобой раньше?! — требовательно поглядел он ей в глаза.

— Как было бы хорошо, — мечтательно проговорила Гульбийке.

— Давай уедем куда-нибудь на край света. Мне никто не нужен, кроме тебя. Этот мир для меня давно не существует, — взмолился Айдар, опять понимая, что произносит чьи-то чужие слова, и в отчаянье, закрыв глаза, приклонил голову к лицу Гульбийке.

— Не знаю, мой хороший, разве можно от себя уехать... — прошептала она, пытаясь проглотить ком в горле.

— Это правда, — проговорил Айдар, чувствуя, что по его лицу текут слезы. Испугавшись, что она может их увидеть, отвернулся.

К этому разговору они больше не возвращались, смотрели телевизор и изредка обменивались словами, стараясь быть друг к другу как можно внимательнее. Айдар ходил в буфет, и они поели. Гульбийке убрала со стола, помыла посуду. Потом они молча разделись и опять легли в постель. По телевизору показывали какой-то военный фильм, с экрана неслась автоматная стрельба, крики: «Ура!», слышался лязг танков и гул самолетов, но эти звуки проносились мимо их слуха, не затрагивали

сознания. И уснули они, будто хотели досмотреть фильм, а на самом деле думая о прошедших мгновениях, которые сейчас казались им счастливыми.

Проснулись они, как и накануне, с опозданием. До отправления поезда оставалось не более часа. Опять стали поспешно одеваться, собирать вещи. И снова, обжигая легкие морозным воздухом, бежали по холодным, заледенелым улицам.

Вокзал, как и вчера, был полон людей. Возле справочного табло толкалось много людей. Они искали данные о своем поезде, когда дежурная по радио объявила посадку. Толпа ринулась вниз, к выходам на нужную платформу по подземным переходам. Гульбийке потянула за рукав Айдара, они вышли из потока людей и стали в стороне. Он поставил сумку на пол, обнял и поцеловал ее в холодные губы. Она преданно посмотрела ему в глаза:

— Не обижайся на меня, напишешь — буду рада!

— Обязательно напишу, мы непременно должны увидеться!

Когда толпа поредела, они спустились в подземный переход. Вышли на заснеженный перрон. Люди с вещами торопились к своим вагонам. Между пассажирами, дергая их за руки и выпрашивая деньги, сновали вчерашние цыганские дети. Когда Айдар и Гульбийке нашли свой вагон, который почему-то один во всем поезде оказался неосвещенным, перед Гульбийке как из-под земли выросла вчерашняя цыганка в черном полушубке, с пуховой серой шалью поверх косынки. Она дернула Гульбийке за руку:

— Красавица, а я тебя искала, ты мне вчера ночью сразу приглянулась.

— Уважаемая, отойдите, она опаздывает, — Айдар попытался отстранить цыганку.

Но та не отставала, поймала за руку Гульбийке:

— Дай руку, милая, хочу погадать на твое будущее, — и стала всматриваться в ладонь девушки.

Айдар опустил дорожную сумку спутницы, нервничая, вытащил из кармана мелочь и протянул цыганке.

Цыганка, держа одной рукой руку Гульбийке, другой взяла мелочь и посмотрела на Айдара:

— Ты ж мой хороший! Ты ищешь то, что никогда не

терял. Не мучай себя. Недолго осталось, скоро все поймешь.

— Гульбийке, пойдем. Вот так они всегда голову морочат, — Айдар поднял сумку, пытаясь отойти.

Цыганка не давала прохода девушке:

— Ты не одна в этой жизни, у тебя много заступников.

— Пойдем, пусть не морочит голову, — резко проговорил Айдар.

— Нет, подожди, она что-то хочет сказать, — засмеялась Гульбийке.

Цыганка, взглядываясь в линии на ладони Гульбийке, промолвила:

— Ты не одна. Она тоже красивая.

— Кто — «она»? — опять засмеялась Гульбийке.

— У тебя есть сестра?

— Да, и не одна, а целых три, — удивилась Гульбийке. — Та, которая всего на год старше, очень похожа на меня.

— Я не про всех говорю, а про ту, которая на тебя похожа. — Вам надо увидеться, обязательно надо увидеться. Ты будешь счастлива, — она отвернулась от Айдара, ткнула пальцем в его сторону, помотала головой и тихо сказала: — но не с ним, ты встретишь своего человека.

Айдар услышал ее слова и опешил. Не выдавая волнения, поставил сумку на землю, пошарил в кармане, не найдя мелочи, вытащил бумажную купюру и, даже не взглянув какая, протянул цыганке.

Цыганка выхватила деньги, улыбнулась Гульбийке:

— Дорога тебе будет, помяни мое слово! — воскликнула она и исчезла, смешавшись с толпой пассажиров.

— Если вы из этого вагона, заходите. Поезд сейчас отправляется, — позвала стоящая у входа в вагон проводница в железнодорожной форме.

В вагон тем временем взбирался грузный пассажир с чемоданом. Они поднялись и пошли за ним. Тот тяжело дышал, то и дело натыкался на расставленные в проходе вещи, а Айдар, идущий позади, натыкался на него. Вагон был плацкартный, внутри пахло гарью. Айдар и Гульбийке кое-как добрались до нужного места. Айдар поставил сумку в ящик под сиденьем. Спросил:

— Какая сестра? Почему ты мне не сказала о ней?

— У меня есть сестра Айбийке, она живет в Алма-Ате, замужем, у нее двое детей. Я думала, зачем о ней говорить? Ах, да, — она поднесла руку к лицу, — теперь я поняла. Ты видел ее... Но этого не может быть!.. — она задумчиво посмотрела на Айдара и неуверенно закончила: — А вообще-то, кто знает...

— Кто знает? — задумчиво повторил Айдар, не успешивший прийти в себя после слов цыганки.

Несмотря на то, что напротив сидели люди, Гульбийке положила руки на грудь Айдара и прижалась лицом к его щеке. Он почувствовал, как она еле слышно всхлипнула, ощутил ее слезы и стал рукой вытирать их и губами осушать влагу на ее лице.

— Провожающие, прошу выйти из вагона! — раздался окрик проводницы.

Айдар усадил Гульбийке на место и, ни слова не говоря, поспешил по темному проходу.

На перроне никого не было. Как только Айдар спрыгнул на землю, ветер хлестко ударил его по лицу. Низкое небо плотно накрыло тускло светящиеся фонари. Айдар прошел вдоль вагона, нашел окно, за которым виднелся ее белый платок. Пригнувшись, она стала всматриваться в него. Кто-то отстранил ее от окна, она дала пройти и снова прильнула к стеклу. Чьи-то спины, появившиеся в проходе, снова заслонили ее. «Ты будешь счастлива, но не с ним... ты встретишь своего человека», — машинально повторил Айдар слова цыганки. Вот гадина! Смотри, что придумала... А я ни при чем?!» — острая обида, казалось, пронзила его насквозь. Гульбийке, выбравшаяся в тамбур и окликнувшая его, заставила забыть о злости и обиде. Взяв себя в руки, он побрел ко входу в вагон. Вот она, рядом, а через несколько минут поезд увезет ее в невидимую даль. «Может, цыганка права? Нет, она мне как родная!» Гульбийке смотрела сверху и улыбалась. А он глядел на нее и почему-то сам казался себе маленьким, жалким. Обида вернулась к нему. Не дожидаясь отхода поезда, он резко бросил: — Иди в вагон, замерзнешь! — и пошел по перрону.

Не оглядываясь, спустился в подземный переход. Вышел из здания вокзала...

Вскоре он бежал обратно по заледенелым улицам

города. Ветер подгонял его, он не смотрел по сторонам, не оглядывался назад. Было и ударяло по крышам так, что ему казалось, будто за ним мчится отряд кавалерии. Он бежал, торопился в ту комнату, которая еще хранила память о его счастливых минутах. Войдя в гостиницу, взбежал на свой этаж, быстро открыл комнату и, зайдя, тотчас заперся на ключ. Получилось как тогда, когда она была здесь — тогда он только входил в номер, и сразу замыкал дверь, будто боялся, что Губийке может уйти. Айдар быстро разделся, повесил дубленку и шапку на вешалку в шкафу, с надеждой взглянул — не висит ли еще здесь ее пальто? Прошелся по комнате. Во всем чувствовалось прикосновение ее рук. Он осторожно отодвинул стул, потрогал вымытые ею стаканы, понюхал подушку, отвернув одеяло, погладил простыни, но, боясь, что улетучится оставшееся от нее тепло, тут же прикрыл постель... А потом он увидел свое отражение в зеркале. Вспомнил себя студентом, жившим впроголодь. Отвернулся от зеркала и вправду вообразил себя тем Айдаром, каким был десять лет назад. Почувствовал свободу, рвение к жизни... к творчеству. Но тут же ощутил огромную пропасть между собой сегодняшним и тем, молодым, студентом. «То был не я», — сказал он себе. Потом опять посмотрел в зеркало, и в подтверждение своих размышлений увидел в нем себя молодого. Его смутил взгляд молодого человека, отражающегося в серебристом стекле. Глаза сверлили и укоряли его. «Это же не я!» — мысленно произнесли его губы. Он испуганно отвернулся, а затем опять взглянул в зеркало. И увидел свое сегодняшнее отражение. «Как он жалок! Одна тень осталась от того, прежнего» — прошептал отрешенно. «Удивительно, что это я так изощрялся перед бедной девушкой?! Хотел большой любви... Мне-то ничего не надо. Ничего! Ни любви, ни искусства! Мое сердце стало как сухая вата». От этих горьких мыслей ему на глаза навернулись слезы, но он вовремя себя остановил... Чтобы не жгла обида, не раздирала душу, он решил больше ни о чем не думать.

С таким настроением включил телевизор, не торопясь разделся и лег в постель. Как и тогда, когда был в номере с нею, глаза смотрели на экран, он ничего

не видел. Перед глазами была она, мчащаяся в темном, неудобном поезде, она удалялась в бесконечное темно-синее снежное пространство. Она удалялась... и начинала сливаться с этим безжизненным пространством...

Он вспомнил слова цыганки и остро ощутил, что в них есть какая-то обличающая его правда. Ему опять стало жаль себя.

— Это какая-то месть, насмешка... Кто же так отомстил, надсмеялся надо мной?.. Никакого порядка в этой жизни...— мелькали в его сознании чужие обрывочные мысли.

С этими думами он уснул. Пospав некоторое время, открыл глаза от ощущения, что она лежит рядом, положив голову на его плечо. Он испугался этого неожиданного незримого присутствия. Телевизор был включен, раздавались пронзительные гудки, на экране светилась надпись: «Не забудьте выключить телевизор!»

— А ведь и в самом деле, она сейчас лежала рядом! — томительно прошептал он и дотронулся ладонью до своего плеча, которое, казалось, еще хранило оставленное ею тепло...

Он закрыл глаза. В памяти снова ожили проведенные с Гульбийке вечера. Он представлял ее лицо, нежную гладкую кожу лица, опущенные веки, гибкое обнаженное тело. Сначала он увидел себя с ней со стороны, но потом в голову пришла мысль, что все это как будто происходило не с ним, а с кем-то другим, ему незнакомым. Душу заполонило абсолютное безразличие, и он удивился сам себе: почему не ревнует ее?..

Утром он проснулся от стука в дверь.

— Пора освобождать номер! — как будто из преисподней, прокричала из-за двери горничная.

«Пора освобождать место в жизни», — подумал он, не открывая глаз. «Ты занимал много места. Жрал, пил, блудил, свинья! Умничал и ничего путного не создал. Выдавал себя за другого... Ты, как безбилетный заяц, занимал чье-то место». Откуда-то из глубины подсознания вырывались эти жестокие обличающие слова, но голос был его. Его, Айдара Карамова.

— Но я не виноват. Меня обманули. Нет. То есть, я

сам обманулся. Я хотел стать хорошим. Стать художником. Я хотел творить, только не знал, для кого, — пытался он оправдываться своим голосом, однако ясно понимал, как неубедительны и бессильны его слова.

В комнате стояла могильная тишина. Тихо было и за окном. Ветер, видимо, унялся еще ночью. Сквозь занавески пробивалось яркое зимнее солнце.

— Все! — решительно произнес он про себя и долго лежал, напряженно думая, чтобы сделать какое-то самое важное умозаключение. Но вместо этого шепотом произнес: — И ничего! Пустота! Был — и нет! Будто и не родился. Будто никогда не жил... — После продолжительной паузы поправил себя. — Жил — и бесследно исчез. Растворился в воздухе. Память о моей жизни — это только моя память. Нет меня — и нет памяти обо мне, нет и моей жизни... Все так просто. Как после атомного взрыва...

Он встал и подошел к зеркалу. Вперил взгляд в лицо с седыми волосами, встретился с колючим взглядом горящих глаз, поправил пальцами кончики усов, погладил нос, усмехнулся.

— Нет, это не я.

И почувствовал, как заплакал от бессилия. Но только отражение невозмутимо смотрело на него. Он ощутил даже слезы на своем лице. Однако отражение смотрело на него без всякого намека на плач, требовательно и оценивающе.

— В душе одна пустота. Голая пустыня! — прошептал он.

Отражающийся в зеркале человек безмолвно сверлил его взглядом.

1990–2007 г. г.

КЕРАУЗ

Криво посадишь —
кривое дерево вырастет.

Поговорка

*А*либию семьдесят, а может, и больше. Сгорбившись, опираясь на медную палку, каждое утро он бредет за аул к конному заводу. Садится на почернелый гладкий камень у ограды и смотрит на лошадей. На голове у него черная, выдававшая виды каракулевая папаха, залихватски заломленная набок. Утреннее солнце бьет в глаза, старик щурится. Глаза у Алибия острые, живые, а при виде доброго коня алчно вспыхивают, как угли. Он ерзает на камне, дрожащие руки не находят места, и кажется, сейчас вскинет их, протянет, такие непомерно длинные, к гарцующему красавцу и погладит...

— Эх, во всем виноват Керауз! — шепчут его губы. — Во всем виноват Керауз.

До полудня, пока солнце не раскалится добела, не напечет ему спину, сидит он на камне в своей обтрепанной, без газырей, темно-синей черкеске. Не слышно ни людских голосов, ни конского топота и фыркания — давно табун угнали в луга, а глаза Алибия посверкивают мрачно и яростно. То ли в самом деле очень уж хорош статью был конь, за которым все утро с наслаждением следил, то ли мучила давняя память... Что-то он время от времени шепчет про себя и потирает ладонью седую щетину.

Аульчане и табунщики каждый день видят этого не-мощного старика, плетущегося по дороге в драной черкеске и каракулевой облезлой папахе, заломленной набок. Никого не удивляет, что часами просиживает возле ограды конного завода и смотрит на лошадей. Все при-выкли к нему. Но говорят, что он знает толк в лошадях... Да кому сейчас нужен этот толк, кого в наше время ин-тересуют лошади? Поэтому мало кого интересует и старик.

И прошло-то всего десять лет с тех пор, как ногайцы начисто искоренили лошадь из своей жизни. Десять лет, а куда подевалась былая слава непревзойденных наезд-ников, былая слава конных заводов? Ах, каких скакунов выводили! И вот забыли про лошадей. Никто не пьет ко-быльего молока, как было недавно не запрягает коня в подводу, не любит ржанием молодых жеребцов. Уже не видят ногайцы никакой пользы в коне. А между тем в своих песнях, не задумываясь над словами, поют о ска-зочных аргмаках, о скакунах, обгоняющих ветер и птиц.

А Алибий, это верно, знал толк в лошадях.

* * *

Отец его был табунщиком. Мальчишкой, Алибий вместе с отцом пас табуны Балта-мурзы. Целые дни про-водил в седле в поисках лучших лугов и вкусной воды.

Лишь когда начинало темнеть, отец отпускал маль-чишку домой.

— Алибий, сынок! — говорила мать и спешила от-ворить сыну ворота.

Она брала лошадь под уздцы и, любуясь, смотрела, как сын спрыгивал с седла, распускал подпруги, снимал седло и деловито, точно взрослый мужчина, нес в дом. Спутав, он выгонял коня на пастьбу.

— Мать, есть давай!

Мать стояла не шелохнувшись, любовно глядя на сына и удивляясь тому, как быстро он вырос. Потом спох-ватывалась, всплескивала руками: что ж она стоит? Бе-жала в дом и выносила круглый столик-сыпыру нарезала хлеба, накладывала в тарелку вареного мяса, наливала в чашку горячего ногайского чаю с молоком.

— Садись, садись, — приглашала она сына.

Алибий вытирал руки о шаровары и, сняв с бритой головы шапку, важно, как отец, расставив, локти, садился к столу.

— Что, сынок, делали сегодня? — спрашивала мать, присев поодаль.

— Делов много, — кратко отвечал Алибий.

И мать улыбалась, качая головой: как быстро перенимает привычки отца!

И все-таки он был еще мальчишка, ее сын, вдруг начнет о чем-нибудь рассказывать с детской горячностью. Таким он матери больше нравился, она хотела, чтобы хоть еще немного он оставался «ее маленьким».

— Змея кобылу укусила, а мы с отцом как стали хлестать ее плетками, эту гадюку, так насмерть! — рассказывал Алибий с набитым ртом, и его черные глаза восторженно блестели.

— Да ты ешь, ешь! — говорила мать, улыбаясь на его горячность.

Утром, как только показывался над степью край солнца, мать будила сына. Алибий сразу вскакивал на ноги и, пошатываясь со сна, бежал за лошадью. Приводил во двор, седлал, забирал из рук матери артпак¹ с едой. Поспевал чай. Стоя он выпивал чашку, взбирался на высокое седло и уезжал в степь.

Весной кобылы жеребились. Алибий с отцом ночевали в шалаше, ждали, когда ожеребится белая породистая.

В это утро Алибий проснулся до рассвета, было холодно, звёздно, блестела трава, покрытая обильной росой. Рядом с кобылой он увидел в траве голубого тонконового жеребенка. Подошел поближе и долго смотрел, как жеребенок, качаясь, встал на ноги, как нашел вымя и принялся сосать. Жеребенок был такой хиленький, в залезанной шерстке, он неумело тыкался матери в пах, ноги дрожали. Казалось, подломятся, не выдержат — и жеребенок рухнет в траву. Даже в груди защемило от нежной жалости к этому беспомощному созданию. Светало, над степью, над белой кобылой и голубым жеребен-

¹ Артпак — переметная сума.

ком вставало солнце, они были точно в красном огне... Много раз наблюдал Алибий в эту весну, как жеребились кобылы, но такого не видел: и мать, и сосунок, только что ею рожденный, казалось, летели в красном небе вслед солнцу...

— Из него выйдет настоящий скакун! Он из косяка чалого жеребца, который в прошлом году, оберегая косяк, ударом копыта убил матерого волка, — сказал отец, взглянув на жеребенка. — Назови его Керауз и вырасти доброго коня. Видишь, жеребенок весь белый, а низ мордочки черный. Черный рот! Пусть два года пробудет в табуне, потом объездишь.

Тягостным временем были для Алибия эти два года. Каждый день он видел в табуне жеребенка, и ни разу тот не подпустил — отбегал и издали, высоко подняв голову и наострив уши, пугливо косился на Алибия большими темно-синими глазами.

— Так его не возьмешь, — сказал отец, — Приучай к себе.

Алибий на лошади пытался догнать Керауза и накинуть на шею петлю курука — не вышло. Тогда отбил от табуна. Полдня, меняя под собой лошадей, гонялся Алибий за молодым скакуном и потом таскал на аркане по степи, пока не стал Керауз ронять под копыта хлопья пены, пока не смирился, обессилев...

— Огонь, а не лошадь! — говорил отец, оглаживая злобно фыркавшему коню взмыленную гриву. — Будет твоим, судьбу тебе сделает.

Жеребец рвался из аркана и скалил молочно-белые зубы.

Ранним утром, с уздечкой и седлом в руках, в тяжелых ватных штанах, надетых по совету отца, Алибий подобрался к стреноженному жеребцу, взнуздал, накинул седло. Одним махом он взлетел на спину Кераузу. Жеребец вставал на дыбы, подкидывал крупом, Алибий что есть силы натягивал поводья, раздирая удилами губы коню, а потом уж и не помнил, как носились по степи, теряя табун из виду. Со свирепостью, на всем скаку, не слушаясь повода, брал жеребец и вправо и влево, и бог знает, как удержался Алибий в седле... Отец еле разжал ему руки, вцепившиеся в мокрую гриву, и стащил с седла. Алибий упал на траву и сквозь радостные усталые слезы

глядел на своего Керауза, с которого отец ладонями смахивал пену.

— Зверь — не конь. Зверь! — ласково бормотал отец. — Подчини себе — и будет слушаться, как жена. И любить будет, как жена...

А ночью Алибий занемог. То бил озноб, то весь обливался потом и в забытии шептал сухими губами;

— Керауз, Керауз...

Утром отец отвез его домой. Позвали знахарку. Вся в черном, держа в руках черную курицу и клочок волчьей шкуры, она присела на корточки возле больного. Огонь в очаге освещал его осунувшееся пылающее лицо. Старуха пристально и долго смотрела в огонь, потом склонялась над подростком, дула на него, раскачиваясь, а кудахтавшая курица хлопала черными крыльями. Такую же курицу держала в подоле и мать Алибия. Она должна была отдать ее старухе взамен исцелившей. Черная курица забирала болезнь.

— Уф, уф! — ухала старуха, изгоняя злых духов. Черная курица тревожно вела по сторонам стеклянным глазом и вскудахтывала.

Знахарка сняла с очага котелок, где булькал отвар из трав. Налила в глиняную кружку и, дав остыть, силой заставила Алибия выпить. Потом она сидела возле очага, грея на огне волчью шкуру. Выдернула откуда-то из своих черных одежд большую иглу и с заклинаниями — прочь, прочь, злые джинны! — истово стала прокалывать опаленную, остро вонявшую шерсть.

— Получай, синий шайтан! — и плюнула через правое плечо. — И тебе, черный шайтан! Тьфу, тьфу!

Приподнявшись на локте, Алибий уставился в темный угол:

— Керауз... мой Керауз! Он там, там...

Плача, мать бросилась к сыну:

— Там он, сыночек, там!

Старуха чутко прислушалась и подняла над огнем дымящуюся шкуру.

— Слышу его и вижу его ... Злой дух сидит в этом коне. Горе и несчастья и погибель ему от коня! А в разлуке — спасенье...

Знахарка удалилась, захватив с собой кур, и мальчишка тихо забылся.

На слова старухи не обратили внимания, да и Алибий вскоре поправился.

Отец и Алибий отвели жеребца к кузнецу. Кузнец выбрал самые лучшие из собственноручно изготовленных подков и прибил их к копытам Керауза.

Прошел год с той первой весны, и новая настала. И хотя Керауз был в табуна, он привык к своему хозяину. С утра до вечера ухаживал за ним Алибий, чистил, купал в реке, кормил из рук. Так мать не холит ребенка.

— Улю-уль-уль! — кричал Алибий, и серебристо-голубой жеребец мчался на зов из табуна, преданно смотрели на хозяина синие чистые глаза.

Когда аульная молодежь ради забавы устраивала скачки на берегу Кубани, не было равных Кераузу. Особенно любили состязания с кожаным ведром, до краев наполненным водой. Надо было на скаку пронести, не расплескав, и только Алибию удавалось, не уронив ни капли на землю, проскакать с ведром, оставив всех позади. Он сдерживал жеребца, преследовавшие настигали, и с счастливым смехом вновь во весь дух он пускал Керауза.

Ко времени больших весенних скачек в честь первой борозды слава о Кераузе далеко разнеслась за пределы аула Балты-мурзы.

Ясное небо было в то утро, солнце щедро разбрасывало свои золотые стрелы. Плыли над степью пушистые, снизу подсиненные облака. Прохладная свежесть степного весеннего воздуха веселила душу, а вдаль, на юге, точно выкованные из серебра, стояли горы и своим блеском освещали над горизонтом бледное небо. Далеким горам, царство льда и снегов, казались краем земли. Счастливый год обещала аульчанам нынешняя весна. Снежной, метельной выдалась зима, и, как только под теплыми ветрами сошли снега, все буйно зазеленело вокруг. Глядя на сочные травы, люди радовались: быть обильному приплоду у скота, быть богатому урожаю. И в это праздничное утро каждый думал с весельем в душе, как затрещат огромные плетеные корзины-бежены, полные кукурузы или пшеницы, как накосит и свезет он во двор три-четыре больших стога сена. Никто в день сабантоя не хотел вспоминать о горестях и невзгодах, не было

такого человека, который бы не встал в это утро со словами:

— Бисмилла! Да будет всем нам удача!

Так сказал и отец Алибия и сам Алибий. Как он ждал, Алибий, этого дня — впервые его любимец участвовал в испытаниях.

Большим праздником в народе почитается сабантой. Целыми аулами выходят в степь, одеваются во все лучшее, щеголяя друг перед другом, многие в масках, несут с собою кувшины с бузой. Тонко заливаются свирели-кавалы, и толпами ходят за быком, поднимающим первую борозду и украшенным пестрыми лентами. Во главе праздничного шествия идет старик в маске козла. И когда ляжет, протянется из конца в конец поля первая борозда, начинаются состязания. В круг выходят борцы. Соревнуясь в силе и ловкости, парни толкают камень — кто дальше. Но самое захватывающее, чего ждут не дождутся, — это скачки, байга. Дикие скачки ногайцев! На десять, пятнадцать, а то и более верст. Насмерть загоняли коней. Случалось, и всадники оставались в степи с переломленными хребтами...

Да какой же это сабантой без скачек!

Столпившиеся возле стартовой черты были в восхищении, когда выехал Алибий на Кераузе.

— Такого скакуна больше не найдешь на обоих берегах Кубани! — восклицали бывалые старики и качали бородами.

— Аргамак, истинный аргамак! — то и дело слышалось в толпе.

На пригорке восседал Балта-мурза со своими кунаками. Позади доблестная свита, вооруженная саблями и старыми длинными турецкими ружьями. Взад и вперед скакали на лошадях мальчишки, с нетерпением ждавшие выстрела тамады-аксакала. Им самим хотелось поспорить с состязавшимися, они вертелись возле участников скачек, в оба уха ловили их разговоры, чтоб передать аульчанам, что услышат... У подножия пригорка примостились старики в овчинах и новых папахах. Расхаживала молодежь в щегольских узких черкесках. Особо, кружком, расположились мужчины, слушая домбриста-певца. А поодаль на ногайских арбах, увешанных коврами, кра-

совались девушки в нарядных платьях и высоких головных уборах: в этот день подросших невест вывозили на показ. Парни, будто случайно тут оказавшись, заговаривали с пожилыми женщинами, строго охранявшими невест, норовили заглянуть в лица девушек: не красавица ли? Кое-кому удавалось завязать и знакомство.

Но как только все пятнадцать всадников, гарцуя, выстроились вдоль линии, словно ветром сдуло парней. Привстали старики, опираясь на палки, показывая друг другу на всадника в красном бешмете и с красной повязкой на голове. Конь под ним отливал голубым серебром. Уже никто не слушал певца, рассказывавшего о героическом прошлом, а кабалши еще громче заиграл на свирели, закатывая глаза. Пеший тамада-аксакал отгонял аульных мальчишек, которые пытались присоединиться к состязавшимся. Мальчишки смеялись и поддразнивали тамаду. Тогда выехал конный муртазак и замахал над их головами плетью.

Кунаки мурзы тоже оживились, но больше всего их внимание привлек голубой жеребец. Все разом они обратились к Балта-мурзе:

— Продай коня!

Балта-мурза самодовольно прикрыл глаза, усмехаясь.

— Триста рублей: даю! — крикнул один из гостей.

— Я пятьсот!

Балта-мурза покачал головой нет, такого коня не продаст.

Он подал знак Алибию. Тот, натягивая повод, подъехал к пригорку.

— Эй, Алибий, — сказал мурза. — В этой байге будут скакуны карамурзайского и кумского мурзы. Не осрами меня, джигит! — и кинул Алибию серебряную монету.

Алибий поймал ее на лету.

— Если всевышний поможет!..

Дернул повод, выгнув Кераузу змеиную шею, и повскакал к толпившимся всадникам.

— Красавец, — многозначительно сказал один из гостей Балта-мурзы, следя за легкой поступью Керауза, — но посмотрим, как он себя поведет в байге.

Балта-мурза захохотал:

— Да я на него состояние поставлю!

— Состояние не надо, а на сто рублей можем поспорить. Мурза и гость ударили по рукам.

В байге участвовали наездники из разных мест. И лошади принадлежали разным владельцам — мурзам и людям не столь знатным, но состоятельным, у которых был не один табун; были и просто всадники-одиночки: все богатство — один-единственный конь. Эти не панимали мальчишку-наездника, сами состязались, надеясь выиграть главный приз.

Отец Алибия, подойдя к сыну, сказал:

— Будь осторожен, на таких скачках Керауз в первый раз. Держись подальше от соседей. Чего не бывает!

— Не беспокойся, отец! беспечно ответил Алибий.

Тамада-аксакал выстрелил в воздух. Лошади шарахнулись в сторону, иные с испугу взвились на дыбы. А затем и разноголосые выкрики всадников, и щелканье плетей, и гул толпы — все потонуло в грохоте копыт. И густая дорожная пыль скрыла наездников. Должны они были доскакать до соседнего аула и повернуть назад. Туда и обратно — как раз пятнадцать верст. Не всем было суждено вернуться с таких бешеных скачек. Обессилев, падали лошади. А бывало, и в десяти саженьях от заветной черты подкашивались ноги у взмыленного скакуна — и отец или родственник неудачливого всадника за узду тащили коня.

Вскоре и последний всадник пропал из виду, и из-за клубившейся пыли нельзя было разглядеть, кто ведет байгу. В ожидавшей толпе загадывали победителя, делали ставки. Многие принесли на плечах баранов, чтоб об заклад побиться на Керауза. А мальчишки скакали наперегонки вслед за байгой...

Алибий сдерживал Керауза, не вырывался из гущи всадников.

— Не спеши, не спеши, мой дорогой. Свое мы возьмем!

Он был уверен, что Керауз выигрывает байгу. И когда доскакав до аула, повернули назад, Алибий отпустил поводья. Всадники не успевали нахлестывать лошадей, глядя, как их обходит красный бешмет.

Скачку вели два байгуша¹ кумского мурзы. Один на вороном коне ушел далеко вперед, а второго, на сивом,

¹Байгуш — слуги, придворные, бедняки.

Алибий чуть-чуть не доставал. Он не опасался и первого, заметив, как неровно идет вороной: верный признак, что начнет скоро сдавать. Керауз же скакал ровно, чувствовал Алибий, что сил в нем еще много, легкие ноги, легкое дыхание были у коня, и душа была одна у скакуна и у всадника, рвавшаяся вперед и ликовавшая.

Байгуш в желтом бешмете оглядывался и изо всех сил нахлестывал сивого. И когда Алибий стал обходить, желтый бешмет загородил узкую дорогу. Дважды пытался Алибий вырваться сбоку и всякий раз натыкался на круп лошади соперника. Видно, сговорились между собой кумские байгуши, догадался Алибий. Он не рискнул выйти на бездорожье, а сивый надбавил ходу. Но Алибий настиг-таки его, стал все дальше теснить к обочине. И тут удар камчи обрушился на голову Керауза, Алибий едва не вылетел из седла. Потом еще раз хлестнула камча, обожгла колено Алибию, с пронзительным ржанием конь понес его в сторону от дороги, и, глотая пыль, в ярости закричал Алибий:

— Что ж ты делаешь, вонючий кабан!..

В облаке пыли, с топотом мимо пронесся вороной. Как ни хитрил желтый бешмет, но отстал, далеко отстал, и теперь только мокрый; посеревший от пыли круп вороного мелькал впереди, и слышались неистовые крики толпы:

— Давай, Алибий, нажимай!

Кусая губы, он приник к конской гриве и бил себя по колену рукоятью камчи — рядом был, весь в мыльной пене, судорожно скакавший вороной, но уж пельзя было его догнать. Привстав в седле и вскинув обе руки над головой, кумский байгуш пересек черту. Всего на, полкорпуса отстал от него Керауз.

Толпа недовольно шумела.

Чуть не плакал Алибий, камча висела в обессиленной руке.

— Они сговорились...

— Кто? Как сговорились?

Прискакал и сивый, роняя пену с боков. Алибий взмахнул камчой и бросился на всадника в желтом бешмете.

— Слезай с коня, подлая гадина... грязный кабан...

Толпа сразу обступила их.

— Что такое, в чем дело? — снова раздались недоуменные голоса.

— Не оставил живого места на моем коне! Всего изрубил камчой!

Его хотели удержать, но Алибий стащил с лошади перетрусившего байгуша и, повалив, стал хлестать.

— Сын собачий! — слышался голос Балта-мурзы. Толпа раздвинулась, давая дорогу.

— Проиграл мне байгу, раб! Всыпать сто плетей и не показывать мне на глаза! — орал мурза, с его красного взбешенного лица лился пот. — Сто рублей как в воду ушли... А ты, табунщик... ну, не знал, что так меня опозоришь!

Отец Алибия стоял перед ним с опущенной головой.

— Пощади сына, мурза. Нечестной была байга.

— Мне не нужна твоя честность. Я вижу одно: не первым пришел твой хваленый конь.

Тамада-аксакал вручил первый приз кумскому байгушу — белую бурку и кинжал. Второй приз достался Алибию. Это было седло кабардинской работы.

Ругаясь, мурза отсчитал сто рублей владельцу призового скакуна. А на следующий день Алибия притащили на княжеский двор.

— За каждый рубль — плеть! — приказал мурза.

Целый месяц пролежал Алибий в постели. И пока заживали раны, думал об одном... Теперь ему не будет доступа к Кераузу, будут его седлать и выводить ленивые княжеские слуги, и сам мурза захочет покрасоваться в седле. Забылась обида, нанесенная на скачках, улеглась, затихла и обида за незаслуженное наказание плетьюми, но тем нестерпимее становилась мука от разлуки с конем. Им уж никогда не быть вместе! Вжавшись лицом в подостланый войлок, он в слезах шептал Имя коня. И как теперь он ненавидел мурзу!

— Ничего, сынок. Слава аллаху, есть немного денег, и, если где встретится хороший конь, купим, — угешал отец.

Но о другом коне Алибий и слышать не хотел. Такого, как Керауз, больше нет. Слышалось Алибию его ржание, вспоминались счастливые дни, когда были они неразлучны... Медленно заживали раны, не так княжеские плети, изрубившие спину, оказались страшны, как тоска. Она душу накрывала мраком.

И хуже смерти было потом видеть, как выводили Керауза, накидывали на него седло, отделанное серебром, а грузный, краснолицый мурза блаженно поцокивал языком. Двое слуг подсаживали его, когда взбирался в дорогое седло. Керауз бешено рвал удила, становился на дыбы. Мордатые слуги еле удерживали коня. Недовольный Балта-мурза, ругаясь, слезал наземь. Но посматривал с гордостью на строптивного жеребца:

— А-а, шайтан! Красавец!

Алибий задыхался от ярости и тоски, когда толстозадый мурза карабкался на его любимца, и ликовал, когда этого мурзу, чуть живого, толкаясь, слуги снимали с седла.

— Не тебе ездить на моем коне! Не будет он твоим!

Все лето изводился и терпел Алибий. Осунулось черное от степного загара лицо, одни неистовые глаза жили в нем, и ходил он крадучись, как больной.

А в какую-то из осенних черных дождливых ночей все отступило — и страх, и тоска, и ненависть: были на свете только он и его Керауз. Он знал, без Керауза не жить.

Когда Алибий был еще мальчиком, отец подарил ему дува-талисман. Его привез из Мекки дед Алибия, совершивший хадж¹. Талисман оберегал от недуга, от зверя и от нечистого духа. Отец рассказывал, как на него напали чабанские волкодавы, — а ему тогда не было от роду и семи лет. Злющие псы разорвали бы в клочья, если б не помог талисман. Он был из львиной кожи, и собаки, почуяв запах грозного зверя, не посмели приблизиться.

А теперь на Алибий был этот спасительный талисман.

Он перемахнул плетень и услышал ворчанье сторожевых собак. Слуги на ночь спускали их с привязи. Алибий сорвал с шеи дува-талисман, выставил перед собой и шагнул в темноту. Собаки отпрянули с визгом. Он разбил замок на воротах конюшни, вывел Керауза.

Под проливным дождем, промокнув до нитки, Алибий добрался до дома и, не слезая с коня, постучал в дверь.

¹ Хадж — святое паломничество.

— Мать, открой! Это я!

Она выглянула в сырую темноту, приотворив дверь:

— Сынок, ты откуда? А это что за конь у тебя? — И догадалась, затряслась от рыданий. — О Аллах, спаси нас! Что ты наделал!..

Алибий молчал, сознавая, что ничем не утешит мать. Напоследок он должен молча снести ее упреки и слезы...

— Ах, чем мы прогневили Аллаха? — причитала мать, — Одни несчастья от этой проклятой лошади! — Оставь ты ее, сынок, не делай себе зла!

— Мать, — оборвал он, — дай на дорогу еды. В ауле мне все равно жизни нет. Ну куда ты поедешь? Куда?

— Аллах покажет дорогу. В горах таких много, как я. Не один, значит, как-нибудь проживу. Иди, мать, да принеси еды, пока не стало светать.

Алибий нашел в сарае седло и уздечку. Дождь не переставал, и было темно, как в колодце. На ощупь взнуздал Керауза, накинул ему на спину седло, крепко затянул подпруги. Вышла мать, неся полный арtpак, Алибий крепко обнял ее, сам чуть не плача, и вскочил в седло.

— Отцу скажешь, что я иначе не мог..

— Подожди, сынок! — она метнулась в дом и выбежала с отцовской буркой. Он свесился с седла...

Мать долго стояла в открытой двери, прислушиваясь к шлепанью копыт. «Может, это и к лучшему, что он ушел из аула?» — думала она в иные минуты, но, представив, как останется одна, в вечной тревоге, заплакала во весь голос, взывая к аллаху и проклиная коня, навлекшего на нее и на сына эту невзгоду. Она отрешенно смотрела в темноту, не обращая внимания на дождь. А войдя в дом, упала на колени, прося у Аллаха защиты. Она молила, чтобы праведной была у сына дорога... «Кривой саженец вырастет кривым деревом» — вспоминалась ей поговорка.. «О Аллах, не дай этого сыну моему! Наставь и обереги его!» — без конца повторяла она в исступлении.

Утром вернулся отец из табуна и, узнав об Алибий, словно окаменел. Он не зная, что делать: мурза ему не простит! А потом, решившись, сам отправился на княжеский двор.

Несколько дней шарили по степи люди мурзы, Алибия не нашли. Но за эти дни сильно, отец сдал и выглядел как дряхлый старик.

Похищая княжеского коня, Алибий не подумал, что станет с матерью и отцом. Затмил ему белый свет Керауз, отнял разум.

Днем он прятался в рощах, отсыпался, а вечером выехал на дорогу, держа путь к верховьям Кубани. Длинные ночные переходы измотали его. Однажды встретил пастухов — те всегда рады гостю в своем коше, накормили мясом, напоили шурпой. Спрашивали, кто такой, откуда? Алибий отвечал невпопад и вскоре запутался. Пришлось рассказать о себе все как есть. И тогда тамада коша, лукаво усмехаясь, сказал:

— Да мы, парень, сразу поняли, что ты за птица. Только удивило, конь тебя слушается. Добрый конь, можно рискнуть... Но дело это нечестное, и зря ты, парень, пошел по такому пути. Будем красть друг у друга — какая жизнь станет? Мне приглянулся твой конь, я украду. А иной и убьет. Нет, парень, это не жизнь!

Пастухи согласились со своим тамадой. Опустив голову, Алибий глядел в костер.

— Видишь, тебе и идти-то некуда, ни в одном ауле не примут. По закону заберут коня и пригонят к хозяину вместе с тобой, а в горах, думаешь, честные люди? Родного брата обманут, не пожалеют! Это сброд, управы нет на него. Они тебе не попутчики.

— Что же мне делать? В аул нельзя, там тюрьма ждет. Куда же? — отчаявшись, спросил Алибий. Тамада пожал широкими плечами.

— А может, бросить коня да наняться к кому-нибудь в батраки? Жил бы с людьми. Коня-то мы вернем мурзе. А когда все забудется, в аул воротишься.

— Подумай о родителях, какое горе им несешь. Кто ж их кормить будет на старости? — сказал один из чабанов. — Нет, тебе этот конь счастья не даст. Пожалеешь потом!

Алибий понимал, люди правы, но по совету тамады не мог поступить.

Наутро он распрощался с пастухами.

— Ну, счастливо тебе, сынок! — сказал добряк тамада, протягивая руку. — Опасайся Сафар-Али, не угоди в его банду. Попадешься — не пожалеем!

По слухам, в горах скрывалось немало разных людей. И из местных аулов — карачаевцы, ногайцы, черкесы, абазины. Были осетины, переселившиеся на Кубань. Стекались и из дальних мест — из Кабарды, Приэльбрусья, из-за хребта. Это сваны. Но особо жестоким разбоем и неуловимостью отличались чеченцы. Атаман Сафар-Али тоже был местный, какой национальности — не разберешь, но говорил на любом из тюркских языков, и многие принимали его за карачаевца или кумыка. А то и за ногайца... Абреки были отчаянными людьми, кто спасался в горах от закона, кто от кровной мести. Были и такие, как Алибий, — случайные одиночки. Искали легкой жизни и оказались в шайке Сафар-Али.

Не один день Алибий блуждал по лесу, спал под звездами, укрывшись буркой. То, что пастухи дали в дорогу, давно вышло: еще третьего дня подобрал последние крошки. А от ягод и диких лесных яблок еще сильнее мучил голод. Он уходил подальше от шумливых горных речек в надежде услышать голоса людей. А потом положился на Керауза, который сам находил заросшие тропы.

Многое передумал за это время Алибий. Он был не рад, что похитил коня. Что теперь будет с отцом и матерью? Больше всего он думал о них.

Однажды утром он набрел на большую поляну, притиснутую к голой скале. Шалаши и землянки сперва показались ему копнами сена, потом заметил погасший костер и сидящего возле мужчину в папахе и в бурке. Похоже, дозорный. Услышав шаги, тот поднял голову и взялся за винтовку.

— Наш? — спросил он, взглядываясь в оборванного человека, который в поводу вел коня.

— Нет, — ответил Алибий.

— Откуда?

— С низовьев.

Человек удивленно покачал головой:

— Юнец еще, а коня привел лучше, чем у нашего атамана! — И заблестел глазами: — А может, это конь привел?

— Да выходит, что так...

— Нашей породы! Ну, садись к костру, поболтаем.

Алибий сел, не выпуская повод из руки.

— Меня зовут Сафар-Али, — сказал человек, протя-

гивая холодную жесткую ладонь. — Атаман обрадуется твоему скакуну.

— А ты разве не сам атаман? — спросил Алибий, вспомнив предостережения пастухов.

Сафар-Али с усмешкой смотрел парню в глаза.

— Ого, все знаешь! Слыхал уже про меня?

— А ты думаешь, я пришел своего коня отдать?

— Нет, нет! Видать, ты из-за него дома лишился. Конечно, добровольно не отдашь. Дом на коня не меняют. Да еще на такой, который под открытым небом! Ты ведь сюда не звезды пришел считать? — Сафар-Али захохотал. — У нашего атамана много было таких скакунов, но ни один ему не принес удачи. А вот буланого не променяю и на целый табун.

— Я тоже своего не променяю, — сказал Алибий.

— Тут у меня джигиты очень хорошо разбираются в лошадях. Твой конь им понравится. Будь осторожен, парень!

Быстро стал Алибий своим в банде Сафар-Али... Конными отрядами нападали на богатые аулы, разбивали магазины, угоняли байские табуны лошадей, скот, не гнушались и добром крестьян, из тех, кто позажиточнее. Врывались и в города... Все больше отдалялся Алибий от прежней жизни и был не последним среди таких же отверженных. Научился повадкам и нравам абреков: насто-роже днем и ночью, с оружием не расставался, спал, а одним глазом следил за собратьями. Он не зарился в набегах, как другие, на чужое добро, его единственным богатством и радостью был Керауз. А в банде, случалось, резали друг друга из-за добычи. Может, давно бы увели Керауза да перекочевали в другую банду, только конь никого не подпуская к себе, кроме хозяина.

— Слушай, парень, триста рублей даю, приучи меня к Кераузу! — Не то в шутку, не то всерьез говорили абреки.

— Я когда-то не сто рублей получил, а сто плетей, — сердито отвечал Алибий. — Так что с меня хватит.

Хоть и втянулся Алибий в беспокойную вольную жизнь, но не нравилась ему эта жизнь, часто видел во сне родной аул, родной дом... седую мать, как ласкала в детстве, видел отца, степь, табуны и просыпался со слезами на глазах. Первое время даже наяву слышал окликавшие голоса матери и отца, он озирался, вздрагивая. И щемило сердце от воспоминаний и горя. Потом все реже ста-

ли являться во сне мать и отец, замолкли их голоса и воспоминания... Он был как упавший в воду сухой лист, который несет течением все дальше и дальше.

Сделали набег, на казачью станицу и вернулись с богатой добычей — пригнали скот, лошадей, несколько арб с добром. Между собой поровну поделили, десятая доля шла атаману. За неделю, прошедшую с набега, кое-кто сумел награбленное продать в горных аулах, переправить родственникам. Но Сафар-Али был зол, недоволен. Собрал отряд и, войдя в круг абреков, похлопывая камчой по голенищу сапога, сказал:

— Хочу знать, кто в прошлом набеге первым был в доме казачьего атамана? Абреки заухмылялись.

— Откуда нам знать? Кто теперь разберет!

— Спрашиваю добром, паршивые псы!

Притихли, а потом указали на Алибия:

— Вот он и есть первый.

Кто скривил губы в усмешке, кто захохотал: знали, что не въезжал Алибий в станицу, а стоял, охраняя арбы, куда сваливали награбленное.

Сафар-Али крепче сжал рукоятку камчи.

— Я, кажется, вспомнил, — сказал рыжий кабардинец и встал. Он взглянул на худого низкорослого абрека, заросшего бородой, который, опустив голову, сидел за спиной старого усатого чеченца. — Арслан, не ты ли первый кинулся в дом атамана?

Тот вскинул тревожные глаза;

— Ты спятил, рыжий! Я сбивал замки в лавке купца.

— Нет, Арслан, ты! Мы все в магазин, а ты с конем во двор атамана въезжал.

Рыжий говорил на ломаном тюркском.

Абреки чесали затылки, поглядывая на кабардинца и на худого Арслана. Недоумевали, к чему клошит Сафар-Али.

Атаман шагнул к Арслану.

— Не я! — вскакивая, закричал коротышка

— Плеть! — сказал Сафар-Али.

Нукер сбегал за плетью, которой наказывали провинившихся, и подал атаману.

— Спимай оружие!

Дрожащей рукой Арслан вытащил пистолет, бросил к ногам нукера.

— И саблю!

— Атаман, не я, клянусь аллахом, не я! — бормотал Арслан, с мольбой глядя на атамана.

— Ты или не ты?

Сафар-Али раскрутил в воздухе плеть и что есть силы стегнул абрека по тощей спине. Завыв, тот повалился в траву. Старая черкеска лопнула от удара.

— Где золото, которое ты взял из сундука казачьего атамана? Где, плешивый? — Он опять рубанул по спине. — Атаман пожаловался в управу, что, кроме всякого добра, взяли четыре золотых браслета, тридцать золотых червонцев и кинжал в серебряных ножнах. Куда все это девал?

От ударов плети свалилась папаха с головы абрека, обнажив белую плешь. Плеть Сафара-Али в лоскутья изрубил черкеску, на голом теле вспухли кровавые рубцы.

— Так его, так! — одобрительно шумели абреки.

— Не скажешь, убью! — Сафар-Али свирепел все больше.

А Арслан уже и стонать перестал. Сафар-Али бил и бил.

— Хватит, атаман! Он уже очоурился вроде! — крикнул один из абреков.

Сафар-Али вытер рукавом черкески потное лицо.

— Воды! Принесите воды! — приказал он. Нукер приволок из землянки бурдюк с водой, Плеснул на окровавленного Арслана.

— Говори!

Арслан приподнял бородатое, забрызганное кровью лицо, прохрипел:

— Скажу, атаман... Одному тебе!

Золото казачьего атамана Сафар-Али прибрал к рукам. Абреки не любили его и боялись. Он скрывал свое прошлое, однако многие знали, что прежде Сафар-Али жил богато. Да все было мало! Стрелял в родного брата, чтоб завладеть имуществом, но рука и глаз подвели — брат остался жив и выдал властям Сафар-Али. Тот бежал из тюрьмы и с тех пор скрывался в горах. Знали об этом абреки, меж собой говорили о нем с презрением и страхом, но Сафар-Али был ловок, удачлив, с пустыми руками банда из набегов не возвращалась. Одевался Сафар-Али сообразно со своим благородным происхождением. На нем всегда была чистая черкеска, до блеска наваксенные русские сапоги, бухарская шапка. Он не прятался в

лесу, как остальные. Появлялся в аулах, бывал даже в городе, особенно в базарные дни. Банда без него бы распалась, он держал джигитов в повиновении и страхе.

Прошел месяц, и из ночного набега не вернулся рыжий кабардинец, исчез бесследно. Были слухи, что нашли труп в каком-то селении, по приметам, тот самый рыжий, что указал на Арслана. Догадывались, чьих рук это дело, но предпочитали помалкивать. Из трех сотен бумажных ассигнаций и двух отделанных серебром седел, добытых Арсланом в набеге, Сафар-Али взял себе только сотню и ни словом не обмолвился о кабардинце.

Однажды он подсел к Алибию, латавшему пробитую бурку. Помолчал, огляделся. Никого поблизости не было.

— Такой, как ты, у меня в отряде один, — сказал Сафар-Али. — Мои молодчики стараются побольше урвать, у каждого только это на уме. А ты чего хочешь, не могу понять!

Алибий отложил в сторону заштопанную бурку, тоже помолчал.

— А зачем мне богатство? В аул я все равно не вернусь.

— Нам всем в родные места не вернуться. А разбогатев, спокойную жизнь поищем, пристроимся где-нибудь.

— Я в другом месте жить не смогу. Мне бы домой, в свой аул, — задумчиво сказал Алибий.

— Все еще надеешься?

— Не знаю, атаман. Ничего не знаю. Только в другие места не тянет. Думаю, как там без меня отец и мать?

— Встанешь на ноги и их к себе заберешь, — убежденно сказал Сафар-Али. — Не век же нам тут торчать!

— Да можно и так, — согласился Алибий.

— Эх, парень! Пока дождешься, когда помрет твой мурза, и собственная жизнь пройдет. А на место мурзы сядет его сын или брат — разницы для тебя никакой. Ты смелый джигит, и сноровка у тебя джигитская, быстро можешь разбогатеть. Запасешь на черный день. Не знаю, парень, но лежит к тебе душа. Как пришел в отряд, везет нам, удача с нами! Ты как наш ангел-Хранитель! — Сафар-Али с усмешкой покачал головой. — Я хоть и мерзавец, считают, и никого не люблю, а болит за тебя душа, чем-то мне приглянулся.

Алибий ничего не сказал. Сафар-Али откинулся на

спину, закрыл глаза, предаваясь далеким воспоминаниям. Потом снова заговорил:

— Жизнь коварная штука. А люблю я жизнь! Конечно, когда все имеешь. Когда у тебя все есть — это жизнь. Красивая жена, можно две, дом под железной крышей, деньги... Как, джигит, это хорошая жизнь? А я так жил. Один только недостаток у такой жизни: богатому человеку хочется еще быть богаче. Азарт это или аппетит появляется? Не пойму... В детстве мой воспитатель рассказывал такую сказку об одном хане. Жил этот хан богато и привольно. Земли сколько хочешь, табунов тыщи, золото в слитках. Замечает он, слуга у него не чист на руку, ворует. Понемножку, но приворовывает. Думает хан, какое же дать ему наказание? Долго думал и придумал. «Слуга! — сказал он. — Я для тебя пытку искал, в темницу думал засадить, но ты ее не заслуживаешь. Мог бы голову отрубить, но не хочу. Ведь от бедности крадешь! Поэтому дам тебе столько земли, сколько сможешь обежать». Ханское слово — закон. Обрадовался слуга. Один день бежит, мало, ему кажется, земли. Второй день бежит, третий... Тут и дух из него вон. Услышав, что слуга помер, хан сказал: «Верно, ему больше земли, чем на могилу, и не нужно было». Вот, парень, какая натура человеческая, — она ненасытная! Всего мало кажется. Все вроде бы есть, еще хочется! Были у меня жена, каменный дом под железом, много десятин земли. А мне — мало! А сейчас: цела голова — и тому рад...

— А где ж это все теперь? — спросил Алибий.

Атаман махнул рукой:

— А теперь не вернуть... Да и зачем это мне? Есть небо над головой — и слава богу. А ты: конь да конь! Подумай о будущем — черта ли тебе в этом коне! У меня таких коней были табуны.

Непонятым сегодня был атаман, что на него нашло? Алибий не слишком вдумывался, отчего Сафар-Али затеял этот разговор, только сказал обиженно:

— Таких не было, как Керауз.

— Были, парень! Вроде твоего белого.

— Не может этого быть.

— Х-ха! — Сафар-Али засмеялся. — Далекое не будем ходить, вон в Егутей-ауле, мимо каждую ночь проезжаем,

живет Асхад-бай, он из ваших, ногайцев. Есть у него скакун красной масти, до которого твоему как до неба. Два года не могу взять. И замки крепкие, а самое главное, полный двор волкодавов. Весь аул будят.

— Не может он быть лучше Керауза! — возмущился Алибий.

— Твой на свободе, а хороший конь всегда под замком. Хорош тот конь, которого никто не видал.

Алибий задумался.

— Я тебе его приведу. И посмотрим, чей лучше! Атаман пристально заглянул Алибию в глаза, качнул рыжей бородой.

— Не много на себя берешь, парень?

— Приведу! Только достань бутыль араки.

Алибий вспомнил, что рассказывал рыжий кабардинец, когда ходил с конокрадами. Размачивали хлеб в араке и бросали голодным собакам, и те не трогали людей. Их шатало... Крепко надеялся Алибий и на свой талисман.

Под вечер следующего дня он отправился в Егутей-аул. Оставил коня в лесу, а сам лег на пригорке в низком кустарнике. Ему хорошо отсюда был виден аул. Двор богатого бая стоял на окраине, стекла и железная крыша блестели в закатном солнце. Во дворе сутились работники, конюхи чистили лошадей у стены длинной конюшни... Из аула доносились бляение овец, людские голоса. Со стороны гор уже дуло прохладой. Среди байских лошадей Алибий увидел и тонконового скакуна красной масти, возле похаживал хозяин в темной черкеске и бухарской высокой папахе. Он любовно оглаживал коня, совал обе руки в торбу с зерном, которую за ним носил слуга, и целыми пригоршнями скармливал коню. Тот пританцовывал и мотал головой. Темно-красная шерсть переливалась в отблесках гаснущей зари. Конюх поставил перед ним ведро воды. Конь склонил длинную шею, понюхал, пить не стал и ударом копыта опрокинул ведро. Хозяин удовлетворенно засмеялся, похлопал коня по холке, а потом конюха исхлестал камчой. Коня заперли в сарае, отдельно, и удверей улегся серый громадный цепняк.

Алибий подождал до полночи. Ночь выдалась лунная и холодная. К сараю Алибий подобрался со стороны кукурузного поля, огражденного низким плетнем, однако

пролезть в открытый двор не решился. Дважды он бросал волкодаву смоченные в араке лепешки, тот рычал, влзлаивал, рвался с цепи, но дотянуться не мог. Лишь на третий раз лепешка упала у сарая. На лай сбежались сторожевые псы и похватали куски. Скрипнула дверь, с керосиновой лампой, с ружьем на крыльцо вышел сонный хозяин.

— Чего это они лают? — спросил он самого себя, ежась от холода. Он осветил дверь сарая и, убедившись, что замок на месте, осветил и собаку. Волкодав поднял мутные глаза и злобно зарычал.

— У-у, ты! Зверюга! — хозяин махнул на пса фонарем. Озираясь, он ушел в дом, и Алибий, выждав, когда стихнет ворчание волкодава, пробрался к сараю.

Сорвать железным шкворнем замок было делом привычным. Ни один из псов не поднял бреха, не кинулся. Вывалив язык, спал на боку и серый цепняк...

Атаман принял подарок и охотно согласился, что нет коня лучше Керауза. Красного жеребца отвели в Кубанское ущелье и продали карачаевцам. С тех пор Алибий стал копокрадом. Бывший табунщик, он понимал толк в хороших лошадях и знал, как ведут себя на выпасе табуны. Отбивал лучших жеребцов, и они уводили за собой кобылиц. Косяки отменных лошадей перегонял Алибий с абреками не только от берегов Кубани, но добирался: и в Пятигорье и дальше — в ставропольские степи к етисанским ногайцам. Лошадей сбывали в горах.

Пошла молва о его дерзкой смелости, а Керауз, не раз спасавший от погони и пули, разжигал азарт. Свою выручку Алибий отдавал Сафар-Али, ничего ему не было нужно. Он не хотел и не умел копить. Атаман поселил Алибия в своей землянке, с виду они были неразлучные друзья. И верно, атаман уважал бесстрашного парня и обещал забрать с собой, когда придет время бросать опостылевшее логово. «Со мной не прогадаешь, не пропадешь!» — часто говорил ему Сафари Али.

И тут пришла на Кубань новая власть. Называлась — советская. Сгинули, подевались куда-то мурзы и баи. Непохожи на прежние стали аулы. Туго стало и абрекам. Без добычи возвращались из набегов. И когда совсем сделалось невмоготу, атаман собрал банду.

— Настал конец нашей вольной жизни. Отпускаю вас, дружки мои! Душевно и сердечно мы были близкими... Не можете вернуться в свои аулы — идите в другие, но помните наше братство. Вместе нам оставаться нельзя, повсюду война. Мы разойдемся, но будем ждать своего часа. Не забывайте меня и друг друга!

Сафар-Али обошел всех и всех обнял. Алибию он сказал:

— Перевалим горы и — в Турцию. Тут нам не жизнь. Деньги у нас есть, купим дом, заживем — лучше не надо!

Он был уверен, что Алибий пойдет. И когда тот отказался, немало удивился.

— Я тебе рай предлагаю! Турция — священная страна!

— Нет, Сафар-Али. Я домой.

— Смотри, прогадаешь, парень! Деньги хоть возьми, что заработал! — и протянул кошелек. Алибий взглянул исподлобья.

— Не надо. Руки есть, ноги есть, копь есть, не пропаду, атаман.

— Деньги и при новой власти деньгами останутся, — сказал Сафар-Али и высыпал несколько червонцев Алибию в ладонь. — А не забыл красного скакуна? Помнишь, как один гнал табун? А базар в Пашиинске — прямо на глазах увел жеребца! А когда в Пятигорье ходили, как ты отвлек табунщиков, а мы тем временем угнали отборный косяк! Эх, дружище! Не хватать мне будет тебя.

— А мне тебя, атаман. — Алибий крепко потряс Сафар-Али за плечо.

— Может, передумаешь? Дело бы открыли!

— Нет, атаман.

— Счастливый ты, парень!, — завистливо проговорил Сафар-Али. — Дождался своего дня, мурз не стало.

Поедешь в родной аул... Только неизвестно какой будет новая власть. Ну да будь здоров.

Он спустился в землянку и вынес два тяжелых артпака.

— Помоги! — сказал Алибию.

Вдвоем взвалили на вьючного коня артпаки, и Сафар-Али похлопал по ним ладонью:

— Вот на что надеюсь! У тебя конь — счастье, у меня вот это.

Сафар-Али привязал повод вьючного коня к седлу своего мерина, крикнув, взобрался в седло. Алибий тоже вскочил на Керауза.

В горах была осень. Обнажались склоны ущелья, желтели травы. Ехали берегом каменистой речушки, вода кружила, несла опавшую листву. Хмурым осенним днем выпало им расстаться... Атаман переехав мелкую речку, поднял на прощанье руку и повернул коня к югу. Алибий смотрел вслед, пока всадник не скрылся в балке...

Ранним утром второго дня он въехал в аул. Среди низких камышовых крыш нашел Алибии и почерневшую крышу своего дома. Он медленно ехал вдоль улицы. На него глядели из окон. У дома он спешился. Окна и двери были крест-накрест заколочены досками, плетень местами обвалился. Алибий остановился посреди заброшенного двора и сжал в руке повод.

— Ой, да это, кажется, сын наших соседей! — услышал он женский голос.

Из дома напротив шла к нему женщина в черном платке и голосила, царапая себе лицо:

— Ой, одинокий ты, одинокий! Да кому было, как не мне, старой, пережить твое горе! Ой, бедный Актажи, разве он знал, что таким вырастет его сын? Если б знал, разве умер! Бедная твоя мать разве исплакала бы свои глаза, если бы знала, что настанет день, когда ты вернешься? Разве бы зарос бурьяном этот двор...

Она обняла Алибия, припала лицом к его плечу. Подходили женщины из других соседних домов, обнимали Алибия и плакали, показывая, что разделяют горе. Молодые парни молча здоровались с Алибием и отходили в сторону, уступая дорогу степенным старикам в длинных, до пят, черкесках.

Старики и рассказали Алибию, что стало с его матерью и отцом: худо, жестоко обошелся с ними Балта-мурза, нищими сделал, и не прошло года, умерли оба от тифа...

В первую же неделю Алибий сделал поминки по родителям: деньги Сафар-Алигодились. Пришли соседи, вычистили двор, сколотили навес, женщины развели огонь в очаге. Мулла прочел Коран для стариков. Женщины отдельно совершили обряд оплакивания. Все, кто знал его мать и отца, навестили Алибия. Сводили на кладбище и показали могилы. А еще через неделю Алибий попросил у соседа арбу и быков и привез с берега Кубани два больших плоских камня. Аульный устаз за золотой червонец выбил на них надписи на языке Корана.

Одни разочарования принесло Алибию его возвращение. Теплыми вечерами он подолгу просиживал на пороге, вспоминая родителей. Он чувствовал вину перед ними. Нехорошо было одному в пустом доме, словно бы и дом укорял его. Доносились крики муллы с минарета, Алибий вставал, шел в сарай к Кераузу. Обнимал за шею и стоял отрешенно.

Алибий скрыл от аульчан, что был в абреках. Ему рассказывали о новой власти, о том, как переменилась жизнь, теперь все равны, никаких господ. Стало быть, и свою жизнь надо начинать заново и о прошлом постараться забыть. Но пустой родительский дом и Керауз постоянно напоминали о прошлом.

На аульном совете Алибия избрали табунщиком. Теперь он с утра до ночи пропадал в степи, была привычной такая жизнь. Часто и почевал под открытым небом, в ауле старался бывать реже, домой не тянуло... И в ауле он встречал горячие завистливые, как у абреков, взгляды. Эти взгляды точно ощупывали Керауза. А иногда Алибий слышал, как за спиной его клеймили вором. Среди одногодков друга он себе не нашел. И оттого, что редко появлялся в ауле, большее время проводя в степи с табуном, и оттого еще, что был одинок, угрюм и не казался им ровней. А может, причина была в Кераузе... Но пожилые люди хвалили парня — трудолюбивый, а некоторые и так говорили:

— Настоящий мужчина! Пора бы семьей обзавестись. Они намекали на своих подросших дочерей.

У Алибия в ауле не было родственников, он остался последним в роду. И считали, что лучшего зятя не найти. «Одинокий зять что новый родственник».

Нравился он и девушкам. Встречали его, идя по воду, и оборачивались, перешептывались...

Не спрашивай того, кто много жил, а спроси того, кто много пережил, говорят в народе. А Алибий немало повидал на своем недолгом веку. Видел и убийства, и отчаянную храбрость. Видел насилие и страх. Узнал, что такое голод, узнал цену и сытой жизни. Не смог Алибий найти общего языка со сверстниками и в ауле оставался таким же нелюдимым, как среди абреков. Никто не навязывал ему своей дружбы. Только соседи, люди семейные, обходились с ним ласково. Когда на рассвете уезжал в та-

бун, какая-нибудь женщина выносила ему теплых лепешек. И в благодарность он привозил в бурдюке кобылье молоко. Женщины тоже намекали ему, что пора бы жениться. Алибий и сам подумывал о семье.

В ауле собирались играть свадьбу — привезли невесту в дом жениха, молодежь устроила танцы. Алибий падел новую черкеску, пошел посмотреть. Танцевали во дворе при керосиновых лампах, под гармонию. Парни хлопали в ладони, по очереди выходили в круг, останавливались перед какой-либо из девушек, мелко перебирая ногами в лад с быстро игравшей гармонисткой и высоко поднимая голову: приглашали на танец. Девушки смеялись.

Алибий отвык от таких сборищ, а вернее, и привыкнуть-то не успел: седло, ночные набеги, винтовка — вот и все, что было в его жизни. Хмуро он смотрел на веселившуюся молодежь. Потом почувствовал на себе взгляд из толпы девушек: прячась за спину подружки, смущенно и пристально смотрела на него круглолицая незнакомка. Они встретились взглядами, и девушка, вспыхнув, тотчас опустила глаза. А когда начался круговой парный танец, Алибий решил, что делать ему здесь больше нечего. И тут к нему подвели эту круглолицую, чтобы потанцевал. Отказаться было нельзя, такой уж порядок: потанцевал с девушкой — дай с ней потанцевать другу или еще кому-нибудь. Пришлось Алибию выйти в круг, держа девушку под руку, и пристроиться к последней паре. Так он познакомился с Аминат. Чувствовал, что понравился, а в себе не мог разобраться.

Если и была ему знакома нежность, так лишь к Керазу. Ближе и родней существа у Алибия не было. Он и разговаривал больше с конем, чем с людьми, жалуясь на одиночество. А одинокому и солнечный день кажется ночью...

Друга среди людей Алибию не нашлось, зато враг объявился. И как раз после тех танцев.

Парень по имени Касбот был из зажиточной семьи и в том возрасте, когда подыскивают невесту. Аминат ему приглянулась, да он ей, верно, был не по душе. Что не по душе, не особенно огорчало, а вот Алибий, вставший между ним и Аминат, разжигал злобу и ревность. На вечеринки Касбот стал ходить в компании дружков и не

расставался с ножом. В ауле бывали убийства, и если отыскивали убийцу, что случалось не так уж часто, то начиналась кровная вражда. Впрочем, мести Касбот не боялся: за Алибия некому было мстить. А тот даже не подозревал о сопернике и не замечал ненавидящих взглядов низкорослого усатенького Касбота. Ему было хорошо с Аминат, когда по вечерам провожал ее домой: танцы устраивали теперь чуть ли не каждый вечер.

Затеять ссору на танцах Касботу не давали его же дружки, уводили, считая, что подло обижать обездоленного, одинокого человека. Касбот с ухмылкой покусывал вислые усы: ворюга, бандит, он получит свое!

Однажды он подстерег Алибия на темной улице. Вынул нож и шагнул навстречу, загородив дорогу.

— Предупреждаю, бандит: не отстанешь от Аминат, кишки выпущу! Ты еще не знаешь меня. Я по-мужски предупреждаю...

Алибий скрутил ему руку, отобрал нож и ушел. Нож он выкинул по дороге.

Касбот больше не попадался на глаза, но Алибий чувствовал, что добром дело не кончится. Он обо всем рассказал Аминат. И она не скрыла, что парень ее всюду преследует.

— Ты будь осторожен!

Этому его не надо было учить. Да и что мог ему сделать хилый Касбот, разве что выстрелить в спину из-за угла... Если этот трус не промахнется, значит, судьба. Но в такую судьбу Алибий не верил.

Только плохо он знал своего соперника.

Как-то перед рассветом ему приснилась большая вода, шли волны, на волнах качались белые-белые подушки и среди них белая плывущая грива Керауза. Как распущенные женские волосы...

— Алибий, прощай людям и мне прости. Прощай людям!

Чей это был голос, кто с ним прощался? Уж не Керауз ли? Среди белых подушек белые длинные волосы и этот прощальный зов...

Он проснулся со смутным ощущением беды, горя, оделся и вышел во двор, залитый рассветным туманом. И закричал так страшно, что разбудил соседей:

— Керауз!..

Возле распахнутых дверей сарая с перерезанным горлом лежал его конь. И белая грива, и холка, и земля вокруг были в крови.

Алибий обеими руками схватился за голову и рухнул на колени.

— Керауз!

Сбежавшиеся соседи с ужасом смотрели на скакуна-красавца, лежавшего в луже крови, на Алибия, то выкрикивавшего, то бормотавшего как в помешательстве:

— Керауз!.. За что же тебя?.. Люди хуже зверей! О Аллах, о всевышний! Как скотину прирезали... Звери! Недаром мне снилось...

Опираясь на палки, пришли старики; дети, прикусив губы, задумчиво смотрели на мертвого коня, мужчины в негодовании разводили руками; женщины, увидев кровь, с содроганием отворачивали взгляды и, столпившись на улице, проклинали убийцу...

— Чтоб руки у него отсохли! Так обидеть несчастного...

— Не было ему доли с этим конем...

Двое стариков, взяв под руки, увели Алибия в дом. А труп коня отвезли на арбе за аул и зарыли в землю.

Старики спрашивали Алибия, не было ли у него врагов, кого можно подозревать. Алибий молча глядел в земляной пол.

Три дня он не выходил из дому. Была осень. Ветер метался за окнами, сорил сорванной желтой листвой. Пролетали над аулом низкие облака... Вечером, тайком от родителей, прибежала Аминат.

— Горе у тебя...

Алибий зажег керосиновую лампу.

— Зря ты пришла. Ты во всем виновата. Из-за тебя убили... Но Касбот поплатится жизнью!

Аминат заломила руки.

— Не трогай его! Во всех ногайских аулах кто-нибудь есть из их рода, они мстят жестоко.

— Жалеешь?

— Какой ты бессердечный! А я как же буду?..

— Кровь Керауза — невинная кровь, и за нее поганый Касбот ответит своей кровью. Не жалея его, уходи Аминат. Мне теперь никто не нужен.

— Я уйду! Но подумай о себе. Ты вон поседел за эти дни... А что конь? Будет другой...

— Не будет! — сказал Алибий.— Такого не будет. Ке-рауз мое несчастье, тогда я из-за него лишился родителей, а сейчас... — Он посмотрел в заплаканное лицо Аминат. — Найдешь себе жениха, спокойную жизнь. Не обижайся, такой уж я уродился...

Он проводил Аминат за порог, отчаянно, горько было у него на душе...

А ночью кто-то сильно заколотил в дверь. Алибий отворил. Из темноты высунулось чье-то бородатое костистое лицо. Алибий с трудом узнал бывшего муртазака Юнуса, одного из тех, кто наказывал его плетью. Он нахмурился: только этого мерзавца не хватало. Подобрал длинные полы черкески, Юнус шагнул в дом.

— Что тебе? — недовольно спросил Алибий.

— Сперва прими и дай отдохнуть, — буркнул гость, не обращая внимания на неприветливый тон.

Он прошелся по комнате, с важностью уселся на тах-тамет, взгляделся в хозяина. Поседел парень, наверно, горе какое-то. Но какое — не стал спрашивать.

— Говори, что тебе нужно?

— А ничего! У тебя как в нашей поговорке: сначала серчанье, потом рассуждение. Правильно, сынок. Правильно! Только, сынок, есть и другая поговорка. Кто старое помянет, тому глаз вон! Забудем мелочи, — улыбнулся Юнус снял папаху с бритой головы. — Мне от тебя, сынок, ничего не нужно. А наш мурза давно тебя простил. И просил передать, что дарит того коня. В подарок дает. Вот я затем и прибыл издалека. Все равно что не с пустыми руками.

— Не нужно мне его подарков, лошадь и так моя! Какое ему дело до моей лошади?

Видно, муртазак не знал о гибели коня. Алибия взорвало:

— А вот за мной есть должок твоему хозяину.

Хотел бы я увидеть его и вернуть долг.

— Мурзу скоро увидишь. Он простил, и ты его прости. Что было, то прошло, — сказал Юнус.

«Было и прошло», — горько повторил про себя Алибий. Жизнь-то в абреках не скоро забудешь...

— Мурза все про тебя знает, — снова заговорил муртазак. — Где и с кем скрывался. До аула-то, наверно, еще не дошло? До власти этой новой? А узнают, по головке не поглядят, а, сынок?

— А что известно твоему мурзе?

— И сам догадываешься! — бородач сладко заулыбался. — С Сафар-Али был знаком?

— Был! — Это имя заставило Алибия вздрогнуть.

— Так вот он большой друг нашего мурзы. Просьбица к тебе у атамана.

— Да ведь он в Турцию собирался!

— Это долгая история. Здесь он, не в Турции. А как в Турцию добирался, да не добрался, об этом тебе атаман сам расскажет. Слышал он, что ты у новой власти ходишь в табунщиках. Мурзе нужны лошади. Вот и просил атаман помочь в этом деле...

Впервые за весь разговор Алибий растерялся. Опять Сафар-Али... мурза. Опять расставаться с аулом. Только и прожил год, от осени до осени. Но все равно здесь нельзя оставаться, если расплатишься с Касботом... Выходит, опять крыша над головой — ясное небо.

— Хорошо! — твердо сказал он. — Куда гнать? И когда?

— Отряд в лесу возле Биз-кая. Едем прямо сейчас. Конь при тебе?

— Нету его.

— Это как так? — удивился муртазак. — Продал что ли?

— Продал. Я себе найду в табуне.

Алибий достал из-под войлочного ковра завернутый в тряпку револьвер, снял бурку с гвоздя. Сказал Юнусу, чтоб оставил коня, а сам пусть пеший идет вверх берегом реки, там и табун найдет.

— Я догоню. Мне надо кое с кем рассчитаться.

— А-а, — понимающе улыбнулся муртазак. — Уже и враги появились. Правильно! Собак надо стрелять.

Вместе вышли во двор. Алибий вынес из сарая седло и узду, оставшиеся от Керауза, протянул Юнусу:

— Потом заберу. Не нарвись на табунщиков, будь подальше от их шалаша.

Он отвязал лошадь муртазака и выехал в темный проулок. У дома Касбота, не слезая с коня, постучал рукоятью пистолета в забор.

— Касбот, я хочу тебя видеть!

В доме зажгли лампу, скрипнула дверь, и на высокое крыльцо вышел старик, придерживая портки.

— Кто нужен? Янболат, Темирболат?

— Касбот! Позови его.

— Всем кто-то нужен и все ночью, — проворчал старик. — Чем только мои сыновья занимаются?

Через некоторое время, сонный, в нижнем белье, с лампой, появился Касбот. В правой руке он сжимал кинжал.

— Касбот, подойди! — крикнул Алибий.

— Кто ты?

— Подойди ближе, убийца! Это я, Алибий. Ты убил Керауза и получишь пулю! — И следом прогремело подряд два выстрела.

Зазвенело стекло упавшей лампы, Алибий повернул коня и вдавил ему в бока каблуки сапог...

К рассвету он и Юнус подгоняли табун к лесу у Биз-кая.

Случай снова привел Алибия в банду, но и сам он решил покинуть аул, сведя счеты с Касботом. Встреча с муртазаком только ускорила это решение. Рано или поздно он расквитался бы за кровь Керауза. Обозлился Алибий на жизнь: везде несправедливость. И уж лучше среди зверей жить по звериным законам, чем с людьми, которые на вид люди, а хуже зверья. Сафар-Али при всей его жестокости был больше понятен Алибию, он ничего не утаивал. Жил разбоем и грабежами и не болтал о справедливости. Где и была правда, так лишь в той, прежней его жизни, там все были равны друг перед другом, каждого на свой лад обездолила жизнь... Одна была правда — живи, пока жив. А что такое новая власть, революция, которые докатились до здешних мест? Алибий одно твердо знал: власть всегда была против таких, как он. Слышал, конечно, говорили: народная власть, все будут счастливы. Да вот к нему и при новой власти не пришло счастье. Думал зажить мирной жизнью, чтобы были семья и собственный двор, и вдруг по-воровски прирезали коня, его единственную радость... Теперь чего ждать? Все стало для Алибия безразлично. И воспоминания о вольной жизни в абреках сделались дорогими: с ним был Керауз, сам он был молод, и верилось, живы и ждут его мать и отец. Ближе Сафар-Али у него в той жизни не было нико-

го, и сейчас, гоня табун по ночной степи к Биз-каю, Алибий думал с волнением о предстоящей встрече.

Он не сожалел о том, что пристрелил Касбота, такое не раз совершалось на его глазах. Его удивляло порой, как просто один человек отнимает жизнь у другого. Но Касбот был хуже убийцы. Алибий считал, что свершил правое дело. Было, правда, сомнение, и сон ему вспомнился, белая грива в волнах и жалеющий, предостерегающий, молящий о прощении голос. Но не дрогнула рука, кровь и обычаи предков оказались сильнее...

Сафар-Али с большой радостью встретил Алибия. В белой черкеске, в каракулевой байской папахе, подошел, обнял и, поглаживая бороду, сказал:

— Я знал, что мой давний друг не подведет! Ну, обнимем еще раз! От мурзы тебе особая благодарность. Мурза, выйди встретить нашего друга! — крикнул он, держа обе руки на плечах у Алибия. — Выше голову, дели-бас! За табун и мое спасибо!

Возле костров сидели вооруженные люди и смотрели на вновь прибывшего. Кое-кто был из того же аула, что и Алибий, но знакомого в парне они не признали.

Из шалаша, недовольный, заспанный, вышел мурза.

— Вот смотри, — засмеялся Сафар-Али, — украл у тебя скакуна, а нынче с лихвой вернул долг!

— Я прощаю ему тот проступок, — важно сказал мурза и протянул Алибию красную мясистую ладонь.

Склонившись, Алибий потряс ее обеими руками.

Сафар-Али отвел Алибия к костру, и вдвоем они посидели до рассвета. Бывший атаман рассказал о себе... В Турцию он не попал. Добрался до моря и в городе прокутил и проиграл в кости все, что было. Кое-как перебился до весны и подался назад через перевал. Рассказал и Алибий, как жил этот год, как отомстил за Керауза.

— Да, славный был конь! — сожалея, вздохнул Сафар-Али. — Я бы ту суку за ноги повесил!

Он изменился, лихой атаман, уже не тот был, что прежде. Видно, не сладко ему пришлось... Не говорил больше ни о Турции, ни о богатстве да и вообще не знал, как жить дальше.

— Вернулся в горы, а что делать, куда податься? Пристал к отряду мурзы. А ни радости, ни печали. Послушать

его — борется за восстановление порядка. Разве то, что было, вернуть? Я неизвестно за что воюю... Пусто на душе, вроде бы и жить ни к чему.

Алибий хорошо понимал своего бывшего атамана.

И еще так сказал Сафар-Али:

— Есть у тебя конь, или верный товарищ, или отец, или мать, или мечта о богатой жизни — тогда на сердце легко. И жить легко. А когда все потеряешь, ты как рыба в кипящем котле.

— Это верно, атаман, — согласился Алибий. — Но вот скажи мне... Когда байгуш нечестно выиграл скачки, я получил сто плетей. Да, увел Керауза. А за что пострадали отец и мать? За что Керауза убили? Кому он худое сделал? Нет на земле правды. И бога нет! Нет его в людях! Моя мать молилась всю жизнь, а умерла, не увидев светлого дня.

— Вон как стал рассуждать! Выходит, не зря поседел. О боге я ничего не знаю. Мне до него дела нет, а, ему до меня... В детстве учили молитвам, а подрос — грамоте. Воспитатель заставлял читать Коран. Но я не постиг и перезабыл все молитвы. Из детства мне запомнился такой случай. Отец был человек щедрый, во дворе, бывало, до вечера толкутся нищие и убогие, отец всех одаривал. Приходили к нам и двое иных, известных за пределами ногайских аулов. Ширай и Ярлы. Один слепой, другой безногий, на костылях, — за поводыря. Оба грязные, оборванные, бородатые. Я их боялся и убегал, когда они приходили. Но отец и воспитатель говорили, что эти люди несут на своих плечах страдания человеческие, что их бояться не надо и нельзя обижать. Дескать, они людей учат жалости. Пришли однажды эти блаженные, отец велел привязать собак и обоих хорошо накормить. Слепому Ярлы он всунул в руку золотую монету, и слепой стал целовать отцу сапоги. Потом они ушли. Мальчишки побежали на реку, а я отстал — видел, как хромой повел Ярлы к стогу сена. Святые, интересно на них посмотреть, когда они одни. Ширай стал требовать у слепого монету, а тот трясет башкой и только улыбается. Тогда Ширай попробовал отнять силой. Но пальцы не смог разжать. Ярлы закатывает белки, улыбка на слюнявых губах... Укусил за руку. Ну, хромой и хватил его костылем по голове.

Оба воют, Ярлы весь в крови, а этот прыгает вокруг на одной ноге и бьет, и бьет! Я прибежал домой и рассказал отцу. Ярлы нашли под стогом: оскалился, мертвые белки глаз, кровь... С тех пор сколько ни старались меня склонить к богоугодному — ничего не получалось. Не осталось во мне никакой веры. Нет в людях бога — это точно. И в нас его нет, — усмехнулся Сафар-Али. — Кто сильнее, тот и прав. Люди боятся силы, и, пока есть страх, мир среди них.

Алибию нечего было возразить. Но ему вспоминались аульные соседи, поминки по родителям, теплый хлеб, который по утрам выносили сердобольные женщины. Вспомнил Алибий и пастухов, приютивших его в одну из тех первых и злых ночей... Все-таки было в людях добро! Но было и зло, а чего больше, на чем стоял мир?

Вольготно жилось банде: налетали на беззащитные аулы, на сельсоветы, убивали активистов, грабили добро. А непокорные аулы сжигали, сминая лихими руками жиденькие пешие красноармейские заслоны, пленных вырубали дочиста. Крепко надеялся мурза на возврат старого времени... Потом пошли слухи, что пал Новороссийск, уплыли на иностранных пароходах остатки разбитой деникинской армии, а с концом Врангеля и вовсе круто все переменялось. Стали теснить к лесам конные чекисты, сильно поредел отряд.

Ничем Алибий уже не отличался от остальных бандитов. Все реже вспоминалось об аульной недолгой жизни, о Кераузе. Редко он разговаривал и с Сафар-Али: все время то в седле, то в перестрелке с наседавшими чекистами. Он стал замкнут и нелюдим.

В один из дней банду Балта-мурзы окружили. Ее остатки укрылись в глухом лесу, мурза был убит в бою. Это был конец. Пробовали поодиночке вырваться из окружения, но отовсюду встречали выстрелами.

— Надо сдаваться. Говори, Сафар-Али, что делать?

Сафар-Али спешился, привязал коня к дереву.

— Кто хочет на виселицу, пусть отдает себя в руки чекистов! Надо прорываться всем сообща. Лошадей здесь оставим.

Шли цепью, прячась за деревьями, стреляя навскидку. Чекисты отступили, разорвав кольцо.

Сафар-Али потянул Алибия за рукав черкески:

— Приотстань, вместе пойдем!

Они вернулись к оставленным лошадям и услышали, как позади вспыхнула отчаянная стрельба. К ночи выбрались из леса, попетляв по еле приметным тропам. За лесом, вдали, все еще стучали винтовочные. выстрелы, но, верно, бой уже кончился — это добивали недавшихся. Чекисты явно заманили отряд в ловушку.

— Оставили мы товарищей, а надо бы дорогу им показать, — сокрушенно сказал Алибий.

Сафар-Али оглянулся на далекие редкие выстрелы и дернул повод.

— Век бы мне с ними не встречаться. Хвала Аллаху, что сами ноги унесли!

— Нехорошо поступили, атаман. Сафар-Али только махнул рукой:

— Нехорошо, знаешь... лежать в траве с дырявой башкой!

Заночевали в степи. А потом, кочуя из аула в аул, уходя все дальше от места последнего боя, ночевали в первом попавшемся доме, а то и просто в сарае где-нибудь на околице. Позже перебрались поближе к аулу Алибия, вырыли в овраге землянку и днем старались не попадаться на людские глаза. Выходили по ночам и грабили одиноких пугников или аробщиков.

Нельзя было не заметить перемен в аульной жизни: поля запахивали сообща, это называлось «колхоз», — но хорошо это или плохо, Алибий не понимал. Да его и не интересовало. Родной аул был ему ненавистен. Отнял родителей, исковеркал жизнь... А воспоминание о том утре, когда увидел Керауза с перерезанным горлом, черной тенью накрывало душу. Иногда вспоминал мать, прощание. «Не послушал ее! Зачем, зачем?» — мучил себя раскаянием. Но надвигался вечер, и, как зверь на охоту, выходил к дороге следом за Сафар-Али. Нападали и на аулы. Врывались в кулацкие дома, угрожая оружием, и уносили ценное. Сбывали потом на стороне. Уводили и лошадей из конюшен — в таком деле Алибий был мастер. Лошадей он любил больше всего на свете, у него сердце дрожало, когда видел доброго коня.

Однажды остановили цыганскую повозку. Сафар-Али приставил дуло револьвера к горлу пожилого цыгана и потребовал золото:

— У вас всегда есть золотишко, гяур!

Цыган божился и клялся, что они нищие, восемь голодных оборванных детей в повозке. Какое у них золото, они про него и слышать не слышали.

— Пожалей нас, хороший человек!

Сафар-Али оглядел коня. Белолобый, красивый, можно продать за добрую цену.

— Распрягай! Как, Алибий, возьмем?

И цыган, и жена, и цыганята, воя, ползали в пыли у ног Сафар-Али. Умоляли не забирать лошадь, ей только и кормятся, без нее им всем хоть ложись на дорогу и помирай!

— Лучше убей нас!

Сафар-Али отшвырнул цыгана, вытащил из-за голенища нож.

— Грязные гяуры! Пули тратить не стану!

Алибию стало не по себе.

— Да оставь ты их, — сказал он. — Смотри, кто перед тобой. Такие же, как слепой Ярлы!

Сафар-Али злобно оскалился:

— Больно жалостливый! Если всех будем жалеть...

Но коня цыганам оставил — не с руки было ссориться с Алибием: не прежние времена, когда атаманил.

Хуже собачьей была их жизнь, да и такой она нравилась Сафар-Али. Только после размолвки все чаще один уходил и возвращался с рассветом, довольная усмешка поигрывала на обросшем лице. С пустыми руками не приходил, а если, случалось, убивал, то говорил презрительно:

— Я давно понял, людей губит жадность!

В Кубек-ауле была у него вдова. Сафар-Али раз в неделю тайком ее навещал. Тогда он бывал благодушен.

Но, видно, выследили, как по ночам ходит к этой вдове, опознали. И не кто иной, как сосед Янбек-землепашец. Он и донес. Сафар-Али еле спасся в балке.

Утром они застали доносчика в поле. Там и еще были люди из Кубек-аула. Подъехали верхом на лошадях, окружили. Тесня конем, Сафар-Али выгнал Янбека из толпы.

Лежать бы Янбеку на пашне с простреленной головой, если б не Алибий. Крепко они с Сафар-Али схватились на этот раз, и опять как будто смирился бывший атаман. Смерть миновала доносчика, но до самого дома, заставив раздеться до порток, гнал его Сафар-Али и с седла рубил камчой по голой спине.

— Дурак ты, приятель. Совсем стал дураком! — с тихой ненавистью сказал он Алибию спустя несколько дней. — Что меня ожидает, я знаю. И тебе не будет пощады! Но пока проживем. Вот перезимуем, а весной судьба сама покажет...

Кое-как перезимовать удалось, а весной как раз и настигли их в балке.

Сафар-Али отбивался яростно, двоих колхозников кинжалом, но и сам упал под топорами. Лежащего, его изрубили нещадно. Алибия же, связав арканом, отвезли в район. Потом переправили в город.

Его судили и за бандитизм приговорили к пятнадцати годам. В то время Алибию было тридцать пять лет.

Он вернулся в родной аул пятидесятилетним стариком. Ни семьи, ни близких. Его с трудом и узнали: сухой, горбится, морщинистое, в седой щетине лицо. И лишь живые, бегающие глаза говорили, что он увертлив и боек. Дом и приусадебный участок еще в войну перешли к другому человеку. Дали Алибию заброшенную развалюху, залатали крышу, вставили стекла в окна, миром собрали на первое обзаведение — кто посуду, кто кровать, а кто и одежду, оставшуюся от брата или мужа, не вернувшихся с войны. Люди знали, что такое горе, и сочувствовали чужому. Они жалели этого изломанного жизнью человека, почти позабывшего родной язык в чужих краях. Их смешило и трогало, когда он радовался, как ребенок, вспоминая забытые слова. Поначалу, правда, считали за полоумного, но когда он в первую же весну посеял у себя кукурузу и пришел в правление колхоза просить работу, переменили к нему отношение. Был бандитом, да не по своей воле им стал, и было это давно. Страшная война, прокатившаяся по аулам, далеко отодвинула те годы в людской памяти...

Алибия поставили сторожем при колхозном амбаре. Старики, знавшие прошлое Алибия, подшучивали над ним:

— Доверили волку овец стеречь! — И похлопывали его по плечу: — Смотри, мешок с зерном — не лошадь, на нем не ускачешь!

Алибий не обижался.

Сошелся он с одинокой пожилой женщиной по имени Емисхан и зажил семейно. Муж Емисхан погиб на войне, детей у нее не было. Она сама попросила одну из подруг намекнуть Алибию, что не прочь бы и замуж за него пойти, если согласен.

Алибий рассудил: женщина немолодая, немолод и он, и если жить одним двором, то обоим было б неплохо. У нее корова, он в колхозе получает трудодни. Он так и сказал, придя к Емисхан.

Сойдясь, они, и верно, зажили нехудо: корова, птица, сняли урожай кукурузы с участка. Только лошади не было во дворе, и Алибий тайно копил деньги.

Полнотелая, разговорчивая Емисхан часто посмеивалась над Алибием — больно уж он был угрюм:

— Слова от тебя не дожدهшься! А наверно, когда на лошади с камчой да с пистолетом носился — джигит был? Вот бы на тебя посмотреть! — И не подозревала, что была в самую точку: Алибий тосковал по собственному коню. Память о Кераузе не умерла в нем.

Емисхан продолжала:

— Мы девчонками были — нас тобой пугали. Ох, умереть можно со смеху! А ты такой смирный... И как ты мог быть бандитом, ума не приложу!

Как-то зимой Алибий поехал в район за покупками по хозяйству. Сойдя с подводы, дошел до магазина и во дворе районного судьи увидел линейку и двух светло-сивых лошадей, привязанных к кормушке с овсом. Сердце в Алибий замерло. Белогривый Керауз встал перед глазами... Долго он простоял на снегу у забора, Наблюдая за лошадьми. Ноги заоченели, но не сводил глаз с коней, вспоминал свою жизнь, Керауза. Ах, чистой же был конь! Лошади всхрапывали, из ноздрей валил пар на морозе, и, когда они поворачивали голову в сторону зачарованно смотревшего на них человека, тот вздрагивал и шептал что-то беззвучно. Виднелось ему, как скакал по степи, укрощая неистового жеребца, виделась байга и абрехские набеги...

Домой он вернулся окоченевшим и задумчивым пуще прежнего. И ночью, лежа с женой, впервые ей рассказал о Кераузе. Емисхан не на шутку перепугалась, узнав как за него отомстил Алибий.

— А ведь один из братьев того Касбота сейчас в городе большой начальник!

— Что он мне сделает, старику? Может, не следовало убивать, но не мог простить подлость. Такого скакуна, аргамака... Был как человек. Он другом мне был! И как скотину... по горлу, ножом!.. Сколько лет мне снились белые подушки, его голос...

Крепко запали Алибию те белые лошади, которых увидел во дворе судьи. Из головы не выходили. Сидел ли дома, расчищал ли снег во дворе — все они! Красивые упитанные, глаза синие, пугливые... Хоть пешком иди — не прикоснуться ладонью, не погладить, а лишь взглянуть.

Ах, если бы так!

Скопленных денег хватило как раз на две пары валенок. Алибий весь день проторчал в райцентре, а ночью, когда угомонилось село, прокрался к двору судьи. Лунной обещала быть ночь, но повезло Алибию: натянуло облака, повалил снег. С валенками под мышкой Алибий прошел к сараю, раскрутил проволоку, которой была замотана щеколда на воротах. Выбрал ту, что посчитал резвее, надел на ноги ей по валенку и вывел на снег. Закрыв ворота, закрутил проволоку. И с конем — долой со двора.

Лошадь он отвел в стоявшую неподалеку от аула старую кошару.

Утром, конечно, обнаружили пропажу. Но очень удивились: никаких следов от конских копыт, только весь двор истоптан валенками. И то все уже снегом замело. Уж не джинны ли похитили коня?

Удивились и потом, когда весной нашли краденую лошадь; зачем нужна была Алибию? Ни в своем дворе держать, ни продать. А вот каждый день носил ей в кошару овес, чистил, холил. Сидел в углу и любовался...

Люди ахнули, узнав, какую штуку отколол их односельчанин. Емисхан рыдала, ломая руки:

— Сумасшедший! Помешался на лошадях! С кем я связалась... Видно, у тебя такая судьба. Мой первый муж хоть и поколачивал, но разве на такое пошел бы?

Отсидев пять лет, вернулся Алибий в аул и вовсе уж стариком. Смеялись и жалели: ну что взять с такого? Недаром говорится: горбатого могила исправит. Тяжелая и нелепая жизнь. Не нашел человек своей дороги...

* * *

Поднимается старик рано утром, вровень с солнцем, и, опираясь на медную палку, ковыляет к конному заводу. И садится у ограды на облюбованный валун.

— Эй, дед! — весело кричат ему табунщики. — Не укради наших лошадей!

Алибий кривит в усмешке рот. Щурит быстрые глаза. При виде доброго коня они вспыхивают, разгораются, как угли. Старик ерзает на камне, дрожащие руки не находят места...

— Во всем виноват Керауз, — бормочет он.

Знает Алибий толк в лошадях. Да кому теперь это нужно? Он как хищный зверек, попавший в капкан, — а рядом на тропе привычная жертва, которую не достать.

Видятся ему белая грива и синие, нежные глаза... Старик поправляет сползшую набок папаху, встает. Хочется ему поскорее уйти, но ноги не слушаются. Он ковыляет, опираясь на медную палку.

Воспоминания измучили его, он хочет уйти от воспоминаний...

С топотом, молодым ржанием проходит мимо табун. Все они, лошади, кажутся похожими на Керауза! Сотрясая землю, табун уносится в сторону полыхающего белого солнца.

Старик вздыхает с горьким удовлетворением:

— Нет, не было второго скакуна, как Керауз. Не было!

Ногайцы забыли про лошадей. Почти не едят конину, никто не пьет хмельного кобыльего молока, не запрягает подводу коня, любовно не настораживает слуха, когда заржет маленький стригунок. Не видят ногайцы никакой пользы от лошадей. А между тем в своих песнях, не задумываясь над словами, поют по сей день о сказочных аргамаках, о скакунах, обгоняющих ветер и птиц.

1973 г.



КУРЖУН, В КОТОРОМ СПРЯТАНО ДЕТСТВО

Повесть

Светлой памяти моей матери Суйдимхан и
тёти Ажитотай посвящаю

Вот уже девять лет, как я живу вдали от дома, и все эти годы поддерживают и согревают меня воспоминания. Тихие и грустные, они с приближением каникул становятся острее, пропитываются тоской разлуки и радостным предчувствием свидания с прошлым.

Каникулы! Есть в них особая, ни с чем не сравнимая прелесть. Едва успеешь приехать, едва придешь в себя от встречи с родными, едва окунешься в атмосферу радостного узнавания всего, что тебя окружает, — надо уезжать. За это короткое время не успеваешь даже ощутить дом как реальность, а воспринимаешь его таким, каким создало воображение. И только-только начинаешь замечать черты обыденности, будничность, житейскую прозу — каникулы закончились! Поэтому остается от встречи с домом ощущение праздника — светлого, чистого, пронизанного радостью возвращения в детство.

Я вырвался из большого шумного города, подгоняемый нетерпением увидеть маленький, тихий городок, где я рос; войти в тот двор, где я делал первые шаги, прислушаться к тому далекому и одновременно близкому прошлому, память о котором хранят и старая акация у крыльца, и яблони сада, и камни ограды.

Долгая, томительная дорога. Долгий путь тихими сонными улочками родного городка...

Ты еще там, в шуме и суете, оставшейся позади, в вагоне поезда, с его нудными, тягучими часами ожидания, там, но уже и здесь... в детстве.

И когда остается совсем немного до встречи с домом, когда сквозь листву огромных тополей уже видна его белая шиферная крыша, вся твоя недавняя жизнь кажется далеким и нелепым сном. Лишь когда окажутся позади первые поцелуи встречи, и светлые слезы радости, и смех, и объятия, тогда всплывут вдруг в памяти хлопоты, заботы, оставшиеся в большом городе, всплывут и исчезнут, чтобы не появляться до самого отъезда.

Я в своей комнате. Осматриваю ее со смешанным чувством радости, удивления и настороженности. Все в ней кажется знакомым и в то же время незнакомым, своим и чужим, отстраненным, утратившим со мною родство. Странное чувство!

...Старый диван, на котором я спал, шифоньер, в котором хранилась моя одежда; моя книжная полка — теперь на ней учебники для восьмого класса; стол с радиоприемником — все это мое и уже не мое. Теперь здесь живет младшая сестра — восьмиклассница.

На диване она спит, за столом она занимается, в шифоньере хранятся ее платья. И все в комнате носит отпечаток принадлежности сестре, постоянного неуловимого общения с ней. Едва-едва угадывается, что когда-то эти вещи были моими друзьями, свидетелями моих радостей и бед. Даже окно, к которому я часто прижимался лбом и подолгу глядел на улицу, окно, у которого я мечтал, когда мне было радостно, грустил, когда мне было трудно, даже это окно, столько знавшее обо мне, теперь не мое.

Только куржун, который одиноко и независимо висит в углу, не изменил мне. Он по-прежнему помнит меня, принадлежит только мне, связан только с моим прошлым. И конечно же, первый взгляд — на него... Вот он, куржун.

Он висит здесь давно, с того времени, когда наша семья переехала из аула в город... Все знают, что в нем хранится, но никому его содержимое не дорого и не интересно. Лишь мать, когда тоска обо мне подкатит к сердцу непереносимой болью, снимет, наверное, со стены

куржун. Развяжет его. Созовет моих сестер. Бережно вынет из куржуна каждый предмет и расскажет его историю. Взгрустнет, помолчит, задумается... Для нее куржун и все, что в нем есть, — воспоминание; для меня это и воспоминание, и часть жизни. Самая дорогая и чистая, самая ясная и светлая ее часть — мое детство. Оно-то и хранится в этом бесценном куржуне.

У нас в доме установилось, стараниями матери, трепетное, чуть ли не культовое отношение к некоторым вещам. В детстве это казалось мне странным, но сейчас, став взрослым, я понял мать. Ее преклонение перед материальными свидетелями радостных или грустных событий помогло сохранить в памяти все дорогое и святое из прошлого. И я признателен матери за то, что она сберегла вещественные напоминания давних лет, а вместе с ними аромат времени, его неповторимое очарование. Иногда молитвенное отношение матери к вещам-символам выглядело чудачеством, странностью, но в этой странности было столько чистоты и искренности, что поведение матери приобретало оттенок высокой значительности и большой мудрости... И мы, дети, смутно это чувствовали.

Когда отец получил первую зарплату, мать сберегла из этих денег один рубль. Он и сейчас хранится в шкафу. Время от времени мать достанет его, молча погладит, даст посмотреть нам и скажет:

— Этот рубль из первой зарплаты вашего отца.

Затуманенным, обращенным в прошлое взглядом поглядит на рубль, снова погладит его, словно приласкает, и спрячет в шкаф.

Я помню тот день, день первой полочки отца на его новой работе — в школе. Отец, счастливый, гордый, принес тогда ящик конфет и каждому из нас дал еще по шоколадке. Мы весь день не отходили от ящика, лакомились кто сколько хотел и мог, и день этот запомнился на всю жизнь.

Счастливые дни не должны исчезать из памяти бесследно, считала мать, поэтому и сохранила как самую дорогую реликвию скромный, истершийся на сгибе рубль.

Мать была, как ребенок, трогательна и искренна в своей вере в память вещей.

Когда разбили вазу, купленную в день рождения моей младшей сестренки, мать восприняла это событие как страшную беду. Ей казалось, что на дочь должно обрушиться несчастье. Она схватила мою сестру на руки, прижала к себе, утешала и целый месяц настороженно ждала неприятностей. Так и не смогла успокоиться и всю жизнь с горечью вспоминала об этой вазе.

Куржун, который я сейчас держу, достался мне тоже в день рождения... Темно-синего бархата, затянутый яркой красной тесемкой, украшенной золотыми нитями орнамента. Бархат поблек, золотые нити потускнели и потрескались, тесемка почернела. Но это все тот же куржун, друг и свидетель моего детства, овеществленная память о моем рождении.

Мать, еще девушкой, сама шила его. Обычно в таких куржунах хранится приданое невест, их драгоценности. И в моем лежали когда-то немногие золотые вещи матери: кольца, браслеты, серьги. Теперь их нет. Все золото было продано в голодные годы... Когда я родился, мать посвятила этот куржун мне, и в нем бережно хранились и хранятся немногие свидетели моего детства, незатейливые пустячки и безделушки, которые никому не кажутся таинственными и интересными...

Я осторожно достаю их, задумчиво перебираю в руках...

Черная деревянная коробочка. Внутри нее, я знаю, — желтая от времени бумажка, исписанная арабскими буквами... Пучок моих первых волос, стянутый ниткой кекел¹... Тряпичная кукла по имени Тайтериш... Пять круглых, гладких камешков... Четыре альчика²... Последнее, что я достаю, — рыжая плоская кость. Это часть челюсти моего Долая.

* * *

Мать и сейчас сохранила былую красоту, несмотря на седину и преклонные годы. В молодости она была вы-

¹ К е к е л — чуб; сохранение первого волоса — остатки языческой культуры.

² Альчики — кости для детской игры.

сокая, стройная, с густыми черными волосами. По рассказам бабушки (бабушкой мы звали сестру отца, настоящей бабушки уже не было в живых), мать была женщиной с характером, работающей, хозяйственной и почтительной со старшими. Старшим в семье был дед. Он не дожил до моего рождения, но мне столько рассказывали о нем, что я хорошо представляю его — седобородого мудрого старца. Деду мать пришлось по душе, и он часто говорил ей: «Ты невеста невест и подаришь нам много-много детей».

Бедный дед. Он так и не увидел внуков.

Матери едва исполнилось восемнадцать лет, когда она стала женой моего отца. Пять послевоенных голодных лет отец и мать прожили без детей.

В семье работал один отец, и его заработка едва хватало на жизнь. Но мать искусно вела хозяйство, и наша семья не только сводила концы с концами, но умудрялась даже помогать соседям.

Бабушка рассказывала... Трудно было с кормом для коровы и с топливом. И вот, когда отец уходил на работу, мать с дедом запрягали корову в арбу и ехали в горы. С одной стороны погоняет кнутом корову дед, с другой — медленно идет мать, прикрыв лицо платком. Поздно вечером, почти ночью возвращаются они усталые домой, с арбой, нагруженной сеном, соломой или дровами. И мать сразу же принимается за хозяйство. Надо подоить корову, покормить гусей, уток, кур, собрать сметану, сделать сыр, чтобы потом, в базарный день, отнести его на рынок и купить хоть немного муки. Тихая, незаметная, она все делала быстро и молча, никогда не жалуясь на жизнь... Но она была молода, и иногда ее молодость прорывалась с детской непосредственностью и простодушием

Бабушка рассказывала... У соседей была свадьба. Мать с другими молодыми женщинами весь день носила воду и конечно же устала. Наконец не выдержала, поставила ведра и выкрикнула с отчаянием: «Ах, если бы у этих ведер были ноги, ведра сами бы ходили на речку и сливали воду в казан!..»

Ее подруги до сих пор, когда мать приезжает в аул, вспоминают про «шагающие ведра» и смеются.

Но чаще рассказывают про другой случай.

Напротив нашего дома, через дорогу, жила бедная женщина, мать восьми детей. Дети росли без отца, бедствовали, были всегда голодными, раздетыми и разутыми. Зимой, в самое голодное время, трое младших приходили к нам. И мать кормила их, хотя наша семья сама жила впроголодь.

Мать вспоминает: «На улице мороз, снег, а они бегут через огород. И все трое босиком». Ребятишки знали доброе сердце моей матери и, выждав, когда отец уйдет на работу, спешили к нам.

— Ах, это вы, цыплята, пришли! — встречала их мать, а сама чуть не плакала.

И кормила их чем могла: поила молоком, чаем, отдавала последние крохи. Ребятишки все съедали. Ели торопливо, жадно и весь день сидели прижавшись к печи — грелись, а сами внимательно следили серьезными глазами за руками матери. Может быть, добрая тетя даст еще что-нибудь поесть. Мать говорит, что они никогда не наедались, сколько бы их ни кормили. Рассказывать о них спокойно мать не может. Страшно! Так и видишь три худенькие полуголые фигурки, замершие у печки... На одном мальчике — отцовский пиджак без рукавов. Другой малыш в заплатанных штанах и большом мужском ватнике. Третий — в каком-то подобии одежды из мешковины. И все трое — притихшие, смиренные, только голодные глаза не отрываясь наблюдают за матерью.

Однажды мать пекла кукурузные лепешки. Сделала всего три, больше муки в доме не было. Готовила для отца и деда, которые должны были вернуться с работы, и лепешки — вся их еда за день. А дети сидели на полу и не отрывали глаз от лепешек. Мать уже покормила ребятишек чем могла и теперь боялась встретиться с ними взглядом... Пришла соседка.

Мать обернулась и увидела глаза детей. И соседка увидела. И мать, чтобы женщина не подумала, что малышей не кормили, отдала лепешки ребятишкам... А вечером пришли голодные отец и дед и узнали от матери и о голодных детях, и о лепешках. Отец рассердился, потребовал, чтобы детей больше не пускали в дом, но дед заступился за мать, поддержал ее:

— Невестка у нас добрая. Настоящая невеста невест. Аллах нас не обидит за это и отблагодарит.

Мать обрадовалась и выкрикнула искренне и горячо:
— Ах, если б была мука! Я бы для всего аула лепешек напекла!..

Отец и дед рассмеялись над ее наивностью. А дед похвалил ее. Он любил мать, гордился своей послушной, терпеливой, доброй невесткой. Лишь одно огорчало его, и когда он умирал, сказал:

— Ах, невеста невест! Всем ты хороша и пригожа... Коли б ты еще подарила мне вот такого малюсенького, — дед свел перед лицом ладони и показал их собравшимся у постели, — вот такого маленького, маленького внучка...

И умер. Не дождавшись моего рождения.

* * *

Я родился в пятый послевоенный год, когда жизнь стала уже лучше.

Мать очень хотела, чтобы первым ребенком была девочка. Она мечтала сделать из нее гармонистку, так как сама играла на гармонии и хотела научить этому дочь. И куржун, как будущее приданое, предназначался дочери. Но родился я.

Желание матери иметь дочь было так велико, что она пыталась и меня воспитывать как девочку. Своим отношением ко мне как к дочке она хотела, казалось, бросить вызов природе, цепляясь за свою несбывшуюся мечту. Отец возмущался, ругался, когда видел, что меня повязывают платком, поют колыбельные песни, предназначенные для девочек... Конечно, все это были милые, невинные чудачества. Отец иногда добродушно посмеивался над матерью, но тут же становился серьезным и непреклонным — настаивал, чтобы сына с пеленок воспитывали по-мужски... Мать соглашалась, но продолжала одевать меня как девочку, пела мне прежние колыбельные, шутя предлагала соседям зайти посмотреть на ее дочку..

Когда я начал ходить, мать стала приводить ко мне соседских детей. Так уж сложилось, что у соседей были только девочки. Мать любила всех детей, а этих особенно. И могла целыми днями возиться с ними, баловаться,

играть, развлекать. Девочки эти прошли со мной через все мое детство и присутствовали даже при самом значительном событии тех лет — первом бритье моей головы.

В честь этого дня отец устроил той¹.

Собрались родственники, знакомые, соседи... Когда дядя намылил мне голову и начал брить, я расплакался. И все три соседские девочки, из сочувствия или сострадания, тоже дружно заревели. Взрослые смеялись над этим громким и неслаженным хором, но мать, она потом призналась мне, готова была заплакать вместе с нами. Она рассказывала, что, когда меня брили, ей казалось, что это ее голову скоблит бритва, и ей было больно, может быть больней, чем мне. И еще ей хотелось плакать оттого, что посвящение меня в мужчины уничтожало мою призрачную женственность, лишало ее этой игры со мной как с девочкой, а меня — ласк, предназначенных дочке... Мать сохранила мои первые волосы, но после этого дня она уже смотрела на меня по-другому. Перестала повязывать мне платок, перестала напевать песни для девочек. Но любить не только не перестала, а, наоборот, полюбила еще сильнее, со всей горячностью и самозабвенностью молодой матери. Любой мой каприз стал для нее законом.

Одним из таких капризов была кукла.

Получилось так. Однажды бабушка созвала всех родственников — я должен был выбрать будущую профессию. Мне тогда было уже два года. Родственники, торжественные, серьезные, сидели на стульях, расставленных кругом, а в середине круга был я. Передо мной положили кнут пастуха, Коран, молоток усты²-плотника и еще несколько предметов, связанных с какой-нибудь специальностью. Я рассматривал их исподлобья и не решался подойти. Бабушка слегка подтолкнула меня в спину.

— Ну, джигит, выбирай профессию!

Я подошел было к этим заманчивым игрушкам, но тут же, даже не нагнувшись над ними и не рассмотрев, повернулся, убежал к матери и спрятался в ее юбке.

¹Той — праздник, семейное торжество.

²Уста — мастер.

Бабушка снова подвела меня к этому ряду предметов-символов. И опять я убежал.

Может быть, меня смущало такое множество взрослых, серьезно и требовательно глядящих на меня, не знаю. Знаю только, что всех заманчивей и притягательной была для меня вещь, не предусмотренная бабушкой. Это была кукла, которой играла девочка-соседка. Я долго с завистью смотрел на эту куклу и наконец решился. Уверенно и быстро подбежал к девочке и стал вырывать у нее куклу.

— Этот молодец только девочек любить будет. Видите, как налетел на нее! — вздохнула бабушка.

Все засмеялись.

Я тянул к себе куклу, топал ногами, кричал: «Мама, хочу куклу».

Меня кое-как успокоили, дали куклу, но хозяйка ее подняла такой рев, что куклу пришлось вернуть. Меня пытались отвлечь, совали под нос блестящий молоток, вкусно пахнущий кожей кнут, но я отворачивался.

— Возьми наконец хоть что-нибудь! — сердились, теряя терпение, взрослые.

Бабушка не выдержала. Подвела меня к Корану, пригнула ладонью мою голову и почти насильно всунула мне в руки книгу.

— Этот джигит будет ученым! — торжественно объявила она.

Но я потерял покой. Вцепившись в юбку матери, я безостановочно ныл: «Мам, куклу! Мам, куклу!», пока она не смастерила мне ее из тряпок. Я успокоился.

Целыми днями я и соседские девочки сидели на глиняном полу и, почти не умея говорить, хвастались друг перед другом куклами, рассматривали их, поправляли платьишки, косынки, ласкали, нянчили...

Сейчас эта кукла лежит передо мной. Я гляжу на нее с грустной и снисходительной улыбкой, трогаю пальцами головку, туловище. До чего просто сделано — тряпочки, намотанные на палочку; вместо головы — белый моток, на котором черными нитками обозначены глаза, брови, нос, рот; из черных же ниток сделаны две косы; конусообразное ситцевое платье-туловище — вот и все! Но как изящно, с каким вкусом выполнена эта игрушка,

эта моя Тайтериш. Так называли ее в честь героини хорошей и красивой сказки. Правда, в том возрасте я не понимал еще всего смысла сказки, просто бабушка назвала куклу Тайтериш, и я воспринял это как должное. Позднее, когда я уже не раз слышал бабушкину сказку про деревянную куклу, я понял, что лучшего имени, чем Тайтериш, придумать было нельзя.

Отец был недоволен моей игрушкой, пытался даже прятать от меня, но я поднимал такой рев, что он не выдерживал и, огорченный, возвращал куклу. Один раз, чтобы отвлечь меня, отец принес камчу. Я покрутил ее в руках, немного поиграл и вернулся к Тайтериш.

— Нет, жена, ты мне действительно дочку родила! — невесело шутил отец.

Сейчас отец с матерью с улыбкой вспоминают эту куклу, и я смотрю на нее с улыбкой. Первая игрушка! Самая любимая. Та, с которой я не расставался до самой школы... может быть, и потому еще, что до самой школы я рос среди девочек, дружил с ними. Поэтому даже, когда по вечерам мать выносила гармошку и учили нас танцевать, я танцевал как девочка. Мать поправляла меня, показывала, как должен плясать мужчина, но я наблюдал за своими подругами и подражал им.

И игры...

Пять круглых камешков «бес бала тас» («пятеро каменных детей») — самая типичная игра для девочек. Правила ее очень простые.

Пять камней («детей») лежат на земле. Подкидывается один из них, той же рукой надо схватить другой камешек и при этом сказать: «Одного ребенка родила» (я говорил «родил»). Так продолжать, пока в руке не окажутся все пять камешков. Это означает, что у тебя пятеро детей и все камешки становятся твоими. Если же не успеешь схватить или уронишь хоть один — все твои «бес бала тас» переходят к партнеру.

Я всегда проигрывал. И девочки, настоящие жонглеры, забирали моих «каменных детей». Я, надувшись, терпел, но долго не выдерживал и, разревевшись, бежал домой, к матери. Та, услышав мои вопли, выскакивала за ворота.

— Ах вы бессовестные! — разносился на всю улицу ее

крик. — Опять обманули моего ребёнка? Верните камешки.

Девочки, как только появлялась мать, принимались дружно и громко плакать. Знали, зачем она бежит, и знали, что мои камешки не утаить. И действительно. Мать не обращала внимания на слезы и, отшлепав девочек, отыскивала мои «бес бала тас», как бы старательно их ни прятали в карманы или ни перемешивали с другими «каменными детьми». Она сама собирала для меня камешки на берегу реки, и ни у кого не было таких круглых, симпатичных и красивых «каменных детей». Девочки завидовали мне, кляпчили у меня камешки, ну хотя бы поиграть, и если я не давал (а я не давал), выигрывали их. Потом возвращали.

Но все это вспоминается смутно, отдаленно, как в тумане; восстанавливается в памяти скорее по рассказам матери, видится ее глазами, оценивается ее взглядом...

А вот это я помню уже сам.

* * *

Однажды мать взяла меня на руки и с каким-то странным, встревоженным лицом унесла на речку. Там мы были почти до самой ночи. Журчала вода, сгущались сумерки, а мать все рассказывала и рассказывала мне одну историю за другой. И все о бабаши¹. И все страшные. О похищениях маленьких детей. О пыльных и грязных мешках, в которых этих детей уносят. О кривых острых ножах. О боли, о крови. Я с тревогой всматривался в темноту. Всюду мерещились мне крадущиеся бабаши, лохматые, с растрепанными бородами; они скалились, грозились огромными ножами; посмеиваясь, показывали мне большие черные мешки. Мне стало жутко, я прижался к матери, звал ее домой.

Вернулись мы уже затемно. Отец встретил нас хмуро, отругал мать и всю ночь ворчал на нее. Мать обнимала меня, кричала отцу, что не даст меня «резать», а я при

¹Бабаши — человек, совершающий обрезание

слове «резать» перепугался и почти не слышал, о чем они спорили... Помню только, что отец доказывал, что мне пора становиться настоящим мужчиной, что для того, чтобы я мог хотя бы курицу зарезать, я должен сначала пролить хоть каплю своей крови. Мать соглашалась, но вдруг, словно испугавшись чего-то, прикрывала меня от отца и торопливо выкрикивала:

«Нет, нет, нет!»

Утро наступило яркое и солнечное. Мать ушла к соседям, а я сидел на полу и играл со своей Тайтериш.

В обед пришел отец и с ним еще кто-то бородатый. Бородач взял меня на руки, посадил к себе на колени, угощал конфетами и очень мне понравился. Был он веселый и сильный. Если бы я знал, что он сделает через полчаса, то, наверно, не взял бы его конфет, не сидел бы у него на коленях, не смеялся бы от радости, когда он играл со мной.

Они повели меня в сарай. Там было прохладно и сумеречно. Только луч света врывался в щель узкой полосой и освещал мои ноги. Отец снял с меня трусики, а бородатый дал мне поиграть трубчатую кость. Пока я рассматривал кость, бородатый достал что-то из кармана, это что-то коротко блеснуло в полутьме, но бородатый быстро спрятал руку за спину. Все было странно и непонятно. Я не понимал, зачем привели меня сюда, почему отца такое торжественное и одновременно напуганное лицо, почему тот, второй, улыбаясь, смотрит на меня пристально-серьезными, почти суровыми глазами. Он отобрал кость, приставил к моему паху, просунул сквозь нее часть кожи. «Бисмилла!» — пробормотал он и, оттянув кожу как можно больше, полоснул по ней ножичком. От боли у меня перехватило дыхание, в глазах заплясали красные, синие искры, выступили слезы. Я с недоумением, обидой, страхом смотрел, как выступила алая кровь. А бородатый суетливо достал какую-то белую муку, радостно бормотал:

— Какой мужественный! Настоящий джигит!

Отец торопливо гладил меня по голове, и рука его дрожала.

Бородатый посыпал рану белым порошком, и вот тут-то стало по-настоящему больно. Невыносимо больно! Но

я терпел. Я не плакал. Впервые мне хотелось выдержать боль, не выказав ее. И только когда меня, ошеломленного, растерявшегося, отец отвел к матери, я, увидев ее, разревелся. От боли, от обиды, что мать, как казалось мне, предала меня... Я не понимал тогда, что мать хотела бы предотвратить насилие над природой... Она унесла меня накануне на речку, где рассказывала страшные сказки про бабаши. Но бабаши из сказок и этот добрый бородатый дяденька были так непохожи... и я плакал оттого, что добрый человек, который понравился мне, вдруг причинил боль, а мать оставила меня одного с моей болью. Первые обиды, первые разочарования...

В тот же день бабушка пошла к мулле и заказала амулет — кожаный треугольничек, который я потом носил на груди. И лишь когда я пошел в школу, то распорол его ножницами и увидел в нем бумажку, покрытую затейливой вязью арабских букв. Мать увидела это и не дала испортить амулет, отобрала у меня бумажку с заклинаниями и сохранила ее в черной деревянной коробочке.

Вот эта коробочка, а вот и пожелтевшая от времени бумажка. Я осторожно поглаживаю ее пальцем, медленно провожу по хитросплетениям и крючочкам букв молитвы...

* * *

Мне было уже пять лет, когда я впервые обратил внимание на Долая. Долай — это огромная бурая собака, которая жила у нас во дворе. Я думал, что все собаки носят кличку Долай, и лишь много позже узнал, что Долай — имя человека, враждовавшего с нашей фамилией. Человека этого помнила только бабушка, да и то смутно, так давно это было.

Я все еще играл с моими сверстниками, по вечерам вместе с ними слушал сказки бабушки или игру матери на гармошке. Но когда мне надоедали подруги, я уходил к собаке. Девочки с завистью наблюдали издали, как я смело обнимаю свирепого лохматого пса, балуюсь с ним. Долай был моей гордостью. Впервые я мог делать то, чего не могли девочки.

Однажды я развязал ошейник и спустил собаку с цепи. Долай ошалел от радости. Он метался по двору, катался в пыли и, отряхнувшись, бросался ко мне. Лизнув на бегу в лицо, падал передо мной на живот, восторженно колотил хвостом по земле и, вскочив, отскакивал в сторону. Я веселился вместе с ним, бегал за Долаем; обхватив его, валил на землю, и мы барахтались: он — взвизгивая, а я — хохоча от восторга. Но радость нашу омрачила мать. Она увидела, что Долай, притворно оскалась, тянется ко мне передней лапой, не поняла его, перепугалась.

— Ох я несчастная! — закричала она. — Сейчас он рзорвет ребенка!

И бросилась к нам.

Долай повернулся к ней, зарычал уже по-настоящему. Мать замерла, но страх за меня был сильнее, и она, сорвав с головы платок, замахнулась на Долая.

— Ах, ты! Я тебя!..

Долай поворчал и нехотя ушел к конуре. Вечером отец опять посадил его на цепь. Но я отпустил собаку. Отец выругал меня и снова привязал Долая. А я через несколько дней вновь отвязал его и долго доказывал родителям, что собака не кусается, что она добрая, что опасаться ее не надо... Отцу надоел и я, и эта возня с Долаем, и он перестал привязывать собаку. Так началась моя дружба с Долаем, к зависти девочек. Они ревновали меня к собаке, даже перестали одно время ходить к нам и меня не приглашали играть. Но я не скучал.

Игры с собакой заменили все мои прошлые увлечения и развлечения. Я кормил Долая, дразнил его, прятался, а он разыскивал меня; я делал из него «верховую лошадь» и катался на нем, отталкиваясь от земли ногами, если Долай не хотел бегать или уставал. Я сделал из ремня поводок и воображал, что мы с ним отправились на охоту. Но главное — Долай с удовольствием, в любое время готов был играть со мной, бороться, кататься по земле, и я, ласкаясь, прижимался к его мягкой теплой шерсти.

Отцу не нравилось, что я все время провожу только с собакой, что я один, без друзей. Он ругался, ворчал, отправлял меня играть на улицу, но я не шел. Отец взял

меня с собой в горы, на сенокос, но и там я скучал. Несколько раз он отвозил меня к бабушке, чтобы я побыл с моими двоюродными братьями. Братья были старше меня, у них были свои интересы, и на меня они не обращали внимания... Там я как-то увидел альчики. Мне захотелось иметь такие же, и я надоедал отцу, чтобы он достал мне их. Наконец, накануне праздника курман-байрам¹, он сказал, что скоро сделает мне альчики.

Наступил праздник. Было шумно, весело, многолюдно. Но у меня осталось от этого дня неприятное воспоминание.

Утром отец вывел из сарая овцу. Я с интересом смотрел, как он вел ее, опутал ноги и повалил ее, но когда отец, схватив овцу за голову, полоснул ее ножом по горлу, я испугался и вскрикнул. Овца билась на земле, и из огромной раны хлестала кровь... До сих пор, как вспомню эту картину, мне кажется, что это к моему горлу прикасается холодный нож и меня пронзает острая короткая боль. Я вздрагиваю и хватаюсь за горло...

Тогда-то отец посмотрел на меня и, подмигнув, сказал, что скоро у меня будут отличные альчики. И действительно, скоро принес их мне. Настоящие, новые, залитые свинцом. Напарников для игры у меня не было... С мальчишками сойтись мне было не так-то просто, и долгое время я играл сам с собой.

Наступила весна. С каждым днем небо становилось все голубей и выше, солнце все сильнее пригревало землю. И как-то неожиданно, сразу растаял снег. Земля быстро подсохла, появилась молодая зеленая трава. Ожили птицы; жаворонки всюду распевали по утрам; черными росчерками проносились в вышине ласточки. Пришла настоящая весна. В ложбинах дальних гор еще белел снег, а склоны уже усыпали голубые огоньки подснежников. Набухли на деревьях почки, лопнули, и появились первые нежные, клейкие листья ив и тополей.

В один из теплых солнечных дней прибежали к нам радостные Патимат, Мадина и Фаризат, мои сверстницы, принялись тормошить меня, звать с собой на гору. Она была совсем рядом, сразу же за аулом.

¹Курман-байрам – праздник жертвоприношения.

Когда мы вчетвером и обалдевший от счастья Долай подошли к ее склону, оказалось, что нас опередили.

Весь косогор был усеян ребятами нашего аула, и воздух звенел от криков.

— Шабден! Шабден!¹

Ребяшня сбегалась на крики, сбивалась в кучки и снова рассыпалась по склону, в поисках подснежников. Выкопав цветок, какой-нибудь мальчишка истошно кричал: «Шабден!», показывал корешок приятелям и, очистив его, с удовольствием жевал.

Повсюду валялись увядающие выкопанные, вытопанные цветы, чернели маленькие холмики земли.

Мои подруги завистливо поглядывали на мальчишек, да и я присматривался к ним. Я никогда не дружил со своими сверстниками и, когда ребята шумной ватагой проходили мимо нашего дома, прятался за углом и уже оттуда осторожно наблюдал за ними. Теперь с опаской приближался к незнакомым мальчишкам. Долай, спущенный с поводка, носился по всему склону, фыркая, нюхал землю, бросался, играя, на меня, но мне было не до собаки. Я очень хотел откопать корешок подснежника и попробовать его... Стали попадаться цветы, я осторожно подкапывал их, но корешков не было. Или я не умел отыскивать их, или цветы попадались без корешков.

Ребята заметили нас. Притихли. Зашушукались: «Кто такие? Кто такие?» И сразу же загалдели, зашумели, что мы, дескать, забрались в их владения. Вперед выскочил невысокий мальчуган в лохматой шапке, надвинутой на самые глаза. Он кричал больше всех и громче всех, и потом схватил комок земли и кинул его в нашу сторону.

— Уходите! — орал он. — Это наше место, и все корешки наши. Что, больше места не нашли, что ли?

Девочки неуверенно швырнули в него землей.

Мальчишки загорланили. Комья земли, палки посыпались на нас.

Долай замер, зарычал и вдруг звонко и зло залаял. Ребята замерли.

— Это собака вон того бабника! — показал на меня предводитель в лохматой шапке.

¹Шабден — подснежник.

Его друзья захохотали и принялись, кривляясь и при-танцовывая, кричать хором:

– Бабник! Бабник!

– Уйдем от них, — предложили девочки.

Мы отошли, и я спиной чувствовал насмешливые взгляды, слышал хохот, представлял довольные, кривляющиеся лица ребятни.

Когда мы поднялись выше по склону и мальчишки остались далеко внизу, я оглянулся. И замер.

Далеко раскинулась передо мной моя земля, и я впервые увидел весь свой аул, и поля за ним, и речку, которая была узенькая и тонкая, точно ручеек. Меня поразило, что наша большая и широкая река казалась отсюда, сверху, извилистой светлой лентой, и аул удивил меня. Я никогда не думал, что он такой маленький. Я видел дома и сады, видел улицы, неширокие и короткие, искал свой дом и, найдя его камышовую крышу, захотел увидеть во дворе мать и захотел, чтобы и она увидела меня здесь, на горе... И еще я увидел дальние кутаны¹ и горы, которые волнами уходили вдаль, становились синими, голубыми, словно растворялись в воздухе. А над ними, словно огромное седло, возвышался двуглавый Эльбрус, обе вершины которого отливали бледной, холодной синевой. Я смотрел на него, и мне казалось, что он упирается в небо, а вернее — небо лежит на нем, и думал, что если влезть на эту двуглавую гору, то можно взобраться на небо. Что там, за этим небом, я не знал, но подумал, что побывать на небе — это здорово... Девчонки тоже примолкли, пораженные открывшимся видом. Они долго смотрели на наш аул, на горы, на высокое голубое небо, жмурились от нестерпимого солнца. Потом, в восторге от этого ощущения высоты и пространства, раскинули руки, принялись кружиться, хохотать, кричать: «Ай-лан-бийлан! Айлан-бийлан!»². Они гонялись друг за другом и парами, барахтаясь, падали на зеленую мягкую траву.

Наконец я выкопал первый корешок подснежника — бурый, невзрачный. Сбежались подружки и как на чудо

¹Кутан — ферма.

²Айлан-бийлан — вертись-кружись.

уоставились на него. Я очистил корешок и, храбрясь, откусил маленький кусочек. Девочки долго не решались попробовать, но потом рискнули, и мы, серьезно глядя друг на друга, сосредоточенно жевали этот сладковато-горький подарок весны.

Мальчишки ушли, и мы спустились вниз по вытоптанному, взрыхленному склону, по раздавленным мертвым цветам.

Домой я вернулся голодный, усталый, но с огромной охапкой подснежников. Мать, увидав цветы, обрадовалась, подхватила меня на руки, осыпала поцелуями... А перед моими глазами все еще стояли величественная холодная двуглавая вершина Эльбруса и синее прозрачное небо, лежащее на нем.

— А что на небе? — спросил я.

Мать ответила, что за этим небом есть еще семь небес и там, за ними, рай. Я спросил:

— А что под землей?

И мать объяснила, что под землей есть также семь слоев и там, под ними, ад.

А когда я пошел в школу, то узнал, что это не так, что под нами Америка и там люди ходят вверх ногами, и когда у нас день, в Америке — ночь.

* * *

Летом у нас поспели яблоки. Сад был за домом, и мы с девочками с утра до вечера пропадали в нем: играли, отдыхали, лакомились яблоками. Долай обычно тоже лениво бродил за нами. Он, правда, все время старался найти тень и улечься там, но мы галдели и не давали ему уснуть; он вздыхал, снова плелся к нам и отдыхал только тогда, когда мы играли в прятки. А в прятки играть мы любили. Потаенных местечек было сколько угодно: можно было забраться на яблони и затаиться вместе, можно было схорониться в кустах картошки или в дремучем кукурузном лесу.

Матери в это время не было. Она уехала, чтобы привезти мне маленького брата, который потом оказался сестрой, и за мной присматривала бабушка. А бабушка

позволяла нам все и, когда мы, наигравшись, приходили к ней, рассказывала сказки. Она брала маленькую табуретку, уводила нас в сад, садилась где-нибудь в тени под деревом, доставала клубок шерстяных ниток, спицы и начинала рассказ. Рассказывать бабушка любила и могла это делать часами, не уставая вспоминать удивительные истории о шайтанах, драконах и джиннах, а мы затаив дыхание слушали ее рассказы о поединках богатырей, о смелых джигитах и необыкновенных красавицах. Это был наш мир, в своих играх мы называли себя именами героев сказок, освобождали красавиц, сражались с драконами, приручали джиннов. И Долай был участником наших игр, он превращался в сказочного тулпара¹.

Но самой любимой и самой веселой была у нас сказка о деревянной кукле Тайтериш.

СКАЗКА О ДЕРЕВЯННОЙ КУКЛЕ ТАЙТЕРИШ

Давным-давно жили десять кукол-сестер. Жили они дружно и весело. Самая старшая готовила для всех кушанья и старалась накормить сестренек повкусней и получше. Одну из кукол звали Тайтериш. Это была самая красивая, самая чистенькая и самая гордая кукла. У нее был самый белый тастар² и самое нарядное платьице. И Тайтериш очень дорожила ими, все боялась запачкать. Поэтому она не любила есть жирное мясо, опасаясь, как бы пятнышко на свой тастар не посадить. Садятся, бывало, куклы обедать, Тайтериш лучшие кусочки подкладывают, а она увидит жирное мясо, губки надует, обидится и встанет из-за стола. Однажды сестры решили подшутить над Тайтериш и подсунули ей самый жирный кусок. Очень обиделась Тайтериш, а куклы смеются над ней, подшучивают. Рассердилась Тайтериш и сказала, что уйдет от них, поищет настоящих подруг.

— Вернись! Вернись! — звали ее куклы.

¹Тул пар – сказочный конь с крыльями.

²Тастар – женский головной платок.

Но Тайтериш даже не обернулась.

Идет она, идет — и повстречала пастуха со стадом коров. На пастухе черкеска, на голове папаха, в руках ярлыга¹, в зубах люля².

— Деревянная кукла Тайтериш, куда идешь? — спрашивает пастух.

— К тебе иду! — отвечает Тайтериш.

— Если ко мне идешь, я для тебя самую жирную корову зарежу, — говорит пастух.

— Айгай!³ — испугалась деревянная кукла. — Тогда мой белый тастар запачкается. Не стану у тебя гостить.

Ушла деревянная кукла Тайтериш. Идет по полю, цветы собирает.

Встретила пастуха, который телят пас. Красивый пастух, бешмет красивый, и чувяки красивые.

— Куда идешь, деревянная кукла Тайтериш? — спрашивает пастух.

— К тебе иду! — отвечает Тайтериш.

— Если ко мне, то вот этого большого теленка для тебя зарежу. Переночуешь, а потом, если захочешь, уйдешь!

— Айгай! Большого теленка! Тогда мой тастар запачкается, — отвечает деревянная кукла Тайтериш.

Смотрит она на пастуха, любит его красивыми чувяками, смотрит на свои босые ноги...

И уходит.

Идет дальше, собирает цветы в горах.

Повстречался ей табунщик. На коне, в бурке.

— Интересно! Куда это направляется деревянная кукла Тайтериш?

— К тебе иду, — отвечает Тайтериш.

— Если ко мне, милости прошу, красавица Тайтериш. Я тебе самую упитанную кобылицу зарежу. — Услыхала эти слова Тайтериш, надула губы.

— Айгай! Тогда мой тастар запачкается!

Повернулась и ушла от него деревянная кукла Тайтериш. А табунщик хохочет ей вслед.

¹Ярлыга — пастушья палка с крюком.

²Люля — курительная трубка.

³Айгай — восклицание.

Идет Тайтериш куда глаза глядят, цветы собирает. На многие горы взбирается, со многих спускается. Приходит к полуразвалившемуся амбару, что одиноко стоит в поле. Вокруг амбара мыши бегают, оставшиеся с осени зерна пшеницы ищут. Увидели куклу, обрадовались, закричали в один голос:

— Деревянная кукла Тайтериш, куда идешь?

— К вам иду, — отвечает Тайтериш.

— Раз пришла, милости просим. Есть у нас постное мясо, вот мы тебя и угостим, — говорят мыши.

Услышала деревянная кукла Тайтериш про постное мясо, обрадовалась.

Наступил вечер. Поджарили мыши мясо, садятся за стол. Сами едят и Тайтериш угощают. Ночь наступила — спать легли. И Тайтериш раздевается, с ними ложится... Просыпается она утром, а ее одежды на месте нет. Осталась деревянная кукла Тайтериш в чем мать родила.

— Где моя одежда? — спрашивает она.

— Вчерашнее мясо плохое было, а ночью мы проголодались и, чтобы с голоду не умереть, съели твою одежду. Вот и насытились, — ответили в один голос мыши.

Заплакала Тайтериш и ушла. А мыши кричат ей вслед:

— Деревянная кукла Тайтериш, сходишь домой, возьмешь новую одежду — и снова к нам в гости приходи!

С тех пор деревянная кукла Тайтериш перестала капризничать, ела все, что ей подавали: и жирное, и постное; никогда не болела.

* * *

Я часто играл со своей куклой в эту сказку. Придерживая рукой, рассказывал ей историю о деревянной кукле Тайтериш и изображал, как она уходит от своих сестер-кукол. Сам же я был то пастухом, то табунщиком и, меняя голоса, говорил и за них, и за Тайтериш. Самой любимой была сцена встречи с мышами. Я визжал, пищал, как мыши, перебирал пальцами по полу, изображая, как они бегают, как прячутся в норы. Мать и бабушка посматривали на меня исподтишка и смеялись, а отец, как всегда, ругался из-за куклы и грозился отобрать ее у меня.

Однажды мы с бабушкой были в саду. Бабушка сидела под деревом и, как обычно, что-то вязала. Я же лазал на яблони, забирался на самые вершины и разглядывал оттуда, с высоты, соседние огороды. Мне было весело и немного страшно, особенно когда, поскользнувшись, я чуть не сорвался с ветки. Храбрясь, я разговаривал сам с собой, кричал бабушке, чтобы и она полюбовалась на смелого внука.

— Смотри, абай! Смотри! — Мне очень хотелось, чтобы она увидела, как высоко я забрался.

Когда я влез на самое высокое дерево и увидел, что выше только небо, какая-то непонятная радость и гордость наполнили меня. И я запел. Слов я не знал, поэтому придумывал их сам на мелодию одной из песен, которую часто играла мать. Поэтому вместо песни у меня получался восторженный и громкий крик. Бабушке он, по-видимому, скоро надоел, и она позвала меня вниз.

— Я расскажу тебе сказку! — пообещала бабушка. Она знала, чем привлечь меня. Я сразу же слез, подбежал к ней, уселся рядом и приготовился слушать. Бабушка погладила меня по голове, сказала:

— Рано тебе такую сказку рассказывать, не так поймаешь ты ее. Да вот пришлось к случаю...

— Расскажи, расскажи, — я заерзал от нетерпения.

СКАЗКА О МАЛЕНЬКОМ МАЛЬЧИКЕ

— Жил-был один мальчик, совсем как ты, маленький, — так начала бабушка эту сказку... — Мальчик был хороший. Только вот рос он без отца и без матери, никого у него не было. Был он один-одинешенек. Однажды в горах нашел мальчик птенца, взял его к себе и вырастил. Стал птенец красивым и сильным соколом и очень привязался к мальчику. Каждый день выпускал мальчик сокола летать, а сам взбирался на дерево и наблюдал за своим любимцем. Сокол раз от раза поднимался все выше и выше, но после каждого полета камнем падал вниз и садился мальчику на руку. Однажды сокол взлетел так вы-

соко, что его не стало видно. И больше не вернулся к мальчику. А тот влез на самое высокое дерево, протянул к небу руки и запел песню про любимого сокола, призывая его вернуться. Люди услышали песню и замерли, зачарованные. Им казалось, что это поется про них, что они становятся орлами, улетевшими в небо, и они пошли к одинокому дереву в поле, откуда лилась эта странная и удивительная песня. Но, увидав на дереве мальчика, недоуменно переглянулись: «Что это? Почему он поет на дереве?» И никто из них не мог на это ответить.

Люди пытались спросить у мальчика, почему он для песни выбрал дерево, нельзя ли петь на земле? Но мальчик смотрел в небо и не отвечал им, и люди решили, что он сумасшедший...— Бабушка закончила, потом посмотрела на меня и добавила: — Вот так! Понял? Никогда не пой на дереве, а то люди примут тебя за сумасшедшего.

Я не обратил внимания на последние слова бабушки.

Сказка поразила меня, я не понял ее, но что-то удивительное было в этой истории о мальчике, поющем на дереве. То ли я, только что испытывший радость и выплеснувший эту радость в песне, уподобил себя мальчику из сказки, то ли я слишком зримо представил мрачный туманный день, одинокое дерево и на нем поющего мальчика с протянутыми к небу руками. Мне от этой картины стало страшно. Но, оказывается, самое удивительное то, что целых двадцать лет я не знал конца сказки...

* * *

Через двадцать лет, приехав к бабушке, я спросил у нее:

— Помнишь, ты рассказывала в детстве сказку о мальчике, поющем на дереве?

— Помню, внучек, — сказала бабушка, — только у сказки другой конец, не тот, что я тебе рассказывала.

— Какой же? — удивился я.

И вот через двадцать лет я узнал конец этой истории.

— Когда мальчик пел, было голодное время. Однажды послушать его песню собралась около дерева толпа.

Люди увидели мальчика, поющего на дереве, удивились: «Почему это он поет на дереве? И почему вообще поет?»

Много было толков, предположений. Наконец решили, что в то время когда весь народ голодает, мальчик набил себе живот и поет от сытости: разве стал бы голодный петь?

В толпе закричали: «Надо узнать, что он ел!» Злые люди стащили мальчика с дерева, разрезали ему живот и увидели, что он уже давно ничего не ел.

* * *

Как-то раз, когда было очень жарко и бештав¹ загнал меня в дом, я сидел на прохладном глиняном полу и играл сам с собой в альчики. Дома никого не было: бабушка куда-то ушла, девочки, мои подруги, не пришли.

Вдруг я услышал свирепый, яростный лай Долая. Я выскочил во двор, но собаки там не было, ее рычание, бессильное поскуливание доносилось из сада... Долай метался вокруг яблони, подпрыгивал, вставая, упираясь передними лапами в ствол. Я взглянул наверх и сквозь листву увидел перепуганного, бледного мальчишку. Он вцепился одной рукой в сучок, другой прижимал к животу яблоки, которые натолкал за пазуху. Это был тот самый мальчишка, которого я видел весной на горе, когда мы ходили за подснежниками. Лохматая шапка была по-прежнему надвинута на самые глаза, только теперь они были не дерзкими и насмешливыми, а большими от страха. Увидев меня, мальчишка приободрился.

— Эй, бабник, — крикнул он грозно, — убери собаку!

Я молча подошел поближе. Долай метнулся ко мне, вильнул хвостом и тут же бросился опять к дереву.

— Убери ее, бабник! — не так решительно потребовал мальчишка.

Я улыбнулся и остановился, посматривая то на него, то на Долая.

— Убери! — в голосе послышались просительные нотки.

¹ Бештав — восточный суховой со стороны Пятигорья.

Но я молчал, и Долай, почувствовав, что человек на дереве и мой враг тоже, вдруг с хриплым лаем взвился вверх, вцепился зубами в штанину мальчишки. Это было уж слишком! Ведь не каждому мальчику разрешают летом носить штаны.

— Долай! — прикрикнул я.

Собака пригнула голову, виновато подошла ко мне, принеся, как добычу, лоскут в зубах.

Мальчишка повернулся на ветке; раздался сухой треск, и собака снова рванулась к дереву, захлебываясь от яростного лая.

— Морду тебе набью, бабник, если не уберешь собаку! — плаксиво пообещал мальчишка.

Я все с той же улыбкой рассматривал его и молчал.

— Вот посмотришь, набью!

Я повернулся и не спеша пошел к дому.

— Ну, подожди! — пригрозил со слезой мальчишка. Я медленно завернул за угол и притаился там.

Долай неторопливо кружил вокруг яблони, изредка поднимал кверху морду и предупреждающе рычал. Мальчик притих. Потом я услышал странные звуки. Сначала тихие, словно стон или поскуливание, через некоторое время все явственней стали слышны всхлипывания, и наконец я услышал плач. Самый настоящий, искренний, полный отчаяния и бессилия плач. И мне стало приятно. До сих пор я думал, что этот мальчишка, гроза всех детей аула, никогда не плачет. Я слушал этот нарастающий рев, пока мальчишка не начал орать. Тогда не спеша вышел из-за угла, неторопливо подошел к дереву. Мальчишка замолчал, вытер кулаком глаза...

— Посмотришь, я отцу расскажу, он тебе покажет! — сквозь всхлипывания пригрозил он мне.

«У меня ведь тоже есть отец», — подумал я и взял собаку за ошейник.

— Высыпь наши яблоки!

Мальчишка торопливо высвободил из брюк майку, и на меня с Долаем посыпались крепкие, упругие шары яблок.

— Ты только не отпускай этого злюку, — заискивающе попросил мальчишка, — лучше отведи его к дому и держи там...

Я отвел Долая к дому и оттуда наблюдал, как мальчишка, поглядывая на нас, торопливо сполз с дерева и помчался к забору. Долай захрипел, рванулся из моих рук.

Мальчишка взлетел на плетень и оттуда закричал зло:

— Ну, теперь держись! Я тебе покажу!

Я засмеялся и отпустил Долая. Мальчишку словно сдуло с забора. Долай подскочил к плетню, гавкнул для порядка и, дурачась, заметался по двору.

Я пошел домой и снова начал играть в альчики. Сидел уже довольно долго, приговаривая «Шик! Бук!»¹, как вдруг опять услышал злобный лай Долая во дворе. Сулицы доносились мальчишечьи голоса. Сначала неуверенные, они становились все громче и нахальней. Наконец голоса слились в хор, выкрикивающий слаженно и дружно:

— Эй, бабник! Эй, бабник!

Я еще не видел мальчишек, но по голосам понял, что они пришли бить меня, и испугался. Вскочил с пола, подбежал к двери и закрыл ее на крючок. Но тут же успокоился. Ведь мальчишки наверняка испугаются Долая, не решатся подойти. Я осторожно приоткрыл дверь и выскользнул наружу.

Мальчишки увидели меня. Закричали, загалдели. Кривляясь и приплясывая, они принялись орать еще сильнее: «Бабник! Бабник!» Потом кто-то из них швырнул в меня палку, и все, как по команде, стали кидать в мою сторону камни. Мальчишка в мохнатой шапке неторопливо вышел вперед, прицелился и, грязно обругав мою мать, запустил в меня обломком кирпича. Острая боль обожгла мою ногу. Я ойкнул, присел и крикнул сквозь слезы: «Долай, куси!» Долай будто только этого и ждал. Его длинное серое тело скользнуло через забор.

Мальчишки сыпанули по улице в разные стороны. Вскоре пришла бабушка. Она заметила, что я хромаю, а увидев синяк, переполошилась. Я сказал ей, что ушиб ногу, когда играл во дворе.

Вечером пришел отец. От него я тоже скрыл, хотя мне очень хотелось с кем-нибудь поделиться обидой, рас-

¹Шик! Бук! — Орел! Решка!

сказать о сегодняшнем дне. Но было не с кем. Девочки ушли на гору. Мамы не было, она уехала покупать мне брата. И мне стало одиноко и тоскливо. Я расплакался, потребовал, чтобы мне вернули маму. Бабушка успокаивала меня, а отец прикрикнул, чтобы я замолчал и не хныкал. Мы с отцом сдружились, пока не было мамы. Отец любил меня, играл со мной, катал на себе, спал, крепко обняв меня, но его крика я побаивался. Отец был суров и требователен. Я забился в угол и исподлобья наблюдал за ним. Отец перехватил мой взгляд, засмеялся, подхватил меня на руки.

— Скоро у тебя будет брат, — он высоко, к самому потолку, подбросил меня, — скоро мама привезет тебе брата.

— Еще, еще! — я смеялся, визжал от удовольствия.

Отец опустил меня на землю, потрепал по голове.

— Э, смотри, совсем ребенок! — усмехнулся он.

— Ну, конечно, ребенок, — сказала бабушка. Взяла меня на руки, поцеловала, — а вот вырастет, выше отца будет. Тогда всем покажет, какой он мужчина, да?

Так играя с отцом и бабушкой, радуясь их ласкам, я почти забыл события этого дня. Они сгладились, отошли куда-то далеко, словно все, что произошло сегодня, случилось давным-давно.

Но когда сели ужинать, у ворот раздался громкий крик:

— О, чтоб ваша собака вас самих покусала! Чтоб вам, мучителям, эта собака в аду кости глодала! Моего бедненького Махмуда укусила, новые штаны ему порвала! О гяуры! Все люди как люди, а эти волков в доме держат!

Я замер. Я догадался, что это за проклятия, и почему они обрушились на нас. Отец с недоумением прислушался, вопросительно посмотрел на меня.

— А ну пойдём!

Я хотел убежать, но отец, поглаживая по голове, крепко держал меня за плечо и повел за собой.

Перед воротами стояла женщина. Она размахивала над головой детскими брюками и кричала на весь аул.

— Вот этот зверь, вот этот хищник! — показывала она рукой на Долая. Тот беспокойно ворчал, взлаивал, нервно ходил по двору. — Шоратай! — закричала женщина отцу, — надо такую собаку на привязи держать. Смотри,

купила для моего мальчика новые штаны, а ваш пес их — в ключья!

— Аскерхан, успокойся, — попросил отец и посмотрел на меня недобрым взглядом, — меня же дома не было. Это вот он, наверно, выпустил собаку, — отец кивнул в мою сторону. — Зачем проклинать нас, вроде мы тебе никогда ничего худого не делали.

— Мальчика за ногу укусила и вот штаны разорвала! — опять закричала женщина и протянула к нам брюки. — А эту вашу собаку вся улица знает. Она на всех лает и все равно перегрызет кому-нибудь горло...

— Не перегрызет, — заступился я за Долая. — Того, кто не виноват, она не тронет.

И я рассказал все. И про яблоки, и про Махмуда, и про угрозы...

Женщина готова была со стыда сквозь землю провалиться, но не сдавалась:

— Все-таки это дети, а дети чего только не наделают. Нельзя же на них собак науськивать...

— Аскерхан, но меня не было дома, — отец говорил мягко, никого не обвиняя. Не хотел позорить женщину, уже понявшую, что виноват ее ребенок.

Аскерхан ушла.

Потом я узнал, что она избила Махмуда.

Отец долго ругал меня, и я обиделся на него за несправедливость. Но еще большая несправедливость ждала меня.

Отец поймал Долая и посадил на цепь. Долай не давался, вырывался из рук, а когда его все-таки привязали, весь вечер метался, скулил, выл. Я не мог смотреть на него, у него были такие умоляющие глаза, словно он просил: «Не делайте этого сегодня. Дайте мне еще один день, потом поступайте со мной как хотите...» Он, натянув цепь, рвался ко мне, и мне казалось, что ему именно сегодня надо было куда-то бежать.

Я лежал в постели, не мог заснуть, думая о Долае, о том, как обидели его, видел перед собой его просящие глаза и тихо, беззвучно плакал. Шепотом упрашивал отца отпустить собаку.

Отец не отвечал.

А во дворе взвизгивал, подвывая, Долай и беспокойно брнчала его цепь.

Я решился. Сделал вид, что смирился, успокоился, и притворился, что засыпаю.

— Отец, я хочу на двор, — сказал я через некоторое время сонным голосом и торопливо встал с кровати.

Обычно отец выводил меня, потому что ночью я боялся выходить из дома. На этот раз я не стал его просить и босиком, поскорей, выскочил за дверь.

Ночь была темная, беззвездная, тихая. Только глухо погромыхивала цепь Долая и сам он, поскуливая, взвизгивал в темноте. Мне стало страшно, и я не мог решиться шагнуть в ночь. Вспомнились шайтаны, джинны, о которых рассказывала бабушка, и мне казалось, что они в белых саванах притаились за углом дома, за сараем, за плетнем: наблюдают, не мигая, за мной, хихикают, ухмыляются и тянут ко мне длинные худые руки.

Долай рванулся ко мне, заскулил. Я увидел его черную тень, метнувшуюся от акации, к которой его привязал отец, и бросился к нему. Обнял собаку за шею, прижал к себе. Долай взвизгнул, лизнул мне теплым, мокрым языком лицо, и я рассмеялся. Торопливо начал отцеплять его ошейник и не смог. Руки дрожали, но не от страха, ведь со мной рядом Долай, а от нетерпения и холода. Ошейник не поддавался. Да и Долай мешал. Рвался, упирался лапами в грудь, тянулся мордой к лицу. Я боялся, что отец проснется и выйдет встречать меня, поэтому отвязал цепь — так было проще и быстрее.

— Долай, беги! — шепнул я облегченно и, не оглядываясь, побежал домой.

Громыхая цепью, Долай бросился за мной, но я захолопнул дверь.

— Не боялся? — спросил отец и опять засопел во сне.

Я ошупью добрался до кровати и лег рядом с ним. Долго я лежал с открытыми глазами и всматривался в темноту. Первый раз в жизни я обманул родителей и чувствовал, что мне придется жестоко поплатиться за этот обман. Но того, что случится на следующий день, я не мог даже предположить...

Проснулся я рано. И сразу же выскочил во двор. Долая не было. Я побежал к конуре, заглянул в нее. Пусто. Позвал собаку, обежал весь сад. Нет нигде. Я прибежал домой продрогший, весь дрожа, и сказал отцу, что собака убежала.

Отец удивился, но потом улыбнулся:

— Ах ты, хитрец! Наверно, сам ее сейчас и отпустил?

— Нет, — я покраснел.

Отец вышел во двор, молча постоял около акации, подошел к конуре. Нахмурился.

— Наверно, взбесился, — негромко сказал он и вздохнул.

Я молчал. Старался не смотреть отцу в глаза, боялся, что он обо всем догадается.

Вышли за ворота.

— Салам алейкум, Шоратай!

Это краснолицый Султанбек поздоровался с моим отцом.

Я много слышал тогда о Султанбеке. Он был самым уважаемым человеком на нашей улице. Ходил Султанбек важно, выпятив круглый живот. И одет он был солидно. На нем всегда был зеленый китель, синие галифе, сапоги в гармошку, начищенные до блеска; на голове защитного цвета фуражка с огромным козырьком. Из рассказов бабушки, которая почтительно называла его за глаза «барсуком», я знал, что он пьет ногайский чай с молоком и закусывает его солеными огурцами; каждый день в обед у Султанбека бывает мясо, а мы мясо ели только по праздникам. И дом у Султанбека был лучший на улице — кирпичный, а не саманный, как у остальных, и крыша крыта жестью, а не соломой.

— Алейкум салам, Султанбек. Как твоё здоровье? — уважительно приветствовал его отец.

— Волагий¹, неплохо. Почему такой озабоченный? — Султанбек весело прищурил глаза.

— Да вот собака, кажется, взбесилась и вместе с цепью убежала, — неуверенно ответил отец.

— Э, это ничего. Наверно, где-нибудь вместе с бездомными шляется. Проголодается, хоть бешеная, хоть не бешеная, — домой вернется. Позови меня вечером, я с ружьем приду, и делу конец...

— Думаю, что не вернется, — отец неуверенно дернул плечом.

¹Волагий — ради бога.

— Вернется, — заверил Султанбек.

Потом он взглянул на меня, улыбнулся, показав белые зубы, прищелкнул языком.

— Ну, как твой джигит? — спросил у отца. — Сказал ему, что скоро мать еще одного драчуна принесет?.. Дерешься или нет? — повернулся он ко мне.

— Да он еще в куклы играет, — засмеялся отец.

— Ну, я вечером с ружьем приду, — посерьезнев, напомнил Султанбек.

— Будь гостем! — сказал отец.

— Будь богатым! — поблагодарил Султанбек и ушел.

Уходя на работу, отец велел бабушке приглядывать за мной, а мне приказал не подходить к собаке, если она вернется. Когда он ушел, я облегченно вздохнул: не догадался, что это я отпустил Долая!

Но мне было тревожно. Беспокоили слова отца, что собака взбесилась. Я не понимал, что они значат, и подумал: если человека держать на цепи, он тоже взбесится. Но больше всего я размышлял о Долае. Где он? Куда убежал? Почему? Что с ним? Ведь он никогда не отлучался из дому.

Несколько раз я хотел выйти за калитку посмотреть, не видать ли собаки, но бабушка не выпускала меня. Она вынесла во двор ручную мельницу, молола кукурузу и наблюдала за мной.

Матери не было. Долай убежал. Подруги не приходили. Я был один. Попытался было поиграть с куклой Тайтериш, но и с ней было скучно. Хотелось плакать.

Наконец пришли девочки. Они начали было рассказывать о том, как ходили вчера на гору, но я перебил их и торопливо излил свое горе. Рассказал и про Махмуда, и про яблоки, и про Долая, только не сказал, что я сам отпустил его. Я не знал, что значит «взбесился», и сказал, что Долай «сошел с ума».

Патимат, самая рослая из нас, смуглая, черноволосая, вытаращила на меня синие глаза.

— А разве собаки с ума сходят? — она от волнения натянула до пупка свои черные выцветшие трусики.

Я подумал, что Патимат справедливо удивилась, и решил, что отец обманул меня. Взрослые всегда много врут. Долай не мог сойти с ума. Ему просто не понравился мой отец и Аскерхан, то, как они поступили с ним... Вот он и убежал от нас.

— А я знаю, как с ума сходят, — затараторила рыжеволосая Мадина, — с ума сошла Келду, которая на соседней улице живет. Ей отец не купил гармошку, и она облила себя керосином и подожгла...

Мадина многое знала о взрослых.

Бабушка как услышала Мадину, так и рот открыла от удивления. Она прижала ладонь к щеке, покачала головой и уставилась на девочку.

— Вы ужасные дети! — закричала вдруг бабушка. — Ой, Аллах! О каких вещах они говорят. Противные дети! Чтоб мои уши такого не слышали! Уходите отсюда, чтобы духу вашего здесь не было! — бабушка вскочила, волосы ее растрепались. Она набросилась на Мадину: — Вот я матери твоей расскажу! Астопиралла!¹ О чем говорят дети! Уходите отсюда!

Девочки заплакали, но бабушка вытолкала их за ворота и захлопнула за ними калитку. И опять я остался один. Готов был расплакаться, но крепился изо всех сил...

— А собаки сходят с ума? — спросил я у бабушки.

— Сходят, — буркнула она и насыпала новую порцию зерна в мельницу.

— А как они сходят?

— Как, как! Начинают кусать всех подряд, и люди тоже после этого с ума сходят. — Помолчав, ворчливо уточнила: — С ума не сходят, а бесятся, но это одно и то же. — Она думала о чем-то своем, старательно крутила ручку мельницы. Ей было не до меня, она думала о зерне, о муке, о том, какую вкусную мамалыгу приготовит сегодня. А мне было не до мамалыги.

До самого полудня унылый бродил я по двору и думал, что если Долай сойдет с ума, то, наверно, никогда больше не вернется к нам.

В полдень послышался с улицы приглушенный звон цепи. Я почувствовал, понял, догадался, что это Долай, и у меня заколотилось сердце. Выскочил на улицу, бабушка не успела даже заметить. Точно! По улице устало бежал Долай.

— Долай! Долай! — закричал я и бросился к собаке.

Долай тяжело дышал, настороженно посматривал по

¹Астопиралла - возглас удивления.

сторонам. Остановился. Подбежал неуверенно ко мне; вытянув морду, недоверчиво обнюхал. Я обнял его за шею, прижался к горячей мокрой шерсти.

— Долай, Долайчик!

Собака тоже прижалась ко мне, и дыхание ее стало прерывистым и частым.

Хлопнула калитка, выскочила опомнившаяся бабушка и закричала:

— О я несчастная! Он сейчас загрызет тебя!

Она бежала к нам. Долай злобно заворчал, вырвался из моих рук и оскалился.

Бабушка, пугаясь в длинном платье, подбежала ко мне, подхватила своими несильными костлявыми руками, прижала к груди.

— Отпусти меня! — я кричал, плакал, пытался вырваться.

Долай рычал. Черные глаза его с болью и недоверием смотрели на меня, и мне казалось, что он презирает меня, что я для него предатель; я оказался, как и все люди, его врагом и никогда не смогу быть настоящим, верным товарищем. Я плакал, я хотел объяснить Долаю, как мне было одиноко без него, как переживал, когда он исчез. Но Долай не знал этого и не понимал. Он скалился, злобно морщил кожу на морде. А я бился в руках у бабушки, упрашивал, чтобы она отпустила меня.

— Подождите! Не пугайте собаку! — раздался чей-то истошный крик.

Я оглянулся. Краснолицый Султанбек пробежал мимо нас к своему дому. Мокрыми от слез глазами я смотрел вслед толстяку. Я почувствовал что-то недоброе в этом крике Султанбека, в его суетливой торопливости. И Долай перестал рычать, словно тоже почувял неладное, съелся, подобрался, опасно посмотрел по сторонам. Я перестал вырываться из бабушкиных рук, и она опустила меня на землю.

Ругаясь матом, выскочил из своей калитки Султанбек. В одной руке у него было ружье, в другой кусок хлеба.

Бабушка хотела увести меня, но я выдернул руку и со страхом смотрел на Султанбека.

— Давно прибежала? — запыхавшись, спросил он.

— Недавно, только что, — испуганно ответила бабушка.

— Джигит, давно пришла? — Султанбек бросил собаке хлеб.

Долай испуганно отскочил, потом, вытянув шею, принялся и, осторожно подойдя к куску, жадно схватил его.

— Сейчас пришла, — тихо ответил я. Султанбек вскинул ружье.

— Сейчас мы ей покажем! — процедил он сквозь зубы. Бабушка подхватила меня на руки, торопливо прикрыла и мою, и свою голову платком и отвернулась. Она дрожала, и я понял, что сейчас произойдет что-то страшное.

Грохнул выстрел. В ушах зазвенело. И я услышал, как жалобно заскулил Долай. Это был жалкий стон бессилия. Так, наверно, мог бы пискнуть не огромный пес, а маленькая шавка, нечаянно раздавленная проезжавшей арбой. Это был стон, в котором уже слышалось согласие со смертью...

Я ничего не понимал.

Бабушка сняла платок, я рывком обернулся и увидел Султанбека, его ружье, из которого тонкой прозрачной струйкой поднимался дымок, и лежащего на земле Долая, с красным влажным пятном на боку.

— Ольмесхан, придет Шоратай, пусть оттащит куда-нибудь и зароет, — Султанбек зло посмотрел на нас.

— Хорошо, милый, — сказала бабушка и, взяв меня за руку, отвела во двор.

Она села к мельнице, вздохнула: «Бисмилла!. О, бисмилла!»¹ — и стала вертеть жернов.

Через некоторое время я вышел на улицу и подошел к Долаю. Он лежал, ярко освещенный солнцем. Темная, почти черная кровь уже подсохла, и рану облепили большие золотистые мухи. Глаза у Долая были открыты, и в них золотистыми точками отражалось солнце. Я долго смотрел в эти глаза. Они были злые, как у человека, как у Султанбека после выстрела. Я стоял, смотрел и боялся подойти поближе.

Сзади послышались тихие шаги. Я обернулся. Осторожно ступая босыми ногами по кочкам и камешкам, по-

¹Бисмилла — обращение к богу.

дошел, весь в синяках, Махмуд, все в той же лохматой шапке.

— Убили, да? — тихо спросил он меня. Я согласно кивнул головой.

— А мне вчера из-за него попало, — еще тише сказал он, заикаясь.

Встал рядом со мной.

За спиной послышались еще шаги. Это были мои подруги. Они, пританцовывая на засохших комочках грязи, медленно подошли к нам.

— Сума сошла? — тихо спросила синеглазая Патимат. Я опять кивнул.

Девочки присели на корточки и долго молча рассматривали убитую собаку. Рыжеволосая Мадина отогнала веткой копошащихся, жужжащих мух, потрогала Долая, словно хотела убедиться в его смерти.

Собрались дети со всей улицы, и все задумавшись смотрели на мертвую собаку. Взрослые, проходя мимо, улыбались, заглядывали через головы детей, но, увидев мертвого Долая, плевались, кричали на нас:

— Что? Дохлого пса не видели?

Может быть, и видели, но для меня смерть Долая была не только смертью собаки. Это была первая смерть близкого мне, дорогого существа.

Вечером отец отволол труп Долая на окраину аула. Он выкопал на дне старого окопа ямку, положил туда собаку и засыпал ее землей. Когда отец закончил работу, я спросил:

— Где теперь будет жить Долай? Наверно, под семью слоями земли, в аду? Да?

Отец усмехнулся:

— Никакого ада нет и рая нет. Труп сгниет, и ничего не останется.

— А это я вчера отпустил Долая, — признался я; мне стало очень обидно и тоскливо, и я тихо заплакал.

— Видишь, как получается, — вздохнул отец и погладил меня по голове.

Через несколько лет, когда я уже ходил в школу, я пришел сюда снова. Место, где был захоронен Долай, я помнил хорошо. Разрыл землю и нашел рыжую плоскую кость треугольной формы и долго носил ее в кармане.

Мать как-то нашла ее, обругала меня и хотела кость выбросить, но я не разрешил, и тогда она положила ее в мой куржун.

* * *

Оно не такое маленькое — детство. Оно как родник, из которого берет начало река. Память об этом роднике помогает нам жить, помогает светло смотреть и в сегодня, и в завтра. Только не надо забывать, что память стирается годами. Мой родник спрятан в этом куржуне. И я каждый раз, развязывая его, открываю для себя что-то новое. Здесь у каждой вещи своя душа, своя жизнь. В этом куржуне — и люди, и события, и сказки моей бабушки; моя первая крепкая дружба. И первая смерть, и еще многое, многое... то, что является моим детством, моей жизнью.

1974г.

БЕРДАЗИ

Рассказ

Когда выдохнется зима, отшумят последние метели, отсвирепствуют холода и в теплых лучах солнца, в пьянящем, струящемся воздухе, в черных набухших проталинах почувствуется приближение весны, тогда истекает год по мусульманскому календарю. В марте старый год приветствует новый, новый — прощается со старым, и приходит ненадолго безвременье: старое уже осталось в прошлом, а новое еще только вызревает в будущем. Наступившие дни неопределенности ногайцы называют бердази. В эти-то дни, накануне навруз-байрама¹, когда все неясно и неопределенно, зима, словно чувствуя свой конец, пытается обмануть природу и людей: засвистит вдруг холодными ветрами, обрушится снегопадом, ударит ночными морозами. Но и весна набрала уже силу: прошелестит на следующий день теплым ласковым дождем, побуянит грозами, сгонит веселым солнцем последние клочки снега, отогреет промерзшую землю. Словом, бердази — сумятица, непостоянство, ожидание ясности!

Для старого Апоша бердази длится давно. Самый страшный бердази — бердази души!

Сидит старик, опустив голову, и не замечает, что уже приготовила жена таз, кумган, молитвенный коврик, чтобы мог совершить вечерний намаз благочестивый муж

¹ Навруз — байрам — праздник Нового года по мусульманскому календарю (21 марта).

ее. Но старый Апош ушел в свои думы и, как вчера, как позавчера, как много дней подряд, пропустил час молитвы. С грустью и жалостью смотрит Фатима на своего мужа, но окликнуть не решается, побеспокоить боится. А сердце женщины изнывает от боли и страха за своего Апоша, и хочется плакать, и тоска накатывает нестерпимая — что же случилось с Апошем, почему посуровели его прежде ласковые, излучающие доброжелательность глаза? Раньше был он самым набожным человеком в ауле, пять раз в день — истово, отрешенно от мира — совершал намаз. Если в мечеть идет, люди почтительно останавливаются: видят, что у человека праздник на душе. В любую свободную минуту, благословившись, переписывал Апош Коран, и тогда столько мудрости и значительности было на лице мужа, что старая Фатима замирала, шелохнуться боялась. Из дальних аулов приходили к Апошу верующие за священным писанием; он читал им торжественное слово Магомета торжественным, по-юношески звонким голосом, и светло становилось в сердцах слушающих, и уходили они счастливые, повторяя: «Святой человек Апош! В старину шейхом бы стал!» Уважали люди старика за спокойный нрав, рассудительность, добрую душу, поэтому приходили и те, кто не верит в Аллаха, совета попросить, побеседовать, послушать рассказы о жизни. А за свои девяносто лет Апош много чего повидал и память сохранил ясную, взгляд острый, говорил мало, но каждое слово точно золотая монета.

Фатима подавила вздох, покачала головой. «Апош, Апош! Дорогой ты мой мужчина, глава рода, хозяин очага. Что же случилось с тобой? Отчего тяжелой думой затуманился взор твой? Какие заботы согнули тебя? Ведь совсем недавно был ты прям, как ореховый посох в руке твоей. Работал — любо смотреть. Двор содержал лучше иного молодого хозяина. И хлев вычистишь, плетень поправишь, корм корове задашь. А сено! Как ты косил сено в свои годы! Люди даже не решались предложить помощь, и, если кто из сочувствия советовал лучше купить сено, чем изнурять себя на лугу, ты так, бывало, глянешь на обидчика ... А сейчас? Что же за беда опустилась на тебя, муж мой? Сидишь целыми днями, смотришь перед собой мрачным остановившимся взглядом. Коран не открываешь, в мечеть не ходишь, про молитвы забыл».

И вспомнила Фатима, как впервые поразил ее муж, как увидела она его новое, жесткое и злое лицо. Случилось это вскоре после того, как похоронили Караджана.

... Моросил мелкий нудный дождь, и Фатима то и дело выглядывала в окно, поджидая Апоша, который должен был вот-вот вернуться с неке¹. И наконец он показался. Фатима хотела уже отойти от окна, но что-то в походке мужа удивило ее. Апош шагал непривычно широко, далеко вперед выбрасывая палку и с силой втыкая ее в землю. Дорогу раскиселило, и она, разбитая грузовиками и арбами, жирно чернела грязью, поблескивала озерцами рытвин. Апош начал было уж переходить улицу, но вдруг остановился, качнулся слегка и выдернул ногу ... без галоши. Пошарив палкой в колдобине, он осторожно — не увидел бы кто, как почтенный старец роется в грязи, — нагнулся и брезгливо опустил пальцы в лужу. Фатима ахнула, всплеснула руками. Выскочила на улицу, засеменила по грязи к мужу, чтобы помочь ему.

Апош увидел ее, резко выпрямился, задрал воинственно бороду.

— Апош, муж мой, не огорчайся, — запричитала жена. — Сейчас я найду твою пропажу.

— Не смей, женщина! — приказал Апош, и голос его, обычно ласковый, а сейчас властный, резкий, удивил Фатиму. — Не смей, говорю тебе!

Фатима растерянно посмотрела на него. Старик стоял, вытянувшись в струну, и, подняв голову, смотрел хмуро в плаксивое небо. Закрыв глаза, раздул ноздри, и жене показалось даже, что он скрипнул зубами.

— Испытываешь меня? — услышала Фатима совсем уж непонятное. — На! Получай еще! — Апош, опершись о палку, стянул, не сгибаясь, вторую галошу и отшвырнул ее ногой.

— Муж мой, здоров ли ты? — изумилась Фатима. Но Апош, разбрызгивая грязь, не выбирая дороги, шагал уже к своему двору.

Дома он, нахохлившись, уселся на топчан, уперся подбородком в кулаки, сжимающие палку, и долго молчал.

¹ Неке — обряд религиозного бракосочетания.

Сопел, шевелил бровями, а неподвижные глаза его пристально вглядывались во что-то далекое.

— Все! Продаю дом! — сказал вдруг решительно Апош. — Хватит жить на улице, где по воле аллаха то грязь по колено, то пыль по уши.

Фатима где стояла, там и села.

— Опомнись, — ахнула она. — Всю жизнь здесь прожили, куда же в старости-то ...

— Потому и продам, что всю жизнь здесь проторчали, — оборвал муж. Пристукнул палкой об поллюди подле асфальтовой дороги живут, и я хочу ... Посмотрим, как выйдет, — он покосился на потолок И неожиданно, чего уж вовсе никогда не бывало, закричал на жену: — И не спорь со мной! Как сказал, так и сделаю!

— Хорошо, хорошо, — переполошилась Фатима. Успокой свое сердце. Давай продадим, давай переедем.

До самой ночи просидел неподвижно Апош. Когда пришла пора спать, молча разделся, молча лег, а утром чуть свет ушел в соседний аул навестить дочерей. Он шагал в предрассветном тумане, посматривал иногда вверх и желчно размышлял: «Все предназначтал, говоришь? Посмотрим. Ни один волос не упадет с головы человека без воли твоей? Поглядим. Ты начертал мне жить вечно в этом доме? А я возьму да и по-своему сделаю. Брошу родной очаг, другой заведу ...»

Старшая дочь обрадовалась, увидев отца. Правда, поворчала немного: и сама-то сначала десять раз подумает, прежде чем пуститься в такую дорогу, а тут девяносто лет ведь старику! Провела Апоша в комнату, самого шустрого сына за сестрой послала, а сама засуетилась вокруг отца, потчевать принялась, расспросами донимать. Младшая дочь пришла, тоже с разговорами приставать стала. А Апош отмалчивался. Внуки, правнуки к деду лезут, ластятся, а он приласкает их для приличия и снова в одну точку уставится. Дочери забеспокоились, врача позвать хотели, но отец отмахнулся. Перемаялся сутки у дочерей, а утром домой отправился.

«Зачем ходил? — недоумевает он. — Сам ведь захотел — или опять чья-то воля? .. — Старик глянул в небо. Может, и то, что дом продавать буду, тоже чья-то воля? .. Ладно, я со всех сторон проверю!»

Долго думал Апош. И надумал. У молодого агронома, который жил рядом с новым домом, купленным Апошом в центре аула, была огромная собака — серый волкодав. Очень дорожил и гордился им сосед. А у Апоша была дворняжка. Пес хороший, старательный: двор охранял исправно, чужую скотину к забору не подпускал, хозяина о госте оповещал. Но какое же сравнение с волкодавом агронома? «Теперь поглядим, — обрадовался старик. И снова зырк глазами в небо.— Кто повелел мне иметь собаку, которая честно служит, и значит, не за что от нее избавляться ... А я избавлюсь! И другую заведу!»

Пошел Апош к соседу. Долго смотрел из-под насупленных бровей на волкодава.

— День добрый, Апош-агай. Как здоровье ваше? почтительно поприветствовал его агроном.— Зайдите в дом.

— Калмурза, отдай мне собаку,— отрывисто потребовал Апош.— А я тебе свою отдам.

Агроном обиделся: новый сосед — такой почтенный, уважаемый человек, а на приветствие не отвечает, требует невесть что, да еще тоном приказа. А говорили: «Апош — святая душа, Апош — золотое сердце ...»

— Зачем вам мой волкодав, Апош-агай? — стараясь быть учтивым, сказал агроном.— У вас ведь отличная собака.

— А я говорю — отдай. Мне твой пес очень нужен.

— Мне он тоже нужен,— Калмурза испугался, что в голосе прорвалось раздражение, и уточнил торопливо: — Я очень этой собакой дорожу.

— Последний раз спрашиваю: отдашь собаку или нет?! — угрожающе рявкнул Апош.

— Не дам,— опустил глаза сосед.

— И ты, собаку не дающий,— собака, и я, у тебя, собаки, собаку просящий, — собака! — простонал старик, закинул голову и зло посмотрел вверх.

Агроном испугался. Он никогда не слышал такого ругательства, тем более не ожидал его от праведного старца.

Апош поморщился, точно от боли, опустил голову. Развернулся, чтобы уйти. И так пострашнело, постарело сразу его лицо, что агроному стало жалко соседа.

— Подождите, Апош-атай,— тихо сказал он.— Забирайте моего кобеля.

Обрадовался Апош, но виду не подал.

— И ты не собака, давший мне собаку, и я не собака, взявший у тебя собаку,— серьезно сказал он, строго глядя на агронома.

Довольный, повел старик волкодава домой, и в душе Апоша пело и ликovalo. «Что мне предназначено? Что? — торжествовал он. — Вот пес, которого я хотел взять. И я взял его. И тут никто ни при чем. Или скажешь, что твоим велением отдал Калмурза то, что ему дорого? — И вдруг, словно споткнувшись, остановился. — А в самом деле, почему сосед отдал собаку? Ведь он так любил волкодава ... Может, голос свыше услышал? Нет, нет!»

И снова черным стал белый свет для Апоша. Снова целыми днями сидел он, насупившись, а ночами не мог уснуть, лежал неподвижно, всматриваясь до боли в глазах в темноту. Когда лежать не было уж мочи, вставал, одевался осторожно, чтобы не разбудить жену, и брел в огород. Там долго стоял, запрокинув голову, разглядывая необъятное черное небо с неисчислимым множеством холодных, насмешливо подмигивающих звезд. Потом поднимал палку и, тыча ею ввысь, шептал яростно: «Почему так? Почему?» — и снова возвращался в постель, чтобы опять размышлять, мучиться и сомневаться.

Но через несколько дней Апош повеселел. Сначала, правда, он был взбешен, потому что у него опять пропал ишак. Ишак этот и раньше уходил со двора, блуждал неизвестно где, но старик никогда не разыскивал его: осел пошляется, пошляется и сам вернется. Но в этот раз глупая и упрямая скотина бродяжничала где-то три дня. Старик исходил всю округу, обошел окрестные рощи, облазил балки около Кубани и рассвирепел: «Продам! Продам этого проклятого ишака!» Вот тут-то он, пораженный неожиданной мыслью, и обрадовался. «Если всевышний определил все наперед, рассудил Апош, — то он не позволит, чтобы человек что-то сделал, а потом это сделанное в прежнее положение вернул. Коли это произойдет, то, значит, человек совершил это деяние зря; значит, что-то не предусмотрено, значит, он — не всевидящий, всезнающий и всемогущий! Значит, все не так. Значит, нет порядка.»

Когда старик нашел наконец-то ишака, то, не раздумывая больше, продал его соседу на противоположной

стороне улицы. Продал вместе с арбой, не торгуясь, за сто рублей.

Посмеиваясь в бороду, зачастил с тех пор Апош мимо двора нового владельца ишака и, когда увидел, что сосед выкрасил арбу в зеленый цвет, приобрел для осла новый хомут, решил: «Ага, выходит, все предусмотрено. И арба, и ишак нашли своего настоящего хозяина. Хе-хе, всезнающий ...» И потребовал, чтобы сосед вернул ему ишака с арбой за сто двадцать рублей. Новый владелец осла помялся для вида, но деньги были хорошие, а Апош так мрачно-решительно настаивал, что долго и не торговались.

Возликовал Апош и с этой минуты глядел на небо иронически и чуть ли не презрительно.

Поползла по аулу нехорошая новость: «Выжил из ума благочестивый Апош. Творит сам не ведает что». Дочери зачастили к отцу и качали скорбно головами, слушая причитания Фатимы: «Совсем обезумел, совсем рассудка лишился старик!»

А Апош, успокоенный, выходил по-прежнему каждую ночь в огород и теперь уже уверенно тыкал палкой в небо. «Как же так?» — повторял он, и голос его звучал твердо. Но однажды, только успел он сказать решительное: «Почему?», ухнул кто-то недобрым голосом, захохотал, заскрежетал. Апош аж присел, холодным потом покрылся. Осмотрелся испуганно видит, на вершине абрикосового дерева, совсем рядом, сова сидит, вся белым лунным светом залитая, — башкой круглой вертит, желтыми глазами хлопает. Обомлел Апош. Кто не знает, что сова — не к добру, что, когда прилетает она, жди или смерти близких, или другой беды, которая может уничтожить род, разрушить очаг. Понял старик, что прислана она к нему в наказание за богохульство. Побрел Апош домой, улегся в постель и всю ночь слушал, как кричала жутким голосом сова, на улицу выманивала. «Зовешь меня, а я не пойду, — глядя сквозь окно на звездное небо, думал с ненавистью Апош. — И чья бы посланница не была, пусть не надрывается. Завтра же убью ее!» Решил так, успокоился и уснул.

На следующий день взял Апош у соседа-агронома двустволку и вечером вышел в огород. Сова прилетела в сумерках, уселась опять на абрикосовое дерево. Загугукала, запощелкивала клювом. Старик долго наблюдал за

ней, то поднимая ружье, то, не решаясь выстрелить, снова опуская его. Люди и рукой-то боятся махнуть в сторону совы, а не то что напугать или обидеть ее. Когда около полуночи птица особенно зловеще и злорадно захотала, Апош решительно поднял ружье и старательно прицелился — с самой гражданской не держал в руках оружия! Грохнул выстрел. Сова камнем упала с дерева, дернулась и затихла, распластав крылья. Старик шевельнул ее ногой, посмотрел насмешливо в небо. После этого вернулся домой, лег в постель. И больше уже не вставал.

Казалось, силы покинули старого Апоша. Все дни напролет, не шелохнувшись, лежал он на железной кровати, около окна. Заботливая Фатима подоткнула мужу под голову две подушки, и старик, полусидя, мог видеть в окно небо, улицу ...

По аулу пронеслась скорбная весть — слег праведник Апош. И люди потянулись в дом старика; приходили скорбные, сочувствующие, с жалостью смотрели на больного. Ясные глаза Апоша потускнели, голова, обычно гладко выбритая, покрылась жесткой седой щетиной, щеки ввалились, кожа пожелтела, нос заострился. И все, кто знал этого прежде бодрого человека, вздыхали украдкой — считали, близятся последние дни мудрого Апоша. Старик чувствовал, о чем думают зашедшие к нему, кривился и, приказав жене напоить гостей чаем, закрывал глаза или отворачивался к окну. Люди сидели тихо, попивали вежливо чай, расспрашивали Фатиму, чем болен ее муж. «Не знаю, — отвечала она. — Лег и не встает. Не ест, не спит, а врача вызвать не разрешает. По ночам стонет, мечется, «Грешник я!» — кричит. Бормочет что-то, богохульствует». Повздыхают гости, поохают, а когда кто-нибудь из них поинтересуется осторожно: «Что болит у вас, Апош-агай?» — старик грубо отрежет: «Душа!» — и замолчит. И никто не знал, даже дочери, которые зачастили к отцу, даже жена, о чем думает Апош, сосредоточенно нахмутив лоб.

А он думал о жизни. И о смерти. И все больше приходил к мысли, что приход ее нелеп и несправедлив. Старик допускал, что есть другая, потусторонняя жизнь, но теперь, когда он перестал верить во всемогущего, ничто

не влекло его туда, в безвестность, куда уходит все живущее. Раньше он думал о переходе в другой мир легко и почти радостно: там будет вечность, полная блаженства, лишенная горя и обид. Но теперь он не сомневался. Потому, что дана долгая и безбедная жизнь на земле полному ничтожеству, никто не покарал его и умереть позволил, как достойному, и обряд разрешил совершить над ним, как над правоверным. Ничем не показал всемогущий, что этот человек недостойн его милости, и, пожалуй, принял его к себе. А быть рядом с Каражаном Апош не хотел ни на земле, ни на небе ...

Когда умер Каражан, Апош не пошел в его дом проститься с усопшим. До этого, как человек набожный, Апош-агай всегда сам готовил в последний путь умерших стариков сельчан: обмывал их, совершал предписанные обряды, чтобы ушли покойные в потусторонний мир очищенными от земных грехов и всяческой скверны. Но Каражан был плохой человек, злой человек — горе аула. Всю свою долгую, но подлую жизнь он завидовал землякам, вечно всем был недоволен, вынюхивал, подслушивал, а по ночам писал безграмотные бумажки, после которых увозили из аула люди и они больше не возвращались. Особенно много друзей потерял Апош из-за Каражана перед второй войной и не раз хотел сам наказать, по-мужски наказать доносчика, но терпел и ждал. Надеялся: покарает Аллах грязного Каражана, недостойного и имя-то человека носить. Но молчал всемогущий, даже маломальской хвори не наслал на подлеца, даже слабой бедой не огорчил его: дал спокойно дожить до старости, позволил тихо и без мук проститься с жизнью. Поразило это Апоша, и, когда пришел Абилай-эфенди¹, чтобы попросить Апоша обмыть Каражана, старик решительно отказался.

Абилай-эфенди понял его, но поджал осуждающе губы.

— Хоть и плохой человек был Каражан, но наш земляк, — сказал он. — Хоть и много зла принес Каражан, но все равно — мусульманин. Надо приготовить его в дальний путь как положено, — а там Аллах ему судья!

¹ Эфенди — ученый, мулла.

«Зачем мне его кара на том свете? Зачем? Каражан злодеяния совершал на этом свете. Сколько людей загубил доносами! Почему люди не должны поверить в справедливость и не должны увидеть наказания ему? — но согласился Апош и пошел на похороны.

Долго и старательно мыл Апош покойного. Все искал след божьего проклятия на умершем. И не нашел. А перед глазами стояли лица сгинувших друзей, затерявшихся неведомо где из-за этого благостного сейчас, умиротворенного старикашки. Когда заворачивали тело Каражана в саван, Апош сунул в ладонь мертвого листок бумаги и огрызок карандаша. «Не забывай, недостойный, и там свое грязное дело!» Впервые в жизни не простил Апош уходящего в мир иной. Замер, прислушиваясь. И опять ничего, никакого намека на приговор.

Сурово смотрел Апош, как выносили на похоронных носилках, украшенных дорогими тканями и разноцветными платками, тело страшного человека. И все ждал: вот-вот грянет гром, разверзнется земля и поглотит нечестивца. Но ничего не произошло. Каражана похоронили мирно и буднично.

С тех пор и лишился почтенный набожный Апош покоя. С тех пор и начал всматриваться пытливо в небо. С тех пор сомнения поселились в его душе.

И сейчас, лежа в постели, старик вглядывался до головокружения в плывущие высоко облака, в пронзительную лазурь над ними и отводил глаза только тогда, когда солнечный луч, ворвавшись в комнату, слепил. Тогда Апош жмурился, отворачивался. Взгляд его скользил по ковру на стене, натыкался на рамку, под стеклом которой были собраны все фотографии, отражавшие жизнь семьи, — и опять сердце сжимала боль: как не хотелось уходить из этого мира! Снимков было много: и желтых, помутневших, и блестящих, глянцевых. Были здесь и фотокарточки дочерей, были и самого Апоша. На самой первой, снятой еще в гражданскую войну, в бригаде Кочубея, где сражался Апош, он, сорокалетний, стройный и черноволосый, строго смотрел перед собой, вцепившись правой рукой в рукоять кинжала, а левой сжимая камчу. На последней, сделанной десять лет назад по просьбе дочерей заезжим городским фотографом, Апош был уже

мудрым седобородым старцем с чистыми, ясными глазами. Старик, мельком глянув на эти снимки, задерживал взгляд на соседней рамке, где была самая дорогая фотография. На ней он, Апош, сидел рядом с первой женой Мелекхан — матерью его дочерей. Давно ушла она из жизни, еще во вторую войну, но почти каждый день Апош подолгу смотрел на ее лицо за стеклом рамки, беседовал. «Ушла ты, Мелекхан, ушла рано. Оставила двух красавиц, а сама ушла, — вздохнул и сейчас старик. — Не взяла меня с собой. Надо было вместе нам покинуть этот мир, не было бы так тяжело теперь. Наверно, и мучаюсь сейчас оттого, что задержался я на земле. Я ведь старый стал, Мелекхан. Совсем старый... А все равно не хочется туда, к тебе. Ты прости, Мелекхан. Не хочется и не хотелось. Одно только и радовало, что тебя там встречу... А вдруг не встречу, вдруг не найду, вдруг тебя там нет? Вдруг там вообще ничего нет?» И от этих мыслей Апошу становилось горько. Он не боялся умереть, но ему было обидно, что все, чем он жил, все, что видел, слышал, знал, ощущал, чувствовал, исчезнет навсегда. Это казалось таким невероятным, таким безжалостным, что в такие минуты Апош, отвергавший всевышнего, начинал сомневаться. «А как без Него? Ведь не может все кончиться для человека, когда кончается его путь здесь, на земле». И тогда то ему становилось страшно. Он представлял, как опустится, раскинув черные крылья, Азраил, схватит его душу, великую и неповторимую душу, которая в лапах ангела смерти окажется такой слабой, маленькой, и унесет к тому, кого Апош отверг. Если он есть, то ему, наверно, не до нас, маленьких тварей? — Старик понимал, что в нем живет великое сомнение, непростительное, и от этого крепко закрыл глаза. Тебе не до нас, не до Каражана, который превратил жизнь аульчан в настоящий ад. Не можешь всех усмотреть. Люди для тебя, что муравьи... Прости меня, грешного.

Так, мучаясь и сомневаясь, пролежал старый Апош до той поры, когда наступило время старому году приветствовать новый, новому — прощаться со старым.

Утром подул злой холодный ветер, заметались в воздухе снежинки.

— Бердази, бердази начался! — охнула Фатима, бросилась было на улицу, чтобы закрыть ставни, но муж удержал.

К полудню началась настоящая пурга — и мглистое серое небо затянуло плотной шевелящейся стеной снега.

Фатима принесла кизяк, охапку сухих подсолнечных стеблей, развела в очаге огонь и задумалась, глядя на веселое пламя.

У Апоша, как всегда в непогоду, разболелась поясница, и он, найдя положение поудобней, закрыл глаза. Хорошо бы уснуть. Но где там: за окном веселится метель, спину ломит, в голове мысли одна мрачней другой, а тут еще стучится кто-то.

— Э, женщина, Пришел кто-то. Открой! — приказал Апош туговатой на ухо жене.

Фатима встала, повозились в сенях с засовом, и в Комнату, в клубах пара, вошел Абилай-эфенди. Он распутал занесенный снегом белый башлык, откашлялся. Поприветствовал:

— Счастье в этот дом!

— Пусть твой приход принесет счастье, — без особой радости ответил Апош.

Гость снял башлык, скинул с плеч пальто, положил его на войлок топчана. Потер озябшие руки.

— Как чувствует себя наш дорогой Апош-агай? — спросил он у Фатимы.

— По-прежнему молчит, — ответила она.

Абилай-эфенди одернул шепкен¹ из черного сукна, подошел к Апошу. Взял холодными пальцами вялую руку старика, посмотрел в глаза больному. Апош слабо улыбнулся.

— Жив еще и буду жить, — тихо сказал он.

— Вот это слова мужчины, — Абилай-эфенди сел на скамеечку, которую пододвнула к нему Фатима. Бердази начался, — он мотнул головой в сторону окна.

— Да, да, — согласился Апош. — Бердази. Время неопределенности и большого смятения.

— Ты не видел, что на улице делается, — Абилай-эфенди возвел глаза к потолку, поднял молитвенно ладони. — Прямо, как говорят черкесы, время ногайского мурзы.

¹ Ш е п к е н — черкеска.

— Да, да, — улыбнувшись, опять согласился Апош.

— В такую погоду не только дочь, как тот мурза из предания, продашь, но и душу дьяволу заложишь, вздохнул Абилай-эфенди.

— Что вы, что вы, Аллах мой, душу дьяволу! .. — перепугавшись, встряла в разговор Фатима. Помолчала. — И мурзу того стоит ли вспоминать? Забыть о нем, жестоко-сердным, надо людям. Виданное ли дело, за шесть копен сена отдать родную дочь человеку без рода, без племени.

— Что ты понимаешь, женщина! — властно одернул ее Абилай-эфенди. — Когда человек теряет то, на чем держится его почет, уважение, жизнь, он на все готов пойти.

Фатима не имела права вмешиваться в разговор мужчин, тем более перечить эфенди, но удержаться не могла.

— Подумаешь, — словно самой себе сказала она. Не умер бы тот мурза, если бы даже его скот пал без сена. Продать дочь, чтобы коровы были сытыми, это надо же додуматься!

— Вот женщина! — возмущился Абилай-эфенди. Недаром говорят, что у вас волос длинный, а ум короткий. Пойми, корма нет, а тут метели, гололед. И вдруг у какого-то бедняка — целых шесть копен сена, но требует он у мурзы дочь за них. Больше ни на что не согласен. Что делать мурзе? Какой же он мурза без богатства?! Без скота все его благородство, положение, место среди соплеменников и копейки стертой не стоит.

— Променять дочь на положение, — продолжала ворчать Фатима. — Вот и наказал его Аллах. Недаром в предании говорится, что на следующий день после сделки выглянуло солнце, стало тепло, зазеленела трава — мурза не вынес этого ...

— Э-э, женщина, знать бы, где упадешь, соломку подстлал бы, — многозначительно заметил Абилай-эфенди.

Фатима хотела было еще что-то пробурчать, но Апош строго глянул на нее.

— Жена, подай нам чай, — приказал он.

Старуха подбросила в огонь стебли подсолнечника, которые ломала через колено. Встала, отряхнула подол длинного платья. Поставила рядом с гостем, около кровати мужа, столик-сыпыру на трех ножках, положила большой ломоть домашнего хлеба, подала коровий сыр в блюде, налила в старинные фарфоровые чашки чай.

Он всегда стоял в казане на плите и был теплый, но сейчас, подогретый до кипения жарким огнем сухого курая¹, забулькал, наполняя комнату еле уловимым ароматом горячего молока, которым был забелен.

— Я знаю, что вы, Абилай-эфенди, любите с черным перцем, — передав гостю чашку, Фатима поставила на сыпыру круглую, как яйцо, перечницу.

— Бисмилла! — молитвенно провел по бороде ладонями Абилай-эфенди и, нарезав хлеб тонкими пластинками, разделил его поровну между хозяином и собой. Поперчил чай и, зачерпнув его из чашки деревянной ложкой, отхлебнул.

Апош Приподнялся на локте, тоже прошептал: «Бисмилла!» — и, тоже зачерпнув из своей чашки деревянной ложкой, попробовал чай.

— Мало соли положила, жена.

Фатима достала с полки солонку, подала Мужу. Долго сосредоточенно пили чай мужчины, поглядывая в окно на непогоду. Молчали, только иногда Абилай-эфенди поворачивал негромко:

— Да-а, бердази, бердази. Время ногайского мурзы».

Уходя, натянув на каракулевую серую папаху башлык, завязав его, он повернулся к Апошу и еще раз сказал задумчиво:

— Бердази. Дни большого смятения и сомнений. Но после них всегда наступает ясность.

Всю ночь выл и стонал на улице ветер, а утром он пригнал откуда-то тяжелые серые тучи, и они разродились уже не снегом, а мелким чистым дождем. Апош смотрел на водяную пыль, повисшую в воздухе за стеклами, и на душе у него было так же тоскливо и серо, как на дворе. Ни о чем не хотелось думать, но думы не проходили, ворочались тяжелые и ленивые, точно свинцовые облака за окном. Припомнились и войны, в которых он участвовал, и дети, которых поставил на ноги, и сотни страниц Корана, которые переписал, — вся жизнь медленно и до выпуклости отчетливо проплыла перед глазами старого Апоша.

К навруз-байраму тучи начали таять, показалась пронзительная синь неба, стало светлей и погода установи-

¹ Курай — сухие стебли подсолнечника.

лась. Вечером Апош крепко и без сновидений уснул, а утром почувствовал себя бодрым и повеселевшим. Встал с постели, набросил на плечи старую бурку и вышел во двор. Долго стоял на приступке, глубоко, жадно Вдыхая чистый утренний воздух и изумленно, словно впервые всматриваясь в мир. Стоял неподвижно, пока оранжевая полоса восхода не превратилась в сияющий, ослепительный диск солнца. Все казалось в это утро прекрасным и новым для Апоша: и ясное бело-молочное небо, и звонкая переключка петухов, и стрекот, фыркание заводившегося трактора на соседней улице, и волкодав, который, завидев хозяина, заметался на цепи, изнывая от преданности.

«Все уходят туда, откуда нет возврата,— спокойно решил Апош.— И это неизбежно. Но думать об этом не надо. Потому что, пока жив — живи, пока есть для тебя этот прекрасный мир — радуйся ему. И его радуй». Старик еще раз глубоко вздохнул, зажмурился, улыбнувшись. Потом взял вилы и пошел чистить хлев.

Около полудня Апош запряг ишака в арбу и, прихватив топор, поехал в рощу на берег Кубани. К вечеру вернулся с большой вязанкой орешника.

Каждый день сидел теперь старик на пороге своего дома и делал красивые, крепкие трости. Сушил их на солнце, затем прятал на чердак.

— Когда умру, женщина,— говорил он жене, раздай это всем старикам и старухам, чтобы во время бердази были мои посохи им опорой, чтобы твердо ходили люди по земле в любое ненастье».

* * *

Умер Апош. Более ста посохов оставил он своим землякам. Но не было в ауле столько стариков и старух. И тогда Фатима стала дарить посохи всем, кто хотел взять; ведь каждому может по надобиться опора в смутные, трудные дни бердази.

1975 г.

Наконец-то

Рассказ

*И*стория эта началась задолго до нашей встречи с Давлеткереем; и было ему тогда уже за шестьдесят, хотя на вид не больше пятидесяти: морщины на лице едва заметны, голова как-то лихо, до синевы, выбрита, а в черных усах ни единой сединки. Молодила его и гладкая, с красными прожилками кожа на лице, только сутулость да морщинистые коричневые руки выдавали в нем старика. Познакомились мы в далеком караногайском ауле во время моей командировки. В день моего приезда в степи выпал небывалый снег, и сугробы поднялись в подрост человека, а снег все не переставал. Технические службы не были готовы к такой непогоде, и все дороги стали непроезжими. О том, чтобы добраться до племзавода на машине, нечего было и думать, но материал о проходящем там окоте ждали в редакции, и потому два моих давнишних друга из местной газеты решили отвезти меня на санях. Подождав, пока распогодится, мы тронулись в путь, но по дороге опять поднялась пурга, и мы долго плутали в степи, сами не поняли, как оказались в противоположной от госплемзавода стороне, и расстояние до него было такое же, как до райцентра. Да и аул этот мы нашли только благодаря людям, возвращающимся на тракторе с кошары, а то так и пришлось бы ночевать в степи. Люди замахали нам руками, показывая, чтобы мы следовали за ними, видимо, сразу поняли, что мы заблудились. Трактор остановился возле занесенного

снегом, совсем не различного среди сугробов приземистого дома. Из кабины выскочил мужчина, одетый в черный тулуп, валенки, городскую шапку-ушанку, и подошел к нам... Узнав, в чем дело, он сел с краю на сани и велел загнать их во двор. Там сам распряг лошадь, завел ее в сарай, дал корму только после этого пригласил нас в дом. Жилая комната по караногайскому обычаю состояла наполовину из тахтамета, на котором были расстелены пестрые войлочные ковры и разложены небольшие разноцветные подушки. Когда все разделись, я наконец взглядел лицо хозяина, похожее больше на лицо горца или казака, чем на караногайца: ведь их лица отличаются азиатской смуглостью и узким разрезом глаз. Наверное, на это обратили внимание и мои товарищи, но спросить никто не решился. По-ногайски хозяин говорил чисто, без акцента. Мне и в голову не пришло, что он мог быть моим земляком — кубанцем... Из-за дальности расстояния мои земляки — редкость в караногайской степи, хотя у нас один язык и обычаи, да и кубанские невесты нередко выходят за караногайцев.

— Зовут меня Давлеткереем, — сказал старик и протянул руку. Мы тоже назвали и поочередно пожали его руку. Когда я услышал его имя, то понял, что он мой земляк, потому что такие имена распространены только в наших краях.

— Агай¹, не с Кубани вы? — спросил я.

Старик подозрительно посмотрел на меня:

— А что? — недовольно откликнулся он.

— Да так, имя на наше похоже... — ответил я.

— С Кубани. А ты откуда? — спросил он, явно чем-то недовольный.

— Я из Эркин-Юрта. Из рода Есеней.

— Ага, — проговорил он равнодушно, не выказывая ни радости, ни удивления.

Я же был приятно поражен этой неожиданной встречей с земляком, хотя хозяин всем своим видом показывал, что со мной-то как раз он меньше всего хочет разговаривать. С этой минуты и до самого моего отъезда я чув-

¹ А г а й — уважительное обращение к старшим.

ствовал себя обиженным, но ничем не выдал себя, притих и сидел смиренной овцы.

Давлеткерей рассадил нас па тахтамете, кинул каждому но подушке, чтобы мы могли разговаривать полулежа.

Из кухни, дверь которой была занавешена ситцем в зеленых цветах, вышла высокая женщина в черном платье. Темные круги под глазами четко выделялись на ее лице, а осанка и нос с горбинкой выдавали и в ней кубанскую горянку. Женщина склонила голову и сказала:

— Хош кельдингиз ¹.

— Сау болынгыз! ² — ответили мы на ее приветствие.

— Еду поставь! — приказал хозяин. Хозяйка молча ушла в кухню и скоро вернулась, неся на подносе чашки с горячим ногайским чаем.

— Не знала, что гости будут, — сказала она, будто извиняясь.

— Хинкал сделай, да чеснока побольше! — буркнул Давлеткерей.

Женщина, расставив чашки, опять ушла. Мы выпили чай. Пошел разговор о непогоде, о падеже скота, о трудных условиях окота овец. Мои приятеля несколько раз пытались заговорить обо мне и цели моего приезда, но хозяин слушал равнодушно и спрашивал о другом. Друзья поняли, что я совсем не интересую его, и замолчали.

— А вы из какого аула? — робко осведомился я, все еще надеясь, что между нами возникнет какая-то теплота.

— Из Эркин-Шахара, — ответил он и с недоверием взглянул на меня.

Мне оставалось только гадать, чем вызван этот взгляд и вообще такое отношение. Я замолчал и больше не вступал в разговор.

Вскоре жена хозяина подала на большом деревянном блюде хинкал вперемешку с белым индюшачьим мясом, в небольшой железной тарелке поставила и соус-тузлук.

По примеру хозяина мы стали брать куски мяса, макать их в тузлук и есть.

¹Хош кельдингиз — пусть радостен будет ваш приход.

²Сау болынгыз — будьте здоровы.

— Ешьте, дорогие гости! — угощала хозяйка. Обвела нас добрым взглядом. — Откуда будете?

Но Давлеткерей не дал нам ответить, буркнул:

— Принеси чеснок!

Женщина побежала на кухню, принесла головку чеснока, очистила ее, положила дольки перед каждым из нас, сама села в углу тахтамата, опустив ноги на пол.

Давлеткерей, проявлявший до сих пор свойственную кубанцам сдержанность, вдруг начал, показывая белые, крепкие зубы, стал с ожесточением грызть чеснок, будто хотел обратить на себя внимание. Стараясь не смотреть на него, мы осторожно брали мясо.

— Ешьте! — Покончив с чесноком, хозяин стал подкладывать нам самые большие куски мяса.

— Такого снега в этой степи люди сроду не видали, — сказала женщина, желая завязать разговор.

— Не давай гостям скучать, телевизор включи, — будто огрызнувшись, прикрикнул Давлеткерей.

Женщина быстро подошла к телевизору и воткнула вилку от шнура в розетку.

Загудел трансформатор.

— Слава Аллаху, что свет не отключили, — вздохнула хозяйка и села на прежнее место.

— Неси чеснок! — опять приказал хозяин. Женщина тут же вскочила с места, никак не прекословя, принесла сразу несколько головок и стала очищать. И хотя чеснока перед нами было вдоволь, она положила новую порцию. Хозяин, как и раньше, торопливо грыз чеснок и почти не дотрагивался ни до мяса, ни до хинкала. Хозяйка принесла в небольших красных пиалах шурпу и поставила перед нами.

— Может, кто из дорогих гостей чай будет? — спросила заискивающе.

— У ногайцев нет обычая спрашивать. Ставь что есть — и все! Кто захочет пить, тот выпьет! — отчитал жену Давлеткерей и, снова обшарив глазами стол, громче обычного приказал: — Неси чеснок!

Жена чуть ли не бегом бросилась на кухню.

— Абай¹, не надо портить добро, перед нами вон

¹ Абай — уважительное обращение к пожилой женщине.

сколько чеснока, — крикнул вслед хозяйке один из моих товарищей.

— Пусть несет! Чеснока у нас много, — самодовольно произнес Давлеткерей.

Уже собравшиеся передвинуть чеснок к хозяину, наши руки замерли: странным казалось нам поведение хозяина, и мы то и дело переглядывались.

Старик, сжевав приличную порцию чеснока, запил его бульоном, и лицо его, и без того красное, совсем побурело, стало каким-то сине-багровым. Покончив с едой, он, как истинный мусульманин, огладил обеими руками лицо...

Поблагодарив за угощение, мы стали устраиваться на ночлег. А утром, провожая нас, хозяин опять был немногословен и, как и накануне, отворачивался от меня. Так я и уехал с этого двора с затаенной в душе обидой. Она не проходила у меня все время, пока я был в Караногае. Мы долго обсуждали с друзьями странное поведение старика, но ничего определенного не могли придумать по этому поводу. Часто вспоминали его окрик: «Неси чеснок!», — и, видя тут нечто забавное, не раз повторяли эти слова в застольях.

И дома мне долго не давал покоя образ старика. Любопытство мое было возбуждено, и я хотел что-либо разузнать о нем. Кто он, чем занимался до переезда, как очутился в Караногае? По службе и по житейским делам мне привелось несколько раз побывать в его родном ауле, который давно слился с новым заводским кварталом и теперь носил название Эркин-Шахар. Тому, кто знает поселок, известно, что раньше аулом называлась та его часть, которая располагалась за железной дорогой, ближе к левому берегу Кубани. Эта часть и после строительства сахарного завода, когда вырос поселок городского типа, носит старое название — Кубан-Халк.

По приезде в поселок меня удивляло то, что, когда я начинал расспрашивать про Давлеткерей, люди не могли вспомнить человека с таким именем и не понимали, о ком идет речь. Правда, я спрашивал у людей своего возраста или у тех, кто помоложе...

Как-то я был по делам в заготконторе и в перерыв, чтобы скоротать время, решил прогуляться по поселку; перешел железную дорогу и оказался в той части посел-

ка, которая раньше называлась аулом, прошел по пыльным улицам и, увидев трех стариков, сидящих на лавочке в тени тутовых деревьев, подсел к ним. Когда мы познакомились и разговорились, я спросил у них про Давлеткереев. Старики стали гадать, кто бы это мог быть?

— Да это наверное о «Наконец-то» спрашивает наш джигит? — неуверенно сказал старик по имени Исмаил.

— Да, его же звали Давлеткереем, — подтвердил другой старик, которого звали Мамутом.

— Конечно, «Наконец-то» Давлеткереем звали, — согласился и третий, Магомед.

— Интересный был человек Наконец-то, — начал вспоминать Исмаил. — Единственный в ауле с лошадыю остался. Сколько ни уговаривали его, так и не сдал свою кобылу. Мы все на завод подались: деньги хорошие, все под носом, новые специальности получили... Он же из-за своей лошади на завод не пошел, в Беломечетке, за Кубанью, в тамошнем совхозе чабаном устроился. Отсюда до кошары больше тридцати километров, он неделями не бывал дома и все же остался верен своей работе. Были мудрецы, которые посмеивались над ним: мол, вот отсталый человек, в век техники с лошадыю проститься не может; давили на него, а он ни в какую. Упрямый, вид у него был, как у абрека: на человека всегда смотрел уверенно, прямо...

— Доверчивый был страшно, — подхватил Мамут, посмеиваясь и оглаживая седую бороду. — Ту же лошадь всякому поклянчившему пацану отдавал покататься. А пацанам что? Злоупотребляли его доверием, бывало, по полдня носятся на его скакуне, а после, боясь его ругани, незаметно оставляют возле двора или передают через других... А то, что он каждый год двухгодовалого жеребенка резал?! У людей даже овец не было, а он лошадь режет, да как! По старому обычаю: соседям, родственникам, друзьям по целому тазу мяса раздавал. Раньше наши предки раздавали мясо, зная, что и тот, кому дают, когда-нибудь зарежет скотину. А Наконец-то почти никто не приносил, не такие сейчас люди. Я как-то отказался, так он разругал меня так, что я долго очухаться не мог. «Мужчина ты или не мужчина?! — говорит. — Чего ты, как женщина, жеманишься! Бери! Как предки делали, так и я! По закону нашего Эдиге!..»

— Да, да, — хихикнул старик Исмаил. — Он часто об этом Эдиге говорил. Я даже не знаю, кто это?

— Как не знаешь? — удивился молча слушавший до сих пор Магомед. Он снял с головы фетровую шляпу и, почесав лысину, сказал: — О нем большая песня есть, это наш исторический герой. Но, скажу вам, хотя Наконец-то часто поминал об Эдиге, песни о нем он не знал.

— А ты знаешь? — недовольно спросил Мамут.

— Я? Спеть, конечно, не могу, но слышал ее от отца. Да в ауле сейчас и не найдется такого человека, который мог бы ее спеть, очень длинная эта песня... Наконец-то очень переживал, что сам не знает песни, но говорить о ней любил...

Старики замолчали и с любопытством посмотрели на меня: что мол, ты еще хочешь знать. Я не заставил их долго ждать.

— Почему его прозвали Наконец-то?

— Почему — Наконец-то? — засмеялся все тот же Исмаил. — Народилось у него одна за другой шесть дочек, а сын не получался, и когда родился сын, то люди его так и назвали: Наконец-то...

— А почему по-русски? — спросил я.

— Как почему? — удивился Исмаил. — К тому времени завод почти выстроен был. Люди съехались со всего света, все по-русски говорили. Хотя мы тут, в ауле, на родном, слава Аллаху, и сейчас говорим, но тогда любили в жизнь свою русские слова вносить — поэтому так и прозвали.

— Лучше я расскажу про это, — сказал Мамут, недовольный объяснениями своего аульчанина. — Тогда весь аул переживал за Наконец-то. Вместе ждали, когда у него сын родится. А возможно, многих просто любопытство разбирало: родится или не родится? Анипеш, кажется, его жену звали? — спросил он у Исмаила.

— Да, да, — с готовностью ответил тот.

— Увидят Анипеш на улице и начинают судачить: одни что выпяченному животу решают, что должен родиться сын; другие говорят, что живот слишком круглый и опять будет дочь. Даже на кукурузных зернах гадали. Все ждали. А рождались дочери. Как отвезут Анипеш в роддом — весь аул ждет новость. Когда последние дочери рождались, даже смеяться стали над ним, за спиной, конечно, в гла-

за никто не смел такого сказать. Анипеш отвезут в роддом, а в тот же день, и ту же ночь Наконец-то на коне кружит вокруг больницы. Русская акушерка знала, что за всадник мыкается под окнами, и, как только появлялась девочка на свет, высовывалась из окна и руками изображала падающие из глаз слезы, давая этим, понять, что опять родился слабый пол. Бедный Наконец-то хлещет, бывало, коня, злобствует и скачет прочь от больницы.

— Точно, переживал сильно, — перебил своим степенным голосом старик Магомед, — как по аулу пройдет хабар, что у него снова дочь, мы даже посмотреть на него боялись: такой хмурый ходил. В старину у ногайцев, когда на свет появлялась девочка, так поздравляли: «Пусть счастье принесут сорок голов скота!» — под этим подразумевался тогдашний калым, который получит отец дочки по случаю ее замужества. А мы об этом и заикнуться боялись. Просто: «Салам алейкум! Как дела?» Он же уже наперед все знает: «Верно! — выкрикивает бодро, — уже сто шестьдесят коров во дворе гуляют!» — говорил так и уходил прочь...

Седобородый Мамут, желавший дать ответ на мой вопрос, кашлянул, чтобы продолжить свой рассказ, но тут, изобразив на лице улыбку, поторопился со своим рассказом Исмаил:

— Люди не дураки выпить. Поэтому, хоть и невелика была радость Наконец-то, приходили к нему в дом с поздравлениями, чтобы он в честь этого события бутылку поставил. В молодости я выпивохой был...

— Особенно любил выпить на шаромыгу, — перебил его Мамут.

— Да, да, — улыбнулся Исмаил. — Как узнаю, что Наконец-то домой вернулся, так тороплюсь к нему. А он обычно в комнату жены в эти дни не заходил, показывал, что в обиде. Жена, естественно, тоже обижалась. Прихожу я к нему, вижу, как он с детишками играет. «Дети — это всегда радость», — обращаюсь вежливо, с поздравлениями не лезу, чтобы насмешку не узрел. А он: «Что хорошего?! Полный дом баб — разве это хорошо?! — показывает на своих дочек, потом в сторону комнаты, где жена с новорожденной. — И там еще одна! Я же ногаец! Я сам от отца родился, и таких, как я, шестеро было!» «Отцу и твоя доля перепала, не огорчайся», — хочу успо-

коить его. «Я же ногаец! — бьет он себя в грудь. — Главная моя задача: дать потомство, джигитов достойных, достойных Эдиге!» Я опять успокаиваю его и под предлогом, что хочу увидеть новорожденную, завожу Наконец-то в комнату роженицы. Видимо, ему и самому хочется увидеть ребенка, и он заходит за мной. «Хозяйка, покажи нам красавицу!» — прошу я. Жена стыдится: «Здравствуй! — говорит и недобро смотрит в сторону мужа. — Этот изверг, только когда ты приходишь, заходит, не давай ему смотреть. Из роддома на автобусе приехала, а других женщин мужья на машинах привозят!» — жалуясь, ударяется в слезы, сердечная. Я успокаиваю ее, беру ребенка на руки, показываю Наконец-то. Тот морщится, но смотрит. «Это я-то изверг?! — опомнившись, возмущается он. — Если б ты принесла мне с «пистолетом», то я б тебя из роддома, на руках принес...» — «Я, что ли, виновата? — сквозь слезы вырывается у жены. — Твоей вины больше! У меня в роду одни мужчины, а у тебя все девки!» — «Да дочку иметь тоже хорошо, будет кому за вами на старости лет присматривать», — вмешиваюсь я, чтобы остановить перепалку. Но разве Наконец-то можно было так просто остановить. Он не успокаивался, даже когда из-за новорожденной ставил мне бутылку, и, подогретый водкой, продолжал в том же духе: опять говорил о продолжателе рода, об Эдиге и обо всем таком...

— И дождался-таки наследника, — с иронией проговорил Исмаил.

Но седобородый Мамут строго поглядел на приятеля и, потупив взор, продолжил свой рассказ.

Когда у Давлеткерей родилось шесть девочек, аул перестал надеяться, что у него будет сын. А утром акушерка крикнула всю ночь кружившему вокруг здания всаднику: «Наконец-то!»

Давлеткерей сперва ничего не понял:

— Кто? Ты толком объясни! — кричит в ответ он. Акушерка с улыбочкой до самых ушей, выставив согнутый указательный палец, шевелит им.

Тут только Давлеткерей все понял:

— Наконец-то! — выкрикнул он сам, тряся поднятыми вверх руками. — Ты спустишь, я тебе суюнши дам, — крикнул он акушерке.

Акушерка быстро спустилась. Давлеткерей слез с коня, обнял ее, и как она, выставив согнутый указательный палец, пошевелил им:

— Как он? Здоров?

— Копия ты! — ответила акушерка. Давлеткерей вытащил десятирублевую бумажку, разгладил ее и припечатал к ладони акушерки.

— Ой, как много! — обрадовалась женщина.

— Это за труды! — сказав, обнял акушерку. — У меня сын! Я его назову Нурадином! Так звали сына Эдиге! — Целый месяц он повторял одни и те же слова каждому встречному.

— А все в ответ вздыхали:

— Наконец-то...

— После того и прилипло к нему прозвище. Да так прилипло, что настоящее имя позабылось, — закончил свой рассказ старик Мамут.

— Хороший был мужик. Простодушный, хороший! — повторил Магомед, а после с грустью добавил: — Вот только с детьми не повезло.

— Да, — подтвердил Исмаил.

Только степенный Магомед несколько раз предупредительно кашлянул, и старики замолчали, явно не желая рассказывать дальнейшую судьбу Давлеткерейя.

Мне, как молодому человеку, неловко было выпытывать то, чего не хотят говорить почтенные аксакалы, к тому же, пора было возвращаться в заготконтору, и я, поблагодарив стариков за рассказ, попрощался с ними.

Это была одна из первых бесед, в которой я хоть что-то узнал о Давлеткерее. Но тот ли это человек, с которым мне пришлось встретиться в Караногае? Так трудно было поверить в то, что между Наконец-то и тем почти не нормальным стариком есть что-то общее. Может быть, поэтому я еще больше заинтересовался Давлеткереем.

Как-то в газету с жалобой на родного сына приехала из Эркин-Шахара старуха по имени Муслимат. Сын якобы бросил ее одну и, получив квартиру, переехал с семьей в заводской дом. Дело было запутанное.

— Я же старая, на пятый этаж никак не могу взобраться, а он все долдонит: «Продадим дом, и живи, у меня». Я ни в какую. Да что я им, птица какая, висеть на такой верхотуре?! Поэтому и не продала дома, одна живу, а вы

представляете, какво старому человеку одному, — это же никуда не годится! Я его одна воспитала, грудью вскормила, какие трудные годы пережила с ним, сама не ела, все ему отдавала, от голода уберегала, а он мне на старости лет такое предлагает. Напишите о нем, может, стыдно ему станет?! Напишите, что бросил старую мать на произвол судьбы, — так жаловалась старуха.

По опыту работы в газете я знал, что основывать статью на заявлении одной стороны нельзя, необходимо было выслушать и сына, поэтому не торопился с ответом.

— Нам, бабушка, с одних ваших слов нельзя писать, надо выслушать и вашего сына, — заикнулся я и сразу же пожалел об этом.

— Так вы не верите мне, одинокой матери, старой женщине? — рьяно накинулась она на меня и продолжила в том же духе: — Такой человек, как мой сын, вообще недостоин разговора с людьми. А я-то верила, надеялась на газету!..

Никакие мои доводы не действовали, и она уехала расстроенной, даже на слезы не поскупилась. Мне ничего не оставалось, как взять командировку и ехать на завод. Сперва расспросил о сыне Муслимат — все говорили о нем только хорошее; потом встретился с ним самим и рассказал ему, в чем дело: сын был очень удивлен... Оказалось, что его семья не могла нормально жить в двухкомнатном старом доме и завод предоставил им четырехкомнатную квартиру, но мать отказалась туда переезжать. И не в здоровье тут дело, просто мать не хочет уезжать из старого дома, где прошла ее жизнь. Больше того, и сын, и невестка каждое утро и вечер заходят к матери и делают все необходимое, но со дня переезда мать с ними не разговаривает и даже новую квартиру смотреть не ходила.

— Для меня это большая неожиданность. Раз дело дошло до газеты — мать не передумает... Сын-школьник есть у меня, оставляю-ка я его у матери, хоть и маленький, но все же живая душа... Кстати, я и раньше об этом думал, но надеялся, что мать все-таки согласится приехать, — заявил сын Муслимат.

Поскольку он был на работе, я сам пошел к матери уладить это дело и заодно сообщить о намерении сына. Муслимат не заставила долго себя уговаривать, она была

только рада, что будет жить с внуком, но так просто она меня не отпустила, приготовила мне ногайский чай с баурсаками и все время извинялась за то, что оторвала от работы. Я же за едой спросил у нее о Наконец-то: знала ли она его?

— А как же! Ты спроси, кто не знал этого святого человека! Это был настоящий слуга Аллаха, он все обычаи соблюдал, такой сердечной доброты человека я не видывала и, наверное, не увижу. Торжество или горе — Наконец-то тут как тут. Не только к родственникам, соседям, ко всем успевал, а у самого семеро детей — это ведь с расходами связано! А талака?! Без него талака — не талака! Все силы отдаст, а когда все остаются на угощение, он съест большой кусок мяса, запьет юртом, поблагодарит и уходит. Его просят остаться, выпить с ними, а он пьяной компании: «Ногайцы шестьсот лет водку не пили, а я сын своего отца!» — скажет и уходит.

Пьяницы думали, что у него с головой непорядок, а на самом деле он и умнее и добрее их был, — говорила Муслимат, и глаза ее блестели от приятных воспоминаний.

— А что потом с ним случилось? — спросил я.

— Уехал, бедный. Не мог он остаться здесь, — задумавшись, она отвернулась к окну, рукой утерла слезы, после взбодрилась, но, не желая продолжать беседу на эту тему, сказала: — Ты пей чай, совсем остынет...

— Почему он уехал? — спросил я, допив чай.

— Тебе это нужно знать? Небось об этом сразу напишешь?! — сердитым голосом проговорила она.

— Нет, я не собираюсь о нем писать.

— Ну, тогда поспрашивай у других, люди тебе расскажут, а мой язык не поворачивается о нем дурное сказать...

Больше о Наконец-то от старой Муслимат я ничего не узнал. А в следующий раз мне повезло. Меня пригласили, на свадьбу одного родственника, и свадьба была на той стороне поселка, где раньше жил Наконец-то. На свадьбе я познакомился с человеком по имени Ибрагим, который был соседом Наконец-то. Когда люди стали расходиться, аульчане по обычаю брали к себе на ночлег приезжих гостей, и меня пригласил к себе Ибрагим. Утром мы завтракали в его саду, где у него был устроен навес и куда был вынесен сыпра-столик на трех ножках и табуретки. Жена Ибрагима напекла локумов, поставила

на стол большую тарелку густой домашней сметаны, подала чай в больших пиалах. Под навесом было чисто и уютно, вокруг росли фруктовые деревья, но, несмотря на утреннюю свежесть и на то, что мы сидели далеко от хозяйственных пристроек, в беседку проникал запах скотного двора. Заметив мое беспокойство, Ибрагим сказал:

— Рядом откормочная база для скота — это отсюда запах. Как только ветер подует — все! Настоящая отравка! Бедный Наконец-то правильно сделал, что сбежал отсюда?

— Ты знал Наконец-то? — В моих руках застыла поднесенная к губам ложка со сметаной.

— Еще бы! Вон его дом, — показал он рукой на виднеющуюся за деревьями черепичную крышу. — И навес у него такой же, точнее, этот навес он мне сделал по образцу своего. До сих пор стоит!

— Да? — удивился я, и моя рука машинально потянулась к гладкому, отполированному прикосновениями человеческих рук столбцу, поддерживающему навес из красной черепицы.

— А ты его знал? — спросил Ибрагим.

— Один раз видел, — ответил я.

— Бессребреник, каких трудно в наш век найти! — восхитился Ибрагим. — Почему его Наконец-то прозвали, ты знаешь? — спросил он.

Я кивнул утвердительно.

И Ибрагим рассказал мне то, чего не рассказали другие.

— С рождением сына Наконец-то сильно переменялся. Во всем виде его появилось довольство, разговор стал степенным, уверенным, как у человека, свершившего свой долг. Раньше его переживания прямо на лице были написаны, а теперь, хотя он и сохранил былую строгость, доброта ее смягчала. Раньше он от случая к случаю выпивал с кем-нибудь, а теперь и этого не делал. Даже внешне изменился: стал брить голову, папаху каракулеву надел, а ведь ему всего-то около сорока тогда было. В общем, стал ходить как молодой старик. Да и омовение стал делать пять раз в день, но в бога вряд ли верил, хотя и говорил не раз: «Жаль, что Корана не изучал, молитв не знаю!»

Думаю, что не верил, потому что поста не соблюдал, телевизор смотрел, газеты читал, а ведь наши верующие

все это отрицают. По-моему, богом у него был Эдиге и верность ногайским обычаям, созданным якобы этим Эдиге. Он нам говорил, что и сына Нурадином назвал, потому что у Эдиге был сын Нурадин; не знаю, насколько это верно. Но помню, соберет он детей со всей округи — и мои сорванцы там были — и начинает им рассказывать:

— У Эдиге к ногам пудовые гири были привязаны, чтобы он в небо не улетел. Силой он славился, подкову меж мизинцем и большим пальцем сгибал, саблей одним махом быку голову срубал. Всю жизнь Эдиге боролся со злым ханом Тохтамышем. У хана была большая сила, войска много, и Эдиге трудно было с ним бороться, поэтому он ждал, пока подрастет его сын Нурадин. Он воспитывал сына честным и умным, сильным и бесстрашным. После Нурадин победил Тохтамыша. Эдиге тогда так сказал: «Кто крылья в гнезде обрел, тот до цели своей дойдет». Чтобы обрести крылья, надо блюсти наш адат, дошедший от Эдиге.

Мы, взрослые, слыша его побасенки, потешались над ним, но вслух ничего не говорили. Боялись обидеть, а он как ребенок был, плохого от него никто никогда не видел. А разве мало в жизни злых людей: и воры, и кляузники, и прямые подлецы — всякие есть. Такие, как Наконец-то, в нашей жизни, конечно, редкость. Небогат, одевался скромно, семью кормил. Сыну, когда он был маленький, уделял много времени. Возил его к себе на кошару, на лошади совсем маленьким научил ездить, силу тренировал. Сперва мальчик рос хорошим, честным, отзывчивым, но вот когда подрос, Наконец-то зачем-то волю ему дал — в четырнадцать лет определил в ремесленное училище при заводе. Сам Наконец-то в ауле силой славился. На всех талаках он самую тяжелую работу выполнял. На нашей улице дома нет, где бы он ему под фундамент не копал. За это даже подшучивали над ним люди: «Зачем экскаватор придумали, если есть такие, как Наконец-то!» И сын в этом преуспел, несмотря на возраст, силой стал заметен, а отец, видя такое, вместо себя стал его на талаку посылать. Работал он там не хуже отца, люди восхищались им, но одни со зла, а другие по недомыслию приучили мальчишку к водке. Ну не так, чтобы

пьяницей стал, просто выпивал Нурадин. В это время в поселок на строительство завода понаехали разные люди, объявились и хулиганы. Неприличные песни горланили, людей задевали, драки устраивали, пьянствовали на виду у всех. Прибился к ним и Нурадин, все с цепью ходил, за это шпана и кличку ему дала: Цепной Нурадин.

Жена жаловалась Наконец-то на сына, но тот почему-то не придавал этому особого значения.

— Главное, чтобы не курил, не пил, с девками не гулял и не воровал. Если узнаю, что он делает это, голову оторву! — А сам души не чаял в сыне, потакал ему во всем и даже деньгами стал баловать, а то откуда у того деньги на выпивку. А жена, зная характер мужа, все как есть говорить боялась.

К тому времени пять его старших дочерей одна за другой замуж вышли. Их из-за Наконец-то охотно брали, считая, что у такого отца плохих детей не будет. И правда, дочки попали в хорошие дома, слыли там порядочными, честными хозяйками, в общем, обрели свое счастье. В наше время одну дочь устроить проблема, а тут целых пять, и все за хороших людей повыходили. Возможно, счастливый брак дочерей притупил бдительность родителей; но возможно и другое... Только шестая дочь, — Кериме ее звали — на наших глазах беспутной стала. Как, почему?! До сих пор ума не приложу. Стройная, синеглазая, с черными кудрявыми волосами, красавица писаная, пригожей всех сестер была, но только какой толк от ее красоты, что называется, по рукам пошла. Может, от того, что отца дома нет, сечь некому было. Не знаю. Каждый вечер возле их дома гудки автомашин, свист.

— Бессовестная, все отцу расскажу! — раздается надрывный голос Анипеш, матери ее.

А она:

— Я скоро вернусь, — кричит уже из чьей-нибудь машины. И пропадает на всю ночь, только на рассвете заявляется, мать ее ругает, бывало, а ей хоть бы что.

В то время у нас в поселке появились распущенные девицы, но об этом наши не очень-то распространялись. «Кто знает, что завтра с моей дочерью будет!» — так, наверное, суеверно думали. Хотя были и такие, как Наконец-то, — вслух осуждали распутство.

— Ведь народ из семей состоит: крепкая семья — здоровый народ! Эдиге за разврат казнил и мужчин и женщин! — как обычно, включая своего героя, твердил Наконец-то.

Люди же посмеивались про себя, но не могли сказать ему о дочери, язык не поворачивался — так велика была его вера.

В воскресенье это случилось. Солнце сжигало землю, и аульчане скрывались от жары в прохладных домах. Небывалая тишина стояла на улицах. Какой-то мальчишка принес весть о том, что незнакомые парень и девушка, подъехав на мотоцикле к аульскому кладбищу, зашли в молельный домик и не выходят. Старик Янай, живущий в той стороне аула, увидев святотатцев, послал мальчонку созвать жителей, а сам остался охранять мотоцикл. Весть в один миг разлетелась по аулу. В основном пожилые люди, кто с палкой, кто с монтировкой, возмущенные этим известием, двинулись к кладбищу.

— У этой шантрапы ничего святого нет, нашли место для свиданий! — кричали одни.

— Да что же это такое! Даже кладбище превратили в публичный дом! — сетовали другие.

— Наверяд ли кто из наших позволит себе такое кощунство! Это, наверное, приезжие! — предполагали третьи.

Все понимали, что укрывшиеся в домике приехали не для молитвы и не для того, чтобы почтить память предков, тем более что женскому полу вообще не полагалось переступать границу кладбища. Хотя собравшиеся могли сразу войти в молельный домик, они не сделали этого из боязни, что головы их покроются позором причастности к бесчестию, потому-то и мялись они, и вприсительно посматривали друг на друга.

— Ямагат ¹! — раздался твердый голос Наконец-то.— Нам надо подойти к домику всем вместе и сказать, чтобы бессовестные вышли, а после решим, что делать...

Все согласились с авторитетным мнением Наконец-то. Чтобы не скучиваться при входе, открыли ворота настежь. И только переступили пределы кладбища, как из молельного домика выбежал черноволосый парень в

¹Ямагат — общество, люди квартала.

синей сорочке и белых брюках, он воровато заметался перед домиком, не зная, что предпринять. Толпа обрадованно кинулась ловить его. Парень махнул рукой, и из домика выбежала девушка в желтом платье. Люди во главе с Наконец-то остановились как вкопанные. Все узнали его родную дочь — Кериме.

— Ийттен туган!²— процедил сквозь зубы Наконец-то.

Парень, а за ним и девушка побежали, минуя вертикально стоящие надгробные плиты, к противоположной стороне ограды. Никто не погнался за ними, только уныло посмотрели им вслед. Добежав до ограды, парень, подняв на руки девушку, помог ей перебраться через бетонный забор, потом перепрыгнул сам.

Наконец-то, не глядя на людей, прошел сквозь толпу и безмолвно зашагал к дому.

Это происшествие горячо обсуждалось в ауле. Все говорили полупшепотом, будто Наконец-то мог их услышать.

По словам жены, Наконец-то, придя домой, произнес одну фразу:

— За что? За какие грехи? — и слег в постель, и не мог подняться до следующего утра.

— Кериме больше в родительском доме не появлялась, и Нурадин не возвращался. Мотоцикл парня, который был с Кериме на кладбище, поставили во дворе у одного из аульчан и стали ждать, когда объявится хозяин. На третий день после случившегося аул облетела еще более скорбная весть: Нурадин, сын Наконец-то, в пьяной драке цепью задушил одного из заводил эркин-шахарских хулиганов, Ахмеда. Сперва говорили о том, что Ахмед кинулся на Нурадина с ножом и тот, защищаясь, вынужден был убить человека — у мертвого в руках был обнаружен нож. А когда оказалось, что Ахмед и есть тот самый хозяин мотоцикла, всем стали понятны мотивы драки.

Во дворе Наконец-то каждый день слышались рыдания жены и замужних дочерей, съехавшихся к ним в эти тяжелые дни. Я заходил к ним выразить соболезнование, но сам Наконец-то так и не вышел ко мне. Анипеш рыда-

¹Ийттен туган — рожденный собакой.

ла и говорила, что Кериме боится в дом войти и живет у старшей дочери, сын в такую страшную беду попал, а муж с места не трогается, лежит себе и ни с кем не разговаривает. Позднее жена сообщила, что муж совсем с ума сошел, работу бросил, коня продал, собирается уехать из аула.

В день отъезда она подошла к забору, разъединяющему наши огороды:

— Сосед! — позвала она меня.

— Я подошел.

— Анипеш, не поднимая заплаканных глаз:

— Мы уезжаем... Присмотри, пожалуйста, за домом...

Ну, что я могу поделывать?! Горе какое! — и зарыдала.

Я не успел ничего сказать, она побежала к дому. Там Наконец-то носил тюки с пожитками к подъехавшей грузовой машине... Так и уехал из аула, ни с кем не поговорив, не попрощавшись.

Ибрагим, закончив свой рассказ, посмотрел на меня, в глазах его я видел сострадание несчастьем соседей. — А что случилось с Кериме? — спросил я.

— Что с ней могло случиться? Переехала в город, там-то навряд ли кто знал ее историю, нашла себе пару, замуж вышла за какого-то парня, живет себе, и дети есть. Если даже и узнали о ней, так для городских в этой истории ничего необычного нет, — всезнающе заявил Ибрагим.

— Нет, почему же? — удивился я. — История необычная. Жалко Наконец-то!

— Конечно... — сказал он. Подумав, добавил: — Не надо было ему уезжать. Теперь даже у нас в поселке не осудят за такое. Подумаешь, скажут, гуляла — гуляющих девок сейчас немало. Подумаешь, убил — вон сколько хулиганов, каждый способен на такое... Правильно сделали, что посадили, скажут! И так далее... Нравы изменились у людей...

— Ну, ты сгущаешь краски, — перебил я, недовольный его обобщающим ответом, а после спросил: — А Наконец-то так больше и не появлялся в ауле?

— Нет, — ответил Ибрагим.

— Я его видел недавно, — сообщил я.

— Где?! Говорят, он куда-то в Среднюю Азию уехал! Замужние дочери ездят к нему, но никому не говорят, где он пристал. В Средней Азии встречал?! — спросил возбужденный известием Ибрагим.

— Нет, дорогой. Он в караногайской степи чабанует, километрах в пятистах отсюда.

— Все равно далеко. Как он туда попал?!

— Не знаю. Он совсем не хотел разговаривать со мной, я даже обижался на него, но я тогда не зная этой истории...

Ибрагим понимающе покачал головой:

— Хочешь, пойдем посмотрим его двор?— предложил он.

Мы прошли через сад Ибрагима, открыли калитку, и вышли в огород Наконец-то, засеянный люцерной.

— Перед отъездом он сам засеял,— пояснил Ибрагим, показывая на люцерну. — Каждый год по несколько урожаев скашиваю — отличный корм для скотины.

Мы прошли по двору, уложенному плоским речным камнем. Голубые ставни типичного ногайского дома пятидесятых годов были прикрыты. Вместо замка на дверях висел кожаный ремешок. Ибрагим с трудом развязал его. Мы зашли в сени, которые хозяевам служили кухней, Здесь стояла газовая печь, большой медный таз был прислонен к стене, висели полки с кое-какой посудой. Мы прошли в комнату, где стояли две кровати с пустыми железными сетками, а стену украшала одиноко висящая ка-ракулевая папаха.

— Что, папаху он забыл? — спросил я.

— Наверное, специально оставил. После того происшествия он ее не надевал, стал ходить в городской фуражке,— сказал Ибрагим, а подумав, добавил: — Мне, знаешь, иногда кажется, что он, покинув родной очаг, оставил здесь и всю прежнюю жизнь...

— Возможно,— согласился я и, решив посмотреть, взял со стены папаху; в тот самый момент на нее выпала сложенная четырехугольником бумажка.

— Что это?! — удивился Ибрагим, поднял бумажку, развернул. — Кажется, записка! А ну, прочти, мои глаза что-то плохо видят, — сказал и протянул мне листок.

— Я взял его в руки. На нем синей пастой было выведено: «Нурадий, сын мой! У нас в роду не было убийц, ты прости меня, я во всем виноват, потому что не исполнил своего долга перед отцом. Прошу: ты исполни! Твой отец».

Прочитав, я посмотрел на Ибрагима, у того на глазах были слезы.

— Да! — многозначительно произнес он, взяв у меня записку. Он еще раз посмотрел на нее, после сложил и, взяв из моих рук папаху, засунул туда бумажку так, чтобы был виден ее край. Утер слезы рукавом, поглядел на папаху и повесил ее на прежнее место.

Мы вышли из дома. Ибрагим завязал ремешок на двери. Мы молча постояли во дворе и вернулись к нашему столу. Так же молча выпили чай. На душе у меня было тяжело, ни о чем не хотелось говорить, видимо, так же чувствовал себя и Ибрагим. Надо было прощаться. Я встал, поблагодарил хозяина за угощение и за гостеприимство.

Выйдя на улицу, я оглянулся на крытый красной черепицей дом. Ибрагим забыл закрыть ставни, черные стекла блестели на солнце. Вдруг мне почудилось, что из-за стекла бритоголовый, белолицый Наконец-то, сощурив глаза, смотрит в мою сторону. Придет же такое в голову, подумал я, и быстро зашагал по улице.

Остановка городского автобуса была в центре поселка. Я направился туда и вскоре вышел к многоэтажным домам. По тротуару разгуливали молодые люди, слышалась смешанная ногайско-русская речь. Мне еще раз вспомнилась моя единственная встреча с Наконец-то в далеком караногайском ауле. Ясно вспомнилось его сумрачное лицо и то, как он ожесточенно грыз чеснок. Вспомнились и его жена, и ее покорное исполнение всех желаний мужа. Вдруг я остро ощутил обиду Наконец-то на самого себя...

Там, на остановке, мне в голову пришла мысль написать этот рассказ, хотелось, чтобы его прочитали и жители поселка, и сам Наконец-то. Но в мой рассказ никак не ложилась одна фраза, и я еще тогда решил оставить ее на самый конец. «Навряд ли он хотел иметь сына-героя, ведь если бы Нурадин просто стал похожим на отца, не было бы в поселке человека счастливее Наконец-то!..»

Так я и заканчиваю этот рассказ.

Самвел и Саният

Рассказ

Саният седьмой день находилась в бессознательном состоянии. Она умирала. Только смерть отчего-то медлила...

Все в доме понимали, что никакого чуда уже не может произойти. Это стало ясно еще в областной больнице... Как в таких случаях говорят врачи, разводя руками: «Увы, мы здесь, к сожалению, бессильны».

Слишком поздно привезли Саният в больницу.

Станислав отвез мать на «уазике» домой. Вот с того дня она и не приходила в себя. Уколы делала невестка-медсестра, несколько лет назад заменившая в аульском медпункте свою свекровь.

По ногайскому обычаю навещать больную приходили все, кто хоть немного ее знал. Это были люди совхоза, где она проработала всю жизнь. Мужчины неслышно входили в комнату, стояли некоторое время в изголовье умирающей, целовали ее руку или белый лоб. И так же неслышно выходили. Там, в другой комнате, они сидели рядом с Самвелом, говорили о житейских делах, под конец разговора скорбно вздыхали, клали руку на плечо хозяина, жалели больную и его самого.

Женщины день и ночь сидели возле Саният, сменяя друг друга.

Самвел, как и все, свыкся с мыслью о близкой кончине жены. Прожил он с ней ни много ни мало, а три десят-

ка лет. Однако сколь мучительно ни думал, никак не мог представить свою жизнь без нее, своей старушки.

Когда в комнате изредка никого не оставалось, Самвел приходил к ней и долго сидел рядом. Разговора между ними не могло получиться, но он, словно собираясь что-то сказать, беззвучно шевелил губами, боясь глубоко вздохнуть и сделать лишнее движение. Отчаянию его не было предела. И если вдруг у жены вздрагивали губы или какая-то жилка на шее, Самвел весь сосредотачивался, тянулся к ней, шептал родное имя в великой надежде услышать хоть слово. Но Саняйт молчала. И опять откуда-то из глубины подступали к Самвелу слезы, но так и не могли пролиться. Лишь один раз не сдержался... Это когда тридцатилетний сын выбежал из материнной комнаты, припал к подоконнику и зарыдал. Вот тогда и Самвел, уйдя из дому, подальше от людских глаз, долго не мог унять стариковских слез.

Всякого насмотрелся в жизни Самвел. Фронт прошел, видел людское горе на каждом шагу, но на слезу был крепок, как, впрочем, и его жена — медсестра санитарного поезда. Это она вытащила его с поля боя. Это она по счастливому случаю попала в госпиталь, где он лежал, и выходила его. А ведь о том, что они когда-нибудь свяжут свои судьбы на всю жизнь, — и думать не думали. Почему она перебралась к нему в госпиталь? Может, помнила, как тащила его всего в крови по жесткой ковыльной степи? А может, помог случай? Трудно сказать.

Демобилизовавшись, Самвел уехал к себе в Армению, Саняйт после войны вернулась в родной аул на Кубань.

Жена Самвела скончалась еще в сорок первом, детьми, обзавестись они не успели. Пожил какое-то время Самвел среди близких, но так и не смог найти себе утешение: все чаще и чаще возникало в памяти черноброе лицо его спасительницы. Взял и написал письмо. Саняйт ответила. Второе написал. Опять ответила, между прочим сообщив, что колхозу нужен бухгалтер. Недолго раздумывал Самвел — оказался в ногайском ауле.

Девятнадцатилетней девчонкой Саняйт ушла на фронт, Вслед за своим любимым Муратом. Вернулся он живым-невредимым, но не тем, кем был, — стал вдруг избегать Саняйт. Может быть, в этом повинна война? Ведь

и Саният вернулась другой: научилась курить, людям прямо смотрела в глаза и не ходила, как подобает аульской девушке, с опущенным взором. Родители Мурата косо поглядывали на недавнюю фронтовичку, в задумчивости поджимали губы. Да и Мурат, очевидно, не стал испытывать судьбу, взял в жены тихую аульскую женщину и был теперь отцом пятерых сыновей, дедом многих внуков и внучек.

На войне всякое бывало, но Саният не в чем было упрекнуть, хранила верность любимому Мурату, жила одной надеждой — встретиться, ведь это из-за него она оббивала пороги военкомата, смотрела смерти в глаза, хотела хоть как-то приблизить день победы, а значит — и день их счастья.

Неожиданное письмо Самвела из Армении, может быть, и было той спасительной ниточкой, которая вернула девушку к жизни.

Родился у них сын. Назвали его в честь фронтового товарища Самвела — Станиславом. Не дано им было родить второго, зато появились на свет три внука и внучка, Умножился в ногайском селе род Акоповых. Первого внука назвали в честь отца Самвела — Арутюном, правда, в ауле это имя звучало на ногайский лад — Арун. Второму — Аскеру — имя дала бабушка Саният. Право выбирать имя третьему было дано отцу Станиславу — назвали Робертом, а долгожданную девочку опять нарекла Саният — Розой. Если имена мальчиков имели какое-то отношение к отцовской или материнской линии, то девочка получила имя как бы со стороны. Но ведь назовут же когда-то этим именем дети Розы своих детей или внуков. Так и укоренится имя.

За три десятилетия случалось всякое. Саният была натурой впечатлительной, отличалась доверчивостью, но и иные минуты в ней сквозила такая решительность и резкость, что всегда невольно вспоминались фронтовые дни...

Самвел же слыл человеком степенным, лишнего слова из него не выжмешь. Настойчивость его не знала предела — если что задумал, на полпути не остановится. И товарищей выбирал по себе, и теми же чертами пытался наделить своего сына, внуков. До пенсии работал бухгал-

тером, а теперь занялся домом, точнее сказать — приусадебным участком. Как-то он съездил в Армению и привез домой несколько яблоневых саженцев — редкость в ту пору, так как из-за налогов аульчане свои сады повывернули. Деревца принялись на ногайской земле, а когда принесли плоды, Самвел стал сам выводить саженцы и раздавать их по всей округе. До сих пор близ каждого дома растут низкорослые плодовые яблоньки. Их так и прозвали — «самвеловскими», словно это был какой-то особый, выведенный им сорт. И виноградная лоза, привезенная родственником, прижилась. И ее тоже называли «самвеловской»...

В эти горькие для него дни опять зацвели яблони, их белый цвет на время вытеснил розоватое полыхание абрикосовых деревьев. Казалось, он затопил всю округу, даже солнце отступило, поднялось высоко в небе, и сильнее зажужжали пчелы. Лишь стаи галок и голубей все чаще спускались в огород, где Самвел сажал картошку и другие овощи.

Но не мог сейчас подолгу Самвел копаться в земле; словно боясь пропустить что-то важное, он вдруг втыкал лопату в рыхлую землю, быстро шел к дому. Торопливо соскабливал с кирзовых сапог грязь, входил в комнату и замирал, вопрошающе глядя поверх голов женщин на бледное лицо жены, на смятые пряди ее волос. Его приглашали посидеть. Он некоторое время слушал тихий говор соседок, но сам не вмешивался — сидел и думал. Что же будет теперь с ним? Почему неизбежна смерть? Зачем люди появляются на свет?.. Его отвлекали заглядывавшие в комнату дети. И тогда он вставал, выводил их, шел под навес, обвитый виноградными лозами, разговаривал с ними, так и отвлекался от тяжелых дум. Малыши не все понимали в происходящем, но по-своему тоже переживали.

— Робик-жан! — так он ласково звал трехлетнего Роберта, — Кем станешь, когда вырастешь? — спрашивал и нежно дотрагивался пальцами до пухлой щечки малыша.

— В-ла-чом! — картавил внук и дергал Самвела за обвисший длинный ус. — Буду лечить тебя и бабушку.

— Вот молодчина! — хвалил дед и целовал внука в лоб. И с внучкой так же разговаривал. А потом усаживал

их на подвешенные к тутовнику качели и долго раскачивал. Или они забирались к нему на плечи и «ехали» в огород...

Каждый вечер приходила ночевать старшая родственница Саният, ее тетка, восьмидесятилетняя Мариям. Сменялись соседки и совсем незнакомые женщины — мало ли кому Саният оказывала когда-то помощь: лечила, доставала редкие лекарства, принимала роды...

— Душа моя мучается! Хотя бы глаза приоткрыла и что-нибудь сказала. Увидела бы всех нас, узнала, — негромко причитала старая Мариям, оглаживая лицо обеими руками. После таких слов она поправляла подушку возле себя и, полусидя в кровати, неспешно принималась рассказывать какую-нибудь историю из прошлого. Рассказывали и другие, зачастую связывая свои хабары с жизнью умирающей.

Пришла проведать Саният подруга детства, ровесница Минат. Броско одетая, в модных туфлях. Так ходят обычно женщины средних лет. Она жила в соседнем ауле. Как только Минат переступила порог комнаты, из ее глаз брызнули слезы.

— Саният, хорошая моя, добрая моя, нежная моя! Что же с тобой стряслось, подруженька моя! — кинувшись к постели, тихо заголосила гостья. Потом опустилась на колени, поцеловала безжизненную руку больной, погладила лоб, лицо.

Женщины в комнате не сразу признали Минат и с интересом наблюдали за ней, невольно рассматривая модные вещи. И только когда гостья встала и принялась здороваться с каждой по старшинству, только тогда признали в ней свою аульчанку. Восхищение их удвоилось, но вслух об этом никто не сказал.

— Минат, дочка, как ты узнала про вашу бедную Саният? — спросила старая Мариям, позже всех разглядевшая молодящуюся женщину.

— Если бы знала... В больницу бы первой прибежала... Вчера кто-то возле магазина сказал. Ах, какое горе, какое горе! Саният, подруженька моя, вот и свиделись перед дальней дорогой!

— Какая ты отзывчивая, душа моя! Пусть Аллах будет

всегда милостив к тебе, — сказала Мариям и опять огладила свое лицо обеими руками.

— Я многим обязана Саният. Разве могла не прийти... покоя бы себе не нашла... Ногу сломала, никому не нужной была. А Саният, подруга моя, выходила: дни и ночи напролет сидела со мной, бедненькая! — Минат опять прослезилась и повернулась к постели умирающей.

Еле приметные полосочки тусклого света неподвижно лежали под чуть-чуть приоткрытыми веками Саният. Казалось, она навеки углубилась в свои мысли и теперь ей нет никакого дела до всего окружающего мира.

Запричитала одна из женщин:

— И стар, и млад благодарен нашей Саният. Всем она помогала, дал бы Аллах ей немного жизни! Что же мы теперь будем без нее делать?!

— Душа мучается у бедненькой, я это чувствую, — задумчиво произнесла Мариям, подкладывая подушку себе под бок.

— Может, ей апенди нужен? — неуверенно спросила Минат.

— Апенди? — старая Мариям многозначительно посмотрела на Минат. Она вспомнила, что Саният никогда не почитала их веру, но сама Мариям, как и все люди ее, возраста, была суеверной, и слова Минат отозвались в ее душе одобрением. — В старину апенди заменяли лекарей. Вон, Ажбекир-апенди, пусть ему будет место в раю, сказывают, прокаженного излечил, А эта хворь и сейчас считается неизлечимой...

— Я не про лечение, Мариям-абай, — перебила ее Минат. — Апенди душу успокоит, молитву скажет...

— Дойдут ли до нее молитвы? — сказала одна из соседок.

Но Мариям словно бы не слышала этих слов сомнения.

— Ах, какая ты умница, Минат! — Мариям опустила ноги на пол. — Почему я первой об апенди не посоветовала? Я, старая, все время об этом думала, да не решалась сказать. — Она просветленно улыбнулась.

— Родители Саният были мусульманами, — как бы между прочим напомнила Минат назидательно.

— Да-да, — подхватила старая Мариям, — они вложили ей душу мусульманки.

— А как отнесется к апенди Самвел, он же — кафир¹, — возразила соседка.

— Пусть неверующий, да среди верующих такого человека не найдешь, — сказала Мариям. — Я с ним поговорю. — Она сгорбленно поднялась с постели, поправила на седой голове оранжевый платок и, подойдя к двери, негромко крикнула:

— Самвел-ян², зайди сюда, — Она знала, что в такие часы Самвел обычно лежит в соседней комнате на своем топчане.

— Иду, — слышался хрипловатый голос хозяина дома.

Мариям вернулась на свое место и подоткнула подушку под спину. Появился в накинутом на плечи пиджаке Самвел.

— Самвел-ян, мучается бедная Саняйт, — начала старая Мариям. — Может, нам апенди позвать? Говорят, он облегчает перед дальней дорогой душу..

— Не знаю. — На лице Самвела выразилось недоумение. — Сони ведь никогда не...

— Пусть апенди придет, Самвел-ян, — подобострастно подсказала Мариям.

— Не знаю... Поможет ли? — Самвел старался не смотреть на расprostертое под легким одеялом худенькое тело жены. — Я думаю — зря. — С этими словами, пригнув голову, он вышел.

Минат посмотрела ему вслед и восхищенно проговорила:

— Как он хорошо по-ногайски говорит!

— Он и свой не забыл, — добавила Мариям. — Когда их сын женился — родня приехала. Он с ними так говорил, так говорил... Честное слово, ничего нельзя было понять. Я всегда считала, что на свете, кроме русского и ногойского, больше языков нет. А они так красиво говорили!

— Интересно, пойдет он к апенди? — спросила соседка.

¹Кафир — неверный, не принадлежащий в мусульманской вере.

²Ян — душа

В глубокой задумчивости ушел от женщин Самвел. «Чего это им в голову такая блажь пришла? Апенди! Никогда Сони не верила — зачем? Бедняжка мучается, вот они и не знают, как ей помочь. Хоть в себя бы пришла, хоть бы слово сказала... Апенди?! — Самвел потрогал усы. — Хм, а может, сходить? Пусть никто в обиде не останется, пусть эти женщины потом меня не укоряют, они ведь тоже жили с ней и тоже хотят, чтобы ей лучше было. Они одной с ней крови».

Апенди Алим религиозного образования не имел. В совхозе он был то учетчиком, то объездчиком, а после ухода на пенсию неожиданно приобщился со стариками к мусульманским обрядам. Единственное, что он умел — читать Коран, наученный этому еще в детстве. Вот и выбрали его старшим апенди. Хитрый, лукавый был Алим. Пока работал в совхозе, никто не знал про его способности понимать священные книги. А узнав, обрадовались — как обойтись без апенди во время похорон, неке¹, поминок...

Направляясь к апенди, Самвел вдруг остановился в нерешительности, представив Алима на лошади в форме объездчика. Ему стало и смешно и грустно. Хотел вернуться, да слишком близко оказался дом Алима. Махнул рукой — не привык Самвел останавливаться на полпути. Без стука, по-ногайскому обычаю, вошел в дом, в сенях гулко кашлянул. Вышла старуха, жена Алима.

— Самвел, проходи, будь гостем! — обрадовалась хозяйка. Посторонилась, чтобы пропустить Самвела.

В комнате на маленькой табуретке сидел с кумганом в руках Алим и совершал омовение. На вошедшего даже не оглянулся.

— Ты посиди, он только приступил к вечернему намазу, — сказала хозяйка и пододвинула гостю, такую же табуретку.

— Может, во дворе подожду? — нерешительно проговорил Самвел.

— Нет же, сиди. Он быстро. А ты пока, со мной поговори. Я как раз ужин готовлю, бореки² решила сварить, —

¹ Неке — мусульманское бракосочетание.

² Бореки — ногайские вареники.

сказала буднично женщина, совсем не обращая внимания на мужа — тот молился, опустившись на намазлык¹.

— Я лучше там побуду.— Самвел вышел во двор.

— Да не помешаешь ты ему, — повторила хозяйка и вышла следом.

Во дворе было тихо, иногда доносился стрекот кузнечика. Светили близкие звезды.

— Я слышала, бедная Саният мучается?

Они сели на лавочку под освещенными окнами.

— Все так же. Никак в себя не приходит.

— Бедная! — вздохнула женщина, жалеючи. — А ты все такой же. Счастливая Саният, — сказала жена апенди со вздохом, словно откликаясь каким-то своим тайным мыслям.

— Плохо ей, вот решили Алима позвать, — сказал наконец Самвел о цели своего прихода.

— Это кто ж решил? Ты, что ли?

— Мариям просила.

— А-а, Мариям! Этим старухам делать нечего! Что он знает, мой господин? — кивнула она насмешлива на окна, за которыми молился Алим. — Лучше врача хорошего позвать.

Жена Алима, в прошлом учительница, часто в открытую смеялась по поводу так называемой религиозной деятельности своего мужа, и потому ее слова не удивили Самвела.

— Врачи уже ничего не могут, — только и сказал он с горечью.

— А он что может? Бывший атеист стал апенди — смех один! Я ему запретила таскать домой подарки и деньги со своих служений. Да куда мне, если даже сельсовет по просьбе аульчан утвердил его должность, зарплату назначил. Теперь он апенди по закону. Ну, не смех ли? Ведь ты сам с ним работал, знаешь его как облупленного...

— Фаризат,— Самвел впервые произнес имя женщины,— я все понимаю, но людям хочется обычай соблюсти. — Подумав, добавил: — Не зря ногайцы говорят: кто мертвых почитает, у того живые в почете.

¹ Намазлык — молитвенный коврик.

— Правда, правда, Самвел, — вздохнула Фаризат. — Да только какой из Алима апенди, если он всю жизнь пил, богохульничал, а под конец комедию ломает — святым, видите ли, стал. С Кораном спать ложится, намаз совершает. Бесстыдник!

— Цыц! — оборвал Фаризат голос Алима, появившегося на крыльце. Он поздоровался за руку с гостем.

Молча прошли улицу, вошли в дом. Апенди посидел у изголовья Саняят, пошептал молитвы, а после обратился к сидящим в комнате:

— Да, сильно душа мучается... Перед дальней дорогой увидеться с кем-то хочет, потому нет ей покоя. Кто-то из близких не пришел проститься. — Пощипывая бороду, Алим вопросительно посмотрел на Мариям. Та — на хозяина дома.

— Самвел, все ли родственники посетили Саняят?

— Почти весь аул пришел, — вставила соседка.

Прошло еще три дня...

Невестка по-прежнему делала умирающей обезболивающие уколы и все другое, что положено делать в таких случаях. По-прежнему приходили люди, возле больной бесменно сидела старая Мариям. Все были озабочены одним — ожиданием смерти. Лишь маленькие внучата Роберт и Роза начинали беготню во дворе, их то , и дело приструнивали, они на некоторое время успокаивались: подражая взрослым, делали серьезные лица, но вскоре забывались и продолжали свои шалости. Старшие, Арутюн и Аскер, сделав уроки, тотчас убегали к соседским мальчишкам и возвращались поздним вечером. В комнату бабушки почти не заглядывали.

А весна между тем входила в свои права. В синевато-прозрачном небе заливались трелями жаворонки, появились белогрудые ласточки. Самвел покончил с картошкой, принялся за фасоль и кукурузу, все время размышляя над словами апенди. Не давали ему покоя они: «Кто-то из близких не пришел проститься». В тот вечер перебрал он в памяти всех. Даже товарищи Станислава приходили проведать мать друга. И вот тогда-то возник в сознании образ Мурата. Мысль о нем назойливо теребила душу. Лишь один он не пришел попрощаться с Саняят...

Самвел все знал... И про то, что вслед за Муратом Саният пошла на фронт, и про то, что если бы Мурат захотел, то он жил бы с Саният вместо него. Однако почему-то отверг девушку, которую, по словам аульчан, любил больше жизни. И этот отказ втайне оскорблял чувства Самвела. Он старался избегать Мурата, с трудом подавляя в себе неприязнь к этому человеку. Все понимал Самвел, но так и не мог вытравить до конца это чувство.

Мурат вырастил пятерых сыновей. Четверо из них отделились и выстроили на окраине аула четыре дома, жили своими семьями. Младший, наследник, жил с отцом под одной крышей. Мурат и в старости сохранил былой статный вид, военную выправку и бравые усы с загнутыми кверху кончиками. Работал он заведующим складом, никогда не испытывал нужды, слыл среди аульчан добротным хозяином, уважаемым человеком. В праздники его пиджак украшали многочисленные боевые награды. Очень видный мужчина был Мурат, и потому никто в ауле не удивился, когда он выбрал не Саният, а девушку помоложе. Из аула та не уезжала, скромницей слыла...

Самвелу врезался в память один случай. Было это вскоре после войны, у них уже подрастал Станислав. В тот день с самого утра шел проливной дождь. Самвел уже собирался спать, и вдруг с улицы послышалось чавканье лошадиных копыт по грязи, а вскоре раздался сильный стук в дверь. В промокшей гимнастерке, без головного убора на пороге стоял Мурат. Удивленный Самвел впустил позднего гостя. Мурат обратился к Саният:

— У жены роды начались... Помоги, сестренка!

Саният, не говоря ни слова, молча засобиралась: взяла чемоданчик с лекарствами, накинула на плечи шинель... Самвел стоял в дверях и смотрел, как под проливным дождем его Саният взобралась на лошадь.

— А ты? — крикнула она Мурату, сев в седле.

— Я пойду пешком.

— Не дури, садись сзади! — приказала Саният.

Мурат оглянулся на Самвела, в нерешительности хлопнул по сапогам кнутовищем.

— Говорю тебе, садись! — прикрикнула снова Саният.

И Мурат взобрался, сел за спиной Саният.

Самвел смотрел вслед до тех пор, пока они не исчезли за темной завесой дождя. До самого возвращения Саният он не находил себе места. При одной мысли о том, что Мурат вольно или невольно касается его жены... ему делалось нестерпимо больно.

Саният, скинув с плеч мокрую шинель и поправляя волосы, была удивлена, увидев Самвела одетым — тот сидел за столом.

— Ты чего не лег?

Самвел молчал. Она внимательно посмотрела мужу в глаза и, все поняв, рассмеялась.

— Чудной ты и глупый! У нас с тобой Стасик, а у него сейчас второй сын родился, — сказала она, ласково прильнув к широкой спине Самвела.

— Чего же его заставила сесть в седло? — сдержанно, стыдясь своих слов, все же вымолвил Самвел.

— Да ты что?! Грязь ведь, ливень смотри какой. Мы бы и до утра не доехали...

— Здоровый мужик, сам мог бы дойти, — в голосе Самвела что-то дрогнуло. После она сказала:

— Любила я его, жизни не жалко было... А теперь, Самвел, все прошло! Все!

Но не ускользнула от взгляда Самвела грустинка в черных глазах жены, когда она произнесла эти слова. И много раз еще потом, вглядываясь в родные глаза, он нет-нет да и замечал, как вспыхивала в них и тлела эта грустинка. Не обмануть любящего человека.

На одной из свадеб в ауле Мурат вышел танцевать. Женщины хлопали в такт, и Самвел вдруг увидел, как горят глаза его жены — полыхал в них какой-то доселе неизвестный ему огонь. И во всем ее облике чувствовалась такая еле сдерживаемая страсть, что Самвелу стало не по себе, словно окунули его в ледяную воду. Саният, казалось, забыла о своем муже, не стала сдерживать внезапного порыва и вышла танцевать с Муратом ногайский танец. Как они танцевали! Может, именно в этот миг обоим казалось, что не было всех этих лет друг без друга, не было войны. А может быть, напротив, этим танцем они навсегда расставались со своей несвершившейся любовью, навеки унося с собой неутоленную горечь и страсть. Как сказать...

— Самвел! Самвел, смотри, что жена делает! Еще, чего доброго, уведет ее от тебя Мурат! — подзадорил кто-то из толпы.

Самвел не подал вида, отшутился, ничем не выдал своего чувства ни тогда, ни после. Так и жил — то вспоминал про Мурата, то забывал, но уже теперь не вглядывался в глаза Саният, не искал в них губительную для себя грустинку, отсвет прошлого. А потом и вовсе забылись те волнения: женитьба сына, появление внуков вытеснили все.

И вот теперь, после предположения аппенди: «Кто-то из близких не пришел проститься...», в сознании Самвела вновь возник Мурат. Снова не давал он ему покоя, вызывая в памяти то давнишний свой ночной приезд, то танец на чужой свадьбе.

И наступило утро... Самвел сидел возле умирающей, в который уж раз с жалостью вглядываясь в ее полуприкрытые глаза. А когда очнулся и вышел во двор, вдруг увидел возле калитки статного старика, опирающегося на крепкую ореховую палку. Мурат был в фетровой шляпе, в синей блестящей сорочке, магазинном костюме, на ногах — дорогие хромовые сапоги.

— Салам алейкум, Самвел! — сказал глухим голосом Мурат и протянул руку.

— Алейкум салам! — ответил Самвел.

— Саният, говорят, плохо, — Мурат подбородком показывал в сторону дома.

— Да, — кивнул Самвел, указывая рукой на дверь дома.

Они оба прошли в дом. Женщины встали, уступили места. Мурат сел и, долго не задерживая взгляда на матово-белом лице Саният, спросил:

— Давно мучается?

— Думала, операция поможет, а после нее еще хуже стало...

— Врачи не все могут лечить, это верно, — сказал Мурат и опять быстро глянул на умирающую. — В сознание не приходит?

— Нет. После операции ни одного слова.

— Обидно, что на голову бедной женщины столько страданий. Мужчине бы — ладно. — Мурат опять посмотрел на Саният.

Не зная, о чем еще говорить, посидели в молчании Мурат наклонился, осторожно взял безжизненную руку Саният и прильнул к ней губами.

Самвел никак этого не ожидал и сам не заметил, как у него защипало в глазах.

— Прости, Саният, — прошептал Мурат, по его морщинистой коричневой щеке прокатилась слеза.

И вдруг какая-то слабая тень коснулась мертвенно-бледного лица Саният, дрогнули на миг ресницы. Или показалось? Самвел вытер глаза, пораженный. Нет, лицо жены ничего не выражало, а рука, бережно опущенная Муратом, безжизненно лежала вдоль тела, как и все эти дни.

На пороге дома Мурат посмотрел в глаза Самвела и опять, как в комнате, тихо сказал:

— Прости.

— За что?

— Что долго не шел... Все не решался... Теперь мне легче.

Молча прошли под навес, обвитый «самвеловским» виноградом, сели рядом на скамейку.

— Жизнь, жизнь, — вздохнул Мурат, скрипнув хромыми сапогами.

— Да-а, жизнь, — согласился Самвел и рукой провел по лбу, как бы утирая пот.

— Всем умирать, — опять сказал Мурат, очерчивая палкой круг на земле.

— Никуда не деться, — опять со вздохом согласился Самвел.

— А молодым — жить.

— Жить, — эхом повторил Самвел.

И снова умолкли.

— Крепись, Самвел, — произнес, уходя, Мурат и, посмотрев в светло-карие глаза Самвела, улыбнулся. От этого взгляда вдруг стало легче Самвелу. Он долго еще стоял, опираясь о калитку, и смотрел вслед рослому старику, неторопливо удаляющемуся от его дома.

В ту ночь Самвел не отходил от постели жены. Старая Мариям в своем углу то и дело поднимала голову:

— Самвел, иди ложись, ну чего ты?

Однако после ухода Мурата ему казалось, что именно в эту ночь Саният должна сказать ему прощальное сло-

во. Назойливо преследовала другая мысль: эта ночь будет для нее последней. Почему так думал Самвел, он и сам не мог объяснить. Вспомнив апенди, он углубился в тяжкие размышления: как хоронить жену? На ум лезли другие похороны в ауле, он уже видел себя как бы со стороны, с выставленными перед лицом руками, готовым совершить дува¹. Но ведь он не знал ни одной молитвы. «Придется, видимо, опять обращаться к Алимуну», — сказал он себе мысленно, как о чем-то решенном, но, словно черная змейка, выползла другая мысль: «А самого меня как похоронят? Я же по рождению христианин. Здесь ведь никто не знает, как хоронят в Армении. А я хочу лежать рядом с Сони...»

Долго он мучил себя раздумьями. В комнате было тихо, тускло горела одинокая лампочка. «Пусть решит это Станислав, скажу ему свою волю — и все», — оборвал он неожиданно себя и посмотрел на белое лицо Саният. И опять, как и при Мурате, показалось ему, дрогнули ресницы полу прикрытых глаз. Он с тревогой и надеждой наклонился к Саният, взял ее руку и долго-долго не отрывал губ от еще теплой кожи.

1983 г.

¹Дува — заупокойная молитва.

Рекламное приложение

Рассказ

Познакомились они в Юрмале, в доме отдыха. Жили в одной комнате, вместе ездили на экскурсии, бродили по Рижскому взморью, быстро сложились приятельские отношения. Оба почти одногодки, у обоих, выяснилось, едва ли не одинаковые «семейные истории»... О себе, о своей неудачной женитьбе Райнис рассказал без утайки, охотно, не стесняясь подробностей. Последнее несколько смущало Карамова, сам он на подобные откровения шел с трудом. Райнис удивлялся: будь с женщинами попроще, раскованней! У него был «европейский» взгляд на эти вещи. Быть попроще... Вот тут-то Вениамин Карамов всякий раз пасовал. Дома и мать допекала: когда же ты наконец заведешь семью? Ладно, женился несчастливо, дошло до развода, но не оставаться из-за этого на всю жизнь холостяком! Даже подыскивала ему невест — такая-то чем плоха? Не нравится — другая на примете... Он уклонялся от прямого ответа: ни да, ни нет. Впрочем, ничего худого о «кандидатурах» сказать не мог. Самым трудным было для него сделать первый шаг. Сразу же возникали непреодолимые сложности. Он не представлял себе, как будет ухаживать, о чем говорить, ну и все остальное. Нет, ему очень хотелось иметь семью, но так, чтобы без усилий, проснулся однажды, а рядом жена... Самому познакомиться с женщиной — сущее наказание! Вдруг скажет не то или что-нибудь не так сдела-

ет, она обидится, и нужно будет снова что-то делать и говорить... Сплошная пытка!

Перед отъездом он открылся Райнису, рассказал о своих мучениях. Тот пожал плечами: придумываешь. Но посоветовал полистать рекламные приложения. Рижская вечерняя газета печатает объявления желающих вступить в брак... И пообещал выслать несколько номеров.

Действительно, пришел конверт. За ним еще и еще... Без всяких сопроводительных писем. Вениамин поблагодарил, но и тогда ответа не получил. Тем не менее регулярно раз в месяц находил в почтовом ящике тоненькие: бандероли с газетой...

Эти газеты он скрывал от глаз матери и, уж конечно, никому не говорил, что почитывает рекламные объявления, надеясь таким образом подыскать себе подходящую пару. Газеты он прятал в чемодане и запирали на ключ, Потому что, если по совести рассудить, знакомство на переписке — это не совсем то и со стороны выглядело, пожалуй, унижительно. Узнают — засмеют! Он так и не откликнулся ни на одно из предложений, хотя порой попадались вполне бы его устроившие. Подчеркивал карандашом, подолгу раздумывал, стараясь вообразить облик возможной спутницы жизни. Ход его размышлений состоял из бесконечных вопросов: хорошо, он напишет, а ему не ответят... если же ответят, придется назначать время и место встречи. Где? Как? Опять мучиться, что-то говорить... Да и о чем? Могут и не понравиться друг другу! В таком случае стоит ли затевать? Может, подождать? Да, но вдруг пройдет мимо достойного выбора, упустит, и лучшего уже не будет. Голова раскалывалась! Он прятал газету. А приходил очередной номер, и все начиналось заново...

В тот вечер, возвращаясь с работы, заглянул в почтовый ящик: знакомая бандероль. После ужина уединился в своей комнате, достал красный и синий карандаши, включил ночник и с газетой прилег на диван.

«Доброжелательная, симпатичная, темноволоса, женщина (35 лет, рост 166 см, дочери 5 лет, образование высшее), — читал Вениамин, — желает встретить человека непьющего, доброго, умного, интеллигентного,

можно с ребенком, которого он воспитывает сам, по каким-либо причинам оставшись без жены. Согласна на переезд.

Писать: Магадан, абон. ящик 374».

Перечитав несколько раз, он обвел столбец синим карандашом — чтобы не забыть, вернуться. Ничего такого что могло бы смутить, он здесь не нашел. Одно вызвало сомнение: подходит ли сам? Ему около сорока, не пьет, с высшим образованием, у жены дочь от первого брака, которую записал на свою фамилию. Не зол, кажется, никто не считал глупцом, однако не решился бы обложить себя добродетелями, которые перечислила магаданка. Где их столько взять?

Он перешел к другому абзацу:

«Мне 22 года, рост 167 см, студентка консерватории. Стройная, скромная, хорошо готовлю, вяжу, с мягким характером. Хочу познакомиться со скромным, порядочным молодым человеком, выше меня ростом, с высшим образованием. Прошу прислать фотографию.

Писать: Запорожье, до востр., Поповой Н. И.».

— Двадцать два года — и дает объявление? Ничего себе скромность... Подурачиться решила. А людям тут не до шуток. Да и по возрасту мне не подходит.

Читал далее:

«Мужчина старше 50 лет хотел бы познакомиться с женщиной 1946 — 1950 года рождения, с образованием не ниже среднего, имеющей дочь 8 — 12 лет, к которой он готов относиться с отеческой заботой и вниманием. Переезд из Калининграда нежелателен.

Писать: Калининград, до востр., Абелову М. С.».

— Не дурак старичок! — поразился Вениамин. — Ищет моложе себя на двадцать лет! Может, кто и клюнет? Почему бы и нет? Та же Фаина! — вспомнил он бывшую супругу. — Ей бы в самый раз такого околпачить. Будет заботиться о ней и о ребенке, сама же найдет время, чтоб гулять на стороне. Старик, наверно, обеспечен... Не дума-

ет же он, что молодая женщина выйдет за него по любви, пожертвует собой, чтобы через какой-нибудь десяток лет остаться вдовой! Наверяд ли он надеется на бескорыстие или столь странное самопожертвование — ради его покойного благополучия. Кто поверит! Деньги, свой дом... пять-десять лет сносной жизни, а там пора писать завещание. Хоть под старость вернуть то, чего недополучил в молодости... Горькое и неприятное объявление.

В следующем пятидесятипятилетняя бездетная вдова из Кишинева, гагаузка, изъявляла желание вступить в брак с некурящим и непьющим мужчиной...

Только и всего — чтоб не курил и не пил. Правда, в отличие от других подчеркивает свою национальность. Может, «некурящий и непьющий» должен быть гагаузом? Интересно, зачем же его искать через рижскую газету?

Национальность Карамова не волновала, была бы порядочная, честная женщина. Хотя в паспорте он писал — ногаец, тем не менее никаким ногойцем себя не чувствовал. Вырос в городе, языка и обычаев не знал. Собственные представления о ногойцах были смутные. Мать возила его в аулы к родственникам, встречали тепло, с уважением, но от аульных ребятишек старалась оградить малолетнего сына, точно они, городские, на каком-то особом положении. Наивное высокомерие? Возможно. Но оно передалось и ему: все эти аульные погрязли в предрассудках, живут по старинке, в ограниченном патриархальном мирке. В общем, он думать не думал о своих корнях: кто он и откуда? Впервые задумался, когда вписывал в свой паспорт женину дочь. Вениамину было десять лет, когда умер отец. Он чтит память об отце и, удочерив ребенка жены, в честь этой светлой памяти решил: пусть считается ногойкой. Фаина только плечами пожала: «Мне все равно». Ей одно было важно: удочерил.

Теперь Вениамин аккуратно платил алименты.

Пятый год пошел, как развелись, и любое воспоминание о бывшей супруге вызывало горечь и сожаление. Вернись молодость — не повторил бы ошибки! И все-таки, воображая женщину, которой мог бы увлечься, неизменно видел ее сероглазой блондинкой. Такой была Фаина.

Вениамин Карамов увидел ее на городском пляже. За-

горал, лежа на песке, неподалеку играли в волейбол. Фаина была самой заметной среди играющих: полнотелая, невысокая ростом, но гибкая, она ловко отбивала мячи; ей подавали чаще других: Она изящно откидывалась, приседала, когда брала низкие подачи, Вениамин видел налитые груди, смущался и опускал голову на руки. И снова жадно смотрел на ее загорелое тело в красном купальнике и ждал, когда снова возьмет низкий мяч. Эти груди потом преследовали его во сне и наяву, и ему было стыдно... Однажды отскочивший мяч упал рядом с ним, она выбежала из круга, подхватила мяч и при этом так озорно и многообещающе глянула из-под челки серыми глазами, что душа Вениамина обмерла. Человек он был застенчивый, тихий и, как большинство подобных людей, был склонен к романтическим порывам. Они были его наказанием, потому что, постоянно подавляемые, причиняли душевную боль. Сказывалось воспитание: считаться с окружающими, не быть выскочкой. Заповедь, внушенная матерью. Но тут потерял голову!

В тот день он не решился подойти и познакомиться. Но, узнав, где живет, стал по утрам поджидать с колющимся сердцем... В конце концов Фаина заметила его, и они познакомились. Его влюбленность она приняла как должное. Сама ровным счетом ничего к нему не испытывая, неуклюжее восторженное ухаживание, однако, не отвергла. И Вениамин не терял надежды. Фаина училась в торговом техникуме, играла за сборную по волейболу, поклонников у нее оказалась уйма — даже в университете, который кончал Вениамин. Свиданий она не назначала его просила о том же, так как совершенно не знала, найдет ли время. Приходилось самому искать встречи. Она редко бывала одна, всегда с кем-либо из молодых людей. Те так и вились вокруг... Здоровалась с Вениамином, спрашивала, как дела, и — до свидания. Вениамин не удивлялся ее многочисленным поклонникам: еще бы, такая красивая! Но от этого еще больше страдал. Первое объяснение он сделал в письме. Написал, что «жизнь без нее для него не имеет смысла». Отправив письмо, несколько дней ходил как потерянный, душу терзал стыд, представлялось, как она заливается смехом, прочитав пылкие излияния. И подумал, что все кончено, никаких

встреч не будет. Но, конечно же, встретились случайно на улице... Фаина и заговорила первая. О письме ни слова, и он, благодарный ей за это, был счастлив, что все обошлось. Казалось, стала чуть благосклонней, только по-прежнему легко и беззаботно держалась — словно их отношения ни к чему ее не обязывали. И все чаще он видел Фаину со студентом университета, Рудиком Маркаровым. Чернявый, нагловатый, Рудик был известен как первый в городе боксер и дамский волокита. Жаль было Фаину! Этот Рудик не церемонился, когда ому надоедала очередная воздыхательница, и по всему было видно, что подобная участь ждет и Фаину. Но, ко всеобщему изумлению, перед ноябрьскими праздниками состоялась свадьба... Что было с Вениамином! В отчаянии хотел даже покончить с собой. Лишь в последний момент одумался, придя к выводу, что так уж написано у него на роду — жить и безропотно нести в своем сердце безответную любовь... По распределению его оставили в городе. Рудик же уехал в свой Воронеж, бросив жену с ребенком. Та надеялась, что вернется. Однако бывший боксер не вернулся.

Встречи возобновились — теперь Фаина сама назначала место и время. Познакомила Вениамина с родителями и он им понравился. Вениамин сделал предложение. Оно было принято без колебаний! В то время Иринке, дочке Фаины, шел третий годик...

Вениамин написал матери, она приехала. Матери не приглянулся выбор сына, и она самым решительным образом возразила против брака. Воспитанный в уважительном послушании (вырастила без мужа, всю жизнь посвятила единственному сыну!), Вениамин неожиданно воспротивился, не помогли ни мольбы, ни слезы. И мать уехала в великой обиде, заявив, что ноги ее не будет в доме невестки. Сыграли свадьбу, год прожили у родителей Фаины. Потом пришло письмо от матери: сынок, что делать, забирай семью и переезжай в Черкесск...

Повздыхав, Карамов снова взялся за карандаш. Объявление, идущее следом, было такое:

«Шатенка 34 лет, носит очки, с высшим образованием, любит театр, музыку, идеала не ищет, бескорыстна, разумно относится к человеческим недостаткам, желает познако-

миться с мужчиной, который не увлекается шумными компаниями, добрым, порядочным.

Писать: Краматорск, абон. ящик 27».

— Не ищет идеала, — вслух произнес Вениамин и, подчеркнув строчку красным карандашом, стал размышлять. — Что это означает? Хоть бы кого? Или же: согласна на заурядного? Скорее последнее. Настродалась в одиночестве... Наверно, не слишком привлекательная, если чуждается компаний. А может, натерпелась от прежнего супруга, который не упускал случая шумно поразвлечься?.. Все же надо оставить, — заключил Вениамин и обвел столбец синим карандашом.

«Темноволосая, стройная женщина, 32 года, рост 164 см, образование среднее, воспитательница в детском саду, уравновешенная, хозяйственная, скромная, любящая спорт, современную музыку. Ищет друга 40 — 47 лет, нуждающегося в семейном тепле, умеющего контактировать с детьми, ценить тихие семейные радости.

Писать: Южно-Сахалинск, до востр., Коновой Е. А.».

«Все, кажется, подходит, — подумал Вениамин, «уравновешенная, хозяйственная, скромная, любящая спорт, современную музыку...»

Столько достоинств у одной женщины! Даже трудно представить. И у матери навряд ли найдется так много положительных качеств. Как это рука не дрогнула написать о себе? А говорит, скромная, — усомнился Вениамин, но тут же осек себя: или под диктовку писала, или кто-нибудь за нее. Поднял синий карандаш, но, взглянув на адрес, смутился. Южно-Сахалинск! Это же бог знает где, край света... А если не согласится на переезд? Подумав, он решил, что ничего, одна страна. Не Новая Зеландия или Канада!

Были объявления, совсем его не интересовавшие. Пробежал их глазами и — дальше. Часто попадалось: ищущими-то и такими-то качествами и непьющего. Непьющего... У всех один страх!

«С целью создания семьи хочу познакомиться с порядочной, честной, без вредных привычек женщиной, национальность и образование не имеют значения. Мне 45 лет, трудолюбив, есть все условия для совместной жизни.

Писать: Псковская обл., Печоры, ул. Красноармейская, 3–5, Г. Асатиани».

Фамилия, распространенная в Грузии. Сразу приходили на ум известные писатель и футболист. Но в рекламных объявлениях мелькнула впервые. У всех грузин, которых знал Вениамин, было болезненно выражено честолюбие, пожалуй, даже чувство своей исключительности — сплошь гордецы! А тут... «Значит, ничего постыдного, если уж и грузин обращается в газету!» — порадовался Вениамин. Хотя особенно радоваться было нечему. Чужому несчастью? Но то, что грузин, отбросив гордость, надеется на помощь газеты, принесло удовлетворение: ты такой не один, Вениамин Карамов!

Последнее объявление его ошеломило. Не поверил глазам, перечитал несколько раз:

«Мне 35 лет, рост 165 см, образование среднее. Есть дочь 13 лет. Люблю путешествовать. Хочу познакомиться с мужчиной 35–40 лет, добрым, сдержанным, желающим создать семью.

Писать: Ростов-на-Дону, Главпочтамт, до востр., Фараоновой Ф. И.».

Вот это да! Все сходилось — и фамилия, и имя-отчество, и рост, и возраст дочери. Возможность однофамилицы исключалась полностью.

— Нашла в себе добродетель — любовь к путешествиям! Других-то нет. Забавно звучит: желающая создать семью любит путешествовать...

Фаина всегда была самоуверенной особой. Права ли, не права — неважно, какая есть. И буду такой! Долгое время Вениамин считал, что она попросту не понимает, что хорошо, а что плохо. Прощал, делал поблажки, закрывал глаза. Ведь любил! Очень любил... С первого до последнего дня ему казалось, что Фаина — его счастье. Чем бы стала жизнь без нее! И это несмотря на упреки

матери в постоянном заискивании перед женой, чуть ли не в раболепстве.

Как быстро и безошибочно мать распознала Фаину! Вместе пришли в номер гостиницы, где мать остановилась, представил: вот моя невеста. Начались расспросы о здоровье, работе... Фаина явно скучала, слушала вполуха, на вопросы отвечала небрежно, уклончиво, потом отсела к окну, спиной к будущей свекрови. Кому такое понравится!

— Вы поговорите, а я прогуляюсь немного, — поднялась и к двери. Ей в голову не пришло, как это будет выглядеть. Не удосужилась и пригласить в дом, познакомиться с родителями...

Мать руками развела:

— Сынок, смотри сам. Но ты натерпишься с ней!

Переехав в Черкесск, Фаина нисколько не изменилась, со свекровью держала себя как с посторонним человеком. О внимании, уважении не было и речи! «Хоть бы уж с сыном у них было все ладно», — утешалась мать. Потом пошли скандал за скандалом... И со свекровью, которую невзлюбила за то, что не дала сразу согласия на брак, и с Вениамином. По малейшему поводу, а чаще без повода. Просто срывала дурное настроение. Неделями, не разговаривали, каждый сидел в своей комнате. Как ни в чем не бывало, молча уходила на работу, молча возвращалась, молча ела приготовленное свекровью, поболтав с дочерью минутку-другую, до поздней ночи усаживалась перед телевизором. Или уходила на тренировки во Дворец спорта. К этим молчанкам и мать, и Вениамин одинаково привыкли, ничем не высказывали, своего недовольства. На примирение шла сама же Фаина. Когда надоедало молчать и нужны были деньги.

— Веня, пойдем сегодня в гости, нас с работы пригласили, — начинала она без обиняков, ласково положив руку ему на плечо, будто и не было размолвки.

— Ну, конечно, конечно! — радовался Вениамин. Как он был счастлив в такие вечера: наконец-то мир!

— Вот видишь, — говорил он матери, — она не со зла, она добрая, только взбалмошная.

Мать качала головой:

— Поживем — увидим.

Мать родилась и выросла в ауле, но большую часть жизни прожила в городе. Слыла женщиной независимой, гордой и среди относительно недавно народившейся национальной интеллигенции пользовалась уважением. Отец Вениамина почитался за толкового юриста... А вот дети местной интеллигенции росли баловнями: вечеринки, танцульки, никакого дела. Тихий воспитанный Веня чуть ли не исключение! Ставили в заслугу матери. Так оно, в общем, и было... И как ни пыталась, не могла понять, где же допустила ошибку в воспитании: размазня размазней. Только и знает, что уступать и уступать! Ее возмущало: какой же он мужчина, муж, если им помыкает женщина? Любовь любовью, да не в собственное унижение! Неужели ничего не видит?

И однажды не сдержалась. Произошло это после того, как Фаина одна уехала к морю. Она и прежде надолго отлучалась из дому: то в служебные командировки, то на спортивные соревнования, то проведать родителей. Что ж, можно понять. Но в отпуск укатить, бросив ребенка! Такое не укладывалось в голове.

— Почему все она и она? Ну, поехали бы втроем!

— Пусть отдохнет,— оправдывался Вениамин.— Да и денег на всех не хватит.

— Могла бы взять хоть ребенка с собой!

— Какой же это отдых — возиться с ребенком?

— Она мать!

Вениамин улыбался:

— Мама, у тебя, прости, стародавние представления о супружеских отношениях. Я мужчина и должен уступить.

— Ты — блаженный, а не мужчина! — и закричала, бледнея: — А что, если она изменяет? Если уже не изменила... Нет, ты смотри мне в глаза! Это что же, свободные супружеские отношения, современные, как ты говоришь?

— Мама...

— Любит, потерял голову! Да выкинь ее из этой своей головы! Не стоит она тебя. Господи, даже застанет ее с другим — великодушно простит. Словно так и надо. Да еще повинится! Ну, в кого ты такой?

И, заметив слезы в глазах сына, ушла в свою комнату.

Со дня его злополучной женитьбы она не знала покоя. И отовсюду только и слышала: сейчас очень непрочные молодые семьи, супруги ведут себя легкомысленно. Раньше она пожимала плечами: живут, как умеют, что толку осуждать? Но вот собственный сын споткнулся, и ее возмутило отсутствие закона, который связывал бы супругов ответственностью друг перед другом и карал за нарушение взаимных обязанностей. Будь такой закон, она подала бы на невестку в суд: бросила ребенка и укачала развлекаться на море! За одно это ее следовало лишить материнских прав.

Первое время еще надеялась на что-то. Молодая, ветер в голове — пройдет! Пробовала поговорить с Фаиной: почему бы ей второго не родить или не в состоянии?

Фаина расхохоталась:

— Я? Не в состоянии? А чего это вас так волнует?

— Дети укрепляют семью.

— С нас хватит и одного! Потом у меня спорт. Выходит, расстаться? Пока молодые, для себя пожить надо!

Говорила и с сыном. И ужасалась: почти слово в слово повторял жену!

— Зачем себя обременять? Молодость — один раз. Поездим, поживем свободно, заведем хороших друзей...

Нет, что-то с ним произошло. А ведь как опекала; это дурно, сынок, внушала, этого следует опасаться, холила, ограждала ото всего, а добилась, что отняла волю. Женившись, сразу подпал под влияние жены... Так и быть должно, так и будет! Ни воли, ни умения постоять за себя.

Чего было ждать и от Фаины при таком муже? Ребенок со свекровью, ухожен, сама сыта, одета не хуже других. Никаких домашних забот! Ей уже под тридцать подходило, но каждые субботу и воскресенье — на танцы в городской парк. Ах, музыка, танцы, взгляды молодых парней!.. Она и себе казалась юной, такой привлекательной. Порой и муж увязывался. С ним была мука: стоит где-нибудь в стороне, вялый, скучный и, конечно, ревнует, мучается, когда ее приглашают на танец. Вот Рудик был настоящий мужчина, мог и унижить, зато с ним как за каменной стеной. Пусть даже бил иногда, на ее же глазах волочился за смазливymi девками, вызывая жгучую

ревность, слезы, но и это теперь представлялось ей милым, вспоминала с волнением. А могла ли она приревновать Вениамина? Ну, хоть один-единственный раз... Этого старичка, который только и знает, что вздыхать? Смешно. Правда, выручил в трудное время, когда осталась с ребенком на руках. Что ж, она ценит; Тем не менее ничего не могла поделать с собой: его благородство, бескорыстие раздражали. Как-то после возвращения из поездки к морю призналась:

— А знаешь, мною там увлекся один молодой человек. Такой красивый! Провожал... Ты подумай! Значит, не все еще потеряно, на что-то я еще гожусь! — И мечтательно щурилась, закидывала голову, сидя на кровати в легкой кружевной сорочке.

Он смотрел на ее шею, на приподнявшиеся груди и, ревнуя, отчего горько и любовно сжималось сердце, представлял, как хорошо, должно быть, под сорочкой ее загорелое тело. И не мог подавить в себе боязливое благоговения. Желал ее и не в силах был протянуть руку...

— Ложись со мной, — лениво, уже сквозь сон, приказала она.

Он послушно погасил свет.

— Скучный ты какой-то, — сказала Фаина, когда утихли его ласки. — Ладно, иди к себе...

Он ушел с тяжелой обидой.

И прежде были размолвки, неудовлетворенность. С какой оскорбительной легкостью она вела себя по отношению к нему на вечеринках, принимая ухаживания мужчин, или в поездках за город в веселящихся компаниях, и всякий раз он подавлял ревнивую подозрительность! Теперь же все это мучило, он верил и не верил себе: «Неужели она может изменить? Что это за жизнь?»

Дома по вечерам все реже он заставлял Фаину. Занимался с дочерью, готовившей уроки, вместе смотрели детские передачи по телевизору, потом укладывал спать.

В один из таких вечеров мать позвала из кухни.

— Смотри! — сказала она и подвела к окну.

Они жили на втором этаже, окна выходили на улицу. Вениамин разглядел жену — узнал ее по светлому платью, и рядом рослого мужчину; кажется, прощались: мужчина держал Фаину за руку. Узнал и провожавшего. Он был

начальником отдела в тресте, где работала Фаина. С Вениамином их познакомили на какой-то вечеринке. Сославшись на головную боль, Фаина вышла тогда прогуляться, а следом за ней и этот Салават Махмудович. Вернулись вдвоем и через два часа, которые Вениамин просидел как на иголках. «Ах, как хорошо покатались на «Жигулях»! Ах, как Салават Махмудович водит машину! Головную боль как рукой сняло!» Была она раскрасневшаяся, возбужденная... Что тут скажешь? Порядочный человек, семьянин, отец четырех детей прокатил на машине... И вот этот порядочный человек стоит под их окнами и обнимает чужую жену!

— Ты все видел? — строго спросила мать.

Вениамин молчал.

— Чтобы этой потаскушки не было в моем доме! Иначе ты мне не сын, — и хлопнула дверью.

Разговор с Фаиной он отложил до утра. Не было сейчас ни сил, ни желания. Он был подавлен, потрясен...

Но утром, едва начал, Фаина с такой остервенелостью накинулась на него, что Вениамину почудилось, будто самого уличили:

— Да ты в своем уме, идиот? Тебе, наверно, приснилось. У тебя пунктик, к врачу обратись!

— И мама видела.

— Эта старая карга? Она ненавидит меня... Ну, погоди, старая...

— Не смей так говорить о моей матери!

— Что? Ты еще орать на меня?.. — И распахнула дверь. — Хороша семейка, старая ведьма со своим недоноском! Да я разведусь с тобой! Пока нам с Ирочкой нужен угол... Так просто я отсюда не уйду! И не мечтай!

— Возвращайся в Ростов к родителям, — неожиданно твердо сказал Вениамин.

Она не ослышалась? Боже ты мой, как этот мямля заговорил...

— А кто меня привез сюда? Нет уж! Пожил в свое удовольствие и теперь гонит? Так не бывает! Разменяем квартиру, нам с Ирочкой и однокомнатной хватит.

Вошла мать. Взглянула на сына, бледного, со сжатыми губами, на Фаину.

— Эту квартиру получил мой муж, и я в ней хозяйка!

— Кто получал — мне дела нет! — огрызнулась невестка.
— А выгонять с ребенком на улицу не имеете права!

— Я еще раз повторяю: кроме тряпок, твоего здесь нет ничего.

— Интересно! Я покуда еще его жена. Сплю с ним...

— Что? Жена? Ты смеешь!. — Она задохнулась; вдруг схватила Фаину за волосы и, выкрикивая: «Ты смеешь, ты смеешь издеваться?» — принялась таскать невестку по комнате.

Вениамин не знал, что и делать.

Мать истерически кричала:

— Тварь! Вон из моего дома! Вон! — дотащила Фаину до двери, открыла и вытолкнула на лестничную площадку.

Вениамин кинулся было за ней, но мать в угол его отшвырнула.

— Куда ты, безмозглый?!

Больше они Фаину не видели. На работе ей выделили комнату в семейном общежитии, помог Салават Махмудович. Через неделю Фаина забрала Ирочку, прямо из школы. Вениамин отвез в общежитие женины вещи, кое-что из мебели. А спустя год после развода Фаина с дочерью переехала в Ростов.

И вот объявление в рекламном приложении к рижской газете...

Это было сверх всякого ожидания! Сперва он даже подумал, не показать ли матери: что она скажет? Посмеется? Но, поразмыслив, решил не делать этого. Мать спросит, откуда газета. А главное — ее строжайший наказ: в доме не произносить имя бывшей невестки.

Да и он стал уже забывать: на расстоянии слабеет память и о дурном, и о хорошем. Он продолжал работать на радиозаводе, его ценили. Жил, довольствуясь тем, что есть, вперед других не рвался — текла жизнь по накатанной колее. Помогал матери по дому, встречался с друзьями детства, приглашая в гости, ходил сам, ежегодно проводил отпуск на море. Но холостяцкое одиночество с каждым годом все больше тяготило. Он аккуратно писал Ирочке. Из полудетских ответов трудно было составить представление о том, как сложилась жизнь Фаины. Мать беспокоила эта переписка, она боялась, как бы не возобновились прежние отношения, и настаивала, чтобы не тянул с женитьбой.

За целый год он так и не откликнулся ни на одно из газетных предложений...

А их было много, самых разных. Со всех концов страны. И из Украины, и из прибалтийских республик, и с Дальнего Востока, с Урала, из Средней Азии, Москвы и Ленинграда. Будто люди только тем и заняты, что подыскивают себе женихов и невест!

К объявлению Фаины он возвращался много раз. Гадал о причине, побудившей обратиться в газету. Может, кто уже и откликнулся... Приходило к голове: вот возьмет и напишет ей, такой-то и такой-то ищет женщину, любящую путешествовать, двадцать лет ищет и не может найти и наконец, какое счастье, нашел! Представилось ее лицо... Поймет или нет? Вениамин вздохнул: и не поймет, и непорядочно. А может и догадаться — от кого, ответит. И все вновь усложнится в его жизни...

Однажды утром, пока мать готовила завтрак, достал чистый лист бумаги.

«Мужчина 40 лет, среднего роста, — написал он, — хотел бы познакомиться с женщиной, желающей создать семью и иметь детей. Национальность, образование, материальное положение не имеют значения.

Черкесск, до востр., Карамову В. И.»

Перечитав, он подумал, что снова обрекает себя на хлопотное ожидание, неизвестно, что выйдет. Но потом махнул рукой:

— Отовсюду пишут. Пусть будет теперь и Черкесск!



Песня живет

Рассказ

Памяти ногайского просветителя
Абдул-Хамида Джанибекова

У него был учитель и был человек, который ждал его всю жизнь. У каждого, если он человек, должен быть. Учитель и человек, который нуждался бы в нем. Так внушал Учитель своим преемникам. Также Учитель сказал ему, что его, Ашима, ждут люди, хотя он с Учителем никогда не разговаривал.

Ашим шел к человеку, который ждал его всю жизнь.

Они не знали друг о друге ничего, но велико было их желание увидеться. И это должно было произойти. От этого зависели их жизни...

Ашим шел по пыльной грунтовой дороге. Дорога по бокам заросла бурьяном и серой полынью. Вокруг лежала ровная степь, и над степью было небо. Именно таким он и представлял себя — идущим по степи, — когда стал собирателем фольклора. В одной руке он нес портативный магнитофон «Весна», а в другой — черный, полный бумаг кожаный портфель. Впереди у него, как всегда, был Учитель, который так же, как сейчас Ашим, пешим или на арбе кочевал из аула в аул ради одного: собрать и сохранить первородное, нетронутое...

Учитель был один, ему не помогал никто. И тогда не было таких институтов, которые занимались бы тем, чем занимался он всю свою жизнь. Живым Учителя Ашим не помнил, но знал его жизнь, как свою, и любил его боль-

ше себя и мысленно рисовал его портрет, как рисовал бы свой собственный, — не глядя ни в зеркало, ни на фотографии. А на дореволюционной фотографии Учитель был в сюртуке, при бабочке, с тонкими усиками и сощуренными глазами. Думая об Учителе, Ашим представлял себе деятельного человека, горевшего лишь одной страстью — жить ради народа. Смутно помнил Ашим единственную встречу с ним...

Это было на Кубани, в Икон-Халке, родном ауле, в далекую послевоенную пору, когда Ашиму было лет пять-шесть. Учителю же, Абдул-Хамиду, было под шестьдесят. Опираясь на палку, в горской каракулевой папахе, Абдул-Хамид пришел в гости к деду Ашима, сказителю Ашаву. Ашим помнил лишь, как Абдул-Хамид дал ему кусочек сахара. Для ребенка это был бесценный и невиданный подарок. Оба они, ребенок Ашим и старый Абдул-Хамид, восторженно слушали протяжно поющего Ашава. Не знал тогда Абдул-Хамид, что этот кареглазый, худой, истощенный войной мальчонка полюбит ногайскую песню, как любил он сам, а тем более — что продолжит его дело. И Ашим тогда не знал, кто перед ним и кем явится для него впоследствии, но знал, что это самый добрый человек на свете. Он считал, что гость добрее даже героев из сказок, про которых рассказывал дед: ведь сказочные герои ему ни разу не дарили сахару.

Все соседские ребята, играя в войну, мечтали стать солдатами и отомстить за горе, принесенное фашистами. И Ашим мечтал отомстить за отца. Но заботы по дому, хозяйство, двор, корова, с которыми дедушка один не справлялся, не выпускали на улицу. А со временем появилась и другая, мирная мечта. Ашим любил деда, и любил слушать его песни и сказки и всегда просил рассказать о госте, который одарил его сахаром.

Учась в институте, Ашим узнал о жизни и трудах Абдул-Хамида, и Учитель по-новому ожил в его глазах и остался в его душе.

Ашим шел и думал о нем и сравнивал все свои поступки и мысли с его мыслями и делами.

Солнце поднималось все выше и начинало припекать. Чесалась заживающая рана в боку — после операции. Спина под пиджаком взмокла от пота, но снять пид-

жак он не решался: в портфеле места не было, руки же заняты. Воздух раскалялся, душно и горячо пахло пылью... Ашим шел, не обращая внимания на духоту и усталость...

Он пятнадцать дней пролежал в районной больнице. Месячная командировка истекала. До больницы он успел объехать около десяти ногайских аулов в обширных степях востока Ставропольского края. Пять магнитофонных кассет вполне удовлетворяли его. Кассеты были заполнены современными и старинными песнями. Среди них были и те, что при жизни записал Учитель, были и редко встречающиеся у кубанских ногайцев. Были и с одинаковыми названиями, об одних и тех же событиях, но с разными текстами. На выделенные институтом деньги он покупал старикам и старухам небольшие подарки. С одними знатоками старинных песен он проводил целые дни, другие были покладистей, и за чашкой чая Ашиму удавалось записать все, что они знали. Он не пренебрегал ни сказками, ни пословицами, но больше всего его интересовали тексты и исполнение старинных песен. В эту поездку он записал десять новых вариантов «Эдиге». Ашим не удивлялся тому, что существуют разные варианты. Он знал, что эпические сказания постепенно уходят из жизни и памяти народа и, если не записать их сейчас, они могут исчезнуть бесследно. Это знал и Учитель... В последних своих заметках он часто задавал вопрос: найдется ли среди ногайцев человек, который с любовью продолжит его дело? Песни, хранимые народом в течение веков, в век радио и телевидения вытесняются сотнями новых и быстро забываются. Молодежь и люди среднего поколения без интереса относятся к старинному эпосу. А раз нет интереса — значит, нет и преемников... Виновато время? Или что? Ведь оттого, что ногаец скинул с себя черкеску, бешмет, папаху и надел европейский костюм, разве он перестал быть ногайцем? Ведь под костюмом осталась его душа! Но старики часто отказывались петь, боясь стать посмешищем, а самодеятельным артистам больше нравится гитара: зачем возиться с тяжелой буркой, когда есть легкий плащ? Если ночь застанет в степи — бурка нужней. Но сегодняшний человек постарается не остаться в ночной степи...

Старые люди говорят, что существовали певцы, несколько дней певшие про Копланлы-батыра. У Учителя были лишь фрагменты из этой песни, в его записях упоминалось о певцах, исполнявших Копланлы целиком. Но таких сейчас не найти в аулах. Ашим извездил селения на Кубани, в Пятигорье, в Дагестане, в Чечено-Ингушетии, был в аулах Ставропольского края, но не нашел человека, кто мог спеть эту эпическую песню. А ведь она бытовала именно у ставропольских ногойцев! И Ашим надеялся услышать хотя бы отрывок... Но увы! Лишь старик по имени Курай напел несколько строк:

Давно, в ушедшие времена,
Жил караногай Копланлы,
Отец его Кыдырбай –
В народе именитый бай...

Курай неуверенно проговорил эти слова и забренчал на домбре: больше он не знал

Курай был любителем спиртного, и Ашим пожалел, что не захватил угощения. В тот же день он обошел всех аульных стариков, и они заверили, что были певцы, которые много пели, но про эту песню никогда не слышали.

Ашим шел по дороге, вглядываясь в даль, уплывающую, к горизонту, а перед глазами проносились недавние дни...

Вечером он снова зашел к Кураю. Расстелили дастархан, сели и повели разговор. Ашим рядом с собой поставил включенный магнитофон. Старик, как и днем, так и сейчас, не обратил внимания на аппарат. Может, потому, что у внуков были транзисторные радиоприемники, похожие на магнитофоны, или из-за того, что был не больно любопытен. Ашима это удивило. Многие старики ни за что не соглашались, чтобы их речь была записана, боялись насмешек односельчан. Но в этом ауле все охотно доверялись магнитофону. Видимо, здесь не так часто бывали журналисты. Ашим вытащил из портфеля бутылку и ралил по стаканам. Курай, поглаживая седую козлиную бородку, выпил, закусил кусочком сыра. Ашим глотнул и поел вяленого мяса. Потом они долго пили исходивший ароматом ногойский чай. Ашиму казалось, что старик недоволен гостем. Курай морщил лицо, обеими

руками поглаживал бороду и бросал взгляды на бутылку. Ашиму не хотелось пить, но он чувствовал — если не нальет еще, старик не начнет петь. Нарочно утаивает. Ашим знал психологию аульских стариков: сделают так, что к ним придешь не один раз. Набивали себе цену, хотели вызвать интерес и этим заслужить уважение у своих односельчан. Наконец Курай взял в руки домбру. Ашим прокрутил ленту с предшествующим разговором и включил на запись. Разгоряченный выпитым Курай стал петь сарыны, шуточные современные песни. Ашим уже слышал их, да и у всех аульчан они были на устах. Их автор, видимо, жил в ауле, а может, это сам Курай их сочинил. Ашим был терпелив и, когда старик кончил, попросил:

— Кура-агай, сегодня ты мне пел про Копланлы, а ну спой еще.

Старик снял с головы городскую фетровую шляпу, разгладил на груди клетчатую шелковую сорочку, потом разгладил седую бороду и запел:

Давно, в ушедшие времена,
Жил караногай Копланлы,
Отец его Кыдырбай —
В народе именитый бай! —

и замолк, как и в первый раз.

— Дальше, дальше! — волновался Ашим.

— Не знаю, — улыбаясь, сказал Курай. Ашим включил ленту с только что записанным голосом старика: услышав себя, может быть, что-либо и вспомнит? Курай ничего не разобрал. Он подумал, что это радио, и даже не стал вслушиваться. Старуха, несшая на подносе свежие красные помидоры, растерялась:

— Как, эта штука и на ногайском языке поет? Да неужели это Курай? Курай, не ты ли это?

Ашим шел и шел. Попутных машин не было. На востоке собирались тучи. Жара, духота. Ашим приостанавливался, ставил на дорожную пыль портфель и магнитофон, вытирал пот со лба и, отдохнув, шагал дальше...

Он так и не услышал Копланлы. Но встреча с Кураем подзадорила его, и желание найти песню разгорелось еще сильнее. Он чувствовал, что найдет.

Приступ настиг его в ауле, в правлении колхоза. Стал расспрашивать о местных певцах и острословах и тут, прямо в кабинете, схватился за правый бок...

Досаде его не было предела! Месячная командировка была не закончена, и неизвестно, предоставит ли институт еще одну в тот же район. Аппендицит ему вырезали, через неделю он уже ходил, но врач не выписывал, боясь, как бы дорога не сказалась на здоровье. Ашиму и самому было безразлично: выпишется он днем раньше или позже — продолжать работу в этом районе уже не хотелось.

Ашим шел по степной дороге. Он не обращал внимания, как в первые дни командировки, на то, что в пути пачкается одежда, и поминутно не отряхивался. Он шел в затерянный аул, который не был обозначен на карте и лежал всего в пятнадцати километрах от центральной усадьбы крупного совхоза. В аул днем не ходили машины. Рано утром привозят людей и вечером увозят, а на рассвете через аул проезжает автобус. Ашим понадеялся на попутку.

Когда из глаз исчез поселок, откуда он вышел, степь все так же была безмолвна. Потом подул прохладный ветер...

Не увидев плохого, не узнаешь хорошего — говорят в народе. Или же: без трудностей не бывает радостей.

В больнице Ашиму повезло. От него через кровать лежал пожилой человек с забинтованной ногой. По широким скулам, горбатому носу и узким глазам Ашим догадался, что это степной ногаец. Заговорить первым, будь сосед даже единственным ногайцем в палате, Ашим постеснялся. Но старик сам заговорил, спросив Ашима, ногаец ли он.

— Да, — обрадовавшись, ответил Ашим.

— Что у тебя болит?

— Аппендицит вырезали.

— Это плохо. Человеку все нужно, так он природой создан. Отрезали — это плохо! Вот если у меня отрежут, — старик показал на забинтованную ногу, — кому я нужен? Лежи на постели... И так мир старческим глазам тесен, а будешь как в коробке. С какого ты аула, джигит?

Ашим рассказал, откуда он и зачем приехал. Старик изменился в лице, с восхищением посмотрел на Ашима.

— Видишь, сынок: старые люди умные, даже тебе, ученому человеку, их песни понадобились. У вас на Кубани, наверно, песню старинную любят, а у нас забыли.

Ашим улыбнулся:

— Наоборот! На Кубани почти не поют, а вот у вас...

Старик одобрительно кивнул.

— Помню, посадят йырава¹ на ковре, поет целый день, и все сидят не шелохнутся, слушают. После пения йыраву подарки, почет йыраву. Если хороший певец — съезжались слушать из соседних аулов. Учились у таких певцов. Чтоб только на домбре научиться — овцу, теленка давали. Сейчас гитару бьют по струнам — разве это музыка? И поет мальчишка уличную частушку — лишь бы насмешить народ. До сердца не доходит, и не задумаешься. Домбра — это сложный инструмент, ведь у нее всего две струны, а кто сейчас на ней играет? И мастеров, изготовлявших этот инструмент, совсем не осталось. У людей терпения не стало, спешат, торопятся... Мы сами не бережем старое, много хорошего забыли, да и молодежь нашему примеру следует. А опомнились, так теперь трудно уж их повернуть. Если в детстве учили: где огонь, где лед — сейчас по-другому думать не заставишь. Песни, хотя и о прошлом, но в них мудрость, красота. Я радио слушаю и газеты по-русски хорошо читаю. Русский народ большой, а их молодежи также недосуг в старинные, песни вникнуть, тоже что-то в детстве потеряли... Но у русских богатство их не пропадет. И в прошлом у них все записывалось, традиция большая... Из многого многое выходит, говорят в народе. А у нас может исчезнуть, нас мало... Я думаю, что наши старинные песни — это целые книги! Хорошее дело делаешь, сынок! Люди скажут тебе спасибо. — Подумав, старик добавил: — Вот только не знаю, был ли ты в таком ауле, как Мингиш-Кюй? Там, кажется, всего двадцать дворов, даже школы нет своей, детей возят в интернат. И есть там старик Утемис², слышал я, что он еще жив...

¹Йырав — певец-импровизатор.

²Утемис — известный ногайский йырав, умер в 1969 году.

Ашим заинтересовался и внимательно взгляделся в собеседника.

— Утемис, говоришь? Нет, агай, не был я у него. Расскажи, пожалуйста, что он за человек. Только я сейчас к нему не смогу заехать, командировка кончилась. А в следующий раз обязательно.

— Следующего раза может не быть. Умрет и все с собой унесет. А он много знает. Лет десять назад приглашали мы его на свадьбу одного родственника. Так он целыми неделями пел старикам. Что он только не пел! Про Эдиге, про его сына Нурадина пел, про Мусабия, про Орака, про всех ногайских батыров. Про Эр-Таргыла, про Казтувгана, про Шору, про всех сорок богатырей!

— А про Копланлы пел?

— Пел, конечно, и про Копланлы. И долго пел, — спокойно проговорил старик. Он не находил в этом ничего удивительного.

...И вот шел Ашим в этот затерянный в степи аул.

Небо стало черным, разлетелись в разные стороны степные птицы, вороны стаями уносились к видневшимся вдали лесопосадкам. Ашим на ходу вытащил из портфеля плащ-болонью и накинул на себя. В правом боку закололо, по спине пробежал холод. Ветер усиливался, травы низко, покорно клонились к земле.

Много труда взяла степь у людей, прежде чем на ней зазеленели сады, появились поливные поля, бахчи, плантации лука, вознеслись черные вышки газодобытчиков и нефтяников, прежде чем напоили ее водой горных речек. Земля, забытая, необрабатываемая, но родная степному ногайцу, зажила новой жизнью, и сам ногаец будто обрел вторую жизнь. Бывший скотовод освоил множество новых профессий. И Ашим верил, что и у ногайской песни будет второе рождение. Композиторов и поэтов будет вдохновлять героический древний эпос, как Гомер в течение веков вдохновлял западные культуры. В это верил и Учитель, когда поставил на сцене лирико-эпическую песню «Карайдар и Кызыл-Гуль». Учитель не был драматургом, но успех пьесы в далекие тридцатые годы был поразительным. Ведь ногаец видел только шутов на сабантое, осмеивавших ханов и их нукеров. Но никогда не видел, чтоб со сцены показывали радости и

страдания любви. В аул Канглы, где ставилась пьеса, люди стекались на арбах, верхом на лошадях, пешком из самых разных мест.

Песня никогда не умирала в народе. Она передавалась из уст в уста, пробуждая любовь к родному слову. В трудные годы объединяла разобщенный народ, была его единственной радостью. Песня жила всегда...

Дождь — редкий гость в степи, но Ашим не обрадовался ему, беспокоила боль в боку. Небо было серое, скучное, и все вокруг казалось одноцветным. Ашим закатал брюки до колен, снял ботинки и, связав за шнурки, повесил на плечо. Стиснув зубы, стараясь не думать о боли, он шел по размокшей дороге. Кружилась голова, холодом охватывало все тело...

Шел по дороге странный человек в шляпе, в закатанных до колен брюках, в очках. Шел человек, знавший, что у дороги нет конца, и от этого не сокрушавшийся.

Потом он увидел сквозь дождь силуэты беспорядочно раскиданных домов. И в плаще с капюшоном, накинутым, на шляпу, сжимая в руках портфель и магнитофон, босой, он остановился возле первого дома и, прислонившись к двери, медленно сполз на землю.

Раньше он боялся смерти. Боялся, что она застанет врасплох, когда он ничего не успел еще оставить на земле, чтобы обессмертить свое имя. Но он боялся не только смерти: вся его жизнь была полна сомнений. Способен ли он сделать то же для людей, что и Учитель?.. А сейчас он презирал себя, что когда-то боялся умереть и мучился сомнениями...

Старик ждал его всю жизнь. От ожидания Утемис ослеп, но если бы даже онемел, он продолжал бы ждать.

Слепой старик растирал спиртом внезапного гостя, его окоченевшее тело, и ему в душу вошло предчувствие, что это тот, кого ожидал всю жизнь.

Очнувшись, Ашим увидел перед собой седобородого старца со слезящимися глазами. Старик был маленький, в широких галифе, кривые ноги выдавали в нем наездника. Ашим оглядел комнату. Он лежал на краю тахтамета, занимавшего половину дома. В углу возле печи возилась с казаном такая же маленькая, как старик, в темном залатанном платье старушка. Под столом у окна иг-

рал с кошкой мальчик лет пяти. Ашим долго смотрел вокруг и, насмотревшись, закрыл глаза. И открыл их только утром.

Первые слова, с которыми Ашим обратился к хозяевам были:

— Где живет Утемис?

— Я и есть Утемис, — сказал слепой старик.

Ашим потерял сознание — он был слишком слаб и пришел в себя, когда старик играл на домбре «исцеляющий саз». Так этот саз назывался, исполняли его над больным. Говорят, помогало.

— Принесите мне красную коробку, — попросил Ашим старушку, сидевшую на другом краю тахтамета. Попросил тихо, боясь перебить старика.

Через несколько дней Ашиму стало лучше, он встал и сразу приступил к делу. Старик, скрестив под собой ноги, втиснув между колен домбру, начал с простых слов:

— У музыки есть разные стороны. Можно больного исцелить, можно верблюжонку мать-верблюдицу помочь найти, можно лошадь дикую приручить и еще много тонкостей, и все это правда...

Утемис по очереди играл сазы. Перед глазами Ашима то представлял больной, мучимый недугами и воскресающий от музыки, то виделся потерявшийся в степи ревущий верблюжонок, то дикая лошадь, успокоенная нежной музыкой и позволяющая надеть на себя седло...

Когда сазы были записаны на пленку, старик сказал:

— Есть другая музыка, это — песня. В старину соби-рался народ послушать песни йыравов. Особенно зимой, когда работы не было и живот не очень сытый... Чтоб мне не соврать! Мой учитель говорил, что клал холодное яйцо под курицу и пел, пока цыпленок не вылупится. Что раз споет, второй раз не повторял. Такие длинные песни были... Сейчас люди хорошо живут. Как мудрецы в сказках говорят: «Век золотой, когда жаворонок на спине овцы гнездо свивает». Только многие не видят этой жизни. Знали бы они песни свои, знали бы, почему пел их народ, тогда узнали бы цену сегодняшнего счастья... Я боюсь, сынок, что люди так не узнают его. Вот уже несколько лет я не брал в руки домбру. Будто язык у меня оторвали, будто руки отнялись, таким я себя чувствовал.

Плохо, когда ты становишься никому не нужным. А ты, раз можешь вовремя к человеку прийти, ты, сынок, далеко пойдешь, твоя дорога чистая... Я думал, умру и унесу с этого света, украду богатство. И винил себя... Все же верил в душе, что придешь! Ты просишь, чтобы я спел про Копланлы? Спою, сынок, только буду петь я двое суток. Ты не устанешь и машина твоя не устанет, если у нее такое же сердце, как у тебя. Песня и тебе и мне даст отдохнуть. Слушай...

Сделав такое вступление, старик взял домбру, и костлявая рука заплясала по струнам.

— Давно, давно, в старые времена жили Кыдырбай и Карашаш. Были они богаты, но не было у них детей. Однажды хан Джангыр пригласил их к себе на пир. Погрузив на сто верблюдов подарки, вышли они в дорогу. Встречные смеялись над ними, говоря, что нет почетного места тому, у кого нет сына, и нет веселья тому, у кого нет дочери. Опечалились они и вернулись назад, не побывав на веселом пиру. После этого старый Кыдырбай, надев на ноги железные оковы, в рубище странствует по святым местам, вымаливая ребенка. Однажды во сне является к нему Баба Тукли Шашлы-ас, божество, и говорит:

Дать ли тебе детей полный дом,
Которые, в степь выходя,
Достоинств своих не покажут,
Взял бы таких, многих, Кыдырбай?
Или дать одного, тысячи достойного,
Которого сам Бог Неба создал,
С сердцем величиной с конскую голову,
Сильного, как лев, —
Взял бы одного богатыря, Кыдырбай!..

Старик пел «Копланлы» два дня и две ночи, и столько же слушал его Ашим...



Впечатлительный человек

Рассказ

Тихая зимняя ночь. В чистом, без облачков, небе мерцают звезды. Желтая, большая и печальная луна заливает ровным белым светом ногайские предгорья. После полуночи аул оцепенел от мороза; затихли дворовые псы, забились в конуру, свернувшись в комок; прижавшись друг к дружке, дремлют куры в курятниках; коровы, лежа на соломе в тепле хлевов, сонно пережевывают жвачку, вздыхают.

Самые причудливые сны видятся ногайцам в такие ясные, студёные ночи. Кому-то снится, будто он с камчой в руке преследует на лихом коне волка. Кто-то видит себя в зарослях камыша — ловит сверкающих серебристых рыб. Кто-то мучается, выбирая в магазине машину, и от негодования скрипит зубами: вместо «Лады» ему подсовывают «Москвич»!

Ногаец от сна всякое ожидает, да и от него самого можно ожидать чего угодно. Впечатлительного ногайца видения преследуют не только во сне. И наяву ему нет покоя от них. Даже когда он пересказывает что-то услышанное от других, так переживает, словно происшедшее случилось с ним самим, и в конце концов может настолько увлечься, что покажется ему, будто он и в самом деле видел и слышал то, о чем повествует, участвовал в том, о чем говорит.

А если к тому же ногаец выпил? О, тогда ему чего только не почудится!

Аул спал, а в доме зоотехника Сейпуллы — пир на весь мир. Жена Сейпуллы уехала с детьми проведать родителей, зоотехник на радостях зарезал барана, купил мешок водки, созвал одноклассников, сорокалетних мужиков, и взял с них клятву, что пока не покончат с водкой, никто не уйдет домой. Начали пить в субботу. Пили весь день, пили всю ночь, пили целое воскресенье. Спали тут же за столом. Просыпались, опохмелялись бодрящим холодным айраном и продолжали застолье. На вторую ночь кто-то предложил разойтись. Но хозяин и его закадычные друзья: механизатор Мисирбий и главный агроном Алимурат — возмутились.

— Что-о, пойти; домой?! — выкатил от негодования покрасневшие глаза крепыш Мисирбий, отирая ладонью широкие черные усы. — А про клятву помните?!

— Клятва священна для ногайца! — решительно заявил хозяин дома и погрозил гостям пальцем.

— Клятвоотступникам — смерть! — Главный агроном Алимурат вскинул кулак и громыхнул им по столу.

— Правильно, смерть клятвопреступникам! — раздался гневный, пронзительный голос. — Ты сколько раз клялся, что больше и глотка не сделаешь?! А?

Мужики с усилием развернулись к двери.

На пороге стояла жена Алимурата, учительница пения. Маленькая, худенькая, белая от злости, растрепанная, в распахнутом пальто, она воспаленными от недосыпа, лютыми глазами глядела на пьяную компанию. Всклопоченный Алимурат виновато и в то же время дерзко заулыбался жене, растягивая рот до ушей.

— Радость моя, как ты кстати! — промычал он. — Душа песни просит! Спой нам песенку.

— Песенку, да, песенку! — захихикав, подхватил Мисирбий.

Женщина решительно обошла стол и наотмашь ударила мужа по щеке маленькой своей ручкой.

— Ой! — вскрикнул хозяин дома и в ужасе зажмурился.

Женщина размахнулась еще раз — вторая пощечина получилась звонкая, резкая.

— Ой! — снова вскрикнул Сейпулла, чуть не плача, и втянул голову в плечи.

— Каратэ! — подскочив на месте, засмеялся восторженно Мисирбий.

Жена Алимурата схватила мужа за кудри, выдернула его из-за стола.

— Э, нет, нет, не по правилам. Недозволенный в спорте прием! — закричал возмущенно Мисирбий. Вскочил, но женщина так глянула на него, что он опять плюхнулся на стул.

Алимурат, подобно молодому телку, которого ведут в хлев, упирался изо всех сил, визжал от боли, как щенок, орал, падал на колени, но маленькая, хрупкая женщина цепко держала его за кудри и была неумолима. Вскоре визг и крики Алимурата доносились уже с улицы.

• — Пропал наш самый верный товарищ! — прослезился Сейпулла. — Давайте, выпьем за него!

— Эх, Алимурат, Алимурат, был ты слабаком, слабаком и остался! — Мисирбий тоже всхлипнул и стал разливать по стаканам.

Двое приятелей, сидевших против него, только вздохнули, промычали что-то, помотав головами, — разговаривать они не могли. Третий, беспрестанно икая, все порывался встать, но Мисирбий каждый раз удерживал его угрожающим взглядом.

Выпили, попытались спеть, но ничего не получилось. И Мисирбию тоже захотелось домой, но он гнал от себя эти, предательские по отношению к товарищам, мысли. Опустил взгляд, призадумался, икая. Когда поднял глаза, увидел, что приятели спят, положив головы на стол.

— Э, э, спать нельзя! — Он принялся расталкивать притихшего рядом Сейпуллу. — Так нечестно!

Сейпулла не отозвался, не шевельнулся. Мисирбий встал, попробовал растормошить остальных сотрапезников. Все попытки оказались безуспешными.

— Умерли! — решил вслух Мисирбий. — Проверим, — потянулся к Сейпулле, чуть не упал, но успел схватить руку друга. Сдавил пальцами запястье, долго держал его, тупо глядел в пол. — Все ясно, пульса нет.

Пошатываясь, обошел стол, пощупал пульс у каждого из приятелей.

— И этот умер... И этот.

Вернулся к телу хозяина дома, посмотрел на него горестно.

— Больше всех жалко тебя, Сейпулла! Хороший ты был человек! — Мисирбий смахнул с глаз слезу.

Кое-как напялив на себя полушубок, он вышел ни улицу...

Спящий аул прятался в темноте. Понуро побрел Мисирбий в ночь.

Проснулся он от пробирающей до самых костей стужи. Огляделся. Удивился, увидев, что лежит, залитый ярким светом электрической лампочки, на крыльце магазина, прижавшись спиной к двери. И сразу все вспомнил.

— Друзья померли, а я жив! — вздохнул он.

Поднялся, дрожа от холода, отряхнул полушубок. Сгорбившись, сошел со ступенек. Заскрипел снег под ногами. Мисирбий остановился — показалось ему, что он все еще на вечеринке у Сейпуллы.

— Водка губит ногайца... — забормотал Мисирбий, вскинув руку, в которой виделся ему стакан. — Водка — яд! Сплошной вред для ума и здоровья. Я запретил бы эту отраву! Газету читай, телевизор смотри, скот выращивай, семью обеспечивай. Зачем тебе водка?! Так нет же, пьем. Ногайцу, видите ли, необходимо живое общение. А общаемся как? За столом, а на столе — милая шайтан-вода! Как тут бросишь пить? Нет, одному ни за что не бросить! А вот все вместе, все ногайцы, бросить можем. Если никто пить не станет, тогда и на стол выставлять не надо. Правильно я говорю? — Вздрогнул, увидев, что стоит на улице.

Плюнул со злостью и, шатаясь, зашагал по дороге. Опять вспомнились друзья, лежащие за столом.

— Надо же, все умерли, — покачал головой. — Жалко Особенно Сейпуллу.

Несколько раз Мисирбий поскользнулся и чуть не упал — дорога виляла, вставала на дыбы. Чтобы не смотреть на нее, Мисирбий поднял голову. Увидев луну, раскрыл рот от удивления: на желтом диске четко виден был окруженный отарой чабан в белой бурке, с ярлыгой в руках.

— Пасешь? — спросил его Мисирбий. — Такой холод, а ты овец пасешь. — Подумал немного и решил: — Видимо, там теплее, чем у нас. А может, он передовик? Наверно, передовик, там ведь водку не пьют. Или пьют? — Он

опять призадумался и вдруг рассмеялся.— Что это я, спятил?! На луне ведь нет жизни,— но тут же спросил себя с ехидцей: — А чабан? Откуда чабан взялся, а?

Удивляясь, он побрел дальше, но еще раз поднять голову, чтобы взглянуть на луну, поленился. И вскоре про чабана забыл.

Брел Мисирбий до тех пор, пока не уперся руками в забор. Опустился на снег, прислонился спиной к штакетнику, и глаза Мисирбиа сами собой закрылись — представилось ему, что лежит он на мягкой постели в своем доме и кутается в теплое одеяло. Мисирбий заулыбался и поплотнее подоткнул под себя полы полушубка.

Проснулся он неожиданно. Посмотрел за спину, через штакетник, увидел надгробные камни, быстро отвернулся, почувствовав, как от страха онемели ноги, руки и даже язык. Мисирбий хотел встать и не мог — омертвел от ужаса. И стало совсем уж жутко, когда за спиной умоляюще простонал тоненький голос:

— Эх, сейчас бы сто грамм. Всего сто грамм!

— Сто грамм, сто грамм?! Где их взять?! — возмущенно отозвался второй, хриплый, голос. — Не скули! И без твоего нытья голова разламывается.

— У меня тоже болит, гудит. Если бы выпил, то знаю, Прояснилось бы в голове...

— А зачем тебе ясная голова? «Пилосоп» ты, что ли?

— Легче бы стало.

— А потом? Еще хуже будет. И опять сто грамм надо.

— Тоже верно.

— Тьфу ты! У тебя и мнения-то своего нет!

— Таким родился, безвольным... Эх, всего сто грамм бы! — Тоненький голосок стал совсем уж страдальческим.— И за что такие мучения? Что я сделал?

— Ха-ха-ха! «Что я сделал?» — передразнил хриплый голос. — Можно подумать, что ты хоть когда-нибудь что-нибудь делал! Тунеядец!

— Не ругайся! Бог создал меня неспособным к труду.

— Тунеядец! — зло повторил хриплый голос.— Дармоед! Судить тебя надо было!

— А ты — шабашник, это тоже дело незаконное...— вяло огрызнулся тоненький голосок.

— Незаконное?! — возмущился хриплый.— Я своими

руками на бутылку зарабатывал! Печь сложу — в карман, самое малое, тридцатку!.. Эх, было время! Каждый день бормотуха.

— Можно и одеколон, — мечтательно протянул тонкоголосый и вздохнул. — Там хорошо. Не то, что здесь.

— А там говорил, что здесь лучше! Я все помню. Не поэтому ли ты себя и поджег, что сюда рвался, а?!

— Ум затуманило, говорю же: безвольный я, — опечаленно прошептал тоненький голосок. — То правда...

— Правды нет! Одна правда — выпить хочется! А кто поднесет?!

— А вот там поднесли бы. Бывало, утречком еле дышишь, встать не можешь, а после одиннадцати, глядь, уже опять кто-нибудь опохмелил, — мечтательно заметил тонкоголосый.

— Не раздражай ты меня своими дурацкими воспоминаниями!

— Все люди живут воспоминаниями. Только воспоминаниями. Это самое лучшее в жизни.

— Дурак, болтун! Какие у тебя могут быть воспоминания, что ты помнишь? Алкаш!

— Смотри, какой трезвенник выискался, — обиженно буркнул тонкоголосый и, помолчав, прошипел ехидно: — Язвенник!

— Заткнись. Морду набью! — рыкнул хриплый.

Они замолчали. Мисирбий, боясь шелохнуться, облизнул пересохшие губы. «Что же это такое?! Так мучаются, а! Даже на том свете, даже мертвые, — метались в голове мысли. — Не-е-ет, больше никогда не буду пить!.. Только бы меня не заметили, только бы душу спасти!» Он поплотнее прижался к забору, решив дожидаться утра, когда на дороге появятся люди.

Мисирбий узнал говоривших. Тот, у которого тоненький голос, — Сеит, умерший два года назад: мать не дала ему денег на опохмелку, Сеит в отместку заперся в сарае, спалил его и сам в нем сгорел. Другой — Клыч, пьяница и хулиган, умерший в прошлом году от язвы желудка. Когда он умер, жена и дети скорей радовались его смерти, чем горевали.

— Слушай, дос, — неуверенно подал опять голос Бывший Сеит. — А у меня ведь трешка есть. Мать положила, когда хоронили. Плакала, прощения просила...

— Трешка?! — взревел Бывший Клыч. — Что ж ты молчал?!

— Да я забыл о ней. Зачем, думал, теперь-то, в могиле, эта бумажка нужна?

— Как это зачем?! — пораженно прохрипел Бывший Клыч. — Ведь магазин-то возле кладбища стоит. Беги в магазин!

— Я? Нет уж... Я — обгорелый, продавщица увидит меня, с ума может сойти. — Бывший Сеит захихикал.

— По-твоему, я должен бежать?!

— Конечно.

— Да ты что, свихнулся? Я же старше тебя!

— При чем тут возраст?

— Как при чем?! Ногайцы всегда чтят старших.

— Наверно, поэтому ты всю жизнь старикам грубил, родного отца в могилу загнал — чтил их... Нет уж, трешка-то моя? Моя! Значит, идти — тебе!

Бывший Клыч, не зная, что возразить, некоторое время помолчал.

— Все равно магазин закрыт! — пробурчал он неуверенно. — Ночь ведь.

— Ну и что — закрыт! Выпить хочешь?! — насмешливо поинтересовался Бывший Сеит.

— Постой, постой, — радостно захрипел Бывший Клыч. — Как же мы забыли? Можно ведь к бабке Зарият! Она и ночью продает. Дуй к ней. Помнишь ее дом?!

— Помню. Но почему я? — удивился Бывший Сеит.

— Потому что про бабушку Зарият я сказал... не робей, она никогда не смотрит в лицо. Постучишь, как всегда, в дверь, сунешь деньги. Бабка протянет бутылку без сдачи — и все дела! Беги, тунядец! — приказал Бывший Клыч.

Бывший Сеит огорченно вздохнул. Оцепеневший, полуживой от страха, Мисирбий услышал, как скрежетнул камень о камень — наверно, сдвинулась могильная плита.

— Ой, холодно как! — пискнул тоненький голос.

— На бегу согреешься! — отрывисто, хрипло засмеялся Бывший Клыч.

Мисирбий, приоткрыв глаз, увидел, как мимо него стремительно пронеслась мутная тень в чем-то белом, развевающимся, послышался даже хруст снега. От нахлы-

нувшей, еще большей, чем ранее, волны ужаса Мисирбий вскрикнул.

— Ты что, еще не ушел?! — грозно рыкнул Бывший Клыч, но, не услышав ответа, успокоился. — Послышалось... — решил он, и голос его был довольным.

Стало тихо. Мисирбий бесшумно выдохнул, отер ладонью липкий пот с лица. Полностью доверившись судьбе, он решил, что не сдвинется с места, пока не рассветет... Почти успокоившись, Мисирбий решил, что все увиденное услышанное померещилось, как вдруг мимо него опять промелькнуло что-то белое, развевающееся, опять послышался легкий хруст снега. Съежившись, спрятав лицо за поднятым воротником полушубка, увидел Мисирбий, снова похолодев от ужаса, — закутанный в саван, черный, обугленный Бывший Сеит добежал до забора и, прерывисто дыша, сопя, с трудом перелез через него.

— Ну что?! — нетерпеливо поинтересовался Бывший Клыч. — Принес?

— Чего захотел! — осипшим, злым голосом выкрикнул Бывший Сеит. — Нету бабки! И дома ее нету!.. На том месте стекляшка стоит.

— Какая еще стекляшка? Что ты плетешь?!

— Стекланный дом. Кафе «Луч» — написано. Понял? Послышалось надсадное кряхтение, глухо стукнул камень.

— Смотри ты, кафе открыли. Как в городе... — с обидой и завистью протянул Бывший Клыч. И встревожился: — Постой, постой, не залезай пока в свою яму. Успеешь... Может, еще куда сходить, а?

— Хочешь — иди. А с меня хватит. Чуть не околел, в жизни так быстро не бегал.

— Куда же эта спекулянтка, эта пиявка делась? — возмутился Бывший Клыч.

— Может, умерла?

— Давай ее здесь поищем?

— Иди. Только все равно без толку. Не взяла же она с собой свои запасы?!

— Верно! — огорченно прохрипел Бывший Клыч.

— Жаль, что бога нет! Попросили бы, авось пожалел бы?

— Жди! Мусульманам пить не полагается!.. Ну судь-

ба, снова обманула! — взревел Бывший Клыч. — Все обман, кругом обман!

— Да-а, в этом ты прав, — тяжело вздохнул Бывший Сеит. — А может, то, что мы жили, тоже был обман. Может, и не жили, а?

— Заткнись, «пилосоп»! Умными дураками таких, как ты, называют. Моя язва — обман?! То, что ты чокнулся от пьянки, — обман?! — Бывший Клыч смолк, резко оборвав брюзжанье.

Мисирбий, крепко зажмурившийся от страха, с трудом открыл глаза, потер их кулаком и удивился — оказывается, уже рассвело. Тело настолько окоченело, что Мисирбий не чувствовал его. Он с трудом поднялся, цепляясь за забор, судорожно, рывками потянулся и, еле волоча ноги, поплелся домой.

— Что же это было? — спросил вдруг сам себя и остановился. — Жизнь — обман? — вспомнил он слова Бывшего Сеита. — А может, и моя жизнь — обман? Может, и я не живу? Да-а, вот так вопрос.

Сгорбившись, будто под грузом этой неожиданной мысли, тяжело ступая по снегу, он подошел к своим воротам. Около красного трактора, оставленного с пятницы во дворе, задержался, уперся рукой в капот, нехотя попинал толстые скаты.

— Было то, что слышал и видел, или же не было? — спросил сам себя, опустив в задумчивости голову. — Если было, тогда вопрос о жизни не пустяк. Если не было... Все равно не пустяк.

Возле порога стоял на одной ноге рыжий петух и не сводил с хозяина желтого внимательного глаза.

— А ну-ка, подай голос, — обратился к петуху Мисирбий. — Закукарекаешь — поверю, что не обман. Не закукарекаешь — в суп! Понял? — Взмахнул властно рукой.

Петух панически забил крыльями, побежал через двор и, взлетев на забор, презрительно поглядел на человека.

— Обман, все обман, — решил Мисирбий. — Почудилось мне то, на кладбище. Хотя... — он опять задумался. — Чего только на свете не бывает.

Дверь дома распахнулась, и пулей вылетел младший, сынишка. Не обращая внимания на отца, он бросился к воротам.

— Менги! — грозно окликнул Мисирбий, возмущенный и оскорбленный, что сын даже не посмотрел в его сторону.

«А может, меня нет, потому он и не видит? — мелькнула испуганно мысль. — А может, это и не сын, может, мне это кажется?»

Мальчишка резко затормозил и, натягивая на голову шапку-ушанку, обернулся, поглядел вопросительно на отца.

«Значит — не кажется; значит — не обман!» — подумал с облегчением Мисирбий.

— Слушай, Менги, сбегай к Сейпулле, посмотри, что у них творится, — приказал решительно. — Я подожду тебя здесь.

Мальчик, не раздумывая, умчался исполнять волю отца. «Если Сейпулла и друзья померли, то значит все, что произошло ночью, правда; если — нет, то все — померщилось», — загадал Мисирбий.

В форточку высунулось рябое лицо жены. Она равнодушно, будто на незнакомого, посмотрела на Мисирбия. Его даже передернуло от этого пустого взгляда. «Чего от нее ожидать?! Не женщина, а пень какой-то! Жена Алимурата хоть руку на своего мужа подымает — и то разнообразие! А моя чуть что — в молчанку играет...» — от возмущения он плюнул под ноги.

Жена посмотрела и отошла от окна. Через минуту-другую она вышла на крыльцо и молча стала около раскрытой двери, всем видом показывая: входи, дескать.

— По-человечески не можешь? «Доброе утро!» — скажи; спроси, где твой муженек пропадал две ночи? — потребовал Мисирбий, а сам подумал, что мог бы ей такое рассказать, от чего она всю жизнь зайкой ходила бы. Представив это, Мисирбий заулыбался, но тут же счел нужным нахмуриться. Прикрикнул: — Хоть голос-то подай. А то, чего доброго, это вовсе и не ты?!

Жена повернулась, вошла в сени, закрыла за собой дверь.

«А что, если это действительно не она?» — неожиданно появилось дурацкое предположение, и Мисирбий удивился, что такая глупость может прийти в голову.

— Бийке! — громко позвал он.

— Жена опять открыла дверь и так же молча стала на прежнем месте. Посмотрела вопрошающе на мужа.

— Это ты?! — хмуро спросил Мисирбий, глядя на нее исподлобья.

Женщина, готовая расплакаться от обиды, стиснула губы, кивнула.

— Все у тебя не по-человечески!.. — возмутился Мисирбий. — Иди!

«Конечно, это Бийке, кто же еще, — успокоился он, но вдруг похолодел от невероятной, ошеломляющей мысли. — Она-то, может, и она — Бийке, а я? Что, если я — вовсе не я? Вдруг я — это кто-то другой в моем обличии?!» — От этого ему стало совсем жутко. — «С ума можно сойти! Все от пьянки, от пьянки... Не буду больше пить!»

— Па! Там Сейпулла и еще какие-то дяденьки сидят и водку пьют.

Мисирбий вздрогнул от неожиданности, резко повернулся к запыхавшемуся сыну. Тот, вытянув руки по швам, торопливо доложил:

— Они сказали, что твой отец, то есть ты, нарушил клятву и поэтому ты — не мужчина...

— Не смей! — оборвал Мисирбий.

— Ну это же они так сказали, я просто их слова повторяю.

— Ладно, ладно, понял, — проворчал недовольно Мисирбий. — Так они живы? — переспросил недоверчиво.

— Еще живы! — крикнул Менги и, развернувшись на месте, побежал по своим делам.

— Еще живы, — повторил Мисирбий; задумчиво почесал подбородок. — Значит, и Клыч, и Сеит померещились?.. Значит, жизнь — не обман?.. Конечно, не обман! — И повеселел.

Куплю курицу...

Рассказ

— *Л*ежит Ходжа на кровати и мурлычет себе под нос: «Куплю курицу, курица снесет яйца, из яиц выведутся цыплята, продам цыплят, куплю жеребенка, выращу из жеребенка лошадь...» — рассказывал аульский балагур Матай, которого Утакай недолюбливал за острый язык.

Утакай, поздоровавшись со стариками, которые сидели на скамейке рядом с Матаем, прошел мимо, сделав вид, будто спешит по серьезному делу. Усмехнулся, глянув на рассказчика, — ни к чему болтовня пустослова.

Но слова Матая расслышал, и они запали в голову. Когда Утакай уже порядочно отошел от стариков, он задумчиво повторил:

— Куплю курицу, курица снесет яйца, из яиц выведутся цыплята, продам цыплят, куплю жеребенка... Интересно. — Через некоторое время он зашептал опять: — Куплю курицу... — И тут же поправил себя: — Нет. Куплю курей, куры снесут яйца, из яиц выведу цыплят, выращу их, куплю лошадь... Да ну ее, лошадь... Зачем она?.. Куплю телят, из телят выращу бычков... — радостная улыбка появилась на лице Утакая, его узкие глаза весело заблестели.

— Продам бычков, куплю машину! — уверенно закончил он: — А что? Вчера соседка Батош сказал, что курица на базаре стоит десять рублей. Десять куриц — сто рублей. Это уже теленок! А десять бычков по пятьсот рублей каждый — ого-го! — пришел в восторг Утакай и уди-

вился: — Оказывается, не так глуп болтун Матай. Хотя Матай тут ни при чем. Это Ходжа мудр; вернее, не Ходжа и не Матай, а народ, выдумавший такой хабар!

Ходжа был не в чести у Утакая — тоже болтун простодушный, не деловой человек, — а старика Матая Утакай тем более недолюбливал — тот лет двадцать подряд рассказывал аульчанам про него, Утакая, одну и ту же историю.

...Лет двадцать назад Утакай был в гостях у родственников в далеком горном ауле. Когда возвращался и поджидал на дороге попутную машину, какой-то чудак, стоявший рядом, сказал, что готов продать десять ослов за сто рублей. Спросил, посмеиваясь, Утакая: не хочет ли тот купить? Утакай, не раздумывая, согласился — ведь один осел стоит не менее пятидесяти рублей! — деньги у него были, он отдал их продавцу. Тот, простак, сначала очень удивился, а потом так обрадовался, что бесплатно отдал новую веревку и сам привязал ослов друг за другом. Все пятьдесят километров проехал Утакай во главе каравана, восседая на белом осле. Нежно похлопывая по шее купленное животное, представлял, как будет расхваливать свой товар на торге, как будут завидовать его оборотистости земляки, как станут восхищаться им. И не знал Утакай, что накануне пришло распоряжение из района, запрещающее держать в хозяйстве ослов, так как из-за них, мол, не хватает кормов в округе, и всех их отбрали и расстреляли в окопах, оставшихся после войны... Гордо выпятив грудь, въезжал Утакай в родной аул. Как именитый табунщик, самодовольно поглядывал он на свое маленькое стадо. Аульчане, ворча распрощавшись с тягловой скотиной, сперва удивились, увидев Утакая с ослами, но, узнав, что он пригнал их на продажу, чуть не померли со смеху. Мало того, что опозорился, его не раз вызывали в район, где угрожали большими неприятностями за то, что воспротивился решению местных властей и пытался стать расхитителем народного добра. Эту историю и любил рассказывать старый Матай, не скупился на подробности, очень похоже изображая Утакая и называя его «кавалеристом»...

Разбогатеть Утакай хотел давно. В поисках больших денег много профессий и должностей поменял за свою

жизнь, много дум передумал, много разных ухищрений изобретал он. Сперва работал механизатором-свекловодом. Ни времени, ни сил не жалел, с утра до вечера вместе с женой на поле пропадал. Все напрасно — у людей богатый урожай, у него же самые низкие показатели. Утакай жаловаться пошел, что ему наихудший участок дали, что управляющий отделением родственникам приписки делает. Сам себе врагов нажил! Начальство невзлюбило Утакая, а работающие вместе с ним отшатнулись от него: не уважают в народе жалобщиков. Утакай подался в соседний район — чабаном надумал стать. Семью перевез на кош, сына пристроил в интернат. Сам же мечту затаил: десяток-другой ягнят от приплода скрыть для себя, выгоду свою не упустить. А пока решил хоть немного шерсти утаить — торопился к наживе, потому и раньше всех овец остриг. А тут неожиданно ударили холода, и пол-отары пало. Несколько лет проработал Утакай, чтобы поголовье восстановить, еле-еле с колхозом рассчитался. Устроился он диспетчером на щебеночный карьер; попытался за каждую левую машину с водителями по рублю брать, но шоферы чуть не избили его — пришлось менять место. Даже автобусным кондуктором был. Сперва около десятки в день выходило «приработка», но не прошло и месяца, как контролеры поймали Утакая — почти все пассажиры оказались без билетов. Еле отвертелся, чуть-чуть не посадили. Даже вспомнить страшно... Последние годы Утакай работал контролером электросети. Был он дотошный, когда проверял счетчики, требовательный, придирачивый, но какая от того выгода? Разве что иной домовладелец поставит бутылку, чтобы отвязаться или ублажить, если давно за свет не платил. Много думал Утакай о своей судьбе, особенно когда заходил по службе в зажиточные дома. Зависть снедала его: оклад маленький, приработка никакого, честным трудом такого достатка не добудешь, да и не хватало терпения копить по крохам — хотелось сразу и много. «Только бы подходящий случай подвернулся!» — мечтал он. Деловым и ухватистым человеком считал себя Утакай. И вот, кажется, наконец-то пришла удачная мысль.

— Продам бычков, куплю машину, — напевал-мурлыкал он, подходя к дому. И уже видел себя в белых «Жигулях».

— Продадим бычков и купим машину! — твердо заявил с порога жене, делая строгое лицо.

— Что, что? — удивилась жена.

— Значит, так. Поедешь в город. У реки возле моста есть инкубатор, купишь там сто цыплят...

— Зачем столько?

— Ты слушай, не перебивай, когда тебе муж говорит!

— Утакай погрозил пальцем, — То, что я говорю, — закон!

— Ну, говори.

— Купишь сто цыплят в инкубаторе, поняла?!

— Ну, ладно, куплю я сто цыплят. Но это же, самое малое, три огромные коробки. Я что, на спине их потащу? Или ты уже и с шофером договорился?

Утакай заулыбался.

— С шофером договорился... — передразнил он и, приняв серьезный вид, приказал: — Нашего шалолая с собой возьми. Нечего ему двухсотрублевые штаны протирать.

— Не поедет он.

— Не поедет? Почему?

— Не поедет. Не слушается меня сын, — пожаловалась опечаленно жена.

— Тебя не слушается, меня послушается! Я сам скажу! — Утакай махнул рукой и вышел во двор.

— Арслан! — окликнул он сына, который беззаботно сидел на камне в тени забора, и лениво подбрасывал на ладони монету.

— Чего? — отозвался тот, не отрывая взгляда, от монеты.

— Поедешь в город с матерью. Привезете цыплят.

— Не поеду, — буркнул Арслан.

— Это еще почему?

— Не поеду. Некогда мне.

— Ты мой сын или нет?!

— Не поеду, — заупрямился Арслан и встал.

— Как ты со мной разговариваешь?

— Никак.

Утакай подошел к нему вплотную, спросил, грозно сдвинув брови:

— Что же ты собираешься делать?

— Сегодня или вообще? — Арслан усмехнулся. — Если вообще, то, наверно, в Тюмень подамся, к нефтяникам...
Надоел мне аул.

Утакай пораженно отпрянул, заморгал.

— Зачем тебе нефтяники?! — Он натянуто улыбнулся. — Дурачок, послушай, что я придумал. Вот купим цыплят, вырастим их, продадим каждую курочку за десятку. На эти деньги купим телят. Вырастим и продадим их, купим машину... Будешь на «Жигулях» ездить, разве плохо?! — Подергал сына за рукав, заглядывая ему в глаза. — Несет тебя куда-то... деды говорили, что где-то золото есть, а поедешь, и меди не окажется. — Чтобы убедить, Утакай даже пословицу вспомнил. — У себя дома надо дела делать! — закончил уверенно и горделиво посмотрел на сына, убежденный, что тот сражен его красноречием.

Но Арслан засмеялся.

— Ты чего? — оторопел Утакай.

— Курочки, телята... А получится, как с ослами. Мало тебе той истории с ишаками? Мало! А мне хватает и ее. До сих пор прохода не дают, в глаза тычут: «Посмотрите, бизнесмена Утакая сын», «Сын кавалериста»...

— Что?! — взъярился Утакай. — Покажу «кавалериста», щенок! — и замахнулся на сына.

Арслан, посмеиваясь, вскинул руку, чтобы перехватить кулак отца, буркнул добродушно:

— Ладно, ладно! Успокойся. А то ведь я могу и сдачи дать...

В Тюмень сын уехал. Обидно было отцу: ведь Арслан мог стать помощником в новом деле. Вдвоем они бы развернулись! «Для тебя же, глупого, стараюсь, — мысленно ворчал Утакай на сына. — Не век мне жить, все тебе достанется, тебе — наследнику! — И успокаивал себя: — Ничего, одумается, вернется. Увидит тогда, какой у него отец, увидит, что я живу не хуже всяких завскладом, заготовителей, управляющих. Что тогда скажешь, Арслан?»

Он огородил двор мелкой стальной сеткой, сделал деревянные поилки, купил три мешка комбикорма, четыре мешка очищенной кукурузы, а когда все было готово, отправил жену в город.

И начала сбываться мечта: во дворе весело, многоголосо пищали цыплята, земля была устлана темно-зеленым птичьим пометом, поилки наполнились размешанным в

воде комбикормом, жена каждый вечер молола ручной мельницей кукурузу — все это радовало хозяина, поднимало настроение, делало жизнь приятной. Утакай даже помолодел за эти дни, бодро, с радостным видом каждое утро выметал ивовым веником помет со двора. Он подобрел, не ругался с женой, разговаривал ласково и больше всего любил брать цыплят на руки, поглаживать с нежностью их пушистые спинки, счастливый от мысли, что вот-вот исполнится его заветное желание — станет богатым. С улыбкой на лице засыпал он на своем любимом диване, который вынес на веранду, чтобы быть поближе к цыплятам.

Все шло хорошо, и было бы все хорошо, но... Однажды проснулся он на рассвете от тихой возни в углу. Поднял голову и не поверил своим глазам. Там, где стояли мешки с кукурузой, сновала большая бурая крыса. Ошеломленный Утакай крепко зажмурился. «Может, во сне», — с надеждой подумал он и открыл глаза. Увы, крыса, волоча длинный хвост, шныряла между мешками, подбирая высыпавшиеся из дырок зерна. Утакай, схватив с пола ботинок, в бешенстве запустил им в мерзкую тварь.

Так началась война с крысами. Сперва Утакай легкомысленно решил, что увиденная утром — единственная, которая случайно забрела в дом. Он заделал дыру в стене веранды и успокоился было, но при тщательном осмотре своего хозяйства заметил еще дыры: в фундаменте сарая, в большом деревянном ящике с комбикормом. Утакай залепил лазы в фундаменте цементным раствором, забил доской дыру в ящике и несколько дней ходил уверенный, что принял надежные меры. Но, придя как-то домой на перерыв, он, потрясенный, увидел — две крысы, одна за другой, бежали через двор вдоль железной сетки. Холодок скользнул по спине Утакая. Посмотрев на скучившихся и обуянных страхом цыплят, понял их хозяин, что предстоит долгая, изнурительная борьба...

О поведении крыс Утакай слышал немало: знал, что те чаще и больше всего собираются там, где есть зерно; знал, что они, голодая, пожирают себе подобных. Предчувствие того, что не дадут эти твари осуществиться его заветной мечте, пугало Утакая. Смертельная угроза на-

висла над цыплятами. Мало того, крысы — эта длиннохвостая погань — могли растащить и кукурузу, и комбикорм. А ведь только за один мешок комбикорма Утакай платил, покупая с рук, десятку. Да и само ощущение, что в твоём доме живут такие твари, лишало покоя. Даже во сне начали они Утакаю видеться. Да такая гадость стала сниться — плевать хочется: некто чёрный предлагал ему съесть крысиное сало! Потный, с испариной на лбу, задыхаясь от отвращения, просыпался среди ночи Утакай и уже до утра не мог сомкнуть глаз.

Вскоре крысы опять прогрызли ящик с комбикормом, появились дыры и в сарае и в фундаменте дома. Надо было срочно придумать что-то. Утакай достал отраву, смешал её с зерном, с комбикормом и подложил смесь к норам. Каждый день находил он теперь по одной, по две мертвые крысы. Брезгуя брать их руками, выносил дохлятину со двора на лопате и швырял в мусорную кучу. Каждый день думал, что вот-вот настанет конец войне, и он, как прежде, сможет снова напевать со сладкой улыбкой: «Продам бычков, куплю машину!»

Но случилось самое ужасное. Однажды Утакай проснулся на рассвете и, выйдя во двор, не нашёл возле отравленных приманок ни одного крысиного трупа. Мелькнула радостная мысль, что с врагом покончено. Открыв калитку в сеточной ограде, он прошёл в птичник и отворил дверь. Волосы Утакая поднялись дыбом, сердце зашлось, будто коснулось льда. Он увидел — с полсотни начинающих оперяться цыплят валялись на земле окровавленные, с перегрызенными горлышками. Оставшиеся в живых с жалобным писком кинулись через раскрытые двери к свету. Жена, вышедшая доить корову, заглянула в птичник, схватилась за голову и, как на похоронах, истерично запричитала:

— Мои бедненькие! Да за что же обрушилось на вас такое?! Беззащитные вы мои! Чтобы тем, кто сотворил это, на головы столько же крови пролилось! — Она плакала, зажмурив глаза и кусая пальцы.

Ее рыдания услышали соседи. Подумав, что в доме Утакая кто-то умер, они сбежались во двор.

Женщины цокали языками, пораженные случившимся размахивали руками, мужчины сочувственно посмат-

ривали на Утакая, похлопывали по плечу, утешая. Одни советовали поставить капканы, другие — добыть голодную кошку или ежа, а совхозный сторож Алимтай принес ружье с патронами и поклялся, что перестреляет всех кровожадных тварей.

Теперь цыплят сажали в ящики и на ночь затаскивали в дом. Под утро во дворе Утакая грохотали выстрелы. Переполненный злобой Утакай и Алимтай поочередно выслеживали крыс и лупили по ним крупной дробью из обоих стволов. Понятно, что пальба во дворе Утакая превратилась в главную тему аульских разговоров, а самому Утакаю все тот же Матай дал новое прозвище: «Снайпер», Теперь Утакая за глаза только так и называли. Он и сам понимал, что нелепая охота на крыс может вызвать у аульчан насмешливые пересуды, но остановиться не мог...

Как-то Утакай шел по улице мимо играющих детей. Один мальчишка вдруг выскочил перед ним на дорогу, приложил к плечу палку и прицелился, сощутив глаза.

— Вот так снайпер Утакай по ночам с длиннохвостыми бандитами расправляется. Бах! Бах! — завопил он и, засмеявшись, отбежал в сторону.

— Ох, я тебя! — закричал, сильно задетый дерзостью ребенка Утакай...

Только после этого случая прекратил стрельбу. Поехал в город, купил десяток железных капканов, расставил их возле крысиных нор.

Жена по-прежнему кормила и поила цыплят, а на ночь заносила их в дом. Между тем цыплята подрастали и превращались в долгожданных белых, рябых курочек и петушков. Но Утакай, казалось, не замечал этих изменений, бродил по двору безрадостный — борьба с крысами сидела у него в печенках. Почти каждый день приходилось ему добивать лопатой попавшихся в капкан крыс.

В воскресенье Утакай снова проснулся с позывами к тошноте: опять приснилось, что кто-то предлагал ему съесть крысиное сало. Он рассказал про сон жене. Спозаранку мывшая посуду жена с видом большого знатока растолковала сон:

— Если во сне привидится вызывающая отвращение пища, то это к богатству!

Самоуверенность жены разозлила Утакая.

— К богатству!.. — передразнил он ее.

Хмурый, с разболевшейся от недосыпа головой вышел он во двор. Сразу бросилась в глаза крыса возле сарая. Прихваченная скобами капкана за ногу, она при виде человека задергалась, пытаясь освободиться. Утакай, презрительно и брезгливо сощурился и без того узкие глаза, с издевкой наблюдал за плененным врагом.

— Слышишь, иди сюда! Послушай, что сын пишет. Только что пришло. — Жена в окне помахала конвертом и с плохо скрываемой материнской радостью добавила: — Неплохо устроился наш Арслан. Я уже прочитала.

Утакай нехотя повернул голову и приготовился слушать с таким видом, словно хотел сказать: чего, мол, толкового может сообщить этот бездельник?

Сын писал, что работает в Новом Уренгое на ударной комсомольской стройке, что живет с аульчанами в одной комнате в общежитии, что заработки в Тюменской области высокие и что если все у него будет благополучно, то приедет на машине. В конце письма он расспрашивал родителей о здоровье и поинтересовался: «Как отец, вырастил своих курей, продал их?.. Пусть скорее выращивает бычков и продает. Когда купит «Жигули», сообщите. Желаю ему удачи. Пусть на меня не обижается. Я поступил так, как совесть подсказала. Арслан».

Такая концовка показалась Утакаю издевательской.

— Смотри ты, как пишет?! «Пусть отец не обижается». Где это видано, чтобы отец на сына обижался?! — недовольно пробурчал он.

— Пойду прочитаю письмо Асилхан. Очень просила сообщить, если какая весточка будет от Арслана. Ее-то мальчик ведь вместе с нашим живет... — сказала жена, любовно всовывая письмо в конверт.

— Ты только где он обо мне... ни слова! Поняла?!

— Хорошо, хорошо. — Жена отошла от окна, скрылась в комнате.

И тут же появилась на крыльце. Глянула на мужа, который, опустив голову, уставился на крысу.

— Да не стой ты возле нее! Убей да выкинь — потребовала жена. — Смотреть противно! — И ушла.

— Убью, убью, еще как убью! — пообещал угрожающе

Утакай крысе и вдруг, расвирепев, выкрикнул: — Я тебе сейчас такое устрою, что ваш поганый род и дорогу ко мне забудет!

Он вспомнил, что в городе слышал, будто если опалить крысу и отпустить ее, то напуганные запахом горелой шерсти другие грызуны навсегда покинут страшное для них место.

На веранде стояла большая железная бочка, полная бензина. Год назад на полевом стане Утакай обнаружил не отвечающую противопожарным требованиям электропроводку, да и счетчик был неисправен. Надо было отключать свет, а бригадира штрафовать. Бригадир поставил литр водки, а потом, чтобы задобрить контролера, сам привез на тракторе бочку с бензином и пристроил на веранде. Утакай принял — в хозяйстве все сгодится.

Он быстро вбежал на веранду, схватил железную кружку и, проливая ог спешки бензин, торопливо наполнил кружку из бочки. Так же бегом, расплескивая бензин на пол, на крыльцо, на землю, вернулся к капкану. Сел на табуретку и, злорадствуя, стал медленно обливать крысу. Та задергалась, но вскоре затихла, сжалась и... повалилась на бок. Утакай с удивлением смотрел, как она бездыханно, неподвижно лежала в черной лужице, потом, осторожно раскрыв капкан, освободил защемленную ногу крысы и откинул капкан в сторону.

— Эх, раньше времени подохла! — вздохнул он. Но крыса зашевелилась.

Утакай скорее вытащил из кармана спички, зажег одну и бросил ее на мокрого зверька. И еле успел отскочить от полыхнувшего с легким хлопком пламени. Из огня выскочила, дымясь, стреляя искрами, крыса и заметалась по двору. Она бросалась то к каменному фундаменту дома, то к железной сетке, за которой жались друг к дружке перепуганные цыплята, то юлой крутилась на месте. Солнце щедро заливало двор светом, небо было чистое, ясное — ничто не предвещало беду. Утакай, посмеиваясь, отошел к забору.

— Так тебе, гадина! — приговаривал удовлетворенно. И вдруг застыл в ужасе: крыса, прыгая со ступеньки на

ступеньку, влетела клубком огня на веранду. Синими флажками пламени схватился пролитый на пол бензин; огонь переметнулся на бочку... Утакай заткнул уши и закрыл глаза. Раздался оглушительный взрыв. Деревянная веранда, разбрасывая обломки стекла, шифера, разлетелась в щепки и занялась огнем. Полыхающий бензин выплеснулся даже на улицу, где продолжал гореть частыми островками. Утакай выкатил глаза с расширившимися зрачками, оцепенел и как безумец глядел на пожар. Пришел он в себя только тогда, когда клубы огня и дыма вырвались из окон дома. Сбежались соседи, заметались, вместе с хозяином спасая имущество...

Через год Утакай с помощью аульчан восстановил дом. Сын написал, что приедет скоро в отпуск. Узнав о несчастье, постигшем родителей, и чтобы угодить отцу, пообещал, что через год купит ему машину, а себе — потом, так как планировал еще пяток лет поработать вместе с друзьями в Новом Уренгое. Утакай стал общительнее, на удивление соседей сам заходил к ним, приглашал и к себе, даже угощал кое-кого. Вроде изменился человек. Может, постиг наконец истину, что суть жизни не в богатстве, а в чем-то другом...

В один из теплых летних вечеров Утакай подсел к старикам на скамейке — послушать их беседу. Был тут и старый Матай, заводила всех аульских хабаров и шуток. Когда старики затихли и призадумались — перебирали, видно, в памяти, о чем бы еще поговорить, Утакай повернулся к старейшему:

— Матай, ты как-то рассказывал про Ходжу, который, лежа на кровати, мечтал о том, что купит курицу, курица снесет яйца, из яиц он выведет цыплят, после продаст выращенных кур и купит жеребенка... Чем у него это дело кончилось?

— А-а! Помню, сынок, — шамкая беззубым ртом, улыбаясь, отозвался Матай. — Лежит, значит, Ходжа на кровати и мечтает, что у него собственная лошадь будет. А в это время его за ногу блоха укусила, он как дернется и ногой-то об стенку стукнул. Стена проломилась, ветхий дом обвалился. Чуть не погиб Ходжа.

Старики, закашлявшись, дружно засмеялись.

«Точно как со мной», — чуть не вырвалось у Утакая. Он подавил горький вздох и деланно-весело засмеялся вместе со всеми.

Когда затих смех, старый Матай незаметно для Утакая подмигнул друзьям и, глядя в сторону, глубокомысленно протянул:

— Да-а, никогда не поймешь, где найдешь, где потеряешь... Меня вот всегда интересовало: почему не используют шкурки крыс? — Он сокрушенно хлопнул ладонью по колену. — Ведь ценят же мех ондатры. Сами знаете, как дорого стоит ондатровая шапка. А ондатра — та же крыса! Только водяная. За что же немилость ее сухопутной сестре, мех такой же теплый, такой же прочный. А. Очень меня это удивляло. А вчера гляжу телевизор и вижу... — Матай оживился. — Ты смотрел вчера телевизор? Передачу «В мире животных»? — Он уставился на Утакая. Тот отрицательно покачал головой, развел, словно извиняясь, руками. — Жалко... — старик поджал губы и опять незаметно подмигнул приятелям. — Там показывали какую-то красавицу в шубе и сказали, что шубу ту сшили из шкурок обыкновенной домашней крысы. В Америке начали производство таких шуб. Прав я оказался, прав! — Матай крепко зажмурился, покачал возмущенно головой, — В Америке шьют, а мы?! — и глубоко вздохнул. — Тот, в телевизоре-то, сказал, что не то тыщу, не то две такая шуба ихними, американскими, деньгами стоит. Крыс, мол, у них мало, редкость, да и выделявать мех трудно. У нас, конечно, подешевле такая шуба стоять будет, но все равно в тысячу-то обойдется.

Утакай заерзал. Лицо его вытянулось, глаза округлились. Он беззвучно зашевелил губами, поджимая один за другим пальцы на левой руке, словно подсчитывал что-то.

Старики опустили головы, еле сдерживая смех

Погруженный в глубокое раздумье, Утакай медленно встал и, даже не попрощавшись, пошел с озабоченным лицом в сторону своего дома, все убыстряя шаг.

Матай и его приятели весело, от души рассмеялись, но Утакай уже не слышал этого смеха.

Окно в будущее

Рассказ

Передо мной чистые листы бумаги и необходимость их заполнить: я должен написать рассказ. Считается, что в рассказе обязательно должен быть острый сюжет и драматичный конфликт, но всего этого нет сейчас в моей душе. Такие рассказы мне вообще редко удавались, обычно приходилось заставляя себя искать острые ситуации и исключительные состояния для своих героев, и рассказы эти, может, и нравились кому-то, но я никогда не был ими доволен.

Я часто задумываюсь: нельзя ли просто рассказать о том, чем живешь и что чувствуешь?

Последнее время я веду борьбу со своим внутренним редактором. Купил для этого фотоаппарат и магнитофон. Фотографировать я стараюсь внезапно и то, что еще не успел оценить, осознать полностью. И записываю без подготовки, случайно — опять-таки для того, чтобы сохранилась искренность, непосредственность, безыскусственность.

Много раз я оставлял магнитофон включенным, думая, что собеседники его не заметят, но толку мало: сплошь паузы и обрывки ничего не значащих фраз, иногда даже невозможно представить себе интонацию говорящего... Но одна запись все же кажется мне интересной — это запись моей беседы с односельчанином Асаном.

Мы сидели с Асаном в его маленькой летней кухне:

он пил вино. Не только со мной, но и со всеми, кто помоложе. Асан пил на дармовщину. Одни, как я, не могли отказать ему, другие магарычом выказывали свое почтение к его годам. Асану за шестьдесят, а жена у него моложе лет на пятнадцать. Она слыла сварливой бабой, и соседки сторонились ее. Работала она на стройке в городе, дорабатывала до пенсии. Пьяницу Асана не бросала только потому — так считали люди, — что ему принадлежали дом и огород. Асан получал немаленькую пенсию, и хотя часть денег пропивал, большая их половина уходила в карман жены, она бережливо откладывала; а жили они за счет своего хозяйства. Так считали люди. И это была правда. Бага была еще молодой женщиной, ребенка у нее от Асана не было, любви к нему тоже. Уйдя на пенсию, Асан совсем одряхлел и с трудом справлялся с хозяйством. Деваться ему было некуда, а жена имела над ним власть, и если он вдруг отказывался что-то делать, со двора слышалась осатанелая брань, украшенная нецензурными словами.

В тот день мы забрались в их маленькую кухню. А надо заметить, что супруги постоянно здесь жили, потому что — у аульчан и на этот счет свое мнение! — Бага берегла дом от «вонючего старика» (так она называла старика Асана). Мы сели за низкий столик-сыпру. Асан выложил из ветхого комода твердый домашний сыр, луковицу и домашний хлеб с обгорелой коркой. Я разлил по стаканам. Асан тяжело дышал, но когда пил, охал, выражая этим свою радость. Он не закусывал и ничего не говорил. Видя, что я скучаю, он несколько раз заросшим седой щетиной подбородком кивал в сторону телевизора — предлагал мне что-нибудь посмотреть. Я отказывался, потому что телевизор мне и дома осточертел. Сам Асан не смотрел телевизор и только оглаживал ладонью свою щетину. Обычно я не переносу пауз и всегда стараюсь чем-нибудь их заполнить: или спрашиваю о чем-нибудь, или рассказываю какие-нибудь истории. В этот же раз я был сердит на Асана и никак не мог успокоиться. Своего недовольства я ему, как старшему, конечно, не высказал и поэтому ждал, пока оно пройдет. Когда Асан хотел выпить, он подходил без всякого стеснения. Но на этот раз я был занят работой во дворе. Асан же, видя мою занятость и

мое нежелание связываться с ним, пристал ко мне как банный лист:

— Сынок, голова разламывается, — капючил он и ходил следом по всему двору, испытующе глядя на меня воспаленными от вина глазами.

В конце концов я не выдержал, достал деньги и протянул ему, сказав, чтоб он послал кого-нибудь в магазин. Но тут он вместо того, чтобы поблагодарить, буркнул:

— Ноги еле носят меня, сам знаешь, так что кого-нибудь пошли или сам сходи!

Я не удивился его поведению, ведь он и раньше так делал, но наглость его была возмутительна: мало того, что оторвал от работы, еще и посылает черт знает куда. Не знаю, почему он так вел себя: то ли помнил, что я городской и вежливый, то ли думал, что такая наглость — лучшее средство... Я сходил в магазин, по негодование мое усилилось, потому что я без надобности и без настроения сел за выпивку. Чего это ради я должен испытывать себя и свои нервы и чего ради пить, когда не хочется, да пусть катится он на все четыре стороны. Захотелось убраться восвояси. В этот момент Асан и негромко кашлянул и, посмотрев мне в глаза, доверительно произнес мое имя, после чего сделал вид, что задумался. Я, ожидая от него чего-то важного, на всякий случай нагнулся и включил свой магнитофон. Но надежды на содержательный разговор у меня не было, потому что Асана я знаю давно и ничего путного никогда от него не слышал.

— Иса, — повторил он опять мое имя, — разве думал я когда, что буду таким... Мать твою... — выругался он безадресно. — Ноги не держат... — Легким движением руки он хлопнул себя по колену.

Потом он сделал паузу и на некоторое время остановил взгляд на мне:

— Умру я скоро, — тихо сказал он и сжал губы. Опять помолчал некоторое время.

— А ведь я в ансамбле танцевал, — как-то пронзительно-тоскливо добавил он,

— Ты танцевал?! В ансамбле?! Каком?! — Я был страшно удивлен.

Я знал, что личность Асана примечательна только одним — тем, что до войны он был вором. В воровском

мире у него была кличка «дырявый», данная ему за то, что он мог пролезать в любую щель. Кличку эту знали в ауле, а даже несмышленные мальчишки, озорничая, называли его так. Правда, и я, и подобные мне, не склонные к унижающим шуткам, люди стеснялись называть его так. В молодости он был вор знаменитый и любил порассказать о своих приключениях, но за последние десять лет поостыл к своим «подвигам». Понял, видно, что ничего героического тогда не совершил. В войну Асан смывал свой позор в штрафных батальонах и даже заслужил боевые награды, но стать другим человеком так и не смог; во-первых, по-прежнему дебоширил, дрался, не раз сидел за свои выходки. А вот о том, что Асан был танцором, я не слышал, и это никак не укладывалось в голове.

— Да, танцевал в «Эльбрусе», — ответил он.

— В «Эльбрусе»? — и вовсе удивился я, услышав название ансамбля, известного не только в области, но и по всей стране. — А в какие годы?

— Тридцать пятый, тридцать шестой. Совсем мальчишкой был. Сбежал из ансамбля в Киеве и к блатным пристал... — Он замолчал на полуслове, после добавил: — Танцевал я... И как танцевал! — Он еле слышно цокнул языком. — Умру я скоро. — Последние слова он произнес просто, будто констатировал факт.

Обычно, говоря такое, ищут сочувствия. Но я, — и это самое удивительное — выслушал его без всяких сантиментов. Я прямо посмотрел ему в глаза. Он же откровенно глядел на стол, и лицо его ничего особенного не выражало.

Мы посидели молча. Вспомнив о включенном магнитофоне, я выключил его.

Потом налил вина Асану

— Ты меня очень удивил, — рассмеялся я.

— Так-то, — заключил он, но как-то рассеянно.

Эта запись и по сей день представляет для меня немалый интерес. Я чувствую, что этот небольшой диалог содержал нечто большее, чем сам записанный разговор... О том, что он скоро умрет, Асан сказал так, будто сделал ничего не значащее сообщение, и я проявил к его словам полное равнодушие. Видимо, в этом разговоре я проникся его состоянием и отреагировал на его слова так,

как отреагировал бы он сам. А ведь я никогда не был черствым человеком, проявляю сочувствие даже из-за мелочей. Я много раз прокручивал эту ленту друзьям, и ни у кого слова Асана не вызывали сочувствия. А те, которые знали, говорили:

— Правильно, умрет, — и безразлично скидывали плечи.

Я задумывался: почему же мы все так безразличны к словам Асана? Наверное, оттого, что знаем, как много умирает молодых, красивых, добрых, благородных людей, смерть которых потрясает живых. А что такое Асан? Вор, дебошир, многоженец, пьяница, наконец, просто старик, которому давно пора умирать, так что пусть благодарит судьбу, что дала ему больше шести десятков лет...

Так, наверное, рассуждали все, слыша его старческий голос.

И все же я поражался, что отношусь к словам Асана столь рассудительно. Меня всегда возмущала мысль о том, что конечный пункт человеческого бытия — смерть, и считал это высшей несправедливостью нашего мира. Особенно жутко было, когда я видел мертвеца, меня поражало, что человек, который за день до этого дышал, ходил, разговаривал, смеялся, мыслил, исчез, будто вовсе не существовал. А теперь я не ужаснулся даже тогда, когда представил себе бедного Асана мертвым и в облике совсем не человеческого. И на ум мне пришла ногайская поговорка, в которой выражено спокойное отношение к смерти: «Душа человека, как душа мухи: есть — и нет ее!»

Вот сколько размышлений дала мне эта, мало о чем говорящая запись... Остальные записи у меня так себе. Фотографии, конечно, более привлекательны. Ну, раз речь зашла об Асане, можно посмотреть и фотографии, тем более что их не так много.

После того разговора я заинтересовался танцевальным прошлым Асана. В списках «Эльбруса» значилась его фамилия: «Асан Рашидович Мамбетов, родился в 1919 году в ауле Эркин-Юрт, по национальности ногаец». Просматривая довоенные документы, я обнаружил и его фотографию. Она ничем не отличается от фотографий тех времен, сверху даже надпись есть: «Привет с Кавка-

за». Низкорослый, худощавый Асан, одетый в национальный костюм, с кинжалом, стоит на носках, подняв левую руку над головой, а правую вытянув в сторону, так, будто готов взлететь. А самым примечательным на снимке были глаза Асана, устремленные — по правилам фотографии тех лет — прямо в объектив. Если хорошо приглядеться, в этих глазах можно было найти какое-то мальчишеское озорство. В целом же фотография не представляла никакой ценности. Мои были намного интереснее. В них Асан непозировал, и сам я фотографировал внезапно, не успев подумать о будущем снимке.

Вот, хотя бы эта фотография... На ней изображен сидящий за столиком-сыпра Асан, в его правой руке стаканчик с вином, а в левой он, приподняв, держит початую бутылку. Асан жадно смотрит на бутылку, и на его морщинистом лице необычное изумление. Я и думать не думал о будущем снимке, тогда я собирался сфотографировать своих друзей, помогавших мне в строительстве пристройки к дому, но, когда я, захватив фотоаппарат, шел к ним, то застал Асана и, не задумываясь, щелкнул затвором. До этого мы обедали все вместе. Асан знал, что никакая талака не обходится без выпивки, и с самого утра вертелся рядом. Для друзей я припас бутылку, но, видя, что Асан не отстает от нас, послал, как водится, мальчишку за его традиционным «черным вином» (так в ауле называют дешевое ягодное вино). Мои приятели, поев, снова взялись за работу, а Асан остался со своим вином и, пока никого не было, решил полюбоваться на свое богатство — в этот-то момент я и щелкнул затвором фотоаппарата.

Раньше, когда Асан работал, он имел при себе наличные деньги и каждый день выпивал по две бутылки: одну — утром, другую вечером. И раньше, и сейчас он почти ничего не ел, только пару сырых яиц выпивал да маленькую чашечку сметаны. После ухода с работы с наличными стало туго, жена получала его пенсию, и на выпивку ему почти не перепало. Теперь он мог рассчитывать только на случайные угощения. С утра Асан выходил и узнавал, где какое торжество, без особой назойливости вертелся там, и его не оставляли без внимания.

Я смотрю на фотографию и ощущаю радость Асана.

По глазам видно, что у него осталась только одна радость в жизни и одна-единственная мечта — иметь каждый день драгоценную бутылку «черного вина». Я смотрю на фотографию и не понимаю: куда же подевалась остальная жизнь Асана? А ведь на фотографии вроде бы отпечаталась что ни на есть истина!

Через руки Асана денег прошло видимо-невидимо, и аульчане еще помнят времена, когда он разбрасывал их направо и налево. Помнят и о том, что у Асана был когда-то целый миллион. Еще до войны встретился с ним в Донецке аульчанин, после небольшого разговора Асан раскрыл чемодан, который до отказа был набит деньгами, и предложил земляку взять, сколько он хочет... Только земляк понял, что дело тут нечисто, и постарался избавиться от него поскорее. В ауле лет двадцать рассказывали хабар о том, как Асан с миллионом разъезжает по стране.

— Скажи, был у тебя миллион, правду люди говорят? — спросил я как-то.

— Мать их так, эти деньги! Из-за них меня тогда посадили! Толку-то от того, что был?.. — пробормотал Асан, но всей истории с миллионом так и не рассказал.

А фотография получилась неплохая. Можно было бы и на фотоконкурс послать, но воспротивятся члены жюри — кто такой Асан, — скажут, для нашего здорового общества? У нас много красивых и замечательных людей, а если уж вскрывать недостатки, так делайте это на других, более ярких примерах! Да, члены жюри всегда бывают беспощадны к таким маленьким людям, как Асан. Поэтому я храню это фото для себя, хотя где-то в душе надеюсь, что когда-нибудь оно может заинтересовать многих. Все может быть...

А вот другая фотография... Она менее удачна в художественном отношении, но в ней больше информации. На фото изображены Асан и его жена Бага, они снимают с веток какого-то дерева крупные плоды. Что это за плоды, невозможно разобрать. Все, кто видел фото, с трудом угадывали в этом дереве вишню, и многие даже решили, что у нас в ауле есть другие, похожие на вишню деревья, дающие такие большие плоды. На самом же деле это были красные и белые тыквы, повисшие на вишне.

Весной или ранним летом, во время прополки Асан закинул длинные стебли на дерево, без всякого умысла, чтобы не мешали полоть сорняки, стебли отросли, дали плоды, а осенью урожай пришлось снимать с дерева. Как сейчас помню, чтобы сфотографировать, я окликнул Багу, и она так и вышла на фото, обернувшись к обществу. Правда, она мало на себя похожа, узнаваем, пожалуй, только хитрющий оскал ее, а цвет лица получился темноватым, хотя на самом деле она белокожая, зеленые глаза, конечно, тоже не удались; еще на снимке у нее сомкнут рот, будто от нее слова не добьешься, а ведь в жизни Бага, как я уже говорил, очень крикливая и неуравновешенная женщина.

После того как Асан ушел на пенсию, она сильно его подмяла. А Асан и старый был не из тихих мужей, в ауле он имел шесть жен, но ни с одной не поладил. Может быть, оттого, что мужчин было мало в послевоенную пору, а может, находили какие-то достоинства в его внешности, женщины шли за него, не пугаясь горькой участи своих предшественниц. Асан пил, дебоширил, жены вечно ходили в синяках и уходили, когда жить с ним становилось уже вовсе невмоготу. В первые годы Бага тоже получала от него немало тумачков, но свое выждала. Она и сама не раз бывала замужем, а основной причиной разрывов был всегда ее заносчивый характер. Когда они только сошлись с Асаном, аульчане говорили, что это достойная пара, потому что их ссоры и крики ставили на ноги всю округу. В соседнем ауле, откуда она родом, у Баги жила дочь с зятем, да и отец был жив, аульчане поговаривали, что ради них Бага и доживала свой век. У Асана тоже были дети от разных жен, но никто из них не навещал старика. И сам он не питал никаких родительских чувств, по крайней мере, о детях своих никогда не заводил речи, а если кто упоминал о них, говорил, что ему до детей дела нет, матери сами рожали, пусть и расхлебывают свое горе. Бага всеми силами старалась взять верх над Асаном, а он долгое время продолжал упорствовать и при случае показывал свой нор, хотя с каждым годом становился все податливее и в конце концов подчинился. Уход за огородом и скотиной полностью лег на плечи старого Асана. Со скотиной он справлялся, а вот

на огород силенок не хватало, старость сказывалась. Бага прибегала к разным уловкам, а самым верным средством было обещание поставить ему бутылку. Асан очень одряхлел, Бага по-всякому обзывала его, и как уже было сказано, прозвище «вонючий старик» просто прилипло к нему. О какой-то любви или человеческой привязанности супругов трудно было говорить. Бага работала на стройке наравне с мужчинами, и по всему было видно, что ее энергии хватит на двух Асанов. Всем было ясно, что она ждет смерти мужа, чтобы забрать себе дом, продать его, а потом уехать к себе, туда, где жил ее отец. Этим соседи и объясняли наглое поведение Баги. Асан хотя и слыл воров, но сколько помнила округа, до Баги в ауле ничего не пропадало. Сам Асан не раз хвалился:

— Я курятником никогда не был!

И вдруг у соседей Асана начали пропадать домашняя птица, утварь и вещи со двора. У одних — ведро и сковорода, у других — топор и кастрюля, а у молодых новоселов стали пропадать индюки. На Асана никто не хотел думать, и соседи только говорили о пропажах, не зная, кого подозревать. Как-то у тех же молодоженов, Ильяса и Алии, сняли с бельевой веревки новый, один раз надеванный детский костюмчик. Кто-то из соседнего аула сообщил, что точно такой же видели на внуке Баги. Разговор этот дошел и до Баги, и та сразу же побежала во двор к молодоженам объясняться:

— Ротозеи! — кричала она. — Кого только не носит по улицам, а вы поразвесили свои вещи — взял кто-то, вот и все!.. А моя дочь месяц назад тот зеленый костюм на базаре купила!

— Бага, мы же ничего не говорим про тебя. У нас со двора стали пропадать вещи — разве это хорошо! Если говорим — только об этом, — Алиа не рада была, что связалась с Багой.

А та, чувствуя это, не унималась:

— Фабрика тысячи таких костюмов выпускает! И у нас с тобой платки одинаковые! — кричала она, показывая на свою головную косынку.

Следующий раз у соседа, с которым у них не были разгорожены участки, пропал мешок картошки прямо с порога дома. Пропал среди бела дня, за тот час, когда

соседи отлучились по делам в сельсовет. Разъяренный сосед — звали его Мурадасил — не стал стесняться ни старого Асана, ни дерзкой Баги. Он обшарил весь их двор, ворвался в дом и из-под кровати вытащил свой мешок.

— Это что?! Бесстыжие! — орал Мурадасил, показывая на свой мешок.

Асан, ничего не сказав, потихоньку улизнул из дома зато Бага, даже уличенная в воровстве, не сдавалась.

— Откуда известно, что это твоя картошка?! Ты что, на каждой картофелине свое родовое клеймо ставишь?! У нас тоже вон какой огород! Что мы, с голоду помираем?!

— Нахалка! Мешок-то мой, вот, красная полоска у горла!

— У нашего мешка тоже полоска есть! — не сдавалась Бага.

Мурадасил унес домой свою картошку, а Бага оправдывалась потом перед округой: не знаю, мол, как появился в доме этот мешок с картошкой, может, «вонючий старик» приволок, чтобы на бутылку заработать.

Только люди не верили все же, что дряхлый Асан мог утащить мешок с картошкой, просто не в силах был.

Было ясно как день, что Бага ждет смерти старика, чтобы продать дом, а после — с глаз долой, а до тех пор вытворяла, что хотела.

Одного вида Баги пугались люди. Сухопарая, светло-волосая, красное лицо, будто побуревшее от накипевшей злости, похожа на бегущего, в любую минуту готового ринуться в ссору человека, вдобавок ко всему эти хитрющие и злые глаза. Вот они, четко видны на фотографии.

Асан на снимке вышел жалким замухрышкой. Приплюснутая кепочка едва держится на голове, из-под тенниски видно худое и костлявое тело, и очень уж карикатурно выглядят его грязные, в пятнах, брюки, с широкими, как у запорожского казака, штанинами. При всем том Асан силится улыбнуться — это самое примечательное на фотографии.

О тенниске-безрукавке в лазурно-оранжевую полоску я еще расскажу, но прежде хочу вспомнить о другой фотографии. Снимок с изображением заката на Рижском взморье, наверное, один из самых худших. Это и понятно, ведь в черно-белом изображении закат не мог полу-

читься во всем великолепии красок. На самом же деле меня, жителя юга, эта божественная картина не только изумила — она показалась мне просто фантастической, я ни когда не видел в природе ничего подобного. На фоне бледно-синего неба сгущивались и громоздились тучи, в их расщелинах прорезались лазурные, оранжевые, сиреневые отблески солнца, небо казалось естественным продолжением моря, и закат представлял каким-то неведомым, сказочным царством. Он напоминал мне картины Чюрлениса, а точнее, наоборот, картины Чюрлениса напоминали этот чудный пейзаж. Я щелкнул закат со своего балкона в доме отдыха.

В тот самый момент, когда я это сделал, мне привиделся далекий мой аул на Кавказе и Асан, сидящий па табуретке в своем дворе. На нем была та самая тенниска в лазурно-оранжевую полоску. И я вспомнил наш давнишний разговор:

— Из Риги прислали, — сказал Асан, указывая пальцем на тенниску.

— Кто? — удивился я.

— Дочка, — виновато улыбнулся Асан.

— У тебя в Риге дочь? Что же ты раньше про нее не рассказывал?

— А что рассказывать? — махнул рукой Асан.

— Ты в Риге жил? — не отставал я.

— Было дело... Еще она теплое белье прислала. Бага продала. Зачем оно мне? — Асан отошел, явно не желая продолжать разговор.

Он направился к центральной улице, где хотел дожидаться какого-нибудь мальчишку на велосипеде, чтобы послать за вином в магазин; видимо, Бага раздобрилась и дала на бутылку из вырученных денег. Я, немало удивленный сообщением о дочери в Риге, стоял и смотрел вслед еле передвигающему ноги соседу. Во время войны у него были изранены подошвы, и раны на старости лет сказались, из-за ног он и ушел с работы. Пройти он мог не более ста метров, а после нужно было отдыхать, поэтому он дальше угла своей и центральной улицы никуда не ходил.

Продолжая начатую работу на огороде, я заметил возвращавшегося Асана и, бросив работу, направился к

нему в летнюю кухню.

Асан, увидев меня, не остановился. Не обращая на меня никакого внимания, он торопливо откупорил свою бутылку и, как человек, измученный жаждой, едва переводя дыхание, отпил несколько глотков прямо из горлышка.

— Асан, посижу с тобой,

— Сиди, — великодушно разрешил он и снова прильнул к бутылке. — Хорошо! — вздохнул, ставя бутылку на стол.

— Асан, так Расскажи о своей рижской дочери, — как будто между прочим попросил я, хотя пришел, собственно говоря, именно за этим.

— А что рассказать-то? Это когда я еще блатной был... Перед самой войной. Судьба закинула меня в Ригу. Пристроился я у одинокой бабы. Кларой звали. Ничего не утаил от нее, только главное скрыл, что вор я. Утром уходил будто на работу, вечером возвращался, денег много только на такси ездил. Однажды в дом меха и всякие безделушки принес — она и смекнула, кто я. Я рассказал ей все и ушел... В конце войны я опять в Ригу попал, нашел Клару, пожил у нее несколько дней и снова — на фронт. После войны через Ригу возвращался, она мне уже дочку показывает, остаться просит, а я по аулу соскучился, новую жизнь захотел начать. Несколько лет назад дочка написала мне, а я уже писать разучился, и Бага не захотела писать, так я и не ответил. Да и что писать-то? Тут у меня от каждой по ребенку, никаких отношений с ними, какой я отец?.. Вот прислала, — и опять показал пальцем на тенниску...

Вспомнил я об Асане и его тенниске, и все остальное время, пока я жил в Прибалтике, меня назойливо преследовал его образ. Иду ли берегом моря, сижу ли в кафе, мне так и видится Асан, устроившийся у себя во дворе на низкой табуретке. Я ездил со взморья в Ригу, и каждый раз в душе рождалось предчувствие, что я должен встретить латышку, жену Асана, или же его дочь. Я взволнованно вглядывался в лица проходящих женщин, стараясь распознать жену своего аульчанина, даже надеялся, что какая-нибудь из них догадается, что я из далекого кавказского аула, где проживает ее Асан. А в электричке, возвращавшейся из Риги к месту, где находится дом от-

дыха, я чуть было не заговорил с одной пожилой веснушчатой блондинкой. Она с каким-то удивлением и в то же время как на давнего знакомого смотрела на меня.

— А вы Асана Мамбетова не знали? — хотел я спросить у нее. Но у меня хватило разума не делать этого.

Когда я вышел из вагона и зашагал по перрону, в окне опять увидел вопросительные глаза блондинки. Может, нужно было спросить? — засомневался я... Но это же глупо. Ведь правда, глупо?

У меня в руках еще одна, последняя фотография Асана... На ней он снят со спины и держится руками за бельевую проволоку, протянутую в его дворе. В тот момент он был очень пьяный; приходил какой-то родственник с водкой, родственник ушел, а Асан, вышедший его проводить, не мог добраться до летней кухни; сделав несколько шагов, он приостановился, чтобы не упасть. Как раз перед тем, как мне его снять, Асана так качнуло, что я подумал, он рухнет на землю и никогда уже не поднимется. Но Асан, как утопающий за соломинку, уцепился за висячую проволоку. Перед этим я хотел подбежать к нему и поддержать, видя же, что мое беспокойство напрасно, я щелкнул затвором фотоаппарата. Мне кажется, что этот снимок очень символичен. «У уходящего из жизни мы видим только спину» — так бы я объяснил эту фотографию.

Я часто просматриваю фотографии Асана и слушаю ту магнитофонную запись. И сейчас, когда передо мной чистые листы бумаги, которые надо заполнить, образ Асана не дает покоя моей душе. Но внутренний редактор пресекает меня и говорит, что образ Асана недостойн того, чтобы быть описанным. Редактор сильнее меня...

Вообще-то об Асане можно было бы написать... Он воевал, а за взятие вражеского «языка» в Сталинградской битве даже награжден орденом. По рассказам боевых друзей, отчаянный и мужественный он был вояка, больше десяти «языков» самолично перетащил из-за линии фронта. Эта часть его жизни заслуживает быть описанной, но как умолчишь обо всем остальном. Его неудавшаяся молодость и неблагополучная старость не годятся для рассказа, и руки мои опускаются.

Чистые листы бумаги неожиданно представляются

мне окном в будущее, и я отстраняю их от себя. Включаю магнитофон:

— ...Ноги не держат... Умру я скоро... А ведь я в ансамбле танцевал...— раздаются пронзительно-тоскливые слова Асана Мамбетова.

1983 г.



Золотая муха

Рассказ

Зима подходила к концу. Снег в окрестностях аула стал похож на рваное одеяло: кое-где обнажились бурые склоны холмов, рухнули дороги, по аулу не пройти, не проехать — грязь, лужи. За ночь прихватит морозцем, отвердеет проезжая дорога, но к полудню ее разворотят автомашины, сомнут обочины, перемесят стылую грязь, и без сапог из дому не выйдешь... Садился, темнел снег и на огородах, днем стоял над ними легкий туман. Стаивало с крыш, мокрые черепица и шифер на солнце тоже курились паром, по-весеннему звенела капель. А под вечер карнизы вновь обмерзали сосульками.

Весна, как ленивый работник, неспешно готовила к возрождению землю, до тепла было неблизко.

А Сокур¹ умирал в эти предвесенние дни.

Напрасно каждое утро ожидала его молоденькая продавщица: может, придет в магазин за своими двумя папиросками... Она специально для него держала на полке разорванную пачку «Беломорканала». А год назад, когда впервые встала к прилавку, из-за этих папирос повздорила с Сокуром: что за старик такой, приходит с двумя копейками, порти целую пачку! Потом ее кто возьмет? И прогнала бы старика, не окажись тут бывшая продавщица — она-то уж знала Сокура. Надорвала пачку и протяну-

¹Сокур — слепой.

ла две папироски, Старик согнулся благодарном поклоне.

— Что поделаешь, так и живет: буханка хлеба на две недели, да две папироски на день. Все равно пачку выкурит, а целую не берет! Скуп—не приведи бог! И обижаться на него нельзя, такой уж он есть. Живет один, а на книжке тысяч пятнадцать, не меньше. Для кого хранит, непонятно.

Так и стояла на полке возле окна раскрытая пачка. Девушка обеспокоилась: нет и нет старика, не случилось ли чего? Она спросила об этом соседку Сокура, покупавшую хлеб.

Та равнодушно пожала плечами:

— Душу его и сам Аллах не спасет, мне откуда знать! Он путнику воды пожалует, не вынесет и сам ни у кого не попросит. Что с ним — не знаю, я к нему не хожу.

2

Сокур уже не мог подняться с кровати, смотрел тусклыми глазами на остановившиеся ходики. Подыхала и его старая собака. Лежала, свернувшись, в своей конуре и щипала голодными зубами сырую доску. Держали бы хозяина ноги, он бы накормил — любил собаку, как самого себя. Поначалу за хорошую службу, а потом привязался точно к родному существу. Садился подле нее, поглаживал рыжую, облезшую от старости шерсть и подолгу медленно говорил с собакой, доверяя ей самые сокровенные думы. На чердаке хранилось вяленое мясо, заготовленное лет с десятков назад еще женой. Сокур отрезал, бывало, кусок па себя и на собаку, спускался во двор. Жевала собака, жевал и он голыми деснами, говорил:

— Ешь, ешь, это наше с тобой мясо. Там еще две бараньи туши. Да туша телка двухгодовалого, да четыре бочки сыра. И пшеничка есть, и просце — с центнер. Да еще мешок сушеных груш: жена в роще насобирала. Нам на всю жизнь хватит. А принесу из магазина мягкого хлебушка и тебе дам. Только в дом никого не пускай, люди злые, завистливые. Я богатый человек, богаче меня никого нет в ауле. Золото у меня! Золото, песик! Золотце...

Все припасы Сокур давно снес на чердак. Отвердел

к в бочках сыр, который готовила покойная жена, стал как известь. С крюков свисали мясные туши, дальний угол чердака весь засыпан пшеницей, другой — просом, заработанными на трудодни, когда Сокур был колхозным счетоводом. Чердак закрывался плотной дверкой, Сокур вешал замок. Лазил на чердак по приставной лестнице, а лестницу держал в доме. Чтоб не платить налог, огород сдавал соседу — парню, жившему с семьей у отца, так как собственного дома еще не имел. И парень каждую осень, платя за Сокура налог, относил ему мешок картошки. Сокур был очень доволен, радовался, как хорошо он распорядился землей. Ходил он в бессменных, выцветших от времени брезентовых штанах, на ногах — латаные — перелатаные парусиновые туфли. Зимой и летом Сокур не снимал с головы шапчонки, которая от ветхости всякий вид потеряла. Аульные женщины поговаривали: «Давайте ему в складчину купим шапку и штаны!» И, конечно же, не купили, не собрались... Сокур ни на что не обращал внимания. Уголь и дрова он не покупал — так перебивался. Зажигал примус и грел коченеющие ноги. И за свет не платил, потому что обходился без электричества. Ему хватало лампы-шахтерки, а керосин брал у соседа, которому сдавал огород. Все месячные его расходы составляли шестьдесят две копейки, и пенсию, сорок восемь рублей, аккуратно клал на сберкнижку.

И еще странность была у Сокура. Иногда он читал по ночам при тусклом огоньке керосиновой лампы одну и ту же книгу, такую же ветхую, как и все, что окружало его. Книга называлась «Овод». Что Сокур в ней находил? Это было известно только ему.

3

Лет двадцать назад с ним случилось удивительное происшествие. Тогда не был таким Сокур, он был обыкновенный человек, как все. Если и скуповат, то в меру, не больше других. Что про него можно было сказать? А вот получился из обыкновенного Сокура как бы единственный в своем роде не только в ауле, но, наверное, и во всем нашем крае.

А случилось так. Была пора сенокоса. У Сокура возьми да сломайся коса. Сокур косу на плечо и в аул, к местному кузнецу. Идти было далеко, да еще по жаре — Сокур из сил выбился, пока дошел. Кузница стояла тогда на месте теперешней ремонтной мастерской. Сейчас от нее и помину не осталось, таких нигде уж не встретишь, а в те времена они были чуть ли не в каждом ауле. И кузнецы были хорошие — мастера. Инал был известен во многих ногайских аулах, достойный уста¹. Кузница его помещалась в небольшом домике под железной крышей. Было одно окно, и то без стекол — пустой проем. И дверей никаких, входи свободно. Запах гари далеко разносился вокруг. В кузнице наковальня, рядом кадушка с водой, горн, в углу свален уголь, деревянный топчан у стены, застланный старыми промасленными телогрейками.

Сокур отдал кузнецу поломанную косу, а сам прилег на топчане и уснул под убаюкивающий перестук молотка. Инал отладил лопнувший ободок, которым полотно крепится к косовью, хотел сунуть в кадушку, чтоб охладить, и обернулся на храп Сокура. Вгляделся в сонное обвисшее лицо и дыхание затаил от испуга... Сокур пошвыстывал носом, а из ноздри у него выползала золотая муха. Шевеля мохнатыми ножками, спустилась на пол с топчана, добежала к кадушке и по стенке, прямо на глазах обомлевшего кузнеца, подобралась к воде. Напилась и назад тем же путем. Посидела, будто отдыхая, на подбородке Сокура, обогнула сжатые бледные губы, пролезла сквозь щетку усов и юркнула в левую ноздрю, откуда и выползла. Сокур сладко себе посапывал. Пораженный небывалым явлением природы, кузнец Инал так и стоял возле Сокура, Покамест тот не проснулся.

— Ну что, Инал? Как дела? — спросил Сокур, позевывая и протирая глаза.

Кузнец понемногу пришел в себя и, качая головой, рассказал о том, что увидел. Инал был человек простодушный.

— Хочешь верь, хочешь нет, а из твоего носа золотая муха выползала! И обратно ушла.

¹ Уста — мастер.

Лицо Сокура исказилось, словно собирался чихнуть.

— Шутишь?

— Клянусь хлебом и Аллахом! Своими глазами...

Сокур потрогал нос.

— То-то мне во сне показалось...

— А что во сне? — тихо спросил кузнец.

— Да так, ничего. Ты не болтай, а то над тобой и мной люди станут смеяться.

— Неужели почудилось? — засомневался кузнец.

— Чего не бывает!

Сокур забрал косу и пришел домой в большой задумчивости.

Кузнец ни словом не обмолвился о невероятном случае, потому что кто же поверит? Не поверил кузнецу и Сокур, но страх закрался в него. Рассказанное Иналом очень уж совпадало с тем, что увидел во сне. Странный был сон. Будто бы лежит Сокур на топчане, только в кузнице нет никого, и стоит адская жара, хочется пить, а воды — хоть бы где капля! Тогда он тихо подходит к кадучке, долго вглядывается в мутную воду. Велико отвращение, а жажда сильнее. Сокур делает глоток и видит что-то желтое на дне. Светит, лучится, как золото! Тут он проснулся. И разочаровался, когда понял, что все лишь во сне.

Однако болтовня кузнеца смутила Сокура. Он места себе не находил несколько дней. «Не похоже на сон!» — думал он и терзался. И не выдержал, так мучителен был соблазн. Ночью пришел к кузнице, моля господ бога, чтобы проклятый Инал, если дома, не вздумал вернуться, и с колотящимся сердцем заглянул в оконный проем. Внутри было пусто, луна освещала кузницу до последнего уголка, ветерок свободно гулял, а запах гари казался тяжелым-тяжелым... Сокур подступил к кадучке. Закатал рукава и долго шарил в воде. Но пальцы только скребли скользкое дно. Постоял над кадучкой, разочарованный, в глаза ему тек лунный свет, с мокрого рукава падали капли на земляной пол, черный и твердый, словно чугун... Усмехнулся, поверил нелепому сну!

Он уже дошел до порога, еле передвигая ноги, как его ударило в самую душу. Торопливо вернулся, оттащил кадучку и тогда перевел дух. Было недолгим делом рас-

копать лопатой то место, где стояла кадушка, — лопату он сразу нашел в углу. А потом и лопату отбросил, стал руками грести рыхлую землю, ибо почудилось, вот оно, близко! Во что же еще могла упереться лопата? Пот заливал лицо, щипало глаза, будто кузницу дымом заволокло, но Сокур копал и копал, он забыл все на свете. И когда вытащил что-то тяжелое, обернутое в грубую ткань, и, стряхнув сырую налипшую землю, вспорол ножом, руки и душа задрожали.

— Золото! — прошептал Сокур. Он сунул сверток за пазуху, быстро заровнял яму, поставил, задыхаясь, кадушку на место и поспешил прочь.

4

О золоте, что в кузне откопал Сокур, так никто и не узнал. Оно лежало себе, зашитое в матрац, на котором сейчас Сокур умирал.

Но как круто переменяло оно Сокурову жизнь! Он стал бояться, как бы не дознались о его богатстве. Пребывая в постоянном страхе, Сокур перепрятывал золото. Но ничуть не успокоился, даже найдя ему самое, казалось бы, надежное место — матрац. Тогда он, чтобы отнять у людей всякое подозрение, прикинулся бедняком из бедняков. Ну таким бедным, каких свет не видал. Встретят на улице — жалуется: денег нет, не на что жить. До того обнищал, что вот и двух папиросок не может купить. Пусть люди сочувствуют! Как страдал Сокур сначала, как противилась его душа нищенской лжи!.. Но она окрепла в этих страданиях. Он и себя и жену извел скупостью, свои и ее пенсионные деньги до копейки нес в сберкассу.

Вот тогда и появилась у него тайная, сокровеннейшая мечта. Удивительная мечта, узнав о которой все потом ахнули.

Он уже не чурался разговоров о деньгах, сам заводил. Теперь кто бы смог распознать в нем человека, дух которого высоко вознесся: таким он казался сирым, недужным, убитым напастями! И речь его сделалась коротенькой, как хвост воробья. Он редко появлялся на улице, и

если, встретив, его спрашивали о здоровье, он вместо ответа рассказывал тот либо другой из своих двух хабаров, придуманных им в дни его отошедших страданий.

Хабар первый

— Копал колодец один человек и нашел шкатулку, полную драгоценностей. Не зная, что с ними делать, взял и отнес в музей. Все добровольно сдал! Вот какие дураки бывают, — иронически заключал Сокур. — Сколько денег кануло, как в воду! И фамилии, говорят, не спросили. Разве это не горе?

Хабар второй

— Один тракторист пахал огород и нашел кувшин с золотыми монетами. Никому не сказал, спрятал в доме. Но не смог удержать языка, так и подмывало похвастаться. Показал жене одну золотую монетку: мол, нашлась в огороде. А про кувшин молчок. Жена рассказала соседке, та, от себя прибавив, другой, а другая третьей... Вскоре весь аул знал, что трактористу посчастливилось открыть в своем огороде не монету, и даже не кувшин с монетами, а целый сундук золотых монет. Приехала милиция и забрала у бедняги все его золото. Вот как бывает! — говорил Сокур и щурил на собеседника отрешенные глаза.

Сначала люди думали, что тронулся старый Сокур. Но, видя, как аккуратно сдает деньги в сберкассу, ходит за своими папиросками в магазин, берет плату за огород с соседского парня, заключили, что он вовсе не тронулся, а в здравом уме...

За день перед кончиной Сокур встал с кровати, достал из-под матраца огрызок химического карандаша, помятую школьную тетрадку и, тяжело дыша, уселся за

стол. Он задумчиво слюнявил карандаш и долго водил им по разлинованному листку: писал завещание. А написав, удовлетворенно перечитал несколько раз. Да, он был удовлетворен. Свое завещание Сокур вложил в старый конверт без марки, извлеченный из-под того же матраца, и надписал: «Председателю сельского Совета». Заклеенный конверт оставил на столе и лег умирать.

Он лежал и смотрел на стрелки бог знает когда остановившихся ходиков. Тихо было в доме и на душе Сокура. И тут на него нашло прозрение.

Зачем заводить? Показывают половину восьмого и завтра то же покажут — значит, ходили б без пользы. Зачем тратить силы на то, чтобы их заводить. Мне и так хорошо. Две недели, как я не ем, не курю, деньги на месте. Что такое есть жизнь? Это — забота о пище. Не лучше ли спокойно лежать, в блаженстве и мире с собой? Я доволен. Зачем мне мое дряхлое тело, зачем мне знать, что я дышу, существую? А завещание?.. Не порвать ли его? Мое страдание и блаженство — мое богатство. Оно переживет меня, и в нем я пребуду во веки веков. Как божеество! Ибо блажен и свят обретший в своем страдании смысл бытия. О всевышний, я не верю в тебя, но если ты есть, освободи меня, мою душу от тела моего — я жажду насладиться блаженством!.. Смотри, я не дышу, мой дух возносится, покидая брренное тело...

Сокур немощно глотал воздух, глядя на давно остановившиеся часы.

6

Дух покинул тощее Сокурово тело. Лицо покойного было безмятежно, когда из ноздри выползла золотая муха. И крылья, и спинка, и брюшко, даже лапки — все было из чистого золота. Она была так тяжела, что летать не могла. Золотая муха проползла по лицу, спустилась на пол но ножке кровати, сквозь щель под дверью пролезла наружу и, хотя моросил на улице дождь, побежала, поползла через двор, перебираясь с травинки на травинку... Околевшая собака лежала на боку своей конуры ... С черепичной крыши скатывались капли. Над огородом

плыл сырой пар... Молоденькая продавщица, перестав убиваться о старике, подумала, испугавшись: кто же купит у нее начатую пачку? И эта мысль, как ни гнала от себя, весь день мучила ее совестливую душу.

7

Аул поразился, когда узнал о Сокуровом завещании. А было в нем вот что:

«Я, Сокур, 1913 года рождения, уроженец этого аула. Сорок лет я честно и добросовестно трудился в колхозе. Жил скромно, отказываясь от земных благ. Поэтому те, кто как трутни незаслуженно провели свою жизнь в довольстве, не понимали меня и желали всячески осмеять унижить. Если они, расточители, праздные гуляки, заслуживают забвения, то я — никак нет, ибо это будет высшая несправедливость. В течение всей моей сознательной жизни, подвергаясь огромным лишениям, я копил деньги. И скопил состояние в сумме 56 тысяч рублей, из коих 20 тысяч находятся на сберегательной книжке на мое имя, а 36 тысяч разными купюрами, а также монетами, зашито в матраце. Кроме указанной суммы, в моем матраце зашито 3 кг чистого золота. Мое состояние — это мои лишения, мое терпение, моя чистая совесть. И таков я есть человек, что все мои личные сбережения завещаю правлению сельского Совета, чтобы на часть этих сбережений перед зданием Совета поставили мне, Сокуру, бюст из бронзы, а остальное потратили на благоустройство моего родного аула. В чем собственноручно подписываюсь: ваш Сокур».

Не правда ли, кое-что тут вызывает улыбку? Ведь бронзовый бюст умершему от скупости — это, согласитесь, рассмешит кого хочешь.

1977 г.

Пожалейте старую клячу Актуяк!

Рассказ

Старая кляча Актуяк, про которую забыли и думать, ни с того ни с сего вдруг точно взбесилась. Сломя голову стала носиться из конца в конец аула да таким странным галопом, что люди, дивясь, хватались за животы:

— Ну и резва! Откуда прыть на старости лет!

Завидев людей на дороге, кобыла в испуге осаживала и тяжело, как в замедленном кино, с храпом вставала на дыбы.

— Вот дура! — смеялись люди.

Но они не причиняли ей вреда, и выжившая из ума старая кляча не хуже цирковой лошади грациозно покачивала головой, вроде кланялась и, постукивая копытами, особенно звонко единственным белым, проходила мимо смеющихся зевак. А потом вновь бросалась в галоп. Иногда взбиралась и на пригорок, откуда ей виден был весь аул и откуда она была видна всему аулу, и там проделывала свои чудачества.

Люди со смеху помирали.

— Ну не дура ли, а?

Никому и в голову не приходило подумать: что это стряслось с лошадьёю? Впрочем, ей было все равно, если б кто и подумал. Она не нуждалась ни в чьем сочувствии, ей опостылел белый свет. У Актуяк болел зуб.

Болел зуб коренной и болел страшно, невозможно! Боль отдавалась во всем теле от холки до хвоста, костис-

тая голова гудела и ныла, будто по ней били кнутовищем или молотком. А в ноги будто всадили по острой игле. Сущим наказанием, мукой мученической было, когда заносило ее на пригорок и подковы цокали по мелким камням. Эти иглы в самые кости вгрызались, в голове пылало, словно чертенята, забравшись, раздували там свою жаровню. От кромешной боли хотелось своротить себе нижнюю челюсть — источник всех бед. Лошадь взбрыкивала, металась по кругу, расшвыривая камни, делала «гопки» на передних ногах, и когда, казалось, выпиравшие от натуги ребра проткнули дряблую истертую шкуру, в обезумевшем мозгу Актуяк появлялось видение. Она сбегала с пригорка и мчалась по улицам аула. А виделось старой кляче, как выкатывается на дорогу футбольный мяч и лопается под колесом машины, разлетаясь в клочья. Оглушительный хлопок так ее тогда напугал, что она наскочила на телеграфный столб и опрокинула груженую повозку... И теперь ей чудилось, вот-вот лопнет собственная голова!

В вечерних сумерках, усталая, изнемогшая, она брела к заброшенным животноводческим фермам. С тех пор, как совхоз продал скот, старые постройки пришли в запустение, стены местами обвалились, заросли травой. Неподалеку был родник, где раньше поили скот, к нему и тащилась кляча.

Раньше... Когда она была еще не старой, ее хозяин, фуражир Карамурза, работавший па ферме, водил Актуяк к роднику на водопой. О, какая это была вода! Одно ее прикосновение к губам моментально снимало усталость. И лошади вспоминались шелковистые кубанские травы, вспоминалось беззаботное детство, хотя с того времени, как впервые запрягли, ушло много, много дней, и вместе с ними ушла былая веселая резвость. И она с наслаждением пила родниковую воду, набивая оскомину и охлаждая разгоряченное работой тело,

Теперь же уныло подходила к бетонному замшелому желобку, из которого журчала вода, и опускала в нее горячий храп. Боль притуплялась, Актуяк стаяла, вслушиваясь в эту тихую свою радость, с губ падали капли. Но ломящая боль возвращалась и разрасталась. Лошадь вновь тянула губы к ледяной воде...

Так она всю ночь стояла у журчащего желоба и дремала, дряхлая, с полинявшей гривой кляча, ни разу не взглянув на усыпанное звездами небо, на такую же, как она, одинокую в этом мире, печальную луну.

Когда потухала последняя утренняя звезда Шолпан и мир озаряло красное большое солнце, на Актуяк опять находило безумие, и она бросалась в аул, к манившему ее клятому пригорку, и в глазах у нее метались красные круги.

Бывший хозяин Актуяк Карамурза, единственный в ауле, кто еще держал собственную лошадь, человек крепкий, с виду совершенно здоровый, хоть и в годах, вдруг, отчего неизвестно, умер месяц назад. Старуха вдова была не в состоянии ходить за лошадью. Продать не смогла, потому что покупателей не нашлось. Да и в пору, когда лошади были еще в большом спросе, вряд ли бы кто позарился на такую клячу. Старуха вывела ее за ворота и, хлестнув вожжами, сказала: «Иди на волю, иди себе, аргамак!» Бездомной стала Актуяк. Но никто не захотел привести ее в свой двор: все знали, кому принадлежала, и было бы, считали, неуважением к памяти почтенного человека забирать лошадь даром, за здорово живешь. Да, кроме того, пришлось бы насчет кормов голову ломать, для своей скотины еле запасали.

На ничейной лошади катались аульные мальчишки по берегу Кубани. Ничего, ей это нравилось. И воздух был такой вкусный, и трава, и холодная вода пенящейся реки. Но однажды мальчишки загнали ее на глубину, где чуть не захлебнулась, и она убежала от них. С этого дня стала бояться реки, даже ночью не решалась приблизиться к берегу.

Одному из мальчишек все же удалось приманить ее. Да когда ему вздумалось верхом съехать к реке, Актуяк заупрямилась. Ни хворостина, ни пинки в бока не сдвинули ее с места. Встала и стояла как вкопанная. Разозлившись, мальчишка исхлестал ее по голове и концом хвостотины задел глаз. Лошадь с испугу сбросила седока. Мальчишка сломал ногу.

Охотников покататься больше не было, а если кто-нибудь нет-нет да подходил, начинала брыкаться и не подпускала.

Целыми днями она бродила по улицам или стояла

перед воротами своего бывшего дома, с тоской глядя на тяжелую телегу, в которой много лет возила силос и другой всякий груз. Выходила старуха и подавала на ладони хлебные корки. Актуяк жевала без удовольствия.

— Иди-иди! Ну, пошла! — ворчала старуха. — Чтоб твою жизнь Аллах сократил!

Лошадь не уходила и угрюмо, с обидой смотрела на старуху. И бывшая хозяйка, проглотив слезный комок, ковыляла в сарай за вожжами или за палкой. А что было делать!

Так она жила, отверженная, ничья, питаясь скудной травой, которая росла на улице у заборов. И если доставала, то обрывала листья с деревьев.

Потом зачастила Актуяк на совхозный двор, где вместе с воробьями и дикими голубями подбирала на току оставшееся с прошлого года рассыпанное зерно. Возле ограды в тени росли большие лопухи — это была ее любимая еда. Иногда люди бросали кусок хлеба... Одно хорошо — воды было вдоволь. Стояла колонка, а под ней всегда широкая лужа оттого, что вода переливалась из ведер, когда люди набирали или же когда пили прямо из-под крана.

Двор Карамурзы она еще не забыла и тосковала по нему и по хозяину. Только вместо хозяина каждый раз видела исстрадавшееся лицо старухи и уходила.

А на второй месяц приключилась эта беда — заболел зуб. И Актуяк все позабыла! Возможно, когда рылась в отбросах, которые домохозяйки выкидывали на улицу, и попала в него какая-нибудь вредная гниль. А может, от старости раскрошился и заболел сам по себе. Впервые почувствовав боль, Актуяк лизнула зуб и обнаружила большое дупло. Прежде она ничего подобного не замечала: зубы были как зубы.

Забыла Актуяк и совхозный двор со свежей водой и вкусными лопухами, и дом Карамурзы. Забыла и всю свою прежнюю жизнь. Теперь она состояла из одних страданий. Раньше она, проснувшись на рассвете, с ликованием вдыхала росную свежесть, ощущала, как бока пригревает солнце, встающее из-за рассеянных розовых облачков. Теперь же окружающий мир потускнел, она перестала его понимать. Она и сама перестала быть лошадью —

ей не хотелось ни есть, ни пить, трава потеряла вкус, а Актуяк жевала по привычке, была как в темном сне. Как можно было тому, кто живет, дышит, свыкнуться с болью? А она свыклась. Ей теперь казалось, что все ее существование было нестерпимой болью, всегда, от самого рождения. Значит, такая и есть жизнь. И когда жизнь пройдет, кончится боль.

Она не понимала, что произошло с ней.

Ну а мир не понимал ее мучений. Да и нужна ли была миру она, полудохлая кляча? Люди, заболев, идут к врачу, ей же и из своих собратьев посочувствовать было некому: она была совсем одна, других лошадей не осталось в ауле.

Не нужен ей был этот черствый мир!

Долго еще скитаться бы Актуяк, доживая свои черные дни. Но пришел конец, и пришел неожиданно.

На прополку сахарной свеклы приехали студенты из города. Попрыгали с машины и, свалив рюкзаки под кирпичной стеной совхозного двора, веселой ватагой двинулись к конторе.

— Смотрите! — крикнул кто-то. — Смотрите, какая смешная лошадь!

Мотая башкой из стороны в сторону, по улице скакала Актуяк. Сивая грива была похожа на истертую мочалку, торчали ребра из провалившихся боков. Пожалеть бы такую, да всем показалось, что не лошадь мчится во весь опор, а лошадиный скелет. Вот это и насмешило.

Парни заулюлюкали, а некоторые, подражая всаднику, несущемуся на быстром коне, вытянули руки, будто с трудом удерживают поводья.

— Ату! Ату! Ну, милая!..

Актуяк проскакала мимо студентов и остановилась возле сваленных рюкзаков. Диковинный предмет привлек ее внимание. Она фыркнула, обнюхав его, и отскочила: предмет издал странный переливчатый звон. А тень, метнувшаяся вместе с лошадьё, переломилась на кирпичной стене и стала похожа на тень от безгорбого верблюда. Актуяк покосилась с испугом.

— Эй, вы слышите! Она и на гитаре умеет! — захохотали студенты.

Лошадь подняла голову и посмотрела радужными глазами. Зуб ныл с самого утра, не затихая, и она стала тереться об этот звучащий предмет и копытом порвала струны. Губы ей обожгло, во рту сделалось солоно от крови. И Актуяк яростно вгрызлась в топкое дерево, как когда-то в молодости в железные удила...

Студенты кинулись спасать гитару, а кляча, стараясь избавиться от клубка струн, защебив губы, ударилась прочь со всех ног. Гитара, подпрыгивая и грохоча, как барабан, в который бьют во время затмения, неслась на струнах вслед за ней по дороге.

В конце аула гитара сорвалась и осталась в пыли.

Актуяк до полудня бродила среди построек заброшенной фермы. Кровь на израненных губах запекалась, но от каждого движения распухшего языка во рту вновь делалось горячо. Возле родника лошадь опустилась на колени и легла, положив голову на траву. Ей очень хотелось пить, но не решилась. И она задремала, ни на что уже не обращая внимания.

К вечеру похолодало, поднялся ветер. А от низких тяжелых туч стало темно, будто зашло солнце. Ветер дул все сильнее, трепал жидкую гриву, под бока лошади намело щепок и соломенной трухи. Актуяк было хорошо так лежать, не двигаясь. Она отказалась от всего земного и желала только покоя. В ее уставшее, отуманенное сознание наплывали видения детства, чуялся запах материнского молока, запах вымени... Ветер всю ее засыпал соломой, и по голове, по бокам начали пощелкивать капли дождя. Потом закружил снег и следом обрушился град белыми ледяными горошинами, словно раскрыли тучи свои тяжкие утробы. И небо было несправедливо к ней и жестоко! Актуяк встала, шатаясь. А может, ей это только казалось. Точно так же — что взвилась на дыбы, и заржала неистово, когда в глазах зажглась и погасла длинная молния...

Прокатился по степи, затих удар грома.

Ушли тучи, улегся ветер, и выглянуло вечернее солнце. Белым-бело было вокруг. Деревья стояли голые, как зимой. Навалило белые холмики там и сям... А на востоке, против солнца, выгнулась в небесной синеве двойная огромная радуга.

Один из холмиков вдруг рассыпался, и из-под него прыгнула красавица лошадь, встав сразу на все четыре ноги. Она отряхнулась от ледяной пыли, гордо вскинула голову. Шелковистая грива и шерсть лоснились на солнце, как лоснится в росе утренняя трава. Лошадь приблизилась к краю радуги и, подняв белое копыто, ступила на семицветную дугу и пошла — все выше и выше, оглядывая землю спокойными, мудрыми синими глазами, кивая благодарно, пока не исчезла навсегда.

1977 г.

Несостоявшийся сабантой

Рассказ

Я стоял на остановке, поджидая автобус, и настроение у меня было прекрасным: завтра наконец-то состоится сабантой, празднование которого вся округа ожидала с самой весны. Из-за погоды можно не волноваться — тихий, теплый вечер, ясное звездное небо обещали отличный день, а приготовления к народному гулянию закончены давным-давно, все продумано до мелочей, выбран аксакалами хан сабантоя — самый почтенный и уважаемый старец Алимурза: воздвигнут для него желтый шатер на кургане Янболат-тобе, установлены палатки, ларьки для торговли, сделаны танцплощадки, размечены места для проведения аттракционов, спортивных состязаний, и, конечно же, приготовлен уже трактор, украшенный национальными платками, лентами, флажками. На нем лучшие механизаторы, для которых и во славу труда которых задумано это празднество, покажут свое мастерство и искусство.

— Ты опять к своим друзьям в клуб, сынок?

Я повернулся на голос. На арбе, в которую был впряжен ослик, сидел невысокий щуплый старичок с лукавым лицом и весело смотрел на меня.

— Салям алейкум, Кошен, — обрадовался я, не добавив, как принято, уважительного «агай»: мы всегда держались со стариком как равные, по-свойски. — Роберт и Якуб, наверное, уже заждались меня.

— Садись, подвезу, — Кошен указал кнутовищем на место рядом с собой. — Хоть я и собирался в степь, но так и быть заверну в клуб.

Днем, опасаясь насмешливых взглядов и ухмылок прохожих, я не решился бы сесть в арбу, запряженную ослом, слишком уж нелепым и допотопным кажется в наше время такой транспорт. Но сейчас была ночь, да и до клуба около трех километров.

Мы не спеша ехали по черному асфальту, и мерное тарыхтение колес, гипнотизирующее мерцание звезд убаюкивали меня. Я с добродушной насмешливостью посматривал иногда на старика, уверенный, что сейчас он расскажет какую-нибудь очередную забавную историю или примется балагурить, но обычно словоохотливый Кошен был серьезен и молчалив. Лишь когда мы свернули на центральную улицу и свет фонарей над нашими головами разжижил темноту, сделав бледными звезды, он, подняв голову к небу и долго всматриваясь в него, сказал негромко:

— Скоро и Кошен станет одной из этих звезд, — и ткнул кнутом вверх.

Если бы старик сказал это высокопарно или, как обычно, шутовски, я бы рассмеялся, но голос Кошена был спокойный и, что было непривычно, немного печальный. Я взглянул на его торжественное и строгое лицо, увидел незнакомого мне Кошена, и приготовленная уже улыбка завяла — мне стало отчего-то грустно. Чтобы вернуть праздничное настроение, я спросил шутивным тоном:

— Куда это ты собрался? Казан, гляжу, кизяк с собой прихватил.

— Я каждый вечер беру их, — серьезно отозвался Кошен. — Отъезжаю подальше от аула, выберу местечко, разведу огонь, подвешу казан и, пока готовится чай, слушаю степь, люблюсь небом. Нет лучшего удовольствия, чем пить чай в степи под звездами. Чай — это праздник души ногайца, — закончил он весело и стал прежним Кошеном.

Я засмеялся, соскочил с арбы и, подделываясь под всегдашнюю манеру старика говорить необычно, сказал:

— Спасибо тебе и твоему ослику, что довели. И зау-

лыбался, ожидая, что старик хихикнет — кто же, мол, говорит спасибо ишаку? — но Кошен в ответ кивнул серьезно и даже важно: пожалуйста, дескать.

— Но-о, недостойное благодарности животное, — он стеганул кнутом ослика. — Вези меня к звездам! — и укатил по ночной улице.

А я стоял около клуба, смотрел вслед исчезающей в темноте арбе, вслушиваясь в ее затихающее дребезжание, и видел, как под высоким бархатно-черным небом, под неисчислимыми россыпями звезд манит в ночи светлой точкой огонек костра, и около него — щуплый старик с торжественно-счастливым лицом, а вокруг — степь с ее таинственными шорохами, тенями, запахами. «Чай — это праздник души ногайца», — вспомнил я слова Кошена, которого знал, как считал, хорошо и которого не знал, как оказалось, вовсе.

Кошена я впервые увидел весной этого года. Мы, молодые ногайские интеллигенты, решили возродить почти забытый национальный праздник труда — сабантой, который не проводился более полувека. Поговорили со стариками, но те мало что могли подсказать — сами во время последнего сабантоя были мальчишками. И хотя аксакалы, обрадованные, что молодежь вспомнила об одном из лучших старых обычаев отмечать начало лета, обещали сделать все как надо, мы изучили уйму этнографических материалов, прочитали кучу книг, проконсультировались с историками и сотрудниками краеведческого музея — праздник хотелось вернуть к жизни во всей национальной самобытности. Новость о близящемся сабантое пронеслась по району со скоростью степного пожара, взбудоражила все соседние аулы.

Пока помолодевшие старейшины выбирали хана предстоящего праздника, пока назначали дворы, где будут варить бузу¹, пока готовили длинный столб, чтобы, вкопав его и укрепив наверху приз, проверить силу и ловкость нынешних удалцов, мы продумали в деталях весь предстоящий торжественный день: открытие праздника старейшиной — ханом сабантоя, вступительное слово

¹ Буза — напиток из проса.

ученого-этнографа, вспашку первой борозды лучшими механизаторами, выступление директора совхоза по итогам прошлого года, награждение передовых рабочих, национальные игры и спортивные соревнования, танцы, конные состязания. Мы договорились с торгующими организациями, подготовили для сабантоя курган Янболат-тобе — сделали танцплощадку, оборудовали ларьки, киоски, место для проведения национальной борьбы, метания камней, — провели электричество, замучили репетициями эстрадный оркестр. Наконец назначили день и... И пошли затяжные апрельские дожди. Проведение сабантоя все время откладывалось, аульчане посматривали на нас, организаторов, сначала с веселым сочувствием, потом с недоумением, а вскоре с откровенным недовольством, словно это мы лишили их праздника.

В одно из воскресений, когда начался настоящий ливень, мы — я, заведующий клубом Роберт и Якуб, поэт из соседнего аула, — сидели в зрительном зале клуба, с ненавистью посматривая сквозь открытую дверь на сплошную стену воды снаружи, и услышали вдруг сквозь монотонный шум дождя скрип арбы и хриплый окрик:

— Тпру-у! Стой, недостойная хозяйина скотина!

И через секунду на пороге появился невысокий старик, запрятавшийся в зеленоватый брезентовый плащ, с которого струями стекала вода. Старик высунул из плаща, точно черепаха из панциря, голову в разбухшей от сырости широкополой войлочной шляпе, поглядел на нас веселыми маленькими глазками. Отряхнулся, словно собака после купания, отчего из плаща широким веером посыпались брызги, вдернул шляпу, выжал ее с видом величайшего недоумения. Посмотрел на грязную лужу около своих кирзовых сапог и, казалось, так поразился, что даже рот приоткрыл от изумления. Мы невольно улыбнулись.

— Куда? Куда?! — притворно строго закричала из своего угла уборщица Акбилек. — Нечего тебе тут делать, старый Кошен. Ты что: спутал клуб с сараем для своего осла?

Старик с паническим выражением лица осмотрелся и, выбрав место почище, плюхнулся на пол. Испуганно поглядывая на приближающуюся Акбилек, принялся торопливо стягивать сапог.

— Ой, Аллах мой, да ты что?! — переполошилась уборщица. — Я же пошутила!

Подбежала к Кошену, подхватила его под мышки, пытаясь поднять, но старик отбивался, смотрел на Акбилек с таким ужасом, так суетливо пытался сдернуть с ноги сапог, что мы не выдержали — рассмеялись. Кошен тоже улыбнулся, оттолкнул руки женщины и — опля! — изогнувшись в поясе, точно акробат, вскочил вдруг молодцевато на ноги.

— Что он, рехнулся? — ошеломленно посмотрела на нас Акбилек.

А Кошен одним движением сбросил плащ на руки уборщице, сунул ей, не глядя, шляпу, поправил под ремнем выцветшую, так же, как и солдатские галифе, гимнастерку, сказал торжественно:

— Пусть согласие будет в вашем доме!

— С миром входите! — ответили мы на запоздалое приветствие.

Растерянная Акбилек отнесла к вешалке плащ и шляпу Кошена, а старик прошел через зал, сел на край сцены. Оглядел нас задумчивым, изучающим взглядом, достал из кармана папиросы. Не спеша закурил.

— Здесь не курят! Еще раз говорю — это клуб, а не сарай! — прикрикнула из другого конца зала уборщица.

Кошен, соглашаясь, кивнул, но на Акбилек даже не посмотрел, а, сделав поглубже затяжку, выпустил в сторону женщины густую струю дыма. Роберт, чтобы скрыть улыбку, погладил ладонью свои большие черные усы. Спросил вежливо:

— Кошен-агай, как твое здоровье, самочувствие?

Старик опять ничего не сказал, только передернул плечами, будто удивляясь: нашел, мол, о чем спрашивать. Для человека его возраста такое поведение было странным, но мы уже видели в нем мудрого «простака» и, заранее приготовившись к любым выходкам Кошена, не удивлялись — сидели, улыбаясь, ждали: что же будет дальше? Старик, докурив, поплевал на папиросу и, поглядев вызывающе на Акбилек, бросил окурочок на пол. Роберт заерзал, но промолчал.

— Еду я вчера ночью по шоссе, — вдруг ни с того ни с чего начал Кошен страшным голосом и посмотрел на нас круглыми от ужаса глазами. — Смотрю, а каменного солдата, который на памятнике воину-победителю, нет! Один постамент остался.

Мы переглянулись.

— Как нет, — поразился Роберт. — Куда же он делся?

— Вот и я испугался, — хлопнул ладонями по коленям Кошен. — «Куда он делся?» — думаю. Глаза протираю, себя щиплю — не заснул ли? Нет солдата! Ну, думаю, дело нечистое, нечего мне в этом месте задерживаться, и давай своего ишака настегивать. В аул ехать не решился, в город повернул: до него ближе, скорей до людей доберусь. Подъезжаю к роще, где «Фатима» стоит...

— Ты о скульптурной композиции «Горянка» говоришь? — перебил Якуб.

— Вот, вот, о ней самой, о «Фатиме», — торопливо подтвердил Кошен и, набрав побольше воздуха, выдохнул: — Гляжу, а около нее... Глазам своим не верю! Около «Фатимы» каменный солдат стоит. Словно на свидание пришел!

Старик весело захихикал.

— Фу ты, старый болтун! — рассердилась подошедшая незаметно Акбилек. — Упаси Аллах, чего выдумал! Мы облегченно перевели дух и расхохотались.

— Выдумал?! — возмутился Кошен. — Да ведь тот солдат — фронтовик. А фронтовики — это не нынешняя молодежь, они все могут. Фронтовик никогда не растеряется. Я знаю. Я сам фронтовик! — Кошен хвастливо ударил себя в грудь кулаком.

Он встал и деловито направился к вешалке, словно и приезжал из дальнего аула лишь для того, чтобы рассказать нам эту байку.

— Э, Кошен, душа моя, куда ты? — удивилась Акбилек, когда старик начал натягивать плащ. — Ведь льет как из ведра.

Кошен даже не посмотрел на нее.

— На болтовню с вами мне время тратить некогда, — ворчливо сказал он. — Я на сабантой приехал, да вижу, что с небом вы не договорились.

Мы вышли проводить старика, но остановились у порога.

Кошен бодро взобрался на арбу, подхватил вожжи и, повернувшись к нам, весело крикнул:

— Эй, джигиты-грамотеи, вы бы на Всевышнего, — он ткнул кнутовищем в небо, — жалобу в газету написали. Может, откликнется Всемилостивый па письма трудящихся.

Только отправляйте письмо прямо в областную, он районную не выписывает.

Кошен огрел своего ослика кнутом, и сразу же арбу, рванувшуюся с места, скрыла из глаз стена ливня.

С того воскресенья зачастил Кошен к нам в клуб, поджидая сабантой, да все неудачно — праздник без конца откладывался.

Дожди задержали сев. Все время сева выходных дней не было. После сева начались майские праздники, прекрасные, величественные, значительные сами по себе.

Мы уже смирились с тем, что сабантой — весенний праздник — придется проводить летом, но... После Дня Победы Роберта неожиданно вызвали в область на семинар, где заведующий клубом пробыл долго, а без него, человека, вложившего всю душу в подготовку сабантоя, проводить торжество было немислимо. Так тянулось до уборки: то одна причина, то другая. Но самое главное — дожди. Как назло, они шли в этом году, кажется, только по выходным дням. А весь район готовился еженедельно к сабантою, ждал его, особенно наши земляки.

— Дернул меня черт связаться с этой затеей, — сердился Роберт. — Женщины проходу не дают, говорят: скоро, дескать, наши мужья совсем алкоголиками станут, сколько они за это время бузы выдули, а мы все варим и варим. Скорей бы уж провести этот сабан... а, вернее, комбайнтой!

Мы посмеивались, но невесело. Вздыхали. Вздыхал вместе с нами и Кошен. Он, как всегда, словно невзначай, мимоходом, заглянул в клуб и, покуривая, слушал Роберта.

— Твоя беда — не беда, — попытался утешить он заведующего клубом. — Вот со мной как-то такое несчастье приключилось, что до сих пор не могу забыть. Возвращался я однажды из Невинки, и вдруг на самом мосту, при выезде из города, мой ишак остановился как вкопанный. — Старик оглядел нас, ожидая обычной заинтересованности, но не дождался и продолжал уже не так бодро: — Я его стегаю, стегаю — ни с места! Разозлился я, да как ударю бедную скотину изо всех сил. Осел застонал, как человек, и даже заплакал. Я перепугался: ну, думаю, отбил кишки безвинному животному. Распряг его, посадил

в арбу, а сам — оглобли под мышки и пошел. Так и дотащил арбу с ишаком до дому. А осел хоть бы пожалел меня! Так нет, когда я в горку еле-еле взбирался, он еще покрикивал: «Йо-йо!» — побыстрее, дескать, шевелись, хозяин.

Мы вежливо улыбнулись, а Кошен, почувствовав, что история в этот раз получилась не совсем удачной, засуетился, засобирался.

— Надоело слушать твои выдумки, мешок с враньем, — раздраженно сказала Акбилек. — Подожди, скажу вот Мадине Ажбекировне, что опять в клуб заходил, — пригрозила она и, выглянув в окно, добавила злорадно: — Ага, а вот и сама «голова аула» идет.

— Где, где? — переполошился Кошен. — Не говори, женщина, ради Аллаха, не говори, что я здесь.

— Что, испугался, старый болтун? — подбоченившись, смерила его взглядом уборщица. — Ты только на словах герой!

— Я испугался? Я? — чуть не задохнулся от возмущения Кошен и, выпятив грудь, с силой стукнул по ней кулаком. — Я фронтовик, а фронтовики ничего не боятся! Помню, лежим мы в окопе...

— Ты — фронтовик? — захохотала Акбилек и пренебрежительно указала на него пальцем. — Посмотрите на этого обманщика, люди добрые, — повернулась она к нам. — Этого героя-фронтовика даже в армию-то не взяли из-за здоровья. Мадина Ажбекировна проверила, справки навела. Ты, Кошен, во время войны колхозный скот в горах охранял!

Старика точно ударили. Он вздрогнул, втянул голову в плечи, виновато глянул на нас. Мы смущенно отвели глаза: до того растерянным, каким-то пришибленным стал этот дед, которого мы за долгие дни ожидания сабантоя успели полюбить.

— Я... я... — неуверенно начал Кошен. И вдруг закончил торжествующе. — Я в партизанах был. Меня только для виду к стаду приставили, чтобы в горы отправить. А там я в отряд ушел!

— А-а, тебя слушать... — махнула рукой уборщица и с силой щвырнула тряпку на пол. — Ты, если соврешь, счастлив, будто теплое яйцо нашел.

— Теплое яйцо нашел, говоришь? — оживился ста-

рик.— Было, было такое,— он обрадовался: оттого, наверное, что можно сменить тему и не говорить о войне. Присел торопливо на свое любимое место — на край сцены — уперся кулачком в острые колени, посмотрел на нас веселыми хитрыми глазками.— Чистую правду вам сейчас расскажу... Как-то во время сенокоса приехал я домой. Пить хочу, как в аду, а дома ни бузы, ни айрана, ни воды даже. Захожу в сарай, смотрю — в курином гнезде яйца лежат. Взял я одно, выпил. Не заметил от жажды, как оно и проскочило. Легче стало. Только чувствую на следующий день, — Кошен сделал круглые глаза, часто-часто заморгал с удивленным лицом, — в животе у меня попискивает. Тоненько так, жалобно. А в печени начало что-то остренько покалывать. Неделю я так проходил: писк все громче, а в печени — ну прямо, будто кто шилом ковыряет. Пошел я к доктору, а он говорит: надо в зеркале посмотреть...

— В каком зеркале? — удивился я.

— Ну, где кишки насквозь просматривают,— торопливо пояснил Кошен.

— В рентгене, наверно,— догадалась Акбилек. Она, не выдержав, подошла к нам и, опершись на швабру, слушала старика с недоверчивым видом.

— Во, во,— подтвердил Кошен, весело взглянув на уборщицу.— Посмотрел доктор в зеркало и, о Аллах!— Старик поднял руки, зажмурился от ужаса. — В животе у меня цыпленок сидит, печень поклевывает. Курица-то, оказывается, яйца парила, у нее через пару дней тоже цыплята вылупились.

— Ну, Кошен, ну, Кошен, — покрутила головой Акбилек и, как ни крепилась, засмеялась. — Не зря про тебя говорят, что ты через сорок дней после рождения уже болтать начал.

Мы расхохотались. Довольный Кошен тоже захихикал. Вскочил, засеменял к выходу.

— Пора мне, пора. Засиделся я с вами. Пустыми разговорами занимаюсь.

— Иди, иди, — посерьезнев, посоветовала Акбилек,— да больше не заявляйся, а то Мадине Ажбекировне скажу.

В последнее время уборщица стала относиться к Кошену сдержанно, почти враждебно, и мы понимали ее.

Акбилек дорожила своим местом: жила она рядом с клубом, успевала и на работе порядок навести, и по хозяйству управиться. Многие соседки-домохозяйки завидовали ей и рады были очернить Акбилек в глазах Мадины Ажбекировны — председателя сельсовета. Вот Акбилек и начала преследовать Кошена, который умудрился разгневать всесильную «голову аула»: упаси Аллах, донесут Мадине Ажбекировне, что клубная уборщица доброжелательна к ее врагу!

Справедливой, чуткой была уважаемая всем аулом Мадина Ажбекировна, за то и выбирали ее более десяти лет председателем сельского Совета. Только один она имела недостаток — очень уж боялась свой авторитет в глазах аульчан уронить, потому что гордыни была женщина непомерной.

Ехала однажды Мадина Ажбекировна на собственном «Москвиче» по улице, а из-за угла, как на беду, вывернул на своей арбе Кошен. Ослик, напуганный машиной, остановился вдруг посреди дороги, и «Москвич», чтобы не смять повозку, вильнул в сторону, зацепив крылом кирпичную ограду.

— Эй, агай, дорожные правила надо знать, — крикнула раздраженно Мадина Ажбекировна, бросив руль и высунувшись из машины.

— Я, конечно, не знаю правила, — невозмутимо согласился Кошен, — но мой ослик, сколько я его помню, всегда их хорошо знал и поэтому нарушить никак не мог.

— Что ты сказал? — грозно нахмурилась Мадина Ажбекировна. И в голосе ее зазвучало презрение. — Получается, что твой глупый ишак знает, как нужно ездить, а я нет?

— Ты умная женщина, тебе видней, — пожав плечами, вздохнул Кошен.

Зеваки, неизвестно откуда возникающие при любом происшествии, дружно загоготали.

— Я тебя под суд отдам! — пригрозила взбешенная хохотом аульчан Мадина Ажбекировна. — Сейчас же вызову ГАИ!

Кошену бы остановиться, не раздражать ее, а он, довольный, что рассмешил собравшихся, запричитал жалобно:

— Бедный ты, бедный, ослик мой. Придется тебе закончить свои дни в тюрьме... Ты же большой человек, «голова аула», — протянул он руки к председателю сельсовета, — пожалей это несчастное животное, не впутывай в его жизнь милицию. Ведь посадят, посадят длинноухого негодника!

— Старый шут! — Мадина Ажбекировна — хлопнула дверцей, и «Москвич» под смех праздных наблюдателей резко рванулся с места.

В тот же день председатель сельсовета строго-настрого запретила Роберту пускать Кошена в подведомственный ей клуб, а Акбилек приказала гнать в шею «старый мешок с враньем», если он появится...

Я вспомнил все это, глядя с улыбкой туда, куда уехал Кошен — человек, собирающийся стать звездой, — уехал, чтобы остаться один на один с родной для него степью, ночным небом, на котором, по его представлению, сияли, переливаясь светлыми точками, тысячи и тысячи тех, кто бродил когда-то по земле: любил и бедовал, радовался и огорчался, смеялся и плакал.

В клубе Акбилек сказала мне, что Роберт и Якуб давно уже на Янболат-тобе.

Когда я подошел к месту завтрашнего сабантоя, то не раз помянул добрым словом Мадину Ажбекировну, чьей настойчивостью, старанием, неутомимостью был преображен курган: выхваченные из ночи ярким светом прожекторов, белели свежим тесом столы, навесы — на случай дождя, стройной свечой поднимался столб, теряясь верхушкой во тьме, четкими кругами, линиями выделялись площадки для аттракционов, соревнований, танцев, желтел огромный шатер «хана», украшенный национальным орнаментом. Возле него игрушкой стоял нарядный, украшенный, точно невеста, колесный трактор.

Роберта и Якуба я нашел в шатре — друзья проверяли трансляционную сеть, магнитофон, микрофон.

Долго в этот вечер бродили мы по кургану, прикидывая, как поудобней разместить гостей, где усадить аксакалов — главных судей всех конкурсов, куда поставить машины автолавок, чтобы и людям удобно было, и празднику не мешать. Легли далеко за полночь, и, когда Роберт

и Якуб притихли, засыпая, я рассказал им о сегодняшней встрече с Кошеном — человеком, который станет звездой. Друзья посмеялись над очередной выдумкой старика и умолкли. А я долго не мог уснуть, глядел сквозь вход в шатер на звездное небо и думал о много прожившем человеке, который сейчас сидит у костра счастливый и одинокий.

Разбудил нас шум автомобиля. Мы выскочили из шатра, поеживаясь от утреннего холодка и сырости.

Около входа стоял красный «Москвич» председателя сельсовета, а сама Мадина Ажбекировна, выйдя из машины, хмуро смотрела на нас.

— В общем такое дело, ребята, — виновато сказала она, — отменяется сабантой. — Мадина Ажбекировна отвела глаза. — Директор сам не решился вам сказать, меня попросил.

Мы с растерянными, недоверчивыми улыбками глядели на нее.

— Это шутка? — натянуто засмеялся Роберт.

— Нет, Роберт, не шутка. — Мадина Ажбекировна обвела взглядом площадки для аттракционов, соревнований. Поморщилась. — Вчера в райисполкоме вынесли решение: доверить нашему совхозу первому начать уборку...

— Но один день ведь ничего не решает! — взвыл Роберт.

— Мы всем аулам сообщили, — возмутился Якуб. — Объявлений повесили.

— Даже из города приедут, — зло сказал я, — сколько людей мы обманываем!

— Ничего не поделаешь, ребята. — Мадина Ажбекировна развела руками. — Механизаторы уже предупреждены и выходят на работу... Ничем помочь не могу, — она торопливо села в машину, и «Москвич» умчался,

А мы опустились на землю около шатра, потрясенные, готовые расплакаться.

Так и сидели мы, не пошевелившись, равнодушно наблюдая, как поднимается яркое веселое солнце, как стекают к Янболат-тобе люди. Словно посмеиваясь над нами, ярко посверкивала вдали белая двуглавая вершина Эльбруса, что обещало отличный, самой природой предназначенный для праздника день.

А народ прибывал. Шли из ближних и дальних аулов, шли те, кто работает в городе и на местном сахарном заводе, шли старики в извлеченных из сундуков, слежавшихся черкесках, старухи в длинных платьях с поясами, девушки и женщины в лучших нарядах, парни и мужчины в праздничных костюмах. Деловито ревели машины и автобусы, трещали мотоциклы, гарцевали всадники — пыль, шум, пестроцветье одежд, выкрики, смех окружили курган. И уже развернули торговлю продавцы автолавок, уже расставляли деловито бочки с бузой аульчане, уже раздались переборы гармонок и всплеснулась то в одном, то в другом месте песня — а мы сидели безучастные, отрешенно глядя на вскипающую вокруг суету, веселье, предпраздничную кутерьму.

Алимурза, в синей черкеске, из-под которой выглядывала белая нейлоновая рубашка, в высокой каракулевой папахе, подскочил к нам на гнедом жеребце, осадил его, отчего конь нервно затапцевал на месте, оскалился, задрал голову.

— Ну, мужчины, будем начинать? — весело спросил старик.

Роберт уныло глянул на хана сабантоя и обреченно махнул рукой.

— Что-о? — грозно протянул Алимурза. — Так, значит, это правда?

— Правда, — удрученно подтвердил Роберт.

— Вот собачьи дети! — выругался Алимурза. — Никак не дадут они твоей мечте исполниться. — Старик помолчал, осмотрелся, привстав на стременах, и решительно посоветовал: — Вот что, Роберт, начинай сабантой, не смотря ни на что.

— Правда, давай проведем праздник, — неуверенно поддержал я хана. — Смотри, сколько народу собралось!

— Нельзя, механизаторов-то пет, — виновато напомнил Роберт.

Алимурза соскочил с коня, поправил папаху.

— Это справедливо, — задумчиво сказал он. — Я ехал и удивлялся: как же, думаю, будут без землепашцев такой праздник проводить?.. А народу-то, народу сколько собралось! — покачал головой Алимурза. — О, гляди, главное начальство пожаловало.

Мы посмотрели в ту сторону, куда указывал старик. Лавируя между бочками, столами, к нам приближалась черная «Волга». Остановилась около желтого шатра, и из машины вышел председатель райисполкома — крупный мужчина около пятидесяти лет. Его белое, горбоносое лицо с нахмуренными густыми бровями было недовольным. Почтительно пожав красными мясистыми руками ладони Алимурзы, он повернулся к Роберту, усмехнулся.

— Ну что, горе-организаторы, взбаламутили народ? Теперь сами выкручивайтесь... Вы что, не могли сообщить, ко мне зайти? Почему не пришли?

Роберт молчал, а мы и вовсе уткнулись взглядами в землю.

— Почему? — рыкнул председатель райисполкома.

— Ты не кричи, — одернул его Алимурза. — Уже три месяца эти достойные мужчины готовили людям праздник. Не о себе, о народе думали, хотели землякам как можно лучше сделать. А ты об этом только сегодня узнал. Почему за это время сам ни разу к ним не приехал?

Председатель райисполкома шевельнул недовольно бровью, на старика не посмотрел, но тон сбавил.

— Задумали вы, молодые люди, хорошее дело, но как получилось, что районные власти не знали ничего о вашей затее? Праздник для хлеборобов нужен, с этим я согласен. Пришли бы ко мне, сказали: «Ахмед Умарович, так, мол, и так, хотим провести такое-то мероприятие». Я сам ногаец, знаю, что такое сабантой, разве стал бы против.

Он тяжело дышал, смотрел на нас исподлобья. И закончил решительно:

— Сегодняшнюю самодеятельность запрещаю! Сабантоя в этом году не будет, потому что праздник этот связан с пахотой, с плугом. Закончится уборка — пожалуйста, проводите праздник урожая. Организуйте, собирайте весь район — пожалуйста! А сейчас — распускайте народ. Все!

Председатель райисполкома развернулся, сел в машину, и «Волга» укатила.

— Ты посмотри на него, — усмехнулся Алимурза. Покачал головой. — Такому только армией командовать. Все сам решил.

— Да-а, не все мы, оказывается, обмозговали, — что бы как-то выйти из неловкого положения, — сказал я, — Надо было с него начинать.

— Попробуй попасть к нему, — обозлился Роберт. — То пробиться невозможно, то он укатил куда-то на своих колесах... Конечно, согласовать надо было, — завклубом почесал затылок.

— Теперь о чем говорить, — рассудительно заметил Алимурза. — Думай не думай, а перед народом надо объясняться.

Он повернулся к толпе, вскинул руку, призывая к тишине.

— Ямагат¹, — зычно крикнул старик.

Люди замерли, заулыбались: хан просит слова значит, начинается!

— Ямагат! Сабантоя не будет...

И сразу взорвались собравшиеся шумом, ревом, криками:

— Что это еще за шутки?..

— Почему? По какому праву?

— Объясните!.. Сколько можно издеваться!

Алимурза вскинул обе руки, застыл в такой позе. Медленно, неохотно затихал народ, но постепенно шум смолк, лишь изредка, волной пробегало по толпе недовольное ворчание.

— Ямагат! Сегодня наш совхоз первым в районе начал уборку урожая. Все механизаторы на поле, все землешапцы, которым посвящен этот праздник, работают. Как же мы будем без них веселиться, а? Честно это? Справедливо? — выкрикнул требовательно хан сабантоя.

Люди молчали.

— Ямагат! Только что здесь был председатель райисполкома и сказал, что после уборки хлеба будет проведен праздник урожая...

Недовольно, огорченно, обиженно загудели собравшиеся.

— Праздник урожая — это не сабантой! — насмешливо выкрикнул кто-то.

¹Ямагат — букв.: «община». Обращение к собранию.

— Да, это не сабантой,— подтвердил Роберт.— Сабантой мы проведем следующей весной...

Но его перебили ревом, воплями:

— Следующей весной будет то же, что и в этом году!

— Знаем, как вы проводите сабантой!

— Вечно у нас все шиворот-навыворот!

— Это я, я виноват! — крикнул Роберт.— Я хотел провести сабантой, очень хотел, но не все продумал...

— Да при чем тут ты? — перебил недовольный голос.— Ты хорошо задумал и сделал все, что мог..

— Нечего на себя вину взваливать,— поддержал кто-то. — Сами мы виноваты. Давно могли провести этот сабантой.

— Верно! — рявкнул чей-то бас. — Сами проморгали праздник. Не поддержали Роберта, все ждали, чтобы он нам его готовеньким преподнес.

— Не верю я, что сабантой и в будущем году состоится — выкрикнул пронзительный молодой голос. — Когда у нас что-нибудь получалось?

Но на этот вопль толпа ответила таким возмущенным ревом, что в нем невозможно было различить уже ничего.

Роберт махнул рукой и, вернувшись к шатру «хана», сел рядом с нами.

Постепенно толпа около кургана начала рассасываться, распадаться на кучки, отдельные группы, но все же люди не расходились. Возмущенный гул мало-помалу затихал, и вот уже опять донеслись вспышки смеха, заиграла залихватски гармоника, послышалось ритмичное хлопанье в ладоши, азартные выкрики: «Карс... карс...» — и молодежь, сразу же образовав круг, начала танец. Переливался, перетекал от палаток к автолавам, от столов к навесам народ у подножия Янболат-тобе. Мужчины и старики толпились около бочек с бузой, женщины и старухи — около продавцов всякой всячины.

Вдруг около автолавки, что стояла в стороне от кургана, раздался визг, смех, восторженные крики:

— Теке¹. Теке!

¹Те ке — буквально: козел. Здесь: козел-шут — одно из главных действующих лиц классического сабантоя; персонаж, высмеивающий хана, богатея, существующие порядки.

Толпа шарахнулась в разные стороны, и мы увидели юркого, маленького человечка в красной войлочной маске козла и с кнутом, обмотанным красной материей.

Смолкла гармонь, распался круг танцующих, откачнулся народ от бочек с бюзой и прилавков — все кинулись смотреть на теке. А он под восхищенное постанывание толпы, среди хохота, радостного рева подпрыгивал, выделял в воздухе замысловатые коленца, кидался то в одну сторону, нагнув, точно настоящий козел, голову с войлочными рожками, то в другую, и люди отшатывались, отскакивали со смехом. Теке хлопал неповоротливых кнутом по спине и, круто развернувшись, снова бросался на народ, стараясь напугать, насмешить, уморить своими телодвижениями, скачками, жестами. Вот толчком воткнув на несколько секунд кнут себе под пах, он изобразил то, от чего женщины и девушки, стыдливо взвизгнув, отвернулись, а мужчины заржали, схватившись за животы. А теке, выдернув кнут, уже снова бросился, подпрыгивая, на толпу и скачками, скачками метнулся к автолавке, из-за которой только что появился. На бегу он вырвал бутылку пива из рук обессилевшего от смеха продавца, проблеял победно и исчез за машиной.

— О, Аллах! Это же настоящий теке, самый настоящий теке! — всхлипывая, еле смог выговорить Алимурза. — Пошли ему, небо, вечное здоровье!

— Как же это... мы... про теке могли... забыть? — сквозь смех, толчками, удивленно выдавил Роберт.

— самого главного героя забыли! — вытирая глаза, поразился я.

А из-за автолавки раздался в это время такой знакомый нам, громкий и высокий голос:

— Но, но! Трогай, недостойное сабантоя животное!

Послышалось тарахтение колес, и тот же знакомый нам ослик вывез на дорогу знакомую арбу.

— Да это же Кошен из дальнего аула! — выкрикнул Алимурза.

«Человек, который хочет превратиться в звезду», — подумал я.

Арба удалялась по пыльной дороге, и народ радостным, благодарным смехом провожал стоящего в ней че-

ловека, который, вытянув ослика кнутом, приставил красное кнутовище к заду и повилял им, точно хвостом.

Больше я Кошена не видел.

В следующую весну сабантой, конечно же, состоялся. Яркий, красочный, веселый, шумный. Но уже без Кошена. Зимой, в возрасте семидесяти пяти лет, он умер.

1977 г.



ПОВЯЗКА НА ПАЛЬЦЕ

Рассказ

Все, о чем здесь будет рассказано, происходило в шестидесятые годы, после переломного для нашей страны съезда. Этот съезд окрылил своими предначертаниями многих мыслящих людей. Но уже вскоре стало ясно, что эти, надежды не оправдаются.

На исходе седьмого десятка Курман-агаю предоставилась возможность задуматься о свободе, возмечтать о ней, и он решил обрести ее, несмотря ни на какие преграды. Как ребенок, мечтающий, когда повзрослеет, стать сильным и храбрым богатырем, он задался этой сумасшедшей идеей в свои последние годы. Всю свою жизнь — и в молодости, и в зрелые годы — Курман-агай честно выполнял свой гражданский долг, был примерным семьянином. Одна цель освещала его жизнь — поставить на ноги большую семью, быть полезным на своей школьной работе, ну, и жить, конечно, просто жить ... Поэтому, несмотря на то, что вокруг творилось что-то несутветное, противное здравому смыслу, его существование казалось ему осмысленным. От всех несуразностей, всех творящихся вокруг несправедливостей он ограждал себя народной мудростью. «Наверное, — заключал он, думая о действительности, — в мире всегда было так. — Если общество слепое, закрой один глаз, а другим — гляди и не теряй рассудка». Так он и жил. И никогда как те-

перь не задумывался ни о какой свободе. Лишь в самой молодости у него была вспышка лихорадочного энтузиазма, но тогда и время было такое: отовсюду неслись призывы жить во имя будущего, и он жил тогда, думая принести пользу народу и обществу; в зрелые же годы, когда человек в отдельности уже не брался в расчет, он, как и миллионы сограждан, задался целью выжить; на старости лет он с огорчением оглядывался на прожитую жизнь, сожалея, что она у него сложилась не так, как нужно, и даже больше — скопившееся в душе недовольство разрывало защитный панцирь, скроенный всей жизнью, но уже не было жизненных сил, чтобы укрепить его, особенно этому мешало окружение, а больше всех — взрослые дети, которые думали только о себе, о своем благополучии, о своем будущем, и он невольно подчинялся их интересам. В результате, как это бывает со многими стариками, он почувствовал свое полное одиночество. В душе росла обида от того, что детям не было дела до его чаяний, что он стал обузой. Когда обида переполнила до краев его душу, он неожиданно стал безразличен не только к детям, но и к внукам, которых очень любил. И все это от того, что жить как прежде — боязливо и зависимо — он больше не мог. Как он жаждал свободы, никто из близких не мог бы даже представить, не то что понять ...

Добираясь до свободы Курман-агай несколько суток. Он ехал в автобусе, трясся на попутной, глотал пыль, пряча лицо от встречного ветра. Ни с кем не разговаривал, ел наспех в буфетах, ночевал на скамейках автостанций. Вид его привлекал внимание снующих по станциям пассажиров и попутчиков. На нем были замаранные в пути черные брюки, блеклая ситцевая рубашка, на которую надет был ватник без рукавов, на голове была старая ермолка, на ногах комнатные тапочки, интеллигентное его лицо заросло неухоженной седой щетиной ... Смущали людей и комнатные тапочки, и заросшее лицо, и домашние очки, которые завязывались на затылке обыкновенной резинкой — впопыхах он не успел захватить выходных. Станный его вид привлек внимание и в степном городке, до которого он наконец добрался. В этом городке Курман-агай не был более двадцати лет, и все это время он часто вспоминал свою здешнюю жизнь, а по-

следние годы молил всех святых, чтобы каким-то чудесным образом оказаться там. Городок за это время почти не изменился. Та же автостанция, что до войны, тот же железнодорожный вокзал, тот же рыбный базар, те же пыльные улицы и те же низкие саманные домики. Ему даже показалось, что и люди здесь те же, что жили в городе в те довоенные годы. Горожане, конечно, не смогли бы узнать в нем того прежнего — юркого и благообразного учителя, прослывшего в городке добрым и отзывчивым человеком. Уехал он оттуда по настоянию сына, предупредившего его о наступлении черных дней. Сын был на партийной работе, и уже несколько раз переписывал его личный листок, проставляя в графе «происхождение» — крестьянин, а в графе «образование» — опуская дореволюционное обучение в медресе. И каждый раз настоятельно напоминал, чтобы он не говорил без нужды знакомым о месте своего рождения, опасаясь, что недоброжелатели без его ведома наведут о нем справки. Благодаря дальновидности сына, почти за год до повальных судов и расстрелов они уехали в другой город. На новом месте его никто не знал, а поскольку он был человеком тихим и замкнутым, никто им и не интересовался. Школа и дом — вся его жизнь замыкалась на этих кругах общения. Сын же, как он любил говорить, вертелся как белка в колесе, чтобы спасти отца, а равно и себя. В областном центре, где они жили, сын был одним из влиятельных людей. Отец догадывался, какая примерно цена такой карьере, но думать об этом не хотел — не любил он мелких страстей. За эти тяжкие годы он узнал, что в подлунном мире, кроме книжных идеалов есть откровенно земной: самому выжить и спасти детей. А детей у него, кроме сына, было еще пятеро, один меньше другого. Глубоко в сознании сидел голод, покосивший сотни и тысячи соотечественников. У людей отбирали хлеб и продукты, которые пропадали потом в колхозных амбарах, а дети, старики и женщины умирали. Эту акцию государства он до сих пор так и не понял. Несуразностью считал и тогда, но вслух об этом никогда не говорил, даже с сыном не поделился. Тот, будучи комсомольцем, сам делал хлебозаготовки. «Наше дело правое, партия того требует», — объяснял сын. Что партия намеренно морила лю-

дей голодом он, конечно, ни тогда, ни теперь не верил. А то, что дело это правое, верил, и мало задумывался, потому что знал, что партия думает не только об одной области, но и обо всей огромной стране, а может и о будущем всего мирового пролетариата. В то, что врагов народа было много и их в целях безопасности необходимо обезвредить, не до конца, но все же верил. Когда, делая хлебозаготовки для помощи голодающим, отбирали чашку муки в доме, обрекая на голод других — это ему казалось явной несоразностью. И все же обстоятельно обдумать это он не мог — заслоняли дела грядущие. Тех, кто гарцевал на гребне власти во время голода, затем расстреляли тройки, через год стали расстреливать и этих, а после и тех, а разразившаяся затем война расправилась с оставшимися и общее горе заслонило все. Правил страной человек святого звания — зачем же было думать за него — Он думал за всех; нечего было разбираться в делах его власти — всем Он хотел добра. Но памятные дни были. Это и довоенный голод, и тяжелые военные годы, и после опять голод.

Еще когда жил в этом городке, в один день из его дома пропали все книги, написанные на арабском. Он был потрясен, когда узнал от жены, что эти книги сжег сын. Тогда сын еще был в повиновении — все свои действия согласовывал с отцом. Потрясенный, Курман-агаи не успел обрушить гнев на отсутствующего сына, как на следующий день начались подворные обходы, и книги сжигали сотнями, силой отбирая у владельцев. Книг было жаль, но, видя правоту сына и его подневольность, безмолвно согласился и не упрекнул ни в чем. Жизнь — великое благо! Надо было жить. Трусом он не был, боялся только за детей, что не станут они на ноги ...

Но дети подросли, выучились, своих детей заимели, а тут и сам он стариком стал. Забот поубавилось, но зато тоска, обида в душе стали накапливаться. Жена, которая объединяла всех своим материнским теплом, умерла, холод одиночества превратил душу в лед. Жил он с семьей старшего сына, занимавшего большой пост; внешне-то сын выказывал учтивость, но, когда говорил о чем-то, обращался не к отцу, а к кому-либо из членов семьи. Часто напоминал о всех своих предостережениях, о том, что

когда-то спас ему жизнь. Все же сын чувствовал, что отца прорывает, и выкинет он какую-нибудь штуку.

Наверное, заметно было, что все-то ему осточертело, опротивело. «Чего же я боюсь?» — задавался он вопросом. И в один из таких дней закричала душа: «Плевать на все!»

И получилось все это само собой. Все больше и больше он думал о прожитом. Напрягая память, пытался вспомнить все в самых малых деталях. Почему-то все чаще ему вспоминались детство и юность. Он учился в медресе в далеком среднеазиатском городке, знания, полученные в этом заведении, так и не реализовались полностью. Вышло так, что ему пришлось скрывать этот факт. Больше того, всю свою жизнь, начиная с первых дней работы в школе, на всевозможные анкеты и устные вопросы отвечал, что бога нет. Этого от него требовали. так говорили все. Но как он теперь хотел, чтобы этот непризнаваемый Всевышний существовал. Если бы он существовал, то только от одного сознания, что Он есть, что Он знает о всех людских мытарствах, всех его муках. старик был бы рад, и, паверное, не было бы всех этих огорчений.

Как-то, играя во дворе с внуком, он вспомнил молитву из Корана и прочитал детям. Дети, воспитываясь в городе, родной язык знали плохо и им сперва показалось, что старик что-то читает на родном языке. Зато услышала молитву богобоязненная невестка и, послушная, с уважением села возле старика на скамейку и стала слушать. Затем он на память начал записывать суры из священной книги. Когда сын узнал о его выходках, в ужас пришел. Особенно, когда невестка без всякой задней мысли рассказала о его занятиях с детьми.

— Смотри, пайхамбар¹ нашелся! — ругался он, а затем собрал всех братьев и сестер в доме, осудил при всех религиозную деятельность отца, пытался внушить, что произойдет, если кто из посторонних узнает, что в доме секретаря обкома партии читаются суры из Корана. Листки с молитвами он публично порвал. Отец молча выс-

¹Пайхамбар — пророк.

лушал сына, оставив без ответа все его вопросы, и ушел в комнату. Но занятие свое не оставил, несколько месяцев сидел и исписывал листки. Сын находил их и рвал на его глазах.

— Пайхамбар! — язвительно бросал он в лицо отцу. Невестке было строго-настрого приказано не оставлять его наедине с детьми и докладывать о каждом шаге. Но невестка сама работала, а дети ходили в детский сад, поэтому старик целыми днями оставался один в доме. Выходил он из дома один раз в день для постоянных своих прогулок в центральном парке. В те дни он все чаще и чаще стал задирать охраняющего дом милиционера, проходя мимо будки:

— Бездельник, гляди, чтобы меня сегодня не украли! — ехидно говорил он ему.

— Стоишь тут, чучело соломенное, птиц отпугиваешь, а они, бедные, со мной о жизни хотели потолковать ...

Милиционер жаловался сыну. Тот упрекал отца, но старик махал рукой, не желая разговаривать, и удалялся к себе.

В конце концов старику надоело писать молитвы, а сыну рвать их. Тогда Курман-агай стал петь песню про Эдиге, которую еще в детстве слышал от своего отца — слова песни сами, без особого труда всплывали в памяти. Песня еще до войны была запрещена, была объявлена ханско-феодальным эпосом. Старик знал о запрете, но никак не мог уразуметь, из-за чего так расправились с песней. А потому как запретная песня особенно сладка, распевал ее всласть в секретарском доме: открывал настежь окна и негромко, набирая все четче речитатив выводил мелодию. Возле окна останавливались люди, улыбались ему и проходили мимо. Одни не знали языка, а кто знал — не знал песни, и потому, считая поведение старика чудачеством, одобрительно кивали и шли своей дорогой. Но вскоре, когда возле окна собралось несколько человек, их заметил милиционер и, расценив это как беспорядок разогнал всех. Потом милиционер пожаловался сыну. Тот еще не знал, что за песню распевает отец, сокрушенно повздыхал и велел наглухо забить все окна, выходящие на улицу. После этого Курман-агай стал ходить в парк, выбирал там в тени зеленых сосен одну из скамеек и на-

чинал петь знаменитую когда-то песню. Дошло до того, что сыну позвонил один из секретных работников и сообщил, что его отец поет песню, на которую в свое время вышел запрет. Сын был вне себя, на ходу накинул на плечи белый китель; не успев его застегнуть, дошел до людей, собравшихся в центральном парке. Из середины толпы доносился голос отца:

Вернись, вернись, одинокий,
Переплыви Волгу обратно,
сотвори приветствие своему хану,
Вернись, Эдиге, вернись,
Умерь свою гордыню,
Сотвори учтивый поклон
своему государю.

Сын протиснулся сквозь толпу и остановил сверлящий взгляд на отце, который, опустив очки на переносицу, закидывал голову, выкрикивал отчаянные слова вещателя. Курман-агай, не замечая сына, вдохновенно пел.

— Эй, старик! — негромко проговорил сын, не желая показать толпе свою близость с певцом.

Старик прервался и, поняв, что перед ним — сын, быстро поднялся.

— Все сгорим синим пламенем из-за причуд нашего отца! — ругался дома сын, не вынимая рук из карманов галифе и широко расхаживая по комнате. — Нет, я не имею морального права выпускать его на улицу. Это в интересах всех нас, всего нашего будущего. У меня столько врагов, что достаточно шепнуть, что у нас дома процветает антисоветчина и придется положить на стол партбилет ...

Все домашние помалкивали, но своим молчанием выказывали согласие.

Сын, пригласив обкомовского плотника, загородил деревянными щитами комнату старика, сделал небольшое окошко с выходом в помещение. В огражденной комнатке осталась кровать, книги, стол. Старика стали запира́ть в комнате, и он сидел там до прихода невестки с работы, позднее приходили дети из детсада, а совсем поздно сын. Вместо песнопений старик теперь упорно молчал, ни с кем не разговаривал. Когда собирались де-

ти и пытались у него что-нибудь спросить, он доставал из кармана красную повязку, которую постоянно носил в кармане, завязывал ее на указательном пальце левой руки и весь вечер глядел на эту повязку, мог и целыми днями смотреть на нее и молчать. Домашних успокоило поведение отца, и вскоре они перестали его запирают. Разрешалось даже выходить во внутренний двор, который был огорожен железной решеткой, здесь он с утра, до самого вечера просиживал в беседке. Милиционеру было велено не выпускать его на улицу. Все окна в доме были заколочены, а поиски какой-нибудь щели для освобождения были тщетны. Так мысль о свободе сделалась смыслом существования старика. Большею частью, чтобы горечь не выела все нутро, он без устали глядел на повязку (так делали суфии). Так он отвлекался и одновременно сосредотачивал разбредавшиеся мысли.

Обычно почта передавалась милиционеру, но в тот день почтальон зашел прямо во двор он вручил ему пенсию, которую он давно не получал в руки, все деньги передавались сыну. Получив деньги и машинально выйдя за почтальоном, он, к своему удивлению, обнаружил, что милиционер куда-то исчез, и, не возвращаясь в дом, как был в тапочках, в ермолке, двинулся навстречу свободе ...

План бегства давно зрел у него в голове, но он не думал, что это произойдет таким невероятным образом. Дойдя до автостанции, Курман-агай взял билет на первый же автобус, уходящий из города. И вот — через несколько суток он добрался до городка. Сколько всяких планов — больших и малых — строил он в домашнем плену! Каждый раз ему представлялось, что у него в этом городке произойдет коренной перелом в жизни, он забывал о своих преклонных годах, думал, что, может, начнет снова преподавать, что кто-то предоставит ему здесь тихий уголок и он сможет засесть за научную работу, о которой мечтал всю жизнь; но больше всего ему хотелось увидеть этот городок, выйти из него в степь, подышать степью, походить по ней, порадовать взор простором. Все эти желания, давно живущие в нем и казавшиеся еще вполне достижимыми, теперь, когда он, изнуренный долгой дорогой, оказался в городке, стали обретать ореол нереальности. Курман-агаи дошел до школы, обо-

шел ее кругом, посидел на скамейке и посмотрел, как школьники играют в мяч, затем прошелся по улице, где жил, и заглянул в свой двор, где стоял дом, построенный его руками. Во дворе, как и прежде, рос виноград, дом был под той же железной крышей. Собираясь войти во двор, он толкнул калитку, сделал шаг, но откуда ни возмись выскочила большая белая собака и с лаем набросилась на него. Старик никак не мог увернуться, он даже не успел почувствовать боли. Если бы не выскочивший хозяин, зверюга свалила бы с ног Курман-агая. Чернявый горбоносый хозяин прикрикнул на собаку, отогнал ее, а затем набросился на старика:

— Мотай отсюда подобру-поздорову, поберух в моем доме не хватало! — проговорил он со злостью и вытолкал за калитку очумевшего старика.

И пошел Курман-агай куда глаза глядят, плохо различая, что у него на пути. Ноги не слушались его, но в душе, казалось, родилось какое-то освобождение — чем тяжелее было идти, тем легче становилось на душе. Устав, но не осознавая усталости, он сел на землю, отдыхал и шел дальше. Возле артезианского колодца напился воды, смочил голову и лицо, и от этого чуть приободрился. Пройдя через весь городок, Курман-агай вышел на какую-то пыльную проселочную дорогу. Там была степь, он узнал ее по обилию света. Хотя был самый разгар лета, и зной душил потелтевшие травы, ему представилась весна — желанная пора в степи — и он остановился восхищенный. В глазах рябило, ему виделся зеленый ковер трав, вырисовывались красные тюльпаны и нежно-коричневые ирисы. Желанный запах полыни только утвердил созданную в воображении картину. Истома овладела всем телом и, как с ним часто бывало в последние годы, радостные ощущения пролились на его лиловые губы сладкой слюной. Он стоял и улыбался, глядел в небо, но видел цветущую степь.

Курман-агай пошел дальше, и, когда у него задрожали ноги, понял, что дальше идти не может. Он сошел с дороги и, найдя возвышенное место, чуть не упав от усталости, сел на землю. И тут же уснул. Проснулся он внезапно, словно услышал приказ приготовиться к знаменательной встрече.

По проселочной дороге, пошатываясь из стороны в сторону, шел сухощавый мужчина в черном потрепанном костюме, черной плоской кепке. Его смуглое скуластое лицо обросло редкой щетиной, узкие глаза то смыкались, то размыкались, он вскидывал голову, вытаращивал глаза и, бормоча что-то невнятное, продолжал ковылять, поднимая за собой дорожную пыль. Ничего не видя, он интуитивно остановился возле сидящего на пригорке старика. Засунув руку в карман брюк, вытащил бутылку крепленого вина, выдернул из нее пластмассовую пробку, поднял ее и ... застыл в удивлении. Он увидел старика, смотрящего на небо и отставил бутылку. Отрыгнув, он склонил голову и выдавил из себя:

— Бисмилла! Ты как из сказки, аксакал! Я тебя не знаю ...

Старик очнулся и повернул голову на голос.

— Кто ты, аксакал? — встревоженно спросил мужчина, почему-то пряча за спину бутылку, и сам удивился своему жесту, ведь он давно уже никого не стеснялся. При случае, особенно за глаза, поносил стариков самыми последними словами, вымещая на них всю свою злость. В свое время он был уважаемым в своем ауле человеком, работал шофером у самого директора, всем был нужен, а как ушел с работы, все о нем забыли.

— Никто, — ответил Курман-агай, недоумевая, откуда взялся этот мужчина.

— Ты не Кыдыр-Ильяс?! Не покровитель путников? — испуганно спросил мужчина, отступая назад и далеко отводя руку с бутылкой.

Курман-агай лишь улыбнулся - он почувствовал усталость, огладил рукой виски, а затем покусанные собакой ноги.

Мужчина заткнул бутылку пробкой и быстро засунул в карман.

— Кыдыр-Ильяс — приносящий путнику счастье?! — глубокомысленно спросил старик и поднял голову.

— Мне счастья не надо, у меня есть, — хлопнув рукой по карману, мужчина еще круче выпучил глаза. — Как ты тут оказался?

Старик, подняв голову, остановил взгляд на небе и зачарованный замер.

— Оттуда? — удивился мужчина, поглядев на небо. —

Пайхамбар Кыдыр-Ильяс! Да, я лучше пойду своей дорогой, — он хотел было уйти, но остановился. — Я, кажется, видел тебя на днях во сне. Да! Точно! Может тебе что-нибудь нужно? У меня есть! — он вопросительно мотнул головой и прихлопнул карман.

Курман-агай, глядя на небо, отрешенно произнес:

— Нет, сынок, мне ничего не надо.

— Это понятно. Ты и так счастливый ... Но не могу же я бросить тебя! Тебе ведь надо что-то сказать, пожаловаться? .. — он вопросительно посмотрел на старика.

Курман-агай опустил голову и, поправив очки, взгляделся в своего собеседника.

— Нет! — мотнул головой мужчина. — Никто не поверит что я встретился в степи с пайхамбаром, да еще в очках, в тубетейке ... А почему ты в очках? Да ладно, у вас там все может быть. Так, надо тебе пожаловаться? Сам я парень хоть куда. Только вот с этим, — он показал на карман с бутылкой, — очень подружился. А почему бы и нет? Не жлоб же я, хочу быть как все. Когда баранку крутил, все мне завидовали, а я не люблю, когда завидуют — чем проще, тем лучше. Ладно, хватит о себе, тебе же надо на жизнь пожаловаться. На людей, на соседей, на власти. Да, на власти лучше всего, — он запнулся, перевел дыхание, и начал говорить с пафосом и жестикудируя. — Дурная она, власть! Я тебе сейчас такое о ней расскажу — ни за что не согласишься — а я ведь самого директора возил, вон с того аула, — он показал в сторону серой выжженной степи. — Отсюда, правда, его не видать. С директорского стола ел и пил. Тогда-то и подружился я с шайтанводой. Ну, еще бы?! Каждый день той делали. Из столицы приезжают — барана режем, ящик водки ставим, из обкома-то же самое, из райцентра то же, из соседнего аула председатель едет — опять той, сами куда-то едем — нас так же встречают. К чабану в кошару попадешь — без обеда не отпустят, это у нас чаепитием называлось, а обед без бутылки — не обед. Порядок такой. Не жизнь, а сплошной пир. Гости указания с собой привозят, мы гостей встречаем, а на следующий день указания выполняем. Я тоже приказывал, а народ выполнял. А как ты думаешь? Моя голова — часть головы директора. Я с ним одну песню пел. Так помню: «Если хочешь быть живым — сей квад-

ратно-гнездовым». Представляешь, в степи кукурузу сеять? Мы-то знали, что она никогда не вырастет. Вот и пахали возле дороги для приезжего глаза, в поле-то приезжий все равно не пойдет. За пахоту, за сев, за обработку — за все платили. Урожая, конечно, не было. Да хоть бы и сеяли — ничего б не выросло. С одной стороны все правильно, с другой конечно — обман. Приписками занимались, как и все. Кто виноват? Приказ виноват, власть допускала. После поголовно стали лошадой отбирать. Сколько животных зазря пропало. Резали их на глазах у хозяев, а туши все до мясокомбината довести не могли, гнило все, а трупы зарывались в землю. После уж и ишаков повезли в Моздок. Затем со всей степи верблюдов собрали, всего десяток и набралось, люди плачут из-за такого безобразия, а директор ни в какую — всех животных под нож. А разве степь без верблюда степь? А еще массовый отстрел сайгаков! Чего только не было! Степь стали пахать, которую веками не трогали, был приказ увеличить пахотные земли, целину осваивали в песках, черные бури поднялись. Люди думают: что, предки их дураками были?! Ой-бай! Как же это? Все по приказу! И что это за приказы такие! До сих пор не пойму. Да и когда было, понимать. Шайтан людей попутал, ведь если б не так, какой нормальный человек вред себе причинит. А вскоре убрали моего директора. Приехал один из тех, что окот привык останавливать. Надои, видишь ли, ему не понравились ... Наш просит корма, падеж начался — в том году действительно засуха была ... К тому же он чем-то, не угодил приезжему, тот и отписал в район, что развалено хозяйство. А у нас как? Уходит начальник, и весь его аппарат уходит. Вот так и я оказался не у дел. Да, были времена! Я в ауле был знаменитый человек. Старики меня уважали, ровесники обращались как к старшему, младшие почитали: как-никак, не чужой я директору. Честно скажу, не в нем вина, люди зря так думают. Разве он виноват, что такие приказы сыпались, не он, так другой их исполнил бы. Попробуй не выполнить! Зря, зря люди на него жаловались ... — Вдруг мужчина замолк, будто сказал что-то лишнее, заискивающе посмотрел на старика, который, слушая его, не сводил глаз со своей повязки.— Никогда бы не подумал, что в степи тебя встречу, Кыдыр-

Ильяс! — он внимательно поглядывал на старика. — Честно говоря, ты мне часто снился. Да! Таким вот, какой ты есть, и снился. «Что тебе нужно? Как тебе помочь?» — спрашивал ты у меня, вот так, как сейчас спрашиваешь. А я тебе, знаешь, что скажу. Мне сейчас ничего не нужно. Вот только почему-то на душе паршиво ...

Старик не отрывал взгляда от красной повязки. В голове его помутилось, он он не понимал, зачем возле него остановился этот человек. Курман-агай не слышал его слов, да и его самого не различал. Неожиданно появившийся мужчина казался ему чем-то неотделимым от бесконечной степи — от близости которой у него кружилась голова — пустота заполнила душу, и он, как всегда делал, стараясь собраться с мыслями, глядел на повязку.

Мужчина в черном костюме осмелел и, подойдя ближе, сел возле шаровидного темно-серого перекасти-поля, — Вижу, что ты мне не веришь. Вижу. Да. Никому я не могу рассказать всю правду. Поверь слову, не подлец я. Совсем не подлец! Только так все сложилось в моей жизни, никому и не объяснишь, — проговорив это, мужчина достал из кармана бутылку, открыл скрюченными черными пальцами. — Ты меня извини, я глоток сделаю. Разволновался сильно. — Он поднял бутылку над головой, а оторвавшись, сморщился и посмотрел на старика. — Жизнь для одних праздник, гладкая асфальтированная дорога, а для других, вроде меня, — наши проселки в колдобинах и рытвинах. В наших песках немудрено и заблудиться, а если это зимой случится, околеешь в машине, никто тебе не поможет. Вот так и я, наверное, заблудился, — он сделал еще один глоток. — Из армии вернулся — хоть куда парень: в ауле ведь никого с водительскими правами не было. Весь аул встречал меня с почестями, аульчане баранов зарезали, царское угощение было. А тут и девушку за меня сосватали — лучшую в ауле. Стал я работать на одной-единственной в совхозе полуторке, которая последнее время все простаивала. Никого я на дороге не оставлял, ничью просьбу не отклонял, хорошо было жить, люди меня как никого уважали. У нас в ауле почты не было. Положено было раз в неделю из города привозить почту и тем же рейсом отправлять обратно — все это я делал. Люди очень ценили меня, ведь в ауле

кто, — сыну в армию пишет, кто родственникам, хотя наши аульчане и не охочи до писанины, но повод всегда находился. А у нас тогда беззакония эти творились, ну, люди и жаловались на свои горести в район, в обком, а кто — и повыше. Такие письма кому как не мне доверить, вот и доверяли. Бывший директор совхоза много дел наделал, пил, гулял, скот гуртом продавал, а деньги себе в карман клал, вот аульчане и написали на него жалобу, а я отвез это письмо в город. После того директора и сняли. Меня все Пошта-Солтан называли — имя мое Солтан, а из уважения так называли. Я по-прежнему на своей полуторке работал. Новый директор — Ханмурза его имя — пригляделся ко мне, да и говорит: будь, мол, ко мне ближе, сообщай, что обо мне услышишь, и будешь жить в свое удовольствие. Как-то сказал, что если угожу, буду работать на новом «бобике», который он к тому времени должен был получить. А кому на «бобике» неохота работать?! Тем более полуторка старая, без конца ремонтирую, в мазуте весь как черт. Я, сам не знаю почему, стал Ханмурзе рассказывать, о чем в ауле говорят ... Сознавал, что доношу, но сам себя оправдывал, ведь он и от других мог слышать, тем более, что я не прямо доносил, а так, между прочим, но почуял, что это ему нравится. Новый директор стал лишний скот отбирать, своих людей везде на работу ставить, воду из канала перестал местным отводить на огороды. Все безобразия начались. Дядя мой чабаном работал, чем-то он не угодил директору, тот и решил у него лошадь отобрать. Кошара от аула далеко, пешком идти туда — полдня ухлопаешь, да и мало ли что на лошади для отары можно сделать. Не хотел дядя отдавать коня. В район написал. Вместе с ним все соседи письмо подписали, и дали мне в городе кинуть. А я, когда ехал с директором в город, возьми да и расскажи ему об этом. Он мне: «Сынок! — говорит, — так и так, давай, мол, я сам это письмо отправлю». Я хоть и знал, что нехорошее дело делаю, сказал себе, что ничего такого в этом нет отдам письмо, а он сам закинет его в ящик. Он же клянется, что так и сделает после этого он меня сразу на новый газик посадил, дядю и соседей вызвал к себе, объявил, что письмо возвращено ему на разбирательство. Я тогда верил, что так оно и было. Но только дядю он выг-

нал с работы, тот с пятью детьми переехал в другой аул. Соседям тоже наделал много зла. Скот, ишаков отобрал, топливо на зиму не выписал. Люди жаловались, письма мне отдавали, чтобы отправил. Ну а, я, уже по привычке, передавал директору, тот и разделялся с жалобщиками. Когда отобрали всех лошадей и всех ишаков, аульчанам совсем невмоготу стало. Многие сами запрягались в арбу и ходили за сеном и по другим нуждам. Ханмурза всех местных чабанов поменял на пришлых, в ауле появилось много безработных, люди перебирались в соседние хозяйства, перебивались временными заработками. Как на царя смотрели люди на нашего директора, все угодничали. Конечно, были такие, которые искали на него управу, в основном старики и те, кто войну прошел. Письма свои они отдавали мне, а я — Ханмурзе ... Чувствовал я, что никуда он их не отправляет, но знал и другое, что не угоди я ему, останусь без работы, а мне семью кормить надо было. Пока работал у него шофером, я дом кирпичный себе поставил, воду во двор провел, виноград развел, мясо всегда задаром, бесплатного корма сколько хошь, я даже по примеру Ханмурзы стал своих овец в совхозных стадах держать. Второе лицо в ауле, можно сказать. Дом мой и сейчас тысяч за двадцать продать можно. Все в ауле с уважением ко мне: «Пошта-Солтан, будь гостем, всегда рады видеть!» А я, как говорится, простых-то смертных уже и не замечал. Перестал людей выручать на дороге: не замечаю, мол, проехал и мимо старика, и мимо пожилой женщины. В одном только не отказывал людям: когда просили письмо в городе кинуть, хотя уже в ауле были и другие водители, которые в город ездили. На самом же деле отбирал из этих писем самые редкие, те, что в высокие места посланы, и при случае подсовывал Ханмурзе. Ханмурза хвалил меня за это и все мои просьбы выполнял тотчас. Аульчане же и не сомневались в том, что я отправлял их письма, ведь директор, вызывая их на разговор, всегда говорил, что письмо возвращено ему для рассмотрения на месте. Я, конечно, догадывался, что нигде эти письма не были. Вот видишь, — сказал Пошта-Солтан и вытащил из внутреннего кармана пиджака пачку писем. — Это их письма. Случилось так. Когда его сняли, поставили к нам молодого директора,

из нашего аула. Я еще немного поработал у него, но новый директор, видя, как я хозяйничаю в совхозе, стал всячески пресекать мои действия. Сперва приказал овец забрать из совхозных отар, после стал заставлять выписывать сено и мясо как положено. Как раз в это время люди написали в обком партии о том, что в ауле нужно водопровод провести. И, как обычно, письмо мне вручили. Ну а я, решив, что теперь-то уж пригожусь новому директору, зашел к нему в кабинет. Рассказал, о чем письмо, и протянул конверт. А он в ответ и говорит, что правильно люди сделали, написав такое письмо. «Тебе доверили, ты и отправляй», — рыкнул он мне в лицо. Вышел я смущенный из его кабинета, понял, что осечка — вышла. Думал-думал что делать, и отправился к Ханмурзе, который, как уволился со службы, со своего двора шага не сделал, а когда к нему пришел, узнал, что он семью свою разогнал и пьет по-черному. Ну и я неделю пропьянствовал с ним. Когда я ему о письме рассказал, он из своего сейфа достал вот эту кипу, вручил мне и велел ко всем чертям катиться. Я, когда пришел в себя, увидел, что на них ни штемпеля нет, ничего. Вот видишь, пайхамбар, — сказал мужчина и потряс бумагами.

Курман-агай отрешенно смотрел на свою повязку.

— Ты чего, не слушаешь меня? — удивился Пошта-Солтан. — Нет-нет, ты слушай! Это очень важно. Сколько судеб людских, сколько горя в этих письмах! Ты должен помогать людям, — проговорив, он сощурил свои узкие глаза, умоляюще поглядел на старика. Или у тебя совсем сердца нет? — сказав это, он совсем сник и поглядел в сторону закатывающегося красного солнца.

Со стороны моря подул порывистый теплый ветер. На дороге поднялась пыль, закачались травы. Прямо перед стариком, прокатившись, остановилось колючкообразное серое перекаати-поле.

— Извини, — весь напыжился мужчина и встал, держа в одной руке бутылку, в другой письма; сделал еще глоток, и, нагнувшись, пристально посмотрел на старика. — А знаешь, мне на все наплевать, не нужно мне счастья, ничего не нужно! — прохрипел он, нагнав горестное выражение на лицо.

Ветер усилился и дул прямо на Пошта-Солтана. Пес-

чинки попадали в лицо, и он то и дело отирал смуглое лицо рукавом пиджака.

— Не нужно мне ничего! Ты понимаешь это? Пропав: все пропадом! — он презрительно сощурил глаза, нервно дернулся. — Я свободен, понимаешь ты, ото всех свободен. Хочу пью, хочу сплю, хочу ругаюсь, хочу сижу, хочу валяюсь на земле. Никто мне не нужен! Пусть земля вся вверх тормашками перевернется! Да что мне какая-то там атомная война?! Что этот мир! — его охрипший надорванный голос уносился ветром, и он, согнувшись от напряжения, пошел прямо на старика. — В моем ауле уже пережили атомную войну! Я лично ее пережил. Один человек сделал всех рабами, всех лишил человеческого достоинства. Я, понимаешь ты, никто! Разве это не от бомбы?!

Старик оторвал взгляд от повязки и сквозь толстые стекла недоуменно посмотрел на подходящего к нему истеричного мужчину.

— Ты понимаешь, пайхамбар?! Мне все надоело, нет никакого смысла жить. Потому что нет правды в этом мире. Я против этого мира, а он против меня! — Пошта-Солтан, подойдя к Курман-агаю, присел на корточки и посмотрел старику в глаза.

У Курман-агая обозначилась обида на лице, и в уголках его бесцветных глаз блеснули слезы.

— Плачешь, пайхамбар. Эх ты! — сокрушенно сказал мужчина и, хлопнув письмами по земле, бросил их к ногам старика. — Эх ты! — вздохнув, он встал, ударил ногой подпрыгивающий на месте шар перекасти-поля, который взметнулся выше его головы и улетел, далеко подхваченный ветром. — Ты эти письма донеси куда нужно ... А я пойду, — устало сказал мужчина и, отвернувшись от старика, зашагал к дороге.

Выйдя на нее, он оглянулся.

— Слушай, Кыдыр-Ильяс! Ты про письма не забудь. Смотри! Я чист перед Аллахом, я чист! — крикнув, он поднял над головой бутылку, и стал жадно глотать вино затем, отстранив, закрыл ее пробкой, засунул в карман и: понуро пошел в ту сторону, откуда пришел.

Курман-агай проводил его усталым взглядом. Ему трудно было понять, зачем приходил этот мужчина, сло-

ва его проходили мимо ушей. Он чувствовал себя свободным. Вдруг он ясно почувствовал, что энергия, исходящая от него самого, притягивает его к земле. Курман-агай размотал повязку и красная ленточка упала рядом с письмами. Руки старика потянулись к земле, оперлись на нее ладонями, он стал слушать, что творится там. Ему открылось, что у земли тоже есть душа и какие-то сообщающиеся жилы, а где-то в глубине — и сердце. Он почувствовал животворность земли и ту энергию, которую, получив от него, земля получает ... Сковавшая его всего слабость казалась ему пробуждением ...

Усиливался ветер. Шары перекасти-поля подпрыгивали то там, то здесь. Солнце пряталось за горизонт, оставив на небе кровавое пятно. Вдруг ветер подхватил лежащие на земле бумаги, красную ленту и понес по беспредельной степи.

Курман-агай захлебывался свободой, лиловые губы еле-еле двигались, его тянуло в теплую утробу земли.

1989 г.



КАРАБАТЫР

Рассказ

Я вспоминаю аул моего детства и тогда вижу его лицо — лицо старика ногайца. А может быть, это и есть лицо аула? Ведь неотделим же лик человека от лика земли. Единственное абрикосовое дерево на его пыльном, соседствующем с нами дворе мне является иногда тоже в облике старика. Ведь люди и деревья бывают так похожи, если к ним внимательно приглядеться.

Порою мне кажется, что все это было очень давно, когда еще не существовало городов, а бескрайние ковыльные степи вздрагивали только под копытами ногайских лошадей, таких же неутомимых, как их всадники.

Вот он мчится ко мне, всадник, сквозь вихрь тысячелетий, и я узнаю в палящей дымке скуластое лицо старика ногайца за нашим плетнем. Вижу идущего на привязи сменного его скакуна. Всадник не хочет терять времени на остановки. Вот он выхватывает из тороки кусок пропитанного лошадиным потом вяленого мяса... Вот припадает иссохшими губами к небольшой ранке на холке коня, чтобы утолить жажду струйкой свежей крови...

Но куда и зачем спешит этот человек?

У ногайского народа черный цвет всегда был в почете. Кара тенгиз — Черное море, ближайшее из морей. Не за темные воды так оно прозвано, а за необъятность свою; море бескрайнее, словно ковыльная степь. Орел-каракус — черная птица. Нет величественней этой пти-

цы в небе! Кара-халк — черный народ. Так подчеркивали древние ногайцы силу и многочисленность своего народа. Карабатыр — черный богатырь. Так зовут моего старика за нашим плетнем. Редкое по теперешним временам имя. Имена, как и мир, тоже меняются.

Мне кажется, что он никогда не знал минут радости. Вся его жизнь была борьбой за существование. Замкнутый, осторожный, ко всему враждебно-недоверчивый, готовый, казалось, в любую минуту к коварной хитрости... Разве это не повадки древнего кочевника? Но почему он остался таким и потом, когда все вокруг менялось в лучшую сторону?

Наши дворы разделял плетень, облепленный заплатами кизяка. Бабушка любила топить печь кизяком, хотя дров у нас было предостаточно. Среди ивовых прутьев плетня я знал одно место, откуда можно было увидеть двор старика Карабатыра. Возле саманной сараюшки на привязи всегда понуро стояла лошадь. Даже когда вышел запрет, старик все равно не расстался с лошастью: возил фураж, воду на полевой стан... В колхозе махнули на него рукой и оставили ему конягу. Они вместе состарились. Как давние товарищи, молча и привычно занимались своей работой — косили сено в дальней балке и отвозили его домой, запасали на зиму.

Я мог часами смотреть на эту лошадь, с хрустом жующую овес. У моего дедушки (тогда я жил у старшей сестры отца, ее я называл бабушкой, а ее мужа — дедушкой) были серый ишак и арба. Но разве сравнишь ишака с лошастью?! Этот ишак мне давно осточертел, я даже перестал на него взбираться, а при случае исподтишка норовил отхлестать ивовым прутком или забытой дедушкиной плетью. Потом этой же плетью доставалось и мне.

А если вдруг во дворе Карабатыра не оказывалось лошади, я все равно часами мог глазеть то на кур, то на кучу круглых речных камней, оставленных здесь еще со времен строительства дома.

При появлении старика я с непонятным испугом отводил глаза, но потом снова льнул к щели, понимая, что он меня не видит. Особенно было жутко, когда я ловил устремленный в мою сторону колючий взгляд. Со всех ног я несея к дому, а старик, загоняя кур, злобно кричал:

«Вот я вас, собачье отродье...» Но все же у высокого нашего порога я перебарывал страх и оглядывался, успевая заметить, как старик пагубался, хватал камень и кидал в бестолковую домашнюю птицу.

Ох, и боялся же я Карабатыра! Но тогда чем же он притягивал меня, что в нем мне казалось таинственным, что так будоражило мое детское воображение?

Жил он бедно. Но бедность эта не вызывала в ауле жалости к нему. Одет всегда был в посеревший старый ватник, ветхие залатанные ватные штаны. Потертая кожаная шапка-ушанка, побуревшие от времени кирзовые сапоги. Носил он это и летом, и зимой.

Небольшой дом из трех комнат тоже был стар. В нем жили, кроме старика и старухи, еще и сын с семьей, и вдовья дочь с детьми – всего десять душ. Как они там размещались – уму непостижимо!

Говорят, был у Карабатыра еще один сын, старший. Он давно отделился и жил на другом конце аула. Еще поговаривали, что сын жил неплохо и совсем забыл про отца. Старик получал скромную по тем временам пенсию. О них так и говорили: «В этом доме и родственник, и друг – бедность». И еще ногайцы говорят: «Ярлылык – ялгызлык». Бедность – это одиночество. Может быть, потому наши соседи жили столь замкнуто?

На улице Карабатыр нехотя кивком отвечал на приветствия и молча проходил мимо. Люди знали его таким всю жизнь и не осуждали. Не осуждали даже за то, что, дожив до седых волос, Карабатыр не посещал ямагат, где собирались его ровесники поделиться новостями и обсудить дела.

Я не помню случая, чтобы Карабатыр переступил порог нашего дома, не помню его, заглядывающего к нам через плетень, – ведь могут же соседи перемолвиться словечком. Нет, такого не случилось. Ни жена его, ни невестка, ни внуки никогда не заходили в чужие дворы. Все это было для меня удивительно, но не настолько, чтобы разбираться и задумываться, – все казалось привычным.

Однако через двор Карабатыра, от следующих соседей, мы носили колодезную воду для домашней скотины. Точнее сказать, носил я. Бабушка всегда ругала меня за то, что хожу через чужой двор. Но мне, маленькому, не-

вмоготу было с тяжелым ведром делать лишний крюк по улице.

Я знаю, почему еще ворчала бабушка. У аульчан, как, наверное, и всюду, существовала примета: человек с порожними ведрами приносит беду и разорение встретившемуся. Вот и ждал я случая, когда двор старика оставался пуст. Очень уж не хотелось тащиться вокруг. Иногда все же мне попадался навстречу сам старик Карабатыр. Затаив дыхание, я проходил мимо, не сказав обычного: «Арувсизбе?» («Как ваше самочувствие?»). Всем взрослым я говорил эти обязательные слова – кроме старика соседа! Мне было мучительно неловко и стыдно оттого, что я не поинтересовался здоровьем старшего. Но, может быть, в этом был отчасти виноват он сам?

Однажды, когда я уже подрос и легко мог нести ведро с водой, я все же отправился к колодцу через двор Карабатыра. «Арувсизбе?» – пролепетал я ему, но он даже не повернул головы в мою сторону. Старший его сын тоже не отвечал мне на приветствие, но тот хотя бы взглядом давал понять, что меня слышит и видит. Жена старика хотя и равнодушно, но всегда тихо отзывалась: «Хорошо, душа моя».

Как-то, возвращаясь через соседский двор, я не заметил в огороде старика (он, согнувшись, окучивал картофель), да еще и забыл закрыть на крючок калитку. И лишь когда калитка за моей спиной резко хлопнула, я оглянулся и встретился с черными жгучими глазами Карабатыра. С его сомкнутых губ готово было, как мне показалось, сорваться проклятие. Но он промолчал, лишь чуть улыбнулся – то ли презрительно, то ли обиженно. Я отвернулся и заспешил к дому.

Таким он бы, наверное, и остался в моей памяти – молчаливым, неприветливым, внушающим непонятный страх, с суровым лицом и колючим взглядом, – если бы не тот день. Произошло это весной. Бывают такие весны, которые запоминаются потом на всю жизнь. И у меня была эта весна...

Небо сияло ясной голубизной. Вдали отчетливо блестели серебряные вершины гор. Близкие равнины покрылись яркой зеленой травой. Пригревало солнце. Пришла пора цветения абрикосовых деревьев. Цвели

они и в нашем саду. И цвело единственное дерево у старика Карабатыра. Оно росло перед огородом, где только что посадили картофель и еще не сравнялись свежие лунки. Под деревом лежало старое бревно, на котором теперь часто сидел, грелся на солнышке старик. Прежде чем убежать на улицу к ребятам, я, по обыкновению, прильнул к плетню. Увиденное там, в соседнем дворе, меня поразило. На фоне черных перекопанных рядов картофеля, словно в какой-то сказке, светилось цветущее абрикосовое дерево. На бревне застыл старик, откинув обнаженную голову, подняв лицо к солнцу. Старая кожаная шапка лежала у него на коленях. Короткие серебристые волосы, казалось, тоже излучали легкое свечение. И смуглое морщинистое лицо старика было освещено нежным бледно-розовым светом. Глаза его были закрыты, а костлявая, черная от работы рука машинально гладила серебристый ежик на голове, лоб, щеки, подбородок. Лицо было каким-то отрешенным, по нему блуждала странная, блаженная улыбка. И от этой улыбки, как мне показалось, тоже исходил розоватый свет. Может ли быть такое, чтобы лицо человека источало свет? А может быть, это сама душа проснулась, очнулась – и засветилась? Да, именно так! Так я думаю и по сей день.

Впервые я долго смотрел на старика и не боялся. Он гладил голову, лицо, наклонялся к земле, показывая макушку с щеточкой поседевших волос. Улыбка не сходила с его губ. Потом, не меняя выражения лица, он повернулся в мою сторону. Наши взгляды, казалось, встретились, но я не отступил боязливо, как, бывало, раньше, а продолжал смотреть, ведь он не мог видеть меня.

Вдруг Карабатыр раскрыл рот.

– Мальчик! Иди сюда, – по-стариковски ласково окликнул он меня.

От неожиданности я почувствовал дрожь в коленках, присел. «Неужели он меня видит?» – мелькнула мысль.

– Не прячься, я тебя вижу, – сказал Карабатыр все тем же ласковым голосом.

Словно пойманный на месте преступления, уличенный в чем-то нехорошем, постыдном, я готов был провалиться сквозь землю. Мои ноги подогнулись, и я чуть ли не ползком, осторожно пробрался в сад, перелез через

глиняный заборчик и побежал на улицу к приятелям, желая лишь одного – поскорее забыть о происшедшем.

Целую неделю – а это совсем немало для детской памяти – я не мог забыть о случившемся и пуще прежнего боялся встречи со стариком. Ведро с водой таскал в обход, боясь и на улице попасться ему на глаза. Но проходили дни, воду носить было надо – теперь уже двумя ведрами: хоть и тяжело, зато вдвое быстрее. По старой привычке я заглянул в соседский двор – он был пуст. И я рискнул. Сгибаясь от тяжести ведер, я заторопился, желая побыстрее пересечь чужую территорию, и тут мне навстречу вышел из сараюшки Карабатыр с щеткой для чистки лошади. Увидев меня, он улыбнулся, как тогда под деревом. Его зубы сверкнули на солнце.

Деваться было некуда, и я робко проговорил:

– Арувсизбе?

– Арув, мальчик, – неожиданно ласково отозвался он. Потом показал на то место, где я всегда стоял за плетнем, и добавил: – А ноги твои я всегда вижу..

Плетень ведь не доходил до земли, внизу была щель – как я о ней раньше не подумал? И мне вдруг сделалось отчего-то легко и светло. Я облегченно вздохнул, с благодарностью посмотрел в черные глаза старика. Нет, теперь я не боялся его. И совсем не страшное у него лицо! Я глянул на единственное абрикосовое дерево в его дворе – оно излучало, как и тогда, розовый свет. Потом я снова посмотрел на старика, и мне опять показалось, что это свечение исходит и от его смуглого обветренного лица, глаз, улыбки.

Он больше ничего мне не сказал. Я пошел к себе, чувствуя необыкновенную легкость в руках – не так уж и тяжелы два ведра с водой.

Я люблю подолгу всматриваться в картины художников-портретистов. Иногда мне ничего не удастся разглядеть такого, чего бы хотела, наверное, встретить моя душа. Но порою лицо на полотне вдруг оживает, и я ощущаю это трудноуловимое, но в то же время явственное свечение. Так, наверное, бывает с подлинными произведениями искусства. Свечение это для меня всегда несет легкий розоватый оттенок, как у того абрикосового дерева, как у лица старика, сидевшего под ним.

Не знаю, может быть, у других это свечение имеет иные оттенки?

Давно нет старика Карабатыра, нет и его двора с абрикосовым деревом и лошадкой, хрумкающей овес. Разросся и приобрел современный облик аул моего детства. Но мне все время кажется, что это было со мной не тридцать и не сорок, а может быть, тысячу лет тому назад, когда ногайская ковыльная степь заполнена была стуком копыт и свистом плетей. Я оставляю моего старика там, в глубине веков. Потому что история скупа и доносит до нас лишь память о жестоких битвах, о переселениях целых народов, о смене общественных формаций. Трудно в ней разглядеть одинокое абрикосовое дерево и сидящего под ним старика ногайца. Я его оставляю там еще и как укор той роскоши, в которой утопали неизвестные мне владыки. А он был простым тружеником, кочевником, недоверчивым и осторожным в том враждебном и опасном мире. Но и у него были минуты, когда он ощущал себя частью земли, частью солнечного мира, когда он радовался и поклонялся земле и солнцу. Эту способность древние передали нам, сегодняшним людям.

Я верю, что и там, за стеной тысячелетий, существовали такие же понятия, как и у нас, – теплота и нежность...

1983 г.

Содержание

Повести

Сказание о Сынтаслы. <i>Перевод</i> <i>А.Ланщикова</i>	3
Гармонистка. <i>Перевод Э. Бутина</i>	155
Салам, Михаил Андреевич. <i>Перевод Э. Бутина</i>	258
Синие снега	324
Керауз. <i>Перевод Т. Ковалевича</i>	452
Куржун, в котором спрятано детство. <i>Перевод</i> <i>Э. Бутина</i>	492

Рассказы

Бердази. <i>Перевод автора и Э.Бутина</i>	528
Наконец-то. <i>Перевод автора</i>	543
Самвел и Саняит. <i>Перевод</i> <i>Вл. Христофорова</i>	563
Рекламное приложении. <i>Перевод</i> <i>Т. Ковалевича</i>	578
Песня живет. <i>Перевод Т. Ковалевича</i>	593
Впечатлительный человек. <i>Перевод автора</i>	604
Куплю курицу. <i>Перевод автора</i>	615
Окно в будущее. <i>Перевод автора</i>	627
Золотая муха. <i>Перевод Т. Ковалевича</i>	641
Пожалейте старую клячу Актуяк! <i>Перевод</i> <i>Т. Ковалевича</i>	650
Несостоявшийся сабантой. <i>Перевод Э. Бутина</i>	657
Повязка на пальце. <i>Перевод автора и Э. Сергеевой</i>	675
Карабатыр. <i>Перевод автора и Вл. Христофорова</i>	693

ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГАЗЕТА - 1982

ЛУЧШАЯ ГАЗЕТА
ДЕСЯТИ ЛЕТ

КАПАЕВИСА

СИНИЕ СНЕГА

Избранное

Художник *А. Морозова*

Сдано в набор 04.12.07 г. Подписано в печать 26.02.08 г.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 36,96. Тираж 1000 экз. Заказ 1313.

Издательство «Голос-Пресс»
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 32
тел./факс (495) 625-44-61

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

www.lgz.ru



ЛУЧШАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДУМАЮЩИХ ЛЮДЕЙ

ТОЛЬКО В «ЛГ» ВЫ УЗНАЕТЕ:

- ▾ Над чем работают лучшие современные писатели, поэты, драматурги
- ▾ О чем размышляют и спорят герои их новых произведений
- ▾ Как формируется внутренняя и внешняя политика государства
- ▾ О тесной взаимосвязи реформ и содержимого нашего кошелька
- ▾ Где состоялись самые заметные явления в искусстве и культуре
- ▾ Какие новые книги «заслуживают» того, чтобы их купили
- ▾ О секретах «лаборатории смеха» в знаменитом Клубе «12 стульев»

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»

единственное периодическое издание,
где встречаются **все направления** отечественной
общественной, социально-экономической,
художественной и духовной

МЫСЛИ

Подписной индекс

50067

(499) 788-04-70

Телефон отдела подписки